52.

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3325
.A 1
1888
t.1

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
10001364934

This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
MAR 2 9 1988			
OCT 2 9 '87			
NOV 1 7 1994			
APR 1 2 2009			
APR 0 3 2009			
Form No. 513			

OREGON RULE CO. U.S.A.

POLNOE SOBRANIE
SOCHINENIJ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ

Ѳ. М. Достоевскаго.

Изданіе третье.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

ДОСТОЕВСКІЙ.

ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ,

составленный К. К. Случевскимъ.

Съ портретомъ Ѳ. М. Достоевскаго и факсимиле.

ПОВѢСТИ и РАЗСКАЗЫ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія брат. Пантелеевыхъ. Казанская, 33.
1889.

PG3375
.A1
1889
t.1

OREGON RULE CO. U.S.A.

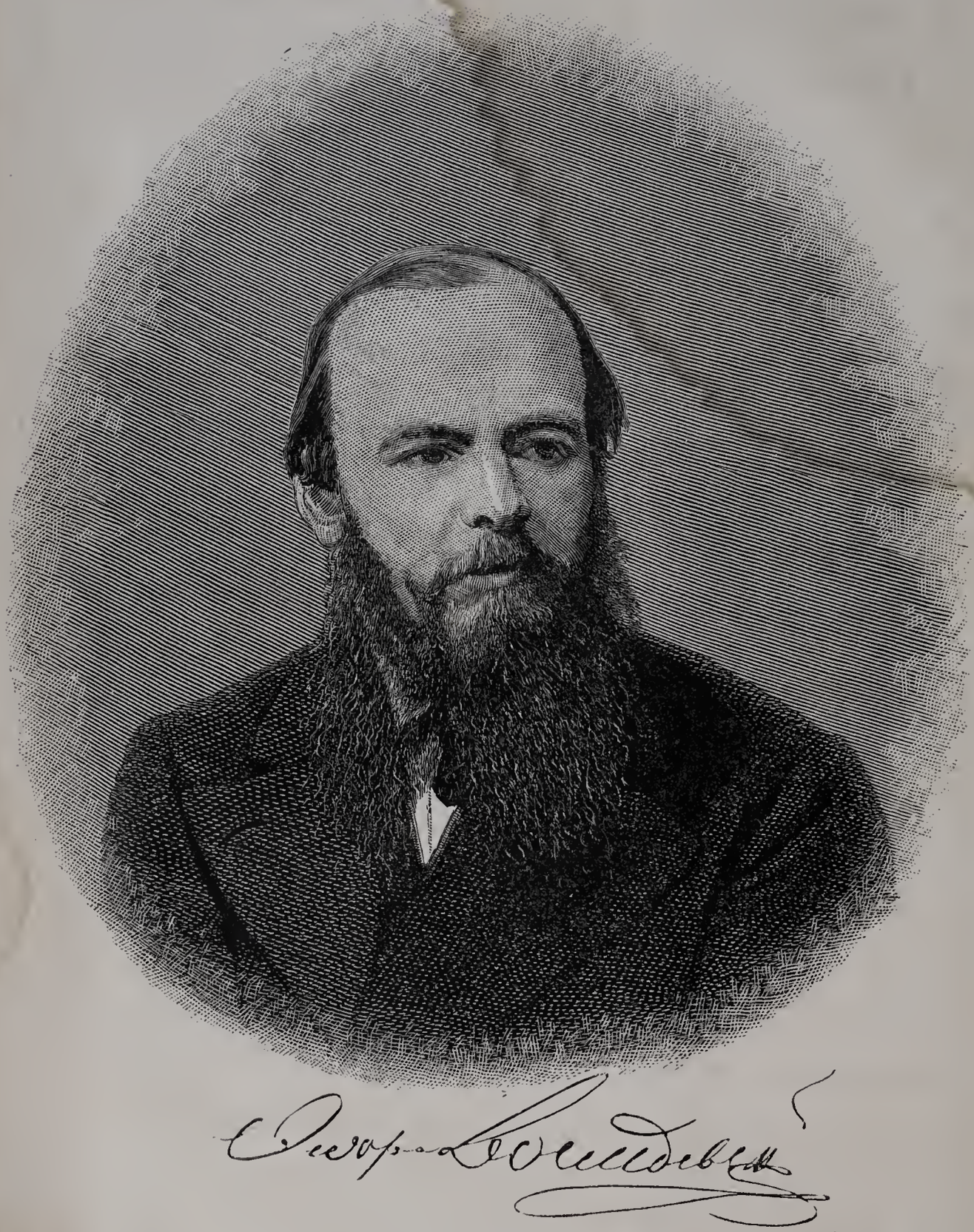
Оглавленіе.

Достоевскій. — Очеркъ жизни и дѣятельности. К. Случевскаго . . . . . I—XL.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

стр

Бѣдные люди. Романъ 3
Двойникъ. Петербургская поэма 123
Господинъ Прохарчинъ. Разсказъ 277
Романъ въ девяти письмахъ 309
Глава I. Отъ Петра Иваныча къ Ивану Петровичу . . . 311
„ II. Отъ Ивана Петровича къ Петру Иванычу . . . 313
„ III. Отъ Петра Иваныча къ Ивану Петровичу . . . 314
„ IV. Отъ Ивана Петровича къ Петру Иванычу . . . 315
„ V. Отъ Петра Иваныча къ Ивану Петровичу . . . 316
„ VI. Отъ Ивана Петровича къ Петру Иванычу . . . 317
„ VII. Отъ Петра Иваныча къ Ивану Петровичу . . . 321
„ VIII и IX 322
Хозяйка. Повѣсть 425
Ползунковъ 399
Слабое сердце. Повѣсть 415
Чужая жена и мужъ подъ кроватью. Происшествіе необыкновенное. 459
Честный воръ. Изъ записокъ неизвѣстнаго 501
Елка и свадьба. Изъ записокъ неизвѣстнаго 519



ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. СПБ., 16 АВГ. 1888 Г. ЭКСПЕД. ЗАГОТ. ГОСУД. БУМАГЪ.

133) Тебя вмѣсто собаки бить сколько. Одежи рублей на 100 будетъ.

134) Кому слуга, а тебѣ слуга Кувшинъ; Кому слуга Кувшинъ а тебѣ бездѣлка.

135) А! только такъ языкомъ болтать, себя веселить.

136) Хорошо! Я-то поплашусь тюмякъ, а вы-то во Тюмяновской губерніи галушкой подавились.

137) Остолопъ! Никакой фарисейности нѣтъ.

138.) Прогорѣлъ, — разочаровался! Теперь ничего нѣтъ, а подаровъ такъ и ничего не будетъ.

139) Да вѣдь и сами брали голой рукой не брали.

140) Отъ огня ничего не остается, а отъ вора вы что-нибудь да останется.

ДОСТОЕВСКІЙ.

(Очеркъ жизни и дѣятельности).

К. Случевскаго.

«Только обносившіяся идеи очень понятны».

Ѳ. Достоевскій.

«На дняхъ я читалъ «Мертвый Домъ» и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина.»

Графъ Л. Н. Толстой.

«Достоевскій чувствовалъ мысли».

Н. Страховъ.

Въ очертаніи личности и таланта Ѳедора Михайловича Достоевскаго (1821 † 1881), перешедшаго, на шестьдесятъ первомъ году жизни, въ очень и очень далекую исторію, есть, несомнѣнно, нѣчто «героическое», какъ это было замѣчено однимъ изъ лучшихъ друзей покойнаго Н. Страховымъ. Мысль эта чрезвычайно вѣрна, хотя и брошена вскользь; можетъ быть было бы правильнѣе сказать не героическое, а «богатырское», и этому имѣются нѣсколько весьма вѣскихъ, неоспоримыхъ причинъ.

Велики и внушительны лики умершихъ борцовъ двѣнадцатаго года—но героическимъ, по преимуществу, является только Кульневъ; еще виднѣются между нами недавніе предводители нашихъ войскъ за Балканы—но героическимъ перешелъ въ народъ одинъ только Скобелевъ. Крупны, очень крупны по размѣрамъ своимъ, однолѣтки нашей литературы, люди сороковыхъ годовъ—Гончаровъ, графъ Л. Толстой, Островскій, Тургеневъ, Писемскій, Григоровичъ, но именно богатырскимъ пошибомъ отличается только Достоевскій и, можетъ быть, но въ меньшей степени, графъ Л. Толстой.

Богатырь, какъ таковой, сложился въ сознаніи народа на нѣсколькихъ простыхъ, основныхъ, неизмѣнныхъ, очень схожихъ для всѣхъ богатырей міра, особенностяхъ. Богатырь обя-

зательно служитъ всю свою жизнь одной какой либо идеѣ; зарождаясь на почвѣ народной, будучи вполнѣ «кряжевымъ», а не «наноснымъ» человѣкомъ, онъ выходитъ въ путь ранымъ рано, еще не зная именно куда направиться; по странной, необъяснимой, но постоянной случайности, больше чутьемъ, чѣмъ расчетомъ, беретъ направленіе вѣрное; онъ совершаетъ свое дѣло цѣлымъ рядомъ отдѣльныхъ подвиговъ; движимый безконечнымъ, часто заносчивымъ самолюбіемъ, проистекающимъ изъ увѣренности въ «правотѣ» своего дѣла и «необходимости» совершить его, онъ дѣлаетъ оплошности, и самъ обусловливаетъ свои неудачи; фантастическое всегда окружаетъ богатыря, онъ постоянно движется въ чудесномъ, бѣсовскомъ, что не мѣшаетъ ему, однако, дѣтски-набожно вѣрить въ силу крестнаго знаменія; богатырь, всегда честный до глупости, тамъ гдѣ онъ проходитъ, непремѣнно оставляетъ за собою широкою полосою безконечные ряды искреннѣйшихъ благословеній и неистовыхъ проклятій, и если онъ изнемогаетъ, порою, въ борьбѣ, то только для того, чтобы, поднявшись, идти вновь по тому же направленію, опять-таки, отдѣльными порывами великой души и силою мысли, обладающей всѣми особенностями механической и физической силы, даже не властной сама въ себѣ.

Всѣхъ этихъ перечисленныхъ особенностей богатырства, если не считать другихъ, нѣтъ вовсе въ сотоварищахъ Достоевскаго по оружію, въ названныхъ выше представителяхъ нашей литературы. Всѣ они безспорно совершили свое, всѣ они, каждый самъ по себѣ, замѣчательные люди, всѣ они боролись, опять-таки каждый по своему, ошибались, изнемогали, шли опять, но ихъ вело впередъ, прежде всего, художественное творчество, бывшее само по себѣ цѣлью, тогда какъ для Достоевскаго художественное творчество являлось всегда только средствомъ дѣйствительной, настоящей, богатырской борьбы. Если бы Достоевскій оставилъ въ своихъ беллетристическихъ произведеніяхъ только то что онъ оставилъ, то онъ, какъ художникъ, уступилъ бы первенство Л. Толстому, Гончарову и Тургеневу, взятая же въ совокупности дѣятельность Достоевскаго совершенно единственная, исключительная и не только въ нашей, но и во всѣхъ другихъ литературахъ, онъ стоитъ особнякомъ. «Онъ», какъ совершенно справедливо замѣчаетъ Н. Страховъ, «безспорно унесъ съ собою въ гробъ нѣкоторую великую тайну. И вотъ мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ».

Очень вѣрно замѣчено было О. Миллеромъ, что «судьба, за-

хотѣвъ быть Достоевскому мачихой, на самомъ дѣлѣ воспитала его какъ строгая, но попечительная мать». Отъ этого, конечно, покойному было не легче, но мы-то пользуемся, и сами того не замѣчая, какъ вкусно и обильно, плодами этого жесткаго, часто жестокаго попечительства. Стоитъ, для уясненія этой мысли, припомнить только нѣкоторыя, основныя черты жизни Достоевскаго, т. е., тѣ главныя краски которыя накладывала она на него, и давала ему для передачи словомъ и дѣломъ, чтобы убѣдиться въ правотѣ сказаннаго нами.

Началась, зародилась эта исключительная, особническая жизнь въ Москвѣ; это уже краска, и не изъ послѣднихъ. Москва—въ этомъ одномъ цѣлая палитра красокъ; жизнь на Божедомкѣ — а кто не знаетъ чѣмъ были въ страшные годы Іоанновской Руси—кроткіе милостивцы божедомы и божедомки; жизнь въ больницѣ для бѣдныхъ, гдѣ отецъ покойнаго служилъ врачемъ,—въ этомъ второе странное сопоставленіе съ основными чертами будущей дѣятельности Достоевскаго; божедомы и больница для бѣдныхъ — это цѣлыя гнѣзда страждущихъ умовъ и сердецъ. Затѣмъ: лѣтнія поѣздки въ Троицкую лавру, Марьина Роща, няня Алена Фроловна, дурочка Аграфена, дѣтскія игры въ дикихъ, въ Робинзона, страхъ предъ темнотою, и, поверхъ всего этого — честная, работящая, любящая семья, истинно русская, набожная, въ которой тѣлеснаго наказанія не существовало и въ которой готовился къ жизни, за одно съ однимъ изъ братьевъ, почти однолѣткомъ, этотъ Богомъ намѣченный мальчикъ «весь огонь», какъ говорили его почтенные родители.

Тамъ-же, на первыхъ порахъ, въ Москвѣ, какой-то не оставившій намъ своего имени учитель русскаго языка, съумѣлъ вызвать въ братьяхъ Достоевскихъ любовь къ своему предмету, къ литературѣ, беззавѣтное, искреннѣйшее поклоненіе Пушкину и направлялъ, вѣроятно, постоянное чтеніе мальчиками Вальтеръ-Скота, Квентина Дорварда, Ваверлея. Тамъ-же и тогда-же, въ самой ранней юности, видѣли братья Достоевскіе, въ шиллеровскихъ «Разбойникахъ», безсмертнаго Мочалова и слышали его огненную декламацію.

Но, Москва была кратковременна; слѣдовалъ переѣздъ въ Петербургъ и поступленіе въ инженерное училище. Въ этомъ опять замѣтна благодать судьбы: не въ какое либо другое военное училище, а именно въ лучшее по духу изъ училищъ, поступаетъ Достоевскій; онъ самъ, уже подъ конецъ своей жизни, перечислялъ виднѣйшихъ птенцовъ его, товарищей былаго времени

хорошо знакомыхъ по именамъ всѣмъ и каждому: Тотлебена, Кауфмана, Радецкаго, Леера, Сѣченова, Григоровича, Трутовскаго. Если бы инженерное училище забивало людей — такое перечисленіе достойныхъ именъ было-бы немыслимо и не напрасно вспоминается въ исторіи училища о томъ, что, еще задолго до поступленія въ него Достоевскаго, по настоянію Великаго Князя Николая Павловича, впослѣдствіи могучаго Императора и подъ его отвѣтственностью, опредѣленъ былъ въ училищѣ преподавателемъ профессоръ Арсеньевъ, удаленный изъ университета происками печальной памяти Рунича и Магницкаго. Это можетъ служить характернымъ признакомъ направленія даннаго училищу и то «проклятіе школѣ», которое заявляетъ одинъ изъ героевъ «Записокъ изъ подполья» послано было Достоевскимъ конечно не по адресу. училища, о которомъ самъ онъ любилъ вспоминать. Но уже здѣсь, въ училищѣ, на зорѣ жизни, мальчикъ-юноша, «весь—огонь», ставшій одинокимъ, вѣчно удаляющійся отъ товарищей, вѣчно что-то пишущій, въ особенности по ночамъ, находится въ такомъ настроеніи духа, что сообщаетъ брату своему о томъ что ему кажется будто: «міръ нашъ—чистилище духовъ небесныхъ, отуманенныхъ грѣшною мыслью» и даже помышляетъ о самоубійствѣ! Толчекъ данный юношескимъ стремленіямъ тѣмъ неизвѣстнымъ учителемъ русскаго языка, толчекъ который обусловилъ раннее поклоненіе Пушкину и упорное чтеніе, продолжаетъ, однако, дѣйствовать и въ училищѣ, только В. Скота смѣняютъ Гомеръ, Шиллеръ, Ж. Зандъ, Бальзакъ и любовь Достоевскаго къ поэзіи становится «страстною». Едва-ли справедливо мнѣніе Н. Булича, что именно инженерное училище, съ его, яко-бы, розгами и другими истязаніями, навѣяло на Достоевскаго первыя мрачныя картины, что, даже, семейныя воспоминанія мальчика-юноши не представляютъ ничего отраднаго, что на всей его позднѣйшей дѣятельности отразился недостатокъ серьезнаго образованія и что образованіе это было «жалко и поверхностно».

На 21 году жизни Достоевскій произведенъ въ инженеръ-прапорщики; цвѣтъ лица его уже болѣзненный, «земляной», слышались сухой кашель и хрипота. Слѣдуютъ кратковременныя увлеченія: рестораномъ Лерха, билліардною игрою, знаменитымъ Листомъ, пѣніемъ Рубини и, рядомъ съ этимъ, опять-таки въ качествѣ благодѣтельной школы для будущей дѣятельности, сожительство съ врачемъ для бѣдныхъ, изученіе бѣдныхъ людей, пролетаріевъ столицы, знакомство съ какимъ-то мужскимъ прижи-

валкою Келеромъ и его разсказы о темныхъ личностяхъ, поддонкахъ столицы, о людяхъ, послужившихъ позже прототипами многихъ дѣйствующихъ лицъ въ романахъ и повѣстяхъ Достоевскаго. Благодаря безконечной безшабашности въ денежныхъ расчетахъ, имѣетъ, наконецъ, мѣсто первое знакомство Достоевскаго съ ростовщикомъ! «Хлестаковъ», пишетъ Достоевскій въ 1844 г. своему брату, «соглашался идти въ тюрьму только благороднымъ образомъ. Ну, а если у меня штановъ не будетъ, будетъ-ли это благороднымъ образомъ?» Неизвѣстно гдѣ теперь тогдашніе первые труды Достоевскаго за это смутное, неопредѣленное время его жизни, драмы «Марія Стюартъ» и «Борисъ Годуновъ, гдѣ переводъ «Донъ-Карлоса»? можетъ быть Достоевскій самъ забылъ о тѣхъ путяхъ, по которымъ направилъ рукописи, потому что онъ уже увлекся другимъ дѣломъ, потому что исподволь готовилась и созрѣвала первая самостоятельная работа его, поглощавшая и затмѣвавшая его для самого себя — готовились «Бѣдные люди»

Первый шагъ Достоевскаго въ литературу, сдѣланный «Бѣдными людьми», чрезвычайно характерный, красочный шагъ. Долго готовились «Бѣдные люди», можетъ быть еще въ училищѣ. Наконецъ, они готовы, но авторъ не хочетъ отдавать ихъ въ журналъ, потому что это значило-бы, пишетъ онъ брату, «идти подъ ярмо не только главнаго maitre d'hôtel'a, но даже всѣхъ чумичекъ и поваренковъ, гнѣздящихся въ гнѣздахъ, откуда распространяется просвѣщеніе». «Если», пишетъ онъ дальше, «мнѣ не удастся напечатать ихъ самому, я можетъ быть повѣшусь». Тѣмъ не менѣе приходится, однако, отдать работу въ «Отечественныя Записки» и ждать рѣшенія редакціи; если работы не примутъ «такъ можетъ быть въ Неву!» И вотъ на этомъ-то темномъ состояніи его духа, мрачнаго невѣденія и крайней нужды, неожиданно подстраивается судьбою, замѣчательная, единственная сцена. Въ четыре часа утра вбѣгаютъ къ нему, къ ожидающему и обуреваемому мыслью о самоубійствѣ, вбѣгаютъ, со слезами на глазахъ, Некрасовъ и Григоровичъ вѣщая побѣду и скоро вслѣдъ затѣмъ, при свиданіи съ Бѣлинскимъ, раздаются вѣскія слова всесильнаго тогда критика: «да вы понимаете-ли сами, что вы это написали! вы только непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ, это могли написать!» «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни!» говорилъ позже Достоевскій. Литературное имя пріобрѣтено сразу, какъ-бы по манію волшебнаго жезла, и генералы отъ литературы, ему, неизвѣстному

юношѣ, низко поклонились. Развѣ это не краски, развѣ не всерѣшающій толчекъ?

Но вотъ и другая, слѣдующая вслѣдъ за этимъ, не менѣе самостоятельная картина молодой жизни. «Быть тебѣ подъ красной шапкой!» говаривалъ, бывало, сыну-огню покойный отецъ. Въ этомъ заключалось предсказаніе: слѣдовало участіе Достоевскаго въ обществѣ Петрашевскаго и ссылка въ Сибирь, на каторгу. Позже, когда ссылка эта отошла въ давно-прошедшее, покойный, въ отпоръ людямъ, желавшимъ доказывать ему, что эта ссылка была грубымъ насиліемъ и несправедливостью, говорилъ: «соціалисты произошли отъ петрашевцевъ. Петрашевцы посѣяли много сѣмянъ» и на вопросъ о томъ: заслужена-ли была петрашевцами ссылка, отвѣчалъ: «справедливое дѣло была наша ссылка. Насъ-бы осудилъ народъ».

23 Апрѣля 1849 года послѣдовалъ арестъ; затѣмъ восемь мѣсяцевъ крѣпости и четыре года каторжныхъ работъ. Опять: сколько красокъ, какая страшная попечительность матери судьбы? призналъ это и самъ Достоевскій когда утверждалъ, что «если бы не эта катастрофа — я сошелъ-бы съ ума». Ссылка, кромѣ того, дала ему драгоцѣннѣйшее въ жизни — у него «явилась идея». Сила этой «идеи» была такъ непосредственно велика и ясна, что уже на Семеновской площади, на эшафотѣ, ввиду куполовъ Введенской церкви, готовясь умереть, Достоевскій сообщалъ стоявшему подлѣ него сотоварищу казни Момбелли о планѣ какой-то повѣсти. «Идея» жизни стала ему такъ ясна, что онъ, отъѣзжая въ каторгу и прощаясь съ А. Милюковымъ, тогда-же завѣрялъ его, что «и въ каторгѣ не звѣри, а люди, можетъ еще лучше меня, можетъ достойнѣе меня... Въ эти мѣсяцы я много пережилъ... а тамъ впереди то что увижу и переживу будетъ о чемъ писать». По пути къ мѣсту ссылки, въ Тобольскѣ, жены декабристовъ подарили ему Евангеліе, пролежавшее у него подъ подушкою во все время пребыванія въ каторгѣ! это тоже краска и не изъ послѣднихъ, въ особенности для Достоевскаго.

Сибирь послужила временемъ сосредоточенія; въ каторгѣ пріялъ Достоевскій самаго себя. Толочь алебастръ, вертѣть точильное колесо, сгребать снѣгъ, носить кирпичи, разбирать барку на Иртышѣ, дневать и ночевать съ каторжниками и постичь, какъ и почему, идя къ причастію, всѣ они, эти убійцы и изверги, всѣ, единымъ духомъ, вслѣдъ за словами «но яко разбойника мя пріими», гремя кандалами, склонялись передъ открытою дверью алтаря — это было истиннымъ даромъ Господнимъ и

указующей рукой всей будущей дѣятельности Достоевскаго. Неправду говорилъ Некрасовъ, изобразивъ въ своихъ «Несчастныхъ» подъ именемъ «крота» Достоевскаго; онъ представилъ его «учителемъ» каторжниковъ, тогда какъ, по собственнымъ словамъ Достоевскаго, онъ былъ ихъ «ученикомъ»... «Я до такой степени родня всему русскому, писалъ онъ А. Майкову въ 1856 году, что даже каторжные не испугали меня, это былъ русскій народъ, мои собратья по несчастью». Безконечно много правды въ этихъ словахъ и если, въ 1854 году, десять мѣсяцевъ спустя послѣ выхода изъ каторги, Достоевскій писалъ брату что «тѣ четыре года считаю я за время, въ которое я былъ похороненъ живой и закрытъ въ гробу», то позже взглядъ его на эти четыре года измѣнился и Сибирь была Достоевскому—«мила».

Ласкою судьбы было, конечно, и то что Достоевскій возвратился къ дѣятельности какъ разъ ко времени освобожденія крестьянъ. Объявленіе объ изданіи «Времени», написанное имъ, появилось въ самый годъ освобожденія, затѣмъ, съ быстротою изумительною слѣдовали одни за другими: студенческія исторіи (1861), пожары (1862), польское повстаніе (1863) и все то мрачное и постыдное, что потянулось вслѣдъ за ними. Кто не помнитъ этихъ тяжкихъ, тяжкихъ дней государственной и общественной жизни нашей, дней развивавшихся съ прямою, неумолимою, молніеобразною послѣдовательностью изъ либеральнаго фразерства въ рядъ покушеній, до взрыва во дворцѣ, до 1-го Марта. Какъ разъ съ наступленіемъ этого тяжелаго времени, началъ дѣйствовать Достоевскій и краски жизни сгущались передъ нимъ и роились, образовывая подвижныя, свѣтовыя явленія, какъ въ вертящихся кругахъ и звѣздахъ волшебныхъ фонарей. Въ либеральной печати, заигрывавшей тогда съ революціей и Польшею, въ воинствующей литературѣ, началось тоже съ казней всѣхъ тѣхъ кто сколько нибудь, и почему бы то ни было, не подходилъ къ «программѣ дѣйствія». Н. Страховъ, одинъ изъ казненныхъ, перечисляетъ тѣхъ, что погибли и записаны на черныя доски: Розенгеймъ, Н. Львовъ, Погодинъ, Случевскій, Кусковъ, позже, при обострѣніи отношеній, Костомаровъ и Тургеневъ. Кто не помнитъ травли совершенно одинаковой на откупщика Утина съ одной стороны и на А. Майкова, Вс. Крестовскаго, А. Григорьева, О. Миллера, Н. Лѣскова, В. Клюшникова, Ѳ. Берга, В. Авсѣенко, Б. Маркевича, А. Милюкова, Д. Аверкіева, Эдельсона съ другой. Весь этотъ безумный періодъ нашего развитія, т. е. развитія нашей интеллигенціи, а не народа, совер-

шился на глазахъ Достоевскаго и нашелъ въ немъ, благодаря необычайному таланту и счастливой подготовкѣ предшествовавшими обстоятельствами жизни, самаго вѣрнаго истолкователя и прорицателя.

Едва-ли вѣрно то, что Тургеневъ былъ первымъ подмѣтившимъ въ «Отцахъ и Дѣтяхъ», появившихся въ 1862 году, существенныя черты назрѣвавшаго тогда нигилизма; онъ пріискалъ только имя, кличку, слово, а самая суть была ярко обрисована во «Времени» Достоевскаго значительно раньше, такъ какъ уже въ февральской книжкѣ 1861 года, начата съ нигилизмомъ открытая борьба статьею Достоевскаго «—бовъ и вопросъ объ искусствѣ».

Литературная борьба эта пріобрѣла-бы, несомнѣнно, огромное значеніе, такъ какъ оба лагеря опредѣлились и стояли во всеоружіи одинъ противъ другого, если-бы не совершенно не ожиданное насильственное прекращеніе редактированнаго Достоевскимъ «Времени» и, начатой имъ вслѣдъ за этимъ, погибшей собственною слабостью—«Эпохи». «Время» просуществовало съ января 1861 по 1863 и вслѣдствіе одного изъ любопытнѣйшихъ «крупнѣйшихъ недоразумѣній», когда либо проявившихся въ исторіи нашей цензуры (принятіе статьи «Роковой вопросъ» направленной противъ поляковъ, за статью, яко-бы, сочувствовавшую имъ, ошибка повторенная и «Московскими вѣдомостями»), закрыто. Успѣхъ «Времени» былъ очень большой; маски противниковъ были сброшены и «Время» успѣло уже пріобрѣсти ненависть «Современника» и почти всей зараженной либерализмомъ петербургской печати, какъ вдругъ совершилось его исчезновеніе. Разрѣшенная Достоевскому, послѣ великихъ усилій, въ 1864 году «Эпоха» — не удалась и тогда-то обусловилась для покойнаго тяжкая необходимость уѣхать заграницу: пришлось удалиться отъ долговъ. Съ 1867 по 1871 годъ, жилъ Достоевскій, тогда уже женатый вторымъ бракомъ, заграницею. Не свои долги, а долги брата по изданіямъ выплачивалъ онъ, и какъ выплачивалъ? въ 1867 г., какіе нибудь 125 р. «рѣшительно спасаютъ» его и нарождающуюся семью, а въ 1869 г. приходится продать сюртукъ и Богъ вѣсть съ какимъ трудомъ «достать 2 талера». Не слѣдуетъ забывать, что эти классическіе 2 талера приходилось доставать автору уже отпечатаннаго тогда «Преступленія и наказанія»? Въ довершеніе тягости положенія по добровольной уплатѣ, чужаго, братняго долга, надъ Достоевскимъ тяготѣетъ, повидимому, полицейскій надзоръ,

такъ какъ въ одномъ изъ тогдашнихъ писемъ онъ вынужденъ сказать: «каково-же вынести человѣку чистому, патріоту, предавшемуся имъ до измѣны своимъ прежнимъ убѣжденіямъ, обожающему Государя, каково вынести подозрѣніе въ какихъ нибудь сношеніяхъ съ какими нибудь полячишками или съ «Колоколомъ».

Но это были уже послѣдніе годы долготерпѣнія. Второй бракъ Достоевскаго принесшій съ собою семью, денежную бережливость и порядочность хозяйства, а затѣмъ вершительное значеніе «Преступленія и наказанія», сдѣлали свое. Четыре года пребыванія заграницею, временно удаливъ Достоевскаго изъ Россіи, положили между нимъ, художникомъ, и тѣмъ, что происходило въ Россіи, какъ объектомъ творчества, то разстояніе, которое совершенно необходимо для созерцанія крупнаго предмета и дали художнику-мыслителю то сосредоточеніе, которое должно лежать въ основѣ всякаго великаго творчества. Въ этомъ смыслѣ и тутъ, слѣдовательно, судьба сослужила покойному тяжкую, неоцѣненную службу. Достоевскій возвратился въ Россію въ іюлѣ 1871 г. и тутъ начало втораго, важнѣйшаго, славнѣйшаго періода его дѣятельности; вторая ссылка его— заграничная жизнь—кончилась.

Въ двадцатилѣтіе съ 1861 по 1881 годъ, Достоевскій неуклонно стоялъ лицомъ къ лицу со своими многочисленными, бывшими тогда въ силѣ, какъ въ правительствѣ такъ и въ литературѣ, противниками. Въ теченіи этого страшнаго двадцатилѣтія кипучая, безустанная литературная дѣятельность его, недовольствуясь для изображенія того, что онъ мыслилъ и чувствовалъ, на встрѣчу развивавшимся съ быстротою изумительною событіямъ, мѣрною, эпическою поступью повѣстей и романовъ, нашла себѣ, помимо ихъ, другой, уже испытанный, болѣе подходящій, болѣе быстрый способъ выраженія— въ редактированіи журналовъ. «Журналъ—великое дѣло» писалъ онъ еще въ 1861 году; въ концѣ семидесятыхъ доказывалъ онъ это на дѣлѣ вторично. Всѣхъ опытовъ редактированія было у Достоевскаго—четыре. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, какъ сказано— «Время» и «Эпоха», въ 1873 г.—«Гражданинъ» князя Мещерскаго, съ 1876 года «Дневникъ Писателя». Послѣдній нумеръ «Дневника» совпалъ со смертію автора, такъ что типографскія чернила подсыхали одновременно съ тѣмъ какъ остывалъ Достоевскій. Въ свободные отъ редактированія годы этого двадцатилѣтія, мощно, почти безъ роздыха, выдвинулись одни за

другими: «Преступленіе и наказаніе», «Идіотъ», «Бѣсы», «Подростокъ» и, наконецъ, одновременно съ «Дневникомъ Писателя» прозвучало долгимъ стономъ и теплою молитвою послѣднее слово Достоевскаго—«Братья Карамазовы».

Всѣ перечисленныя писательскія и редакторскія работы, не смотря на все ихъ разнообразіе, помѣчены у Достоевскаго однимъ пошибомъ, служили одной идеѣ и вызывали, съ одной стороны, проклятія и скрежетъ зубовный, съ другой—неисчислимыя благословенія и благодарности. Сквозь тѣ и другія личность Достоевскаго, становившаяся, мало по малу, великою силою, проростала все четче и ярче и обусловила, наконецъ, то что сложилось неожиданно для всѣхъ на пушкинскомъ праздникѣ, въ Москвѣ, въ 1880 году.

Достоевскій отправился въ Москву на открытіе памятника Пушкину въ качествѣ депутата отъ Славянскаго общества. Все что имѣлось тогда въ наличности литературно-учено-художественной интеллигенціи, собралось въ нашу первопрестольную, чтобы присутствовать при открытіи памятника великому поэту, собирателю русской мысли, русскаго творчества, еще недавно подвергавшемуся самому площадному посмѣянію. Тутъ, движимые разными чувствами, имѣлись представители всѣхъ партій,—тѣхъ, что смѣялись и тѣхъ, что благоговѣли; откликнулись на торжество и славянскія земли; былъ кое-кто и изъ Европы. Заранѣе приготовили свои рѣчи И. Аксаковъ и И. Тургеневъ, ѣздившій для этого даже въ деревню. Въ общественномъ сознаніи наступала тогда важная минута перелома и всѣ шашки перепутались. Съ одной стороны «Московскія Вѣдомости», которымъ покланялись еще такъ недавно, сдѣлались предметомъ острой и несправедливой вражды, съ другой—либерализмъ, дошедшій до крайнихъ предѣловъ бѣснованія, причинившій столько бѣдъ, съеживавшійся передъ ясными уликами своего безсилія и вызывавшій въ обществѣ крайне опасное и несправедливое недовѣріе къ литературѣ вообще — все еще не сдавался. Еще глухо орудовала крамола и оставалось довольно времени до трагедіи цареубійства.

Вотъ въ эти-то смутные дни полной разшатанности общественной мысли, сильнѣйшаго недовѣрія къ себѣ всѣхъ и каждаго, при совершенной безпомощности духа, народился пушкинскій праздникъ и никто рѣшительно не могъ знать и не предвидѣлъ, что именно будетъ онъ значить и есть ли достаточныя причины для того, чтобы ему быть? здѣсь простое число мѣсяца

и года, хронологія, годовщина, безтѣлесное воспоминаніе—явились могучими двигателями жизни и, такъ называемая, случайность сдѣлалась причиною одного изъ самыхъ типическихъ воплощеній судьбы.

Передъ лицемъ представителей всѣхъ оттѣнковъ мысли Достоевскій, своею огненною рѣчью неожиданно далъ этому празднику душу, объяснилъ смыслъ и указалъ, такъ сказать, не одинъ, а множество якорей, на которыхъ разшатанный и обуреваемый духъ русскаго человѣка, можетъ укрѣпиться и успокоиться. Дѣйствительнымъ откровеніемъ явилась эта рѣчь Достоевскаго и сдѣлала изъ праздника настоящее торжество, что и было тогда-же почувствовано всѣми. И. Аксаковъ, едва только смолкъ голосъ Достоевскаго, сказалъ немедленно: «я не могу говорить послѣ рѣчи Ѳедора Михайловича; все что я написалъ только слабая варіація на нѣкоторыя темы этой геніальной рѣчи», и назвалъ ея тутъ-же «событіемъ»; болѣе осторожный П. Анненковъ, подчиняясь одушевленію тысячной толпы, замѣтилъ: «вотъ что значитъ геніальная характеристика! она разомъ порѣшила дѣло»! Что въ этой рѣчи имѣлось на лицо гораздо болѣе чѣмъ «характеристика» сознавала и толпа, вынудивъ Достоевскаго снова взойти на кафедру и увѣнчавъ его вѣнкомъ, не для него приготовленнымъ. Послѣ долгаго царства отрицанія и сомнѣній историческая рѣчь Достоевскаго явилась первою, и въ тѣ мрачные дни, единственною положительною, богатырскою силою, явилась, въ устахъ вѣчеваго человѣка, прочною почвою родной земли, вмѣсто болотистыхъ хлябей фантастики и далеко не безкровнаго служенія чуждымъ намъ порядкамъ и идеаламъ.

Упоминаніемъ о пушкинской рѣчи можно-бы было кончить съ перечисленіемъ наиболѣе выдающихся чертъ жизнеописанія покойнаго, потому что тѣ нѣсколько мѣсяцевъ что оставалось ему жить, были потрачены имъ почти исключительно на объясненіе своей рѣчи, въ отпоръ ея лжетолкователямъ. Начавъ свое служеніе литературѣ въ Москвѣ, съ горячей, страстной любви къ Пушкину, Достоевскій и завершилъ его, послѣ долгаго скитанія, въ Москвѣ-же и на памяти того-же Пушкина. Но для болѣе полнаго уясненія справедливости мысли о томъ, что не мачихою, а попечительною матерью была Достоевскому жизнь, слѣдуетъ сказать еще немногое; одно на предметъ его семейной жизни, другое на счетъ его болѣзни.

Объ основномъ бытѣ родительской семьи, въ раннемъ его дѣтствѣ, семьи, давшей такія хорошія основы и такія яркія

краски на палитру Достоевскаго уже упомянуто. Прямымъ продолженіемъ, такъ сказать, завѣтомъ отошедшихъ отца и матери, живою преемственностью этихъ хорошихъ, первыхъ дней жизни, была глубочайшая дружба Ѳедора Михайловича съ умершимъ ранѣе его братомъ Михаиломъ, дружба свѣтившая обоимъ долгіе, долгіе годы. Эта дружба, сама по себѣ, служила богатѣйшимъ матеріаломъ, цѣлою музыкою для множества искреннѣйшихъ, лучезарнѣйшихъ страницъ произведеній Достоевскаго. Несомнѣнно, что изъ всѣхъ положительныхъ мотивовъ души человѣческой, въ противовѣсъ широко развѣтвляющимся въ работахъ Достоевскаго мотивамъ отрицательнымъ, именно чувство дружбы, ея сладкое, бальзамическое дѣйствіе, проступаетъ гораздо чаще и настоятельнѣе другихъ и что въ тѣхъ именно страницахъ, которыя трогаютъ читателя глубже другихъ, грѣютъ его и услащаютъ—добрымъ Самаритяниномъ является чувство дружбы и служенія другому человѣку до полнаго самозабвенія и творческаго самоотрицанія. Въ этихъ страницахъ свѣтится добрая память покойнаго брата.

Много дала Достоевскому судьба и при устройствѣ собственнаго очага. Хотя Ѳедоръ Михайловичъ былъ къ женскому обществу вообще равнодушенъ, «имѣлъ къ нему даже какую то антипатію» и только изрѣдка, какъ это значится въ одномъ изъ писемъ его изъ заграницы въ 1862 году, способенъ былъ «чего добраго приласкать молодую венеціанку въ гондолѣ», но тѣмъ не менѣе онъ былъ женатъ дважды. Первая жена его, вдова Исаева, умерла въ 1864 году; «она любила меня безпредѣльно», пишетъ Достоевскій, «я любилъ ее тоже безъ мѣры, но мы не жили съ ней счастливо». На второй женѣ, А. Г. Сниткиной, женился онъ въ 1867 году. На сколько покойный не былъ счастливъ съ первою, на сколько жизнь съ нею, при бездѣтности и глубокой нуждѣ, благодаря, прежде всего, сказочно-невѣроятной безпорядочности самого Ѳедора Михайловича въ веденіи денежныхъ дѣлъ, являлась тяжелѣйшимъ періодомъ его существованія, на столько вторая жена внесла съ собою въ небогатый рабочій домъ его—счастья, расчетливости, и сдѣлала его не бездѣтнымъ. Только вслѣдъ за ея появленіемъ улыбнулась Достоевскому судьба и онъ вступилъ во второй, лучшій, но и послѣдній періодъ своего существованія. Двѣ яркія параллели двухъ браковъ, равно какъ дружба къ брату, тоже дали свое на широкую палитру покойнаго.

Наконецъ, перечисляя выразительнѣйшіе мотивы изъ кото-

рыхъ сложилась жизнь Достоевскаго, одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ, если не важнѣйшее, и, во всякомъ случаѣ, далеко не въ той малой мѣрѣ какъ это обыкновенно признается, должна занять извѣстная болѣзнь его—падучая. Самъ Достоевскій думалъ, и былъ увѣренъ въ томъ, что припадки ея открылись у него только въ Сибири. Воздѣйствіе ее на нравственное бытіе покойнаго, на работу мощнаго, остраго ума, должно было сказываться необыкновенно сильно. При вѣчномъ, безустанномъ наростаніи и движеніи мыслей его, иногда неожиданные, иногда предчувствуемые припадки болѣзни, приключавшіеся въ былые годы приблизительно разъ въ мѣсяцъ, а иногда и по два раза въ недѣлю, а въ послѣднее время непревышавшіе 7—8 разъ въ годъ, должны были рвать эти мысли въ клочки и придавать имъ, по окончаніи припадка, совсѣмъ особое освѣщеніе. Несомнѣнно, что именно въ этой болѣзни слѣдуетъ искать основной ноты множества мотивовъ его творчества, ихъ, отчасти, лунатическаго освѣщенія, непропорціональности фигуръ, и, если можно такъ выразиться, той скомканности дѣйствія которая обусловливаетъ то, что, иногда въ одинъ день, скучивается въ его романахъ столько событій, что легко въ нихъ запутаться. Съ этой-же точки зрѣнія очень справедливымъ оказывается замѣчаніе А. Милюкова будто: «созданные Достоевскимъ образы и положенія представляются намъ не въ чисто объективномъ, можно сказать «бѣломъ свѣтѣ», какъ лица Гончарова или Тургенева, а въ какомъ-то особенномъ освѣщеніи, точно сквозь цвѣтное стекло». Но если болѣзнь обусловливала эти особенности за то она-же, какъ противуположеніе жизни, вызывала высокохудожественные контрасты въ творчествѣ, которые отмѣчаютъ очень многія главы и страницы печатью безсмертія.

Въ «Идіотѣ» имѣется подробное описаніе ощущеній болѣзни. Въ эпилептическомъ состояніи его (Мышкина), говоритъ авторъ: «была одна степень, почти передъ самымъ припадкомъ, когда вдругъ среди грусти, душевнаго мрака, томленія, мгновеніями какъ бы воспламенялся мозгъ и съ необыкновеннымъ порывомъ напрягались разомъ всѣ его жизненныя силы. Ощущенія жизни, самосознанія, почти удесятерялись въ эти моменты, продолжавшіеся какъ молнія. Умъ, сердце, озарялись необыкновеннымъ свѣтомъ: всѣ волненія, всѣ сомнѣнія его, всѣ безпокойства, какъ-бы умиротворялись разомъ, разрѣшались въ какое-то высшее спокойствіе, полное ясной гармонической радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти

проблески были только предчувствіемъ той окончательной секунды (никогда не болѣе секунды) съ которой начинается самый припадокъ. Эта секунда была, конечно, невыносима... Мгновенія эти», продолжаетъ Достоевскій, «были только необыкновеннымъ усиленіемъ самосознанія, если бы надо выразить это состояніе однимъ словомъ—самосознанія и самоощущенія самаго непосредственнаго... Минута ощущенія, припоминаемая и разсматриваемая уже въ здравомъ состояніи, оказывается въ высшей степени—гармоніей, красотой, даетъ неслыханное и неожиданное дотолѣ чувство полноты, мѣры, примиренія и восторженнаго молитвеннаго сліянія съ самымъ высшимъ синтезомъ жизни... Въ этотъ моментъ становится понятнымъ необычайное слово о томъ, что времени больше не будетъ!»

Одинъ изъ важнѣйшихъ и добросовѣстнѣйшихъ изслѣдователей работъ Достоевскаго, докторъ Чижъ, говоритъ что это описаніе эпилептической ауры — войдетъ въ учебники психіатріи. Это много, конечно, но въ этомъ описаніи есть и нѣчто неизмѣримо бо̀льшее: въ немъ, если можно такъ выразиться, какъ-бы отражается литературно-художественная аура творчества самого Достоевскаго. Кому, въ самомъ дѣлѣ, не придетъ на мысль сблизить и сопоставить этотъ «мгновенно воспламеняющійся мозгъ», это «удесятереніе ощущеній и самосознанія», это «разрѣшеніе всего мрака, всѣхъ безпокойствъ мгновеннымъ умиротвореніемъ въ гармонической радости, въ полномъ разумѣ и въ окончательной причинѣ», это «само-ощущеніе въ высшей степени непосредственное», и, наконецъ, смыслъ этого «неслыханнаго и негаданнаго примиренія и восторженнаго молитвеннаго сліянія съ самымъ высшимъ синтезомъ жизни», при полномъ пониманіи того что «времени больше не будетъ»,—съ тѣмъ что имѣется на лицо въ твореніяхъ Достоевскаго? И этотъ синтезъ, и это примиреніе, и это молитвенное сліяніе—составляютъ, дѣйствительно, заключительныя строки крупнѣйшихъ изъ его твореній и на нихъ теплится вѣчный, кроткій, неугасающій свѣтъ, какъ-бы отъ того непостижимаго бытія когда «времени больше не будетъ».

Чрезвычайно важныя критико-психіатрическія изслѣдованія работъ Достоевскаго докторомъ В. Чижомъ, о которыхъ придется вспомнить впослѣдствіи еще разъ, заключаютъ въ себѣ, между прочимъ, очень наглядный списокъ душевно-больныхъ, разныхъ типовъ, выведенныхъ въ сочиненіяхъ Достоевскаго. Количество ихъ слѣдующее: въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» — шесть, въ «Преступленіи и наказаніи» и «Бѣсахъ» — по четыре, въ «Идіо-

тѣ», «Подросткѣ» и «Хозяйкѣ»—по три, въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ»—два и, наконецъ, почти во всѣхъ. по одному. В. Чижъ считаетъ что почти 1/4 дѣйствующихъ у Достоевскаго лицъ — душевно-больные. Совершенно соглашаясь съ В. Чижомъ въ принципѣ, нельзя, однако, не заподозрить точности этой 1/4 части; причисленіе къ психически-больнымъ Раскольникова и Алеши Карамазова, во всякомъ случаѣ нѣкоторая натяжка и, по крайней мѣрѣ, подлежитъ оспориванію или значительной оговоркѣ.

Не легко жилось покойному подъ вѣчнымъ гнетомъ, въ постоянномъ ожиданіи припадковъ неизлечимой болѣзни; не легко было ему отъ вѣчной нужды и горя жизни, отъ каторги и отъ пребыванія заграницей, отъ издателей и цѣнителей. Не легко было ему, но намъ-то приходится признать, не только суровую благодатность для таланта Достоевскаго этихъ испытаній, но и пользоваться ихъ безцѣнными, исключительно сочными плодами.

Еще не успѣла во всѣхъ своихъ отголоскахъ любви и ненависти, по всей Россіи, замолкнуть пушкинская рѣчь; еще не пересохли типографскія чернила послѣдняго нумера «Дневника Писателя», какъ автора ихъ обоихъ — не стало. Онъ умеръ 28 января 1881 года, отъ разрыва сердца. Смерть и похороны Ѳедора Михайловича далеко не лишены дѣйствительнаго, какъ-бы легендарнаго, величія.

Въ тяжкія минуты жизни покойный имѣлъ обыкновеніе раскрывать на удачу то именно Евангеліе, хранящееся въ его семьѣ какъ святыня, которое подарили ему, по пути въ каторгу, жены декабристовъ, и которое, во всю четырехлѣтнюю ночь каторги, постоянно лежало у него подъ подушкою, и, раскрывъ его, читалъ открывавшуюся главу. На этотъ разъ, смертельно больной, онъ поручилъ это сдѣлать женѣ и обозначилось мѣсто: Матвѣя глава III, ст. 15.—«Іоаннъ же удерживалъ его... но Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: не удерживай, ибо такъ надлежитъ намъ исполнить всякую правду.»

— Ты слышишь, сказалъ умирающій женѣ, не удерживай! значитъ я умру!

Въ первый день болѣзни Ѳедоръ Михайловичъ исповѣдался и причастился, на третій вечеромъ въ 8 час. 40 мин. его не стало.

И тогда то, на четвертый день послѣ смерти, увидѣлъ Петербургъ, а за нимъ и вся родная земля, нѣчто небывалое. Маленькая квартира покойнаго, на углу Ямской и Кузнечнаго переулка, въ которой жилъ онъ когда-то, еще юношей, о чемъ,

въ силу какой-то непонятной случайности, онъ позабылъ, такъ жизненно, такъ безъ оглядки, такъ сердечно глядѣлъ онъ только впередъ,—маленькая квартира эта сдѣлалась, на краткій срокъ, психическимъ центромъ Россіи. Кто, совершенно ясно, кто только чаяніемъ, кто съ молитвою, кто съ злорадствомъ, всѣ сознавали что тутъ, съ разрывомъ одинокаго, маленькаго сердца, сразу порвалась большая многомилостивая, еще не все сотворившая сила. Какая то пустота, сразу сказавшаяся въ общественномъ сознаніи, въ общественномъ сердцѣ, потянула, словно по возникшему отъ этого сквозняку, въ узкія улички несмѣтную толпу народа. Совершенно также безъ приготовленія какъ сказана была Достоевскимъ пушкинская рѣчь, состоялись, безъ приготовленія, торжественнѣйшія похороны частнаго человѣка, когда либо видѣнныя не только въ Россіи, но, по внутреннему ихъ значенію, и во всемъ свѣтѣ. Пышнѣе, конечно, хоронила Америка Вашингтона, не совсѣмъ частнаго человѣка; риторичнѣе высился подъ тріумфальною аркою звѣзды, пышный катафалкъ Виктора Гюго—но внутреннихъ слезъ покаянія, но мыслей обращенныхъ въ себя, съ несомнѣннымъ характеромъ молчаливой, очистительной исповѣди, не было — въ такомъ количествѣ и правдѣ— нигдѣ и никогда. Сотни траурныхъ съ лентами вѣнковъ и депутацій, неумолчные многочисленные хоры, пѣвшіе духовныя пѣсни, тысячи народа, потянулись медленно текущею рѣкою по Владимірской улицѣ и Невскому къ Александро-Невской лаврѣ. Всѣ эти, многочисленные, неизвѣстно откуда приходившіе ко гробу покойнаго, ночью и днемъ, таинственные читальщики и чатальщицы псалтыри, какъ на дому, такъ и въ соборѣ; всѣ эти люди толпы въ небогатыхъ одѣяніяхъ, сопровождавшіе гробъ, вся эта, такъ называемая, интеллигенція, шествовавшая вмѣстѣ съ ними и, наконецъ, оказавшаяся ко времени похоронъ несомнѣнною увѣренность въ томъ что и Царь, тоже плоть и кровь своего народа, почтилъ осиротѣвшую семью, тогда еще очень нуждавшуюся, матеріальною помощью, — все это вмѣстѣ взятое, по пути въ православный храмъ, являлось какъ бы изображеніемъ въ каплѣ воды того солнечнаго блеска мирнаго и полнаго роднаго единенія, которое всегда мечталось почившему и становилось ему, иногда, такъ ясно, ясно «въ гармонической радости, въ полномъ разумѣ, въ окончательной причинѣ, въ молитвенномъ сліяніи съ самымъ высшимъ синтезомъ жизни которому суждено наступить тогда—когда времени больше не будетъ...»

Тому чувству сиротства и пустоты, которыя мгновенно сказались въ русскихъ людяхъ со смертью Достоевскаго и обусловили возникновеніе его легендарныхъ, внушительныхъ похоронъ, имѣется очень хорошая обрисовка въ письмѣ графа Л. Толстаго къ Н. Страхову, на предметъ этой смерти. «Какъ-бы я желалъ», пишетъ онъ, «умѣть сказать все, что я чувствую, о Достоевскомъ... Я никогда не видалъ этого человѣка и никогда не имѣлъ прямыхъ отношеній съ нимъ; и вдругъ когда онъ умеръ, я понялъ что онъ былъ самый близкій, дорогой, нужный мнѣ человѣкъ... Все что онъ дѣлалъ было такое, что чѣмъ больше онъ сдѣлаетъ, тѣмъ мнѣ лучше... И вдругъ читаю — умеръ. Опора какая-то отскочила отъ меня.»

Вотъ эти-то послѣднія слова — «опора какая-то отскочила отъ меня» — передаютъ, съ художественностью и образностью присущими только графу Толстому, то состояніе духа, которое охватило Петербургъ а, по телеграфу, и всю Россію на слѣдовавшій по смерти Достоевскаго день. Очень, очень много свободнаго мѣста осталось по выбытіи его изъ числа живыхъ, и это чувствовалось потому что: «покойный безспорно унесъ съ собою въ гробъ нѣкоторую тайну. И вотъ мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ.»

Если только болѣе или менѣе далекому будущему изслѣдователю подъ силу будетъ возсоздать сложное жизнеописаніе Достоевскаго, то, еще труднѣе, представится работа тому человѣку, который задастся мыслью изучить его произведенія. Въ настоящее время въ критикѣ нашей видятся только крайности, только обрывки, только отдѣльные взгляды людей совершенно противуположныхъ лагерей, при чемъ, по очень мѣткому и поэтическому замѣчанію В. Буренина: «злоба журнальныхъ пигмеевъ царапаетъ гробъ крупнаго литературнаго таланта и неменѣе крупнаго человѣка»... «Не подобаетъ имъ», продолжаетъ онъ, «недостойнымъ развязать ремень его сапога, выставлять его подвиги антипатичными, возбуждающими сожалѣніе»... «Это, господа, стыдно, это даже больше чѣмъ стыдно—это неблагородно». Для того что-бы не возвращаться вторично къ критикамъ этого рода, слѣдуетъ здѣсь-же, до бѣглой характеристики таланта покойнаго, указать главнѣйшихъ недоброжелателей этого таланта и его значенія.

Бѣлинскій точно предчувствовалъ что въ Достевскомъ выростетъ современемъ и оперится врагъ который его, Бѣлинскаго,

одолѣетъ. Горячо привѣтствовавъ юношу на первыхъ шагахъ его литературной жизни, сказавъ (1846 годъ) что въ немъ талантъ «огромный», «блестящій яркою самостоятельностью», что «таково неисчерпаемаго богатства фантазіи не часто случается встрѣчать и въ талантахъ огромнаго размѣра», онъ, немедленно, измѣнилъ къ нему свое отношеніе. Уже въ «Хозяйкѣ», (1848 годъ), разсказъ Достоевскаго показался ему «чудовищнымъ» и онъ не видѣлъ въ немъ «ни одного живаго, простаго слова», и все въ немъ показалось ему «изыскано, натянуто, на ходуляхъ, и фальшиво».

Добролюбовъ, разбирая «Униженныхъ и оскорбленныхъ», (1861 годъ), относился хотя и мягче, но, тѣмъ не менѣе, признавалъ Достоевскаго стоящимъ «ниже эстетической критики», находилъ «бѣдность и неопредѣленность образовъ», «необходимость повторять себя» и «неумѣнье обработать каждый характеръ даже на столько, чтобы хоть сообщить ему соотвѣтственный способъ внѣшняго выраженія».

Какой данъ былъ камертонъ Бѣлинскимъ и Добролюбовымъ, куда потянули лебеди, туда направились и лебедята, ученики и послѣдователи ихъ обоихъ.

Чтобы не пестрить именами, приведемъ общія заключенія наиболѣе характерныхъ трехъ изъ нихъ: М. Антоновича, П. Никитина и Н. Михайловскаго, писавшихъ около 1880 года, т. е. тогда, когда Достоевскій уже вошелъ въ полную силу и исполнилось вѣщее пророчество о немъ Бѣлинскаго: «много въ продолженіи его, Достоевскаго, поприща явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы».

М. Антоновичъ («Мистико-аскетическій романъ»), находя что Достоевскій писатель, «дореформенной эпохи», потому, будто-бы, что критики Добролюбова, не имѣли на него вліянія, считаетъ, какъ «Братьевъ Карамазовыхъ», такъ и пушкинскую рѣчь— «верхомъ ретроградной тенденціозности»; старецъ-монахъ Зосима, по его мнѣнію, есть «псевдонимъ» Достоевскаго, а самый романъ не романъ, а какая-то глава изъ Четьи-Минеи; въ этомъ романѣ, утверждаетъ онъ, вся наша интеллигенція обрекается Достоевскимъ на то, чтобы идти въ монастырь; онъ говоритъ, что всѣ наши успѣхи въ реформахъ прошлаго царствованія, новый судъ и пр. согласно Достоевскому, только «посмѣшище надъ правдою» и что, будто бы, согласно Достоевскому, одно только и имѣется средство придти къ свободѣ—это пойти въ рабство!

П. Никитинъ (не Ткачевъ-ли?) говоритъ безъ обиняковъ, что исторія Достоевскаго слѣдующая: «въ юности увлекался... съ лѣтами созналъ свои заблужденія, раскаялся, отрекся отъ прошлаго и строго осудилъ свои юношескія мечтанія» и что въ этомъ нельзя, конечно, не признать «великаго акта публичнаго самозаушенія». Если въ «Подросткѣ», по мнѣнію П. Никитина, Достоевскій «какъ художникъ, очень и очень не великъ», то «Бѣсы» доказываютъ «отсутствіе въ авторѣ всякой творческой фантазіи, творческое банкротство автора «Бѣдныхъ людей». Далѣе говорится, что внутренній міръ души человѣка доступенъ Достоевскому «только отчасти», и что въ этомъ онъ «мало чѣмъ отличается,—отъ прочихъ романистовъ», что у Достоевскаго нѣтъ «образа живаго человѣка», а имѣется «галлерея помѣшанныхъ», «манекены съ ярлыками характера бреда». П. Никитинъ объясняетъ также, что случай разсказанный въ «Двойникѣ» это, яко-бы, случай съ самимъ Достоевскимъ: въ немъ тоже сидятъ два человѣка, изъ которыхъ одинъ «не торгуетъ перомъ», а другой «амикошонствуетъ» съ «Гражданиномъ».

Третій изъ цѣнителей Достоевскаго, котораго мы вспомнимъ, это Н. Михайловскій («Жестокій талантъ»). Онъ находитъ, что лица въ «Бѣсахъ» взяты на прокатъ у Стебницкаго и Клюшникова; что, разъигрывая на струнахъ душевной болѣзни нравственно-политическіе «мотивы», Достоевскій даетъ въ «Идіотѣ» даже цѣлые такіе «оркестры»; что, начиная съ «Преступленія и наказанія», Достоевскій становится спеціалистомъ—кладоискателемъ и «находя искру страданія раздуваетъ ее до цѣлаго костра страданій, а самъ любуется да раскаленныя уголья со священнымъ сладострастіемъ подмѣшиваетъ»; что у Достоевскаго въ его произведеніяхъ цѣлые «этажи» мученій, что въ нихъ цѣлый «звѣринецъ» снабженныхъ волчьими клыками и что всѣ фигурирующіе въ романахъ его образы, «придавлены идеями обязательно изобрѣтенными для нихъ авторомъ». Въ другомъ мѣстѣ документально свидѣтельствуется о томъ, что Достоевскій не имѣлъ, будто бы, права ставить людей нечаевскаго процесса типами современной (тогдашней?) русской молодежи и что онъ Н. Михайловскій, совершенно, будто бы, не понимаетъ «съ кого Достоевскій портреты эти писалъ и гдѣ разговоры эти слышалъ?» Для того чтобы быть хотя сколько нибудь ближе къ истинѣ, Н. Михайловскій признаетъ, что если во многихъ романахъ Достоевскаго есть страницы «огромнаго достоинства» и что «о слабости въ немъ художественнаго чутья не можетъ быть и

рѣчи», тѣмъ не менѣе, помимо «жестокости таланта», сказывающейся, яко-бы, во всемъ и вездѣ, читатель, въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» напримѣръ, постоянно «чувствуетъ присутствіе злонамѣреннаго человѣка (Достоевскаго?)», не можетъ не ощущать «чувства брезгливости» и не признать того, что основная, чудовищная идея романа та «что преступная мысль должна быть также наказуема какъ и преступное дѣяніе»? Чудовищности этой идеи, будто-бы лежащей въ основѣ умствованій Достоевскаго, критикъ противупоставляетъ свое вѣское заключеніе, что «вся политика и публицистика Достоевскаго представляетъ одно сплошное шатаніе и сумбуръ и въ немъ самостоятельная черта—не нужная, безпричинная, безрезультатная жестокость». Въ третьемъ мѣстѣ говорится, что «никакого сколько нибудь опредѣленнаго общественнаго идеала у Достоевскаго не было» и что «какъ публицистъ онъ былъ просто путаница, былъ оторванъ отъ живой жизни», что онъ «наименѣе народенъ», что ему вообще была «ненавистна идея общественной реформы», что не мѣшало, однако, тому что, подъ конецъ жизни, «беллетристическій талантъ его отточился до блеска и остроты ножа».

Три названныхъ цѣнителя—М. Антоновичъ, П. Никитинъ и Н. Михайловскій—были только болѣе крупными лебедятами критики, тянувшими вслѣдъ за лебедями въ торжественной процессіи «развѣнчиванія», вытравливанія Достоевскаго нашими псевдо-либералами. Имъ вслѣдъ шуршила и егозила, на всѣ лады и по всѣмъ изданіямъ, мелкая пташка, большею частью безъименные цѣнители. Для обращика этихъ отзывовъ можно привести одинъ, помѣщенный въ 1873 году въ несуществующемъ нынѣ «Сіяніи». Въ немъ сказано, чернымъ на бѣломъ что: «больно видѣть паденіе писателя» въ которомъ сказываются «плачевные результаты ренегатства»; что о «Бѣсахъ», собственно говоря, не стоитъ даже и толковать, а слѣдуетъ ограничиться простымъ «библіографическимъ отзывомъ», какіе дѣлаются, такъ, вѣроятно, думалъ неизвѣстный, но смѣлый критикъ, о поваренныхъ книгахъ и календаряхъ? Онъ же заключаетъ, что къ Достоевскому можно относиться только «равнодушно» или «съ презрѣніемъ, или сожалѣніемъ», такъ какъ онъ, авторъ «Бѣсовъ», «взводитъ клеветы на все живое».

Та пѣна у рта, то, такъ сказать, высовываніе языка, которые сказались при сужденіяхъ о Достоевскомъ въ псевдо-либеральныхъ критикахъ, ясно свидѣтельствуютъ, не въ переносномъ, а въ совершенно физическомъ, или, лучше, механическомъ смы-

слѣ, на сколько были они «придавлены» Достоевскимъ, выросшимъ, къ концу семидесятыхъ годовъ, во всю ширь и мощь своего первостепеннаго таланта.

Приведенныхъ обращиковъ недоброжелательной, тенденціозной и несправедливой, до полнѣйшей нелѣпости, критики — достаточно. Въ противность имъ Достоевскій вызвалъ цѣлый рядъ другихъ, совершенно инаго характера.

Какъ бы переходомъ могутъ служить нѣсколько цѣнителей, болѣе неопредѣленныхъ, робкихъ, какъ-бы недостаточно интересовавшихся Достоевскимъ, или, правильнѣе, болѣе политичныхъ, которые, какъ «ни то, ни се» въ убѣжденіяхъ, какъ пасмурная погода въ природѣ, опредѣленнаго мѣста, относительно Достоевскаго, не занимаютъ, яснаго взгляда на него не имѣютъ, и, не проявляя существованія въ себѣ скелета, являются какими-то мягкотѣлыми. Таковы: П. Анненковъ («Воспоминанія и критическіе очерки»), К. Арсеньевъ («Многострадальный писатель»), Н. Буличъ («Достоевскій и его сочиненія»), Д. Писаревъ («Сочиненія»), Е. Марковъ («Критическія бесѣды» въ «Русской рѣчи»), З-нъ (статьи въ «Библіотекѣ для чтенія») и немногіе другіе.

Окружая Достоевскаго плотнымъ кольцомъ — бронею, какъ великую славу народнаго духа, одинъ другаго поддерживая и дополняя въ защитѣ его свѣтлой памяти и въ разъясненіи глубочайшаго значенія, расположились длинною вереницею его защитники. Вотъ, не совсѣмъ полный, перечень ихъ: Н. Страховъ («Біографія, письма» и пр. и критическія статьи), О. Миллеръ («Матеріалы для жизнеописанія Достоевскаго», «Публичныя лекціи» и критическія статьи), В. Буренинъ («Критическіе очерки»), Вл. Соловьевъ («Три рѣчи въ память Достоевскаго»), В. Чижъ («Достоевскій, какъ психопатологъ»), А. Суворинъ (Очерки и и статьи), А. Милюковъ («Отголоски на литературныя и общественныя явленія» и критическія статьи), Н. Звѣревъ («Рѣчь въ январѣ 1882 г. въ Обществѣ любителей Россійской словесности и статьи въ «Руси»), А. Оболенскій («Оцѣнка идей Достоевскаго», статьи въ «Мысли») С. Андреевскій («Братья Карамазовы,» чтеніе въ Литературномъ обществѣ, 1888 года), Н. Ахшарумовъ (статьи во «Всемірномъ трудѣ») и многіе другіе. Списокъ этотъ былъ бы совершенно не полонъ, еслибы не помѣстить въ немъ имени друга и сотрудника Достоевскаго, покойнаго какъ и онъ, лучшаго критика нашего Аполлона Григорьева и не вспомнить, къ слову, иностранцевъ: Георга Бран-

деса, Франциска Сарсэ и Мельхіора Вогюэ; если бы послѣдніе писали у насъ и были русскими, ихъ вѣскія мнѣнія легли-бы вполнѣ вершительно на чашку вѣсовъ и безъ того уже давно безпрекословно склонившуюся въ пользу Достоевскаго.

Выше приведены были слова сказанныя о Достоевскомъ что онъ былъ не только «крупный литературный талантъ,» гробъ котораго царапаютъ литературные пигмеи, но и «не менѣе крупный человѣкъ», совершавшій «подвиги». Еще раньше сказано было что Достоевскій названъ «настоящимъ героемъ литературнаго поприща». Никакого «подвига» въ обыкновенной писательской дѣятельности, собственно говоря, нѣтъ, и если въ ней приходится замѣтить особенности «подвига», то, значитъ, эта дѣятельность, выходитъ за обыкновенные предѣлы писательства. И дѣйствительно: дѣло въ томъ что, не только литератора-писателя вѣнчала на пушкинскомъ праздникѣ толпа, не только литератора торжественно хоронила въ Петербургѣ «улица», со всею интеллигенціею за одно, а въ томъ, что тутъ, при отрезвлявшемся къ восьмидесятымъ годамъ взглядѣ общества, Достоевскій какъ литераторъ, не смотря на всю силу его таланта, какъ бы ушелъ вдаль, уступивъ мѣсто другому типу, типу «человѣка — дѣятеля», типу которому, пожалуй, и до сегодня не имѣется родоваго названія такъ онъ новъ, исключительно народенъ и многозначущъ. Въ Россіи, и только въ Россіи, съ ея совершенно особенными условіями жизни, могъ подняться во всю свою вышину «человѣкъ — дѣятель Достоевскій». Только Россія и одна только Россія, на столько счастлива, что имѣетъ право надѣяться пріискать со временемъ, родовое названіе для подобныхъ Достоевскому людей.

Выше были упомянуты слова Достоевскаго: «Журналъ дѣло великое!» Онъ, большой романистъ, не сказалъ однако: «романъ великое дѣло!» И дѣйствительно: журналъ, какъ одна изъ формъ воплощенія литературнаго творчества у насъ, въ особенности въ шести—и семидесятыхъ годахъ, гдѣ все кипѣло и баломутилось, былъ, безъ всякаго сомнѣнія, удобнѣе романа для постояннаго, быстраго, не стѣсняемаго особенно сильно условіями эстетическими, обмѣна мыслей между авторами и читателями; «Господи! сколько еще не сдѣлано и не сказано?» писалъ Достоевскій въ 1862 году, въ первый годъ редактированія имъ «Времени». Этому обилію мыслей въ Достоевскомъ, обусловливавшему очень многія особенности его творчества, имѣются нѣсколько тождественныхъ показаній, отдѣленныхъ одни отъ

другихъ на дальнія разстоянія, почти на всю жизнь покойнаго.

Докторъ Ризенкампфъ говоритъ что Достоевскій, въ самые ранніе годы, уже «любилъ поэзію страстно, но писалъ прозою потому, что на обработку формы не хватало у него терпѣнія... мысли въ его головѣ родились подобно брызгамъ въ водоворотѣ... природная, прекрасная декламація его выходила изъ границъ артистическаго самообладанія». Н. Страховъ, тоже давно и хорошо знавшій Достоевскаго другъ его, объясняя, уже по смерти Достоевскаго, собственное заявленіе покойнаго о поспѣшности и недодѣланности многихъ его произведеній, говоритъ, что хотя Достоевскому и жалко было этихъ «недовершенныхъ созданій», но главное для него заключалось всегда въ томъ, чтобы «подѣйствовать на читателей, заявить свою мысль» и, съ одной стороны, добывая средства для жизни, съ другой «постоянно подавать голосъ и не давать публикѣ покоя своими мыслями».

Вотъ этотъ то «не дохватъ» времени для обработки формы, эта необходимость скорѣе и во всемъ, высказаться, эта «недовершенность созданій» и выходъ художника изъ границъ «артистическаго самообладанія», отличавшіе Достоевскаго во всю жизнь, находятъ вѣскія подтвержденія и въ нѣсколькихъ другихъ, весьма замѣчательныхъ отзывахъ.

П. Анненковъ, въ своихъ «Воспоминаніяхъ» сообщаетъ о томъ, что Бѣлинскій привѣтствовалъ въ «Бѣдныхъ людяхъ», первое появленіе у насъ «соціальнаго романа»; разбирая «Униженныхъ и оскорбленныхъ» Добролюбовъ, въ 1861 году, въ своей послѣдней статьѣ, призналъ этотъ романъ «ниже эстетической критики», сказалъ, что онъ не больше какъ «журнальная работа», въ которой автору не до обработки, не до строгости къ себѣ въ развитіи мысли, а съ него «довольно того, что хоть кое-какъ успѣетъ бросить эту мысль на бумагу». «Фельетоннымъ» назвалъ этотъ романъ и А. Григорьевъ и, наконецъ, самъ Достоевскій, въ 1864 году, сознался въ справедливости этого отзыва и прибавилъ, что «такъ я писалъ и всю мою жизнь, такъ написалъ все, что издано мною, кромѣ повѣсти, «Бѣдные люди» и нѣкоторыхъ главъ изъ «Мертваго дома».

Ясно что, отъ раннихъ дней юности, покойному прежде всего хотѣлось «скорѣе высказываться». Желаніе высказываться можетъ, конечно, быть присуще и всякому бездарному говоруну

но тогда оно, какъ и самъ говорунъ, остаются при своемъ ничтожествѣ. Но если это желаніе, при постоянномъ, усиленномъ накипаніи мыслей и неустанной работѣ зоркой наблюдательности, да еще въ такой смутный періодъ какъ шестидесятые и семидесятые годы, гдѣ всѣ основы шатались, всѣ отношенія спутывались, имѣетъ мѣсто въ такомъ первоклассномъ діалектическомъ умѣ какимъ, совершенно исключительно, былъ умъ Достоевскаго, при участіи такого художественнаго таланта и такого сердца какими отличался Достоевскій, то это желаніе становилось, такъ сказать, вершительнымъ, законодательнымъ во всей его судьбѣ.

Весьма назидательно видѣть какъ, за все время писательской дѣятельности Достоевскаго, почти за цѣлыхъ сорокъ лѣтъ, кругозоръ подлежавшій его наблюденію и вызывавшій потребность быстро «высказываться», постоянно, то и дѣло, расширялся и смерть застигла автора именно въ ту минуту когда кругозоръ этотъ, въ силу синтеза долгой жизни, упорныхъ наблюденій и неустаннаго бодрствованія, сталъ особенно широкъ, а оратора стали, наконецъ, слушать. Трудно пріискать, даже у насъ, гдѣ литература насчитываетъ столько безвременныхъ смертей, смерть болѣе безвременную, болѣе обидную; но—фактъ совершился и надо брать его такимъ каковъ онъ есть.

Собственно говоря въ Достоевскомъ два человѣка переплевшіеся одинъ съ другимъ тѣсно, неразрывно, органически. Прежде всего онъ — отмѣченный божественнымъ перстомъ художникъ слова, имѣющій въ избыткѣ всѣ необходимыя для этого разнообразныя способности, перечисленіе которыхъ было-бы общимъ мѣстомъ; во вторыхъ онъ—то что называлось въ былое время трибуномъ или вѣчевымъ человѣкомъ, немногіе изъ видовъ дѣятельности котораго, въ силу царящаго вездѣ раздѣленія труда, имѣются на лицо и въ настоящее время и воплощаются въ совершенно различныя, но очень близкія одна ко другой, особи: проповѣдника, оратора, публициста. Этотъ второй человѣкъ, въ концѣ концовъ, въ силу служенія беззавѣтно любимой Россіи, поборолъ въ Достоевскомъ перваго человѣка и именно этою стороною своей дѣятельности исключительно великъ и еще недостаточно понятъ Достоевскій. Тоже вліяніе которое оказалъ на испанское средневѣковое рыцарство Сервантесъ своимъ «Донъ-Кихотомъ», произвелъ Достоевскій на русское псевдо-западничество и quasi-либерализмъ.

Разобрать въ отдѣльности обѣ дѣятельности его — и можно, и

нельзя, но, во всякомъ случаѣ, къ задачамъ этого очерка не относится и относиться не можетъ. Уже и теперь о покойномъ существуетъ цѣлая литература друзей и враговъ, о нѣсколькихъ отзывахъ которыхъ мы уже вспоминали, но она будетъ рости и окончаніе, завершеніе этого роста едва ли предвидится. Вообще-же, по времени, хронологически, въ дѣятельности Достоевскаго сказываются два рѣзко отдѣляющихся отдѣла. Одинъ идетъ отъ «Бѣдныхъ людей» начиная до 1867 года, до второй женитьбы, или, правильнѣе, до появленія въ 1866 году «Преступленія и наказанія»; второй періодъ, послѣдніе пятнадцать лѣтъ жизни, это полный разцвѣтъ творчества и окончательное уясненіе Достоевскимъ себя-себѣ и другимъ, синтезъ любопытнѣйшаго бытія, синтезъ выразившійся, наконецъ, въ пушкинской рѣчи и «Дневникѣ писателя».

Въ первомъ періодѣ видятся геніальные розмахи пера. «Я сталъ», говоритъ Достоевскій въ «Дневникѣ» 1877 г., «писателемъ вдругъ, до тѣхъ поръ еще ничего не писавши»; въ этомъ періодѣ наростаніе матеріала чувствъ и мыслей, обильно приносимаго жизнію, наблюденія, отмѣтки, неустойчивость въ томъ что именно и какъ нужно дѣлать. Тутъ цѣлая удаляющаяся видимость самыхъ разнообразныхъ вещей, открывающаяся превосходною тріумфальною аркою «Бѣдныхъ людей», заставившихъ Некрасова и Григоровича прибѣжать къ Достоевскому ночью и вызвавшихъ возгласъ Бѣлинскаго обращенный къ юношѣ — автору: «да вы понимаете-ли сами, что вы это написали»? Здѣсь, въ этомъ періодѣ, одно уже перечисленіе заглавій, если только заглавія находятся въ органической связи съ самими произведеніями, свидѣтельствуетъ о нѣкоторомъ качаніи Достоевскаго: «Двойникъ», «Слабое сердце», «Честный воръ», «Чужая жена и мужъ подъ кроватью» «Бѣлыя ночи», «Скверный анекдотъ», «Дядюшкинъ сонъ. Изъ мордасовскихъ лѣтописей» и многія другія. Тутъ, въ этихъ работахъ, какъ въ прелюдіи оперы, если уже и слышатся основные, сочные мотивы будущихъ могучихъ гармоній, но есть и много наноснаго, много дани времени, подражанія Гоголю и нѣкоторая доля того чѣмъ отличалась тогдашняя «муза мести и печали», хотя и безъ оскоминной гражданской скорби, только что вступавшей въ тѣ дни въ силу. До этой скорби не опускался Достоевскій никогда.

Въ этомъ періодѣ жизни Достоевскаго, полномъ, благодаря обстоятельствамъ и личной небрежности его, самой тяжкой нужды, когда надъ нимъ висѣла темная ночь четырехлѣтней

каторги («четыре года я былъ», пишетъ онъ въ 1854 году, «похороненъ живой и зарытъ въ гробу»), когда тянулись пять лѣтъ жизни въ Семипалатинскѣ, а затѣмъ тяжелое время въ Москвѣ, когда ему, болѣзненному, не на что было купить пальто и калоши, а счастья семейной жизни первая жена ему не давала; когда надъ нимъ тяготѣла вторая ссылка—четырехлѣтнее пребываніе заграницею и необходимость «доставать 2 талера», когда его возмущалъ полицейскій надзоръ, а кабала издателей чувствовалось ежеминутно и дѣлала изъ него литературную «почтовую клячу», «литературнаго пролетарія», когда, наконецъ, не однократны были, въ особенности въ началѣ, мысли о самоубійствѣ,—Достоевскій, только въ силу крайней энергіи духа, на перекоръ болѣзни, остается на своемъ посту и работаетъ, работаетъ, иногда, чудовищно много. Только временно, въ концѣ этого періода, чувствуетъ онъ приливъ струи свѣжаго воздуха, сознаетъ, такъ сказать впервые, ставъ руководителемъ «Времени», а потомъ «Эпохи», всю ширину своихъ крыльевъ, всю силу своей мощи, весь доступный его широкому взгляду кругозоръ русской жизни.

Второй періодъ, начало котораго почти совпало со вторымъ бракомъ и значительно большею хозяйственностью въ жизни, это періодъ дѣятельности въ Достоевскомъ преимущественно втораго человѣка — трибуна, оратора, проповѣдника, публициста. Открывается этотъ второй періодъ колоссальнѣйшимъ и безсмертнѣйшимъ произведеніемъ его, стоящимъ совершеннымъ особнякомъ въ своемъ скромномъ величіи — «Преступленіемъ и наказаніемъ» (1866 г.), въ которомъ, въ полномъ единеніи, и, если можно такъ выразиться, въ дружномъ благодушествѣ и равновѣсіи, сплелись воедино оба человѣка — великій художникъ и зычный вѣчевой человѣкъ. Далѣе въ быстро слѣдовавшихъ одна за другою замѣчательныхъ работахъ—въ «Идіотѣ» (1868 г.) «Бѣсахъ» (1871 г.), »Подросткѣ» (1875 г.), «Братьяхъ Карамазовыхъ» (1879 г.), и, наконецъ, въ «Дневникѣ писателя» второй человѣкъ окончательно побѣждаетъ перваго и посвящаетъ себя всецѣло изслѣдованію общественныхъ явленій нашей печальной жизни семидесятыхъ годовъ, съ тою глубиною безпощадной діалектики, съ тѣмъ предвидѣніемъ имѣвшихъ совершиться событій, которыя, не только въ нашей литературѣ, но и во всѣхъ другихъ, ищутъ себѣ подобныхъ.

Оглядывая въ совокупности всю сорока-лѣтнюю дѣятельность покойнаго необходимо намѣтить относительно его таланта, какъ

это было сдѣлано относительно жизнеописанія, только нѣкоторыя основныя черты, тѣ именно которыя единственны, исключительны и составляютъ его, и нашу гордость.

Совершенно вѣрно замѣчаетъ Вл. Соловьевъ, что предметъ романовъ Достоевскаго не «*бытъ*» общества, а общественное «*движеніе*»; по мѣткому выраженію Н. Звѣрева, проводящему параллель между Тургеневымъ и Достоевскимъ, первый угадывалъ повороты и намѣчалъ дальнѣйшее движеніе жизни *куда мы идемъ*, а Достоевскій, одаренный даромъ прозрѣнія, изображалъ то *чѣмъ мы кончимъ*; не менѣе характерно заявленіе Н. Страхова что покойный не написалъ и $^1/_{10}$ доли тѣхъ романовъ, которые задумалъ, такъ быстро, такъ воспріимчиво, такъ органически — заодно, жилось «чувствовавшей мысли» Достоевскаго съ тѣмъ что происходило тогда въ обществѣ. И какъ зорко, какъ пророчески смотрѣлъ онъ на это общество! Кто не помнитъ, а если не помнятъ, то слѣдуетъ обновить въ памяти, что только за два дня до появленія въ «Русскомъ Вѣстникѣ» описанія преступленія совершоннаго Раскольниковымъ въ «Преступленіи и наказаніи», московскія газеты сообщили объ убійствѣ студентомъ Даниловымъ ростовщика, съ какими то «особыми планами», и что описаніе это близко предшествовало покушенію Каракозова; слѣдуетъ напомнить что «Идіотъ», а вслѣдъ за нимъ «Бѣсы», появились передъ разоблаченіями нечаевскаго процесса, точно будто самъ Достоевскій принималъ въ дѣятельности нечаевцевъ ближайшее участіе, точно будто, въ художественномъ ясновидѣніи своемъ, сжился онъ съ поступательнымъ движеніемъ тогдашней судорожной жизни органически; онъ, Достоевскій, замѣчаетъ Вл. Соловьевъ, предугадывалъ повороты этого движенія и заранѣе судилъ ихъ, на что имѣлъ тѣмъ большее право, «что самъ первоначально испыталъ тѣ уклоненія, самъ стоялъ на той не вѣрной дорогѣ». И это предвидѣніе Достоевскимъ будущихъ событій, было отнюдь не чудомъ, а естественнымъ слѣдствіемъ быстроты и точности работы его мощнаго ума, въ которомъ многое, изъ того что стало для этого ума *давно прошедшимъ*, потому что, какъ передуманное и приведенное къ итогамъ отбрасывалось—виднѣлось для другихъ, многихъ и очень многихъ умовъ, *только въ будущемъ* и далеко еще не наступило.

Н. Страховъ говоритъ совершенно правильно что Достоевскій въ дѣятельности своей шелъ порывами, отдѣльными подъемами, и что этихъ подъемовъ имѣется четыре: «Бѣдные люди»,

«Мертвый домъ», «Преступленіе и наказаніе» и «Дневникъ писателя», и что направляющая его дѣятельности, общая у него съ нашими первоклассными писателями—Ф. Визиномъ, Карамзинымъ, Грибоѣдовымъ, Пушкинымъ и Гоголемъ та, что, увлекаясь вначалѣ чужимъ, всѣ они обязательно повернулись къ своему, родному. Не менѣе замѣчательно, а для тѣхъ кто расположенъ дѣлать правильныя заключенія — не опровержимо по своимъ выводамъ то, что Гоголь въ «Перепискѣ съ друзьями» и «Исповѣди», пришелъ къ тѣмъ именно общимъ заключеніямъ, на которыхъ кончилъ Достоевскій.

Выше сказано было что значенію болѣзни покойнаго въ характерѣ его творчества, придаютъ, вообще, меньшее значеніе чѣмъ бы слѣдовало. Сказано было также что именно этой болѣзни его слѣдуетъ приписать то лунатическое освѣщеніе, тѣ рѣзкіе и дерзкіе раккурси, тѣ не пропорціональныя освѣщенія и криволинейность фигуръ и типовъ которые, то и дѣло, поражаютъ читателя. Было гдѣ-то замѣчено, что люди нормальные для Достоевскаго «неудобны»; что эксцентрическія идеи тѣснятся въ его фантазіи болѣе чѣмъ «художественные образы»; что «иныя вещи Достоевскаго даютъ столько наслажденія (почти всегда мучительнаго) сколько и какого ни въ какомъ другомъ мѣстѣ не найдешь»; сказано было также, что никто такъ далеко не заходилъ въ изображеніи всякихъ «паденій души человѣческой» какъ онъ; что главные его герои—«больныя натуры съѣденныя идеею», и что значительная часть публики «боится его романовъ».

Все это, во многихъ отношеніяхъ, правда. Въ длинной вереницѣ скорбныхъ, страдальческихъ образовъ, созданныхъ Достоевскимъ, которые, если-бы ихъ изобразить въ рисункѣ (и что-же, въ самомъ дѣлѣ, дѣлаютъ наши живописцы?), дали-бы нѣчто болѣе новое, болѣе потрясающее чѣмъ знаменитые «пляски смерти» средневѣковой Европы, Достоевскій стоитъ дѣйствительно совершеннымъ особнякомъ. Его смѣлыя обрисовки, его лунатическій колоритъ, чрезвычайно близки къ свѣто-тѣни Рембрандта, Рибейры, Караваджіо и Доминикино, огромное количество работъ которыхъ имѣетъ своимъ предметомъ, какъ и писанія Достоевскаго, всякихъ одержимыхъ, эпилептиковъ, бѣснующихся и т. п. Несомнѣнно, что во всѣхъ этихъ придавленныхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ, озлобленныхъ, защемленныхъ, въ этихъ душевно-больныхъ всѣхъ наименованій, которыми кишмя кишитъ творчество Достоевскаго, имѣется на лицо какое-то, если можно такъ выразиться, насиль-

ственное суммированіе зла и печали! но, во-первыхъ, надо вспомнить въ какое страшное, близкое по типу ко времени макабрскихъ плясокъ и самобичующихся среднихъ вѣковъ время, писалъ Достоевскій; во вторыхъ, можно-ли не признать вершительнаго вліянія на покойнаго его болѣзни? въ-третьихъ, кѣмъ и когда признано за возможное упрекать писателя въ томъ, что онъ избралъ для себя ту или другую особенность творчества, упрекать, такъ сказать за тѣ физическія и душевныя черты, которыя дала ему природа? Вопросъ не въ томъ что̀, а ка̀къ изобразилъ писатель то что̀ задумалъ изобразить?

Только ставъ на эту, единственно прочную почву, правильна будетъ оцѣнка покойнаго, и тутъ, дѣйствительно, замѣчаются такія великія очертанія его таланта, которыя могутъ и должны составить славу нашей литературы.

Душевно-больные, какъ сказано, настоящая сфера Достоевскаго. Они, какъ замѣчаетъ докторъ В. Чижъ (значительно преувеличивая), составляютъ $^1/_4$ часть его типовъ и доказываетъ, на основаніи наблюденій такихъ спеціалистовъ какъ Pinel, Esquirol, Guislain, Griesinger, Lambroso и Kraft-Ebing, — доказываетъ съ очевидностью поразительною, что покойный былъ великимъ, геніальнымъ психопатологомъ, что онъ, художественнымъ прозрѣніемъ, опередилъ даже точную науку и многое изъ него перейдетъ, несомнѣнно, въ учебники психіатріи. Къ числу такихъ замѣчательностей В. Чижъ относитъ почти совершенно правильно и мастерски объясненныя и развитыя: эпилептическую ауру (Мышкинъ), старческое слабоуміе (старикъ Сокальскій и князь К.), нравственное помѣшательство (Раскольниковъ (?) и Свидригайловъ, Смердяковъ и Иванъ Карамазовъ), противоположеніе страсти и аффекта (во многихъ лицахъ, напримѣръ, въ Дмитріѣ Карамазовѣ), галлюцинаціи (Иванъ Карамазовъ — цѣлая глава), противуположенія аффекта и настроенія (Сокальскій, Алеша Раскольниковъ), истерію, извращеніе прихотей, навязчивыя идеи (Лиза Хохлакова), связь религіозности и половыхъ влеченій, наслѣдственность, значеніе пьянства и т. д. Въ высшей степени характерно что В. Чижъ, выставляя въ полный рельефъ безсмертныя заслуги художника для науки, словно для усиленія этого напоминаетъ о томъ, что Гоголь, въ «Запискахъ съумасшедшаго», ясно доказалъ свое незнаніе эмбріологіи и развитія этой болѣзни и что даже Шекспиръ, заставляя Леди Макбетъ погибнуть отъ угрызеній совѣсти, сдѣлалъ крупнѣйшую ошибку, такъ какъ подобныхъ фак-

товъ наука психіатріи — не знаетъ. Изслѣдованія психическихъ болѣзней, по Шекспиру, вызвали, какъ извѣстно, цѣлую литературу; стоитъ вспомнить объ Stark'ѣ и Elze, для того, чтобы оцѣнить значеніе этихъ изслѣдованій и ожидать подобныхъ-же о Достоевскомъ.

Въ другой, совершенно другой отрасли знанія и сердцевѣдѣнія, въ юридической наукѣ, согласно очень вѣскому показанію А. Кони, Достоевскій имѣетъ тоже удивительное значеніе. Въ рѣчи своей, сказанной 2 февраля 1880 г. въ юридическомъ обществѣ, послѣ смерти Достоевскаго, А. Кони указалъ на то, что покойный, давъ въ своихъ работахъ правильный анализъ преступленія въ его внутреннемъ содержаніи, далъ также анализъ типовъ невмѣняемости, останавливался на многихъ процессуальныхъ вопросахъ—о доказательствахъ, о душевно-больныхъ, о мѣрахъ пресѣченія способовъ уклоняться отъ суда, о задачахъ слѣдователя и т. п. и изобразилъ многое, какъ въ преступникѣ, такъ и въ судѣ и наказаніяхъ судомъ налагаемыхъ, такъ правильно, что показанія эти должны быть приняты къ свѣдѣнію наукою юриспруденціи. А. Кони вспомнилъ также о томъ, что подавляющій реализмъ подробностей въ «Преступленіи и наказаніи», получилъ «характеръ какого-то грустнаго и чуткаго предсказанія» въ громкихъ процессахъ Данилова и Лансберга; что «тонкое изображеніе рядомъ двухъ видовъ убійства—предумышленнаго и умышленнаго,—столь близкихъ по формѣ, столь различныхъ по внутренней структурѣ, по происхожденію», что это ихъ «разграниченіе»—«явилось подъ перомъ Достоевскаго за *пять* лѣтъ до того, какъ оно нашло себѣ, наконецъ, законное выраженіе въ вышедшемъ на время изъ своей летаргіи нашемъ Уложеніи о Наказаніяхъ». Достоевскій, заключаетъ А. Кони, «указывая гдѣ правда и какъ находить ее, постоянно повторялъ: милость! милость!» В. Чижъ замѣчаетъ, что, по вопросу о значеніи одиночнаго заключенія, Достоевскій тоже опередилъ науку и указалъ на недостатки постановки экспертизы, недостатки, вызывающіе у насъ такія частыя и нежелательныя попущенія. О значеніи Шекспира для юриспруденціи писали: Ihering, Kohler; вѣроятно изслѣдованіе Достоевскаго, съ этой точки зрѣнія, продолжится и у насъ.

Говоря о значеніи Достоевскаго для юриспруденціи, любопытно было-бы знать какъ помирить отзывъ А. Кони съ тѣмъ, что̀ выразилъ Н. Михайловскій, будто покойный требовалъ наказанія, не только преступнаго дѣянія, но и преступной мысли,

и увѣреніе М. Антоновича, что Достоевскій проповѣдывалъ рабство?! По вопросу о психіатріи, оглядывая, на сколько это возможно, корифеевъ всѣхъ другихъ литературъ, мы находимъ, что эту завидную судьбу прозрѣнія въ науку художествомъ, относительно душевныхъ болѣзней и уголовной практики, раздѣляетъ Достоевскій только съ Шекспиромъ. Уже совершенно одинокимъ, совершенно исключительнымъ, является онъ въ анализѣ душевныхъ явленій, анализѣ направившемъ его къ тому синтезу, къ которому онъ, въ концѣ концовъ, пришелъ. Характерно, что еще въ 1845 году, въ одномъ изъ своихъ писемъ, на первыхъ шагахъ въ литературѣ, покойный писалъ: «во мнѣ находятъ оригинальную струю, состоящую въ томъ, что я дѣйствую анализомъ, а не синтезомъ. Гоголь-же беретъ прямо цѣлое и отъ того не такъ глубокъ какъ я». Дѣйствительно, съ увѣренностью острѣйшаго скальпа анатома, идетъ мысль Достоевскаго по извивамъ чужой человѣческой души и мысли, какъ только этотъ скальпъ пущенъ имъ въ ходъ для производства vivisecti'и, въ томъ или другомъ направленіи. Нисколько не мѣняется сущность этой особенности мышленія Достоевскаго отъ того, что она имѣла особые, излюбленные пути, такъ сказать свои способы и свою технику, потому что никто такъ далеко какъ онъ не заходилъ въ изображеніи всякихъ паденій души человѣческой и что полнымъ хозяиномъ являлся онъ именно въ изслѣдованіи явленій не нормальныхъ. Духовный міръ человѣческой души, въ особенности въ его болѣзненныхъ отклоненіяхъ, это—настоящая стихія Достоевскаго, въ которой онъ двигался съ быстротою и точностью движенія удивительными. Распластывая, скальпируя, обнажая какое-либо бугорчатое явленіе до очевидности, онъ подсовываетъ его, такъ сказать, подъ какой-то чудовищно-сильный микроскопъ, сильный до того, что смотрѣніе въ него внушаетъ смотрящему холодный ужасъ, и убѣждаетъ въ томъ, что какая-либо еле видимая простымъ глазомъ, чуть замѣтная, черточка, или щелочка, разсматриваемаго объекта, вовсе не черточка—а цѣлый міръ сочетаній, сплетеній или развѣтвленій и что, въ концѣ концовъ, въ этой-то именно, еле видной невооруженному глазу, темной черточкѣ и обрѣтается святая святыхъ доброты и благодати, и что за эти-то именно проблески красоты, покрытые всякимъ загниваніемъ, слѣдуетъ не только прощать, но и любить человѣка. Любить—значитъ поклониться, и въ этомъ-то смыслѣ поклонился Раскольниковъ Сонѣ, пошедшей за нимъ на каторгу, Сонѣ, любовь которой къ людямъ воскресила, или, пра-

вильнѣе, пробудила въ немъ вѣру въ человѣка. Поклонившись ей Раскольниковъ сказалъ: «я не тебѣ поклонился, а всему страданію человѣческому поклонился», и вотъ, съ преступникомъ Раскольниковымъ за одно кланяется Сонѣ въ ноги и читатель, который, несомнѣнно и во многомъ, тоже преступникъ, тоже, такъ или иначе, вызывалъ страданія человѣческія. Объ этомъ невидимомъ поклоненіи безчисленныхъ читателей, объ этой сильнѣйшій побѣдѣ, когда либо одержанной художникомъ, Достоевскій, при описаніи поклоненія Раскольникова, благоразумно и любезно умалчиваетъ, но за то во всю мощь своего богатырскаго голоса говоритъ онъ объ этомъ поклоненіи, въ другой формѣ конечно, въ пушкинской рѣчи, когда восклицаетъ: «смирись гордый человѣкъ, потрудись праздный человѣкъ!»

О необычайной силѣ анализа Достоевскаго говорено много, а будетъ говорено гораздо больше; онъ такъ поразительно великъ и остръ, что равнаго ему, у всѣхъ писателей міра, не пріискать; близокъ къ нему только анализъ графа Л. Толстаго. Эта необычайная сила, чтобы развиться, должна была имѣть, помимо своей причинности въ условіяхъ физіологическихъ, еще и большую практику. Въ этомъ отношеніи достойны большаго вниманія слова Н. Страхова относительно того, что въ поѣздку за границу, въ 1862 году, «Достоевскаго не занимали особенно ни природа, ни историческіе памятники, ни произведенія искусства, за исключеніемъ развѣ самыхъ великихъ», что, во Флоренціи, напримѣръ, онъ «не добрался даже до Венеры Медицейской», потому что «все вниманіе его было устремлено на людей, и онъ схватывалъ только ихъ природу и характеръ... Его интересовали люди, исключительно люди, съ ихъ душевнымъ складомъ, съ образомъ ихъ жизни, ихъ чувствъ и мыслей». И это продолжалось во всю жизнь Достоевскаго, изъ которыхъ цѣлыхъ двадцать лѣтъ лицомъ къ лицу съ нашей бѣсовщиной и крамолой. Практика очень внушительная и очень большая. О ней, о его наблюдательности, помнятъ и всѣ тѣ, кто встрѣчался съ Достоевскимъ, кто помнитъ его довольно угрюмый, но мягкій, задумчивый, кроткій взглядъ, его обычную, созерцающую молчаливость, только изрѣдка прерываемую такими неожиданностями, такими вспышками, какъ та, что имѣла мѣсто на знаменитомъ либеральномъ обѣдѣ, данномъ Тургеневу въ 1879 году.

Несомнѣнно, что природа души человѣческой, въ особенности въ адскомъ величіи явленій ненормальныхъ, въ тѣхъ сокровеннѣйшихъ ледникахъ и кратерахъ ея, до которыхъ добирался

только одинъ Достоевскій, безконечно разнообразнѣе природы внѣшней, которая, все таки, такъ или иначе, можетъ быть раздѣлена на слои, царства, разряды и подведена подъ рубрики. Не удивительно по этому, что, чувствуя въ себѣ силы на бо̀льшее, покойный какъ-бы уклонился отъ того что̀, сравнительно, мельче и легче, и что описательная часть въ работахъ его очень слаба; въ этомъ отношеніи онъ далеко уступаетъ Тургеневу, графу Л. Толстому и, даже, нѣкоторымъ другимъ. Достоевскій, собственно говоря, даже не любилъ деревни и картинъ природы, подобно тому какъ любилъ ихъ Тургеневъ, или товарищъ покойнаго по училищу Д. Григоровичъ, начавшій съ «Антона Горемыки» и «Деревни». Только въ городахъ, въ душныхъ центрахъ дѣйствительности, въ непосредственномъ соприкосновеніи цинизма, ханжества, роскоши, безумія, разврата и бѣдности, складываются и взростаютъ особенно ярко всѣ тѣ отклоненія души человѣческой, въ изслѣдованіи которыхъ Достоевскій вполнѣ хозяинъ; онъ самъ тоже живетъ въ этой атмосферѣ міазмовъ, и только чуткость его таланта позволяетъ ему замѣчать окружающіе его міазмы, не поддаваясь имъ. А что міазмамъ этимъ можно поддаться, и поэтому не замѣчать ихъ, лучшими доказательствами могутъ служить нѣкоторыя мнѣнія его критиковъ. Чему-же какъ не тупости обонянія, какъ не зараженію окружающими міазмами приписать, напримѣръ, то, что разбирая «Бѣсовъ» и всѣхъ этихъ юношей (Верховенскій, Ставрогинъ, Кирилловъ, Шигалевъ), замышляющихъ крамолу и убійство, созерцая въ нихъ живые портреты, сколки съ типовъ людей многократно фигурировавшихъ въ политическихъ процессахъ и на эшафотѣ, типовъ, узнаваемыхъ въ романѣ Достоевскаго до поразительности впечатлѣнія правды — одинъ изъ цѣнителей спрашиваетъ: «съ кого писалъ эти портреты Достоевскій, гдѣ слышалъ эти разговоры» и утверждаетъ, что покойный не имѣлъ права выдавать ихъ за «типы современной (къ счастью только тѣмъ днямъ) молодежи»?

Выше было упомянуто, что, отъ дѣтства начиная, до самыхъ послѣднихъ дней, Достоевскій страстно любилъ поэзію, что ему, при вѣчномъ накипаніи новыхъ мыслей, медленная обработка формы стиха была не по плечу, что по этому обратился онъ къ прозѣ, къ роману и повѣсти, а затѣмъ, въ силу той-же необходимости, говорить скорѣе—къ публицистикѣ. Но это ни сколько не мѣшаетъ ему быть и оставаться поэтомъ. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что изъ произведеній покойнаго можно-бы бы-

ло выбрать огромное количество превосходнѣйшихъ поэтическихъ мыслей, образовъ, думъ, настроеній, чувствъ и страсти, вполнѣ пригодныхъ для цѣлаго цикла своеобразнѣйшихъ стихотвореній; эти мѣста, такъ сказать, почти готовыя стихотворенія въ прозѣ, вставленныя отдѣльными яркими, цвѣтными камешками на широкихъ плоскостяхъ мозаикъ, его длинныхъ, часто слишкомъ длинныхъ, работъ; въ этихъ стихотвореніяхъ встрѣтилось-бы, конечно, много повтореній, разъигрываній на туже тему, что очень естественно и вполнѣ соотвѣтствуетъ основамъ таланта покойнаго, но это нисколько не помѣшало-бы ихъ безотносительному достоинству. А какъ много сценъ и сценокъ для живописи имѣется въ пестрой поучительной жизни покойнаго? надо было видѣть его, окруженнаго дѣтьми, говоритъ А. Кони, «какъ видѣлъ его я въ колоніи малолѣтнихъ преступниковъ и въ камерахъ Литовскаго замка, — слышать его безъискусственный разговоръ, безъ чуждо-звучащаго для дѣтей «вы», и ихъ просьбы «поговорить еще» или «пріѣхать опять», чтобы понять, какая сила внутренняго сродства съ душою «малыхъ сихъ» жила въ его многолюбящей душѣ». И дѣйствительно Достоевскій горячо любилъ дѣтей, видя въ нихъ возможность лучшаго будущаго и отвелъ имъ, въ своихъ произведеніяхъ, очень видное мѣсто, на что и обращено было вниманіе О. Миллеромъ и разъяснено въ особой статьѣ: «Дѣти въ сочиненіяхъ Ѳ. М. Достоевскаго».

Несомнѣнно, что кромѣ дѣтей, въ безсчетныхъ ликахъ людей одержимыхъ психической гангреной, въ вереницахъ всякихъ оскорбленныхъ, ожесточенныхъ, дерзающихъ и придавленныхъ, фигуръ страдальчески - грустныхъ и безумно-дерзкихъ, фигуръ шествующихъ одна во слѣдъ другой, какъ было очень хорошо сказано Звѣревымъ, по тремъ стадіумамъ жизни души страждущей: отрицанія вѣрующаго («Преступленіе и наказаніе»), отрицанія знающаго («Бѣсы») и отрицанія сомнѣвающагося въ себѣ («Братья Карамазовы»), все-таки особенно четко выдѣляются нѣкоторые излюбленные. чаще другихъ занимающіе Достоевскаго образы. Такъ—женщина взбалмошная, обаятельная, властная до жестокости, имѣется въ Полинѣ («Игрокъ»), Настасьѣ Филиповнѣ («Идіотъ»). Грушенькѣ и Катеринѣ Ивановнѣ («Братья Карамазовы») и Варварѣ Петровнѣ («Бѣсы»); противуположный типъ добраго, любящаго до самозабвенія женскаго сердца—это Нелли и Наташа («Униженные и оскорбленные»), мать Раскольникова и Соня («Преступ-

леніе и Наказаніе»), Хроменькая («Бѣсы») Неточка Незванова, жена Макара Ивановича («Подростокъ»); дерзающіе на все циники—Свидригайловъ («Преступленіе и наказаніе»), Ставрогинъ («Бѣсы»), Лебедевъ («Идіотъ»), Князь («Униженные и оскорбленные») и Карамазовы—отецъ и сынъ Дмитрій; атеисты—Великій Инквизиторъ, Кирилловъ и разные оттѣнки многихъ другихъ; нѣсколько бѣдныхъ чиновниковъ и т. д.; подробный перечень душевно-больныхъ, составляющихъ главный контигентъ, какъ сказано выше, сдѣланъ докторомъ В. Чижомъ.

М. Антоновичъ назвалъ монастырскаго старца Зосиму, въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», «псевдонимомъ» Достоевскаго. Это, отчасти, справедливо, но не въ томъ смыслѣ, какой имѣлся въ виду при этомъ заключеніи. Зосима, дѣйствительно, до того много принялъ въ душу свою откровеній, сокрушеній, сознаній, что подъ конецъ пріобрѣлъ прозорливость и могъ угадывать; нѣчто подобное имѣлось и въ Шекспирѣ. Въ послѣдніе годы жизни покойный, какъ извѣстно, былъ заваленъ письмами отъ всякихъ нуждающихся и обремененныхъ и могъ, конечно, будучи великимъ серцевѣдомъ, утѣшать, наставлять и давать хорошіе совѣты. И на это имѣлъ онъ неоспоримое право, потому что, въ дополненіе того что̀ перечувствовалъ онъ и переиспыталъ въ своей дѣйствительной жизни, сколько терзаній долженъ былъ онъ вынести въ душѣ своей, при замыслѣ и воспроизведеніи тѣхъ типовъ которые выведены имъ въ такихъ темныхъ безотрадныхъ краскахъ и въ такомъ огромномъ количествѣ? А если принять въ расчетъ вѣчную, мучительную болѣзнь Достоевскаго, его съ юности слабое здоровье, то становится понятною справедливость сказаннаго о немъ В. Буренинымъ, что нѣтъ: «въ нашей литературѣ другаго характера болѣе мощнаго и крѣпкаго», и что Достоевскій былъ у насъ—«великою нравственною силою».

Если вышеприведенныя отличительныя черты таланта покойнаго помѣчены, какъ и его жизнь, многими рѣзкими особенностями, ему одному принадлежащими и дѣлающими его, отошедшую въ былое, фигуру такою поразительно своеобразною, то не менѣе исключительнымъ, самостоятельнымъ является, какъ было уже сказано, въ самомъ концѣ его дѣятельности «Дневникъ писателя». Послѣдній нумеръ «Дневника» распродавался на улицѣ, въ то время когда похоронная процессія съ тѣломъ автора направлялась къ мѣсту его послѣдняго успокоенія. «Дневникъ» начался изданіемъ въ 1876 году и имѣлъ толь-

ко одного сотрудника — самаго Достоевскаго. Ко времени появленія перваго нумера покойный стоялъ передъ лицомъ русской земли въ полной силѣ своего таланта, съ твердою и ясною увѣренностью въ мысли и сердцѣ, пріобрѣтенными долгими годами думанія, чувствованія и труда, признанный всѣми, знавшій о чемъ и какъ говорить и богатый слушателями въ Великой, Малой и другихъ Россіяхъ. Еще не успѣвъ напечатать въ 1875 году «Подростка» и приступивъ къ обдумыванію и писанію своего самаго объемистаго романа «Братья Карамазовы», Достоевскій, вѣрный себѣ, не могъ довольствоваться этимъ медленнымъ трудомъ, этою кабинетною работою. Завершался смутный, тяжкій, искусственный, свистомъ и крамолою вызванный къ жизни, періодъ развитія нашей интеллигенціи. На верху, въ высшихъ сферахъ, сидѣли люди по душѣ не русскіе; въ литературѣ видныя роли играли инстинкты правовыхъ и псевдолиберальныхъ порядковъ, замыслы федеративности; въ молодежи, болѣе другихъ зараженной гангреною нигилизма, еще назрѣвали самые кровавые, послѣдніе дѣятели. Тѣмъ не менѣе, хотя еще не совершилось 1 Марта, но ослабленіе крамолы все-таки чувствовалось и можно было подводить итоги, дѣлать изъ нихъ заключенія. Покойный, за все истекавшее тогда скорбное время, былъ наиболѣе виднымъ, наиболѣе откровеннымъ бойцомъ противъ всѣхъ этихъ золъ, и самостоятельная рѣчь его, воплощавшаяся въ «Дневникѣ», не могла быть не слышна и не замѣчена.

И могъ-ли, въ самомъ дѣлѣ, Достоевскій, въ силу того что еще въ юности, еще только въ чаяніи того, что ему придется «много дѣлать», онъ уже считалъ необходимымъ «постоянно подавать свой голосъ съ цѣлью подѣйствовать на читателя»; если, въ болѣе зрѣлое время, ему дѣйствительно удалось, и очень вѣско, подавать свой голосъ при редактированіи «Времени» и «Эпохи»; если онъ убѣдился на опытѣ что «журналъ— великое дѣло!» могъ-ли онъ въ эти смутные дни, при вѣчномъ накипаніи мыслей, при возможности перейти отъ анализа къ синтезу, при неясномъ, можетъ быть, чаяніи близкой смерти своей, ограничиться тихою поступью шествія въ печать романа? Конечно нѣтъ, потому что все таки—не все скажешь и не такъ скажешь, какъ бы хотѣлось. Хотя, по свидѣтельству А. Суворина, Достоевскій «еще передъ самою смертью думалъ обратить одинъ изъ эпизодовъ «Братьевъ Карамазовыхъ» въ драму, думалъ продолжать романъ, героемъ котораго былъ бы Алеша

Карамазовъ, какъ типъ русскаго соціалиста», т. е. все таки не покидалъ романа, но тѣмъ на менѣе «Дневникъ», въ послѣдніе годы жизни, былъ для покойнаго главнымъ, любимымъ, сердечно нравившимся предметомъ. Въ него полагалъ онъ всю свою душу и «Дневникъ» сдѣлалъ свое. Къ слову сказать, «Дневникъ» названъ былъ, не неудачно, «комментаріемъ» къ предшествовавшимъ ему «Бѣсамъ». Въ 1881 году онъ печатался уже въ 8000 экземпляровъ и это при томъ условіи, что пестрый и неискренній Петербургъ не любилъ и не могъ любить «Дневника».

Въ «Дневникѣ», помимо того что это типичнѣйшая автобіографія типичнѣйшаго человѣка, дѣйствовавшаго въ очень любопытное время, имѣются взгляды Достоевскаго на многіе изъ крупнѣйшихъ вопросовъ русской жизни. Если-бы жизнь автора длилась дольше, то отвѣты имѣлись-бы на большее число ихъ, и такъ какъ, по совершенно справедливому замѣчанію Н. Страхова, Достоевскій всегда и во всемъ «прежде всего былъ все-таки художникомъ, мыслилъ образами и руководился чувствами», то и на холодныхъ и скучныхъ, повидимому, путяхъ чистой публицистики даетъ онъ вещи удивительныя. Прямота и ясность мысли одна изъ отличительнѣйшихъ чертъ «Дневника» и этому, опять таки, есть своя причина, потому что къ Достоевскому можно примѣнить вполнѣ слова, сказанныя имъ самимъ когда-то объ А. Григорьевѣ: онъ не раздваивался и не могъ, какъ герои нашего времени, «одной своей половиной тосковать, а другой своей половиной только наблюдать тоску первой половины», вотъ почему вышелъ его «Дневникъ» созданіемъ цѣльнымъ, суммирующимъ, настоящимъ знаменемъ сторожеваго полка.

А. Суворинъ, описавшій послѣднее свое посѣщеніе Достоевскаго, сообщаетъ о разговорѣ имѣвшемъ при этомъ мѣсто, о томъ, что покойный намѣревался выступить въ «Дневникѣ» съ финансовою статьей, что онъ дѣйствительно и сдѣлалъ; онъ сообщаетъ, что Достоевскій «въ особенности распространялся въ этомъ разговорѣ о своемъ любимомъ предметѣ—о земскомъ соборѣ, объ отношеніяхъ Царя къ народу, какъ отца къ дѣтямъ».... «У насъ», говорилъ онъ, «возможна полная свобода, какой нигдѣ нѣтъ и все это безъ всякихъ революцій, ограниченій, договоровъ, полная свобода совѣсти, печати, сходокъ»; далѣе вспоминается о томъ, что Достоевскій называлъ «конституцію»—«господчиною», характеръ которой изобразилъ, какъ-бы на проща-

ніе, въ послѣднемъ нумерѣ «Дневника» одною характерною строчкою какого-то стихотворенія:

«А народъ опять скуемъ»....

«Кто вчитывался въ сочиненія Достоевскаго», замѣчаетъ А. Суворинъ, «кто понималъ его типы, надъ которыми точно проклятіе какое, тяготѣла мрачная судьба, какая-то сѣрная, удушающая, коверкающая, почти до безумія доводящая атмосфера, кто понималъ, что надъ всѣми этими несчастными звучитъ сострадательное, теплое, призывающее къ миру и любви слово писателя, психолога и мыслителя, тотъ убѣждался въ томъ, что не деревянными фразами, бездушными и ординарными, не звонкой строкой передовой статьи изображалъ онъ эту атмосферу, а страницами полными огня, чувства, глубокаго проникновенія въ сердцѣ человѣка, словами проповѣди».

Имѣется слѣдующій разсказъ И. Аксакова: у него сидѣлъ однажды Достоевскій и велъ разговоръ объ Императорѣ Николаѣ I, о которомъ онъ отзывался съ величайшимъ уваженіемъ; вошелъ Меккензи Уоллесъ, извѣстный путешественникъ; хозяинъ познакомилъ ихъ, и Достоевскій продолжалъ характеристику Николая I. Когда Ѳедоръ Михайловичъ ушелъ, Уоллесъ спросилъ Аксакова: не авторъ-ли это «Мертваго Дома»?

— Да.

— Не можетъ быть! Вѣдь онъ былъ сосланъ въ каторгу?

— Былъ, ну, что-же?

— Да какъ-же онъ можетъ хвалить человѣка, сославшаго его на каторгу?

— Вамъ, иностранцамъ, это трудно понять, отвѣчалъ Аксаковъ,—а намъ это понятно, какъ черта вполнѣ національная.

Другой случай. Въ послѣднемъ ноябрѣ или декабрѣ, который назначено было Достоевскому пережить, онъ находился какъ-то на балу въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній. Молодежь, такъ много отрезвившаяся къ тому времени, именно благодаря ему, молодежь, которую онъ всегда такъ искренно любилъ, принимала его съ любовью и съ трепетомъ сердечнымъ и окружала густымъ кольцомъ. «Мы стали говорить», объясняетъ самъ Достоевскій, «затѣяли споръ. Они просили, чтобы я говорилъ имъ о Христѣ. Я имъ сталъ говорить и они внимательно слушали».

Проповѣдь о Христѣ на балу, нисколько не вспугиваемая музыкою и танцами, которымъ она, въ свою очередь, не мѣшаетъ!

Похвала власти сославшей въ каторгу! Да гдѣ-же это можетъ имѣть мѣсто кромѣ Россіи, этого «милаго больнаго», изъ котораго въ свой срокъ, какъ говорилъ покойный, «выйдутъ всѣ язвы, всѣ міазмы, вся нечистота, вся эта мерзость *загноившаяся на поверхности*, накопившіяся въ немъ за вѣка, за вѣка... выйдутъ и больной исцѣлится и «сядетъ у ногъ Іисусовыхъ».

Многаго не досказалъ Достоевскій, но многое сказалъ онъ, сказалъ окончательно, сказалъ хорошо. Что-бы ни говорили, но русскій народъ, въ неисповѣдимыхъ судьбахъ Провидѣнія, въ ряду другихъ народовъ, является несомнѣнно совершеннымъ особнякомъ. Въ этомъ не хвастовство, а только поводъ къ самоизученію. Съ особенною яркостью выдѣляются въ нашемъ народѣ *три основныя, существенныя, исключительно ему принадлежащія черты*. Еще въ 1861 году, въ объявленіи объ изданіи «Времени», Достоевскій говорилъ что «можетъ быть русская идея будетъ синтезомъ всѣхъ тѣхъ идей, которыя развивала Европа, потому что не даромъ-же говоримъ мы на всѣхъ языкахъ, понимаемъ всѣ цивилизаціи, сочувствуемъ интересамъ каждаго европейскаго народа», чего, положительнѣйшимъ образомъ, нѣтъ ни у кого другаго. Другая исключительная черта наша, многократно указываемая Достоевскимъ и упорно проводимая имъ въ словѣ и на дѣлѣ на всѣ лады, это существующее въ народѣ нашемъ сознаніе своей «грѣховности», сознаніе, объясняющее очень хорошо почему мы тамъ легко прощаемъ, такъ склонны къ самобичеванію, неумѣемъ возводить своего несовершенства въ законъ, не можемъ признавать такъ называемыхъ «правовыхъ порядковъ» и рады нести крестъ внутренняго очищенія и внѣшняго подвига, даже на перекоръ своему собственному «Я». Третья черта это наше православье никогда и нигдѣ, подобно католичеству и лютеранству (чтобы не говорить о другихъ), не выступавшее въ качествѣ религіи воинствующей. Эти три основныя черты, которыхъ положительно нѣтъ въ другихъ народахъ, какъ сказано, не добродѣтель, а только особенность, съ которою нельзя не считаться. Выкинуть, вычеркнуть, непризнать ихъ нельзя, а если признать, то яснѣютъ, какъ-бы въ туманѣ—«всенародный подвигъ» «всечеловѣчество», возникающіе только въ Россіи, а не въ другой какой-либо странѣ—т. е. именно то̀ о чемъ мечталъ, думалъ и проповѣдалъ Достоевскій. Самая возможность появленія и признанія такихъ людей какъ Достоевскій служитъ только однимъ изъ доказательствъ правды сказаннаго. Достоевскій ни въ какой другой странѣ немыслимъ;

проповѣдь о Христѣ на балу, безъ нарушенія бала, похвала той власти, которая загнала человѣка въ каторгу, это, несомнѣнно, чисто русскія, для другихъ не вѣроятныя, возможности. Развѣ это, въ самомъ дѣлѣ, говоря по правдѣ и совѣсти, не евангельскій путь, а что-же найдется въ подлунной выше Евангелія?

Понимали это истинно русскіе люди всегда; болѣе всего уяснилъ это Достоевскій... Вотъ почему относился онъ такъ ревниво ко всему что̀ способно разрушить эти счастливыя особенности русскаго народа. Вотъ почему съ такою нервностью встрѣтилъ онъ мысль примѣненія у насъ того что̀ называется «парламентскою жизнью» на западѣ, вотъ почему ратовалъ онъ противъ всего что подтачивало существеннѣйшія основы русскаго бытія—православіе и самодержавіе. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ для него сливались воедино: крамольные нигилисты, литературные люди «правовыхъ порядковъ», евреи и польщизна—повинные въ двухъ повстаніяхъ и въ снабженіи силами крамолы и, наконецъ, балтійскіе нѣмцы, недавшіе за сто лѣтъ подчиненія ихъ Россіи, да и за всю свою болѣе чѣмъ пятисотлѣтнюю исторію, ни единаго таланта, но множество очень видныхъ, всегда гнувшихъ въ сторону привиллегій и сепаратизма и тѣмъ противорѣчившихъ единому духу Россіи—администраторовъ. Вѣчевой человѣкъ и православный христіанинъ Достоевскій зналъ какъ надо говорить обо всемъ этомъ и говорилъ... до разрыва сердца.

Читатель, вступающій въ «Адъ» Данта, приглашался «оставить всѣ надежды». Читатель, принимаюшійся за Достоевскаго, идетъ тоже не на радости, но если онъ будетъ помнить, а ему необходимо помнить это, сколько юношей и женщинъ отклонилъ Достоевскій отъ гангрены нигилизма, въ сколькихъ умахъ поднялъ онъ добрую работу мысли на предметъ изученія и любви къ Россіи, какъ ясно и твердо проводитъ онъ человѣка отъ отрицанія *вѣрующаго*, черезъ отрицаніе *знающее*, къ отрицанію *сомнѣвающемуся* въ себѣ, т. е. къ тому, что требуется, къ выводу положительному, къ твердой вѣрѣ въ добро, трудъ и прощеніе,—тотъ, одолѣвъ сочиненія Достоевскаго, станетъ другимъ, лучшимъ человѣкомъ.

Въ заключеніе нѣсколько словъ о службѣ Достоевскаго, славѣ русской литературы заграницею. На *нѣмецкій* и *французскій* языки переведены, и неоднократно, *всѣ* главнѣйшія и множество мелкихъ вещей его; на *англійскій*—«Преступленіе и наказаніе»,

«Идіотъ», «Записки изъ мертваго дома» (дважды); на *италіанскій* — «Записки изъ мертваго дома»; на *шведскій*:—«Преступленіе и наказаніе», «Униженные и оскорбленные», «Записки изъ Мертваго Дома», «Подростокъ»; на *финскій*—«Кроткая»; на *норвежскій*—«Преступленіе и наказаніе»; на *чешскій*—«Записки изъ Мертваго дома» и «Неточка Незванова»; на *датскій*—«Преступленіе и наказаніе»; на польскій «Преступленіе и наказаніе» (могло бы быть переведено больше?); на *сербскій*—«Бѣдные люди» и на *венгерскій*—«Преступленіе и наказаніе», «Подростокъ» и «Бѣлыя ночи».

К. Случевскій.

7 Февраля 1889 года.

ПОВѢСТИ

и

РАЗСКАЗЫ.

ПОБѢГЪ

и

РАЗСКАЗЫ.

БѢДНЫЕ ЛЮДИ

РОМАНЪ

Въ первый разъ напечатанъ въ „Петербургскомъ Сборникѣ“ (Изд. Н. Некрасова. СПБ. 1846).

Охъ, ужъ эти мнѣ сказочники! Нѣтъ чтобы написать что нибудь полезное, пріятное, усладительное, а то всю подноготную въ землѣ вырываютъ!.. Вотъ ужъ запретилъ бы имъ писать! Ну, на что это похоже: читаешь... невольно задумаешься,—а тамъ всякая дребедень и пойдетъ въ голову; право-бы запретилъ имъ писать; такъ-таки просто вовсе-бы запретилъ.

Кн. В. Ѳ. Одоевскій.

Апрѣля 8.

Безцѣнная моя Варвара Алексѣевна!

Вчера я былъ счастливъ, чрезмѣрно счастливъ, до нельзя счастливъ! Вы хоть разъ въ жизни, упрямица, меня послушались. Вечеромъ, часовъ въ восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочекъ-другой люблю поспать послѣ должности), свѣчку досталъ, приготовляю бумаги, чиню перо, вдругъ, невзначай, подымаю глаза, — право, у меня сердце вотъ такъ и запрыгало! Такъ вы таки поняли чего мнѣ хотѣлось, чего сердчишку моему хотѣлось! Вижу уголочекъ занавѣски у окна вашего загнутъ и прицѣпленъ къ горшку съ бальзаминомъ, точнехонько такъ какъ я вамъ тогда намекалъ; тутъ-же показалось мнѣ, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мнѣ изъ комнатки вашей смотрѣли, что и вы обо мнѣ думали. И какъ-же мнѣ досадно было, голубчикъ мой, что миловиднаго личика-то вашего я не могъ разглядѣть хорошенько! Было время, когда и мы свѣтло видѣли, маточка. Не радость старость, родная моя! Вотъ и теперь все какъ-то рябитъ въ глазахъ; чуть поработаешь вечеромъ, попишешь что нибудь, на утро и глаза раскраснѣются, и слезы текутъ, что даже совѣстно передъ чужими бываетъ. Однако-же, въ воображеніи моемъ такъ и засвѣтлѣла ваша улыбочка, ангельчикъ, ваша добренькая, привѣтливая улыбочка; и на сердцѣ моемъ было точно такое ощущеніе, какъ тогда, какъ

я поцѣловалъ васъ, Варинька,—помните-ли, ангельчикъ? Знаете-ли, голубчикъ мой, мнѣ даже показалось, что вы тамъ мнѣ пальчикомъ погрозили? Такъ-ли, шалунья? Непремѣнно вы это все опишите подробнѣе въ вашемъ письмѣ.

Ну, а какова наша придумочка на счетъ занавѣски вашей, Варинька? Премило, не правда-ли? Сижу-ли за работой, ложусь-ли спать, просыпаюсь-ли, ужь знаю, что и вы тамъ обо мнѣ думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавѣску—значитъ прощайте, Макаръ Алексѣевичъ, спать пора! Подымете — значитъ съ добрымъ утромъ, Макаръ Алексѣевичъ, каково-то вы спали, или: каково-то вы въ вашемъ здоровьи, Макаръ Алексѣевичъ? Что-же до меня касается, то я, слава Творцу, здорова и благополучна! Видите-ли, душечка моя, какъ это ловко придумано; и писемъ не нужно! Хитро, не правда-ли? А вѣдь придумочка-то моя! А что, каковъ я на эти дѣла, Варвара Алексѣевна?

Доложу я вамъ, маточка моя, Варвара Алексѣевна, что спалъ я сію ночь добрымъ порядкомъ, вопреки ожиданій, чѣмъ и весьма доволенъ; хотя на новыхъ квартирахъ, съ новоселья, и всегда какъ-то не спится; все что-то такъ, да не такъ! Всталъ я сегодня такимъ яснымъ соколомъ — любо-весело! Что это какое утро сегодня хорошее, маточка! У насъ растворили окошко; солнышко свѣтитъ, птички чирикаютъ, воздухъ дышетъ весенними ароматами, и вся природа оживляется — ну, и остальное тамъ все было тоже соотвѣтственное; все въ порядкѣ, по весеннему. Я даже и помечталъ сегодня довольно пріятно, и все объ васъ были мечтанія мои, Варинька. Сравнилъ я васъ съ птичкой небесной, на утѣху людямъ и для украшенія природы созданной. Тутъ-же подумалъ я, Варинька, что и мы, люди, живущіе въ заботѣ и треволненіи, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастію небесныхъ птицъ, — ну и остальное все такое-же, сему-же подобное; то есть я все такія сравненія отдаленныя дѣлалъ. У меня тамъ книжка есть одна, Варинька, такъ въ ней тоже самое, все такое-же весьма подробно описано. Я къ тому пишу, что вѣдь разныя бываютъ мечтанія, маточка. А вотъ теперь весна, такъ и мысли все такія пріятныя, острыя, затѣйливыя, и мечтанія приходятъ нѣжныя; все въ розовомъ цвѣтѣ. Я къ тому и написалъ это все; а, впрочемъ, я это все взялъ изъ книжки. Тамъ сочинитель обнаруживаетъ такое-же желаніе въ стишкахъ и пишетъ —

„Зачѣмъ я не птица, не хищная птица!“

Ну, и т. д. Тамъ и еще есть разныя мысли, да Богъ съ ними! А вотъ, куда это вы утромъ ходили сегодня, Варвара Алексѣевна? Я еще и въ должность не сбирался, а вы, ужь подлинно какъ пташка весенняя, порхнули изъ комнаты и по двору прошли такая веселенькая. Какъ мнѣ-то было весело на васъ глядя! Ахъ, Варинька, Варинька! — Вы не грустите; слезами горю помочь нельзя; это я знаю, маточка моя, это я на опытѣ знаю. Теперь-же вамъ такъ покойно, да и здоровьемъ вы немного поправились. — Ну, что ваша Ѳедора? Ахъ, какая-же она добрая женщина! Вы мнѣ, Варинька, напишите, какъ вы съ нею тамъ живете теперь, и всѣмъ-ли вы довольны? Ѳедора-то немного ворчлива; да вы на это не смотрите, Варинька. Богъ съ нею! Она такая добрая.

Я уже вамъ писалъ о здѣшней Терезѣ, — тоже и добрая, и вѣрная женщина. А ужь какъ я безпокоился объ нашихъ письмахъ! Какъ они передаваться-то будутъ? А вотъ какъ тутъ послалъ Господь на наше счастіе Терезу. Она женщина добрая, кроткая, безсловесная. Но наша хозяйка просто безжалостная. Затираетъ ее въ работу словно ветошку какую нибудь.

Ну, въ какую-же я трущобу попалъ, Варвара Алексѣевна! Ну, ужь квартира! Прежде вѣдь я жилъ такимъ глухаремъ, сами знаете: — смирно, тихо; у меня, бывало, муха летитъ, такъ и муху слышно. А здѣсь шумъ, крикъ, гвалтъ! Да вѣдь вы еще и не знаете, какъ это все здѣсь устроено. Вообразите, примѣрно, длинный корридоръ, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будетъ глухая стѣна, а по лѣвую все двери, да двери, точно номера, все такъ въ рядъ простираются. Ну, вотъ и нанимаютъ эти номера, а въ нихъ по одной комнаткѣ въ каждомъ; живутъ въ одной и по двое, и по трое. Порядку не спрашивайте — Ноевъ ковчегъ! Впрочемъ, кажется, люди хорошіе, все такіе образованные, ученые. Чиновникъ одинъ есть (онъ гдѣ-то по литературной части), человѣкъ начитанный: и о Гомерѣ, и о Брамбеусѣ, и о разныхъ у нихъ тамъ сочинителяхъ говоритъ, обо всемъ говоритъ; — умный человѣкъ! Два офицера живутъ и все въ карты играютъ. Мичманъ живетъ; англичанинъ-учитель живетъ. — Постойте, я васъ потѣшу, маточка; опишу ихъ въ будущемъ письмѣ сатирически, то есть какъ они тамъ сами по себѣ, со всею подробностію. Хозяйка наша, — очень маленькая и нечистая старушонка, цѣлый день въ туфляхъ, да въ шлафрокѣ ходитъ, и цѣлый день все кричитъ на Терезу. Я живу въ кухнѣ, или гораздо правильнѣе будетъ сказать вотъ какъ: тутъ

подлѣ кухни есть одна комната (а у насъ, нужно вамъ замѣтить, кухня чистая, свѣтлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголокъ такой скромный... то есть или еще лучше сказать, кухня большая въ три окна, такъ у меня вдоль поперечной стѣны перегородка, такъ что и выходитъ какъ-бы еще комната, номеръ сверхштатный; все просторное, удобное, и окно есть, и все, — однимъ словомъ, все удобное. Ну, вотъ это мой уголочекъ. Ну, такъ вы и не думайте, маточка, чтобы тутъ что нибудь такое иное и таинственный смыслъ какой былъ; что вотъ, дескать, кухня! — то есть я, пожалуй, и въ самой этой комнатѣ за перегородкой живу, но это ничего; я себѣ ото всѣхъ особнякомъ, по маленьку живу, въ тихомолочку живу. Поставилъ я у себя кровать, столъ, комодъ, стульевъ парочку, образъ повѣсилъ. Правда, есть квартиры и лучше, — можетъ быть, есть и гораздо лучшія, да удобство-то главное; вѣдь это я все для удобства, и вы не думайте, что для другаго чего нибудь. Ваше окошко напротивъ, черезъ дворъ; и дворъ-то узенькій, васъ мимоходомъ увидишь — все веселѣе мнѣ горемычному, да и дешевле. У насъ здѣсь самая послѣдняя комната, со столомъ, 35 руб. ассигн. стоитъ. Не по карману! А моя квартира стоитъ мнѣ семь руб. ассигн., да столъ пять цѣлковыхъ, вотъ 24 съ полтиною, а прежде ровно 30 платилъ, зато во многомъ себѣ отказывалъ; чай пивалъ не всегда, а теперь вотъ и на чай, и на сахаръ выгадалъ. Оно, знаете-ли, родная моя, чаю не пить какъ-то стыдно; здѣсь все народъ достаточный, такъ и стыдно. Ради чужихъ и пьешь его, Варинька, для вида, для тона; а по мнѣ все равно, я не прихотливъ. Положите такъ, для карманныхъ денегъ—все сколько нибудь требуется—ну, сапожишки какіе нибудь, платьишко — много-ль останется? Вотъ и все мое жалованье. Я-то не ропщу и доволенъ. Оно достаточно. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ достаточно; награжденія тоже бываютъ.—Ну, прощайте, мой ангельчикъ. Я тамъ купилъ парочку горшковъ съ бальзаминчикомъ, и гераньку—не дорого. А вы, можетъ быть, и резеду любите? Такъ и резеда есть, вы напишите; да знаете-ли, все какъ можно подробнѣе напишите. Вы, впрочемъ, не думайте чего нибудь и не сомнѣвайтесь, маточка, обо мнѣ, что я такую комнату нанялъ. Нѣтъ, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня. Я вѣдь, маточка, деньги коплю, откладываю; у меня денежка водится. Вы не смотрите на то, что я такой тихонькой, что, кажется, муха меня крыломъ перешибетъ. Нѣтъ, маточка, я про себя не промахъ, и характера совершенно такого, какъ при-

лично твердой и безмятежной души человѣку. Прощайте, мой ангельчикъ! Расписался я вамъ чуть не на двухъ листахъ, а на службу давно пора. Цѣлую ваши пальчики, маточка, и пребываю

Вашимъ нижайшимъ слугою и вѣрнѣйшимъ другомъ,

Макаромъ Дѣвушкинымъ.

P. S. Объ одномъ прошу: отвѣчайте мнѣ, ангельчикъ мой, какъ можно подробнѣе. Я вамъ при семъ посылаю, Варинька, фунтикъ конфектъ; такъ вы ихъ скушайте на здоровье, да ради Бога обо мнѣ не заботьтесь и не будьте въ претензіи. Ну, такъ прощайте-же, маточка.

Апрѣля 8.

Милостивый Государь,
Макаръ Алексѣевичъ!

Знаете-ли, что придется, наконецъ, совсѣмъ поссориться съ вами? Клянусь вамъ, добрый Макаръ Алексѣевичъ, что мнѣ даже тяжело принимать ваши подарки. Я знаю, чего они вамъ стоятъ, какихъ лишеній и отказовъ въ необходимѣйшемъ себѣ самому. Сколько разъ я вамъ говорила, что мнѣ не нужно ничего, совершенно ничего; что я не въ силахъ вамъ воздать и за тѣ благодѣянія, которыми вы доселѣ осыпали меня. И зачѣмъ мнѣ эти горшки? Ну, бальзаминчики еще ничего, а геранька зачѣмъ? Одно словечко стоитъ неосторожно сказать, какъ, напримѣръ, объ этой герани, ужь вы тотчасъ и купите; вѣдь вѣрно дорого? Что за прелесть на ней цвѣты! Пунсовые крестиками. Гдѣ это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее по срединѣ окна поставила, на самомъ видномъ мѣстѣ; на полу-же поставлю скамейку, а на скамейку еще цвѣтовъ поставлю; вотъ только дайте мнѣ самой разбогатѣть! Ѳедора не нарадуется; у насъ теперь словно рай въ комнатѣ, — чисто, свѣтло! Ну, а конфекты зачѣмъ? И, право, я сейчасъ-же по письму угадала, что у васъ что нибудь да не такъ,—и рай, и весна, и благоуханія летаютъ, и птички чирикаютъ. Что это, я думаю, ужь нѣтъ-ли тутъ и стиховъ? Вѣдь, право, однихъ стиховъ и не достаетъ въ письмѣ вашемъ, Макаръ Алексѣевичъ! И ощущенія нѣжныя, и мечтанія въ розовомъ цвѣтѣ — все здѣсь есть! Про занавѣску и не думала; она вѣрно сама зацѣпилась, когда я горшки переставляла; вотъ вамъ!

Ахъ, Макаръ Алексѣевичъ! Что̀ вы тамъ ни говорите, какъ ни разсчитывайте свои доходы, чтобъ обмануть меня, чтобы показать, что они всѣ сплошь идутъ на васъ одного, но отъ меня не утаите и не скроете ничего. Ясно, что вы необходимаго лишаетесь изъ-за меня. Что это вамъ вздумалось, напримѣръ, такую квартиру нанять? Вѣдь васъ безпокоятъ, тревожатъ; вамъ тѣсно, неудобно. Вы любите уединеніе, а тутъ и чего-чего нѣтъ около васъ! А вы-бы могли гораздо лучше жить, судя по жалованью вашему. Ѳедора говоритъ, что вы прежде и не въ примѣръ лучше теперешняго жили. Неужели-же вы такъ всю свою жизнь прожили, въ одиночествѣ, въ лишеніяхъ, безъ радости, безъ дружескаго привѣтливаго слова, у чужихъ людей углы нанимая? Ахъ, добрый другъ, какъ мнѣ жаль васъ! Щадите хоть здоровье свое, Макаръ Алексѣевичъ! Вы говорите, что у васъ глаза слабѣютъ, такъ не пишите при свѣчахъ; зачѣмъ писать? Ваша ревность къ службѣ и безъ того, вѣроятно, извѣстна начальникамъ вашимъ.

Еще разъ умоляю васъ, не тратьте на меня столько денегъ. Знаю, что вы меня любите, да сами-то вы не богаты... Сегодня я тоже весело встала. Мнѣ было такъ хорошо; Ѳедора давно уже работала, да и мнѣ работу достала. Я такъ обрадовалась; сходила только шелку купить, да и принялась за работу. Цѣлое утро мнѣ было такъ легко на душѣ, я такъ была весела! А теперь опять все черныя мысли, грустно; все сердце изныло.

Ахъ, что-то будетъ со мною, какова-то будетъ моя судьба! Тяжело то, что я въ такой неизвѣстности, что я не имѣю будущности, что я и предугадывать не могу о томъ, что̀ со мной станется. Назадъ и посмотрѣть страшно. Тамъ все такое горе, что сердце пополамъ рвется при одномъ воспоминаніи. Вѣкъ буду я плакаться на злыхъ людей, меня погубившихъ!

Смеркается. Пора за работу. Я вамъ о многомъ хотѣла-бы написать, да некогда, къ сроку работа. Нужно спѣшить. Конечно, письма хорошее дѣло; все не такъ скучно. А зачѣмъ вы сами къ намъ никогда не зайдете? Отчего это, Макаръ Алексѣевичъ? Вѣдь теперь вамъ близко, да и время иногда у васъ выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста! Я видѣла вашу Терезу. Она, кажется, такая больная; жалко было; я ей дала 20 копѣекъ. Да! Чуть было не забыла: непремѣнно напишите все, какъ можно подробнѣе, о вашемъ житьѣ-бытьѣ. Что за люди такіе кругомъ васъ, и ладно-ли вы съ ними живете? Мнѣ очень хочется все это знать. Смотрите-же, непремѣнно напишите! Сегодня ужь я

нарочно уголъ загну. Ложитесь пораньше; вчера я до полночи у васъ огонь видѣла. Ну, прощайте. Сегодня и тоска, и скучно, и грустно! Знать ужь день такой! Прощайте.

Ваша

Варвара Доброселова.

Апрѣля 8.

Милостивая государыня,

Варвара Алексѣевна!

Да, маточка, да, родная моя, знать ужь денекъ такой на мою долю горемычную выдался! Да; подшутили вы надо мной старикомъ, Варвара Алексѣевна! Впрочемъ, самъ виноватъ, кругомъ виноватъ! Не пускаться-бы на старости лѣтъ съ клочкомъ волосъ въ амуры, да въ экивоки... И еще скажу, маточка: чуденъ иногда человѣкъ, очень чуденъ. И, святые вы мои! о чемъ заговоритъ, занесетъ подъ часъ! А что̀ выходитъ-то, что̀ слѣдуетъ-то изъ этого? Да ровно ничего не слѣдуетъ, а выходитъ такая дрянь, что убереги меня, Господи! Я, маточка, я не сержусь, а такъ досадно только очень вспоминать обо всемъ, досадно, что я вамъ написалъ такъ фигурно и глупо. И въ должность-то я пошелъ сегодня такимъ гоголемъ-щеголемъ; сіяніе такое было на сердцѣ. На душѣ ни съ того, ни съ сего такой праздникъ былъ; весело было! За бумаги принялся рачительно—да что̀ вышло-то потомъ изъ этого! Ужь потомъ только какъ осмотрѣлся, такъ все стало по прежнему,—и сѣренько, и темненько. Все тѣ-же чернильныя пятна, все тѣ-же столы и бумаги, да и я все такой-же; такъ какимъ былъ, совершенно такимъ-же и остался,—такъ чего-же тутъ было на Пегасѣ-то ѣздить? Да изъ чего это вышло-то все? Что солнышко проглянуло, да небо полазоревѣло! Отъ этого что-ли? Да и что за ароматы такіе, когда на нашемъ дворѣ подъ окнами и чему-чему не случается быть! Знать, это мнѣ все съ дуру такъ показалось. А вѣдь случается-же иногда заблудиться такъ человѣку въ собственныхъ чувствахъ своихъ, да занести околесную. Это не отъ чего инаго происходитъ, какъ отъ излишней, глупой горячности сердца. Домой-то я не пришелъ, а приплелся; ни съ того ни съ сего голова у меня разболѣлась; ужь, это, знать, все одно къ одному. (Въ спину что-ли надуло мнѣ). Я веснѣ-то обрадовался дуракъ-дуракомъ, да въ холодной шинели пошелъ. И въ чувствахъ-то вы моихъ ошиблись, родная моя! Изліяніе-то ихъ совершенно въ другую

сторону приняли. Отеческая пріязнь одушевляла меня, единственная чистая отеческая пріязнь, Варвара Алексѣевна; ибо я занимаю у васъ мѣсто отца роднаго, по горькому сиротству вашему; говорю это отъ души, отъ чистаго сердца, по родственному. Ужь какъ-бы тамъ ни было, а я вамъ хоть дальній родной, хотя по пословицѣ и седьмая вода на киселѣ, а всетаки родственникъ, и теперь ближайшій родственникъ и покровитель; ибо тамъ, гдѣ вы ближе всего имѣли право искать покровительства и защиты, нашли вы предательство и обиду. А на счетъ стишковъ скажу я вамъ, маточка, что не прилично мнѣ на старости лѣтъ въ составленіи стиховъ упражняться. Стихи вздоръ! За стишки и въ школахъ теперь ребятишекъ сѣкутъ... вотъ оно что, родная моя.

Что это вы пишите мнѣ, Варвара Алексѣевна, про удобства, про покой и про разныя разности? Маточка моя, я не брезгливъ и не требователенъ, никогда лучше теперешняго не жилъ; такъ чего-же на старости-то лѣтъ привередничать? Я сытъ, одѣтъ, обутъ; да и куда намъ затѣи затѣвать! — Не графскаго рода! — Родитель мой былъ не изъ дворянскаго званія, и со всей-то семьей своей былъ бѣднѣе меня по доходу. Я не нѣженка! Впрочемъ, если на правду пошло, то на старой квартирѣ моей все было не въ примѣръ лучше; попривольнѣе было, маточка. Конечно, и теперешняя моя квартира хороша, даже въ нѣкоторомъ отношеніи веселѣе и, если хотите, разнообразнѣе; я противъ этого ничего не говорю, да все старой жаль. Мы, старые, то есть, пожилые люди! къ старымъ вещамъ, какъ къ родному чему, привыкаемъ. Квартирка-то была, знаете, маленькая такая; стѣны были... ну, да что говорить! — стѣны были какъ и всѣ стѣны, не въ нихъ и дѣло, а вотъ воспоминанія-то обо всемъ моемъ прежнемъ на меня тоску нагоняютъ... Странное дѣло — тяжело, а воспоминанія какъ будто пріятныя. Даже что̀ дурно было, на что̀ подъ часъ и досадовалъ, и то въ воспоминаніяхъ какъ-то очищается отъ дурнаго и предстаетъ воображенію моему въ привлекательномъ видѣ. Тихо жили мы, Варинька; я да хозяйка моя, старушка, покойница. Вотъ и старушку-то мою съ грустнымъ чувствомъ припоминаю теперь! Хорошая была она женщина и не дорого брала за квартиру. Она, бывало, все вязала изъ лоскутковъ разныхъ одѣяла на аршинныхъ спицахъ; только этимъ и занималась. Огонь-то мы съ нею вмѣстѣ держали, такъ за однимъ столомъ и работали. Внучка у ней Маша была — ребенкомъ еще помню ее—лѣтъ тринадцати теперь будетъ дѣвочка. Такая ша-

лунья была, веселенькая, все насъ смѣшила; вотъ мы втроемъ такъ и жили. Бывало, въ длинный зимній вечеръ присядемъ къ круглому столу, выпьемъ чайку, а потомъ и за дѣло примемся. А старушка, чтобъ Машѣ не скучно было, да чтобъ не шалила шалунья, сказки, бывало, начнетъ сказывать. И какія сказки-то были! Не то что дитя, и толковый и умный человѣкъ заслушается. Чего! Самъ я, бывало, закурю себѣ трубочку, да такъ заслушаюсь, что и про дѣло забуду. А дитя-то, шалунья-то наша, призадумается; подопретъ рученкой розовую щечку, ротикъ свой раскроетъ хорошенькій, и чуть страшная сказка, такъ жмется-жмется къ старушкѣ. А намъ-то любо было смотрѣть на нее; и не увидишь какъ свѣчка нагоритъ, не слышишь, какъ на дворѣ подъ часъ вьюга злится, и мятель мететъ.—Хорошо было намъ жить, Варинька; и вотъ такъ-то мы чуть-ли не двадцать лѣтъ вмѣстѣ прожили.—Да что я тутъ заболтался! Вамъ, можетъ быть, такая матерія не нравится, да и мнѣ вспоминать не такъ-то легко,—особливо теперь: время сумерки. Тереза съ чѣмъ-то возится, у меня болитъ голова, да и спина немного болитъ, да и мысли-то такія чудныя, какъ будто и онѣ тоже болятъ; грустно мнѣ сегодня. Варинька! — Что-же это вы пишете, родная моя? Какъ-же я къ вамъ приду? Голубчикъ мой, что̀ люди-то скажутъ? Вѣдь вотъ черезъ дворъ перейдти нужно будетъ, наши замѣтятъ, разспрашивать станутъ,—толки пойдутъ, сплетни пойдутъ, дѣлу дадутъ другой смыслъ. Нѣтъ, ангельчикъ мой, я ужь васъ лучше завтра у всенощной увижу; это будетъ благоразумнѣе и для обоихъ насъ безвреднѣе. Да не взыщите на мнѣ, маточка, за то, что я вамъ такое письмо написалъ; какъ перечелъ, такъ и вижу, что все такое безсвязное. Я, Варинька, старый, неученый человѣкъ; съ молоду не выучился, а теперь и въ умъ ничего не пойдетъ, коли снова учиться начинать. Сознаюсь, маточка, не мастеръ описывать и знаю, безъ чужаго инаго указанія и пересмѣиванія, что если захочу что нибудь написать позатѣйливѣе, такъ вздору нагорожу.—Видѣлъ васъ у окна сегодня, видѣлъ какъ вы стору опустили. Прощайте, прощайте, храни васъ Господь! Прощайте, Варвара Алексѣевна.

Вашъ безкорыстный другъ

Макаръ Дѣвушкинъ.

P. S. Я, родная моя, сатиры-то ни объ комъ не пишу теперь. Старъ я сталъ, матушка, Варвара Алексѣевна, чтобъ по пусту зубы скалить! И надо мной засмѣются, по русской посло-

вицѣ: — кто, дескать, другому яму роетъ, такъ тотъ... и самъ туда-же.

Апрѣля 9.

Милостивый Государь,
Макаръ Алексѣевичъ!

Ну, какъ вамъ не стыдно, другъ мой и благодѣтель, Макаръ Алексѣевичъ, такъ закручиниться и закапризничать. Неужели вы обидѣлись! Ахъ, я часто бываю неосторожна, но не думала, что вы слова мои примите за колкую шутку. Будьте увѣрены, что я никогда не осмѣлюсь шутить надъ вашими годами и надъ вашимъ характеромъ. Случилось-же это все по моей вѣтренности, а болѣе потому, что ужасно скучно, а отъ скуки и за что не возьмешься? Я-же полагала, что вы сами въ своемъ письмѣ хотѣли посмѣяться. Мнѣ ужасно грустно стало, когда я увидѣла, что вы недовольны мною. Нѣтъ, добрый другъ мой и благодѣтель, вы ошибаетесь, если будете подозрѣвать меня въ нечувствительности и неблагодарности. Я умѣю оцѣнить въ моемъ сердцѣ все, что вы для меня сдѣлали, защитивъ меня отъ злыхъ людей, отъ ихъ гоненія и ненависти. Я вѣчно буду за васъ Бога молить, и если моя молитва доходна къ Богу и небо внемлетъ ей, то вы будете счастливы.

Я сегодня чувствую себя очень нездоровою. Во мнѣ жаръ и ознобъ попеременно. Ѳедора за меня очень безпокоится. Вы напрасно стыдитесь ходить къ намъ, Макаръ Алексѣевичъ. Какое другимъ дѣло! Вы съ нами знакомы и дѣло съ концомъ!.. Прощайте, Макаръ Алексѣевичъ. Болѣе писать теперь не о чемъ, да и не могу: ужасно нездоровится. Прошу васъ еще разъ не сердиться на меня и быть увѣрену въ томъ всегдашнемъ почтеніи и въ той привязанности,

съ каковыми честь имѣю пребыть наипреданнѣйшею
и покорнѣйшею услужницей вашей

Варварой Доброселовой.

Апрѣля 12.

Милостивая Государыня,
Варвара Алексѣевна!

Ахъ, маточка моя, что это съ вами! Вѣдь вотъ каждый-то разъ вы меня такъ пугаете. Пишу вамъ въ каждомъ письмѣ, чтобъ

вы береглись, чтобъ вы кутались, чтобъ не выходили въ дурную погоду, осторожность во всемъ наблюдали-бы, — а вы, ангельчикъ мой, меня и не слушаетесь. Ахъ, голубчикъ мой, ну словно вы дитя какое нибудь! Вѣдь вы слабенькія, какъ соломенка слабенькія, это я знаю. Чуть вѣтерочекъ какой, такъ ужь вы и хвораете. Такъ остерегаться нужно, самой о себѣ стараться, опасности избѣгать, и друзей своихъ въ горе и въ уныніе не вводить.

Изъявляете желаніе, маточка, въ подробности узнать о моемъ житьѣ-бытьѣ и обо всемъ меня окружающемъ. Съ радостью спѣшу исполнить ваше желаніе, родная моя. Начну съ начала, маточка: больше порядку будетъ. Во первыхъ, въ домѣ у насъ на чистомъ входѣ лѣстницы весьма посредственныя; особливо парадная —чистая, свѣтлая, широкая, все чугунъ да красное дерево. Зато ужь про черную и не спрашивайте: винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны, и стѣны такія жирныя, что рука прилипаетъ, когда на нихъ опираешься. На каждой площадкѣ стоятъ сундуки, стулья и шкафы поломанные, ветошки развѣшаны, окна повыбиты; лоханки стоятъ со всякою нечистью, съ грязью, съ соромъ, съ яичною скорлупою да съ рыбьими пузырями; запахъ дурной... однимъ словомъ, нехорошо.

Я уже описывалъ вамъ расположеніе комнатъ, оно,—нечего сказать, — удобно, это правда, но какъ-то въ нихъ душно, то есть не то чтобы оно пахло дурно, а такъ, если можно выразиться, немного гнилой, остро-услащенный запахъ какой-то. На первый разъ впечатлѣніе невыгодное, но это все ничего, стоитъ только минуты двѣ побыть у насъ, такъ и пройдетъ и не почувствуешь, какъ все пройдетъ, потому что и самъ какъ-то дурно пропахнешь, и платье пропахнетъ, и руки пропахнутъ, и все пропахнетъ,--ну и привыкнешь. У насъ чижики такъ и мрутъ. Мичманъ ужь пятаго покупаетъ,—не живутъ въ нашемъ воздухѣ да и только. Кухня у насъ большая, обширная, свѣтлая. Правда, по утрамъ чадно немного, когда рыбу или говядину жарятъ, да и пальютъ и намочатъ вездѣ, зато ужь вечеромъ рай. Въ кухнѣ у насъ на веревкахъ всегда бѣлье виситъ старое; а такъ какъ моя комната не далеко, то есть почти примыкаетъ къ кухнѣ, то запахъ отъ бѣлья меня безпокоитъ немного, но ничего: поживешь и попривыкнешь.

Съ самаго ранняго утра, Варинька, у насъ возня начинается, встаютъ, ходятъ, стучатъ, — это поднимаются всѣ, кому надо, кто въ службѣ или такъ, самъ по себѣ; всѣ пить чай начинаютъ.

Самовары у насъ хозяйскіе, большею частію, мало ихъ, ну такъ мы всѣ очередь держимъ; а кто попадетъ не въ очередь со своимъ чайникомъ, такъ сейчасъ тому голову вымоютъ. Вотъ я было попалъ въ первый разъ, да... впрочемъ, что-же писать! Тутъ-то я со всѣми и познакомился. Съ мичманомъ съ первымъ познакомился; откровенный такой, все мнѣ разсказалъ: про батюшку, про матушку, про сестрицу, что за тульскимъ засѣдателемъ, и про городъ Кронштадтъ. Обѣщалъ мнѣ во всемъ покровительствовать, и тутъ-же меня къ себѣ на чай пригласилъ. Отыскалъ я его въ той самой комнатѣ, гдѣ у насъ обыкновенно въ карты играютъ. Тамъ мнѣ дали чаю и непремѣнно хотѣли, чтобъ я въ азартную игру съ ними игралъ. Смѣялись-ли они, нѣтъ-ли надо мною, не знаю; только сами они всю ночь напролетъ проиграли, и когда я вошелъ, такъ тоже играли. Мѣлъ, карты, дымъ такой ходилъ по всей комнатѣ, что глаза ѣло. Играть я не сталъ и мнѣ сейчасъ замѣтили, что я про философію говорю. Потомъ ужь никто со мною и не говорилъ все время: да я, по правдѣ, радъ былъ тому. Не пойду къ нимъ теперь; азартъ у нихъ, чистый азартъ! Вотъ у чиновника по литературной части бываютъ также собранія по вечерамъ. Ну, у того хорошо, скромно, невинно и деликатно; все на тонкой ногѣ.

Ну, Варинька, замѣчу вамъ еще мимоходомъ, что прегадкая женщина наша хозяйка, къ тому-же сущая вѣдьма. Вы видѣли Терезу. Ну, что̀ она такое на самомъ-то дѣлѣ? Худая, какъ общипанный, чахлый цыпленокъ. Въ домѣ и людей-то всего двое: Тереза да Фальдони, хозяйскій слуга. Я не знаю, можетъ быть, у него есть и другое какое имя, только онъ и на это откликается; всѣ его такъ и зовутъ. Онъ рыжій, чухна какая-то, кривой, курносый, грубіянъ: все съ Терезой бранится, чуть не дерутся. Вообще сказать, жить мнѣ здѣсь не такъ, чтобы совсѣмъ было хорошо... Чтобъ этакъ всѣмъ разомъ ночью заснуть и успокоится—этого никогда не бываетъ. Ужь вѣчно гдѣ нибудь сидятъ да играютъ, а иногда и такое дѣлается, что зазорно разсказывать. Теперь ужь я всетаки пообвыкъ, а вотъ удивляюсь, какъ въ такомъ содомѣ семейные люди уживаются. Цѣлая семья бѣдняковъ какихъ-то у нашей хозяйки комнату нанимаетъ, только не рядомъ съ другими номерами, а по другую сторону, въ углу, отдѣльно. Люди смирные! Объ нихъ никто ничего и не слышитъ. Живутъ они въ одной комнаткѣ, огородясь въ ней перегородкою. Онъ какой-то чиновникъ безъ мѣста, изъ службы лѣтъ семь тому исключенный за что-то. Фамилія его Горшковъ; такой сѣденькій,

маленькій; ходитъ въ такомъ засаленномъ, въ такомъ истертомъ платьѣ, что больно смотрѣть; куда хуже моего! Жалкій, хилый такой (встрѣчаемся мы съ нимъ иногда въ корридорѣ); колѣнки у него дрожатъ, руки дрожатъ, голова дрожитъ, ужь отъ болѣзни что-ли какой, Богъ его знаетъ; робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой; ужь я застѣнчивъ подъ-часъ, а этотъ еще хуже. Семейства у него — жена и трое дѣтей. Старшій, мальчикъ, весь въ отца, тоже такой чахлый. Жена была когда-то собою весьма недурна, и теперь замѣтно; ходитъ, бѣдная, въ такомъ жалкомъ отрепьи. Они, я слышалъ, задолжали хозяйкѣ; она съ ними что-то не слишкомъ ласкова. Слышалъ тоже, что у самого-то Горшкова непріятности есть какія-то, по которымъ онъ и мѣста лишился... процессъ, не процессъ, подъ судомъ не подъ судомъ, подъ слѣдствіемъ какимъ-то, что-ли ужь, истинно не могу вамъ сказать. Бѣдны-то они бѣдны — Господи, Богъ мой! Всегда у нихъ въ комнатѣ тихо и смирно, словно и не живетъ никто. Даже дѣтей не слышно. И не бываетъ этого, чтобы когда нибудь порѣзвились, поиграли дѣти, а ужь это худой знакъ. Какъ-то мнѣ разъ, вечеромъ, случилось мимо ихъ дверей пройдти; на ту пору въ домѣ стало что-то не по обычному тихо; слышу всхлипываніе, потомъ шепотъ, опять всхлипываніе, точно какъ будто плачутъ, да такъ тихо, такъ жалко, что у меня все сердце надорвалось, и потомъ всю ночь мысль объ этихъ бѣднякахъ меня не покидала, такъ что и заснуть не удалось хорошенько.

Ну, прощайте, дружочекъ безцѣнный мой, Варинька! Описалъ я вамъ все, какъ умѣлъ. Сегодня я весь день все только объ васъ и думаю. У меня за васъ, родная моя, все сердце изныло. Вѣдь вотъ, душечка моя, я вотъ знаю, что у васъ теплаго салопа нѣтъ. Ужь эти мнѣ петербургскія весны, вѣтры, да дождички со снѣжочкомъ, — ужь это смерть моя, Варинька! Такое благорастворeніе воздуховъ, что убереги меня, Господи! Не взыщите, душечка, на писаніи; слогу нѣтъ, Варинька, слогу нѣтъ никакого. Хоть-бы какой нибудь былъ! Пишу, что̀ на умъ взбредетъ, такъ, чтобы васъ только поразвеселить чѣмъ нибудь. Вѣдь вотъ, если-бъ я учился какъ нибудь, дѣло другое; а то вѣдь какъ я учился? Даже и не на мѣдныя деньги.

Вашъ всегдашній и вѣрный другъ

Макаръ Дѣвушкинъ.

Апрѣля 25.

М. Г. Макаръ Алексѣевичъ!

Сегодня двоюродную сестру мою Сашу встрѣтила! Ужасъ! И она погибнетъ, бѣдная! Услышала я тоже со стороны, что Анна Ѳедоровна все обо мнѣ вывѣдываетъ. Она кажется, никогда не перестанетъ меня преслѣдовать. Она говоритъ, что хочетъ *простить меня*, забыть все прошедшее, и что непремѣнно сама навѣститъ меня. Говоритъ, что вы мнѣ вовсе не родственникъ, что она ближе мнѣ родственница, что въ семейныя отношенія наши вы не имѣете никакого права входить, и что мнѣ стыдно и неприлично жить вашей милостыней и на вашемъ содержаніи... говоритъ, что я забыла ея хлѣбъ-соль, что она меня съ матушкой, можетъ быть, отъ голодной смерти избавила, что она насъ поила—кормила, и слишкомъ два съ половиной года на насъ убыточилась, что она намъ сверхъ всего этого долгъ простила. И матушку-то она пощадить не хотѣла! А если-бы знала бѣдная матушка, что̀ они со мною сдѣлали! Богъ видитъ!.. Анна Ѳедоровна говоритъ, что я по глупости моей своего счастія удержать не умѣла, что она сама меня на счастіе наводила, что она ни въ чемъ остальномъ не виновата, и что я сама за честь свою не умѣла, а, можетъ быть, и не хотѣла вступиться. А кто-же тутъ виноватъ, Боже великій! Она говоритъ, что господинъ Быковъ правъ совершенно, и что не на всякой-же жениться, которая... да что писать! Жестоко слышать такую неправду, Макаръ Алексѣевичъ! Я не знаю, что̀ со мной теперь дѣлается. Я дрожу, плачу, рыдаю; это письмо я вамъ два часа писала. Я думала, что̀ она, по крайней мѣрѣ, сознаетъ свою вину предо мною; а она вотъ какъ теперь!—Ради Бога, не етрвожьтесь, другъ мой, единственный доброжелатель мой! Ѳедора все преувеличиваетъ: я не больна. Я только простудилась немного вчера, когда ходила на Волково къ матушкѣ панихиду служить. Зачѣмъ вы не пошли вмѣстѣ со мною;—я васъ такъ просила. Ахъ, бѣдная, бѣдная моя матушка, если-бъ ты встала изъ гроба, если-бъ ты знала, если-бъ ты видѣла, что̀ они со мною сдѣлали!..

В. Д.

Мая 20.

Голубчикъ мой, Варинька!

Посылаю вамъ винограду немного, душечка; для выздоравливающей это, говорятъ, хорошо, да и докторъ рекомендуетъ

для утоленія жажды, такъ только единственно для жажды. Вамъ розанчиковъ намедни захотѣлось, маточка; такъ вотъ я вамъ ихъ теперь посылаю. Есть-ли у васъ аппетитъ, душечка?—вотъ что̀ главное. Впрочемъ, слава Богу, что все прошло и кончилось, и что несчастія наши тоже совершенно оканчиваются. Воздадимъ благодареніе Небу! А что до книжекъ касается, то достать покамѣстъ нигдѣ не могу. Есть тутъ, говорятъ, хорошая книжка одна, и весьма высокимъ слогомъ написанная; говорятъ, что хороша, я самъ не читалъ, а здѣсь очень хвалятъ. Я просилъ ее для себя; обѣщались препроводить. Только будете-ли вы-то читать? Вы у меня на этотъ счетъ привередница; трудно угодить на вашъ вкусъ, ужь я васъ знаю, голубчикъ вы мой; вамъ вѣрно все стихотворство надобно, воздыханій, амуровъ, — ну, и стиховъ достану, всего достану; тамъ есть тетрадка одна переписанная.

Я-то живу хорошо. Вы, маточка, обо мнѣ не безпокойтесь, пожалуйста. А что̀ Ѳедора вамъ насказала на меня, такъ все это вздоръ; вы ей скажите, что она налгала, непремѣнно скажите ей, сплетницѣ!.. Я новаго вицъ-мундира совсѣмъ не продавалъ. Да и зачѣмъ, сами разсудите, зачѣмъ продавать? Вотъ, говорятъ, мнѣ сорокъ рублей серебромъ награжденія выходитъ, такъ зачѣмъ-же продавать? Вы, маточка, не безпокойтесь;—она мнительна, Ѳедора-то, она мнительна. Заживемъ мы, голубчикъ мой! Только вы-то, ангельчикъ, выздоравливайте, ради Бога, выздоравливайте, не огорчите старика. Кто это говоритъ вамъ, что я похудѣлъ? Клевета, опять клевета! Здоровехонекъ и растолстѣлъ такъ, что̀ самому становится совѣстно, сытъ и доволенъ по горло: вотъ только-бы вы-то выздоравливали! Ну, прощайте, мой ангельчикъ; цѣлую всѣ ваши пальчики и пребываю

вашимъ вѣчнымъ неизмѣннымъ другомъ

Макаромъ Дѣвушкинымъ

P. S. Ахъ, душенька моя, что это вы опять въ самомъ дѣлѣ стали писать?.. О чемъ вы блажите-то! Да какъ-же мнѣ ходить къ вамъ такъ часто, маточка, какъ? Я васъ спрашиваю. Развѣ темнотою ночною пользуясь; да вотъ теперь и ночей-то почти не бываетъ: время такое. Я и то, маточка моя, ангельчикъ, васъ почти совсѣмъ не покидалъ во все время болѣзни вашей, во время безпамятства-то вашего; но и тутъ я и самъ ужь не знаю, какъ я всѣ эти дѣла обдѣлывалъ; да и то потомъ пересталъ

ходить; ибо любопытствовать и разспрашивать начали. Здѣсь ужь и безъ того сплетня заплелась какая-то. Я на Терезу надѣюсь; она не болтлива; но все-же, сами разсудите вы, маточка, каково это будетъ, когда они все узнаютъ про насъ? Что-то они подумаютъ и что̀ они скажутъ тогда?—Такъ вотъ вы скрѣпите сердечко, маточка, да переждите до выздоровленія; а мы потомъ ужь такъ, внѣ дома, гдѣ нибудь рандеву дадимъ.

Іюня 1.

Любезнѣйшій Макаръ Алексѣевичъ!

Мнѣ такъ хочется сдѣлать вамъ что нибудь угодное и пріятное за всѣ ваши хлопоты и старанія обо мнѣ, за всю вашу любовь ко мнѣ, что я рѣшилась, наконецъ, на скуку порыться въ моемъ комодѣ и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вамъ. Я начала ее еще въ счастливое время жизни моей. Вы часто съ любопытствомъ разспрашивали о моемъ прежнемъ житьѣ-бытьѣ, о матушкѣ, о Покровскомъ, о моемъ пребываніи у Анны Ѳедоровны и, наконецъ, о недавнихъ несчастіяхъ моихъ, и такъ нетерпѣливо желали прочесть эту тетрадь, гдѣ мнѣ вздумалось, Богъ знаетъ для чего, отмѣтить кое-какія мгновенія изъ моей жизни, что я не сомнѣваюсь принести вамъ большое удовольствіе моею посылкою. Мнѣ-же какъ-то грустно было перечитывать это. Мнѣ кажется, что я уже вдвое постарѣла съ тѣхъ поръ какъ написала въ этихъ запискахъ послѣднюю строчку. Все это писано въ разные сроки. Прощайте, Макаръ Алексѣевичъ! Мнѣ ужасно скучно теперь и меня часто мучитъ безсонница. Прескучное выздоровленіе!

В. Д.

I.

Мнѣ было только четырнадцать лѣтъ, когда умеръ батюшка. Дѣтство мое было самымъ счастливымъ временемъ моей жизни. Началось оно не здѣсь, но далеко отсюда, въ провинціи, въ глуши. Батюшка былъ управителемъ огромнаго имѣнія князя П—го, въ Т—й губерніи. Мы жили въ одной изъ деревень князя, и жили тихо, неслышно, счастливо... Я была такая рѣзвая маленькая; только и дѣлаю, бывало, что бѣгаю по полямъ, по рощамъ, по саду, а обо мнѣ никто и не заботился. Батюшка безпрерывно былъ занятъ дѣлами, матушка занималась хозяй-

ствомъ; меня ничему не учили, а я тому и рада была. Бывало, съ самаго ранняго утра убѣгу или на прудъ, или въ рощу, или на сѣнокосъ, или къ жнецамъ—и нужды нѣтъ, что солнце печетъ, что забѣжишь сама не знаешь куда отъ селенья, исцарапаешься объ кусты, разорвешь свое платье;—дома послѣ бранятъ, а мнѣ и ничего.

И мнѣ кажется, я-бы такъ была счастлива, если-бъ пришлось хоть всю жизнь мою не выѣзжать изъ деревни и жить на одномъ мѣстѣ. А между тѣмъ, я еще дитею принуждена была оставить родныя мѣста. Мнѣ было еще только двѣнадцать лѣтъ, когда мы въ Петербургъ переѣхали. Ахъ, какъ я грустно помню наши печальные сборы! Какъ я плакала, когда прощалась со всѣмъ, что̀ такъ было мило мнѣ. Я помню, что я бросилась на шею батюшкѣ и со слезами умоляла остаться хоть немножко въ деревнѣ. Батюшка закричалъ на меня, матушка плакала; говорила, что надобно, что дѣла этого требовали. Старый князь П—й умеръ. Наслѣдники отказали батюшкѣ отъ должности. У батюшки были кой-какія деньги въ оборотахъ въ рукахъ частныхъ лицъ въ Петербургѣ. Надѣясь поправить свои обстоятельства, онъ почелъ необходимымъ свое личное здѣсь присутствіе. Все это я узнала послѣ отъ матушки. Мы здѣсь поселились на Петербургской сторонѣ и прожили на одномъ мѣстѣ до самой кончины батюшки.

Какъ тяжело мнѣ привыкать къ новой жизни! Мы въѣхали въ Петербургъ осенью. Когда мы оставляли деревню, день былъ такой свѣтлый, теплый, яркій; сельскія работы кончались; на гумнахъ уже громоздились огромныя скирды хлѣба и толпились крикливыя стаи птицъ; все было такъ ясно и весело: а здѣсь, при въѣздѣ нашемъ въ городъ, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новыхъ, незнакомыхъ лицъ, негостепріимныхъ, недовольныхъ, сердитыхъ! Кое-какъ мы устроились. Помню, всѣ такъ суетились у насъ, все хлопотали, обзаводились новымъ хозяйствомъ. Батюшки все не было дома, у матушки не было покойной минуты—меня позабыли совсѣмъ. Грустно мнѣ было вставать по утру, послѣ первой ночи на нашемъ новосельи. Окна наши выходили на какой-то желтый заборъ. На улицѣ постоянно была грязь. Прохожіе были рѣдки, и всѣ они такъ плотно кутались, всѣмъ такъ было холодно.

А дома у насъ по цѣлымъ днямъ была страшная тоска и скука. Родныхъ и близкихъ знакомыхъ у насъ почти не было. Съ Анной Ѳедоровной батюшка былъ въ ссорѣ. (Онъ былъ ей

что-то долженъ). Ходили къ намъ довольно часто люди по дѣламъ. Обыкновенно спорили шумѣли, кричали. Послѣ каждаго посѣщенія, батюшка дѣлался такимъ недовольнымъ, сердитымъ; по цѣлымъ часамъ ходитъ, бывало, изъ угла въ уголъ, нахмурясь, и ни съ кѣмъ слова не вымолвитъ. Матушка не смѣла тогда и заговорить съ нимъ и молчала. Я садилась куда нибудь въ уголокъ за книжку—смирно, тихо, пошевелиться, бывало, не смѣю.

Три мѣсяца спустя по пріѣздѣ нашемъ въ Петербургъ, меня отдали въ пансіонъ. Вотъ грустно-то было мнѣ сначала въ чужихъ людяхъ! Все такъ сухо, непривѣтливо было;—гувернантки такія крикуньи, дѣвицы такія насмѣшницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно! Часы на все положенные, общій столъ, скучные учителя—все это меня сначала истерзало, измучило. Я тамъ и спать не могла. Плачу, бывало, цѣлую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по вечерамъ всѣ повторяютъ или учатъ уроки; я сижу себѣ за разговорами или вокабулами, шевельнуться не смѣю, а сама все думаю про домашній нашъ уголъ, про батюшку, про матушку, про мою старушку-няню, про нянины сказки... ахъ, какъ сгрустнется! Объ самой пустой вещицѣ въ домѣ, и о той съ удовольствіемъ вспоминаешь. Думаешь-думаешь: вотъ какъ-бы хорошо теперь было дома! Сидѣла-бы я въ маленькой комнаткѣ нашей, у самовара, вмѣстѣ съ нашими; было-бы такъ тепло, хорошо, знакомо. Какъ бы, думаешь, обняла теперь матушку, крѣпко-крѣпко, горячо-горячо!—Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько съ тоски, давя въ груди слезы, и нейдутъ на умъ вокабулы. Къ завтраму урока не выучишь; всю ночь снятся учитель, мадамъ, дѣвицы; всю ночь во снѣ уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставятъ на колѣни, дадутъ одно кушанье. Я была такая невеселая, скучная. Сначала всѣ дѣвицы надо мной смѣялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы въ рядахъ шли къ обѣду или къ чаю, жаловались на меня ни за что ни про что гувернанткѣ. Зато какой рай, когда няня придетъ, бывало, за мной въ субботу вечеромъ. Такъ и обниму, бывало, мою старушку въ изступленіи радости. Она меня одѣнетъ, укутаетъ, дорогою не поспѣваетъ за мной, а я ей все болтаю, болтаю, разсказываю. Домой приду веселая, радостная, крѣпко обниму нашихъ, какъ будто послѣ десятилѣтней разлуки. Начнутся толки, разговоры, разсказы; со всѣми здороваешься, смѣешься, хохочешь, бѣгаешь, прыгаешь. Съ

батюшкой начнутся разговоры серьезные, о наукахъ, о нашихъ учителяхъ, о французскомъ языкѣ, о грамматикѣ Ломонда—и всѣ мы такъ веселы, такъ довольны. Мнѣ и теперь весело вспоминать объ этихъ минутахъ. Я всѣми силами старалась учиться и угождать батюшкѣ. Я видѣла, что онъ послѣднее на меня отдавалъ, а самъ бился Богъ знаетъ какъ. Съ каждымъ днемъ онъ становился все мрачнѣе, недовольнѣе, сердитѣе; характеръ его совсѣмъ испортился; дѣла не удавались, долговъ было пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась, слово сказать боялась, чтобы не разсердить батюшку; сдѣлалась больная такая; все худѣла, худѣла и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду изъ пансіона—все такія грустныя лица; матушка потихоньку плачетъ, батюшка сердится. Начнутся упреки, укоры. Батюшка начнетъ говорить, что я ему не доставляю никакихъ радостей, никакихъ утѣшеній; что они изъ-за меня послѣдняго лишаются, а я до сихъ поръ не говорю по французски; однимъ словомъ, всѣ неудачи, всѣ несчастія, все, все вымѣщалось на мнѣ и на матушкѣ. А какъ можно было мучить бѣдную матушку? Глядя на нее, сердце разрывалось, бывало; щеки ея ввалились, глаза впали, въ лицѣ былъ такой чахоточный цвѣтъ. Мнѣ доставалось больше всѣхъ. Начиналось всегда изъ пустяковъ, а потомъ ужь Богъ знаетъ до чего доходило; часто я даже не понимала о чемъ идетъ дѣло. Чего не причиталось!.. И французскій языкъ, и что я большая дура, и что содержательница нашего пансіона нерадивая, глупая женщина; что она объ нашей нравственности не заботится; что батюшка службы себѣ до сихъ поръ не можетъ найдти, и что грамматика Ломонда скверная грамматика, а Запольскаго гораздо лучше; что на меня денегъ много бросили попустому; что я видно безчувственная, каменная—однимъ словомъ, я, бѣдная, изъ всѣхъ силъ билась, твердя разговоры и вокабулы, а во всемъ была виновата, за все отвѣчала! И это совсѣмъ не оттого, чтобы батюшка не любилъ меня: во мнѣ и матушкѣ онъ души не слышалъ. Но ужь это такъ, характеръ былъ такой.

Заботы, огорченія, неудачи измучили бѣднаго батюшку до крайности: онъ сталъ недовѣрчивъ, желченъ; часто былъ близокъ къ отчаянію, началъ пренебрегать своимъ здоровьемъ, простудился, и вдругъ заболѣлъ, страдалъ недолго и скончался такъ внезапно, такъ скоропостижно, что мы всѣ нѣсколько дней были внѣ себя отъ удара. Матушка была въ какомъ-то оцѣпенѣніи; я даже боялась за ея разсудокъ. Только что скончался батюшка, кредиторы явились къ намъ какъ изъ земли, нахлы-

нули гурьбою. Все, что у насъ ни было, мы отдали. Нашъ домикъ на Петербургской сторонѣ, который батюшка купилъ полгода спустя послѣ переселенія нашего въ Петербургъ, былъ такъ-же проданъ. Не знаю, какъ уладили остальное, но сами мы остались безъ крова, безъ пристанища, безъ пропитанія. Матушка страдала изнурительною болѣзнію, прокормить мы себя не могли, жить было нечѣмъ, впереди была гибель. Мнѣ тогда только минуло четырнадцать лѣтъ. Вотъ тутъ-то насъ и посѣтила Анна Ѳедоровна. Она все говоритъ, что она какая-то помѣщица и намъ доводится какою-то роднею. Матушка тоже говорила, что она намъ родня, только очень дальняя. При жизни батюшки, она къ намъ никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазахъ, говорила, что принимаетъ въ насъ большое участіе; соболѣзновала о нашей потерѣ, о нашемъ бѣдственномъ положеніи, прибавила, что батюшка былъ самъ виноватъ: что онъ не по силамъ жилъ, далеко забирался, и что ужь слишкомъ на свои силы надѣялся. Обнаружила желаніе сойдтись съ нами короче, предложила забыть обоюдныя непріятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала къ ней непріязни, то она прослезилась, повела матушку въ церковь и заказала панихиду по голубчикѣ (такъ она выразилась о батюшкѣ). Послѣ этого она торжественно помирилась съ матушкой.

Послѣ долгихъ вступленій и предувѣдомленій, Анна Ѳедоровна, изобразивъ въ яркихъ краскахъ наше бѣдственное положеніе, сиротство, безнадежность, безпомощность, пригласила насъ, какъ она сама выразилась, у ней пріютиться. Матушка благодарила, но долго не рѣшалась: но такъ какъ дѣлать было нечего, и иначе распорядиться никакъ нельзя, то и объявила, наконецъ, Аннѣ Ѳедоровнѣ, что ея предложеніе мы принимаемъ съ благодарностію. Какъ теперь помню утро, въ которое мы перебирались съ Петербургской стороны на Васильевскій островъ, Утро было осеннее, ясное, сухое, морозное. Матушка плакала: мнѣ было ужасно грустно; грудь у меня разрывалась, душу томило отъ какой-то неизъяснимой, страшной тоски... Тяжкое было время. . . . . .

. . . . . .

II.

Сначала, покамѣстъ еще мы, то есть я и матушка, не обжились на нашемъ новосельи, намъ обѣимъ было какъ-то жутко,

дико у Анны Ѳедоровны. Анна Ѳедоровна жила въ собственномъ домѣ, въ шестой линіи. Въ домѣ всего было пять чистыхъ комнатъ. Въ трехъ изъ нихъ жила Анна Ѳедоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, ребенокъ, сиротка, безъ отца и матери. Потомъ, въ одной комнатѣ жили мы, и, наконецъ, въ послѣдней комнатѣ, рядомъ съ нами, помѣщался одинъ бѣдный студентъ Покровскій, жилецъ у Анны Ѳедоровны. Анна Ѳедоровна жила очень хорошо, богаче, чѣмъ-бы можно было предполагать; но состояніе ея было загадочно, такъ-же какъ и ея занятія. Она всегда суетилась, всегда была озабочена, выѣзжала и выходила по нѣскольку разъ въ день; но что̀ она дѣлала, о чемъ заботилась, и для чего заботилась, этого я никакъ не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. Къ ней все, бывало, гости ѣздили, и все Богъ знаетъ какіе люди, всегда по какимъ-то дѣламъ и на минутку. Матушка всегда уводила меня въ нашу комнату, бывало, только что зазвенитъ колокольчикъ. Анна Ѳедоровна ужасно сердилась за это на матушку и безпрерывно твердила, что ужь мы слишкомъ горды, что не по силамъ горды, что было-бы еще чѣмъ гордиться, и по цѣлымъ часамъ не умолкала. Я не понимала тогда этихъ упрековъ въ гордости; точно такъ-же я только теперь узнала, или, по крайней мѣрѣ, предугадываю, почему матушка не рѣшалась жить у Анны Ѳедоровны. Злая женщина была Анна Ѳедоровна; она безпрерывно насъ мучила. До сихъ поръ для меня тайна, зачѣмъ именно она приглашала насъ къ себѣ? Сначала она была съ нами довольно ласкова, — а потомъ ужь и выказала свой настоящій характеръ вполнѣ, какъ увидала, что мы совершенно безпомощны и что намъ идти некуда. Впослѣдствіи, со мной она сдѣлалась весьма ласкова, даже какъ-то грубо ласкова, до лести, но сначала и я терпѣла заодно съ матушкой. Поминутно попрекала она насъ; только и дѣлала, что твердила о своихъ благодѣяніяхъ. Постороннимъ людямъ рекомендовала насъ, какъ своихъ бѣдныхъ родственницъ, вдовицу и сироту безпомощныхъ, которыхъ она изъ милости, ради любви христіанской, у себя пріютила. За столомъ каждый кусокъ, который мы брали, слѣдила глазами, а если мы не ѣли, такъ опять начиналась исторія: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чѣмъ богата тѣмъ и рада; было-ли-бы еще у насъ самихъ лучше. Батюшку поминутно бранила; говорила, что лучше другихъ хотѣлъ быть, да худо и вышло; дескать, жену съ дочерью пустилъ по міру, и что не нашлось-бы родственницы благодѣтельной, христіанской

души, сострадательной, такъ еще Богъ знаетъ, пришлось-бы, можетъ быть, среди улицы съ голоду сгнить. Чего-чего она ни говорила! Не такъ горько, какъ отвратительно было ее слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье ея становилось день отъ дня хуже, она видимо чахла, а между тѣмъ мы съ нею работали съ утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Аннѣ Ѳедоровнѣ; она поминутно говорила, что у нея не модный магазинъ въ домѣ. Но нужно было одѣваться; нужно было на непредвидимые расходы откладывать; нужно было непремѣнно свои деньги имѣть. Мы на всякій случай копили, надѣялись, что можно будетъ со временемъ переѣхать куда нибудь. Но матушка послѣднее здоровье свое потеряла на работѣ: она слабѣла съ каждымъ днемъ. Болѣзнь, какъ червь, видимо подтачивала жизнь ея и близила къ гробу. Я все видѣла, все чувствовала, все выстрадала; все это было на глазахъ моихъ!

Дни проходили за днями и каждый день былъ похожъ на предъидущій. Мы жили тихо, какъ будто и не въ городѣ. Анна Ѳедоровна мало по малу утихала, по мѣрѣ того, какъ сама стала вполнѣ сознавать свое владычество. Ей, впрочемъ, никогда и никто не думалъ прекословить. Въ нашей комнатѣ мы были отдѣлены отъ ея половины корридоромъ, а рядомъ съ нами, какъ я уже упоминала, жилъ Покровскій. Онъ училъ Сашу французскому и нѣмецкому языкамъ, исторіи, географіи—всѣмъ наукамъ, какъ говорила Анна Ѳедоровна, и за то получалъ отъ нея квартиру и столъ; Саша была препонятливая дѣвочка, хотя рѣзвая и шалунья; ей было тогда лѣтъ тринадцать. Анна Ѳедоровна замѣтила матушкѣ, что не дурно-бы было, если-бы и я стала учиться, за тѣмъ, что въ пансіонѣ меня не доучили. Матушка съ радостію согласилась, и я цѣлый годъ училась у Покровскаго вмѣстѣ съ Сашей.

Покровскій былъ бѣдный, очень бѣдный молодой человѣкъ; здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его такъ, по привычкѣ только, звали у насъ студентомъ. Жилъ онъ скромно, смирно, тихо, такъ что и не слышно бывало его изъ нашей комнаты. Съ виду онъ былъ такой странный; такъ неловко ходилъ, такъ неловко раскланивался, такъ чудно говорилъ, что я сначала на него безъ смѣху и смотрѣть не могла. Саша безпрерывно надъ нимъ проказничала, особенно, когда онъ намъ уроки давалъ. А онъ вдобавокъ былъ раздражительнаго характера, безпрестанно сердился, за каждую малость изъ себя выходилъ, кричалъ на насъ, жаловался на насъ и часто, не докончивъ

урока, разсерженный, уходилъ въ свою комнату. У себя-же онъ по цѣлымъ днямъ сидѣлъ за книгами. У него было много книгъ, и все такія дорогія, рѣдкія книги. Онъ кое-гдѣ еще училъ, получалъ кое-какую плату, такъ что чуть бывало у него заведутся деньги, такъ онъ тотчасъ идетъ себѣ книгъ покупать.

Со временемъ я узнала его лучше, короче. Онъ былъ добрѣйшій, достойнѣйшій человѣкъ, наилучшій изъ всѣхъ, которыхъ мнѣ встрѣчать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потомъ онъ и для меня былъ лучшимъ изъ друзей,—разумѣется, послѣ матушки.

Сначала я, такая большая дѣвушка, шалила заодно съ Сашей, и мы, бывало, по цѣлымъ часамъ ломаемъ головы, какъ-бы раздразнить и вывесть его изъ терпѣнія. Онъ ужасно смѣшно сердился, а намъ это было чрезвычайно забавно. (Мнѣ даже и вспоминать это стыдно). Разъ мы раздразнили его чѣмъ-то чуть не до слезъ, и я слышала ясно какъ онъ прошепталъ: «Злыя дѣти». Я вдругъ смутилась; мнѣ стало и стыдно, и горько, и жалко его. Я помню, что я покраснѣла до ушей и чуть не со слезами на глазахъ стала просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостями, но онъ закрылъ книгу, не докончилъ намъ урока и ушелъ въ свою комнату. Я цѣлый день надрывалась отъ раскаянія. Мысль о томъ, что мы, дѣти, своими жестокостями довели его до слезъ, была мнѣ нестернима. Мы, стало быть, ждали его слезъ. Намъ, стало быть, ихъ хотѣлось; стало быть мы успѣли его изъ послѣдняго терпѣнія вывесть, стало быть, мы насильно заставили его, несчастнаго, бѣднаго, о своемъ лютомъ жребіи вспомнить! Я всю ночь не спала отъ досады, отъ грусти, отъ раскаянія. Говорятъ, что раскаяніе облегчаетъ душу—напротивъ. Не знаю, какъ примѣшалось къ моему горю и самолюбіе. Мнѣ не хотѣлось, чтобы онъ считалъ меня за ребенка. Мнѣ тогда было уже пятнадцать лѣтъ.

Съ этого дня я начала мучить воображеніе мое, создавая тысячи плановъ, какимъ-бы образомъ вдругъ заставить Покровскаго измѣнить свое мнѣніе обо мнѣ. Но я была подъ-часъ робка и застѣнчива; въ настоящемъ положеніи моемъ, я ни на что не могла рѣшиться и ограничивалась одними мечтаніями (и Богъ знаетъ какими мечтаніями!). Я перестала только проказничать вмѣстѣ съ Сашей; онъ пересталъ на насъ сердиться; но для самолюбія моего этого было мало.

Теперь скажу нѣсколько словъ объ одномъ самомъ странномъ, самомъ любопытномъ и самомъ жалкомъ человѣкѣ изъ всѣхъ, которыхъ когда либо мнѣ случалось встрѣчать. Потому говорю

о немъ теперь, именно въ этомъ мѣстѣ моихъ записокъ, что до самой этой эпохи я почти не обращала на него никакого вниманія;—такъ все касавшееся Покровскаго стало для меня вдругъ занимательно!

У насъ въ домѣ являлся иногда старичокъ, запачканный, дурно одѣтый, маленькій, сѣденькій, мѣшковатый, неловкій, однимъ словомъ, странный до-нельзя. Съ перваго взгляда на него можно было подумать, что онъ какъ будто чего-то стыдится, какъ будто ему себя самаго совѣстно. Оттого онъ все какъ-то ежился, какъ-то кривлялся; такія ухватки, ужимки были у него, что можно было почти не ошибаясь заключить, что онъ не въ своемъ умѣ. Придетъ, бывало, къ намъ, да стоитъ въ сѣняхъ у стеклянныхъ дверей, и въ домъ войдти не смѣетъ. Кто изъ насъ мимо пройдетъ — я или Саша, или изъ слугъ, кого онъ зналъ подобрѣе къ нему — то онъ сейчасъ машетъ, манитъ къ себѣ, дѣлаетъ разные знаки, и развѣ только когда кивнешь ему головою и позовешь его — условный знакъ, что въ домѣ нѣтъ никого посторонняго и что ему можно войдти, когда ему угодно— только тогда старикъ тихонько отворялъ дверь, радостно улыбался, потиралъ руки отъ удовольствія и на цыпочкахъ прямо отправлялся въ комнату Покровскаго. Это былъ его отецъ.

Потомъ я узнала подробно всю исторію этого бѣднаго старика. Онъ когда-то гдѣ-то служилъ, былъ безъ малѣйшихъ способностей, и занималъ самое послѣднее, самое незначительное мѣсто на службѣ. Когда умерла первая его жена (мать студента Покровскаго), то онъ вздумалъ жениться во второй разъ, и женился на мѣщанкѣ. При новой женѣ, въ домѣ все пошло вверхъ дномъ; никому житья отъ нея не стало; она всѣхъ къ рукамъ прибрала. Студентъ Покровскій былъ тогда еще ребенкомъ, лѣтъ десяти. Мачиха его возненавидѣла. Но маленькому Покровскому благопріятствовала судьба. Помѣщикъ Быковъ, знавшій чиновника Покровскаго и бывшій нѣкогда его благодѣтелемъ, принялъ ребенка подъ свое покровительство и помѣстилъ его въ какую-то школу. Интересовался-же онъ имъ потому, что зналъ его покойную мать, которая еще въ дѣвушкахъ была облагодѣтельствована Анной Ѳедоровной, и выдана ею замужъ за чиновника Покровскаго. Господинъ Быковъ, другъ и короткій знакомый Анны Ѳедоровны, движимый великодушіемъ, далъ за невѣстой пять тысячъ рублей приданаго. Куда эти деньги пошли—неизвѣстно. Такъ мнѣ разсказывала все это Анна Ѳедоровна; самъ-же студентъ Покровскій никогда не любилъ говорить о своихъ семей-

ныхъ обстоятельствахъ. Говорятъ, что его мать была очень хороша собою, и мнѣ странно кажется, почему она такъ неудачно вышла замужъ за такого незначительнаго человѣка... Она умерла еще въ молодыхъ лѣтахъ, года четыре спустя послѣ замужества.

Изъ школы молодой Покровскій поступилъ въ какую-то гимназію, и потомъ въ университетъ. Господинъ Быковъ, весьма часто пріѣзжавшій въ Петербургъ, и тутъ не оставилъ его своимъ покровительствомъ. За разстроеннымъ здоровьемъ своимъ, Покровскій не могъ продолжать занятій своихъ въ университетѣ. Господинъ Быковъ познакомилъ его съ Анной Ѳедоровной, самъ рекомендовалъ его, и такимъ образомъ молодой Покровскій былъ принятъ на хлѣбы, съ уговоромъ учить Сашу всему, чему ни потребуется.

Старикъ-же Покровскій, съ горя отъ жестокостей жены своей, предался самому дурному пороку и почти всегда бывалъ въ нетрезвомъ видѣ. Жена его бивала, сослала жить на кухню, и до того довела, что онъ, наконецъ, привыкъ къ побоямъ и дурному обхожденію и не жаловался. Онъ былъ еще не очень старый человѣкъ, но отъ дурныхъ наклонностей почти изъ ума выжилъ. Единственнымъ-же признакомъ человѣческихъ благородныхъ чувствъ была въ немъ неограниченная любовь къ сыну. Говорили, что молодой Покровскій похожъ какъ двѣ капли воды на покойную мать свою. Не воспоминанія-ли о прежней, доброй женѣ породили въ сердцѣ погибшаго старика такую безпредѣльную любовь къ нему? Старикъ и говорить больше ни о чемъ не могъ, какъ о сынѣ, и постоянно два раза въ недѣлю навѣщалъ его. Чаще-же приходить онъ не смѣлъ, потому что молодой Покровскій терпѣть не могъ отцовскихъ посѣщеній. Изъ всѣхъ его недостатковъ, безспорно, первымъ и важнѣйшимъ было неуваженіе къ отцу. Впрочемъ, и старикъ былъ подъ часъ пренесноснѣйшимъ существомъ на свѣтѣ. Во первыхъ, онъ былъ ужасно любопытенъ, во вторыхъ, разговорами и разспросами, самыми пустыми и безтолковыми, онъ поминутно мѣшалъ сыну заниматься, и, наконецъ, являлся иногда въ нетрезвомъ видѣ. Сынъ понемногу отучалъ старика отъ пороковъ, отъ любопытства и отъ поминутнаго болтанія, и, наконецъ, довелъ до того, что тотъ слушалъ его во всемъ, какъ оракула, и рта не смѣлъ разинуть безъ его позволенія.

Бѣдный старикъ не могъ надивиться и нарадоваться на своего Петиньку (такъ онъ называлъ сына). Когда онъ приходилъ къ нему въ гости, то почти всегда имѣлъ какой-то озабоченный,

робкій видъ, вѣроятно, отъ неизвѣстности, какъ-то его приметъ сынъ, обыкновенно долго не рѣшался войдти, и если я тутъ случалась, такъ онъ меня минутъ двадцать, бывало, разспрашивалъ—что, каковъ Петинька? Здоровъ-ли онъ? Въ какомъ именно расположеніи духа, и не занимается-ли чѣмъ нибудь важнымъ? Что онъ именно дѣлаетъ? Пишетъ-ли, или размышленіями какими занимается? Когда я его достаточно ободряла и успокоивала, то старикъ, наконецъ, рѣшался войдти и тихо-тихо, осторожно-осторожно отворялъ двери, просовывалъ сначала одну голову, и если видѣлъ, что сынъ не сердится и кивнулъ ему головой, то тихонько проходилъ въ комнату, снималъ свою шинельку, шляпу, которая вѣчно у него была измятая, дырявая, съ оторванными полями, — все вѣшалъ на крюкъ, все дѣлалъ тихо, неслышно; потомъ садился гдѣ нибудь осторожно на стулъ и съ сына глазъ не спускалъ, всѣ движенія его ловилъ, желая угадать расположеніе духа своего Петиньки. Если сынъ чуть-чуть былъ не въ духѣ, и старикъ примѣчалъ это, то тотчасъ приподымался съ мѣста и объяснялъ, «что, дескать, я такъ, Петинька, я на минутку. Я, вотъ, далеко ходилъ, проходилъ мимо и отдохнуть зашелъ». И потомъ безмолвно, покорно бралъ свою шинельку, шляпенку, опять потихоньку отворялъ дверь и уходилъ, улыбаясь черезъ силу, чтобы удержать въ душѣ накипѣвшее горе и не выказать его сыну.

Но когда сынъ приметъ, бывало, отца хорошо, то старикъ себя не слышитъ отъ радости. Удовольствіе проглядывало въ его лицѣ, въ его жестахъ, въ его движеніяхъ. Если сынъ съ нимъ заговаривалъ, то старикъ всегда приподымался немного со стула, и отвѣчалъ тихо, подобострастно, почти съ благоговѣніемъ, и всегда стараясь употреблять отборнѣйшія, то есть самыя смѣшныя выраженія. Но даръ слова ему не давался: всегда смѣшается и сробѣетъ, такъ что не знаетъ куда руки дѣвать, куда себя дѣвать, и послѣ еще долго про себя отвѣтъ шепчетъ, какъ-бы желая поправиться. Если-же удавалось отвѣчать хорошо, то старикъ охорашивался, оправлялъ на себѣ жилетку, галстукъ, фракъ и принималъ видъ собственнаго достоинства. А, бывало, до того ободрялся, до того простиралъ свою смѣлость, что тихонько вставалъ со стула, подходилъ къ полкѣ съ книгами, бралъ какую-нибудь книжку, и даже тутъ-же прочитывалъ что нибудь, какая-бы ни была книга. Все это онъ дѣлалъ съ видомъ притворнаго равнодушія и хладнокровія, какъ будто-бы онъ и всегда могъ такъ хозяйничать съ сыновними книгами, какъ будто ему и не

въ диковину ласка сына. Но мнѣ разъ случилось видѣть, какъ бѣднякъ испугался, когда Покровскій просилъ его не трогать книгъ. Онъ смѣшался, заторопился, поставилъ книгу вверхъ ногами, потомъ хотѣлъ поправиться, перевернулъ и поставилъ обрѣзомъ наружу, улыбался, краснѣлъ, и не зналъ чѣмъ загладить свое преступленіе. Покровскій своими совѣтами отучалъ по немногу старика отъ дурныхъ наклонностей, и какъ только видѣлъ его раза три сряду въ трезвомъ видѣ, то при первомъ посѣщеніи давалъ ему на прощаньи по четвертачку, по полтинничку или больше. Иногда покупалъ ему сапоги, галстукъ или жилетку. Зато старикъ въ своей обновѣ былъ гордъ какъ пѣтухъ. Иногда онъ заходилъ къ намъ. Приносилъ мнѣ и Сашѣ пряничныхъ пѣтушковъ, яблоковъ, и все, бывало, толкуетъ съ нами о Петинькѣ. Просилъ насъ учиться внимательно, слушаться, говорилъ, что Петинька добрый сынъ, примѣрный сынъ, и вдобавокъ ученый сынъ. Тутъ онъ такъ, бывало, смѣшно намъ подмигивалъ лѣвымъ глазкомъ, такъ забавно кривлялся, что мы не могли удержаться отъ смѣха и хохотали надъ нимъ отъ души. Маменька его очень любила. Но старикъ ненавидѣлъ Анну Ѳедоровну, хотя былъ предъ нею тише воды, ниже травы.

Скоро я перестала учиться у Покровскаго. Меня онъ по прежнему считалъ ребенкомъ, рѣзвой дѣвочкой, на одномъ ряду съ Сашей. Мнѣ было это очень больно, потому что я всѣми силами старалась загладить мое прежнее поведеніе. Но меня не замѣчали. Это раздражало меня болѣе и болѣе. Я никогда почти не говорила съ Покровскимъ внѣ классовъ, да и не могла говорить. Я краснѣла, мѣшалась, и потомъ гдѣ нибудь въ уголку плакала отъ досады.

Я не знаю, чѣмъ-бы это все кончилось, если-бъ сближенію нашему не помогло одно странное обстоятельство. Однажды вечеромъ, когда матушка сидѣла у Анны Ѳедоровны, я тихонько вошла въ комнату Покровскаго. Я знала, что его не было дома, и, право, не знаю отчего мнѣ вздумалось войдти къ нему. До сихъ поръ я никогда и не заглядывала къ нему, хотя мы прожили рядомъ уже слишкомъ годъ. Въ этотъ разъ сердце у меня билось такъ сильно, такъ сильно, что, казалось, изъ груди хотѣло выпрыгнуть. Я осмотрѣлась кругомъ съ какимъ-то особеннымъ любопытствомъ. Комната Покровскаго была весьма бѣдно убрана; порядка было мало. На столѣ и на стульяхъ лежали бумаги. Книги да бумаги! Меня посѣтила страшная мысль, и вмѣстѣ съ тѣмъ какое-то непріятное чувство досады овладѣло

мною. Мнѣ казалось, что моей дружбы, моего любящаго сердца было мало ему. Онъ былъ ученъ, а я была глупа и ничего не знала, ничего не читала, ни одной книги... Тутъ я завистливо поглядѣла на длинныя полки, которыя ломились подъ книгами. Мною овладѣла досада, тоска, какое-то бѣшенство. Мнѣ захотѣлось, и я тутъ-же рѣшилась прочесть его книги, всѣ до одной, и какъ можно скорѣе. Не знаю, можетъ быть, я думала, что, научившись всему, что̀ онъ зналъ, буду достойнѣе его дружбы. Я бросилась къ первой полкѣ; не думая, не останавливаясь, схватила въ руки первый попавшійся запыленный, старый томъ, и, краснѣя, блѣднѣя, дрожа отъ волненія и страха, утащила къ себѣ краденую книгу, рѣшившись прочесть ее ночью, у ночника, когда заснетъ матушка.

Но какъ-же мнѣ стало досадно, когда я, придя въ нашу комнату, торопливо развернула книгу, и увидала какое-то старое, полусгнившее, все изъѣденное червями латинское сочиненіе. Я воротилась, не теряя времени. Только что я хотѣла поставить книгу на полку, послышался шумъ въ корридорѣ и чьи-то близкіе шаги. Я заспѣшила, заторопилась, но несносная книга была такъ плотно поставлена въ рядъ, что когда я вынула одну, всѣ остальныя раздались сами собою, и сплотились такъ, что теперь для прежняго ихъ товарища не оставалось болѣе мѣста. Втиснуть книгу у меня не доставало силъ. Однако-жь, я толкнула книги какъ только могла сильнѣе. Ржавый гвоздь, на которомъ крѣпилась полка, и который, кажется, нарочно ждалъ этой минуты, чтобъ сломаться — сломался. Полка полетѣла однимъ концомъ внизъ. Книги съ шумомъ посыпались на полъ. Дверь отворилась и Покровскій вошелъ въ комнату.

Нужно замѣтить, что онъ терпѣть не могъ когда кто нибудь хозяйничалъ въ его владѣніяхъ. Бѣда тому, кто дотрогивался до книгъ его! Судите-же о моемъ ужасѣ, когда книги, маленькія, большія, всевозможныхъ форматовъ, всевозможной величины и толщины, ринулись съ полки, полетѣли, запрыгали подъ столомъ, подъ стульями, по всей комнатѣ. Я было хотѣла бѣжать, но было поздно. — Кончено, думаю, кончено! Я пропала, погибла! Я балую, рѣзвлюсь какъ десятилѣтній ребенокъ; я глупая дѣвчонка! Я большая дура!! — Покровскій разсердился ужасно. — «Ну вотъ этого не доставало еще! закричалъ онъ. — Ну, не стыдно-ли вамъ такъ шалить!.. Уймитесь-ли вы когда нибудь?» и самъ бросился подбирать книги. Я было нагнулась помогать ему. — «Не нужно, не нужно, закричалъ онъ. — Лучше-бы вы сдѣлали, если-бъ не

ходили туда, куда васъ не просятъ». — Но, впрочемъ, немного смягченный моимъ покорнымъ движеніемъ, онъ продолжалъ уже тише, въ недавнемъ, наставническомъ тонѣ, пользуясь недавнимъ правомъ учителя: — «Ну, когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Вѣдь вы на себя посмотрите, вѣдь ужь вы не ребенокъ, не маленькая дѣвочка, вѣдь вамъ уже пятнадцать лѣтъ!» — И тутъ, вѣроятно, желая повѣрить, справедливо-ли то, что я ужь не маленькая, онъ взглянулъ на меня и покраснѣлъ до ушей. Я не понимала; я стояла передъ нимъ и смотрѣла на него во всѣ глаза въ изумленіи. Онъ привсталъ, подошелъ съ смущеннымъ видомъ ко мнѣ, смѣшался ужасно, что-то заговорилъ, кажется, въ чемъ-то извинялся, можетъ быть, въ томъ, что только теперь замѣтилъ, что я такая большая дѣвушка. Наконецъ, я поняла. Я не помню, что со мной тогда сталось; — я смѣшалась, потерялась, покраснѣла еще больше Покровскаго, закрыла лицо руками и выбѣжала изъ комнаты.

Я не знала, что̀ мнѣ оставалось дѣлать, куда было дѣваться отъ стыда. Одно то, что онъ засталъ меня въ своей комнатѣ! Цѣлыхъ три дня я на него взглянуть не могла. Я краснѣла до слезъ. Мысли самыя страшныя, мысли смѣшныя вертѣлись въ головѣ моей. Одна изъ нихъ, самая сумасбродная, была та, что я хотѣла идти къ нему, объясниться съ нимъ, признаться ему во всемъ, откровенно разсказать ему все, и увѣрить его, что я поступила не какъ глупая дѣвочка, но съ добрымъ намѣреніемъ. Я было и совсѣмъ рѣшилась идти, но, слава Богу, смѣлости не достало. Воображаю, что-бы я надѣлала! Мнѣ и теперь обо всемъ этомъ вспоминать совѣстно.

Нѣсколько дней спустя, матушка вдругъ сдѣлалась опасно больна. Она уже два дня не вставала съ постели и на третью ночь была въ жару и въ бреду. Я уже не спала одну ночь, ухаживая за матушкой, сидѣла у ея кровати, подносила ей питье и давала въ опредѣленные часы лѣкарства. На вторую ночь я измучилась совершенно. По временамъ меня клонилъ сонъ, въ глазахъ зеленѣло, голова шла кругомъ, и я каждую минуту готова была упасть отъ утомленія, но слабые стоны матери пробуждали меня, я вздрагивала, просыпалась на мгновеніе, а потомъ дремота опять одолѣвала меня. Я мучилась. Я не знаю — я не могу припомнить себѣ — но какой-то страшный сонъ, какое-то ужасное видѣніе посѣтило мою разстроенную голову въ томительную минуту борьбы сна съ бдѣніемъ. Я проснулась въ ужасѣ. Въ комнатѣ было темно, ночникъ погасалъ, полосы свѣта

то вдругъ обливали всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стѣнѣ, то исчезали совсѣмъ. Мнѣ стало отъ чего-то страшно, какой-то ужасъ напалъ на меня; воображеніе мое взволновано было ужаснымъ сномъ; тоска сдавила мое сердце... Я вскочила со стула и невольно вскрикнула отъ какого-то мучительнаго, страшно-тягостнаго чувства. Въ это время отворилась дверь, и Покровскій вошелъ къ намъ въ комнату.

Я помню только то, что я очнулась на его рукахъ. Онъ бережно посадилъ меня въ кресла, подалъ мнѣ стаканъ воды и засыпалъ вопросами. Не помню, что я ему отвѣчала. — «Вы больны, вы сами очень больны», сказалъ онъ, взявъ меня за руку: — «у васъ жаръ, вы себя губите, вы своего здоровья не щадите; успокойтесь, лягьте, засните. Я васъ разбужу черезъ два часа, успокойтесь немного... Ложитесь-же, ложитесь!» продолжалъ онъ, не давая мнѣ выговорить ни одного слова въ возраженіе. Усталость отняла у меня послѣднія силы; глаза мои закрывались отъ слабости. Я прилегла въ кресла, рѣшившись заснуть только на полчаса, и проспала до утра. Покровскій разбудилъ меня только тогда, когда пришло время давать матушкѣ лѣкарство.

На другой день, когда я, отдохнувъ немного днемъ, приготовилась опять сидѣть въ креслахъ у постели матушки, твердо рѣшившись въ этотъ разъ не засыпать, Покровскій часовъ въ одиннадцать постучался въ нашу комнату. Я отворила. «Вамъ скучно сидѣть одной», сказалъ онъ мнѣ; — «вотъ вамъ книга; возьмите; все не такъ скучно будетъ». Я взяла; я не помню, какая это была книга; врядъ-ли я тогда въ нее заглянула, хоть всю ночь не спала. Странное внутреннее волненіе не давало мнѣ спать; я не могла оставаться на одномъ мѣстѣ; нѣсколько разъ вставала съ креселъ и начинала ходить по комнатѣ. Какое-то внутреннее довольство разливалось по всему существу моему. Я такъ была рада вниманію Покровскаго. Я гордилась безпокойствомъ и заботами его обо мнѣ. Я продумала и промечтала всю ночь. Покровскій не заходилъ болѣе; и я знала, что онъ не придетъ, и загадывала о будущемъ вечерѣ.

Въ слѣдующій вечеръ, когда въ домѣ ужь всѣ улеглись, Покровскій отворилъ свою дверь и началъ со мной разговаривать, стоя у порога своей комнаты. Я не помню теперь ни одного слова изъ того, что мы сказали тогда другъ другу; помню только, что я робѣла, мѣшалась, досадовала на себя, и съ нетерпѣніемъ ожидала окончанія разговора, хотя сама всѣми си-

лами желала его, цѣлый день мечтала о немъ и сочиняла мои вопросы и отвѣты... Съ этого вечера началась первая завязка нашей дружбы. Во все продолженіе болѣзни матушки, мы каждую ночь по нѣскольку часовъ проводили вмѣстѣ. Я мало по малу побѣдила свою застѣнчивость, хотя, послѣ каждаго разговора нашего, все еще было за что на себя подосадовать. Впрочемъ, я съ тайною радостію и съ гордымъ удовольствіемъ видѣла, что онъ изъ-за меня забывалъ свои несносныя книги. Случайно, въ шутку, разговоръ зашелъ разъ о паденіи ихъ съ полки. Минута была странная, я какъ-то *слишкомъ* была откровенна и чистосердечна; горячность, странная восторженность увлекли меня, и я призналась ему во всемъ... въ томъ, что мнѣ хотѣлось учиться, что нибудь знать, что мнѣ досадно было, что меня считаютъ дѣвочкой, ребенкомъ... Повторяю, что я была въ престранномъ расположеніи духа; сердце мое было мягко, въ глазахъ стояли слезы,—я не утаила ничего, и разсказала все, все—про мою дружбу къ нему, про желаніе любить его, жить съ нимъ заодно сердцемъ, утѣшить его, успокоить его. Онъ посмотрѣлъ на меня какъ-то странно, съ замѣшательствомъ, съ изумленіемъ, и не сказалъ мнѣ ни слова. Мнѣ стало вдругъ ужасно больно, грустно. Мнѣ показалось, что онъ меня не понимаетъ, что онъ, можетъ быть, надо мною смѣется. Я заплакала вдругъ, какъ дитя, зарыдала, сама себя удержать не могла; точно я была въ какомъ-то припадкѣ. Онъ схватилъ мои руки, цѣловалъ ихъ, прижималъ къ груди своей, уговаривалъ, утѣшалъ меня; онъ былъ сильно тронутъ; не помню, что онъ мнѣ говорилъ, но только я и плакала, и смѣялась, и опять плакала, краснѣла, не могла слова вымолвить отъ радости. Впрочемъ, не смотря на волненіе мое, я замѣтила, что въ Покровскомъ всетаки оставалось какое-то смущеніе и принужденіе. Кажется, онъ не могъ надивиться моему увлеченію, моему восторгу, такой внезапной, горячей, пламенной дружбѣ. Можетъ быть, ему было только любопытно сначала; впослѣдствіи нерѣшительность его исчезла, и онъ, съ такимъ-же простымъ, прямымъ чувствомъ, какъ и я, принималъ мою привязанность къ нему, мои привѣтливыя слова, мое вниманіе, и отвѣчалъ на все это тѣмъ-же вниманіемъ, такъ-же дружелюбно и привѣтливо, какъ искренній другъ мой, какъ родной братъ мой. Моему сердцу было такъ тепло, такъ хорошо!.. Я не скрывалась, не таилась ни въ чемъ; онъ все это видѣлъ, и съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе привязывался ко мнѣ.

И, право, не помню, о чемъ мы ни переговорили съ нимъ въ эти мучительные и вмѣстѣ сладкіе часы нашихъ свиданій, ночью, при дрожащемъ свѣтѣ лампадки, и почти у самой постели моей бѣдной больной матушки?.. Обо всемъ, что̀ на умъ приходило, что̀ съ сердца срывалось, что̀ просилось высказаться,—и мы почти были счастливы... Охъ, это было и грустное, и радостное время,—все вмѣстѣ; и мнѣ и грустно, и радостно теперь вспоминать о немъ. Воспоминанія, радостныя-ли, горькія-ли, всегда мучительны; по крайней мѣрѣ, такъ у меня; но и мученіе это сладостно. И когда сердцу становится тяжело, больно, томительно, грустно, тогда воспоминанія свѣжатъ и живятъ его, какъ капли росы въ влажный вечеръ, послѣ жаркаго дня, свѣжатъ и живятъ бѣдный, чахлый цвѣтокъ, сгорѣвшій отъ зноя дневнаго.

Матушка выздоравливала, но я еще продолжала сидѣть по ночамъ у ея постели. Часто Покровскій давалъ мнѣ книги; я читала, сначала, чтобъ не заснуть, потомъ внимательнѣе, потомъ съ жадностію; передо мной внезапно открылось много новаго, доселѣ невѣдомаго, незнакомаго мнѣ. Новыя мысли, новыя впечатлѣнія разомъ, обильнымъ потокомъ, прихлынули къ моему сердцу. И чѣмъ болѣе волненія, чѣмъ болѣе смущенія и труда стоилъ мнѣ пріемъ новыхъ впечатлѣній, тѣмъ милѣе они были мнѣ, тѣмъ сладостнѣе потрясали всю душу. Разомъ, вдругъ, втолпились они въ мое сердце, не давая ему отдохнуть. Какой-то странный хаосъ сталъ возмущать все существо мое. Но это духовное насиліе не могло и не въ силахъ было разстроить меня совершенно. Я была слишкомъ мечтательна и это спасло меня.

Когда кончилась болѣзнь матушки, наши вечернія свиданія и длинные разговоры прекратились; намъ удавалось иногда мѣняться словами, часто пустыми и малозначущими, но мнѣ любо было давать всему свое значеніе, свою цѣну особую, подразумѣваемую. Жизнь моя была полна, я была счастлива, покойно, тихо-счастлива. Такъ прошло нѣсколько недѣль...

Какъ-то разъ зашелъ къ намъ старикъ Покровскій. Онъ долго съ нами болталъ, былъ не по обыкновенному веселъ, бодръ, разговорчивъ; смѣялся, острилъ по своему, и, наконецъ, разрѣшилъ загадку своего восторга и объявилъ намъ, что ровно черезъ недѣлю будетъ день рожденія Петиньки, и что по сему случаю онъ непремѣнно придетъ къ сыну; что онъ надѣнетъ новую жилетку и что жена обѣщалась купить ему новые са-

ноги. Однимъ словомъ, старикъ былъ счастливъ вполнѣ и болталъ обо всемъ что ему на умъ попадалось.

День его рожденія! Этотъ день рожденія не давалъ мнѣ покоя ни днемъ, ни ночью. Я непремѣнно рѣшилась напомнить о своей дружбѣ Покровскому и что нибудь подарить ему. Но что̀? Наконецъ, я выдумала подарить ему книгъ. Я знала, что ему хотѣлось имѣть полное собраніе сочиненій Пушкина, въ послѣднемъ изданіи, и я рѣшила купить Пушкина. У меня своихъ собственныхъ денегъ было рублей тридцать, заработанныхъ рукодѣліемъ. Эти деньги были отложены у меня на новое платье. Тотчасъ я послала нашу кухарку, старуху Матрену, узнать, что стоитъ весь Пушкинъ. Бѣда! Цѣна всѣхъ одиннадцати книгъ, присовокупивъ сюда издержки на переплетъ, была, по крайней мѣрѣ, рублей шестьдесятъ. Гдѣ взять денегъ? Я думала-думала и не знала на что рѣшиться. У матушки просить не хотѣлось. Конечно, матушка мнѣ непремѣнно-бы помогла; но тогда всѣ-бы въ домѣ узнали о нашемъ подаркѣ; да къ тому-же этотъ подарокъ обратился-бы въ благодарность, въ плату за цѣлый годъ трудовъ Покровскаго. Мнѣ хотѣлось подарить одной, тихонько отъ всѣхъ. А за труды его со мною я хотѣла быть ему навсегда одолженною безъ какой-бы то ни было уплаты, кромѣ дружбы моей. — Наконецъ, я выдумала какъ выйдти изъ затрудненія.

Я знала, что у букинистовъ въ Гостинномъ Дворѣ можно купить книгу иногда въ пол-цѣны дешевле, если только поторговаться, часто мало-подержанную и почти совершенно новую. Я положила непремѣнно отправиться въ Гостинный Дворъ. Такъ и случилось; на завтра-же встрѣтилась какая-то надобность и у насъ, и у Анны Ѳедоровны. Матушкѣ понездоровилось, Анна Ѳедоровна очень кстати полѣнилась, такъ что пришлось всѣ порученія возложить на меня, и я отправилась вмѣстѣ съ Матреной.

Къ моему счастію, я нашла весьма скоро Пушкина, и въ весьма красивомъ переплетѣ. Я начала торговаться. Сначала запросили дороже чѣмъ въ лавкахъ; но потомъ, впрочемъ, не безъ труда, уходя нѣсколько разъ, я довела купца до того, что онъ сбавилъ цѣну и ограничилъ свои требованія только десятью рублями серебромъ. Какъ мнѣ весело было торговаться!.. Бѣдная Матрена не понимала, что̀ со мной дѣлается, и зачѣмъ я вздумала покупать столько книгъ. Но, ужасъ! Весь мой капиталъ былъ въ тридцать рублей ассигнаціями, а купецъ никакъ

не соглашался уступить дешевле. Наконецъ, я начала упрашивать, просила-просила его, наконецъ, упросила. Онъ уступилъ, но только два съ полтиною, и побожился, что и эту уступку онъ только ради меня дѣлаетъ, что я такая барышня хорошая, а что для другаго кого онъ ни за что-бы не уступилъ. Двухъ съ половиною рублей не доставало! Я готова была заплакать съ досады. Но самое неожиданное обстоятельство помогло мнѣ въ моемъ горѣ.

Недалеко отъ меня, у другаго стола съ книгами, я увидала старика Покровскаго. Вокругъ него столпились четверо или пятеро букинистовъ; они его сбили съ послѣдняго толку, затормошили совсѣмъ. Всякій изъ нихъ предлагалъ ему свой товаръ, и чего-чего ни предлагали они ему и чего-чего ни хотѣлъ онъ купить! Бѣдный старикъ стоялъ посреди ихъ какъ будто забитый какой нибудь, и не зналъ за что взяться изъ того, что ему предлагали. Я подошла къ нему и спросила—что онъ здѣсь дѣлаетъ? Старикъ мнѣ очень обрадовался;о нъ любилъ меня безъ памяти, можетъ быть, не менѣе Петиньки.—«Да вотъ книжки покупаю, Варвара Алексѣевна, отвѣчалъ онъ мнѣ, Петинькѣ покупаю книжки. Вотъ его день рожденія скоро будетъ, а онъ любитъ книжки, такъ вотъ я и покупаю ихъ для него»...—Старикъ и всегда смѣшно изъяснялся, а теперь вдобавокъ былъ въ ужаснѣйшемъ замѣшательствѣ. Къ чему ни прицѣнится, все рубль серебромъ, два рубля, три рубля серебромъ; ужь онъ къ большимъ книгамъ и не прицѣнивался, а такъ только завистливо на нихъ посматривалъ, перебиралъ пальцами листочки, вертѣлъ въ рукахъ и опять ихъ ставилъ на мѣсто. «Нѣтъ, нѣтъ, это дорого, говорилъ онъ въ полголоса, а вотъ развѣ отсюдова что нибудь»— и тутъ онъ начиналъ перебирать тоненькія тетрадки, пѣсенники, альманахи; это все было очень дешево.—Да зачѣмъ вы это все покупаете, спросила я его: это все ужасные пустяки. — «Ахъ, нѣтъ, отвѣчалъ онъ, нѣтъ, вы посмотрите только какія здѣсь есть хорошія книжки; очень-очень хорошія есть книжки!» — И послѣднія слова онъ такъ жалобно протянулъ нараспѣвъ, что мнѣ показалось, что онъ заплакать готовъ отъ досады, зачѣмъ книжки хорошія дороги, и что вотъ сейчасъ капнетъ слезинка съ его блѣдныхъ щекъ на красный носъ. Я спросила много-ли у него денегъ?—«Да вотъ»—тутъ бѣдненькій вынулъ всѣ свои деньги, завернутыя въ засаленную газетную бумажку — «вотъ полтинничекъ, двугривенничекъ, мѣди копѣекъ двадцать». Я его тотчасъ потащила къ моему букинисту. — «Вотъ цѣлыхъ один-

надцать книгъ стоитъ всего-то тридцать два рубля съ полтиною; у меня есть тридцать; приложите два съ полтиною, и мы купимъ всѣ эти книги и подаримъ вмѣстѣ». Старикъ обезумѣлъ отъ радости, высыпалъ всѣ свои деньги, и букинистъ навьючилъ на него всю нашу общую библіотеку. Мой старичекъ наложилъ книгъ во всѣ карманы, набралъ въ обѣ руки, подъ мышки, и унесъ все къ себѣ, давъ мнѣ слово принести всѣ книги на другой день тихонько ко мнѣ.

На другой день старикъ пришелъ къ сыну, съ часочекъ посидѣлъ у него по обыкновенію, потомъ зашелъ къ намъ и подсѣлъ ко мнѣ съ прекомическимъ таинственнымъ видомъ. Сначала съ улыбкой, потирая руки отъ гордаго удовольствія владѣть какой нибудь тайной, онъ объявилъ мнѣ, что книжки всѣ пренезамѣтно перенесены къ намъ и стоятъ въ уголку, въ кухнѣ, подъ покровительствомъ Матрены. Потомъ разговоръ естественно перешелъ на ожидаемый праздникъ; потомъ старикъ распространился о томъ, какъ мы будемъ дарить, и чѣмъ далѣе углублялся онъ въ свой предметъ, чѣмъ болѣе о немъ говорилъ, тѣмъ примѣтнѣе мнѣ становилось, что у него есть что-то на душѣ, о чемъ онъ не можетъ, не смѣетъ, даже боится выразиться. Я все ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствіе, что̀ я легко читала доселѣ въ его странныхъ ухваткахъ, гримасничаньи, подмигиваньи лѣвымъ глазкомъ, исчезли. Онъ дѣлался поминутно все безпокойнѣе и тоскливѣе; наконецъ, онъ не выдержалъ.....

— Послушайте, началъ онъ робко, въ полголоса:—послушайте, Варвара Алексѣевна... знаете-ли что, Варвара Алексѣевна?..—старикъ былъ въ ужасномъ замѣшательствѣ. — Видите: вы, какъ придетъ день его рожденія, возьмите десять книжекъ и подарите ихъ ему сами, то есть отъ себя, съ своей стороны; я-же возьму тогда одну одиннадцатую и ужь тоже подарю отъ себя, то есть собственно съ своей стороны. Такъ вотъ, видите-ли—и у васъ будетъ что нибудь подарить, и у меня будетъ что нибудь подарить; у насъ обоихъ будетъ что нибудь подарить. Тутъ старикъ смѣшался и замолчалъ. Я взглянула на него; онъ съ робкимъ ожиданіемъ ожидалъ моего приговора.—«Да зачѣмъ-же вы хотите, чтобъ мы не вмѣстѣ дарили, Захаръ Петровичъ?»—Да такъ, Варвара Алексѣевна, ужь это такъ...—я вѣдь, оно того...—однимъ словомъ, старикъ замѣшался, покраснѣлъ, завязъ въ своей фразѣ и не могъ сдвинуться съ мѣста.

— Видите-ли, объяснилъ онъ, наконецъ.—Я, Варвара Алексѣевна, балуюсь подъ часъ.. то есть я хочу доложить вамъ,

что я почти и все балуюсь и всегда балуюсь... придерживаюсь того, что нехорошо... то есть, знаете, этакъ на дворѣ такіе холода бываютъ, также иногда непріятности бываютъ разныя, или тамъ какъ нибудь грустно сдѣлается; или что нибудь изъ нехорошаго случится, такъ я и не удержусь подъ часъ, и забалуюсь, и выпью иногда лишнее. Петрушѣ это очень непріятно. Онъ, вотъ видите-ли, Варвара Алексѣевна, сердится, бранитъ меня и мнѣ морали разныя читаетъ. Такъ вотъ-бы мнѣ и хотѣлось теперь самому доказать ему подаркомъ моимъ, что я исправляюсь и начинаю вести себя хорошо. Что вотъ я копилъ, чтобы книжку купить, долго копилъ, потому что у меня и денегъ-то почти никогда не бываетъ, развѣ случится, Петруша кое-когда дастъ. Онъ это знаетъ. Слѣдовательно, вотъ онъ увидитъ употребленіе денегъ моихъ, и узнаетъ, что все это я для него одного дѣлаю.

Мнѣ стало ужасно жаль старика. Я думала недолго. Старикъ смотрѣлъ на меня съ безпокойствомъ. «Да слушайте, Захаръ Петровичъ, сказала я: вы подарите ихъ ему всѣ».—«Какъ всѣ? То есть книжки всѣ?» — «Ну да, книжки всѣ». — «И отъ себя?» — «Отъ себя».—«Отъ одного себя? То есть, отъ своего имени?» — «Ну да, отъ своего имени»... Я, кажется, очень ясно толковала, но старикъ очень долго не могъ понять меня.

— Ну да, говорилъ онъ, задумавшись, да! Это будетъ очень хорошо, это было-бы весьма хорошо, только вы-то какъ-же, Варвара Алексѣевна?—«Ну, да я ничего не подарю». — Какъ! закричалъ старикъ, почти испугавшись; такъ вы ничего Петинькѣ не подарите, такъ вы ему ничего дарить не хотите? Старикъ испугался; въ эту минуту онъ, кажется, готовъ былъ отказаться отъ своего предложенія, затѣмъ, чтобы и я могла чѣмъ нибудь подарить его сына. Добрякъ былъ этотъ старикъ! Я увѣрила его, что я-бы рада была подарить что нибудь, да только у него не хочу отнимать удовольствія.—«Если сынъ вашъ будетъ доволенъ, прибавила я, и вы будете рады, то и я буду рада, потому что втайнѣ-то, въ сердцѣ-то моемъ, буду чувствовать, какъ будто и на самомъ дѣлѣ я подарила». Этимъ старикъ совершенно успокоился. Онъ пробылъ у насъ еще два часа, но все это время на мѣстѣ не могъ усидѣть, вставалъ, возился, шумѣлъ, шалилъ съ Сашей, цѣловалъ меня украдкой, щипалъ меня за руку и дѣлалъ тихонько гримасы Аннѣ Ѳедоровнѣ. Анна Ѳедоровна прогнала его, наконецъ, изъ дома. Однимъ словомъ, старикъ отъ восторга такъ расходился, какъ, можетъ быть, никогда еще не бывало съ нимъ.

Въ торжественный день онъ явился ровно въ одиннадцать часовъ, прямо отъ обѣдни, во фракѣ, прилично заштопанномъ, и дѣйствительно въ новомъ жилетѣ и въ новыхъ сапогахъ. Въ обѣихъ рукахъ было у него по связкѣ книгъ. Мы всѣ сидѣли тогда въ залѣ у Анны Ѳедоровны и пили кофе (было воскресенье). Старикъ началъ, кажется, съ того, что Пушкинъ былъ весьма хорошій стихотворецъ; потомъ, сбиваясь и мѣшаясь, перешелъ вдругъ на то, что нужно вести себя хорошо, и что, если человѣкъ не ведетъ себя хорошо, то значитъ, что онъ балуется; что дурныя наклонности губятъ и уничтожаютъ человѣка; исчислялъ даже нѣсколько пагубныхъ примѣровъ невоздержанія и заключилъ тѣмъ, что онъ съ нѣкотораго времени совершенно исправился, и что теперь ведетъ себя примѣрно хорошо. Что онъ и прежде чувствовалъ справедливость сыновнихъ наставленій, что онъ все это давно чувствовалъ и все на сердцѣ слагалъ, но теперь и на дѣлѣ сталъ удерживаться. Въ доказательство чего даритъ книги, на скопленныя имъ, въ продолженіе долгаго времени, деньги.

Я не могла удержаться отъ слезъ и смѣха, слушая бѣднаго старика; вѣдь умѣлъ-же палгать, когда нужда пришла! Книги были перенесены въ комнату Покровскаго и поставлены на полку. Покровскій тотчасъ угадалъ истину. Старика пригласили обѣдать. Этотъ день мы всѣ были такъ веселы. Послѣ обѣда играли въ фанты, въ карты; Саша рѣзвилась, я отъ нея не отставала. Покровскій былъ ко мнѣ внимателенъ и все искалъ случая поговорить со мною наединѣ, но я не давалась. Это былъ лучшій день въ цѣлые четыре года моей жизни.

А теперь все пойдутъ грустныя, тяжелыя воспоминанія, начнется повѣсть о моихъ черныхъ дняхъ. Вотъ отчего, можетъ быть, перо мое начинаетъ двигаться медленнѣе и какъ будто отказывается писать далѣе. Вотъ отчего, можетъ быть, я съ такимъ увлеченіемъ и съ такою любовью переходила въ памяти моей малѣйшія подробности моего маленькаго житья-бытья въ счастливые дни мои. Эти дни были такъ недолги; ихъ смѣнило горе, черное горе, которое Богъ одинъ знаетъ когда кончится.

Несчастія мои начались болѣзнію и смертію Покровскаго.

Онъ заболѣлъ два мѣсяца спустя послѣ послѣднихъ происшествій, мною здѣсь описанныхъ. Въ эти два мѣсяца онъ неутомимо хлопоталъ о способахъ жизни, ибо до сихъ поръ онъ еще не имѣлъ опредѣленнаго положенія. Какъ и всѣ чахоточные, онъ не разставался, до послѣдней минуты своей, съ на-

деждою жить очень долго. Ему выходило куда-то мѣсто въ учителя; но къ этому ремеслу онъ имѣлъ отвращеніе. Служить гдѣ нибудь въ казенномъ мѣстѣ онъ не могъ за нездоровьемъ. Къ тому-же долго-бы нужно было ждать перваго оклада жалованья. Короче, Покровскій видѣлъ вездѣ только однѣ неудачи; характеръ его портился. Здоровье его разстраивалось, онъ этого не примѣчалъ. Подступила осень. Каждый день выходилъ онъ въ своей легкой шинелькѣ хлопотать по своимъ дѣламъ, просить и вымаливать себѣ гдѣ нибудь мѣста,—что̀ его внутренно мучило; промачивалъ ноги, мокъ подъ дождемъ, и наконецъ, слегъ въ постель, съ которой не вставалъ уже болѣе... Онъ умеръ въ глубокую осень, въ концѣ октября мѣсяца.

Я почти не оставляла его комнаты во все продолженіе его болѣзни, ухаживала за нимъ и прислуживала ему. Часто не спала цѣлыя ночи. Онъ рѣдко былъ въ памяти, часто былъ въ бреду; говорилъ Богъ знаетъ о чемъ, о своемъ мѣстѣ, о своихъ книгахъ, обо мнѣ, объ отцѣ... и тутъ-то я услышала многое изъ его обстоятельствъ, чего прежде не знала и о чемъ даже не догадывалась. Въ первое время болѣзни его всѣ наши смотрѣли на меня какъ-то странно; Анна Ѳедоровна качала головою. Но я посмотрѣла всѣмъ прямо въ глаза и за участіе мое къ Покровскому меня не стали осуждать болѣе,—по крайней мѣрѣ, матушка.

Иногда Покровскій узнавалъ меня, но это было рѣдко. Онъ былъ почти все время въ безпамятствѣ. Иногда по цѣлымъ ночамъ онъ говорилъ съ кѣмъ то долго-долго, неясными, темными словами, и хриплый голосъ его глухо отдавался въ тѣсной его комнатѣ, словно въ гробу; мнѣ тогда становилось страшно. Особенно въ послѣднюю ночь онъ былъ какъ изступленный; онъ ужасно страдалъ, тосковалъ; стоны его терзали мою душу. Всѣ въ домѣ были въ какомъ-то испугѣ. Анна Ѳедоровна все молилась, чтобъ Богъ его прибралъ поскорѣе. Призвали доктора. Докторъ сказалъ, что больной умретъ къ утру непремѣнно.

Старикъ Покровскій цѣлую ночь провелъ въ корридорѣ, у самой двери въ комнату сына; тутъ ему постлали какую-то рогожку. Онъ поминутно входилъ въ комнату; на него страшно было смотрѣть. Онъ былъ такъ убитъ горемъ, что казался совершенно безчувственнымъ и безсмысленнымъ. Голова его тряслась отъ страха. Онъ самъ весь дрожалъ, и все что-то шепталъ про себя, о чемъ-то разсуждалъ самъ съ собою. Мнѣ казалось, что онъ съ ума сойдетъ съ горя.

Передъ разсвѣтомъ, старикъ, усталый отъ душевной боли, заснулъ на своей рогожкѣ какъ убитый. Въ восьмомъ часу сынъ сталъ умирать; я разбудила отца. Покровскій былъ въ полной памяти и простился со всѣми нами. Чудно! Я не могла плакать, но душа моя разрывалась на части.

Но всего болѣе истерзали и измучили меня его послѣднія мгновенія. Онъ чего-то все просилъ долго-долго, коснѣющимъ языкомъ своимъ, а я ничего не могла разобрать изъ словъ его. Сердце мое надрывалось отъ боли! Цѣлый часъ онъ былъ безпокоенъ, объ чемъ-то все тосковалъ, силился сдѣлать какой-то знакъ охолодѣлыми руками своими, и потомъ опять начиналъ просить жалобно, хриплымъ, глухимъ голосомъ; но слова его были одни безсвязные звуки, и я опять ничего понять не могла. Я подводила ему всѣхъ нашихъ, давала ему пить; но онъ все грустно качалъ головою. Наконецъ, я поняла, чего онъ хотѣлъ. Онъ просилъ поднять занавѣсъ у окна и открыть ставни. Ему вѣрно хотѣлось взглянуть въ послѣдній разъ на день, на свѣтъ Божій, на солнце. Я отдернула занавѣсъ, но начинающійся день былъ печальный и грустный, какъ угасающая бѣдная жизнь умирающаго. Солнца не было. Облака застилали небо туманною пеленою; оно было такое дождливое, хмурое, грустное. Мелкій дождь дробилъ въ стекла и омывалъ ихъ струями холодной, грязной воды; было тускло и темно. Въ комнату чуть-чуть проходили лучи блѣднаго дня и едва оспаривали дрожащій свѣтъ лампадки, затепленной передъ образомъ. Умирающій взглянулъ на меня грустно-грустно и покачалъ головою. Черезъ минуту онъ умеръ.

Похоронами распорядилась сама Анна Ѳедоровна. Купили гробъ простой-простой, и наняли ломоваго извощика. Въ обезпеченіе издержекъ, Анна Ѳедоровна захватила всѣ книги и всѣ вещи покойнаго. Старикъ съ ней спорилъ, шумѣлъ, отнялъ у ней книгъ, сколько могъ, набилъ ими всѣ свои карманы, наложилъ ихъ въ шляпу, куда могъ, носился съ ними всѣ три дня, и даже не разстался съ ними и тогда, когда нужно было идти въ церковь. Всѣ эти дни онъ былъ какъ безпамятный, какъ одурѣлый, и съ какою-то странною заботливостію все хлопоталъ около гроба; то оправлялъ вѣнчикъ на покойникѣ, то зажигалъ и снималъ свѣчи. Видно было, что мысли его ни на чемъ не могли остановиться порядкомъ. Ни матушка, ни Анна Ѳедоровна не были въ церкви на отпѣваніи. Матушка была больна, а Анна Ѳедоровна совсѣмъ было ужь собралась, да по-

ссорилась со старикомъ Покровскимъ, и осталась. Была только одна я, да старикъ. Во время службы на меня напалъ какой-то страхъ—словно предчувствіе будущаго. Я едва могла выстоять въ церкви.—Наконецъ, гробъ закрыли, заколотили, поставили на телѣгу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извощикъ поѣхалъ рысью. Старикъ бѣжалъ за нимъ и громко плакалъ, плачъ его дрожалъ и прерывался отъ бѣга. Бѣдный потерялъ свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла отъ дождя, поднимался вѣтеръ; изморозь сѣкла и колола лицо. Старикъ, кажется, не чувствовалъ непогоды и съ плачемъ перебѣгалъ съ одной стороны телѣги на другую. Полы его ветхаго сюртука развѣвались по вѣтру, какъ крылья. Изъ всѣхъ кармановъ торчали книги, въ рукахъ; его была какая-то огромная книга, за которую онъ крѣпко держался. Прохожіе снимали шапки и крестились. Иные останавливались и дивились на бѣднаго старика. Книги поминутно падали у него изъ кармановъ въ грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю, онъ поднималъ и опять пускался въ догонку за гробомъ. На углу улицы увязалась съ нимъ вмѣстѣ провожать гробъ какая-то нищая старуха. Телѣга поворотила, наконецъ, за уголъ и скрылась отъ глазъ моихъ. Я пошла домой. Я бросилась въ страшной тоскѣ на грудь матушки. Я сжимала ее крѣпко-крѣпко въ рукахъ своихъ, цѣловала ее и навзрыдъ плакала, боязливо прижимаясь къ ней, какъ-бы стараясь удержать въ своихъ объятіяхъ послѣдняго друга моего и не отдавать его смерти... Но смерть уже стояла надъ бѣдной матушкой. . . .

. . . . . .

Іюня 11.

Какъ я благодарна вамъ за вчерашнюю прогулку на острова, Макаръ Алексѣевичъ! Какъ тамъ свѣжо, хорошо, какая тамъ зелень!—Я такъ давно не видала зелени,—когда я была больна, мнѣ все казалось, что я умереть должна и что умру непремѣнно,—судите-же, что̀ я должна была вчера ощущать, какъ чувствовать!—Вы не сердитесь на меня за то, что я б ыла вчера такая грустная; мнѣ было очень хорошо, очень легко, но въ самыя лучшія минуты мои мнѣ всегда отчего-то грустно. А что я плакала, такъ это пустяки, я и сама не знаю, отчего я все плачу. Я больно, раздражительно чувствую; впечатлѣнія мои болѣзненны. Безоблачное, блѣдное небо, закатъ солнца, ве-

чернее затишье,—все это,—я ужь не знаю,—но я какъ-то настроена была вчера принимать всѣ впечатлѣнія тяжело и мучительно, такъ что сердце переполнялось и душа просила слезъ. Но зачѣмъ я вамъ все это пишу? Все это трудно сердцу сказывается, а пересказывать еще труднѣе. Но вы меня, можетъ быть, и поймете.—И грусть, и смѣхъ! Какой вы, право, добрый, Макаръ Алексѣевичъ! Вчера вы такъ и смотрѣли мнѣ въ глаза, чтобъ прочитать въ нихъ то, что̀ я чувствую, и восхищались восторгомъ моимъ. Кусточекъ-ли, аллея, полоса воды—ужь вы тутъ, такъ и стоите передо мной, охорашиваясь, и все въ глаза мнѣ заглядываете, точно вы мнѣ свои владѣнія показывали. Это доказываетъ, что у насъ доброе сердце, Макаръ Алексѣевичъ. За это-то я васъ и люблю. Ну, прощайте. Я сегодня опять больна: вчера я ноги промочила и оттого простудилась; Ѳедора тоже чѣмъ-то больна, такъ что мы обѣ теперь хворыя. Не забывайте меня, заходите почаще.

Ваша

В. Д.

Іюня 12.

Голубчикъ мой, Варвара Алексѣевна!

А я-то думалъ, мамочка, что вы мнѣ все вчерашнее настоящими стихами опишете, а у васъ и всего-то вышелъ одинъ простой листикъ. Я къ тому говорю, что вы хотя и мало мнѣ въ листкѣ вашемъ написали, но зато необыкновенно хорошо и сладко описали. И природа, и разныя картины сельскія, и все остальное про чувства — однимъ словомъ, все это вы очень хорошо описали. А вотъ у меня такъ нѣтъ таланту. Хоть десять страницъ намарай, никакъ ничего не выходитъ, ничего не опишешь. Я ужь пробовалъ. — Пишете вы мнѣ, родная моя, что я человѣкъ добрый, незлобивый, ко вреду ближняго неспособный, и благость Господню, въ природѣ являемую, разумѣющій, и разныя, наконецъ, похвалы воздаете мнѣ. Все это правда, маточка, все это совершенная правда; я и дѣйствительно таковъ, какъ вы говорите, и самъ это знаю; но какъ прочтешь такое какъ вы пишете, такъ поневолѣ умилится сердце, а потомъ разныя тягостныя разсужденія придутъ. А вотъ прослушайте меня, маточка, я кое-что разскажу вамъ, родная моя.

Начну съ того, что было мнѣ всего семнадцать годочковъ,

когда я на службу явился, и вотъ уже скоро тридцать лѣтъ стукнетъ моему служебному поприщу. Ну, нечего сказать, износилъ я вицъ-мундировъ довольно; возмужалъ, поумнѣлъ, людей посмотрѣлъ; пожилъ, могу сказать, что пожилъ на свѣтѣ, такъ, что меня хотѣли даже разъ къ полученію креста представить. Вы, можетъ быть, не вѣрите, а я вамъ, право, не лгу. Такъ что-же, маточка,—нашлись на все это злые люди! А скажу я вамъ, родная моя, что я хоть и темный человѣкъ, глупый человѣкъ, пожалуй, но сердце-то у меня такое-же, какъ и у другаго кого. Такъ знаете-ли, Варинька, что̀ сдѣлалъ мнѣ злой человѣкъ? А срамно сказать, что̀ онъ сдѣлалъ; спросите—отчего сдѣлалъ? А оттого, что я смирненькій, а оттого, что я тихонькій, а оттого, что добренькій! Не пришелся имъ по нраву, такъ вотъ и пошло на меня. Сначала началось тѣмъ, что «дескать, вы, Макаръ Алексѣевичъ, того да сего»; а потомъ стало,—«что, дескать, у Макара Алексѣевича и не спрашивайте». А теперь заключили тѣмъ,—что «ужь конечно, это Макаръ Алексѣевичъ!» Вотъ, маточка, видите-ли, какъ дѣло пошло; все на Макара Алексѣевича; они только и умѣли сдѣлать, что въ пословицу ввели Макара Алексѣевича въ цѣломъ вѣдомствѣ нашемъ. Да мало того, что изъ меня пословицу и чуть-ли не бранное слово сдѣлали,—до сапоговъ, до мундира, до волосъ, до фигуры моей добрались: все не по нихъ, все передѣлать нужно! И вѣдь это все съ незапамятныхъ временъ каждый Божій день повторяется. Я привыкъ, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смирный человѣкъ, потому что я маленькій человѣкъ; но, однако-же, за что̀ это все? Что̀ я кому дурнаго сдѣлалъ? Чинъ перехватилъ у кого нибудь, что-ли? Передъ высшими кого нибудь очернилъ? Награжденіе перепросилъ! Кабалу стряпалъ, что-ли, какую нибудь? Да грѣхъ вамъ и подумать-то такое, маточка! Ну, куда мнѣ все это? Да вы только разсмотрите, родная моя, имѣю-ли я способности достаточныя для коварства и честолюбія? Такъ за что̀-же напасти такія на меня, прости Господи? Вѣдь вы-же находите меня человѣкомъ достойнымъ, а вы не въ примѣръ лучше ихъ всѣхъ, маточка. Вѣдь какая самая наибольшая гражданская добродѣтель? Отнеслись намедни въ частномъ разговорѣ Евстафій Ивановичъ, что наиважнѣйшая добродѣтель гражданская—деньгу умѣть зашибить. Говорили они шуточкой (я знаю, что шуточкой), нравоученіе-же то, что не нужно быть никому въ тягость собою,—а я никому не въ тягость! У меня кусокъ хлѣба есть свой; правда, простой кусокъ хлѣба, подъ часъ даже черствый; но онъ есть, тру-

дами добытый, законно и безукоризненно употребляемый. Ну, что-жь дѣлать! Я вѣдь и самъ знаю, что я немного дѣлаю тѣмъ, что переписываю; да всетаки я этимъ горжусь: я работаю, я потъ проливаю. Ну что-жь тутъ въ самомъ дѣлѣ такого, что переписываю! Что, грѣхъ переписывать, что-ли? «Онъ, дескать, переписываетъ!» Да что̀-же тутъ безчестнаго такого? Письмо такое чеокое, хорошее, пріятно смотрѣть, и его превосходительство довольны; я для нихъ самыя важныя бумаги переписываю. Ну, слогу нѣтъ, вѣдь я это самъ знаю, что нѣтъ его, проклятаго; вотъ потому-то я и службой не взялъ, и даже вотъ къ вамъ теперь, родная моя, пишу спроста, безъ затѣй и такъ, какъ мнѣ мысль на сердце ложится... Я это все знаю; да, однако-же, если-бы всѣ сочинять стали, такъ кто-же-бы сталъ переписывать? Я вотъ какой вопросъ дѣлаю, и васъ прошу отвѣчать на него, маточка. Ну, такъ я и сознаю теперь, что я нуженъ, что я необходимъ, и что нечего вздоромъ человѣка съ толку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли! Да крыса-то эта нужна, да крыса-то пользу приноситъ, да за крысу-то эту держатся, да крысѣ-то этой награжденіе выходитъ,—вотъ она крыса какая!— Впрочемъ, довольно объ этой матеріи, родная моя; я вѣдь и не о томъ хотѣлъ говорить, да такъ погорячился немного. Всетаки пріятно отъ времени до времени себѣ справедливость воздать. Прощайте, родная моя, голубчикъ мой, утѣшительница вы моя добренькая! Зайду, непремѣнно къ вамъ зайду, провѣдаю васъ, моя ясочка. А вы не скучайте покамѣстъ. Книжку вамъ принесу. Ну, прощайте-же, Варинька.

Вашъ сердечный доброжелатель

Макаръ Дѣвушкинъ.

Іюня 20.

М. Г. Макаръ Алексѣевичъ!

Пишу я къ вамъ на-скоро, спѣшу, работу къ сроку кончаю. Видите-ли въ чемъ дѣло: можно покупку сдѣлать хорошую. Ѳедора говоритъ, что продается у ея знакомаго какого-то вицъ-мундиръ форменный, совершенно новехонькій, нижнее платье, жилетка и фуражка, и, говорятъ, все весьма дешево; такъ вотъ вы-бы купили. Вѣдь вы теперь не нуждаетесь, да и деньги у васъ есть; вы сами говорите, что есть. Полноте пожалуйста, не скупитесь; вѣдь это все нужное. Посмотрите-ка на себя, въ какомъ вы старомъ платьѣ ходите. Срамъ! Все въ заплаткахъ. Новаго-то у васъ нѣтъ; это я знаю, хоть вы и увѣряете, что есть. Ужь Богъ знаетъ,

куда вы его съ рукъ сбыли. Такъ послушайтесь-же меня, купите пожалуйста. Для меня это сдѣлайте; коли меня любите, такъ купите.

Вы мнѣ прислали бѣлья въ подарокъ; но послушайте, Макаръ Алексѣевичъ, вѣдь вы разоряетесь. Шутка-ли, сколько вы на меня истратили, — ужасъ сколько денегъ! Ахъ, какъ-же вы любите мотать! Мнѣ не нужно; все это было совершенно лишнее. Я знаю, я увѣрена, что вы меня любите; право, лишнее напоминать мнѣ это подарками; а мнѣ тяжело ихъ принимать отъ васъ; я знаю чего они вамъ стоятъ. Единожды навсегда—полноте; слышите-ли? Прошу васъ, умоляю васъ. Просите вы меня, Макаръ Алексѣевичъ, прислать продолженіе записокъ моихъ, желаете, чтобъ я ихъ докончила. Я не знаю, какъ написалось у меня и то, что у меня написано! Но у меня силъ не достанетъ говорить теперь о моемъ прошедшемъ; я и думать объ немъ не желаю; мнѣ страшно становится отъ этихъ воспоминаній. Говорить-же о бѣдной моей матушкѣ, оставившей свое бѣдное дитя въ добычу этимъ чудовищамъ, мнѣ тяжелѣе всего. У меня сердце кровью обливается при одномъ воспоминаніи. Все это еще такъ свѣжо: я не успѣла одуматься, не только успокоиться, хотя всему этому уже слишкомъ годъ. Но вы знаете все.

Я вамъ говорила о теперешнихъ мысляхъ Анны Ѳедоровны; она меня-же винитъ въ неблагодарности и отвергаетъ всякое обвиненіе о сообществѣ ея съ господиномъ Быковымъ! Она зоветъ меня къ себѣ; говоритъ, что я христарадничаю, что я по худой дорогѣ пошла. Говоритъ, что если я ворочусь къ ней, то она берется уладить все дѣло съ господиномъ Быковымъ, и заставитъ его загладить всю вину его передо мною. Она говоритъ, что г. Быковъ хочетъ мнѣ дать приданое. Богъ съ ними! Мнѣ хорошо и здѣсь съ вами, у доброй моей Ѳедоры, которая своею привязанностію ко мнѣ напоминаетъ мнѣ мою покойницу няню. Вы хоть дальній родственникъ мой, но защищаете меня своимъ именемъ. А ихъ я не знаю; я позабуду ихъ, если смогу. Чего еще они хотятъ отъ меня? Ѳедора говоритъ, что это все сплетни, что они оставятъ, наконецъ, меня. Дай-то Богъ!

В. Д.

Іюня 21.

Голубушка моя, маточка!

Хочу писать, а не знаю съ чего начать. Вѣдь вотъ какъ-же это странно, маточка, что мы теперь такъ съ вами живемъ. Я

къ тому говорю, что я никогда моихъ дней не проводилъ въ такой радости. Ну, точно домкомъ и семействомъ меня благословилъ Господь! Дѣточка вы моя, хорошенькая! Да что это вы тамъ толкуете про четыре рубашечки-то, которыя я вамъ послалъ. Вѣдь надобно-же вамъ ихъ было, — я отъ Ѳедоры узналъ. Да мнѣ, маточка, это особое счастіе васъ удовлетворять; ужь это мое удовольствіе, ужь вы меня оставьте, маточка; не троньте меня и не прекословьте мнѣ. Никогда со мною не бывало такого, маточка. Я вотъ въ свѣтъ пустился теперь. Во первыхъ, живу вдвойнѣ, потому что и вы тоже живете весьма близко отъ меня и на утѣху мнѣ; а во вторыхъ, пригласилъ меня сегодня на чай одинъ жилецъ, сосѣдъ мой, Ратазяевъ, тотъ самый чиновникъ, у котораго сочинительскіе вечера бываютъ. Сегодня собраніе; будемъ литературу читать. Вотъ мы теперь какъ, маточка, — вотъ! Ну, прощайте. Я вѣдь это все такъ написалъ безо всякой видимой цѣли, и единственно для того, чтобъ увѣдомить васъ о моемъ благополучіи. Приказали вы, душенька, черезъ Терезу сказать, что вамъ шелчку цвѣтнаго для вышиванья нужно: куплю, маточка, куплю, и шелчку куплю. Завтраже буду имѣть наслажденіе удовлетворить васъ вполнѣ. Я и купить-то гдѣ знаю. А самъ теперь пребываю

другомъ вашимъ искреннимъ

Макаромъ Дѣвушкинымъ.

Іюня 22.

М. Г. Варвара Алексѣевна!

Увѣдомляю васъ, родная моя, что у насъ въ квартирѣ случилось прежалостное происшествіе, истинно-истинно жалости достойное! Сегодня, въ пятомъ часу утра, умеръ у Горшкова маленькій. Я не знаю только отчего, скарлатина что-ли была какая-то, Господь его знаетъ! Навѣстилъ я этихъ Горшковыхъ. Ну, маточка, вотъ бѣдно-то у нихъ! И какой безпорядокъ. Да и не диво: все семейство живетъ въ одной комнатѣ, только что ширмочками для благопристойности разгороженной. У нихъ ужь и гробикъ стоитъ — простенькій, но довольно хорошенькій гробикъ; готовый купили, мальчикъ-то былъ лѣтъ девяти; надежды, говорятъ, подавалъ. А жалость смотрѣть на нихъ, Варинька! Мать не плачетъ, но такая грустная, бѣдная. Имъ, можетъ быть, и легче, что вотъ ужь одинъ съ плечъ долой; — а у нихъ еще

двое осталось, грудной, да дѣвочка маленькая, такъ, лѣтъ шести будетъ съ небольшимъ. Что за пріятность, въ самомъ дѣлѣ, видѣть, что вотъ-де страдаетъ ребенокъ, да еще дѣтище родное, а ему и помочь даже нечѣмъ! Отецъ сидитъ въ старомъ, засаленномъ фракѣ, на изломанномъ стулѣ. Слезы текутъ у него, да, можетъ быть, и не отъ горести, а такъ, по привычкѣ, глаза гноятся. Такой онъ чудной! Все краснѣетъ, когда съ нимъ заговоришь, смѣшается и не знаетъ что̀ отвѣчать. Маленькая дѣвочка, дочка, стоитъ прислонившись къ гробу, да такая, бѣдняжка, скучная, задумчивая! А не люблю я, маточка Варинька, когда ребенокъ задумывается; смотрѣть непріятно! Кукла какая-то изъ тряпокъ на полу возлѣ нея лежитъ, — не играетъ; на губахъ пальчикъ держитъ; стоитъ себѣ — не пошевелится. Ей хозяйка конфетку дала; взяла, а не ѣла. Грустно, Варинька — а?

Макаръ Дѣвушкинъ.

Іюня 25.

Любезнѣйшій Макаръ Алексѣевичъ! Посылаю вамъ вашу книжку обратно. Это пренегодная книжонка! — и въ руки брать нельзя. Откуда выкопали вы такую драгоцѣнность? Кромѣ шутокъ, неужели вамъ нравятся такія книжки, Макаръ Алексѣевичъ? Вотъ мнѣ такъ обѣщались на дняхъ достать чего нибудь почитать. Я и съ вами подѣлюсь, если хотите. А теперь до свиданія. Право, некогда писать болѣе.

В. Д.

Іюня 26.

Милая Варинька! Дѣло-то въ томъ, что я дѣйствительно не читалъ этой книжонки, маточка. Правда, прочелъ нѣсколько, вижу, что блажь, такъ ради смѣхотворства одного написано, чтобы людей смѣшить; ну, думаю, оно, должно быть, и въ самомъ дѣлѣ весело; авось и Варинькѣ понравится; взялъ да и послалъ ее вамъ.

А вотъ обѣщался мнѣ Ратазяевъ дать почитать чего нибудь настоящаго литературнаго, ну вотъ вы и будете съ книжками, маточка. Ратазяевъ-то смекаетъ — дока; самъ пишетъ, ухъ, какъ пишетъ! Перо такое бойкое и слогу пропасть, то есть этакъ въ каждомъ словѣ, — чего-чего, — въ самомъ пустомъ, вотъ-вотъ въ самомъ обыкновенномъ, подломъ словѣ, что хоть-бы и я

иногда Фальдони или Терезѣ сказалъ, вотъ и тутъ у него слогъ есть. Я и на вечерахъ у него бываю. Мы табакъ куримъ, а онъ намъ читаетъ, часовъ до пяти читаетъ, а мы все слушаемъ. Объяденіе, а не литература! Прелесть такая, цвѣты, просто цвѣты; со всякой страницы букетъ вяжи! Онъ обходительный такой, добрый, ласковый. Ну, что̀ я передъ нимъ, ну что̀? — Ничего. Онъ человѣкъ съ репутаціей, а я что̀? — Просто — не существую; а и ко мнѣ благоволитъ. Я ему кое-что переписываю. Вы только не думайте, Варинька, что тутъ продѣлка какая нибудь, что онъ вотъ именно оттого и благоволитъ ко мнѣ, что я переписываю. Вы сплетнямъ-то не вѣрьте, маточка, вы сплетнямъ-то подлымъ не вѣрьте! Нѣтъ, это я самъ отъ себя, по своей волѣ, для его удовольствія дѣлаю, а что онъ ко мнѣ благоволитъ, такъ это ужь онъ для моего удовольствія дѣлаетъ. Я деликатность-то поступка понимаю, маточка. Онъ добрый, очень добрый человѣкъ и безподобный писатель.

А хорошая вещь литература, Варинька, очень хорошая; это я отъ нихъ третьяго дня узналъ. Глубокая вещь! Сердце людей укрѣпляющая, поучающая, и — разное тамъ еще обо всемъ объ этомъ въ книжкѣ у нихъ написано. Очень хорошо написано! Литература — это картина, то есть въ нѣкоторомъ родѣ картина и зеркало; страсти, выраженье, критика такая тонкая, поученіе къ назидательности и документъ. Это я все у нихъ наметался. Откровенно скажу вамъ, маточка, что вѣдь сидишь между ними, слушаешь (тоже, какъ и они, трубку куришь, пожалуй) — а какъ начнутъ они состязаться, да спорить объ разныхъ матеріяхъ, такъ ужь тутъ я просто пасую, тутъ, маточка, намъ съ вами чисто пасовать придется. Тутъ я просто болванъ-болваномъ оказываюсь, самого себя стыдно, такъ что цѣлый вечеръ пріискиваешь, какъ-бы въ общую-то матерію хоть полсловечка ввернуть, да вотъ этого-то полсловечка какъ нарочно и нѣтъ! И пожалѣешь, Варинька, о себѣ, что самъ-то не того, да не такъ; что по пословицѣ — выросъ, а ума не вынесъ. Вѣдь что я теперь въ свободное время дѣлаю? — Сплю, дуракъ-дуракомъ. А то-бы вмѣсто спанья-то ненужнаго можно было-бы и пріятнымъ заняться; этакъ сѣсть-бы да и пописать. И себѣ полезно, и другимъ хорошо. Да что, маточка, вы посмотрите-ка только, сколько берутъ они, прости имъ Господь! Вотъ хоть-бы и Ратазяевъ,— какъ беретъ! Что ему листъ написать? Да онъ въ иной день и по пяти писывалъ, а по триста рублей, говоритъ, за листъ беретъ. Тамъ анекдотецъ какой нибудь, или изъ любопытнаго что

нибудь — пятьсотъ, дай не дай, хоть тресни, да дай! а нѣтъ — такъ мы и по тысячѣ другой разъ въ карманъ кладемъ! Каково, Варвара Алексѣевна? Да что! — Тамъ у него стишковъ тетрадочка есть, и стишокъ все такой небольшой, — семь тысячъ, маточка, семь тысячъ проситъ, подумайте. Да вѣдь это имѣніе недвижимое, домъ капитальный! Говоритъ, что пять тысячъ даютъ ему, да онъ не беретъ. Я его урезониваю, говорю — возьмите, дескать, батюшка, пять-то тысячъ отъ нихъ, да и плюньте имъ, — вѣдь деньги пять тысячъ! — нѣтъ, говоритъ, семь дадутъ, мошенники. — Увертливый, право, такой!

А что, маточка, ужь если на то пошло, такъ я вамъ, такъ и быть, выпишу изъ *Итальянскихъ страстей* мѣстечко. Это у него сочиненіе такъ называется. Вотъ прочтите-ка, Варинька, да посудите сами.

... «Владиміръ вздрогнулъ, и страсти бѣшено заклокотали въ немъ и кровь вскипѣла...

«— Графиня, вскричалъ онъ,—графиня! Знаете-ли вы, какъ ужасна эта страсть, какъ безпредѣльно это безуміе? Нѣтъ, мои мечты меня не обманывали! Я люблю, люблю восторженно, бѣшено, безумно! Вся кровь твоего мужа не зальетъ бѣшенаго, клокочущаго восторга души моей! Ничтожныя препятствія не остановятъ всеразрывающаго, адскаго огня, бороздящаго мою истомленную грудь. О Зинаида, Зинаида!..

«— Владиміръ!.. прошептала графиня внѣ себя, склоняясь къ нему на плечо...

«— Зинаида! вскричалъ восторженный Смѣльскій.

«Изъ груди его испарился вздохъ. Пожаръ вспыхнулъ яркимъ пламенемъ на алтарѣ любви, и взбороздилъ грудь несчастныхъ страдальцевъ.

— Владиміръ!.. шептала въ упоеніи графиня. Грудь ея вздымалась, щеки ея багровѣли, очи горѣли...

«Новый, ужасный бракъ былъ совершенъ!

. . . . . .

«Черезъ полчаса старый графъ вошелъ въ будуаръ жены своей.

«— А что, душечка, не приказать-ли, для дорогаго гостя самоварчикъ поставить? сказалъ онъ, потрепавъ жену по щекѣ».

Ну вотъ, я васъ спрошу, маточка, послѣ этого — ну, какъ вы находите? Правда, немножко вольно, въ этомъ спору нѣтъ, но зато хорошо. Ужь что хорошо, такъ хорошо! А вотъ, позвольте, я вамъ еще отрывочекъ выпишу изъ повѣсти: *Ермакъ и Зюлейка.*

Представьте себѣ, маточка, что казакъ Ермакъ, дикій и грозный завоеватель Сибири, влюбленъ въ Зюлейку, дочь сибирскаго царя Кучума, имъ въ полонъ взятую. Событіе прямо изъ временъ Ивана Грознаго, какъ вы видите. Вотъ разговоръ Ермака и Зюлейки.

«— Ты любишь меня, Зюлейка! О, повтори, повтори!..

«— Я люблю тебя, Ермакъ, прошептала Зюлейка.

«— Небо и земля, благодарю васъ! Я счастливъ!.. Вы дали мнѣ все, все, къ чему съ отроческихъ лѣтъ стремился взволнованный духъ мой. Такъ вотъ куда вела ты меня, моя звѣзда путеводная, такъ вотъ для чего ты привела меня сюда, за Каменный Поясъ! Я покажу всему свѣту мою Зюлейку, и люди, бѣшеныя чудовища, не посмѣютъ обвинять меня! О, если имъ понятны эти тайныя страданія ея нѣжной души, если они способны видѣть цѣлую поэму въ одной слезинкѣ моей Зюлейки! О, дай мнѣ стереть поцалуями эту слезинку, дай мнѣ выпить ее, эту небесную слезинку... неземная!

«— Ермакъ, сказала Зюлейка:—свѣтъ золъ, люди несправедливы! Они будутъ гнать, они осудятъ насъ, мой милый Ермакъ! Что̀ будетъ дѣлать бѣдная дѣва, взросшая среди родныхъ снѣговъ Сибири, въ юртѣ отца своего, въ вашемъ холодномъ, ледяномъ, бездушномъ, самолюбивомъ свѣтѣ? Люди не поймутъ меня, желанный мой, мой возлюбленный!

«— Тогда казацкая сабля взовьется надъ ними и свиснетъ! вскричалъ Ермакъ, дико блуждая глазами».

Каковъ-же теперь Ермакъ, Варинька, когда онъ узнаетъ, что его Зюлейка зарѣзана. Слѣпой старецъ Кучумъ, пользуясь темнотою ночи, прокрался, въ отсутствіи Ермака, въ его шатеръ и зарѣзалъ дочь свою, желая нанесть смертельный ударъ Ермаку, лишившему его скипетра и короны.

«— Любо мнѣ шаркать желѣзомъ о камень! закричалъ Ермакъ въ дикомъ остервененіи, точа булатный ножъ свой о шаманскій камень. — Мнѣ нужно ихъ крови, крови! Ихъ нужно пилить, пилить, пилить!!!»

И послѣ всего этого, Ермакъ, будучи не въ силахъ пережить свою Зюлейку, бросается въ Иртышъ, и тѣмъ все кончается.

Ну, а это, напримѣръ, такъ, маленькій отрывочекъ: въ шуточно описательномъ родѣ, собственно для смѣхотворства написанный.

«Знаете-ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вотъ

тотъ самый, что укусилъ за ногу Прокофія Ивановича. Иванъ Прокофьевичъ человѣкъ крутаго характера, но за то рѣдкихъ добродѣтелей; напротивъ того, Прокофій Ивановичъ чрезвычайно любитъ рѣдьку съ медомъ. Вотъ когда еще была съ нимъ знакома Пелагея Антоновна... А вы знаете Пелагею Антоновну? Ну, вотъ та самая, которая всегда юбку надѣваетъ на изнанку».

Да вѣдь это умора, Варинька, просто умора! Мы со смѣху катались, когда онъ читалъ намъ это. Этакой онъ, прости его Господи! Впрочемъ, маточка, оно хоть и немного затѣйливо, и ужь слишкомъ игриво, но зато невинно, безъ малѣйшаго вольнодумства и либеральныхъ мыслей. Нужно, замѣтить, маточка, что Ратазяевъ прекраснаго поведенія, и потому превосходный писатель, не то что другіе писатели.

А что, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь вотъ иногда придетъ-же мысль въ голову... ну что, если-бъ я написалъ что нибудь, ну что тогда будетъ? Ну вотъ, напримѣръ, положимъ, что вдругъ, ни съ того, ни съ сего, вышла-бы въ свѣтъ книжка, подъ титуломъ — *Стихотворенія Макара Дѣвушкина!* Ну, что̀-бы вы тогда сказали, мой ангельчикъ? Какъ-бы вамъ это представилось и подумалось? А про себя скажу, маточка, что какъ моя книжка-то вышла-бы въ свѣтъ, такъ я-бы рѣшительно тогда на Невскій не смѣлъ-бы показаться. Вѣдь каково это было-бы, когда-бы всякій сказалъ, что вотъ-де идетъ сочинитель литературы и піита Дѣвушкинъ, что вотъ, дескать, это и есть самъ Дѣвушкинъ! Ну, что̀-бы я тогда, напримѣръ, съ моими сапогами сталъ дѣлать? Они у меня, замѣчу вамъ мимоходомъ, маточка, почти всегда въ заплаткахъ, да и подметки, по правдѣ сказать, отстаютъ иногда весьма неблагопристойно. Ну, что тогда-бъ было, когда-бы всѣ узнали, что вотъ у сочинителя Дѣвушкина сапоги въ заплаткахъ! Какая нибудь тамъ контесса-дюшесса узнала-бы, ну, что̀-бы она-то, душка, сказала? Она-то, можетъ быть, и не замѣтила-бы: ибо, какъ я полагаю контессы не занимаются сапогами, къ тому-же чиновничьими сапогами (потому что вѣдь сапоги сапогамъ рознь), да ей-бы разсказали про все, свои-бы пріятели меня выдали. Да вотъ Ратазяевъ-бы первый выдалъ; онъ къ графинѣ В. ѣздитъ; говоритъ, что каждый разъ бываетъ у ней, и за просто бываетъ. Говоритъ, душка такая она, литературная, говоритъ, дама такая. Петля этотъ Ратазяевъ!

Да, впрочемъ, довольно объ этой матеріи; я вѣдь это все такъ пишу, ангельчикъ мой, ради баловства, чтобы васъ потѣ-

шить. Прощайте, голубчикъ мой. Много я вамъ тутъ настрочилъ, но это собственно оттого, что я сегодня въ самомъ веселомъ душевномъ расположеніи. Обѣдали-то мы всѣ вмѣстѣ сегодня у Ратазяева, такъ (шалуны они, маточка!) пустили въ ходъ такой романеи... ну, да ужь что вамъ писать объ этомъ! Вы только смотрите, не придумайте тамъ чего про меня, Варинька. Я вѣдь это все такъ. Книжекъ пришлю, непремѣнно пришлю... Ходитъ здѣсь по рукамъ Поль-де-Кока одно сочиненіе, только Поль-де-Кока-то вамъ, маточка, и не будетъ... Ни-ни! Для васъ Поль-де-Кокъ не годится. Говорятъ про него, маточка, что онъ всѣхъ критиковъ петербургскихъ въ благородное негодованіе приводитъ. Посылаю вамъ фунтикъ конфетокъ,—нарочно для васъ купилъ. Скушайте, душечка, да при каждой конфеткѣ меня поминайте. Только леденецъ-то вы не грызите, а такъ пососите его только, а то зубки разболятся. А вы, можетъ быть, и цукаты любите?—вы напишите. Ну, прощайте-же, прощайте. Христосъ съ вами, голубчикъ мой. А я пребуду навсегда

вашимъ вѣрнѣйшимъ другомъ

Макаромъ Дѣвушкинымъ.

Іюня 27.

Милостивый Государь,

Макаръ Алексѣевичъ!

Ѳедора говоритъ, что если я захочу, то нѣкоторые люди съ удовольствіемъ примутъ участіе въ моемъ положеніи, и выхлопочутъ мнѣ очень хорошее мѣсто въ одинъ домъ, въ гувернантки. Какъ вы думаете, другъ мой—идти или нѣтъ? Конечно, я вамъ тогда не буду въ тягость, да и мѣсто, кажется, выгодное; но съ другой стороны, какъ-то жутко идти въ незнакомый домъ. Они какіе-то помѣщики. Станутъ обо мнѣ узнавать, начнутъ разспрашивать, любопытствовать—ну что̀ я скажу тогда? Къ тому-же я такая нелюдимка, дикарка; люблю пообжиться въ привычномъ углѣ надолго. Какъ-то лучше тамъ, гдѣ привыкнешь: хоть и съ горемъ пополамъ живешь, а всетаки лучше. Къ тому-же на выѣздъ; да еще Богъ знаетъ какая должность будетъ; можетъ быть, просто дѣтей няньчить заставятъ. Да и люди-то такіе: мѣняютъ ужь третью гувернантку въ два года. Посовѣтуйте-же мнѣ, Макаръ Алексѣевичъ, ради Бога, идти или нѣтъ?—Да что вы никогда сами не зайдете ко мнѣ? Изрѣдка только глаза покажете. Почти только по воскресеньямъ у обѣдни и видимся. Экой-же вы нелюдимъ какой! Вы точно какъ я! А вѣдь я вамъ

почти родная. Не любите вы меня, Макаръ Алексѣевичъ, а мнѣ иногда одной очень грустно бываетъ. Иной разъ, особенно въ сумерки, сидишь себѣ одна-одинешенька. Ѳедора уйдетъ куда нибудь. Сидишь, думаешь-думаешь,—вспоминаешь все старое, и радостное, и грустное,—все идетъ передъ глазами, все мелькаетъ какъ изъ тумана. Знакомыя лица являются (я почти на яву начинаю видѣть),—матушку вижу чаще всего... А какіе бываютъ сны у меня! Я чувствую, что здоровье мое разстроено; я такъ слаба; вотъ и сегодня, когда вставала утромъ съ постели, мнѣ дурно сдѣлалось; сверхъ того у меня такой дурной кашель! Я чувствую, я знаю, что скоро умру. Кто-то меня похоронитъ? Кто-то за гробомъ моимъ пойдетъ? Кто-то обо мнѣ пожалѣетъ?.. И вотъ придется, можетъ быть, умереть въ чужомъ мѣстѣ, въ чужомъ домѣ, въ чужомъ углѣ!.. Боже мой, какъ грустно жить, Макаръ Алексѣевичъ!—Что вы меня, другъ мой, все конфектами кормите? Я, право, не знаю откудова вы денегъ столько берете? Ахъ, другъ мой, берегите деньги, ради Бога, берегите ихъ.—Ѳедора продаетъ коверъ, который я вышила; даютъ 50 руб. ассигн. Это очень хорошо: я думала меньше будетъ. Я Ѳедорѣ дамъ три цѣлковыхъ, да себѣ сошью платьице, такъ простенькое, потеплѣе. Вамъ жилетку сдѣлаю, сама сдѣлаю, и матеріи хорошей выберу.

Ѳедора мнѣ достала книжку—*Повѣсти Бѣлкина*, которую вамъ посылаю, если хотите читать. Пожалуйста только не запачкайте и не задержите: книга чужая;—это Пушкина сочиненіе. Два года тому назадъ мы читали эти повѣсти вмѣстѣ съ матушкой, и теперь мнѣ такъ грустно было ихъ перечитывать. Если у васъ есть какія нибудь книги, то пришлите мнѣ,—только въ такомъ случаѣ, когда вы ихъ не отъ Ратазяева получили. Онъ навѣрно дастъ своего сочиненія, если онъ что нибудь напечаталъ. Какъ это вамъ нравятся его сочиненія, Макаръ Алексѣевичъ? Такіе пустяки...—Ну, прощайте! Какъ я заболталась! Когда мнѣ грустно, такъ я рада болтать, хоть объ чемъ нибудь. Это лѣкарство: тотчасъ легче сдѣлается, а особливо, если выскажешь все, что лежитъ на сердцѣ. Прощайте, прощайте, мой другъ!

Ваша *В. Д.*

Іюня 28.

Маточка, Варвара Алексѣевна!

Полно кручиниться! Какъ-же это не стыдно вамъ! Ну полноте, ангельчикъ мой; какъ это вамъ такія мысли приходятъ? Вы

не больны, душечка, вовсе не больны; вы цвѣтете, право, цвѣтете; блѣдненьки немножко, а всетаки цвѣтете. И что это у васъ за сны да за видѣнія такія! Стыдно, голубчикъ мой, полноте; вы плюньте на сны-то эти, просто плюньте. Отчего-же я сплю хорошо? Отчего-же мнѣ ничего не дѣлается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу себѣ, сплю покойно, здоровехонекъ, молодецъ-молодцомъ; любо смотрѣть. Полноте, полноте, душечка, стыдно. Исправьтесь. Я вѣдь головку-то вашу знаю, маточка, чуть что нибудь найдетъ, вы ужь и пошли мечтать, да тосковать о чемъ-то. Ради меня, перестаньте, душенька. Въ люди идти? — Никогда! Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Да и что это вамъ думается такое, что это находитъ на васъ? Да еще и на выѣздъ! Да нѣтъ-же, маточка, не позволю, вооружаюсь всѣми силами противъ такого намѣренія. Мой фракъ старый продамъ, и въ одной рубашкѣ стану ходить по улицамъ, а ужь вы у насъ нуждаться не будете. Нѣтъ, Варинька, нѣтъ; ужь я знаю васъ! Это блажь, чистая блажь! А что вѣрно, такъ это то, что во всемъ Ѳедора одна виновата: она, видно, глупая баба, васъ на все надоумила. А вы ей, маточка, не вѣрьте. Да вы еще вѣрно не знаете всего-то, душенька?.. Она баба глупая, сварливая, вздорная; она и мужа своего покойника со свѣту выжила. Или она, вѣрно, васъ разсердила тамъ какъ нибудь? Нѣтъ, нѣтъ, маточка, ни за что! И я-то какъ-же буду тогда, что̀ мнѣ-то останется дѣлать? Нѣтъ, Варинька душенька, вы это изъ головки-то выкиньте. Чего вамъ не достаетъ у насъ? Мы на васъ не нарадуемся, вы насъ любите, такъ и живите себѣ тамъ смирненько; шейте или читайте, а, пожалуй, и не шейте,— все равно, только съ нами живите. А то вы сами посудите, ну на что это будетъ похоже тогда?.. Вотъ я вамъ книжекъ достану, а потомъ, пожалуй, и опять куда нибудь гулять соберемся. Только вы-то полноте, маточка, полноте, наберитесь ума и изъ пустяковъ не блажите! Я къ вамъ приду, и въ весьма скоромъ времени, только вы за это мое прямое и откровенное признаніе примите: не хорошо, душенька, очень не хорошо! Я, конечно, неученый человѣкъ и самъ знаю, что неученый, что на мѣдныя деньги учился, да я не къ тому и рѣчь клоню, не во мнѣ тутъ и дѣло-то, а за Ратазяева заступлюсь, воля ваша. Онъ мнѣ другъ, потому я за него и заступлюсь. Онъ хорошо пишетъ, очень, очень, и опять таки очень хорошо пишетъ. Не соглашаюсь я съ вами и никакъ не могу согласиться. Писано цвѣтисто, отрывисто, съ фигурами, разныя мысли есть; очень хорошо! Вы, можетъ быть, безъ чув-

ства читали, Варинька, или не въ духѣ были, когда читали, на Ѳедору на что нибудь разсердились, или что нибудь у васъ тамъ нехорошее вышло. Нѣтъ, вы прочтите-ка это съ чувствомъ, получше, когда вы довольны и веселы и въ расположеніи духа пріятномъ находитесь, вотъ, напримѣръ, когда конфетку во рту держите — вотъ когда прочтите. Я не спорю (кто-же противъ этого), есть и лучше Ратазяева писатели, есть даже и очень лучшіе, но и они хороши, и Ратазяевъ хорошъ; они хорошо пишутъ, и онъ хорошо пишетъ. Онъ себѣ особо, онъ такъ себѣ пописываетъ, и очень хорошо дѣлаетъ, что пописываетъ. Ну, прощайте, маточка; писать болѣе не могу; нужно спѣшить, дѣло есть. Смотрите-же, маточка, ясочка ненаглядная, успокойтесь, и Господь да пребудетъ съ вами, а я пребываю

вашимъ вѣрнымъ другомъ

Макаромъ Дѣвушкинымъ.

P. S. Спасибо за книжку, родная моя, прочтемъ и Пушкина; а сегодня я, по вечеру, непремѣнно зайду къ вамъ.

Дорогой мой Макаръ Алексѣевичъ!

Нѣтъ, другъ мой, нѣтъ, мнѣ не житье между вами. Я раздумала и нашла, что очень дурно дѣлаю, отказываясь отъ такого выгоднаго мѣста. Тамъ будетъ у меня, по крайней мѣрѣ, хоть вѣрный кусокъ хлѣба; я буду стараться, я заслужу ласку чужихъ людей, даже постараюсь перемѣнить свой характеръ, если будетъ надобно. Оно, конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой милости, скрываться и принуждать себя, да Богъ мнѣ поможетъ. Не оставаться-же вѣкъ нелюдимкой. Со мною ужь бывали такіе-же случаи. Я помню, когда я, бывало, еще маленькая, въ пансіонъ хаживала. Бывало, все воскресенье дома рѣзвишься, прыгаешь, иной разъ и побранитъ матушка,—все ничего, все хорошо на сердцѣ, свѣтло на душѣ. Станетъ подходить вечеръ и грусть нападетъ смертельная, нужно въ девять часовъ въ пансіонъ идти, тамъ все чужое, холодное, строгое, гувернантки по понедѣльникамъ такія сердитыя, такъ и щемитъ, бывало, за душу, плакать хочется; пойдешь въ уголокъ и поплачешь одна одинешенька, слезы скрываешь,—скажутъ лѣнивая; а я вовсе не о томъ и плачу, бывало, что учиться надобно.—Ну, что-жь? Я привыкла, и потомъ, когда выходила изъ пансіона, такъ тоже плакала, прощаясь съ подружками.

Да и не хорошо я дѣлаю, что живу въ тягость обоимъ вамъ. Эта мысль—мнѣ мученье. Я вамъ откровенно говорю все это, потому что привыкла быть съ вами откровенною. Развѣ я не вижу, какъ Ѳедора встаетъ каждый день ранымъ-ранехонько, да за стирку свою принимается, и до поздней ночи работаетъ?—а старыя кости любятъ покой. Развѣ я не вижу, что вы на меня разоряетесь, послѣднюю копѣйку ребромъ ставите, да на меня ее тратите? Не съ вашимъ состояніемъ, мой другъ! Пишете вы, что послѣднее продадите, а меня въ нуждѣ не оставите. Вѣрю, другъ мой, я вѣрю въ ваше доброе сердце,—но это вы теперь такъ говорите. Теперь у васъ есть деньги неожиданныя, вы получили награжденіе; но потомъ? Вы знаете сами—я больная всегда; я не могу такъ-же какъ и вы работать, хотя-бы душою рада была, да и работа не всегда бываетъ. Что-же мнѣ остается? Надрываться съ тоски, глядя на васъ обоихъ, сердечныхъ. Чѣмъ я могу оказать вамъ хоть малѣйшую пользу? И отчего я вамъ такъ необходима, другъ мой! Что я вамъ хорошаго сдѣлала? Я только привязана къ вамъ всею душою, люблю васъ крѣпко, сильно, всѣмъ сердцемъ, но—горька судьба моя!—я умѣю любить, и могу любить, но только, а не творить добро, не платить вамъ за ваши благодѣянія. Не держите-же меня болѣе, подумайте и скажите ваше послѣднее мнѣніе. Въ ожиданіи пребываю.

васъ любящая

В. Д.

Іюля 1.

Блажь, блажь, Варинька, просто блажь! Оставь васъ такъ, такъ вы тамъ головкой своей и чего-чего не передумаете. И то не такъ, и это не такъ! А я вижу теперь, что это все блажь. Да чего-же вамъ не достаетъ у насъ, маточка, вы только это скажите! Васъ любятъ, вы насъ любите, мы всѣ довольны и счастливы,—чего-же болѣе? Ну, а что̀ вы въ чужихъ-то людяхъ будете дѣлать? Вѣдь вы вѣрно еще не знаете, что такое чужой человѣкъ?.. Нѣтъ, вы меня извольте-ка поразспросить, такъ я вамъ скажу, что такое чужой человѣкъ. Знаю я его, маточка; хорошо знаю; случалось хлѣбъ его ѣсть. Золъ онъ, Варинька, золъ, ужь такъ золъ, что сердечка твоего не достанетъ, такъ онъ его истерзаетъ укоромъ, попрекомъ, да взглядомъ дурнымъ. У насъ вамъ тепло, хорошо,—словно въ гнѣздышкѣ пріютились. Да и насъ-то вы какъ безъ головы оставите. Ну, что̀ мы будемъ

дѣлать безъ васъ; что̀ я, старикъ, буду дѣлать тогда? Вы намъ не нужны? Не полезны? Какъ не полезны? Нѣтъ, вы, маточка, сами разсудите какъ-же вы не полезны? Вы мнѣ очень полезны, Варинька. Вы этакое вліяніе имѣете благотворное... Вотъ я объ васъ думаю теперь и мнѣ весело... Я вамъ иной разъ письмо напишу и всѣ чувства въ немъ изложу, на что подробный отвѣтъ отъ васъ получаю.—Гардеробцу вамъ накупилъ, шляпку сдѣлалъ; отъ васъ комиссія подъ часъ выходитъ какая нибудь, я и комиссію... Нѣтъ, какъ-же вы не полезны? Да и что̀ я одинъ буду дѣлать на старости, на что годиться буду? Вы, можетъ быть, объ этомъ и не подумали, Варинька; нѣтъ, вы именно объ этомъ подумайте—что вотъ, дескать, на что̀ онъ будетъ безъ меня-то годиться? Я привыкъ къ вамъ, родная моя.—А то что̀ изъ этого будетъ? Пойду къ Невѣ, да и дѣло съ концомъ. Да, право-же, будетъ такое, Варинька, что-же мнѣ безъ васъ дѣлать останется! Ахъ, душечка моя, Варинька! Хочется, видно, вамъ, что-бы меня ломовой извощикъ на Волково свезъ; чтобы какая нибудь тамъ нищая старуха-пошлепница одна мой гробъ провожала, чтобы меня тамъ пескомъ засыпали, да прочь пошли, да одного тамъ оставили. Грѣшно, грѣшно, маточка! Право, грѣшно, ей Богу, грѣшно! Отсылаю вамъ вашу книжку, дружочекъ мой, Варинька, и если вы, дружочекъ мой, спросите мнѣнія моего на счетъ вашей книжки, то я скажу, что въ жизнь мою не случилось мнѣ читать такихъ славныхъ книжекъ. Спрашиваю я теперь себя, маточка, какъ-же это я жилъ до сихъ поръ такимъ олухомъ, прости Господи? Что̀ дѣлалъ? Изъ какихъ я лѣсовъ? Вѣдь ничего-то я не знаю, маточка, ровно ничего не знаю! Совсѣмъ ничего не знаю! Я вамъ, Варинька, спроста скажу,—я человѣкъ не ученый; читалъ я до сей поры мало, очень мало читалъ, да почти ничего: *Картину человѣка*, умное сочиненіе, читалъ; *Мальчика, наигрывающаго разныя штучки на колокольчикахъ* читалъ, да *Ивиковы журавли*—вотъ только и всего, а больше ничего никогда не читалъ. Теперь я *Станціоннаго смотрителя* здѣсь въ вашей книжкѣ прочелъ; вѣдь вотъ скажу я вамъ, маточка, случается-же такъ, что живешь, а не знаешь, что подъ бокомъ тамъ у тебя книжка есть, гдѣ вся-то жизнь твоя какъ по пальцамъ разложена. Да и что самому прежде не въ догадъ было, такъ вотъ здѣсь, какъ начнешь читать въ такой книжкѣ, такъ самъ все, по маленьку, и припомнишь, и розыщешь, и разгадаешь. И, наконецъ, вотъ отчего еще я полюбилъ вашу книжку: иное твореніе, какое тамъ ни есть, читаешь-читаешь, иной разъ хоть тресни—такъ хитро, что

какъ будто-бы его и не понимаешь. Я, напримѣръ,—я тупъ, я отъ природы моей тупъ, такъ я не могу слишкомъ важныхъ сочиненій читать; а это читаешь,—словно самъ написалъ точно это, примѣрно говоря, мое собственное сердце, какое ужь оно тамъ ни есть, взялъ его, людямъ выворотилъ изнанкой, да и описалъ все подробно,—вотъ какъ! Да и дѣло-то простое, Богъ мой; да чего! Право, и я такъ-же-бы написалъ; отчего-же-бы и не написалъ?—Вѣдь я тоже самое чувствую, вотъ совершенно такъ, какъ и въ книжкѣ, да я и самъ въ такихъ-же положеніяхъ подъ-часъ находился, какъ примѣрно сказать этотъ Самсонъ-то Выринъ, бѣдняга. Да сколько между нами-то ходитъ Самсоновъ Выриныхъ, такихъ-же горемыкъ сердечныхъ! И какъ ловко описано все! Меня чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочелъ, что онъ спился, грѣшный, такъ, что память потерялъ, горькимъ сдѣлался и спитъ себѣ цѣлый день подъ овчиннымъ тулупомъ, да горе пуншикомъ захлебываетъ, да плачетъ жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспоминаетъ о заблудшей овечкѣ своей, объ дочкѣ Дуняшѣ! Нѣтъ, это натурально! Вы прочтите-ка: это натурально! Это живетъ! Я самъ это видалъ;—это вотъ все около меня живетъ; вотъ хоть Тереза—да чего далеко ходить!—Вотъ хоть-бы и нашъ бѣдный чиновникъ,—вѣдь онъ, можетъ быть, такой-же Самсонъ Выринъ, только у него другая фамилія, *Горшковъ*.—Дѣло-то оно общее, маточка, и надъ вами, и надо мной можетъ случиться. И графъ, что̀ на Невскомъ или на набережной живетъ, и онъ будетъ тоже самое, такъ только казаться будетъ другимъ, потому что у нихъ все по своему, по высшему тону, но и онъ будетъ тоже самое, все можетъ случиться, и со мною тоже самое можетъ случиться. Вотъ оно что, маточка, а вы еще тутъ отъ насъ отходить хотите; да вѣдь грѣхъ, Варинька, можетъ застигнуть меня. И себя, и меня сгубить можете, родная моя. Ахъ, ясочка вы моя, выкиньте, ради Бога, изъ головки своей всѣ эти вольныя мысли, и не терзайте меня напрасно. Ну гдѣ-же, птенчикъ вы мой слабенькій, не оперившійся, гдѣ-же вамъ самое-себя прокормить, отъ погибели себя удержать, отъ злодѣевъ защититься! Полноте, Варинька, поправьтесь; вздорныхъ совѣтовъ и наговоровъ не слушайте, а книжку вашу еще разъ прочтите, со вниманіемъ прочтите: вамъ это пользу принесетъ.

Говорилъ я про «Станціоннаго смотрителя» Ратазяеву. Онъ мнѣ сказалъ, что это все старое, и что теперь все пошли книжки съ картинками, и съ разными описаніями; ужь я, право, въ

толкъ не взялъ хорошенько, что онъ тутъ говорилъ такое. Заключилъ-же, что Пушкинъ хорошъ, и что онъ святую Русь прославилъ, и много еще мнѣ про него говорилъ. Да, очень хорошо, Варинька, очень хорошо; прочтите-ка книжку еще разъ со вниманіемъ, совѣтамъ моимъ послѣдуйте, и послушаніемъ своимъ меня старика осчастливьте. Тогда самъ Господь наградитъ васъ, моя родная, непремѣнно наградитъ.

Вашъ искренній другъ

Макаръ Дѣвушкинъ.

М. Г. Макаръ Алексѣевичъ!

Ѳедора принесла мнѣ сегодня пятнадцать рублей серебромъ. Какъ она была рада, бѣдная, когда я ей три целковыхъ дала! Пишу вамъ на-скоро. Я теперь крою вамъ жилетку,—прелесть какая матерія,—желтенькая съ цвѣточками. Посылаю вамъ одну книжку; тутъ все разныя повѣсти; я прочла кое-какія, прочтите одну изъ нихъ подъ названіемъ *Шинель.*— Вы меня уговариваете въ театръ идти вмѣстѣ съ вами; не дорого-ли это будетъ? Развѣ ужь куда нибудь въ галлерею. Я ужь очень давно не была въ театрѣ, да и, право, не помню когда. Только опять все боюсь, не дорого-ли будетъ стоить эта затѣя? Ѳедора только головой покачиваетъ. Она говоритъ, что вы совсѣмъ не по достаткамъ жить начали; да я и сама это вижу; сколько вы на меня одну истратили! Смотрите, другъ мой, не было-бы бѣды. Ѳедора и такъ мнѣ говорила про какіе-то слухи — что вы имѣли, кажется, споръ съ вашей хозяйкой за неуплату ей денегъ; я очень боюсь за васъ. Ну, прощайте, я спѣшу. Дѣло есть маленькое; я перемѣняю ленты на шляпкѣ.

P. S. Знаете-ли, если мы пойдемъ въ театръ, то я надѣну мою новенькую шляпку, а на плеча черную мантилью. Хорошо-ли это будетъ?

Іюля 7.

Милостивая Государыня

Варвара Алексѣевна!

...Такъ вотъ я все про вчерашнее.—Да, маточка, и на насъ въ оно время блажь находила. Врѣзался въ эту актрисочку, по уши врѣзался, да это-бы еще ничего, а самое-то чудное то, что я ее почти совсѣмъ не видалъ, и въ театрѣ былъ всего одинъ разъ, а при всемъ томъ врѣзался. Жили тогда со мною стѣнка

объ стѣнку человѣкъ пятеро молодаго, раззадорнаго народу. Сошелся я съ ними, по неволѣ сошелся, хотя всегда былъ отъ нихъ въ пристойныхъ границахъ. Ну, чтобы не отстать, я и самъ имъ во всемъ поддакиваю. Насказали они мнѣ объ этой актрискѣ! Каждый вечеръ, какъ только театръ идетъ, вся компанія—на нужное у нихъ никогда гроша не было—вся компанія отправлялась въ театръ, въ галлерею, и ужь хлопаютъ-хлопаютъ, вызываютъ-вызываютъ эту актриску—просто бѣснуются! А потомъ и заснуть не дадутъ; всю ночь напролетъ объ ней толкуютъ, всякой ее своей Глашей зоветъ, всѣ въ одну въ нее влюблены, у всѣхъ одна канарейка на сердцѣ. Раззадорили они и меня беззащитнаго; я тогда еще молоденекъ былъ. Самъ не знаю какъ очутился я съ ними въ театрѣ, въ четвертомъ ярусѣ, въ галлереѣ. Видѣть-то я одинъ только краешекъ занавѣски видѣлъ, зато все слышалъ. У актрисочки точно голосокъ былъ хорошенькій;—звонкій, соловьиный, медовый! Мы всѣ руки у себя отхлопали, кричали-кричали, — однимъ словомъ, до насъ чуть не добрались, одного ужь и вывели, правда. Пришелъ я домой,—какъ въ чаду хожу! въ карманѣ только одинъ цѣлковый рубль оставался, а до жалованья еще добрыхъ дней десять. Такъ какъ вы думали, маточка? На другой день, прежде чѣмъ на службу идти, завернулъ я къ парфюмёру-французу, купилъ у него духовъ какихъ-то, да мыла благовоннаго на весь капиталъ,—ужь и самъ не знаю зачѣмъ я тогда накупилъ всего этого? Да и не обѣдалъ дома, а все мимо ея оконъ ходилъ. Она жила на Невскомъ, въ четвертомъ этажѣ. Пришелъ домой, часочикъ какой нибудь тамъ отдохнулъ, и опять на Невскій пошелъ, чтобы только мимо ея окошекъ пройдти. Полтора мѣсяца я ходилъ такимъ образомъ, волочился за нею; извощиковъ лихачей нанималъ поминутно, и все мимо ея оконъ концы давалъ: замотался совсѣмъ, задолжалъ, а потомъ ужь и разлюбилъ ее:—наскучило! Такъ вотъ что актриска изъ порядочнаго человѣка сдѣлать въ состояніи, маточка! Впрочемъ, молоденекъ-то я, молоденекъ былъ тогда!..

М. Д.

Іюля 8.

Милостивая государыня моя,

Варвара Алексѣевна!

Книжку вашу, полученную мною 6-го сего мѣсяца, спѣшу возвратить вамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, спѣшу въ семъ письмѣ

моемъ объясниться съ вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня въ такую крайность поставили. Позвольте, маточка: всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то безропотно и въ страхѣ повиноваться. Это уже по способности человѣка разсчитано; иной на одно способенъ, а другой на другое, а способности устроены самимъ Богомъ. — Состою я уже около тридцати лѣтъ на службѣ; служу безукоризненно, поведенія трезваго, въ безпорядкахъ никогда не замѣченъ. Какъ гражданинъ, считаю себя, собственнымъ сознаніемъ моимъ, какъ имѣющаго свои недостатки, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и добродѣтели. Уважаемъ начальствомъ, и сами его превосходительство мною довольны; и хотя еще они доселѣ не оказывали мнѣ особенныхъ знаковъ благорасположенія, но я знаю, что они довольны. Письмо мое довольно четкое и красивое, такъ, не слишкомъ крупное, но и не слишкомъ мелкое, болѣе на курсивъ сбивающееся, но при каждомъ случаѣ удовлетворительное; у насъ развѣ-развѣ только одинъ Иванъ Прокофьевичъ такъ пишетъ. Дожилъ до сѣдыхъ волосъ; грѣха за собою большаго не знаю. Конечно, кто-же въ маломъ не грѣшенъ? Всякій грѣшенъ, и даже вы грѣшны, маточка! Но въ большихъ проступкахъ и продерзостяхъ никогда не замѣченъ, чтобы этакъ противъ постановленій что нибудь, или въ нарушеніи общественнаго спокойствія, въ этомъ я никогда не замѣченъ, этого не было; даже крестикъ выходилъ— ну да ужь что! Все это вы по совѣсти должны-бы были знать, маточка, и онъ долженъ-бы былъ знать; ужь какъ взялся описывать, такъ долженъ-бы былъ все знать. Нѣтъ, я этого не ожидалъ отъ васъ, маточка, нѣтъ, Варинька! Вотъ отъ васъ-то именно такого и не ожидалъ.

Какъ! Такъ послѣ этого и жить себѣ смирно нельзя въ уголочкѣ своемъ,—каковъ ужь онъ тамъ ни есть,—жить водой не замутя, по пословицѣ, никого не трогая, зная страхъ Божій, да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и въ твою конуру не пробрались, да не подсмотрѣли — что, дескать, какъ ты себѣ тамъ по домашнему, что вотъ есть-ли, напримѣръ, у тебя жилетка хорошая, водится-ли у тебя что слѣдуетъ изъ нижняго платья; есть-ли сапоги, да и чѣмъ подбиты они; что ѣшь, что пьешь, что переписываешь? Да и что-же тутъ такого, маточка, что вотъ хоть-бы и я, гдѣ мостовая плоховата, пройду иной разъ на цыпочкахъ, что я сапоги берегу! Зачѣмъ писать про дру-

гаго, что вотъ-де онъ иной разъ нуждается, что чаю не пьетъ? А точно всѣ и должны ужь такъ непремѣнно чай пить! Да развѣ я смотрю въ ротъ каждому, что, дескать, какой онъ тамъ кусокъ жуетъ? Кого-же я обижалъ такимъ образомъ? Нѣтъ, маточка, зачѣмъ-же другихъ обижать, когда тебя не затрогиваютъ! Ну, и вотъ вамъ примѣръ, Варвара Алексѣевна, вотъ что значитъ оно: служишь-служишь, ревностно, усердно,—чего!—и начальство само тебя уважаетъ (ужь какъ-бы тамъ ни было, а всетаки уважаетъ),—и вотъ кто нибудь подъ самымъ носомъ твоимъ, безо всякой видимой причины, ни съ того, ни съ сего, испечетъ тебѣ пашквиль. Конечно, правда, иногда сошьешь себѣ что нибудь новое,—радуешься, не спишь, а радуешься, сапоги новые, напримѣръ, съ такимъ сладострастіемъ надѣваешь;—это правда, я ощущалъ, потому что пріятно видѣть свою ногу въ тонкомъ щегольскомъ сапогѣ,—это вѣрно описано! Но я всетаки истинно удивляюсь, какъ Ѳедоръ-то Ѳедоровичъ безъ вниманія книжку такую пропустили, и за себя не вступились. Правда, что онъ еще молодой сановникъ, и любитъ подъ часъ покричать; но отчего-же и не покричать? Отчего-же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь. Ну да, положимъ, и такъ, напримѣръ, для тона распечь — ну и для тона можно; нужно пріучать; нужно острастку давать; потому что—между нами будь это, Варинька—нашъ братъ ничего безъ острастки не сдѣлаетъ, всякій паровитъ только гдѣ нибудь числиться, что вотъ, дескать, я тамъ-то и тамъ-то, а отъ дѣла-то бочкомъ да сторонкой. А такъ какъ разные чины бываютъ, и каждый чинъ требуетъ совершенно соотвѣтственной по чину распеканціи, то естественно, что послѣ этого и тонъ распеканціи выходитъ разночинный;—это въ порядкѣ вещей! Да вѣдь на томъ и свѣтъ стоитъ, маточка, что всѣ мы одинъ передъ другимъ тону задаемъ, что всякъ изъ насъ одинъ другаго распекаетъ. Безъ этой предосторожности и свѣтъ-бы не стоялъ, и порядка-бы не было. Истинно удивляюсь, какъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ такую обиду пропустили безъ вниманія!

И для чего-же такое писать? И для чего оно нужно? Что мнѣ за это шинель кто нибудь изъ читателей сдѣлаетъ, что-ли? Сапоги, что-ли, новые купитъ?—Нѣтъ, Варинька, прочтетъ, да еще продолженія потребуетъ. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься въ томъ, чѣмъ не взялъ, боишься носъ подъ часъ показать—куда-бы тамъ ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что изъ всего что ни есть на свѣтѣ, изъ всего тебѣ пашквиль сработаютъ—и вотъ ужь вся гражданская и се-

мейная жизнь твоя по литературѣ ходитъ, все напечатано, прочитано, осмѣяно, пересужено! Да тутъ и на улицу нельзя показаться будетъ; вѣдь тутъ это все такъ доказано, что нашего брата по одной походкѣ узнаешь теперь. Ну, добро-бы онъ подъ концомъ-то хоть исправился, что нибудь-бы смягчилъ, помѣстилъ-бы, напримѣръ, хоть послѣ того пункта, какъ ему бумажки на голову сыпали:—что вотъ, дескать, при всемъ этомъ онъ былъ добродѣтеленъ, хорошій гражданинъ, такого обхожденія отъ своихъ товарищей не заслуживалъ, послушествовалъ старшимъ (тутъ-бы примѣръ можно какой нибудь), никому зла не желалъ, вѣрилъ въ Бога и умеръ (если ему хочется, чтобы онъ ужь непремѣнно умеръ)—оплаканный. А лучше всего было-бы не оставлять его умирать, бѣднягу, а сдѣлать-бы такъ, чтобы шинель его отыскалась, чтобы Ѳедоръ Ѳедоровичъ, то есть что я!—чтобы тотъ генералъ, узнавши подробнѣе объ его добродѣтеляхъ, перепросили-бы его въ свою канцелярію, повысили-бы чиномъ и дали-бы хорошій окладъ жалованья, такъ что, видите-ли, какъ-бы это было: зло было-бы наказано, а добродѣтель восторжествовала-бы, и канцеляристы-товарищи всѣ-бы ни съ чѣмъ и остались. Я-бы, напримѣръ, такъ сдѣлалъ, а то что тутъ у него особеннаго, что у него тутъ хорошаго? Такъ, пустой какой-то примѣръ изъ вседневнаго, подлаго быта. Да и какъ вы-то рѣшились мнѣ такую книжку прислать, родная моя. Да вѣдь это злонамѣренная книжка, Варинька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не можетъ, чтобы былъ такой чиновникъ. Нѣтъ, я буду жаловаться, Варинька, формально жаловаться.

Покорнѣйшій слуга вашъ

Макаръ Дѣвушкинъ.

Іюля 27.

М. Г. Макаръ Алексѣевичъ!

Послѣднія происшествія и письма ваши испугали, поразили меня, и повергли въ недоумѣніе, а разсказы Ѳедоры объяснили мнѣ все. Но зачѣмъ-же было такъ отчаяваться и вдругъ упасть въ такую бездну, въ какую вы упали, Макаръ Алексѣевичъ? Ваши объясненія вовсе не удовольствовали меня. Видите-ли, была-ли я права, когда настаивала взять то выгодное мѣсто, которое мнѣ предлагали? Къ тому-же и послѣднее мое приключеніе пугаетъ меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша

ко мнѣ заставила васъ таиться отъ меня. Я и тогда уже видѣла, что многимъ обязана вамъ, когда вы увѣряли, что издерживаете на меня только запасныя деньги свои, которыя, какъ говорили, у васъ въ Ломбардѣ на всякій случай лежали. Теперь-же, когда я узнала, что у васъ вовсе не было никакихъ денегъ, что вы, случайно узнавши о моемъ бѣдственномъ положеніи и тронувшись имъ, рѣшились издержать свое жалованье, забравъ его впередъ, и продали даже свое платье, когда я больна была,—теперь я, открытіемъ всего этого, поставлена въ такое мучительное положеніе, что до сихъ поръ не знаю какъ принять все это и что думать объ этомъ. Ахъ! Макаръ Алексѣевичъ! Вы должны были остановиться на первыхъ благодѣяніяхъ своихъ, внушенныхъ вамъ состраданіемъ и родственною любовью, а не расточать деньги впослѣдствіи на ненужное. Вы измѣнили дружбѣ нашей, Макаръ Алексѣевичъ, потому что не были откровенны со мною, и теперь, когда я вижу, что ваше послѣднее пошло мнѣ на наряды, на конфекты, на прогулки, на театръ и на книги, то за все это я теперь дорого плачу сожалѣніемъ о своей непростительной вѣтренности (ибо я принимала отъ васъ все, не заботясь о васъ самихъ); и все то, чѣмъ вы хотѣли доставить мнѣ удовольствіе, обратилось теперь въ горе для меня и оставило по себѣ одно безполезное сожалѣніе. Я замѣчала вашу тоску въ послѣднее время, и хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мнѣ и въ умъ не входило. Какъ! Вы до такой уже степени могли упасть духомъ, Макаръ Алексѣевичъ! Но что̀ теперь о васъ подумаютъ, что̀ теперь скажутъ о васъ всѣ, кто васъ знаетъ? Вы, котораго я и всѣ уважали за доброту души, скромность и благоразуміе, вы теперь вдругъ впали въ такой отвратительный порокъ, въ которомъ, кажется, никогда не были замѣчены прежде. Что̀ со мною было, когда Ѳедора разсказала мнѣ, что васъ нашли на улицѣ въ нетрезвомъ видѣ, и привезли на квартиру съ полиціей! Я остолбенѣла отъ изумленія, хотя и ожидала чего-то необыкновеннаго, потому что вы четыре дня пропадали. Но подумали-ли вы, Макаръ Алексѣевичъ, что̀ скажутъ ваши начальники, когда узнаютъ настоящую причину вашего отсутствія? Вы говорите, что надъ вами смѣются всѣ, что всѣ узнали о нашей связи, и что и меня упоминаютъ въ насмѣшкахъ своихъ сосѣди ваши. Не обращайте вниманія на это, Макаръ Алексѣевичъ, и ради Бога, успокойтесь. Меня пугаетъ еще ваша исторія съ этими офицерами; я объ ней темно слышала. Растол-

куйте мнѣ, что это все значитъ? Пишете вы, что боялись открыться мнѣ, боялись потерять вашимъ признаніемъ мою дружбу, что были въ отчаяніи, не зная чѣмъ помочь мнѣ въ моей болѣзни, что продали все, чтобы поддержать меня и не пускать въ больницу, что задолжали сколько возможно задолжать, и имѣете каждый день непріятности съ хозяйкой, — но скрывая все это отъ меня, вы выбрали худшее. Но вѣдь теперь-же я все узнала. Вы совѣстились заставить меня сознаться, что я была причиною вашего несчастнаго положенія, а теперь вдвое болѣе принесли мнѣ горя своимъ поведеніемъ. Все это меня поразило, Макаръ Алексѣевичъ. Ахъ, другъ мой! Несчастіе заразительная болѣзнь. Несчастнымъ и бѣднымъ нужно сторониться другъ отъ друга, чтобъ еще болѣе не заразиться. Я принесла вамъ такія несчастія, которыхъ вы и не испытывали прежде въ вашей скромной и уединенной жизни. Все это мучаетъ и убиваетъ меня.

Напишите мнѣ теперь все откровенно, что̀ съ вами было и какъ вы рѣшились на такой поступокъ. Успокойте меня, если можно. Не самолюбіе заставляетъ меня писать теперь о моемъ спокойствіи, но моя дружба и любовь къ вамъ, которыя ничѣмъ не изгладятся изъ моего сердца. Прощайте. Жду отвѣта вашего съ нетерпѣніемъ. Вы худо думали обо мнѣ, Макаръ Алексѣевичъ.

Васъ сердечно любящая

Варвара Доброселова.

Іюля 28.

Безцѣнная моя Варвара Алексѣевна!

Ну ужъ, какъ теперь все кончено, и все мало по малу приходитъ въ прежнее положеніе, то вотъ что скажу я вамъ, маточка: вы безпокоитесь объ томъ, что̀ обо мнѣ подумаютъ, на что спѣшу объявить вамъ Варвара Алексѣевна, что амбиція моя мнѣ дороже всего. Вслѣдствіе чего и донося вамъ объ несчастіяхъ моихъ и о всѣхъ этихъ безпорядкахъ, увѣдомляю васъ, что изъ начальства еще никто ничего не знаетъ, да и не будетъ знать, такъ что они всѣ будутъ питать ко мнѣ уваженіе по прежнему. Одного боюсь: сплетень боюсь. Дома у насъ хозяйка только кричитъ, а теперь, когда я съ помощію вашихъ десяти рублей уплатилъ ей часть долга, только ворчитъ, а болѣе ничего. Что-же касается до прочихъ, то и они ничего; у нихъ

только не нужно денегъ взаймы просить, а то и они ничего. А въ заключеніе объясненій моихъ, скажу вамъ, маточка, что ваше уваженіе ко мнѣ считаю я выше всего на свѣтѣ и тѣмъ утѣшаюсь теперь во временныхъ безпорядкахъ моихъ. Слава Богу, что первый ударъ и первыя передряги миновали, и вы приняли это такъ, что не считаете меня вѣроломнымъ другомъ и себялюбцемъ за то, что я васъ у себя держалъ и обманывалъ васъ, не въ силахъ будучи съ вами разстаться и любя васъ, какъ моего ангельчика. Рачительно теперь принялся за службу и должность свою сталъ исправлять хорошо. Евстафій Ивановичъ хоть-бы слово сказалъ, когда я мимо ихъ вчера проходилъ. Не скрою отъ васъ, маточка, что убиваютъ меня долги мои и худое положеніе моего гардероба, но это опять ничего, и объ этомъ тоже молю васъ—не отчаявайтесь, маточка. Посылаете мнѣ еще полтинничекъ, Варинька, и этотъ полтинничекъ мнѣ мое сердце пронзилъ. Такъ такъ-то онъ теперь стало, такъ вотъ оно какъ! То есть это не я, старый дуракъ, вамъ, ангельчику, помогаю, а вы, сироточка моя бѣдненькая, мнѣ! Хорошо сдѣлала Ѳедора что достала денегъ. Я покамѣстъ не имѣю надеждъ никакихъ, маточка, на полученіе, а если чуть возродятся какія нибудь надежды, то отпишу вамъ обо всемъ подробно. Но сплетни, сплетни меня безпокоятъ болѣе всего. Прощайте, мой ангельчикъ. Цѣлую вашу ручку и умоляю васъ выздоравливать. Пишу оттого не подробно, чтъ въ должность спѣшу, ибо стараніемъ и раченіемъ хочу загладить всѣ вины мои въ упущеніи по службѣ; дальнѣйшее-же повѣствованіе о всѣхъ происшествіяхъ и о приключеніи съ офицерами откладываю до вечера.

Васъ уважающій и васъ сердечно любящій

Макаръ Дѣвушкинъ.

Іюля 28.

Маточка Варинька!

Эхъ, Варинька, Варинька! Вотъ именно-то теперь грѣхъ на вашей сторонѣ, и на совѣсти вашей останется. Письмецомъ-то своимъ вы меня съ толку послѣдняго сбили, озадачили, да ужь только теперь, какъ я на досугѣ во внутренность сердца моего проникъ, такъ и увидѣлъ, что правъ былъ, совершенно былъ правъ. Я не про дебошъ мой говорю (ну его, маточка, ну его!), а про то, что я люблю васъ и что вовсе не неблагоразумно мнѣ было любить васъ, вовсе не неблагоразумно. Вы, маточка, не

знаете ничего; а вотъ если-знали только отчего это все, отчего это я долженъ васъ любить, такъ вы-бы не то сказали. Вы это все резонное-то только такъ говорите, а я увѣренъ, что на сердцѣ-то у васъ вовсе не то.

Маточка моя, я и самъ-то не знаю и не помню хорошо всего, что̀ было у меня съ офицерами. Нужно вамъ замѣтить, ангельчикъ мой, что до того времени я былъ въ смущеніи ужаснѣйшемъ. Вообразите себѣ, что уже цѣлый мѣсяцъ, такъ сказать, на одной ниточкѣ крѣпился. Положеніе было пребѣдственное. Отъ васъ-то я скрывался, да и дома тоже, но хозяйка моя шуму и крику надѣлала. Оно-бы мнѣ и ничего. Пусть-бы кричала баба негодная, да одно то, что срамъ, а второе то, что она, Господь ее знаетъ какъ, объ нашей связи узнала, и такое про нее на весь домъ кричала, что я обомлѣлъ да и уши заткнулъ. Да дѣло-то въ томъ, что другіе своихъ ушей не затыкали, а, напротивъ, развѣсили ихъ. Я и теперь, маточка, куда мнѣ дѣваться не знаю...

И вотъ, ангельчикъ мой, все-то это, весь-то этотъ сбродъ всяческаго бѣдствія и доканалъ меня окончательно. Вдругъ странныя вещи слышу я отъ Ѳедоры: что въ домъ къ вамъ явился недостойный искатель и оскорбилъ васъ недостойнымъ предложеніемъ; что онъ васъ оскорбилъ, глубоко оскорбилъ, я по себѣ сужу, маточка, потому что и я самъ глубоко оскорбился. Тутъ-то я, ангельчикъ вы мой, и свихнулся, тутъ-то я и потерялся и пропалъ совершенно. Я, другъ вы мой, Варинька, выбѣжалъ въ бѣшенствѣ какомъ-то неслыханномъ, я къ нему хотѣлъ идти, грѣховоднику; я ужь и не зналъ, что̀ я дѣлать хотѣлъ, потому что я не хочу, чтобы васъ, ангельчика моего, обижали! Ну, грустно было! А на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная!... Я было ужь воротиться хотѣлъ... Тутъ-то я и палъ, маточка. Я Емелю встрѣтилъ, Емельяна Ильича, онъ чиновникъ, т. е. былъ чиновникъ, а теперь ужь не чиновникъ, потому что его отъ насъ выключили.—Онъ ужь я и не знаю что дѣлаетъ, какъ-то тамъ мается; вотъ мы съ нимъ и пошли.—Тутъ,—ну, да что вамъ, Варинька, ну весело что-ли про несчастія друга своего читать, бѣдствія его и исторію искушеній, имъ претерпѣнныхъ? На третій день, вечеромъ, ужь это Емеля подбилъ меня, я и пошелъ къ нему, къ офицеру-то. Адресъ-то я у нашего дворника спросилъ. Я, маточка, ужь если къ слову сказать пришлось, давно за этимъ молодцомъ примѣчалъ; слѣдилъ его, когда еще онъ въ домѣ у насъ квартировалъ. Теперь-то я вижу, что я неприличіе сдѣлалъ, потому что я не въ

своемъ видѣ былъ, когда обо мнѣ ему доложили. Я, Варинька, ничего, по правдѣ, и не помню; помню только, что у него было очень много офицеровъ, или это двоилось у меня—Богъ знаетъ. Я не помню также, что я говорилъ, только я знаю, что я много говорилъ въ благородномъ негодованіи моемъ. Ну, тутъ-то меня и выгнали, тутъ-то меня и съ лѣстницы сбросили, то есть оно не то, чтобы совсѣмъ сбросили, а только такъ вытолкали. Вы ужь знаете, Варинька, какъ я воротился; вотъ оно и все. Конечно, я себя уронилъ, и амбиція моя пострадала, но вѣдь этого никто не знаетъ, изъ постороннихъ-то никто, кромѣ васъ, не знаетъ; ну, а въ такомъ случаѣ, это все равно что какъ-бы его и не было. Можетъ быть, это и такъ, Варинька, какъ вы думаете? Что мнѣ только достовѣрно извѣстно, такъ это то, что прошлый годъ у насъ Аксентій Осиповичъ такимъ-же образомъ дерзнулъ на личность Петра Петровича, но по секрету, онъ это сдѣлалъ по секрету. Онъ его зазвалъ въ сторожевскую комнату, я это все въ щелочку видѣлъ; да ужь тамъ онъ какъ надобно было и распорядился, но благороднымъ образомъ, потому что этого никто не видалъ, кромѣ меня; ну, а я ничего, то есть я хочу сказать, что я не объявлялъ никому. Ну, а послѣ этого Петръ Петровичъ и Аксентій Осиповичъ ничего. Петръ Петровичъ, знаете, амбиціонный такой, такъ онъ и никому не сказалъ, такъ что они теперь и кланяются, и руки жмутъ. Я не спорю, я, Варинька, съ вами спорить не смѣю, я глубоко упалъ, и что всего ужаснѣе, въ собственномъ мнѣніи своемъ проигралъ, но ужь это вѣрно мнѣ такъ на роду было написано, ужь это вѣрно судьба,—а отъ судьбы не убѣжишь, сами знаете.—Ну, вотъ и подробное объясненіе несчастій моихъ и бѣдствій, Варинька, вотъ—все такое, что хоть-бы и не читать, такъ въ ту-же пору.—Я немного нездоровъ, маточка моя, и всей игривости чувствъ лишился. Посему теперь свидѣтельствуя вамъ мою привязанность, любовь и уваженіе, пребываю, милостивая государыня моя, Варвара Алексѣевна,

покорнѣйшимъ слугою вашимъ

Макаромъ Дѣвушкинымъ.

Іюля 29.

Милостивый Государь,
Макаръ Алексѣевичъ!

Я прочла ваши оба письма, да такъ и ахнула! Послушайте, другъ мой, вы или отъ меня умалчиваете что нибудь и написали

мнѣ только часть всѣхъ непріятностей вашихъ, или... право, Макаръ Алексѣевичъ, письма ваши еще отзываются какимъ-то разстройствомъ... Приходите ко мнѣ, ради Бога, приходите сегодня; да послушайте, вы знаете, ужь такъ прямо приходите къ намъ обѣдать. Я ужь и не знаю, какъ вы тамъ живете и какъ съ хозяйкой вашей уладились. Вы объ этомъ обо всемъ ничего не пишете и какъ будто съ намѣреніемъ умалчиваете. Такъ до свиданія, другъ мой; заходите къ намъ непремѣнно сегодня; да ужь лучше-бы вы сдѣлали, если-бъ и всегда приходили къ намъ обѣдать. Ѳедора готовитъ очень хорошо. Прощайте.

Ваша

Варвара Доброселова.

Августа 1.

Матушка, Варвара Алексѣевна!

Рады вы, матушка, что Богъ вамъ случай послалъ въ свою очередь за добро добромъ отслужить и меня отблагодарить. Я этому вѣрю, Варинька, и въ доброту ангельскаго сердечка вашего вѣрю, и не въ укоръ вамъ говорю,—только не попрекайте меня, какъ тогда, что я на старости лѣтъ замотался. Ну, ужь былъ грѣхъ такой, что-жь дѣлать!—Если ужь хотите непремѣнно, чтобы тутъ грѣхъ какой былъ; только вотъ, отъ васъ-то, дружочекъ мой, слушать такое мнѣ многаго стоитъ! А вы на меня не сердитесь, что я это говорю; у меня въ груди-то, маточка, все изныло. Бѣдные люди капризны;—это ужь такъ отъ природы устроено. Я это и прежде чувствовалъ. Онъ, бѣдный-то человѣкъ, онъ взыскателенъ; онъ и на свѣтъ-то Божій иначе смотритъ, и на каждаго прохожаго косо глядитъ, да вокругъ себя смущеннымъ взоромъ поводитъ, да прислушивается къ каждому слову,—дескать, не про него-ли тамъ что говорятъ? Что вотъ, дескать, что-же онъ такой неказистый? Что-бы онъ такое именно чувствовалъ? Что вотъ, напримѣръ, каковъ онъ будетъ съ этого боку, каковъ будетъ съ того боку? И вѣдомо каждому, Варинька, что бѣдный человѣкъ хуже ветошки и никакого ни отъ кого уваженія получить не можетъ, что ужь тамъ ни пиши! они-то, пачкуны-то эти, что ужь тамъ ни пиши! — все будетъ въ бѣдномъ человѣкѣ такъ, какъ и было. А отчего же такъ и будетъ по прежнему? А оттого, что ужь у бѣднаго человѣка, по ихнему, все на изнанку должно быть; что ужь у него ничего не должно быть завѣтнаго, тамъ амбиціи какой нибудь ни-ни-ни! Вонъ Емеля

говорилъ намедни, что ему гдѣ-то подписку дѣлали, такъ ему за каждый гривенникъ, въ нѣкоторомъ родѣ, оффиціальный осмотръ дѣлали. Они думали, что они даромъ свои гривенники ему даютъ— анъ нѣтъ: они заплатили за то, что имъ бѣднаго человѣка показывали. Ныньче, маточка, и благодѣянія-то какъ-то чудно дѣлаются... а, можетъ быть, и всегда такъ дѣлались, кто ихъ знаетъ! Или не умѣютъ они дѣлать, или ужь мастера большіе— одно изъ двухъ. Вы, можетъ быть, этого не знали, ну, такъ вотъ вамъ! Въ чемъ другомъ мы пасъ, а ужь въ этомъ извѣстны! А почему бѣдный человѣкъ знаетъ все это, да думаетъ все такое? А почему?—ну, по опыту! А оттого, напримѣръ, что онъ знаетъ, что есть подъ бокомъ у него такой господинъ, что̀ вотъ идетъ куда нибудь къ ресторану да говоритъ самъ съ собой: что вотъ, дескать, эта голь-чиновникъ, что̀ будетъ ѣсть сегодня? а я сотепапильйотъ буду ѣсть, а онъ, можетъ быть, кашу безъ масла ѣсть будетъ. — А какое ему дѣло, что я буду кашу безъ масла ѣсть? Бываетъ такой человѣкъ, Варинька, бываетъ, что̀ только объ такомъ и думаетъ. И они ходятъ, пашквилянты неприличные, да смотрятъ, что, дескать, всей-ли ногой-то камень ступаешь, али носочкомъ однимъ; что де вотъ у такого-то чиновника, такого-то вѣдомства, титулярнаго совѣтника, изъ сапога голые пальцы торчатъ, что вотъ у него локти продраны — и потомъ тамъ себѣ это все и описываютъ, и дрянь такую печатаютъ... А какое тебѣ дѣло, что у меня локти продраны? Да, ужь если вы мнѣ простите, Варинька, грубое слово, такъ я вамъ скажу, что у бѣднаго человѣка на этотъ счетъ тотъ-же самый стыдъ, какъ и у васъ, примѣромъ сказать, дѣвическій. Вѣдь вы передъ всѣми — грубое-то словцо мое простите — разоблачаться не станете; вотъ, такъ точно и бѣдный человѣкъ не любитъ, чтобы въ его конуру заглядывали, что, дескать, каковы-то тамъ его отношенія будутъ семейныя — вотъ. А то что̀ было тогда обижать меня, Варинька, купно со врагами моими, на честь и амбицію честнаго человѣка посягающими!

Да и въ присутствіи-то я сегодня сидѣлъ такимъ медвѣженкомъ, такимъ воробьемъ ощипаннымъ, что чуть самъ за себя со стыда не сгорѣлъ. Стыдненько мнѣ было, Варинька! Да, ужь натурально робѣешь, когда сквозь одежду голые локти свѣтятся, да пуговки на ниточкахъ мотаются. А у меня, какъ нарочно, все это было въ такомъ безпорядкѣ! Поневолѣ упадешь духомъ. Чего!.. самъ Степанъ Карловичъ сегодня началъ было по дѣлу со мной говорить, говорилъ-говорилъ, да какъ будто невзначай

и прибавилъ: «Эхъ вы, батюшка Макаръ Алексѣевичъ!» да и не договорилъ остальнаго-то объ чемъ онъ думалъ, а только я ужь самъ обо всемъ догадался, да такъ покраснѣлъ, что даже лысина моя покраснѣла. Оно въ сущности-то и ничего, да всетаки безпокойно, на размышленія наводитъ тяжкія. Ужь не провѣдали-ли чего они! А, Боже сохрани, ну, какъ объ чемъ нибудь провѣдали! Я, признаюсь, подозрѣваю, сильно подозрѣваю одного человѣчка. Вѣдь этимъ злодѣямъ ни почемъ! Выдадутъ! Всю частную твою жизнь ни за грошъ выдадутъ; — святаго ничего не имѣется.

Я знаю теперь, чья это штука: это Ратазяева штука. Онъ съ кѣмъ-то знакомъ въ нашемъ вѣдомствѣ, да вѣрно такъ, между разговоромъ, и передалъ ему все съ прибавленіями; или, пожалуй, разсказалъ въ своемъ вѣдомствѣ, а оно выползло да и приползло въ наше вѣдомство. А въ квартирѣ у насъ всѣ все до послѣдняго знаютъ, и къ вамъ въ окно пальцемъ показываютъ; это ужь я знаю, что показываютъ. А какъ я вчера къ вамъ обѣдать пошелъ, то всѣ они изъ оконъ повысовывались, а хозяйка сказала, что вотъ, дескать, чортъ съ младенцемъ связались, да и васъ она назвала потомъ неприлично. Но все-же это ничто передъ гнуснымъ намѣреніемъ Ратазяева насъ съ вами въ литературу свою помѣстить и въ тонкой сатирѣ насъ описать; онъ это самъ говорилъ, а мнѣ добрые люди изъ нашихъ пересказали. Я ужь и думать ни о чемъ не могу, маточка, и рѣшиться не знаю на что. Нечего грѣха таить, прогнѣвили мы Господа Бога, ангельчикъ мой! Вы, маточка, мнѣ книжку какую-то хотѣли, ради скуки, прислать. А ну ее, книжку, маточка! Что она, книжка? Она небылица въ лицахъ! И романъ вздоръ, и для вздора написанъ, такъ, празднымъ людямъ читать: повѣрьте мнѣ, маточка, опытности моей многолѣтней повѣрьте. И что тамъ, если они васъ заговорятъ Шекспиромъ какимъ нибудь, что, дескать, видишь-ли, въ литературѣ Шекспиръ есть, — такъ и Шекспиръ вздоръ, все это сущій вздоръ, и все для одного пашквиля сдѣлано!

Вашъ

Макаръ Дѣвушкинъ.

Августа 2.

Милостивый Государь,
Макаръ Алексѣевичъ!

Не безпокойтесь ни объ чемъ; дастъ Господь Богъ все уладится. Ѳедора достала и себѣ, и мнѣ кучу работы, и мы превесело

принялись за дѣло; можетъ быть, и все поправимъ. Подозрѣваетъ она, что всѣ мои послѣднія непріятности не чужды Анны Ѳедоровны; но теперь мнѣ все равно. Мнѣ сегодня какъ-то необыкновенно весело. Вы хотите занимать деньги;—сохрани васъ Господи! Послѣ не оберетесь бѣды, когда отдавать будетъ нужно. Лучше живите-ка съ нами покороче, приходите къ намъ почаще и не обращайте вниманія на вашу хозяйку. Что-же касается до остальныхъ враговъ и недоброжелателей вашихъ, то я увѣрена, что вы мучаетесь напрасными сомнѣніями, Макаръ Алексѣевичъ! Смотрите, вѣдь я вамъ говорила прошедшій разъ, что у васъ слогъ чрезвычайно неровный. Ну, прощайте, до свиданья. Жду васъ непремѣнно къ себѣ.

Ваша

В. Д.

Августа 3.

Ангельчикъ мой, Варвара Алексѣевна!

Спѣшу вамъ сообщить, жизненочекъ вы мой, что у меня надежды родились кое-какія. Да позвольте, дочечка вы моя — пишете, ангельчикъ, чтобъ мнѣ займовъ не дѣлать? Голубчикъ вы мой, невозможно безъ нихъ; ужь и мнѣ-то худо, да и съ вами-то, чего добраго, что нибудь вдругъ да не такъ! Вѣдь вы слабенькія; такъ вотъ я къ тому и пишу, что занять-то непремѣнно нужно. Ну такъ я и продолжаю.

Замѣчу вамъ, Варвара Алексѣевна, что въ присутствіи я сижу рядомъ съ Емельяномъ Ивановичемъ. Это не съ тѣмъ Емельяномъ, котораго вы знаете. Этотъ, также какъ и я, титулярный совѣтникъ, и мы съ нимъ во всемъ нашемъ вѣдомствѣ чуть ли не самые старые, коренные служивые. Онъ добрая душа, безкорыстная душа, да не разговорчивый такой, и всегда настоящимъ медвѣдемъ смотритъ. Зато дѣловой, перо у него чистый англійскій почеркъ, и если ужь всю правду сказать, то не хуже меня пишетъ, — достойный человѣкъ! Коротко мы съ нимъ никогда не сходились, а такъ только, по обычаю, прощайте да здравствуйте; да если подъ часъ мнѣ ножичекъ надобился, то, случалось, попрошу — дескать, дайте, Емельянъ Ивановичъ, ножичка, однимъ словомъ, было только то, что общежитіемъ требуется. Вотъ онъ и говоритъ мнѣ сегодня: Макаръ Алексѣевичъ, что, дескать, вы такъ призадумались? Я вижу, что добра желаетъ мнѣ человѣкъ, да и открылся ему — дескать, такъ и такъ

Емельянъ Ивановичъ, т. е. всего не сказалъ, да и Боже сохрани, никогда не скажу, потому что сказать-то нѣтъ духу, а такъ кое въ чемъ открылся ему, что вотъ, дескать, стѣсненъ, и тому подобное. «А вы-бы, батюшка», говоритъ Емельянъ Ивановичъ: «вы-бы заняли; вотъ хоть-бы у Петра Петровича заняли, онъ дастъ на проценты; я занималъ; и процентъ беретъ пристойный—неотягчительный». Ну, Варинька, вспрыгнуло у меня сердечко. Думаю-думаю, авось Господь ему на душу положитъ, Петру Петровичу благодѣтелю, да и дастъ онъ мнѣ взаймы. Самъ ужь и разсчитываю, что вотъ-бы-де и хозяйкѣ-то заплатилъ, и вамъ-бы помогъ, да и самъ-бы кругомъ обчинился, а то такой срамъ, жутко даже на мѣстѣ сидѣть, кромѣ того, что вотъ зубоскалы-то наши смѣются, Богъ съ ними! Да и его-то превосходительство мимо нашего стола иногда проходятъ: ну, сохрани Боже, бросятъ взоръ на меня да примѣтятъ, что я одѣтъ неприлично! А у нихъ главное — чистота и опрятность. Они-то, пожалуй, и ничего не скажутъ, да я-то отъ стыда умру,—вотъ какъ это будетъ. Вслѣдствіе чего, я, скрѣпившись и спрятавъ свой стыдъ въ деревянный карманъ, направился къ Петру Петровичу, и надежды-то полнъ, и ни живъ, ни мертвъ отъ ожиданія — все вмѣстѣ. Ну, что-же, Варинька, вѣдь все вздоромъ и кончилось! Онъ что-то былъ занятъ, говорилъ съ Ѳедосѣемъ Ивановичемъ. Я къ нему подошелъ съ боку да и дернулъ его за рукавъ, дескать, Петръ Петровичъ, а Петръ Петровичъ! — Онъ оглянулся, а я продолжаю: что, дескать, вотъ такъ и такъ, рублей тридцать и т. д. — Онъ сначала было не понялъ меня, а потомъ, когда я объяснилъ ему все, такъ онъ и засмѣялся, да и ничего, замолчалъ. Я опять къ нему съ тѣмъ-же. А онъ мнѣ—закладъ у васъ есть?—А самъ уткнулся въ свою бумагу, пишетъ и на меня не глядитъ. — Я немного оторопѣлъ. Нѣтъ, говорю, Петръ Петровичъ, заклада нѣтъ,—да и объясняю ему—что вотъ, дескать, какъ будетъ жалованье, такъ я и отдамъ, непремѣнно отдамъ, первымъ долгомъ почту. — Тутъ его кто-то позвалъ, я подождалъ его, онъ воротился, да и сталъ перо чинить, а меня какъ будто не замѣчаетъ. А я все про свое, что, дескать, Петръ Петровичъ, нельзя-ли какъ нибудь? Онъ молчитъ и какъ будто не слышитъ, я постоялъ-постоялъ, ну, думаю, попробую въ послѣдній разъ, да и дернулъ его за рукавъ. Онъ хоть-бы что нибудь вымолвилъ, очинилъ перо, да и сталъ писать; я и отошелъ. Они, маточка, видите-ли, можетъ быть, и достойные люди всѣ, да гордые, очень гордые,—что мнѣ! Куда

намъ до нихъ, Варинька! Я къ тому вамъ и написалъ все это.— Емельянъ Ивановичъ тоже засмѣялся, да головой покачалъ, зато обнадежилъ меня, сердечный. Емельянъ Ивановичъ достойный человѣкъ. Обѣщалъ онъ меня рекомендовать одному человѣку; человѣкъ-то этотъ, Варинька, на Выборгской живетъ, тоже даетъ на проценты, 14-го класса какой-то. Емельянъ Ивановичъ говоритъ, этотъ уже непремѣнно дастъ; я завтра, ангельчикъ мой, пойду,—а? Какъ вы думаете? Вѣдь бѣда не занять! Хозяйка меня чуть съ квартиры не гонитъ и обѣдать мнѣ давать не соглашается. Да и сапоги-то у меня больно худы, маточка, да и пуговокъ нѣтъ, да того-ли еще нѣтъ у меня! А ну какъ изъ начальства-то кто нибудь замѣтитъ подобное неприличіе? Бѣда, Варинька, бѣда, просто бѣда!

Макаръ Дѣвушкинъ.

Августа 4.

Любезный Макаръ Алексѣевичъ!

Ради Бога, Макаръ Алексѣевичъ, какъ только можно скорѣе займите сколько нибудь денегъ; я-бы ни за что не попросила у васъ помощи въ теперешнихъ обстоятельствахъ, но если-бы вы знали, каково мое положеніе? Въ этой квартирѣ намъ никакъ нельзя оставаться. У меня случились ужаснѣйшія непріятности, и если-бы вы знали, въ какомъ я теперь разстройствѣ и волненіи! Вообразите, другъ мой: сегодня утромъ входитъ къ намъ человѣкъ незнакомый, пожилыхъ лѣтъ, почти старикъ, съ орденами. Я изумилась, не понимая чего ему нужно у насъ? Ѳедора вышла въ это время въ лавочку. Онъ сталъ меня разспрашивать, какъ я живу и что дѣлаю, и, не дождавшись отвѣта, объявилъ мнѣ, что онъ дядя того офицера; что онъ очень сердитъ на племянника за его дурное поведеніе, и зато, что онъ ославилъ насъ на весь домъ; сказалъ, что племянникъ-то его мальчишка и вѣтрогонъ, и что онъ готовъ взять меня подъ свою защиту; не совѣтовалъ мнѣ слушать молодыхъ людей, прибавилъ, что онъ соболѣзнуетъ обо мнѣ какъ отецъ, что онъ питаетъ ко мнѣ отеческія чувства, и готовъ мнѣ во всемъ помогать. Я вся краснѣла, не знала что и подумать, но не спѣшила благодарить. Онъ взялъ меня насильно за руку, потрепалъ меня по щекѣ, сказалъ, что я прехорошенькая, и что онъ чрезвычайно доволенъ тѣмъ, что у меня есть на щекахъ ямочки (Богъ знаетъ, что онъ говорилъ!), и, наконецъ, хотѣлъ меня поцѣловать, го-

воря, что онъ уже старикъ (онъ былъ такой гадкой!). — Тутъ вошла Ѳедора. Онъ немного смутился и опять заговорилъ, что чувствуетъ ко мнѣ уваженіе за мою скромность и благонравіе, и что очень желаетъ, чтобы я его не чуждалась. Потомъ отозвалъ въ сторону Ѳедору и подъ какимъ-то страннымъ предлогомъ хотѣлъ дать ей сколько-то денегъ. Ѳедора, разумѣется, не взяла. Наконецъ, онъ собрался домой, повторилъ еще разъ всѣ свои увѣренія, сказалъ, что еще разъ ко мнѣ пріѣдетъ и привезетъ мнѣ сережки (кажется, онъ самъ былъ очень смущенъ); совѣтовалъ мнѣ перемѣнить квартиру и рекомендовалъ мнѣ одну прекрасную квартиру, которая у него на примѣтѣ и которая мнѣ ничего не будетъ стоить; сказалъ, что онъ очень полюбилъ меня за тѣмъ, что я честная и благоразумная дѣвушка, совѣтовалъ остерегаться развратной молодежи, и наконецъ, объявилъ, что знаетъ Анну Ѳедоровну, и что Анна Ѳедоровна поручила ему сказать мнѣ, что она сама навѣститъ меня. Тутъ я все поняла. Я не знаю что̀ со мною сталось; въ первый разъ въ жизни я испытывала такое положеніе; я изъ себя вышла; я застыдила его совсѣмъ. Ѳедора помогла мнѣ и почти выгнала его изъ квартиры. Мы рѣшили, что это все дѣло Анны Ѳедоровны: иначе съ какой стороны ему знать о насъ?

Теперь я къ вамъ обращаюсь, Макаръ Алексѣевичъ, и молю васъ о помощи. Не оставляйте меня, ради Бога, въ такомъ положеніи! Займите; пожалуйста, хоть сколько нибудь достаньте денегъ, намъ не начто съѣхать съ квартиры, а оставаться здѣсь никакъ нельзя болѣе: такъ и Ѳедора совѣтуетъ. Намъ нужно, по крайней мѣрѣ, рублей 25; я вамъ эти деньги отдамъ; я ихъ заработаю; Ѳедора мнѣ на дняхъ еще работы достанетъ, такъ, что если васъ будутъ останавливать большіе проценты, то вы не смотрите на нихъ и согласитесь на все. Я вамъ все отдамъ, только ради Бога не оставьте меня помощію. Мнѣ многаго стоитъ безпокоить васъ теперь, когда вы въ такихъ обстоятельствахъ, но на васъ одного вся надежда моя! Прощайте, Макаръ Алексѣевичъ, подумайте обо мнѣ, и дай вамъ Богъ успѣха!

В. Д.

Августа 4.

Голубчикъ мой Варвара Алексѣевна!

Вотъ эти-то всѣ удары неожиданные и потрясаютъ меня! Вотъ такія-то бѣдствія страшныя и убиваютъ духъ мой! Кромѣ

того, что сбродъ этихъ лизоблюдниковъ разныхъ и старикашекъ негодныхъ насъ, моего ангельчика на болѣзненный ордъ свести хочетъ, кромѣ этого всего — они и меня, лизоблюды-то эти, извести хотятъ. И изведутъ, клятву кладу, что изведутъ! Вѣдь вотъ я теперь скорѣе умереть готовъ, чѣмъ вамъ не помочь!— Не помоги я вамъ, такъ ужь тутъ смерть моя, Варинька, тутъ ужь чистая, настоящая смерть, а помоги такъ вы тогда у меня улетите, какъ пташка изъ гнѣздышка, которую совы-то эти, хищныя птицы заклевать собирались. Вотъ это-то меня и мучаетъ, маточка. Да и вы-то, Варинька, вы-то какія жестокія! Какъ-же вы это? Васъ мучаютъ, васъ обижаютъ, вы, птенчикъ мой, страдаете, да еще горюете, что меня безпокоить нужно, да еще обѣщаетесь долгъ заработать, то есть, по правдѣ сказать, убиваться будете съ вашимъ здоровьемъ слабенькимъ, чтобъ меня къ сроку выручить. Да вѣдь вы, Варинька, только подумайте, о чемъ вы толкуете! Да зачѣмъ-же вамъ шить, зачѣмъ-же работать, головку свою бѣдную заботою мучить, ваши глазки хорошенькія портить и здоровье свое убивать? Ахъ, Варинька, Варинька! Видите-ли, голубчикъ мой, я никуда не гожусь, и самъ знаю, что никуда не гожусь, но я сдѣлаю такъ, что буду годиться! Я все превозмогу, я самъ работы посторонней достану, переписывать буду разныя бумаги разнымъ литераторамъ, пойду къ нимъ, самъ пойду, навяжусь на работу, потому что вѣдь они, маточка, ищутъ хорошихъ писцовъ, я это знаю, что ищутъ, а вамъ себя изнурять не дамъ; пагубнаго такого намѣренія не дамъ вамъ исполнить. Я, ангельчикъ мой, непремѣнно займу, и скорѣе умру, чѣмъ не займу. И пишете, голубушка вы моя, чтобы я проценту не испугался большаго, — и не испугаюсь, маточка, не испугаюсь, ничего теперь не испугаюсь. Я, маточка, попрошу 40 рублей ассигнаціями; вѣдь немного, Варинька, какъ вы думаете? Можно-ли сорокъ-то рублей мнѣ съ перваго слова повѣрить? То есть, я хочу сказать, считаете-ли вы меня способнымъ внушить, съ перваго взгляда, вѣроятіе и довѣренность? По физіономіи-то, по первому взгляду, можно-ли судить обо мнѣ благопріятнымъ образомъ? Вы припомните, ангельчикъ, способенъ-ли я ко внушенію-то? Какъ вы тамъ отъ себя полагаете? Знаете-ли страхъ такой чувствуется,—болѣзненно, истинно сказать болѣзненно! Изъ сорока рублей двадцать пять отлагаю на васъ, Варинька; два цѣлковыхъ хозяйкѣ, а остальное назначаю для собственной траты. Видите-ли, хозяйкѣ-то слѣдовало-бы дать и побольше, даже необходимо; но вы сообразите все дѣло, маточка,

перечтите-ка всѣ мои нужды, такъ и увидите, что ужь никакъ нельзя болѣе дать, слѣдовательно, нечего и говорить объ этомъ, да и упоминать не нужно. На рубль серебромъ куплю сапоги; я ужь и не знаю, способенъ-ли я буду въ старыхъ-то завтра въ должность явиться. Платочекъ шейный тоже былъ-бы необходимъ, ибо старому скоро годъ минетъ: но такъ какъ вы мнѣ изъ стараго фартучка вашего не только платокъ. но и манишку выкроить обѣщались, то я о платкѣ и думать больше не буду. Такъ вотъ сапоги и платокъ есть. Теперь пуговки, дружокъ мой! Вѣдь вы согласитесь, крошечка моя, что мнѣ безъ пуговокъ быть нельзя; а у меня чуть-ли не половина борта обсыпалась! Я трепещу, когда подумаю, что его превосходительство могутъ такой безпорядокъ замѣтить, да скажутъ—да что̀ скажутъ! Я, маточка, и не услышу, что̀ скажутъ; ибо умру, умру, на мѣстѣ умру, такъ-таки возьму да и умру отъ стыда, отъ мысли одной!—Охъ, маточка! — Да вотъ еще останется отъ всѣхъ необходимостей трехрублевикъ; такъ вотъ это на жизнь, и на полфунтика табачку; потому что, ангельчикъ мой, я безъ табаку-то жить не могу, а ужь вотъ девятый день трубки въ ротъ не бралъ. Я-бы, по совѣсти говоря, купилъ-бы, да и вамъ ничего не сказалъ, да совѣстно. Вотъ у васъ тамъ бѣда, вы послѣдняго лишаетесь, а я здѣсь разными удовольствіями наслаждаюсь; такъ вотъ для того и говорю вамъ все это, чтобы угрызенія совѣсти не мучили. Я вамъ откровенно признаюсь, Варинька, я теперь въ крайне бѣдственномъ положеніи, то есть рѣшительно ничего подобнаго никогда со мной не бывало. Хозяйка презираетъ меня, уваженія ни отъ кого нѣтъ никакого; недостатки страшнѣйшіе, долги; а въ должности, гдѣ отъ отъ своего брата чиновника и прежде мнѣ не было масляницы,—теперь, маточка, и говорить нечего. Я скрываю, я тщательно отъ всѣхъ все скрываю, и самъ скрываюсь, и въ должность-то вхожу когда, такъ бочкомъ-бочкомъ, сторонюсь отъ всѣхъ. Вѣдь это вамъ только признаться достаетъ у меня силы душевной... А ну, какъ не дастъ! Ну, нѣтъ, лучше, Варинька, и не думать объ этомъ, и такими мыслями заранѣе не убивать души своей. Къ тому и пишу это, чтобы предостеречь васъ, чтобы сами вы объ этомъ не думали и мыслію злою не мучились. Ахъ, Боже мой, что это съ вами-то будетъ тогда! Оно правда и то, что вы тогда съ этой квартиры не съѣдете, и я буду съ вами, — да, нѣтъ, ужь я и не ворочусь тогда, я просто, сгину куда нибудь, пропаду. Вотъ я вамъ здѣсь расписался, а побриться-бы нужно, оно все благообразнѣе, а благо-

образіе всегда умѣетъ найдти. Ну, дай-то Господи! Помолюсь, да и въ путь!

М. Дѣвушкинъ.

Августа 5.

Любезнѣйшій Макаръ Алексѣевичъ!

Ужь хоть вы-то-бы не отчаявались! И такъ горя довольно.— Посылаю вамъ тридцать копѣекъ серебромъ; больше никакъ не могу. Купите себѣ тамъ что вамъ болѣе нужно, чтобы хоть до завтра прожить какъ нибудь. У насъ у самихъ почти ничего не осталось, а завтра ужь и не знаю что будетъ. Грустно, Макаръ Алексѣевичъ! Впрочемъ, не грустите: не удалось, такъ что-жь дѣлать! Ѳедора говоритъ, что еще не бѣда, что можно до времени и на этой квартирѣ остаться, что если-бы и переѣхали, такъ все-бы немного выгадали, и что если захотятъ, такъ вездѣ насъ найдутъ. Да только все какъ-то не хорошо здѣсь оставаться теперь. Если-бы не грустно было, я-бы вамъ кое-что написала.

Какой у васъ странный характеръ, Макаръ Алексѣевичъ! Вы ужь слишкомъ сильно все принимаете къ сердцу; отъ этого вы всегда будете несчастнѣйшимъ человѣкомъ. Я внимательно читаю всѣ ваши письма и вижу, что въ каждомъ письмѣ вы обо мнѣ такъ мучаетесь и заботитесь, какъ никогда о себѣ не заботились. Всѣ, конечно, скажутъ, что у васъ доброе сердце, но я скажу, что оно ужь слишкомъ доброе. Я вамъ даю дружескій совѣтъ, Макаръ Алексѣевичъ. Я вамъ благодарна, очень благодарна за все, что вы для меня сдѣлали, я все это очень чувствую; такъ судите-же, каково мнѣ видѣть, что вы и теперь, послѣ всѣхъ вашихъ бѣдствій, которыхъ я была невольною причиною,—что и теперь живете только тѣмъ, что я живу: моими радостями, моими горестями, моимъ сердцемъ! Если принимать все чужое такъ къ сердцу и если такъ сильно всему сочувствовать, то, право, есть отчего быть несчастнѣйшимъ человѣкомъ. Сегодня, когда вы вошли ко мнѣ послѣ должности, я испугалась глядя на васъ. Вы были такой блѣдный, перепуганный, отчаянный: на васъ лица не было,—и все оттого, что вы боялись мнѣ разсказать о своей неудачѣ, боялись меня огорчить, меня испугать, а какъ увидѣли, что я чуть не засмѣялась, то у васъ почти все отлегло отъ сердца. Макаръ Алексѣевичъ! Вы не печальтесь, не отчаявайтесь, будьте благоразумнѣе,—прошу васъ, умоляю васъ

объ этомъ. Ну, вотъ вы увидите, что все будетъ хорошо, все перемѣнится къ лучшему; а то вамъ тяжело будетъ жить, вѣчно тоскуя, и болѣя чужимъ горемъ. Прощайте, мой другъ: умоляю васъ не безпокойтесь слишкомъ обо мнѣ.

В. Д.

Августа 5.

Голубчикъ мой, Варинька!

Ну, хорошо, ангельчикъ мой, хорошо! Вы рѣшили, что еще не бѣда оттого, что я денегъ не досталъ. Ну, хорошо, я спокоенъ, я счастливъ на вашъ счетъ. Даже радъ, что вы меня, старика, не покидаете и на этой квартирѣ останетесь. Да ужь если все говорить, такъ и сердце-то мое все радостію переполнилось, когда я увидѣлъ, что обо мнѣ, въ своемъ письмецѣ, такъ хорошо написали и чувствамъ моимъ должную похвалу воздали. Я это не отъ гордости говорю, но оттого, что вижу какъ вы меня любите, когда объ сердцѣ моемъ такъ безпокоитесь. Ну, хорошо; что ужь теперь объ сердцѣ-то моемъ говорить! Сердце само по себѣ;—а вотъ вы наказываете, маточка, чтобы я малодушнымъ не былъ. Да, ангельчикъ мой, пожалуй, и самъ скажу, что не нужно его, малодушія-то; да при всемъ этомъ, рѣшите сами, маточка моя, въ какихъ сапогахъ я завтра на службу пойду! — Вотъ оно что, маточка; а вѣдь подобная мысль погубить человѣка можетъ, совершенно погубить. А, главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю; по мнѣ все равно, хоть-бы и въ трескучій морозъ безъ шинели и безъ сапоговъ ходить, я перетерплю, и все вынесу, мнѣ ничего; человѣкъ-то я простой, маленькій; — но что̀ люди скажутъ? — Враги-то мои, злые-то языки эти всѣ что̀ заговорятъ, когда безъ шинели пойдешь? Вѣдь для людей и въ шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для нихъ-же носишь. Сапоги въ такомъ случаѣ, маточка, душечка вы моя, нужны мнѣ для поддержки чести и добраго имени: въ дырявыхъ-же сапогахъ и то, и другое пропало,—повѣрьте, маточка, опытности моей многолѣтней повѣрьте; меня, старика, знающаго свѣтъ и людей, послушайте, а не пачкуновъ какихъ нибудь и марателей.

А я вамъ еще и не разсказывалъ въ подробности, маточка, какъ это въ сущности все было сегодня. А того я натерпѣлся, столько тяготы душевной въ одно утро вынесъ, чего иной и въ цѣлый годъ не вынесетъ. Вотъ оно было какъ:—пошелъ, во первыхъ, я, рапымъ-ранешенько, чтобы и его-то застать, да и

на службу поспѣть. Дождь былъ такой, слякоть такая была сегодня! Я, ясочка моя, въ шинель-то закутался, иду-иду, да все думаю:—Господи! прости, дескать, мои согрѣшенія и пошли исполненіе желаній.—Мимо —ской церкви прошелъ, перекрестился, во всѣхъ грѣхахъ покаялся, да вспомнилъ, что недостойно мнѣ съ Господомъ Богомъ уговариваться. Погрузился я въ себя самого, и глядѣть ни на что не хотѣлось; такъ ужь не разбирая дороги пошелъ. На улицахъ было пусто, а кто встрѣчался, такъ все такіе занятые, озабоченные, да и не диво: кто въ такую пору раннюю и въ такую погоду гулять пойдетъ! Артель работниковъ испачканныхъ повстрѣчалась со мною; затолкали меня мужичье! Робость нашла на меня, жутко становилось, ужь я объ деньгахъ-то и думать, по правдѣ, не хотѣлъ, — на авось такъ на авось! У самаго Воскресенскаго моста у меня подошва отстала, такъ что ужь и самъ не знаю на чемъ я пошелъ. А тутъ нашъ писарь Ермолаевъ повстрѣчался со мною, вытянулся, стоитъ, глазами провожаетъ, словно на водку проситъ; эхъ, братецъ, подумалъ я, на водку, ужь какая тутъ водка! Усталъ я ужасно, пріостановился, отдохнулъ немного, да и потянулся дальше. Нарочно разглядывалъ, къ чему-бы мыслями прилѣпиться, развлечься, пріободриться, да нѣтъ; ни одной мысли ни къ чему не могъ прилѣпить, да и загрязнился вдобавокъ такъ, что самого себя стыдно стало. Увидѣлъ, наконецъ, я издали домъ деревянный желтый, съ мезониномъ въ родѣ бельведера—ну, такъ, думаю, такъ оно и есть, такъ и Емельянъ Ивановичъ говорилъ,—Маркова домъ. (Онъ и есть этотъ Марковъ, маточка, что на проценты даетъ). Я ужь и себя тутъ не вспомнилъ, и вѣдь зналъ, что Маркова домъ, а спросилъ таки будочника—чей, дескать, это, братецъ, домъ? Будочникъ такой грубіянъ, говоритъ не-хотя, словно сердится на кого-то, слова сквозь зубы цѣдитъ,—да ужь такъ говоритъ, это Маркова домъ.—Будочники эти всѣ такіе нечувствительные, а что мнѣ будочникъ?—А вотъ все какъ-то было впечатлѣніе дурное и непріятное, словомъ, все одно къ одному; изо всего что нибудь выведешь сходное съ своимъ положеніемъ, и это всегда такъ бываетъ. Мимо дома-то я три конца далъ по улицѣ, и чѣмъ больше хожу, тѣмъ хуже становится;—нѣтъ, думаю, не дастъ, ни а что не дастъ! И человѣкъ-то я незнакомый, и дѣло-то мое щекотливое, и фигурой я не беру,—ну, думаю, какъ судьба рѣшитъ; чтобы послѣ только не каяться, за попытку не съѣдятъ-же меня,—да и отворилъ потихоньку калитку. А тутъ другая бѣда: навязалась

на меня дрянная, глупая собаченка дворная; лѣзетъ изъ кожи, заливается!—И вотъ такіе-то подлые, мелкіе случаи и взбѣсятъ всегда человѣка, маточка, и робость на него наведутъ, и всю рѣшимость, которую заранѣ обдумалъ, уничтожатъ; такъ что я вошелъ въ домъ ни живъ, ни мертвъ, вошелъ да прямо еще на бѣду,—не разглядѣлъ, что такое внизу въ потьмахъ у порога, ступилъ да и споткнулся объ какую-то бабу, а баба молоко изъ подойника въ кувшины цѣдила, и все молоко пролила. Завизжала, затрещала глупая баба,—дескать, куда ты, батюшка, лѣзешь, чего тебѣ надо? да и пошла причитать про нелегкое. Я, маточка, это къ тому замѣчаю, что всегда со мной такое-же случалось въ подобнаго рода дѣлахъ; знать ужь мнѣ написано такъ; вѣчно-то я зацѣплюсь за что нибудь постороннее. Высунулась на шумъ старая вѣдьма и чухонка хозяйка, я прямо къ ней,—здѣсь, дескать, Марковъ живетъ? Нѣтъ, говоритъ; постояла, оглядѣла меня хорошенько. — «А вамъ что̀ до него?» Я объясняю ей, что, дескать, такъ и такъ, Емельянъ Ивановичъ, — ну, и про остальное;—говорю, дѣльцо есть. Старуха кликнула дочку—вошла и дочка, дѣвочка въ лѣтахъ, босоногая,—«кликни отца; онъ наверху у жильцовъ,—пожалуйте». Вошелъ я. Комната ничего, на стѣнахъ картинки висятъ, все генераловъ какихъ-то портреты, диванъ стоитъ, столъ круглый, резеда, бальзаминчики,—думаю-думаю, не убраться-ли полно мнѣ по добру по здорову, уйдти или нѣтъ? И вѣдь ей-ей, маточка, хотѣлъ убѣжать! Я лучше, думаю, завтра приду, и погода лучше будетъ, и я-то пережду,—а сегодня вонъ и молоко пролито, и генералы-то смотрятъ такіе сердитые... Я ужь и къ двери, да онъ-то вошелъ,—такъ себѣ; сѣденькій, глазки такіе вороватенькіе, въ халатѣ засаленномъ и веревкой подпоясанъ. Освѣдомился въ чемъ и какъ, а я ему: дескать, такъ и такъ, вотъ Емельянъ Ивановичъ,—рублей сорокъ, говорю, дѣло такое,—да и не договорилъ. Изъ глазъ его увидалъ, что проиграно дѣло. «Нѣтъ, ужь что, говоритъ, дѣло, у меня денегъ нѣтъ; а что у васъ закладъ, что-ли, какой?» Я было сталъ объяснять, что, дескать, заклада нѣтъ, а вотъ Емельянъ Ивановичъ,—объясняю, однимъ словомъ, что̀ нужно. Выслушалъ все,—нѣтъ, говоритъ, что̀ Емельянъ Ивановичъ! у меня денегъ нѣтъ.—Ну, думаю, такъ, все такъ, зналъ я про это, предчувствовалъ—ну, просто, Варинька, лучше-бы было, если-бы земля подомной разступилась, холодъ такой, ноги окоченѣли, мурашки по спинѣ пробѣжали. Я на него смотрю, а онъ на меня смотритъ, да чуть не говоритъ—что, дескать, сту-

най-ка ты, братъ, здѣсь тебѣ нечего дѣлать,—такъ что, если-бъ въ другомъ случаѣ было-бы такое-же, такъ совсѣмъ-бы засовѣстился.—Да что вамъ, зачѣмъ деньги надобны?—(вѣдь вотъ про что спросилъ, маточка!). Я было ротъ разинулъ, чтобы только такъ не стоять даромъ, да онъ и слушать не сталъ—нѣтъ, говоритъ, денегъ нѣтъ, я-бы, говоритъ, съ удовольствіемъ. Ужь я ему представлялъ, представлялъ, говорю, что вѣдь я немножко, я, дескать, говорю, вамъ отдамъ, въ срокъ отдамъ, и что я еще до срока отдамъ, что и процентъ пусть какой угодно беретъ, и что я ей Богу отдамъ. Я, маточка, въ это мгновеніе васъ вспомнилъ, всѣ ваши несчастія и нужды вспомнилъ, вашъ полтинничекъ вспомнилъ,—да нѣтъ, говоритъ, что̀ проценты, вотъ если-бъ закладъ! А то у меня денегъ нѣтъ, ей Богу нѣтъ, я-бы, говоритъ, съ удовольствіемъ,—еще и побожился, разбойникъ!

Ну, тутъ ужь, родная моя, я и не помню, какъ вышелъ, какъ прошелъ Выборгскую, какъ на Воскресенскій мостъ попалъ, усталъ ужасно, прозябъ, продрогъ и только въ десять часовъ въ должность успѣлъ явиться. Хотѣлъ было себя пообчистить отъ грязи, да Снѣгиревъ сторожъ сказалъ, что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говоритъ, баринъ, казенная. Вотъ они какъ теперь, маточка, такъ что я и у этихъ господъ чуть-ли не хуже ветошки, объ которую ноги обтираютъ. Вѣдь меня что̀, Варинька, убиваетъ?—Не деньги меня убиваютъ, а всѣ эти тревоги житейскія, всѣ эти шепоты, улыбочки, шуточки. Его превосходительство невзначай какъ нибудь могутъ отнестись на мой счетъ,—охъ, маточка, времена-то мои прошли золотыя! Сегодня перечиталъ я всѣ ваши письма; грустно, маточка! Прощайте, родная, Господь васъ храни!

М. Дѣвушкинъ.

P. S. Горе-то мое, Варинька, хотѣлъ я вамъ описать пополамъ съ шуточкой, только видно она не дается мнѣ, шуточка-то. Вамъ хотѣлось угодить.—Я къ вамъ зайду, маточка, непремѣнно зайду, завтра зайду.

Августа 11.

Варвара Алексѣевна! Голубчикъ мой, маточка! Пропалъ я, пропали мы оба, оба вмѣстѣ, безвозвратно пропали. Моя репутація, амбиція—все потеряно! Я погибъ, и вы погибли, маточка, и вы, вмѣстѣ со мной, безвозвратно погибли! Это я, я васъ въ погибель ввелъ! Меня гонятъ, маточка, презираютъ, на смѣхъ

подымаютъ, а хозяйка просто меня бранить стала; кричала-кричала на меня сегодня, распекала-распекала меня, ниже щепки поставила. А вечеромъ у Ратазяева кто-то изъ нихъ сталъ вслухъ читать одно письмо черновое, которое я вамъ написалъ, да выронилъ невзначай изъ кармана. Матушка моя, какую они насмѣшку подняли! Величали-величали насъ, хохотали-хохотали, предатели! Я вошелъ къ нимъ и уличилъ Ратазяева въ вѣроломствѣ, сказалъ ему, что онъ предатель! А Ратазяевъ отвѣчалъ мнѣ, что я самъ предатель, что я конкетами разными занимаюсь; говоритъ — вы скрывались отъ насъ, вы, дескать, Ловеласъ; и теперь всѣ меня Ловеласомъ зовутъ, и имени другаго нѣтъ у меня! Слышите-ли, ангельчикъ мой, слышите-ли,— они теперь все знаютъ, обо всемъ извѣстны, и объ васъ, родная моя, знаютъ, и обо всемъ, что ни есть у васъ, обо всемъ знаютъ! Да чего! И Фальдони туда-же, и онъ заодно съ ними; послалъ я его сегодня въ колбасную, такъ, принести кой-чего; не идетъ да и только, дѣло есть, говоритъ! Да вѣдь ты-жь обязанъ,—я говорю. — «Да нѣтъ-же, говоритъ, не обязанъ, вы вонъ моей барынѣ денегъ не платите, такъ я вамъ и не обязанъ». Я не вытерпѣлъ отъ него, отъ необразованнаго мужика, оскорбленія, да и сказалъ ему дуракъ, а онъ мнѣ—«отъ дурака слышалъ». Я думаю, что онъ съ пьяныхъ глазъ мнѣ такую грубость сказалъ—да и говорю, ты, дескать, пьянъ, мужикъ ты этакой! а онъ мнѣ: — «вы, что-ли, мнѣ поднесли-то? У самихъ-то есть-ли на что опохмѣлиться; сами у какой-то по двугривенничку христарадничаете, да еще прибавилъ:—эхъ, дескать, а еще баринъ!» Вотъ, маточка, вотъ до чего дошло дѣло! Жить, Варинька, совѣстно! Точно оглашенный какой нибудь; хуже чѣмъ безпаспортному бродягѣ какому нибудь. Бѣдствія тяжкія!—Погибъ я, просто погибъ! Безвозвратно погибъ.

М. Д.

Августа 13.

Любезнѣйшій Макаръ Алексѣевичъ! Надъ нами все бѣды да бѣды, я ужь и сама не знаю, что дѣлать! Что̀ съ вами-то будетъ теперь, а на меня надежда плохая; я сегодня обожгла себѣ утюгомъ лѣвую руку; уронила нечаянно, и ушибла, и обожгла, все вмѣстѣ. Работать никакъ нельзя, а Ѳедора ужь третій день хвораетъ. Я въ мучительномъ безпокойствѣ. Посылаю вамъ тридцать копѣекъ серебромъ; это почти все послѣднее наше, а я,

Богъ видитъ, какъ желала-бы вамъ помочь теперь въ вашихъ нуждахъ. До слезъ досадно! Прощайте, другъ мой! Весьма-бы вы утѣшили меня, если-бъ пришли къ намъ сегодня.

В. Д.

Августа 14.

Макаръ Алексѣевичъ! Что это съ вами! Бога вы не боитесь вѣрно! Вы меня просто съума сведете. Не стыдно-ли вамъ! Вы себя губите, вы подумайте только о своей репутаціи! Вы человѣкъ честный, благородный, амбиціонный—ну, какъ всѣ узнаютъ про васъ! Да вы просто со стыда должны будете умереть! Или не жаль вамъ сѣдыхъ волосъ вашихъ? Ну, боитесь-ли вы Бога! Ѳедора сказала, что уже теперь не будетъ вамъ болѣе помогать, да и я тоже вамъ денегъ давать не буду. — До чего вы меня довели, Макаръ Алексѣевичъ! Вы думаете вѣрно, что мнѣ ничего, что вы такъ дурно ведете себя; вы еще не знаете, что̀ я изъ-за васъ терплю! Мнѣ по нашей лѣстницѣ и пройдти нельзя: всѣ на меня смотрятъ, пальцемъ на меня указываютъ, и такія страшныя вещи говорятъ; — да, прямо говорятъ, что *связалась я съ пьяницей*. Каково это слышать! Когда васъ привозятъ, то на васъ всѣ жильцы съ презрѣніемъ указываютъ: вотъ, говорятъ, того чиновника привезли. А мнѣ-то за васъ мочи нѣтъ какъ совѣстно. Клянусь вамъ, что я переѣду отсюда. Пойду куда нибудь въ горничныя, въ прачки, а здѣсь не останусь. Я вамъ писала, чтобъ вы зашли ко мнѣ, а вы не зашли. Знать вамъ ничего мои слезы и просьбы, Макаръ Алексѣевичъ! И откуда вы денегъ достали? Ради Создателя поберегитесь! Вѣдь пропадете, ни за что пропадете! И стыдъ-то, и срамъ-то какой! Васъ хозяйка и впустить вчера не хотѣла, вы въ сѣняхъ ночевали: я все знаю. Если-бъ вы знали, какъ мнѣ тяжело было, когда я все это узнала. Приходите ко мнѣ, вамъ будетъ у насъ весело: мы будемъ вмѣстѣ читать, будемъ старое вспоминать. Ѳедора о своихъ богомольныхъ странствіяхъ разсказывать будетъ. Ради меня, голубчикъ мой, не губите себя и меня не губите. Вѣдь я для васъ одного и живу, для васъ и остаюсь съ вами. Такъ-то вы теперь! Будьте благороднымъ человѣкомъ, твердымъ въ несчастіяхъ; помните, что бѣдность не порокъ. Да и чего отчаяваться: это все временное! Дастъ Богъ — все поправится, только вы-то удержитесь теперь. Посылаю вамъ двугривенный, купите себѣ табаку, или всего, что вамъ захочется,

только ради Бога на дурное не тратьте. Приходите къ намъ, непремѣнно приходите. Вамъ, можетъ быть, какъ и прежде стыдно будетъ, но вы не стыдитесь: это ложный стыдъ. Только-бы вы искреннее раскаяніе принесли. Надѣйтесь на Бога. Онъ все устроитъ къ лучшему.

В. Д.

Августа 19.

Варвара Алексѣевна, маточка!

Стыдно мнѣ, ясочка моя, Варвара Алексѣевна, совсѣмъ застыдился. Впрочемъ, что-жь тутъ такого, маточка, особеннаго? Отчего-же сердца своего не поразвеселить? Я тогда про подошвы мои и не думаю, потому что подошва вздоръ, и всегда останется простой, подлой, грязной подошвой. Да и сапоги тоже вздоръ! — И мудрецы греческіе безъ сапогъ хаживали, такъ чего-же нашему-то брату съ такимъ недостойнымъ предметомъ нянчиться? За что-жь обижать, за что-жь презирать меня въ такомъ случаѣ? Эхъ, маточка, маточка, нашли что̀ писать! А Ѳедорѣ скажите, что она баба вздорная, безпокойная, буйная, и вдобавокъ глупая, невыразимо-глупая! Что-же касается до сѣдины моей, то и въ этомъ вы ошибаетесь, родная моя, потому что я вовсе не такой старикъ, какъ вы думаете. Емеля вамъ кланяется. Пишете вы, что сокрушались и плакали; а я вамъ пишу, что я тоже сокрушался и плакалъ. Въ заключеніе-же, желаю вамъ всякаго здоровья и благополучія, а что до меня касается, то я тоже здоровъ и благополученъ и пребываю вашимъ, ангельчикъ мой, другомъ

Макаромъ Дѣвушкинымъ.

Августа 21.

Милостивая государыня и любезный другъ
Варвара Алексѣевна!

Чувствую, что я виноватъ, чувствую, что я провинился предъ вами, да и, по моему, выгоды-то изъ этого нѣтъ никакой, маточка, что я все это чувствую, ужь что̀ вы тамъ ни говорите. Я и прежде проступка моего все это чувствовалъ, но вотъ упалъ-же духомъ, съ сознаніемъ вины упалъ. Маточка моя, я не золъ и не жестокосерденъ; а для того, чтобы растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно быть ни болѣе, ни менѣе

какъ кровожаднымъ тигромъ, ну, а у меня сердце овечье, и я, какъ и вамъ извѣстно, не имѣю позыва къ кровожадности; слѣдственно, ангельчикъ мой, я и не совсѣмъ виноватъ въ проступкѣ моемъ, такъ-же какъ и ни сердце, ни мысли мои не виноваты; а ужь такъ, я и не знаю что̀ виновато. Ужь такое дѣло темное, маточка! Тридцать копѣекъ серебромъ мнѣ прислали, а потомъ прислали двугривенничекъ; у меня сердце и заныло, глядя на ваши сиротскія денежки. Сами ручку свою обожгли, голодать скоро будете, а пишите, чтобъ я табачку купилъ. Ну какъ-же мнѣ было поступить, въ такомъ случаѣ? Или ужь такъ, безъ зазрѣнія совѣсти, подобно разбойнику, васъ сироточку начать грабить! Тутъ-то я и упалъ духомъ, маточка, т. е. сначала, чувствуя по неволѣ, что никуда не гожусь и что я самъ немногимъ развѣ получше подошвы своей, счелъ неприличнымъ принимать себя за что нибудь значущее, а, напротивъ, самого себя сталъ считать чѣмъ-то неприличнымъ и въ нѣкоторой степени неблагопристойнымъ. Ну, а какъ потерялъ къ себѣ самому уваженіе, какъ предался отрицанію добрыхъ качествъ своихъ и своего достоинства, такъ ужь тутъ и все пропадай, тутъ ужь и паденіе, неминуемое паденіе! Это такъ уже судьбою опредѣлено, и я въ этомъ не виноватъ. Я сначала вышелъ немножко поосвѣжиться. Тутъ ужь все пришло одно къ одному: и природа была такая слезливая, а погода холодная, и дождь; ну и Емеля тутъ-же случился. Онъ, Варинька, уже все заложилъ, что имѣлъ, все у него пошло въ свое мѣсто, и какъ я его встрѣтилъ, такъ онъ уже двое сутокъ маковой росинки во рту не видалъ, такъ что ужь хотѣлъ такое закладывать, чего никакъ и заложить нельзя, за тѣмъ что и закладовъ такихъ не бываетъ. Ну, что-же, Варинька, уступилъ я болѣе изъ состраданія къ человѣчеству, чѣмъ по собственному влеченію. Такъ вотъ какъ грѣхъ этотъ произошелъ, маточка! Мы ужь какъ вмѣстѣ съ нимъ плакали! Васъ вспоминали. Онъ предобрый, онъ очень добрый человѣкъ, и весьма чувствительный человѣкъ. Я, маточка, самъ все это чувствую; со мной потому и случается-то все такое, что я очень все это чувствую. Я знаю, чѣмъ я вамъ, голубчикъ вы мой, обязанъ! Узнавъ васъ, я сталъ, во первыхъ, и самого себя лучше знать, и васъ сталъ любить; а до васъ, ангельчикъ мой, я былъ одинокъ и какъ будто спалъ, а не жилъ на свѣтѣ. Они, злодѣи-то мои, говорили, что даже и фигура моя не приличная, и гнушались мною, ну и я сталъ гнушаться собою; говорили, что я тупъ, я и въ самомъ дѣлѣ думалъ, что я тупъ, а какъ вы мнѣ яви-

лись, то вы всю мою жизнь освѣтили темную, такъ что и сердце, и душа моя освѣтились, и я обрѣлъ душевный покой, и узналъ, что и я не хуже другихъ; что только такъ, не блещу ничѣмъ, лоску нѣтъ, тону нѣтъ, но всетаки я человѣкъ, что сердцемъ и мыслями я человѣкъ. Ну, а теперь, почувствовавъ, что я гонимъ судьбою, что, униженный ею, предался отрицанію собственственнаго своего достоинства, я, удрученный моими бѣдствіями, и упалъ духомъ. И такъ какъ вы теперь все знаете, маточка, то я и умоляю васъ слезно не любопытствовать болѣе объ этой матеріи: ибо сердце мое разрывается и мнѣ становится горько, и тягостно.

Свидѣтельствую, маточка, вамъ почтеніе мое и пребываю вашимъ вѣрнымъ

Макаромъ Дѣвушкинымъ.

Сентября 3.

Я не докончила прошлаго письма, Макаръ Алексѣевичъ, потому что мнѣ было тяжело писать. Иногда бываютъ со мной минуты, когда я рада быть одной, одной грустить, одной тосковать, безъ раздѣла, и такія минуты начинаютъ находить на меня все чаще и чаще. Въ воспоминаніяхъ моихъ есть что-то такое необъяснимое для меня, что увлекаетъ меня безотчетно, такъ сильно, что я по нѣскольку часовъ бываю безчувственна ко всему меня окружающему и забываю все, все настоящее. И нѣтъ впечатлѣнія въ теперешней жизни моей, пріятнаго-ль, тяжелаго, грустнаго, которое-бы не напоминало мнѣ чего нибудь подобнаго-же въ прошедшемъ моемъ, и чаще всего мое дѣтство, мое золотое дѣтство! Но мнѣ становится всегда тяжело послѣ подобныхъ мгновеній. Я какъ-то слабѣю; моя мечтательность изнуряетъ меня, а здоровье мое и безъ того все хуже и хуже становится.

Но сегодня свѣжее, яркое, блестящее утро, какихъ мало здѣсь осенью, оживило меня, и я радостно его встрѣтила. Итакъ у насъ уже осень! Какъ я любила осень въ деревнѣ! Я еще ребенкомъ была, но и тогда уже много чувствовала. Осенній вечеръ я любила больше, чѣмъ утро. Я помню, въ двухъ шагахъ отъ нашего дома, подъ горой, было озеро. Это озеро,—я какъ будто вижу его теперь,—это озеро было такое широкое, ровное, свѣтлое, чистое какъ хрусталь! Бывало, если вечеръ тихъ—озеро покойно; на деревахъ, что̀ по берегу росли, не шелохнетъ, вода

неподвижна, словно зеркало. Свѣжо! Холодно! Падаетъ роса на траву, въ избахъ на берегу засвѣтятся огоньки, стада пригонятъ — тутъ то я и ускользну тихонько изъ дому, чтобы посмотрѣть на мое озеро, и засмотрюсь бывало. Какая нибудь вязанка хворосту горитъ у рыбаковъ у самой воды, и свѣтъ далеко, далеко по водѣ льется. Небо такое холодное, синее, и по краямъ разведено все красными, огненными полосами, и эти полосы, все блѣднѣе и блѣднѣе становятся; выходитъ мѣсяцъ; воздухъ такой звонкій, порхнетъ-ли испуганная пташка, камышъ-ли зазвенитъ отъ легонькаго вѣтерочка, или рыбка всплеснется въ водѣ,—все бывало слышно. По синей водѣ встаетъ бѣлый паръ, тонкій, прозрачный. Даль темнѣетъ; все какъ-то тонетъ въ туманѣ, а въ близи такъ все рѣзко обточено, словно рѣзцомъ обрѣзано,—лодка, берегъ, острова;—бочка какая нибудь, брошенная, забытая у самаго берега, чуть чуть колышется на водѣ, вѣтка ракитовая съ пожелтѣлыми листьями путается въ камышѣ, — вспорхнетъ чайка запоздалая, то окунется въ холодной водѣ, то опять вспорхнетъ и утонетъ въ туманѣ, — я засматривалась, заслушивалась, — чудно, хорошо было мнѣ! А я еще была ребенокъ, дитя!..

Я такъ любила осень,—позднюю осень, когда уже уберутъ хлѣба, окончатъ всѣ работы, когда уже въ избахъ начнутся посидѣлки, когда уже всѣ ждутъ зимы. Тогда все становится мрачнѣе, небо хмуритси облаками, желтые листья стелятся тропами по краямъ обнаженнаго лѣса, а лѣсъ синѣетъ, чернѣетъ,— особенно вечеромъ, когда спустится сырой туманъ, и деревья мелькаютъ изъ тумана какъ великаны, какъ безобразныя, страшныя привидѣнія. Запоздаешь, бывало, на прогулкѣ, отстанешь отъ другихъ, идешь одна, спѣшишь, — жутко! Сама дрожишь какъ листъ; вотъ, думаешь, того и гляди, выглянетъ кто нибудь страшный изъ-за этого дупла; между тѣмъ вѣтеръ пронесется по лѣсу, загудитъ, зашумитъ, завоетъ такъ жалобно, сорветъ тучу листьевъ съ чахлыхъ вѣтокъ, закрутитъ ими по воздуху, и за ними длинною, широкою, шумною стаей, съ дикимъ пронзительнымъ крикомъ, пронесутся птицы, такъ что небо чернѣетъ, и все застилается ими. Страшно станетъ, а тутъ, точно какъ будто заслышишь кого-то — чей-то голосъ — какъ будто кто-то шепчетъ:—«бѣги, бѣги, дитя, не опаздывай; страшно здѣсь будетъ тотчасъ, бѣги, дитя!—ужасъ пройдетъ по сердцу, и бѣжишь-бѣжишь такъ, что духъ занимается. Прибѣжишь запыхавшись домой; дома шумно, весело; раздадутъ намъ всѣмъ дѣтямъ работу:

горохъ или макъ щелушить. Сырыя дрова трещатъ въ печи: матушка весело смотритъ за нашей веселой работой; старая няня, Ульяна, разсказываетъ про старое время или страшныя сказки про колдуновъ и мертвецовъ, Мы, дѣти, жмемся подружка къ подружкѣ, а улыбка у всѣхъ на губахъ. Вотъ, вдругъ замолчимъ разомъ... чу! шумъ! какъ будто кто-то стучитъ!—Ничего не бывало; это гудитъ самопрялка у старой Фроловны; сколько смѣху бывало! А потомъ ночью не спимъ отъ страха; находятъ такіе страшные сны. Проснешься, бывало, шевельнуться не смѣешь и до разсвѣта дрогнешь подъ одѣяломъ. Утромъ встанешь свѣжа какъ цвѣточекъ. Посмотришь въ окно: морозомъ прохватило все поле; тонкій, осенній иней повисъ на обнаженныхъ сучьяхъ; тонкимъ какъ листъ льдомъ подернулось озеро; встаетъ бѣлый паръ по озеру; кричатъ веселыя птицы. Солнце свѣтитъ кругомъ яркими лучами, и лучи разбиваютъ какъ стекло, тонкій ледъ. Свѣтло, ярко, весело! Въ печкѣ опять трещитъ огонь; подсядемъ всѣ къ самовару, а въ окна подсматриваетъ продрогшая ночью, черная наша собака Полканъ и привѣтливо махаетъ хвостомъ. Мужичекъ проѣдетъ мимо оконъ на доброй лошадкѣ въ лѣсъ за дровами. Всѣ такъ довольны, такъ веселы!.. На гумнахъ запасено много-много хлѣба; на солнцѣ золотятся крытые соломой скирды большіе-большіе; отрадно смотрѣть! И всѣ спокойны, всѣ радостны; всѣхъ Господь благословилъ урожаемъ; всѣ знаютъ, что будутъ съ хлѣбомъ на зиму; мужичекъ знаетъ, что семья и дѣти его будутъ сыты; оттого по вечерамъ и не умолкаютъ звонкія пѣсни дѣвушекъ и хороводныя игры, оттого всѣ съ благодарными слезами молятся въ домѣ Божіемъ въ праздникъ Господень!.. Ахъ, какое золотое-золотое было дѣтство мое!..

Вотъ я и расплакалась теперь какъ дитя, увлекаясь моими воспоминаніями. Я такъ живо, такъ живо все припомнила, такъ ярко стало передо мною все прошедшее, а настоящее такъ тускло, такъ темно!.. Чѣмъ это кончится, чѣмъ это все кончится? Знаете-ли, у меня есть какое-то убѣжденіе, какая-то увѣренность, что я умру нынче осенью. Я очень-очень больна. Я часто думаю о томъ, что умру, но все-бы мнѣ не хотѣлось такъ умереть,—въ здѣшней землѣ лежать. Можетъ быть, я опять слягу въ постель, какъ и тогда, весной, а я еще оправиться не успѣла. Вотъ и теперь мнѣ очень тяжело. Ѳедора сегодня ушла куда-то на цѣлый день, и я сижу одна. А съ нѣкотораго времени я боюсь оставаться одной; мнѣ все кажется, что со мной въ комнатѣ кто-то бываетъ другой, что кто-то со мной говоритъ; особенно, когда я

объ чемъ нибудь задумаюсь и вдругъ очнусь отъ задумчивости такъ что мнѣ страшно становится. Вотъ почему я вамъ такое большое письмо написала; когда я пишу, это проходитъ. Прощайте; кончаю письмо, потому что и бумаги, и времени нѣтъ. Изъ вырученныхъ денегъ за платья мои да за шляпку остался у меня только рубль серебромъ. Вы дали хозяйкѣ два рубля серебромъ; это очень хорошо; она замолчитъ теперь на время.

Поправьте себѣ какъ нибудь платье. Прощайте; я такъ устала. Не понимаю, отчего я становлюсь такая слабая, малѣйшее занятіе меня утомляетъ. Случится работа—какъ работать. Вотъ это-то и убиваетъ меня.

В. Д.

Сентября 5.

Голубчикъ мой, Варинька!

Я сегодня, ангельчикъ мой, много испыталъ впечатлѣній. Во первыхъ, у меня, голова цѣлый день болѣла. Чтобы какъ нибудь освѣжиться, вышелъ я походить по Фонтанкѣ. Вечеръ былъ такой темный, сырой. Въ шестомъ часу ужь смеркается,—вотъ какъ теперь! Дождя не было, зато былъ туманъ, не хуже добраго дождя. По небу ходили длинными широкими полосами тучи. Народу ходила бездна по набережной, и народъ-то какъ нарочно былъ съ такими страшными, уныніе наводящими лицами, пьяные мужики, курносыя бабы-чухонки, въ сапогахъ и простоволосыя, артельщики, извощики, нашъ братъ по какой нибудь надобности, мальчишки, какой нибудь слесарскій ученикъ въ полосатомъ халатѣ, испитой, чахлый, съ лицомъ выкупаннымъ въ копченомъ маслѣ, съ замкомъ въ рукѣ; солдатъ отставной въ сажень ростомъ, поджидавшій купца на перочинный ножичекъ или колечко бронзовое — вотъ какова была публика Часъ-то видно былъ такой, что другой публики и быть не могло. Судоходный каналъ Фонтанка! Барокъ такая бездна, что не понимаешь, гдѣ все это могло помѣститься. На мостахъ сидятъ бабы съ мокрыми пряниками да съ гнилыми яблоками, и все такія грязныя, мокрыя бабы. Скучно по Фонтанкѣ гулять! Мокрый гранитъ подъ ногами, по бокамъ дома высокіе, черные, закоптѣлые; подъ ногами туманъ, надъ головой тоже туманъ. Такой грустный, такой темный былъ вечеръ сегодня.

Когда я поворотилъ въ Гороховую, такъ ужь смерклось совсѣмъ и газъ зажигать стали. Я давненько таки не былъ въ Гороховой,— не удавалось. Шумная улица! Какія лавки, мага-

зины богатые; все такъ и блеститъ, и горитъ, матерія, цвѣты подъ стеклами, разныя шляпки съ лентами. Подумаешь, что это все такъ, для красы разложено—такъ нѣтъ-же: вѣдь есть люди, что̀ все это покупаютъ и своимъ женамъ дарятъ. Богатая улица! Нѣмецкихъ булочниковъ очень много живетъ въ Гороховой, тоже, должно быть, народъ весьма достаточный. Сколько каретъ поминутно ѣздитъ; какъ это все мостовая выноситъ! Пышные экипажи такіе, стекла какъ зеркало, внутри бархатъ и шелкъ, лакеи дворянскіе, въ эполетахъ, при шпагѣ. Я во всѣ кареты заглядывалъ, все дамы сидятъ, такія разодѣтыя, можетъ быть, и княжны, и графини. Вѣрно часъ былъ такой, что всѣ на балы и въ собранія спѣшили. Любопытно увидѣть княгиню и вообще знатную даму вблизи; должно быть, очень хорошо; я никогда не видалъ; развѣ вотъ такъ, какъ теперь, въ карету заглянешь. Про васъ я тутъ вспомнилъ.—Ахъ, голубчикъ мой, родная моя! Какъ вспомню теперь про васъ, такъ все сердце изнываетъ! Отчего вы, Варинька, такая несчастная? Ангельчикъ мой! Да чѣмъ-же вы-то хуже ихъ всѣхъ? Вы у меня добрая, прекрасная, ученая; отчего-же вамъ такая злая судьба выпадаетъ на долю? Отчего это такъ все случается, что вотъ хорошій-то человѣкъ въ запустѣньи находится, а къ другому кому счастіе само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правдѣ истинѣ, зачѣмъ одно еще во чревѣ матери прокаркнула счастье ворона судьба, а другой изъ воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И вѣдь бываетъ-же такъ, что счастье-то часто Иванушкѣ дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка дурачокъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись, а ты такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка, оно грѣшно этакъ думать, да тутъ поневолѣ какъ-то грѣхъ въ душу лѣзетъ. Ѣздили-бы и вы въ каретѣ такой-же, родная моя, ясочка. Взгляда благосклоннаго вашего генералы ловили-бы,—не то что нашъ братъ, ходили-бы вы не въ холстинковомъ, ветхомъ платьицѣ, а въ шелку да въ золотѣ. Были-бы вы не худенькія, не чахленькія какъ теперь, а какъ фигурка сахарная, свѣженькая, румяная, полная. А ужь я-бы тогда и тѣмъ однимъ счастливъ былъ, что хоть-бы съ улицы на васъ въ ярко освѣщенныя окна взглянулъ, что хоть-бы тѣнь вашу увидалъ; отъ одной мысли, что вамъ тамъ счастливо и весело, птичка вы моя хорошенькая, и я-бы повеселѣлъ. А теперь что! Мало того, что злые люди васъ погубили, какая ни-

будь тамъ дрянь, забулдыга васъ обижаетъ. Что фракъ-то на немъ сидитъ гоголемъ, что въ лорнетку-то золотую онъ на васъ смотритъ, безстыдникъ, такъ ужь ему все съ рукъ сходитъ, такъ ужь и рѣчь его непристойную снисходительно слушать надо! Полно, такъ-ли, голубчики! А отчего-же это все? А оттого, что вы сирота, оттого, что вы беззащитная, оттого, что нѣтъ у васъ друга сильнаго, который-бы вамъ опору пристойную далъ. А вѣдь что это за человѣкъ, что это за люди, которымъ сироту оскорбить ни по чемъ? Это какая-то дрянь, а не люди просто дрянь, такъ себѣ, только числятся, а на дѣлѣ ихъ нѣтъ, и въ этомъ я увѣренъ. Вотъ они каковы, эти люди! А по моему, родная моя, вотъ тотъ шарманщикъ, котораго я сегодня въ Гороховой встрѣтилъ, скорѣе къ себѣ почтеніе внушитъ, чѣмъ они. Онъ хоть цѣлый день ходитъ да мается, ждетъ залежалаго, негоднаго гроша на пропитаніе, да зато онъ самъ себѣ господинъ, самъ себя кормитъ. Онъ милостыни просить не хочетъ; зато онъ для удовольствія людскаго трудится, какъ заведенная машина — вотъ, дескать, чѣмъ могу, принесу удовольствіе. Нищій, нищій онъ, правда все тотъ-же нищій; но зато благородный нищій; онъ усталъ, онъ прозябъ, но все трудится, хоть по своему, а всетаки трудится. И много есть честныхъ людей, маточка, а которые хоть немного заработываютъ по мѣрѣ и полезности труда своего, но никому не кланяются, ни у кого хлѣба не просятъ. Вотъ и я точно такъ-же, какъ и этотъ шарманщикъ, то есть я не то, вовсе не такъ какъ онъ, но въ своемъ смыслѣ, въ благородномъ-то, въ дворянскомъ-то отношеніи точно такъ-же какъ и онъ, по мѣрѣ силъ тружусь, чѣмъ могу, дескать. Большаго нѣтъ отъ меня; ну, да на нѣтъ и суда нѣтъ.

Я къ тому про шарманщика этого заговорилъ, маточка, что случилось мнѣ бѣдность свою вдвойнѣ испытать сегодня. Остановился я посмотрѣть на шарманщика. Мысли такія лѣзли въ голову; — такъ я, чтобы разсѣяться, остановился. Стою я, стоятъ извощики, дѣвка какая-то, да еще маленькая дѣвочка, вся такая запачканная. Шарманщикъ расположился передъ чьими-то окнами. Замѣчаю малютку, мальчика, такъ себѣ лѣтъ десяти; былъ-бы хорошенькой, да на видъ больной такой, чахленькой, въ одной рубашонкѣ, да еще въ чемъ-то, чуть-ли не босой стоитъ, разиня ротъ музыку слушаетъ; — дѣтскій возрастъ! Заглядѣлся какъ у нѣмца куклы танцуютъ, а у самого и руки, и ноги окоченѣли; дрожитъ да кончикъ рукава грызетъ. Примѣ-

чаю, что въ рукахъ у него бумажечка какая-то. Прошелъ одинъ господинъ и бросилъ шарманщику какую-то маленькую монетку; монетка прямо упала въ тотъ ящикъ съ огородочкой, въ которомъ представленъ французъ танцующій съ дамами. Только что звякнула монетка, встрепенулся мой мальчикъ, робко осмотрѣлся кругомъ, да видно на меня подумалъ, что я деньги далъ. Подбѣжалъ онъ ко мнѣ, рученки дрожатъ у него, голосенокъ дрожитъ, протянулъ онъ ко мнѣ бумажку и говоритъ: — записка! Развернулъ я записку — ну что, все извѣстное: — дескать, благодѣтели мои, мать у дѣтей умираетъ, трое дѣтей голодаютъ, такъ вы намъ теперь помогите; а вотъ какъ я умру такъ за то, что птенцовъ моихъ теперь не забыли, на томъ свѣтѣ васъ, благодѣтели мои, не забуду.— Ну, что̀ тутъ; дѣло ясное, дѣло житейское, а что̀ мнѣ имъ дать? Ну, и не далъ ему ничего. А какъ было жаль! Мальчикъ бѣдненькій, посинѣлый отъ холода, можетъ быть, и голодный, и не вретъ, ей-ей не вретъ: я это дѣло знаю. Но только то дурно, что зачѣмъ эти гадкія матери дѣтей не берегутъ и полуголыхъ съ записками на такой холодъ посылаютъ. Она, можетъ быть, глупая баба, характера не имѣетъ; да за нее и постараться, можетъ быть, некому, такъ она и сидитъ, поджавъ ноги, можетъ быть, и вправду больная. Ну, да все обратиться-бы куда слѣдуетъ; а, впрочемъ, можетъ быть, и просто мошенница, нарочно голоднаго и чахлаго ребенка обманывать народъ посылаетъ, на болѣзнь наводитъ. И чему научится бѣдный мальчикъ съ этими записками? Только сердце его ожесточается; ходитъ онъ, бѣгаетъ, проситъ. Ходятъ люди, да некогда имъ. Сердца у нихъ каменныя; слова ихъ жестокія. «Прочь! Убирайся! Шалишь!»—Вотъ что̀ слышитъ онъ отъ всѣхъ, и ожесточается сердце ребенка, и дрожитъ напрасно на холодѣ бѣдненькій, запуганный мальчикъ, словно птенчикъ, изъ разбитаго гнѣздышка выпавшій. Зябнутъ у него руки и ноги; духъ занимается. Посмотришь, вотъ онъ ужь и кашляетъ; тутъ недалеко ждать, и болѣзнь, какъ гадъ нечистый, заползетъ ему въ грудь, а тамъ, глядишь, и смерть ужь стоитъ надъ нимъ, гдѣ нибудь въ смрадномъ углу, безъ ухода, безъ помощи—вотъ и вся его жизнь! Вотъ какова она, жизнь-то бываетъ! Охъ, Варинька, мучительно слышать Христа ради, и мимо пройдти и не дать ничего, сказать ему: «Богъ подастъ». Иное Христа-ради еще ничего. (И Христа-ради-то разныя бываютъ, маточка). Иное долгое, протяжное, привычное, заученое, прямо нищенское; этому еще не такъ мучительно не подать, это долгій нищій, давниш-

ній, по ремеслу нищій, этотъ привыкъ, думаешь, онъ переможетъ и знаетъ какъ перемочь. А иное Христа-ради непривычное, грубое, страшное,—вотъ какъ сегодня, когда я было отъ мальчика записку взялъ, тутъ-же у забора какой-то стоялъ, не у всѣхъ и просилъ, говоритъ мнѣ: «Дай, баринъ, грошъ, ради Христа!» да такимъ отрывистымъ, грубымъ голосомъ, что я вздрогнулъ отъ какого-то страшнаго чувства, а не далъ гроша: не было. А еще люди богатые не любятъ, чтобы бѣдняки на худой жребій вслухъ жаловались—дескать, они безпокоятъ, они-де назойливы! Да и всегда бѣдность назойлива:—спать, что-ли, мѣшаютъ ихъ стоны голодные!

Признательно вамъ сказать, родная моя, началъ я вамъ описывать это все, частію, чтобъ сердце отвести, а болѣе для того, чтобъ вамъ образецъ хорошаго слогу моихъ сочиненій показать. Потому что вы вѣрно сами сознаетесь, маточка, что у меня съ недавняго времени слогъ формируется. Но теперь на меня такая тоска напала, что я самъ моимъ мыслямъ до глубины души сталъ сочувствовать, и хотя я самъ знаю, маточка, что этимъ сочувствіемъ не возьмешь, но всетаки нѣкоторымъ образомъ справедливость воздашь себѣ. И подлинно, родная моя, часто самого себя, безо всякой причины, уничтожаешь, въ грошъ не ставишь и ниже щепки какой нибудь сортируешь. А если сравненіемъ выразиться, такъ это, можетъ быть, оттого происходитъ, что я самъ запуганъ и загнанъ, какъ хоть-бы и этотъ бѣдненькій мальчикъ, что милостыни у меня просилъ. Теперь я вамъ, примѣрно, иносказательно буду говорить, маточка: вотъ послушайте-ка меня: случается мнѣ, моя родная, рано утромъ, на службу спѣша, заглядѣться на городъ, какъ онъ тамъ пробуждается, встаетъ, дымится, кипитъ, гремитъ,—тутъ иногда такъ передъ такимъ зрѣлищемъ умалишься, что какъ будто-бы щелчокъ какой получилъ отъ кого нибудь по любопытному носу, да и поплетешься тише воды, ниже травы своею дорогою, и рукой махнешь! Теперь-же разглядите-ка, что̀ въ этихъ черныхъ, закоптѣлыхъ, большихъ капитальныхъ домахъ дѣлается, вникните въ это и тогда сами разсудите, справедливо-ли было безъ толку сортировать себя и въ недостойное смущеніе входить. Замѣтьте, Варинька, что я иносказательно говорю, не въ прямомъ смыслѣ. Ну, посмотримъ, что тамъ такое въ этихъ домахъ? Тамъ въ какомъ нибудь дымномъ углу, въ конурѣ сырой какой нибудь, которая, по нуждѣ, за квартиру считается, мастеровой какой нибудь отъ сна пробудился; а во снѣ-то ему, примѣрно говоря, всю ночь сапоги снились, что

вчера онъ подрѣзалъ нечаянно, какъ будто именно такая дрянь и должна человѣку сниться! Ну, да вѣдь онъ мастеровой, онъ сапожникъ: ему простительно все объ одномъ предметѣ своемъ думать. У него тамъ дѣти пищатъ и жена голодная; и не одни сапожники встаютъ иногда такъ, родная моя. Это-бы и ничего, и писать-бы объ этомъ не стоило, но вотъ какое выходитъ тутъ обстоятельство, маточка: тутъ-же, въ этомъ-же домѣ, этажемъ выше или ниже, въ позлащенныхъ палатахъ, и богатѣйшему лицу все тѣ-же сапоги, можетъ быть, ночью снились, то есть на другой манеръ сапоги, фасона другаго, но всетаки сапоги, ибо въ смыслѣ-то здѣсь мною подразумѣваемомъ, маточка, всѣ мы, родная моя, выходимъ немного сапожники. И это-бы все ничего, но только то дурно, что нѣтъ никого подлѣ этого богатѣйшаго лица, нѣтъ человѣка, который-бы шепнулъ ему на ухо— «что, полно, дескать, о такомъ думать, о себѣ одномъ думать, для себя одного жить; ты, дескать, не сапожникъ, у тебя дѣти здоровы, жена ѣсть не проситъ, оглянись кругомъ, не увидишь-ли для заботъ своихъ предмета болѣе благороднаго чѣмъ свои сапоги!» Вотъ что хотѣлъ я сказать вамъ иносказательно, Варинька. Это, можетъ быть, слишкомъ вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бываетъ, иногда приходитъ, и тогда по неволѣ изъ сердца горячимъ словомъ выбивается. И потому не отъ чего было въ грошъ себя оцѣнять, испугавшись одного шума и грома! Заключу-же тѣмъ, маточка, что вы, можетъ быть, подумаете, что я вамъ клевету говорю, или что это такъ хандра на меня нашла, или что я это изъ книжки какой выписалъ? Нѣтъ, маточка, вы разувѣрьтесь,—не то: клеветою гнушаюсь, хандра не находила, и ни изъ какой книжки ничего не выписывалъ—вотъ что!

Пришелъ я въ грустномъ расположеніи духа домой, присѣлъ къ столу, нагрѣлъ себѣ чайникъ, да и приготовился стаканчикъ другой чайку хлебнуть. Вдругъ, смотрю, входитъ ко мнѣ Горшковъ, нашъ бѣдный постоялецъ. Я еще утромъ замѣтилъ, что онъ все что-то около жильцовъ шныряетъ, и ко мнѣ хотѣлъ подойдти. А мимоходомъ скажу, маточка, что ихъ житье-бытье не въ примѣръ моего хуже. Куда! Жена, дѣти!—Такъ, что еслибы я былъ Горшковъ, такъ ужь я не знаю, что-бы я на его мѣстѣ сдѣлалъ! Ну, такъ вотъ вошелъ мой Горшковъ, кланяется, слезинка у него, какъ и всегда, на рѣсницахъ гноится, шаркаетъ ногами, а самъ слова не можетъ сказать. Я его посадилъ на стулъ, правда, на изломанный, да другаго не было. Чайку предло-

жилъ. Онъ извинялся, долго извинялся, наконецъ, однако-же, взялъ стаканъ. Хотѣлъ было безъ сахару пить, началъ опять извиняться, когда я сталъ увѣрять его, что нужно взять сахару; долго спорилъ, отказывался, наконецъ, положилъ въ свой стаканъ самый маленькій кусочекъ и сталъ увѣрять, что чай необыкновенно сладокъ. Экъ, до уничиженія какого доводитъ людей нищета!— «Ну, какъ-же, что̀, батюшка?» сказалъ я ему.—«Да вотъ такъ и такъ, дескать, благодѣтель вы мой, Макаръ Алексѣевичъ, явите милость Господню, окажите помощь семейству несчастному; дѣти и жена, ѣсть нечего; отцу-то, мнѣ-то, говоритъ, каково!» Я было хотѣлъ говорить, да онъ меня прервалъ: «я, дескать, всѣхъ боюсь здѣсь, Макаръ Алексѣевичъ, то есть не то, что боюсь, а такъ, знаете, совѣстно; люди-то они все гордые и кичливые. Я-бы говоритъ, васъ, батюшка и благодѣтель мой, и утруждать-бы не сталъ: знаю, что у васъ самихъ непріятности были, знаю, что вы многаго и не можете дать, но хоть что нибудь взаймы одолжите; и потому, говоритъ, просить васъ осмѣлился, что знаю ваше доброе сердце, знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бѣдствія испытываете,—и что сердце-то ваше потому и чувствуетъ состраданіе».—Заключилъ-же онъ тѣмъ, что, дескать, простите мою дерзость и мое неприличіе, Макаръ Алексѣевичъ.— Я отвѣчаю ему, что радъ-бы душой, да что нѣтъ у меня ничего, ровно нѣтъ ничего.—«Батюшка, Макаръ Алексѣевичъ, говоритъ онъ мнѣ, я многаго и не прошу, а вотъ такъ и такъ—(тутъ онъ весь покраснѣлъ)—жена, говоритъ, дѣти, голодно—хоть гривенничекъ какой нибудь». Ну, тутъ ужь мнѣ самому сердце защемило. Куда, думаю, меня перещеголяли! А всего-то у меня и оставалось двадцать копѣекъ, да я на нихъ разсчитывалъ: хотѣлъ завтра на свои крайнія нужды истратить. — «Нѣтъ, голубчикъ мой, не могу; вотъ такъ и такъ», говорю. — «Батюшка, Макаръ Алексѣевичъ, хоть что хотите, говоритъ, хоть десять копѣечекъ». Ну, я ему и вынулъ изъ ящика и отдалъ свои двадцать копѣекъ, маточка, все доброе дѣло! Экъ нищета-то! Разговорился я съ нимъ: да какъ-же вы, батюшка, спрашиваю, такъ зануждались, да еще при такихъ нуждахъ комнату въ пять рублей серебромъ нанимаете? Объяснилъ онъ мнѣ, что полгода назадъ нанялъ, и деньги внесъ впередъ за три мѣсяца; да потомъ обстоятельства такія сошлись, что ни туда, ни сюда ему бѣдному. Ждалъ онъ, что дѣло его къ этому времени кончится. А дѣло у него непріятное. Онъ, видите-ли, Варинька, за что-то передъ судомъ въ отвѣтѣ нахо-

дится. Тягается онъ съ купцомъ какимъ-то, который сплутовалъ подрядомъ съ казною; обманъ открыли, купца подъ судъ, а онъ въ дѣло-то свое разбойничье и Горшкова запуталъ, который тутъ какъ-то также случился. А по правдѣ-то Горшковъ виновенъ только въ нерадѣніи, въ неосмотрительности и въ непростительномъ упущеніи изъ вида казеннаго интереса. Ужь нѣсколько лѣтъ дѣло идетъ: все препятствія разныя встрѣчаются противъ Горшкова. — «Въ безчестіи же, на меня взводимомъ, говоритъ мнѣ Горшковъ, неповиненъ, нисколько неповиненъ, въ плутовствѣ и грабежѣ неповиненъ». Дѣло это его замарало немного; его исключили изъ службы, и хотя не нашли, что онъ капитально виновенъ, но, до совершеннаго своего оправданія, онъ, до сихъ поръ, не можетъ выправить съ купца какой-то знатной суммы денегъ, ему слѣдуемой, и передъ судомъ у него оспариваемой. Я ему вѣрю, да судъ-то ему на слово не вѣритъ; дѣло-то оно такое, что все въ крючкахъ да въ узлахъ такихъ, что во сто лѣтъ не распутаешь. Чуть немного распутаютъ, а купецъ еще крючекъ, да еще крючекъ. Я принимаю сердечное участіе въ Горшковѣ, родная моя, соболѣзную ему. Человѣкъ безъ должности; за ненадежность никуда не принимается; что было запасу, проѣли; дѣло запутано, а между тѣмъ жить было нужно; а между тѣмъ ни съ того, ни съ сего, совершенно не кстати, ребенокъ родился,—ну вотъ издержки; сынъ заболѣлъ— издержки, умеръ — издержки; жена больна; онъ нездоровъ застарѣлой болѣзнью какой-то: однимъ словомъ пострадалъ, вполнѣ пострадалъ. Впрочемъ, говоритъ, что ждетъ на дняхъ благопріятнаго рѣшенія своего дѣла, и что ужь въ этомъ теперь и сомнѣнія нѣтъ никакого. Жаль, жаль, очень жаль его, маточка! Я его обласкалъ. Человѣкъ-то онъ затерянный, запуганный; покровительства ищетъ, такъ вотъ я его и обласкалъ. Ну, прощайте-же, маточка, Христосъ съ вами, будьте здоровы. Голубчикъ вы мой! Какъ вспомню объ васъ, такъ точно лѣкарство приложу къ больной душѣ моей, и хоть страдаю за васъ, но и страдать за васъ мнѣ легко.

Вашъ истинный другъ

Макаръ Дѣвушкинъ.

Сентября 9.

Матушка, Варвара Алексѣевна!

Пишу вамъ внѣ себя. Я весь взволнованъ страшнымъ происшествіемъ. Голова моя вертится кругомъ. Я чувствую, что все

кругомъ меня вертится. Ахъ, родная моя, что̀ я разскажу вамъ теперь! Вотъ, мы и не предчувствовали этого. Нѣтъ, я не вѣрю, чтобы я не предчувствовалъ; я все это предчувствовалъ. Все это заранѣе слышалось моему сердцу! Я даже намедни во снѣ что-то видѣлъ подобное.

Вотъ что случилось!—Разскажу вамъ безъ слога, а такъ, какъ мнѣ на душу Господь положитъ. Пошелъ я сегодня въ должность. Пришелъ, сижу, пишу. А нужно вамъ знать, маточка, что я и вчера писалъ тоже. Ну, такъ вотъ, вчера подходитъ ко мнѣ Тимоѳей Ивановичъ, и лично изволитъ наказывать, что—вотъ, дескать, бумага нужная, спѣшная. Перепишите, говоритъ, Макаръ Алексѣевичъ, почище, поспѣшно и тщательно: сегодня къ подписанію идетъ.—Замѣтить вамъ нужно, ангельчикъ, что вчерашняго дня я былъ самъ не свой, ни на что и глядѣть не хотѣлось; грусть, тоска такая напала! На сердцѣ холодно, на душѣ темно; въ памяти все вы были, моя бѣдная ясочка. Ну, вотъ, я принялся переписывать; переписалъ чисто, хорошо, только ужь не знаю какъ вамъ точнѣе сказать, самъ-ли нечистый меня попуталъ, или тайными судьбами какими опредѣлено было, или просто такъ должно было сдѣлаться:—только пропустилъ я цѣлую строчку; смыслъ-то и вышелъ, Господь его знаетъ какой, просто, никакого не вышло. Съ бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписаніе его превосходительству только сегодня. Я, какъ ни въ чемъ не бывало, являюсь сегодня въ обычный часъ и располагаюсь рядкомъ съ Емельяномъ Ивановичемъ. Нужно вамъ замѣтить, родная, что я, съ недавняго времени, сталъ вдвое болѣе прежняго совѣститься и въ стыдъ приходить. Я въ послѣднее время и не глядѣлъ ни на кого. Чуть стулъ заскрипитъ у кого нибудь, такъ ужь я и ни живъ, ни мертвъ. Вотъ точно такъ сегодня, приникъ, присмирѣлъ, ежомъ сижу, такъ что Ефимъ Акимовичъ (такой задирала, какого и на свѣтѣ до него не было) сказалъ во всеуслышаніе: что, дескать, вы, Макаръ Алексѣевичъ, сидите такимъ у-у-у? Да тутъ такую гримасу скорчилъ, что всѣ, кто около него и меня ни были, такъ и покатились со смѣху, и ужь, разумѣется, на мой счетъ. И пошли, и пошли! Я и уши прижалъ и глаза зажмурилъ, сижу себѣ, не пошевелюсь. Таковъ ужь обычай мой; они этакъ скорѣй отстаютъ. Вдругъ слышу шумъ, бѣготня, суетня; слышу—не обманываются-ли уши мои? Зовутъ меня, требуютъ меня, зовутъ Дѣвушкина. Задрожало у меня сердце въ груди, и ужь самъ не знаю чего я испугался: только знаю то, что я

такъ испугался, какъ никогда еще въ жизни со мной не было. Я приросъ къ стулу,—и какъ ни въ чемъ ни бывало, точно и не я. Но вотъ, опять начали, ближе и ближе. Вотъ, ужь надъ самымъ ухомъ моимъ: дескать, Дѣвушкина! Дѣвушкина! Гдѣ Дѣвушкинъ? Подымаю глаза, передо мною Евстафій Ивановичъ; говоритъ: Макаръ Алексѣевичъ къ его превосходительству, скорѣе! Бѣды вы съ бумагой надѣлали! Только это одно и сказалъ, да довольно, не правда-ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвѣлъ, оледенѣлъ, чувствъ лишился, иду—ну, да ужь просто, ни живъ, ни мертвъ отправился. Ведутъ меня черезъ одну комнату, черезъ другую комнату, черезъ третью комнату, въ кабинетъ—предсталъ! Положительнаго отчета, объ чемъ я тогда думалъ, я вамъ дать не могу. Вижу, стоятъ его превосходительство, вокругъ него всѣ они. Я, кажется, не поклонился; позабылъ. Оторопѣлъ такъ, что и губы трясутся, и ноги трясутся. Да и было отчего, маточка. Во первыхъ, совѣстно; я взглянулъ направо въ зеркало, такъ просто было отчего съума сойдти оттого, что я тамъ увидѣлъ. А, во вторыхъ, я всегда дѣлалъ такъ, какъ будто-бы меня и на свѣтѣ не было. Такъ, что едва-ли его превосходительство были извѣстны о существованіи моемъ. Можетъ быть, слышали, такъ, мелькомъ, что есть у нихъ въ вѣдомствѣ Дѣвушкинъ, но въ кратчайшія сего сношенія никогда не входили.

Начали гнѣвно: «какъ-же это вы, сударь! Чего вы смотрите? Нужная бумага, нужно къ спѣху, а вы ее портите. И какъ-же вы это». — тутъ его превосходительство обратились къ Евстафію Ивановичу. Я только слышу, какъ до меня звуки словъ долетаютъ:—«нерадѣнье! Неосмотрительность! Вводите въ непріятности!»—Я раскрылъ было ротъ для чего-то. Хотѣлъ было прощенія просить, да не могъ, убѣжать — покуситься не смѣлъ, и тутъ... тутъ, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу отъ стыда.—Моя пуговка—ну ее къ бѣсу—пуговка, что висѣла у меня на ниточкѣ — вдругъ сорвалась, отскочила, запрыгала (я видно задѣлъ ее нечаянно), зазвенѣла, покатилась и прямо, такъ-таки прямо, проклятая, къ стопамъ его превосходительства, и это посреди всеобщаго молчанія! Вотъ и все было мое оправданіе, все извиненіе, весь отвѣтъ, все, что̀ я собирался сказать его превосходительству! Послѣдствія были ужасны! Его превосходительство тотчасъ обратили вниманіе на фигуру мою и на мой костюмъ. Я вспомнилъ, что̀ я видѣлъ въ зеркалѣ: я бросился ловить пуговку! Нашла на меня дурь! Нагнулся,

хочу взять пуговку,—катается, вертится, не могу поймать, словомъ, и въ отношеніи ловкости отличился. Тутъ ужь я чувствую, что и послѣднія силы меня оставляютъ, что ужь все, все потеряно! Вся репутація потеряна, весь человѣкъ пропалъ! А тутъ въ обоихъ ушахъ ни съ того, ни съ сего и Тереза, и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконецъ, поймалъ пуговку, приподнялся, вытянулся, да ужь коли дуракъ, такъ стоялъ-бы себѣ смирно, руки по швамъ! Такъ нѣтъ-же. Началъ пуговку къ оторваннымъ ниткамъ прилаживать, точно отъ того она и пристанетъ; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потомъ опять на меня взглянули—слышу, говорятъ Евстафію Ивановичу: «какъ-же?.. Посмотрите, въ какомъ онъ видѣ!.. Какъ онъ!.. Что онъ!..»—Ахъ, родная моя, что ужь тутъ—«какъ онъ? Да что онъ?» Отличился! Слышу, Евстафій Ивановичъ говоритъ—«не замѣченъ, ни въ чемъ не замѣченъ, поведенія примѣрнаго, жалованья достаточно, по окладу»... «Ну, облегчите его какъ нибудь, говорятъ его превосходительство. Выдать ему впередъ»... «Да забралъ, говорятъ, забралъ, вотъ за столько-то времени впередъ забралъ. Обстоятельства вѣрно такія, а поведенія хорошаго и не замѣченъ, никогда не замѣченъ». — Я, ангельчикъ мой, горѣлъ, я въ адскомъ огнѣ горѣлъ! Я умиралъ! — «Ну, говорятъ его превосходительство громко, переписать-же вновь поскорѣе; Дѣвушкинъ, подойдите сюда, перепишите опять вновь безъ ошибки; да послушайте»... тутъ его превосходительство обернулись къ прочимъ, роздали приказанія разныя и всѣ разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспѣшно вынимаютъ книжникъ и изъ него сторублевую, вотъ, говорятъ они — чѣмъ могу, считайте какъ хотите, возьмите... да и всунулъ мнѣ въ руку. Я, ангелъ мой, вздрогнулъ, вся душа моя потряслась; не знаю, что̀ было со мною; я было схватить ихъ ручку хотѣлъ. А онъ-то весь покраснѣлъ, мой голубчикъ, да—вотъ ужь тутъ ни на волосокъ отъ правды не отступаю, родная моя: взялъ мою руку недостойную, да и потрясъ ее, такъ-таки взялъ да и потрясъ, словно ровнѣ своей, словно такому-же какъ самъ генералу. Ступайте, говоритъ, чѣмъ могу... Ошибокъ не дѣлайте, а теперь грѣхъ пополамъ.

Теперь, маточка, вотъ какъ я рѣшилъ: васъ и Ѳедору прошу, и если-бы дѣти у меня были, то и имъ-бы повелѣлъ, чтобы Богу молились, то есть вотъ какъ: за роднаго отца не молились-бы, а за его превосходительство каждодневно и вѣчно-бы молились!

Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю, — слушайте меня, маточка, хорошенько — клянусь, что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной въ лютые дни нашего злополучія, глядя на васъ, на ваши бѣдствія, и на себя, на униженіе мое и мою неспособность, не смотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнѣ сто рублей дороги, какъ то, что его превосходительство сами мнѣ, соломѣ, пьяницѣ, руку мою недостойную пожать изволили! Этимъ они меня самому себѣ возвратили. Этимъ поступкомъ они мой духъ воскресили, жизнь мнѣ слаще на вѣки сдѣлали, и я твердо увѣренъ, что я какъ ни грѣшенъ передъ Всевышнимъ, но молитва о счастіи и благополучіи его превосходительства дойдетъ до престола Его!..

Маточка! Я теперь въ душевномъ разстройствѣ ужасномъ, въ волненіи ужасномъ! Мое сердце бьется, хочетъ изъ груди выпрыгнуть. И я самъ, такъ-то весь, какъ будто ослабъ.—Посылаю вамъ 45 рублей ассигнаціями, 20 рублей хозяйкѣ даю, у себя 35 оставляю; на 20 платье поправлю, а 15 оставлю на житье-бытье. А только теперь всѣ эти впечатлѣнія-то утреннія потрясли все существованіе мое. Я прилягу; Мнѣ, впрочемъ, покойно, очень покойно. Только душу ломитъ, и слышно тамъ, въ глубинѣ, душа моя дрожитъ, трепещетъ, шевелится.—Я приду къ вамъ; а теперь я просто хмѣленъ отъ всѣхъ ощущеній этихъ... Богъ видитъ все, маточка вы моя, голубушка вы моя безцѣнная!

Вашъ достойный другъ

Макаръ Дѣвушкинъ.

Сентября 10..

Любезный мой Макаръ Алексѣевичъ!

Я несказанно рада вашему счастью и умѣю цѣнить добродѣтели вашего начальника, другъ мой. Итакъ теперь вы отдохнете отъ горя! Но только ради Бога не тратьте опять денегъ попусту. Живите тихонько, какъ можно скромнѣе, и съ этого-же дня начинайте всегда хоть что нибудь откладывать, чтобъ несчастія не застали васъ опять внезапно. Объ насъ, ради Бога, не безпокойтесь. Мы съ Ѳедорой кое-какъ проживемъ. Къ чему вы намъ денегъ столько прислали, Макаръ Алексѣевичъ! Намъ вовсе не нужно. Мы довольны и тѣмъ, что есть у насъ. Правда, намъ скоро понадобятся деньги на переѣздъ съ этой квартиры, но Ѳедора надѣется получить съ кого-то давнишній, старый долгъ. Оставляю, впрочемъ, себѣ двадцать рублей на крайнія надобности.

Остальное посылаю вамъ назадъ. Берегите, пожалуйста, деньги, Макаръ Алексѣевичъ. Прощайте. Живите теперь покойно, будьте здоровы и веселы. Я писала-бы вамъ болѣе, но чувствую ужасную усталость, вчера я цѣлый день не вставала съ постели. Хорошо сдѣлали, что обѣщались зайдти. Навѣстите меня, пожалуйста, Макаръ Алексѣевичъ.

В. Д.

Сентября 11.

Милая моя Варвара Алексѣевна!

Умоляю васъ, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, теперь, когда я совершенно счастливъ и всѣмъ доволенъ. Голубчикъ мой! Вы Ѳедору не слушайте, а я буду все что вамъ угодно дѣлать; буду вести себя хорошо, изъ одного уваженія къ его превосходительству буду вести хорошо и отчетливо; мы опять будемъ писать другъ другу счастливыя письма, будемъ повѣрять другъ другу наши мысли, наши радости, наши заботы, если будутъ заботы; будемъ жить вдвоемъ согласно и счастливо. Займемся литературою... Ангельчикъ мой! Въ моей судьбѣ все перемѣнилось и все къ лучшему перемѣнилось. Хозяйка стала сговорчивѣе, Тереза умнѣе, даже самъ Фальдони сталъ какой-то проворный. Съ Ратазяевымъ я помирился. Самъ, на радостяхъ, пошелъ къ нему. Онъ, право, добрый малый, маточка, и что про него говорили дурнаго, то все это былъ вздоръ. Я открылъ теперь, что все это была гнусная клевета. Онъ вовсе и не думалъ насъ описывать: онъ мнѣ это самъ говорилъ. Читалъ мнѣ новое сочиненіе. А что тогда Ловеласомъ-то онъ меня назвалъ, такъ это вовсе не брань или названіе какое неприличное: онъ мнѣ объяснилъ. Это слово въ слово съ иностраннаго взято и значитъ *проворный малой*, и если покрасивѣе сказать, по литературнѣе, такъ значитъ *парень плохо не клади* — вотъ! а не что нибудь тамъ такое. Шутка невинная была, ангельчикъ мой! Я-то неучъ съ дуру и обидѣлся. Да ужь я теперь передъ нимъ извинился... И погода-то такая замѣчательная сегодня, Варинька, хорошая такая. Правда, утромъ была небольшая изморозь, какъ будто сквозь сито сѣяло. Ничего! Зато воздухъ сталъ посвѣжѣе немножко. Ходилъ я покупать сапоги, и купилъ удивительные сапоги. Прошелся по Невскому. «Пчелку» прочелъ. Да! Про главное я и забываю вамъ разсказать:

Видите-ли что:

Сегодня поутру разговорился я съ Емельяномъ Ивановичемъ и съ Аксентіемъ Михайловичемъ объ его превосходительствѣ. Да, Варинька, они не съ однимъ мною такъ обошлись милостиво. Они не одного меня облагодѣтельствовали, и добротою сердца своего всему свѣту извѣстны. Изъ многихъ мѣстъ въ честь ему хвалы возсылаются, и слезы благодарности льются. У нихъ сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить ее: выдали за человѣка извѣстнаго, за чиновника одного, который по особымъ порученіямъ при ихъ-же превосходительствѣ находился. Сына одной вдовы въ какую-то канцелярію пристроили, и много еще благодѣяній разныхъ оказали. Я, маточка, почелъ за обязанность тутъ-же и мою лепту положить, всѣмъ во всеуслышаніе поступокъ его превосходительства разсказалъ; я все имъ разсказалъ и ничего не утаилъ. Я стыдъ-то въ карманъ спряталъ. Какой тутъ стыдъ, что за амбиція такая при такомъ обстоятельствѣ! Такъ-таки вслухъ—да будутъ славны дѣла его превосходительства! Я говорилъ увлекательно, съ жаромъ говорилъ и не краснѣлъ, напротивъ, гордился, что пришлось такое разсказывать. Я про все разсказалъ (про васъ только благоразумно умолчалъ, маточка), а про хозяйку мою, и про Фальдони, и про Ратазяева, и про сапоги, и про Маркова — все разсказалъ. Кое-кто тамъ пересмѣивались, да, правда, и всѣ они пересмѣивались. Только это въ моей фигурѣ вѣрно они что нибудь смѣшное нашли, или на счетъ сапоговъ моихъ — именно на счетъ сапоговъ. А съ дурнымъ какимъ нибудь намѣреніемъ они не могли этого сдѣлать. Это такъ, молодость, или оттого, что они люди богатые, но съ дурнымъ, злымъ намѣреніемъ они никакъ не могли мою рѣчь осмѣивать. То есть что нибудь на счетъ его превосходительства — этого они никакъ не могли сдѣлать. Не правда-ли, Варинька?

Я все до сихъ поръ не могу какъ-то опомниться, маточка. Всѣ эти происшествія такъ смутили меня! Есть-ли у васъ дрова? Не простудитесь, Варинька; долго-ли простудиться. Охъ, маточка моя, вы съ вашими грустными мыслями меня убиваете. Я ужь Бога молю, какъ молю Его за васъ, маточка! Напримѣръ, есть-ли у васъ шерстяные чулочки, или, такъ, изъ одежды что нибудь потеплѣе. Смотрите, голубчикъ мой. Если вамъ что нибудь, тамъ, нужно будетъ, такъ ужь, ради Создателя, старика не обижайте. Такъ-таки прямо и ступайте ко мнѣ. Теперь дурныя времена прошли. На счетъ меня вы не безпокойтесь. Впереди все такъ свѣтло, хорошо!

А грустное было время, Варинька! Ну да ужь все равно, прошло! Года пройдутъ, такъ и про это время вздохнемъ. Помню я свои молодые годы. Куда! Копѣйки иной разъ не бывало. Холодно, голодно, а весело да и только. Утромъ пройдешься по Невскому, личико встрѣтишь хорошенькое и на цѣлый день счастливъ. Славное, славное было время, маточка! Хорошо жить на свѣтѣ, Варинька! Особенно въ Петербургѣ. Я со слезами на глазахъ вчера каялся передъ Господомъ Богомъ, чтобы простилъ мнѣ Господь всѣ грѣхи мои въ это грустное время: ропотъ, либеральныя мысли, дебошъ и азартъ. Объ васъ вспоминалъ съ умиленіемъ въ молитвѣ. Вы однѣ, ангельчикъ, укрѣпляли меня, вы однѣ утѣшали меня, напутствовали совѣтами благими и наставленіями. Я этого, маточка, никогда забыть не могу. Ваши записочки всѣ перецѣловалъ сегодня, голубчикъ мой! Ну, прощайте, маточка. Говорятъ, есть гдѣ-то здѣсь недалеко платье продажное. Такъ вотъ я немножко навѣдаюсь. Прощайте-же, ангельчикъ. Прощайте!

Вамъ душевно преданный

Макаръ Дѣвушкинъ.

Сентября 15.

Милостивый государь,

Макаръ Алексѣевичъ!

Я вся въ ужасномъ волненіи. Послушайте-ка, что у насъ было. Я что-то роковое предчувствую. Вотъ посудите сами, мой безцѣнный другъ: господинъ Быковъ въ Петербургѣ. Ѳедора его встрѣтила. Онъ ѣхалъ, приказалъ остановить дрожки, подошелъ самъ къ Ѳедорѣ и сталъ навѣдываться гдѣ она живетъ. Та сначала не сказывала. Потомъ онъ сказалъ, усмѣхаясь, что онъ знаетъ, кто у ней живетъ. (Видно Анна Ѳедоровна все ему разсказала). Тогда Ѳедора не вытерпѣла, и тутъ-же на улицѣ стала его упрекать, укорять, сказала ему, что онъ человѣкъ безнравственный, что онъ причина всѣхъ несчастій моихъ. Онъ отвѣчалъ, что когда гроша нѣтъ, такъ, разумѣется, человѣкъ несчастливъ. Ѳедора сказала ему, что я-бы съумѣла прожить работою, могла-бы выйдти замужъ, а не то такъ сыскать мѣсто какое нибудь, а что теперь счастіе мое навсегда потеряно, что я къ тому-же больна и скоро умру. На это онъ замѣтилъ, что я еще слишкомъ молода, что у меня еще въ головѣ бродитъ, и *что наши добродѣтели потускнѣли* (его слова). Мы съ Ѳедорой

думали, что онъ не знаетъ нашей квартиры, какъ вдругъ, вчера, только что я вышла для закупокъ въ Гостинный Дворъ, онъ входитъ къ намъ въ комнату; ему, кажется, не хотѣлось застать меня дома. Онъ долго разспрашивалъ Ѳедору о нашемъ житьѣ-бытьѣ, все разсматривалъ у насъ; мою работу смотрѣлъ, наконецъ, спросилъ: — какой-же это чиновникъ, который съ вами знакомъ? На ту пору вы черезъ дворъ проходили; Ѳедора ему указала на васъ; онъ взглянулъ и усмѣхнулся, Ѳедора упрашивала его уйдти, сказала ему, что я и такъ ужь нездорова отъ огорченій, и что видѣть его у насъ мнѣ будетъ весьма непріятно. Онъ промолчалъ; сказалъ, что онъ такъ приходилъ отъ нечего дѣлать, и хотѣлъ дать Ѳедорѣ 25 рублей; та, разумѣется, не взяла.—Что-бы это значило? Зачѣмъ это онъ приходилъ къ намъ? Я понять не могу, откуда онъ все про насъ знаетъ! Я теряюсь въ догадкахъ. Ѳедора говоритъ, что Аксинья, ея золовка, которая ходитъ къ намъ, знакома съ прачкой Настасьей, а Настасьинъ двоюродный братъ сторожемъ въ томъ департаментѣ, гдѣ служитъ знакомый племянника Анны Ѳедоровны. Такъ вотъ не переползла-ли какъ нибудь сплетня? Впрочемъ, очень можетъ что Ѳедора и ошибается; мы не знаемъ, что придумать. Неужели онъ къ намъ опять придетъ! Одна мысль эта ужасаетъ меня! Когда Ѳедора разсказала все это вчера, такъ я такъ испугалась, что чуть было въ обморокъ не упала отъ страха. Чего еще имъ надобно? Я теперь ихъ знать не хочу! Что имъ за дѣло до меня, бѣдной! Ахъ! Въ какомъ я страхѣ теперь: такъ вотъ и думаю, что войдетъ сію минуту Быковъ. Что̀ со мною будетъ! Что̀ еще мнѣ готовитъ судьба? Ради Христа, зайдите ко мнѣ теперь-же, Макаръ Алексѣевичъ. Зайдите, ради Бога, зайдите.

Сентября 18.

Маточка, Варвара Алексѣевна!

Сего числа случилось у насъ въ квартирѣ до нельзя горестное, ни чѣмъ не объяснимое и неожиданное событіе. Нашъ бѣдный Горшковъ (замѣтить вамъ нужно, маточка), совершенно оправдался. Рѣшеніе-то ужь давно какъ вышло, а сегодня онъ ходилъ слушать окончательную резолюцію. Дѣло для него весьма счастливо кончилось. Какая тамъ была вина на немъ за нерадѣніе и неосмотрительность—на все вышло полное отпущеніе. Присудили выправить въ его пользу съ купца знатную сумму денегъ, такъ что онъ и обстоятельствами-то сильно поправился,

да и честь-то его отъ пятна избавилась, и все стало лучше,— однимъ словомъ, вышло самое полное исполненіе желанія. Пришелъ онъ сегодня въ три часа домой. На немъ лица не было, блѣдный какъ полотно, губы у него трясутся, а самъ улыбается— обнялъ жену, дѣтей. Мы всѣ гурьбою ходили къ нему поздравлять его. Онъ былъ весьма растроганъ нашимъ поступкомъ, кланялся на всѣ стороны, жалъ у каждаго изъ насъ руку по нѣскольку разъ. Мнѣ даже показалось, что онъ и выросъ-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нѣтъ уже въ глазахъ. Въ волненіи былъ такомъ, бѣдный. Двухъ минутъ на мѣстѣ не могъ простоять; бралъ въ руки все, что ему ни попадалось, потомъ опять бросалъ, безпрестанно улыбался и кланялся, садился, вставалъ, опять садился, говорилъ Богъ знаетъ что такое — говоритъ: «честь моя, честь, доброе имя, дѣти мои» — и какъ говорилъ-то! Даже заплакалъ. Мы тоже большею частію прослезились. Ратазяевъ видно хотѣлъ его ободрить, и сказалъ— «что, батюшка, честь, когда нечего ѣсть; деньги, батюшка, деньги главное; вотъ за что Бога благодарите!» — и тутъ-же его по плечу потрепалъ. Мнѣ показалось, что Горшковъ обидѣлся, то есть не то, чтобы прямо неудовольствіе высказалъ, а только посмотрѣлъ какъ то странно на Ратазяева, да руку его съ плеча своего снялъ. А прежде бы этого не было, маточка! Впрочемъ, различные бываютъ характеры.—Вотъ я, напримѣръ, на такихъ радостяхъ гордецомъ-бы не выказался; вѣдь чего, родная моя, иногда и поклонъ лишній и уничиженіе изъявляешь, не отчего иного, какъ отъ припадка доброты душевной и отъ излишней мягкости сердца... но, впрочемъ, не во мнѣ тутъ и дѣло!—«Да, говоритъ, и деньги хорошо; слава Богу, слава Богу!...» И потомъ все время, какъ мы у него были твердилъ: «слава Богу, слава Богу!..» Жена его заказала обѣдъ поделикатнѣе, и пообильнѣе. Хозяйка наша сама для нихъ стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обѣда Горшковъ на мѣстѣ не могъ усидѣть. Заходилъ ко всѣмъ въ комнаты, звали ль, не звали его. Такъ себѣ войдетъ, улыбнется, присядетъ на стулъ, скажетъ что нибудь, а иногда и ничего не скажетъ—и уйдетъ. У мичмана даже карты въ руки взялъ; его и усадили играть за четвертаго. Онъ поигралъ, поигралъ, напуталъ въ игрѣ какого-то вздора, сдѣлалъ три — четыре хода и бросилъ играть. «Нѣтъ, говоритъ, вѣдь я такъ, я, говоритъ, это только такъ», и ушелъ отъ нихъ. Меня встрѣтилъ въ корридорѣ, взялъ меня за обѣ руки, посмотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза, только такъ чудно; пожалъ мнѣ руку и

отошелъ и все улыбаясь, но какъ-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала отъ радости; весело такъ все у нихъ было, по праздничному. Пообѣдали они скоро. Вотъ, послѣ обѣда, онъ и говоритъ женѣ:—«Послушайте, душенька, вотъ я немного прилягу»—да и пошелъ на постель. Подозвалъ къ себѣ дочку, положилъ ей на головку руку, и долго-долго гладилъ по головкѣ ребенка. Потомъ опять оборотился къ женѣ: «а что-жь Петинька? Петя нашъ, говоритъ, Петинька?..» Жена перекрестилась, да и отвѣчаетъ, что вѣдь онъ-же умеръ.—«Да, да, знаю, все знаю, Петинька теперь въ царствѣ небесномъ».—Жена видитъ, что онъ самъ не свой, что происшествіе-то его потрясло совершенно, и говоритъ ему—«вы-бы, душенька, заснули».—«Да, хорошо, я сейчасъ... я немножко»,—тутъ онъ отвернулся, полежалъ немного, потомъ оборотился, хотѣлъ сказать что-то. Жена не разслышала, спросила его — «что мой другъ?» А онъ не отвѣчаетъ. Она подождала немножко,—ну, думаетъ, уснулъ, и вышла на часокъ къ хозяйкѣ. Черезъ часъ времени воротилась,—видитъ, мужъ еще не проснулся и лежитъ себѣ не шелохнется. Она думала, что спитъ, сѣла и стала работать что-то. Она разсказываетъ, что она съ полчаса и такъ погрузилась въ размышленіе, что даже не помнитъ о чемъ она думала, говоритъ только, что она и позабыла объ мужѣ. Только вдругъ она очнулась отъ какого-то тревожнаго ощущенія, и гробовая тишина въ комнатѣ поразила ее прежде всего. Она посмотрѣла на кровать и видитъ, что мужъ лежитъ все въ одномъ положеніи. Она подошла къ нему, сдернула одѣяло, смотритъ—а ужь онъ холодехонекъ,—умеръ, маточка, умеръ Горшковъ, внезапно умеръ, словно громомъ его убило. А отчего умеръ—Богъ его знаетъ. Меня это такъ сразило, Варинька, что я до сихъ поръ опомниться не могу. Не вѣрится что-то, чтобы такъ просто могъ умереть человѣкъ. Этакой бѣдняга, горемыка этотъ Горшковъ! Ахъ, судьба-то, судьба какая! Жена въ слезахъ, такая испуганная. Дѣвочка куда-то въ уголъ забилась. У нихъ тамъ суматоха такая идетъ, слѣдствіе медицинское будутъ дѣлать... ужь не могу вамъ навѣрно сказать. Только жалко, охъ, какъ жалко! Грустно подумать, что этакъ въ самомъ дѣлѣ ни дня, ни часа не вѣдаешь... Погибаешь этакъ ни за что...

Вашъ

Макаръ Дѣвушкинъ.

Сентября 19.

Милостивая Государыня,
Варвара Алексѣевна!

Спѣшу васъ увѣдомить, другъ мой, что Ратазяевъ нашелъ мнѣ работу у одного сочинителя.—Пріѣзжалъ какой-то къ нему, привезъ къ нему такую толстую рукопись— слава Богу, много работы. Только ужь такъ неразборчиво писано, что не знаю какъ и за дѣло приняться: требуютъ поскорѣе. Что-то все объ такомъ писано, что какъ будто и не понимаешь... По 40 коп. съ листа уговорились. Я къ тому все это пишу вамъ, родная моя, что будутъ теперь постороннія деньги.—Ну, а теперь прощайте, маточка. Я ужь прямо и за работу.

Вашъ вѣрный другъ

Макаръ Дѣвушкинъ.

Сентября 23.

Дорогой другъ мой,
Макаръ Алексѣевичъ!

Я вамъ уже третій день, мой другъ, ничего не писала, а у меня было много-много заботъ, много тревоги.

Третьяго дня былъ у меня Быковъ. Я была одна, Ѳедора куда-то ходила. Я отворила ему и такъ испугалась, когда его увидала, что не могла тронуться съ мѣста. Я чувствовала, что я поблѣднѣла. Онъ вошелъ по своему обыкновенію съ громкимъ смѣхомъ, взялъ стулъ и сѣлъ. Я долго не могла опомниться, наконецъ, сѣла въ уголъ за работу. Онъ скоро пересталъ смѣяться. Кажется, мой видъ поразилъ его. Я такъ похудѣла въ послѣднее время; щеки и глаза мои ввалились, я была блѣдна какъ платокъ... дѣйствительно, меня трудно узнать тому, кто зналъ меня годъ тому назадъ. Онъ долго и пристально смотрѣлъ на меня, наконецъ, опять развеселился. Сказалъ что-то такое; я не помню что отвѣчала ему, и онъ опять засмѣялся. Онъ сидѣлъ у меня цѣлый часъ; долго говорилъ со мной; кой о чемъ разспрашивалъ. Наконецъ, передъ прощаніемъ, онъ взялъ меня за руку и сказалъ (я вамъ пишу отъ слова и до слова): «Варвара Алексѣевна! Между нами сказать, Анна Ѳедоровна, ваша родственница, а моя короткая знакомая и пріятельница, преподлая женщина». (Тутъ онъ еще назвалъ ее однимъ неприличнымъ словомъ). «Совратила она и двоюродную вашу сестрицу съ пути, и васъ погубила. Съ моей стороны и я въ этомъ слу-

чаѣ подлецомъ оказался; да вѣдь, что, дѣло житейское». Тутъ онъ захохоталъ что есть мочи. Потомъ замѣтилъ, что онъ красно говорить не мастеръ, и что, главное, что̀ объяснить было нужно, и объ чемъ обязанности благородства повелѣвали ему не умалчивать, ужь онъ объявилъ, и что въ короткихъ словахъ приступаетъ къ остальному. Тутъ онъ объявилъ мнѣ, что ищетъ руки моей, что долгомъ своимъ почитаетъ возвратить мнѣ честь, что онъ богатъ, что онъ увезетъ меня послѣ свадьбы въ свою степную деревню, что онъ хочетъ тамъ зайцевъ травить; что онъ болѣе въ Петербургъ никогда не пріѣдетъ, потому что въ Петербургѣ гадко, что у него есть здѣсь въ Петербургѣ, какъ онъ самъ выразился, негодный племянникъ, котораго онъ присягнулъ лишить наслѣдства и собственно для этого случая, то есть желая имѣть законныхъ наслѣдниковъ, ищетъ руки моей, что это главная причина его сватовства. Потомъ онъ замѣтилъ, что я весьма бѣдно живу, что не диво, если я больна, проживая въ такой лачугѣ, предрекъ мнѣ неминуемую смерть, если я хоть мѣсяцъ такъ останусь; сказалъ, что въ Петербургѣ квартиры гадкія, и, наконецъ, что не надо-ли мнѣ чего?

Я такъ была поражена его предложеніемъ, что сама не знаю отчего заплакала. Онъ принялъ мои слезы за благодарность и сказалъ мнѣ, что онъ всегда былъ увѣренъ, что я добрая, чувствительная и ученая дѣвица, но что онъ не прежде, впрочемъ, рѣшился на сію мѣру, какъ разузнавъ со всею подробностію о моемъ теперешнемъ поведеніи. Тутъ онъ разспрашивалъ о васъ, сказалъ, что про все слышалъ, что вы благородныхъ правилъ человѣкъ, что онъ съ своей стороны не хочетъ быть у васъ въ долгу и что довольно-ли вамъ будетъ 500 руб. за все, что̀ вы для меня сдѣлали? Когда-же я ему объяснила, что вы для меня то сдѣлали, чего никакими деньгами не заплатишь, то онъ сказалъ мнѣ, что все вздоръ: что все это романы, что я еще молода и стихи читаю, что романы губятъ молодыхъ дѣвушекъ, что книги только нравственность портятъ, и что онъ терпѣть не можетъ никакихъ книгъ; совѣтовалъ прожить его годы и тогда объ людяхъ говорить; «тогда», прибавилъ онъ, «и людей узнаете». Потомъ онъ сказалъ, чтобы я поразмыслила хорошенько объ его предложеніяхъ, что ему весьма будетъ непріятно, если я такой важный шагъ сдѣлаю необдуманно, прибавилъ, что необдуманность и увлеченіе губятъ юность неопытную, но что онъ чрезвычайно желаетъ съ моей стороны благопріятнаго отвѣта; что наконецъ, въ противномъ случаѣ, онъ принужденъ будетъ же-

ниться въ Москвѣ на купчихѣ, потому что, говорилъ онъ, я присягнулъ негодяя-племянника лишить наслѣдства. Онъ насильно оставилъ у меня на пяльцахъ пятьсотъ рублей, какъ онъ сказалъ, на конфекты; сказалъ, что въ деревнѣ я растолстѣю, какъ лепешка, что буду у него какъ сыръ въ маслѣ кататься, что у него теперь ужасно много хлопотъ, что онъ цѣлый день по дѣламъ протаскался, и что теперь между дѣломъ забѣжалъ ко мнѣ. Тутъ онъ ушелъ. Я долго думала, я много передумала, я мучилась, думая, другъ мой, наконецъ, я рѣшилась. Другъ мой, я выйду за него, я должна согласиться на его предложеніе. Если кто можетъ избавить меня отъ моего позора, возвратить мнѣ честное имя, отвратить отъ меня бѣдность, лишенія и несчастія въ будущемъ, такъ это единственно онъ. Чего-же мнѣ ожидать отъ грядущаго, чего еще спрашивать у судьбы? Ѳедора говоритъ, что своего счастія терять не нужно; говоритъ—что̀-же въ такомъ случаѣ и называется счастіемъ? Я, по крайней мѣрѣ, не нахожу другаго пути для себя, безцѣнный другъ мой. Что̀ мнѣ дѣлать? Работою я и такъ все здоровье испортила; работать постоянно я не могу. Въ люди идти? — Я съ тоски исчахну, къ тому-же, я никому не угожу. Я хво̀рая отъ природы, и потому всегда буду бременемъ на чужихъ рукахъ. Конечно, я и теперь не въ рай иду, но что̀-же мнѣ дѣлать, другъ мой, что̀-же мнѣ дѣлать? Изъ чего выбирать мнѣ?

Я не просила у васъ совѣтовъ. Я хотѣла обдумать одна. Рѣшеніе, которое вы прочли сейчасъ, неизмѣнно, и я немедленно объявлю его Быкову, который и безъ того торопитъ меня окончательнымъ рѣшеніемъ. Онъ сказалъ, что у него дѣла не ждутъ, что ему нужно ѣхать, и что не откладывать-же ихъ изъ-за пустяковъ. Знаетъ Богъ, буду-ли я счастлива, въ Его святой, неисповѣдимой власти судьбы мои, но я рѣшилась. Говорятъ, что Быковъ человѣкъ добрый: онъ будетъ уважать меня; можетъ быть, и я такъ-же буду уважать его. Чего-же ждать болѣе отъ нашего брака?

Увѣдомляю васъ обо всемъ, Макаръ Алексѣевичъ. Я увѣрена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня отъ моего намѣренія. Усилія ваши будутъ тщетны. Взвѣсьте въ своемъ собственномъ сердцѣ все, что принудило меня такъ поступить. Я очень тревожилась сначала, но теперь я спокойнѣе. Что̀ впереди—я не знаю. Что будетъ, то будетъ; какъ Богъ пошлетъ!.

Пришелъ Быковъ; я бросаю письмо неоконченнымъ. Много еще хотѣла сказать вамъ. Быковъ ужь здѣсь!

Сентября 23.

Маточка, Варвара Алексѣевна!

Я, маточка, спѣшу вамъ отвѣчать; я, маточка, спѣшу вамъ объявить, что я изумленъ. Все это какъ-то не того... Вчера мы похоронили Горшкова. Да, это такъ, Варинька, это такъ; Быковъ поступилъ благородно; только вотъ, видите-ли, родная моя, такъ вы и соглашаетесь. Конечно, во всемъ воля Божія; это такъ, это непремѣнно должно быть такъ, то есть тутъ воля-то Божія непремѣнно должна быть; и промыслъ Творца Небеснаго, конечно, и благъ, и неисповѣдимъ, и судьбы тоже, и они тоже самое.— Ѳедора тоже въ васъ участіе принимаетъ. Конечно, вы счастливы теперь будете, маточка, въ довольствѣ будете, моя голубочка, ясочка моя, ненаглядная вы моя, ангельчикъ мой,— только вотъ, видите-ли, Варинька, какъ-же это такъ скоро?.. Да, дѣла... у г-на Быкова есть дѣла,— конечно, у кого нѣтъ дѣлъ, и у него тоже они могутъ случиться... видѣлъ я его, какъ онъ отъ васъ выходилъ. Видный, видный мужчина; даже ужь и очень видный мужчина. Только все это какъ-то не такъ, дѣло-то не въ томъ именно, что онъ видный мужчина, да я-то теперь какъ-то самъ не свой. Только вотъ какъ-же мы будемъ теперь письма-то другъ къ другу писать? Я-то, я-то какъ-же одинъ останусь. Я, ангельчикъ мой, все взвѣшиваю, все взвѣшиваю, какъ вы писали-то мнѣ тамъ, въ сердцѣ-то моемъ все это взвѣшиваю, причины-то эти. Я уже двадцатый листъ оканчивалъ переписывать, а между тѣмъ эти происшествія-то нашли! Маточка, вѣдь вотъ вы ѣдете, такъ и закупки-то вамъ различныя сдѣлать нужно, башмачки разные, платьице, а вотъ у меня кстати и магазинъ есть знакомый въ Гороховой; помните, какъ я вамъ еще его все описывалъ.—Да нѣтъ-же! Какъ-же вы, маточка, что вы! Вѣдь вамъ нельзя теперь ѣхать, совершенно невозможно, никакъ невозможно. Вѣдь вамъ нужно покупки большія дѣлать, да и экипажъ заводить. Къ тому-же и погода теперь дурная; вы посмотрите-ка, дождь какъ изъ ведра льетъ, и такой мокрый дождь, да еще... еще то, что вамъ холодно будетъ, мой ангельчикъ; сердечку-то вашему будетъ холодно! Вѣдь вотъ вы боитесь чужаго человѣка, а ѣдете. А я-то на кого здѣсь одинъ останусь? Да! Вотъ Ѳедора говоритъ, что васъ счастіе ожидаетъ большое... да вѣдь она баба буйная и меня погубить желаетъ. Пойдете-ли вы ко всенощной сегодня, маточка? Я-бы васъ пошелъ посмотрѣть. Оно, правда, маточка,

совершенная правда, что вы дѣвица ученая, добродѣтельная и чувствительная, только пусть ужь онъ лучше женится на купчихѣ! Какъ вы думаете, маточка? Пусть ужь лучше на купчихѣ-то женится! — Я къ вамъ, Варинька вы моя, какъ смеркнется, такъ и забѣгу на часокъ. Ныньче вѣдь рано смеркается, такъ я и забѣгу. Я, маточка, къ вамъ непремѣнно на часочекъ приду сегодня. Вотъ вы теперь ждете Быкова, а какъ онъ уйдетъ, такъ тогда... Вотъ подождите, маточка, я забѣгу...

Макаръ Дѣвушкинъ.

Сентября 27.

Другъ мой, Макаръ Алексѣевичъ!

Господинъ Быковъ сказалъ, что у меня непремѣнно должно быть на три дюжины рубашекъ голландскаго полотна. Такъ нужно какъ можно скорѣе пріискать бѣлошвеекъ для двухъ дюжинъ, а времени у насъ очень мало. Господинъ Быковъ сердится, говоритъ, что съ этими тряпками ужасно много возни. Свадьба наша черезъ пять дней, а на другой день послѣ свадьбы мы ѣдемъ. Господинъ Быковъ торопится, говоритъ, что на вздоръ много времени не нужно терять. Я измучилась отъ хлопотъ и чуть на ногахъ стою. Дѣла страшная куча, а, право, лучше, если-бъ этого ничего не было. Да еще: у насъ не достаетъ блондъ и кружева, такъ вотъ нужно-бы прикупить, потому что господинъ Быковъ говоритъ, что онъ не хочетъ, чтобы жена его какъ кухарка ходила, и что я непремѣнно должна «утереть носъ всѣмъ помѣщицамъ». Такъ онъ самъ говоритъ. Такъ вотъ, Макаръ Алексѣевичъ, адресуйтесь, пожалуйста, къ мадамъ Шифонъ въ Гороховую, и попросите, во первыхъ, прислать къ намъ бѣлошвеекъ, а во вторыхъ, чтобъ и сама потрудилась заѣхать. Я сегодня больна. На новой квартирѣ у насъ такъ холодно и безпорядки ужасные. Тетушка господина Быкова чуть-чуть дышетъ отъ старости. Я боюсь, чтобы не умерла до нашего отъѣзда, но господинъ Быковъ говоритъ, что ничего, очнется. Въ домѣ у насъ безпорядки ужасные. Господинъ Быковъ съ нами не живетъ, такъ люди всѣ разбѣгаются Богъ знаетъ куда. Случается, что одна Ѳедора намъ прислуживаетъ, а камердинеръ господина Быкова, который смотритъ за всѣмъ, уже третій день неизвѣстно гдѣ пропадаетъ. Господинъ Быковъ заѣзжаетъ каждое утро, все сердится и вчера побилъ прикащика дома, за что имѣлъ непріятности съ полиціей... Не съ кѣмъ было къ вамъ и

письма-то послать. Пишу по городской почтѣ. Да! Чуть было не забыла самаго важнаго. Скажите мадамъ Шифонъ, чтобы блонды она непремѣнно перемѣнила, сообразуясь со вчерашнимъ образчикомъ, и чтобы сама заѣхала ко мнѣ показать новый выборъ. Да скажите еще, что я раздумала на счетъ канзу; что его нужно вышивать крошью. Да еще: буквы для вензелей на платкахъ вышивать тамбуромъ; слышите-ли? Тамбуромъ, а не гладью. Смотрите-же, не забудьте, что тамбуромъ! Вотъ еще чуть было не забыла! Передайте ей, ради Бога, чтобы листики на перелинѣ шить возвышенно, усики и шипы кардонне, а потомъ обшить воротникъ кружевомъ или широкой фальбалой. Пожалуйста, передайте, Макаръ Алексѣевичъ.

Ваша

В. Д.

P. S. Мнѣ такъ совѣстно, что все васъ мучаю моими комиссіями. Вотъ и третьяго дня вы цѣлое утро бѣгали. Но что дѣлать! У насъ въ домѣ нѣтъ никакого порядка, а я сама нездорова. Такъ не досадуйте на меня, Макаръ Алексѣевичъ. Такая тоска! Ахъ, что это будетъ, другъ мой, милый мой, добрый мой Макаръ Алексѣевичъ! Я и заглянуть боюсь въ мое будущее. Я все что-то предчувствую и точно въ чаду въ какомъ-то живу.

P. S. Ради Бога, мой другъ, не позабудьте чего нибудь изъ того, что я вамъ теперь говорила. Я все боюсь, чтобы вы какъ нибудь не ошиблись. Помните-же, тамбуромъ, а не гладью.

В. Д.

Сентября 27.

Милостивая Государыня,
Варвара Алексѣевна!

Комиссіи ваши всѣ исполнилъ рачительно. Мадамъ Шифонъ говоритъ, что она уже сама думала обшивать тамбуромъ; что это приличнѣе, что-ли, ужь не знаю, въ толкъ не взялъ хорошенько. Да еще, вы тамъ фальбалу написали, такъ она и про фальбалу говорила. Только я, маточка, и позабылъ, что она мнѣ про фальбалу говорила. Только помню, что очень много говорила; такая скверная баба! Что бишь такое? Да вотъ она вамъ сама все разскажетъ. Я, маточка моя, совсѣмъ замотался. Сегодня я и въ должность не ходилъ. Только вы-то, родная моя, напрасно отчаяваетесь. Для вашего спокойствія я готовъ всѣ магазины обѣ-

гать. Вы пишете, что въ будущее заглянуть боитесь. Да вѣдь сегодня въ седьмомъ часу все узнаете. Мадамъ Шифонъ сама къ вамъ пріѣдетъ. Такъ вы и не отчаявайтесь; надѣйтесь, маточка; авось и все-то устроится къ лучшему—вотъ. Такъ того-то, я все фальбалу-то проклятую — эхъ, мнѣ эта фальбала-фальбала! Я-бы къ вамъ забѣжалъ, ангельчикъ, забѣжалъ-бы, непремѣнно-бы забѣжалъ; я ужь и такъ къ воротамъ вашего дома раза два подходилъ. Да все Быковъ, то есть, я хочу сказать, что господинъ Быковъ все сердитый такой, такъ вотъ оно и не того... Ну, да ужь что!

Макаръ Дѣвушкинъ.

Сентября 28.

Милостивый Государь,
Макаръ Алексѣевичъ!

Ради Бога, бѣгите сейчасъ къ брильянтщику. Скажите ему, что серьги съ жемчугомъ и изумрудами дѣлать не нужно. Господинъ Быковъ говоритъ, что слишкомъ богато, что это кусается. Онъ сердится; говоритъ, что ему и такъ въ карманъ стало, и что мы его грабимъ, а вчера сказалъ, что если-бы впередъ зналъ да вѣдалъ про такіе расходы, такъ и не связывался-бы. Говоритъ, что только насъ повѣнчаютъ, такъ сейчасъ и уѣдемъ, что гостей не будетъ, и чтобы я вертѣться и плясать не надѣялась, что еще далеко до праздниковъ. Вотъ онъ какъ говоритъ! А Богъ видитъ, нужно-ли мнѣ все это! Самъ-же господинъ Быковъ все заказывалъ. Я отвѣчать ему ничего не смѣю: онъ горячій такой. Что со мною будетъ?

В. Д.

Сентября 28.

Голубчикъ мой, Варвара Алексѣевна.

Я—то есть, брильянщикъ говоритъ—хорошо; а я про себя хотѣлъ сначала сказать, что я заболѣлъ и встать не могу съ постели. Вотъ теперь, какъ время пришло хлопотливое, нужное, такъ и простуды напали, врагъ ихъ возьми! Тоже увѣдомляю васъ, что къ довершенію несчастій моихъ и его превосходительство изволили быть строгими, и на Емельяна Ивановича много сердились и кричали, и подъ конецъ совсѣмъ измучились, бѣдненькіе. Вотъ я васъ я увѣдомляю обо всемъ. Да еще хотѣлъ вамъ написать что нибудь, только васъ утруждать боюсь. Вѣдь

я, маточка, человѣкъ глупый, простой, пишу себѣ что ни попало, такъ, можетъ быть, вы тамъ чего нибудь и такого—ну, да ужь что!

Вашъ *Макаръ Дѣвушкинъ*.

Сентября 29.

Варвара Алексѣевна, родная моя!

Я сегодня Ѳедору видѣлъ, голубчикъ мой. Она говоритъ, что васъ уже завтра вѣнчаютъ, а послѣ завтра вы ѣдете, и что господинъ Быковъ уже лошадей нанимаетъ. На счетъ его превосходительства я уже увѣдомлялъ васъ, маточка. Да еще:—счеты изъ магазина въ Гороховой я провѣрилъ; все вѣрно, да только очень дорого. Только за что-же господинъ-то Быковъ на васъ сердится? Ну, будьте счастливы, маточка! Я радъ: да, я буду радъ, если вы будете счастливы. Я-бы пришелъ въ церковь, маточка, да не могу, болитъ поясница. Такъ вотъ я все на счетъ писемъ: вѣдь вотъ кто-же теперь ихъ передавать-то намъ будетъ, маточка? Да! Вы Ѳедору-то облагодѣтельствовали, родная моя! Это доброе дѣло вы сдѣлали, другъ мой; это вы очень хорошо сдѣлали. Доброе дѣло! А за каждое доброе дѣло васъ Господь благословлять будетъ.—Добрыя дѣла не остаются безъ награды, и добродѣтель всегда будетъ увѣнчана вѣнцомъ справедливости Божіей, рано-ли, поздно-ли. Маточка! Я-бы вамъ много хотѣлъ написать; такъ, каждый часъ, каждую минуту все-бы писалъ, все-бы писалъ! У меня еше ваша книжка осталась одна, *Бѣлкина повѣсти*, такъ вы ее, знаете, маточка, не берите ее у меня, подарите ее мнѣ, мой голубчикъ. Это не потому, что ужь мнѣ такъ ее читать хочется. Но сами вы знаете, маточка, подходитъ зима; вечера будутъ длинные; грустно будетъ, такъ вотъ-бы и почитать. Я, маточка, переѣду съ моей квартиры на вашу старую, и буду нанимать у Ѳедоры. Я съ этой честной женщиной теперь ни за что не разстанусь; къ тому же, она такая работящая. Я вашу квартиру опустѣвшую вчера подробно осматривалъ. Тамъ, какъ были ваши пялечки, а на нихъ шитье, такъ они и остались не тронутые; въ углу стоятъ. Я ваше шитье разсматривалъ. Остались еще тутъ лоскуточки разные. Но одно письмецо мое вы ниточки начали было наматывать. Въ столикѣ нашелъ бумажки листочекъ, а на бумажѣ написано—«*Милостивый государь, Макаръ Алексѣевичъ*, «*Спѣшу*»—и только. Видно васъ кто нибудь прервалъ на самомъ интересномъ мѣстѣ. Въ углу за ширмочками ваша кроватка стоитъ... Голубчикъ вы мой!!!

Ну, прощайте, прощайте; ради Бога, отвѣчайте мнѣ что нибудь на это письмецо поскорѣе.

Макаръ Дѣвушкинъ.

Сентября 30.

Безцѣнный другъ мой,
Макаръ Алексѣевичъ!

Все совершилось! Выпалъ мой жребій; не знаю какой, но я волѣ Господа покорна. Завтра мы ѣдемъ. Прощаюсь съ вами въ послѣдній разъ, безцѣнный мой, другъ мой, благодѣтель мой, родной мой! Не горюйте обо мнѣ, живите счастливо, помните обо мнѣ и да снизойдетъ на васъ благословеніе Божіе! Я буду вспоминать васъ часто въ мысляхъ моихъ, въ молитвахъ моихъ.— Вотъ и кончилось это время! Я мало отраднаго унесу въ новую жизнь изъ воспоминаній прошедшаго; тѣмъ драгоцѣннѣе будетъ воспоминаніе объ васъ, тѣмъ драгоцѣннѣе будете вы моему сердцу. Вы единственный другъ мой; вы только одни здѣсь любили меня. Вѣдь я все видѣла, я вѣдь знала какъ вы любили меня! Улыбкой одной моей вы счастливы были, одной строчкой письма моего. Вамъ нужно будетъ теперь отвыкать отъ меня! Какъ вы одни здѣсь останетесь! На кого вы здѣсь останетесь, добрый, безцѣнный, единственный другъ мой! Оставляю вамъ книжку, пяльцы, начатое письмо; когда будете смотрѣть на эти начатыя строчки, то мыслями читайте дальше все, что̀-бы хотѣлось вамъ услышать или прочесть отъ меня, все, что я ни написала-бы вамъ; а чего-бы я не написала теперь! Вспоминаейте о бѣдной вашей Варинькѣ, которая васъ такъ крѣпко любила. Всѣ ваши письма остались въ комодѣ у Ѳедоры, въ верхнемъ ящикѣ. Вы пишите, что вы больны, а господинъ Быковъ меня сегодня никуда не пускаетъ. Я буду вамъ писать, другъ мой, я обѣщаюсь; но вѣдь одинъ Богъ знаетъ, что̀ можетъ случиться. Итакъ, простимся теперь на всегда, другъ мой, голубчикъ мой, родной мой, навсегда!.. Охъ, какъ-бы я теперь обняла васъ! Прощайте, мой другъ, прощайте, прощайте. Живите счастливо; будьте здоровы. Моя молитва будетъ вѣчно объ васъ. О! Какъ мнѣ грустно, какъ давитъ всю мою душу. Господинъ Быковъ зоветъ меня. Васъ вѣчно любящая.

В.

P. S. Моя душа такъ полна, такъ полна теперь слезами... Слезы тѣснятъ меня, рвутъ меня. Прощайте. Боже! какъ грустно!

Помните, помните вашу бѣдную Вариньку.

Маточка, Варинька, голубчикъ мой, безцѣнная моя! Васъ увозятъ, вы ѣдете! Да, теперь лучше-бы сердце они изъ груди моей вырвали, чѣмъ васъ у меня! Какъ-же вы это!—Вотъ, вы плачете и вы ѣдете?! Вотъ я отъ васъ письмецо сейчасъ получилъ, все слезами закапанное. Стало быть, вамъ не хочется ѣхать; стало быть, васъ насильно увозятъ, стало быть, вамъ жаль меня, стало быть, вы меня любите! Да какъ-же, съ кѣмъ-же вы теперь будете? Тамъ вашему сердечку будетъ грустно, тошно и холодно. Тоска его высосетъ, грусть его пополамъ разорветъ. Вы тамъ умрете, васъ тамъ въ сыру землю положатъ; объ васъ и поплакать будетъ некому тамъ! Г-нъ Быковъ будетъ все зайцевъ травить... Ахъ, маточка, маточка! На что-же вы это рѣшились, какъ-же вы на такую мѣру рѣшиться могли? Что̀ вы сдѣлали, что̀ вы сдѣлали, что̀ вы надъ собою сдѣлали? Вѣдь васъ тамъ въ гробъ сведутъ; они заморятъ васъ тамъ, ангельчикъ. Вѣдь вы, маточка, какъ перышко слабенькія! И я-то гдѣ былъ? Чего я тутъ, дуракъ, глазѣлъ! Вижу, дитя блажитъ, у дитяти просто головка болитъ! Чѣмъ-бы тутъ по просту—такъ нѣтъ-же! дуракъ дуракомъ, и не думаю ничего, и не вижу ничего, какъ будто и правъ, какъ будто и дѣло до меня не касается; и еще за фальбалой бѣгалъ!.. Нѣтъ, я, Варинька, встану; я къ завтрашнему дню, можетъ быть, выздоровлю, такъ вотъ я и встану!.. Я, маточка, подъ колеса брошусь; я васъ не пущу уѣзжать! Да нѣтъ, что-же это въ самомъ дѣлѣ такое? По какому праву все это дѣлается? Я съ вами уѣду; я за каретой вашей побѣгу, если меня не возьмете, и буду бѣжать что есть мочи, покамѣстъ духъ изъ меня выйдетъ. Да вы знаете-ли только, что̀ тамъ такое, куда вы ѣдете-то, маточка? Вы можетъ быть, этого не знаете, такъ меня спросите! Тамъ степь, родная моя, тамъ степь, голая степь; вотъ какъ моя ладонь голая! Тамъ ходитъ баба безчувственная, да мужикъ необразованный, пьяница ходитъ. Тамъ теперь листья съ деревьевъ осыпались, тамъ дожди, тамъ холодно,—а вы туда ѣдете! Ну, господину Быкову тамъ есть занятіе: онъ тамъ будетъ съ зайцами; а вы что? Вы помѣщицей хотите быть, маточка? Но, херувимчикъ вы мой! Вы поглядите-ка на себя, похожи-ли вы на помѣщицу?.. Да какъ-же можетъ быть такое, Варинька! Къ кому-же я письма буду писать, маточка? Да! Вотъ вы возьмите-ка въ соображеніе, маточка,—дескать, къ кому-же онъ письма-то будетъ писать? Кого-же я маточкой-то называть буду; именемъ-то, любезнымъ такимъ кого называть буду? Гдѣ мнѣ васъ найдти потомъ, ангельчикъ мой? Я умру,

Варинька, непремѣнно умру; не перенесетъ мое сердце такого несчастія! Я васъ какъ свѣтъ Господень любилъ, какъ дочку родную любилъ, я все въ васъ любилъ, маточка, родная моя! И самъ для васъ только и жилъ однѣхъ! Я и работалъ, и бумаги писалъ, и ходилъ, и гулялъ, и наблюденія мои бумагѣ передавалъ въ видѣ дружескихъ писемъ, все оттого, что вы, маточка, здѣсь, напротивъ, по близости жили. Вы, можетъ быть, этого и не знали, а это все было именно такъ! Да, послушайте, маточка, вы разсудите, голубчикъ мой миленькой, какъ-же это можетъ быть, чтобы вы отъ насъ уѣхали? Родная моя, вѣдь вамъ ѣхать нельзя, невозможно; просто, рѣшительно никакой возможности нѣтъ! Вѣдь вотъ дождь идетъ, а вы слабенькія, вы простудитесь. Ваша карета промокнетъ; она непремѣнно промокнетъ. Она, только что вы за заставу выѣдете, и сломается; нарочно сломается. Вѣдь здѣсь въ Петербургѣ прескверно кареты дѣлаютъ! Я и каретниковъ этихъ всѣхъ знаю; они только чтобъ фасончикъ, игрушечку тамъ какую нибудь смастерить; а не прочно! Присягну, что непрочно дѣлаютъ! Я, маточка, на колѣни передъ господиномъ Быковымъ брошусь; я ему докажу, все докажу! И вы, маточка, докажите; резономъ докажите ему! Скажите, что вы остаетесь и что вы не можете ѣхать!.. Ахъ, зачѣмъ это онъ въ Москвѣ на купчихѣ не женился! Ужь пусть-бы онъ тамъ на ней-то женился! Ему купчиха лучше, ему она гораздо лучше-бы шла; ужь это я знаю почему! А я-бы васъ здѣсь у себя держалъ. Да что онъ вамъ-то, маточка, Быковъ-то? Чѣмъ онъ для васъ такъ вдругъ милъ сдѣлался? Вы, можетъ быть, оттого, что онъ вамъ фальбалу-то все закупаетъ, вы, можетъ быть, отъ этого! Да вѣдь что-же фальбала? Зачѣмъ фальбала? Вѣдь она, маточка, вздоръ! Тутъ рѣчь идетъ о жизни человѣческой, а вѣдь она, маточка, тряпка фальбала; она, маточка, фальбала-то тряпица! Да я вотъ вамъ самъ, вотъ только что жалованье получу, фальбалы накуплю; я вамъ ее накуплю, маточка; у меня тамъ вотъ и магазинчикъ знакомый есть; вотъ только жалованье дайте дождаться мнѣ, херувимчикъ мой, Варинька! Ахъ, Господи, Господи! Такъ вы это непремѣнно въ степь съ господиномъ Быковымъ уѣзжаете, безвозвратно уѣзжаете! Ахъ, маточка!.. Нѣтъ, вы мнѣ еще напишите, еще мнѣ письмецо напишите обо всемъ, и когда уѣдете, такъ и оттуда письмо напишите. А то вѣдь, ангелъ небесный мой, это будетъ послѣднее письмо; а вѣдь никакъ не можетъ такъ быть, чтобы письмо это было послѣднее! Вѣдь вотъ какъ-же, такъ вдругъ, именно, непремѣнно послѣднее! Да нѣтъ-же, я буду

писать, да и вы-то пишите... А то у меня и слогъ теперь формируется... Ахъ, родная моя, что слогъ! Вѣдь вотъ я теперь и не знаю что это я пишу, никакъ не знаю, ничего не знаю и не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу только-бы писать, только-бы вамъ написать-то побольше... Голубчикъ мой, родная моя, маточка вы моя!

ДВОЙНИКЪ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЭМА.

Напечатанъ первоначально въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1846 г., томъ 44-й. Затѣмъ просмотрѣно авторомъ для Полнаго Собранія его сочиненій, изд. Ѳ. Стелловскаго, 1865 г.

ГЛАВА I.

Было безъ малаго восемь часовъ утра, когда титулярный совѣтникъ Яковъ Петровичъ Голядкинъ очнулся послѣ долгаго сна, зѣвнулъ, потянулся и открылъ, наконецъ, совершенно глаза свои. Минуты съ двѣ, впрочемъ, лежалъ онъ неподвижно на своей постели, какъ человѣкъ не вполнѣ еще увѣренный, проснулся-ли онъ или все еще спитъ, на яву-ли и въ дѣйствительности-ли все что̀ около него теперь совершается, или — продолженіе его безпорядочныхъ сонныхъ грезъ. Вскорѣ, однако-жь, чувства господина Голядкина стали яснѣе и отчетливѣе принимать свои привычныя, обыденныя впечатлѣнія. Знакомо глянули на него зелено-грязноватыя, закоптѣлыя, пыльныя стѣны его маленькой комнатки, его комодъ краснаго дерева, стулья подъ красное дерево, столъ, окрашенный красною краскою, клеенчатый турецкій диванъ красноватаго цвѣта, съ зеленькими цвѣточками и, наконецъ, вчера впопыхахъ снятое платье и брошенное комкомъ на диванѣ. Наконецъ, сѣрый осенній день, мутный и грязный, такъ сердито и съ такой кислой гримасою заглянулъ къ нему сквозь тусклое окно въ комнату, что господинъ Голядкинъ никакимъ уже образомъ не могъ болѣе сомнѣваться, что онъ находится не въ тридесятомъ царствѣ какомъ нибудь, а въ городѣ Петербургѣ, въ столицѣ, въ Шестилавочной улицѣ, въ четвертомъ этажѣ одного весьма большаго, капитальнаго дома, въ собственной квартирѣ своей. Сдѣлавъ такое важное открытіе, господинъ Голядкинъ судорожно закрылъ глаза, какъ-бы сожалѣя о недавнемъ снѣ и желая его воротить на минутку. Но черезъ минуту онъ однимъ скачкомъ выпрыгнулъ изъ постели, вѣроятно, попавъ, наконецъ, въ ту идею, около которой вертѣлись до сихъ поръ разсѣянныя, не приведенныя въ надлежащій порядокъ мысли его Выпрыгнувъ изъ постели, онъ тотчасъ-же подбѣжалъ къ небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на комодѣ. Хотя отразившаяся въ зеркалѣ, заспанная, недослѣповатая и довольно оплѣ-

шивѣвшая фигура была именно такого незначительнаго свойства, что съ перваго взгляда не останавливала на себѣ рѣшительно ни чьего исключительнаго вниманія, но, повидимому, обладатель ея остался совершенно доволенъ всѣмъ тѣмъ, что̀ увидѣлъ въ зеркалѣ. «Вотъ-бы штука была», сказалъ господкинъ Голядкинъ въ полголоса: «вотъ-бы штука была, если-бъ я сегодня манкировалъ въ чемъ нибудь, если-бъ вышло, напримѣръ, что нибудь не такъ,—прыщикъ тамъ какой нибудь вскочилъ посторонній, или произошла-бы другая какая нибудь непріятность; впрочемъ, покамѣстъ недурно; покамѣстъ все идетъ хорошо». Очень обрадовавшись тому, что все идетъ хорошо, господинъ Голядкинъ поставилъ зеркало на прежнее мѣсто, а самъ, не смотря на то, что былъ босикомъ и сохранялъ на себѣ тотъ костюмъ, въ которомъ имѣлъ обыкновеніе отходить ко сну, подбѣжалъ къ окошку и съ большимъ участіемъ началъ что-то отыскивать глазами на дворѣ дома, на который выходили окна квартиры его. Повидимому, и то, что̀ онъ отыскалъ на дворѣ, совершенно его удовлетворило; лицо его просіяло самодовольной улыбкою. Потомъ,— заглянувъ, впрочемъ, сначала за перегородку въ каморку Петрушки, своего камердинера и увѣрившись, что въ ней нѣтъ Петрушки, — на цыпочкахъ подошелъ къ столу, отперъ въ немъ одинъ ящикъ, пошарилъ въ самомъ заднемъ уголку этого ящика, вынулъ, наконецъ, изъ-подъ старыхъ пожелтѣвшихъ бумагъ и кой-какой дряни зеленый истертый бумажникъ, открылъ его осторожно—и бережно и съ наслажденіемъ заглянулъ въ самый дальній, потаенный карманъ его. Вѣроятно, пачка зелененькихъ, сѣренькихъ, синенькихъ, красненькихъ и разныхъ пестренькихъ бумажекъ тоже весьма привѣтливо и одобрительно глянула на господина Голядкина: съ просіявшимъ лицомъ положилъ онъ передъ собою на столъ раскрытый бумажникъ и крѣпко потеръ руки въ знакъ величайшаго удовольствія. Наконецъ, онъ вынулъ ее, свою утѣшительную пачку государственныхъ ассигнацій и въ сотый разъ, впрочемъ, считая со вчерашняго дня, началъ пересчитывать ихъ, тщательно перетирая каждый листокъ между большимъ и указательнымъ пальцами. «Семьсотъ пятьдесятъ рублей ассигнаціями!» окончилъ онъ, наконецъ, полушепотомъ. «Семьсотъ пятьдесятъ рублей... знатная сумма! Это пріятная сумма», продолжалъ онъ дрожащимъ, немного разслабленнымъ отъ удовольствія голосомъ, сжимая пачку въ рукахъ и улыбаясь значительно: «это весьма пріятная сумма! Хоть кому пріятная сумма! Желалъ-бы я видѣть теперь человѣка, для котораго эта сумма

была-бы ничтожною суммою? Такая сумма можетъ далеко повести человѣка»...

— Однако, что̀-же это такое? подумалъ господкинъ Голядкинъ:—да гдѣ-же Петрушка?—Все еще сохраняя тотъ-же костюмъ, заглянулъ онъ другой разъ за перегородку. Петрушки опять не нашлось за перегородкой, а сердился, горячился и выходилъ изъ себя лишь одинъ поставленный тамъ на полу самоваръ, безпрерывно угрожая сбѣжать, и что-то съ жаромъ, быстро болталъ на своемъ мудреномъ языкѣ, картавя и шепелявя господину Голядкину, вѣроятно, то: что, дескать, возьми-же меня, добрые люди, вѣдь я совершенно поспѣлъ и готовъ.

— Черти-бы взяли! подумалъ господинъ Голядкинъ. — Эта лѣнивая бестія можетъ, наконецъ, вывесть человѣка изъ послѣднихъ границъ; гдѣ онъ шатается? — Въ справедливомъ негодованіи вошелъ онъ въ переднюю, состоявшую изъ маленькаго корридора, въ концѣ котораго находилась дверь въ сѣни, и увидѣлъ своего служителя, окруженнаго порядочной кучкой всякаго лакейскаго, домашняго и случайнаго сброда. Петрушка что-то разсказывалъ, прочіе слушали. Повидимому, ни тема разговора, ни самый разговоръ не понравились господину Голядкину. Онъ немедленно кликнулъ Петрушку и возвратился въ комнату совсѣмъ недовольный, даже разстроенный. «Эта бестія ни за грошъ готова продать человѣка, а тѣмъ болѣе барина», подумалъ онъ про себя: «и продалъ, непремѣнно продалъ, пари готовъ держать, что ни за копѣйку продалъ. Ну, что?...»

— Ливрею принесли, сударь.

— Надѣнь и пошелъ сюда.

Надѣвъ ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошелъ въ комнату барина. Костюмированъ онъ былъ странно до нельзя. На немъ была зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея, съ золотыми обсыпавшимися галунами, и, повидимому, шитая на человѣка ростомъ на цѣлый аршинъ выше Петрушки. Въ рукахъ онъ держалъ шляпу, тоже съ галунами и съ зелеными перьями, а при бедрѣ имѣлъ лакейскій мечъ въ кожанныхъ ножнахъ.

Наконецъ, для полноты картины, Петрушка, слѣдуя любимому своему обыкновенію ходить всегда въ неглиже, по домашнему, былъ и теперь босикомъ. Господинъ Голядкинъ осмотрѣлъ Петрушку кругомъ и, повидимому, остался доволенъ. Ливрея, очевидно, была взята на прокатъ для какого-то торжественнаго случая. Замѣтно было еще, что, во время осмотра, Петрушка глядѣлъ съ какимъ-то страннымъ ожиданіемъ на барина, и съ

необыкновеннымъ любопытствомъ слѣдилъ за всякимъ движеніемъ его, что̀ крайне смущало господина Голядкина.

— Ну, а карета?

— И карета пріѣхала.

— На весь день?

— На весь день. Двадцать пять, ассигнаціей.

— И сапоги принесли?

— И сапоги принесли.

— Болванъ! Не можешь сказать принесли-съ. Давай ихъ сюда. Изъявивъ свое удовольствіе, что сапоги пришлись хорошо, господинъ Голядкинъ спросилъ чаю, умываться и бриться. Обрился онъ весьма тщательно и такимъ-же образомъ вымылся, хлебнулъ чаю на-скоро и приступилъ къ своему главному, окончательному облаченію: надѣлъ панталоны почти совершенно новые; потомъ манишку съ бронзовыми пуговками, жилетку съ весьма яркими и пріятными цвѣточками; на шею повязалъ пестрый шелковый галстукъ, и, наконецъ, натянулъ вицъ-мундиръ тоже новехонькій и тщательно вычищенный. Одѣваясь, онъ нѣсколько разъ съ любовью взглядывалъ на свои сапоги, поминутно приподымалъ то ту, то другую ногу, любовался фасономъ, и что-то все шепталъ себѣ подъ носъ, изрѣдка подмигивая своей думкѣ выразительною гримаскою. Впрочемъ, въ это утро господинъ Голядкинъ былъ крайне разсѣянъ, потому что почти не замѣтилъ улыбочекъ и гримасъ на свой счетъ помогавшаго ему одѣваться Петрушки. Наконецъ, справивъ все что слѣдовало, совершенно одѣвшись, господинъ Голядкинъ положилъ въ карманъ свой бумажникъ, полюбовался окончательно на Петрушку, надѣвшаго сапоги и бывшаго такимъ образомъ тоже въ совершенной готовности и, замѣтивъ, что все уже сдѣлано и ждать уже болѣе нечего, торопливо, суетливо, съ маленькимъ трепетаніемъ сердца сбѣжалъ съ своей лѣстницы. Голубая извощичья карета, съ какими-то гербами, съ громомъ подкатилась къ крыльцу. Петрушка, перемигиваясь съ извощикомъ и съ кое-какими зѣваками, усадилъ своего барина въ карету; непривычнымъ голосомъ и едва сдерживая дурацкій смѣхъ, крикнулъ *пошолъ!* вскочилъ на запятки, и все это, съ шумомъ и громомъ, звеня и треща, покатилось на Невскій проспектъ. Только что голубой экипажъ успѣлъ выѣхать за ворота, какъ господинъ Голядкинъ судорожно потеръ себѣ руки и залился, тихимъ, неслышнымъ смѣхомъ, какъ человѣкъ веселаго характера, которому удалось съиграть славную штуку, и которой штукѣ онъ самъ радъ-радехонекъ. Впрочемъ,

тотчасъ-же послѣ припадка веселости, смѣхъ смѣнился какимъ-то страннымъ озабоченнымъ выраженіемъ въ лицѣ господина Голядкина. Не смотря на то, что время было сырое и пасмурное, онъ опустилъ оба окна кареты и заботливо началъ высматривать направо и налѣво прохожихъ, тотчасъ принимая приличный и степенный видъ, какъ только замѣчалъ, что на него кто нибудь смотритъ. На поворотѣ съ Литейной на Невскій проспектъ, онъ вздрогнулъ отъ одного самаго непріятнаго ощущенія и, сморщась какъ бѣдняга, которому наступили нечаянно на мозоль, торопливо, даже со страхомъ прижался въ самый темный уголокъ своего экипажа. Дѣло въ томъ, что онъ встрѣтилъ двухъ сослуживцевъ своихъ, двухъ молодыхъ чиновниковъ того вѣдомства. въ которомъ самъ состоялъ на службѣ. Чиновники-же, какъ показалось господину Голядкину, были тоже съ своей стороны въ крайнемъ недоумѣніи, встрѣтивъ такимъ образомъ своего сотоварища; даже одинъ изъ нихъ указалъ пальцемъ на господина Голядкина. Господину Голядкину показалось даже, что другой кликнулъ его громко по имени, что̀, разумѣется, было весьма неприлично на улицѣ. Герой нашъ притаился и не отозвался. «Что за мальчишки!» началъ онъ разсуждать самъ съ собою. «Ну, что-же такого тутъ страннаго? Человѣкъ въ экипажѣ; человѣку нужно быть въ экипажѣ, вотъ онъ и взялъ экипажъ. Просто дрянь! Я ихъ знаю,—просто мальчишки, которыхъ еще нужно посѣчь! Имъ-бы только въ орлянку при жалованьѣ, да гдѣ нибудь потаскаться, вотъ это ихъ дѣло. Сказалъ-бы имъ всѣмъ кое-что, да ужь только»... Господинъ Голядкинъ не докончилъ и обмеръ. Бойкая пара казанскихъ лошадокъ, весьма знакомая господину Голядкину, запряженныхъ въ щегольскія дрожки, быстро обгоняла съ правой стороны его экипажъ. Господинъ, сидѣвшій на дрожкахъ, нечаянно увидѣвъ лицо господина Голядкина, довольно неосторожно высунувшаго свою голову изъ окошка кареты, тоже, повидимому, крайне былъ изумленъ такой неожиданной встрѣчей и нагнувшись сколько могъ, съ величайшимъ любопытствомъ и участіемъ сталъ заглядывать въ тотъ уголъ кареты, куда герой нашъ поспѣшилъ было спрятаться. Господинъ на дрожкахъ былъ Андрей Филипповичъ, начальникъ отдѣленія въ томъ служебномъ мѣстѣ, въ которомъ числился и господинъ Голядкинъ, въ качествѣ помощника своего столоначальника. Господинъ Голядкинъ, видя, что Андрей Филипповичъ узналъ его совершенно, что глядитъ во всѣ глаза и что спрятаться никакъ невозможно, покраснѣлъ до ушей. Поклониться

иль нѣтъ? Отозваться, или? Признаться, или нѣтъ? думалъ въ неописанной тоскѣ нашъ герой, или прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожій со мною, и смотрѣть какъ ни въ чемъ не бывало? Именно не я, не я— да и только, говорилъ господинъ Голядкинъ, снимая шляпу предъ Андреемъ Филипповичемъ и не сводя съ него глазъ. «Я, я ничего», шепталъ онъ черезъ силу, «я совсѣмъ ничего, это вовсе не я, не я—да и только». Скоро, однако-жь, дрожки обогнали карету, и магнетизмъ начальническихъ взоровъ прекратился. Однако онъ все еще краснѣлъ, улыбался, что-то бормоталъ про себя... «Дуракъ я былъ, что не отозвался», подумалъ онъ, наконецъ, «слѣдовало-бы просто на смѣлую ногу и съ откровенностью, не лишенною благородства:—дескать, такъ и такъ, Андрей Филипповичъ, тоже приглашенъ на обѣдъ, да и только!» Потомъ, вдругъ вспомнивъ, что срѣзался, герой нашъ вспыхнулъ какъ огонь, нахмурилъ брови и бросилъ страшный вызывающій взглядъ на передній уголъ кареты, взглядъ такъ и назначенный съ тѣмъ, чтобъ испепелить разомъ въ прахъ всѣхъ враговъ его. Наконецъ, вдругъ по вдохновенію какому-то, дернулъ онъ за снурокъ, привязанный къ локтю извощика-кучера. остановилъ карету и приказалъ поворотить назадъ, на Литейную. Дѣло въ томъ, что господину Голядкину немедленно понадобилось, для собственнаго-же спокойствія, вѣроятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Крестьяну Ивановичу. И хотя съ Крестьяномъ Ивановичемъ былъ онъ знакомъ съ весьма недавняго времени, именно, посѣтилъ его всего одинъ разъ на прошлой недѣлѣ, вслѣдствіе кой-какихъ надобностей, но вѣдь докторъ, какъ говорятъ, что̀ духовникъ, — скрываться было-бы глупо; а знать паціента его же обязанность. «Такъ-ли, впрочемъ, будетъ все это», продолжалъ нашъ герой, выходя изъ кареты у подъѣзда одного пяти-этажнаго дома на Литейной, возлѣ котораго приказалъ остановить свой экипажъ: «такъ-ли будетъ все это? Прилично-ли будетъ? Кстати-ли будетъ? Впрочемъ, вѣдь что-же», продолжалъ онъ, подымаясь на лѣстницу, переводя духъ и сдерживая біеніе сердца, имѣвшаго у него привычку биться на всѣхъ чужихъ лѣстницахъ: «что-же? вѣдь я про свое, и предосудительнаго здѣсь ничего не имѣется... Скрываться было-бы глупо. Я вотъ такимъ-то образомъ и сдѣлаю видъ, что я ничего, а что такъ, мимоѣздомъ... Онъ и увидитъ, что такъ тому и слѣдуетъ быть».

Такъ разсуждая, господинъ Голядкинъ поднялся до втораго этажа, и остановился передъ квартирою пятаго номера, на две-

ряхъ котораго помѣщена была красивая мѣдная дощечка съ надписью:

Крестьянъ Ивановичъ Рутеншпицъ,
докторъ медицины и хирургіи.

Остановившись, герой нашъ поспѣшилъ придать своей физіономіи приличный, развязный, не безъ нѣкоторой любезности видъ, и приготовился дернуть за снурокъ колокольчика. Приготовившись дернуть за снурокъ колокольчика, онъ немедленно и довольно кстати разсудилъ, что не лучше-ли завтра, и что теперь покамѣстъ надобности большой не имѣется. Но такъ какъ господинъ Голядкинъ услышалъ вдругъ на лѣстницѣ чьи-то шаги, то немедленно перемѣнилъ новое рѣшеніе свое и уже такъ, заодно, впрочемъ, съ самымъ рѣшительнымъ видомъ, позвонилъ у дверей Крестьяна Ивановича.

ГЛАВА II.

Докторъ медицины и хирургіи, Крестьянъ Ивановичъ Рутеншпицъ, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человѣкъ, одаренный густыми сѣдѣющими бровями и бакенбардами, выразительнымъ, сверкающимъ взглядомъ, которымъ однимъ, повидимому, прогонялъ всѣ болѣзни, и, наконецъ, значительнымъ орденомъ,— сидѣлъ въ это утро у себя въ кабинетѣ, въ покойныхъ креслахъ своихъ, пилъ кофе, принесенный ему собственноручно его докторшей, курилъ сигару и прописывалъ отъ времени до времени рецепты своимъ паціентамъ. Прописавъ послѣдній пузырекъ одному старичку, страдавшему геморроемъ, и выпроводивъ страждущаго старичка въ боковыя двери, Крестьянъ Ивановичъ усѣлся, въ ожиданіи слѣдующаго посѣщенія. Вошелъ господинъ Голядкинъ.

Повидимому, Крестьянъ Ивановичъ нисколько не ожидалъ, да и не желалъ видѣть предъ собою господина Голядкина, потому что онъ вдругъ на мгновеніе смутился и невольно выразилъ на лицѣ своемъ какую-то странную, даже можно сказать, недовольную мину. Такъ какъ, съ своей стороны, господинъ Голядкинъ почти всегда какъ-то некстати опадалъ и терялся въ тѣ мгновенія, въ которыя случалось ему абордировать кого нибудь ради собственныхъ дѣлишекъ своихъ, то и теперь, не приготовивъ первой фразы, бывшей для него въ такихъ случаяхъ настоящимъ камнемъ преткновенія, сконфузился препорядочно

что-то пробормоталъ, — впрочемъ, кажется, извиненіе, — и, не зная, что далѣе дѣлать, взялъ стулъ и сѣлъ. Но вспомнивъ, что усѣлся безъ приглашенія, тотчасъ-же почувствовалъ свое неприличіе и поспѣшилъ поправить ошибку свою въ незнаніи свѣта и хорошаго тона, немедленно вставъ съ занятаго имъ безъ приглашенія мѣста. Потомъ опомнившись и смутно замѣтивъ, что сдѣлалъ двѣ глупости разомъ, рѣшился, ни мало не медля, на третью, т. е. попробовалъ было принести оправданіе, пробормоталъ кое-что улыбаясь, покраснѣлъ, сконфузился, выразительно замолчалъ и, наконецъ, сѣлъ окончательно и уже не вставалъ болѣе, а такъ только на всякій случай обезпечилъ себя тѣмъ-же самымъ вызывающимъ взглядомъ, который имѣлъ необычайную силу мысленно испепелять и разгромлять въ прахъ всѣхъ враговъ господина Голядкина. Сверхъ того, этотъ взглядъ вполнѣ выражалъ независимость господина Голядкина, т. е. говорилъ ясно, что господинъ Голядкинъ совсѣмъ ничего, что онъ самъ по себѣ, какъ и всѣ, и что его изба во всякомъ случаѣ съ краю. Крестьянъ Ивановичъ кашлянулъ, крякнулъ, повидимому, въ знакъ одобренія и согласія своего на все это, и устремилъ инспекторскій, вопросительный взглядъ на господина Голядкина.

— Я, Крестьянъ Ивановичъ, началъ господинъ Голядкинъ съ улыбкою: — пришелъ васъ безпокоить вторично, и теперь вторично осмѣливаюсь просить вашего снисхожденія... Господинъ Голядкинъ очевидно затруднялся въ словахъ.

— Гм... да! проговорилъ Крестьянъ Ивановичъ, выпустивъ изо рта струю дыма и кладя сигару на столъ: — но вамъ нужно предписаній держаться; я вѣдь вамъ объяснялъ, что пользованіе ваше должно состоять въ измѣненіи привычекъ... Ну, развлеченія, ну, тамъ, друзей и знакомыхъ должно посѣщать, а вмѣстѣ, съ тѣмъ и бутылки врагомъ не бывать; равномѣрно держаться веселой компаніи.

Господинъ Голядкинъ, все еще улыбаясь, поспѣшилъ замѣтить, что ему кажется, что онъ, какъ и всѣ, что онъ у себя, что развлеченія у него, какъ и у всѣхъ... что онъ, конечно, можетъ ѣздить въ театръ, ибо тоже, какъ и всѣ, средства имѣетъ, что днемъ онъ въ должности, а вечеромъ у себя, что онъ совсѣмъ ничего; даже замѣтилъ тутъ-же мимоходомъ, что онъ сколько ему кажется, не хуже другихъ, что онъ живетъ дома, у себя на квартирѣ, и что, наконецъ, у него есть Петрушка. Тутъ господинъ Голядкинъ запнулся.

— Гм! нѣтъ, такой порядокъ не то, и я васъ совсѣмъ не то

хотѣлъ спрашивать. Я вообще знать интересуюсь, что вы большой-ли любитель веселой компаніи, пользуетесь-ли весело временемъ... Ну, тамъ, меланхолическій или веселый образъ жизни теперь продолжаете?

— Я, Крестьянъ Ивановичъ...

— Гм!.. я говорю, перебилъ докторъ: — что вамъ нужно коренное преобразованіе всей вашей жизни имѣть и въ нѣкоторомъ смыслѣ переломить свой характеръ. (Крестьянъ Ивановичъ сильно ударилъ на слово «переломить», и остановился на минуту съ весьма значительнымъ видомъ). Не чуждаться жизни веселой; спектакли и клубъ посѣщать и во всякомъ случаѣ бутылки врагомъ не бывать. Дома сидѣть не годится... вамъ дома сидѣть никакъ невозможно.

— Я, Крестьянъ Ивановичъ, люблю тишину, проговорилъ господинъ Голядкинъ, бросая значительный взглядъ на Крестьяна Ивановича, и, очевидно, ища словъ для удачнѣйшаго выраженія мысли своей:—въ квартирѣ только я, да Петрушка.. я хочу сказать: мой человѣкъ, Крестьянъ Ивановичъ. Я хочу сказать, Крестьянъ Ивановичъ, что я иду своей дорогой, особой дорогой, Крестьянъ Ивановичъ. Я себѣ особо, и, сколько мнѣ кажется, ни отъ кого не завишу. Я, Крестьянъ Ивановичъ, тоже гулять выхожу.

— Какъ?.. Да! Ну, ныньче гулять не составляетъ никакой пріятности; климатъ весьма нехорошій.

— Да-съ, Крестьянъ Ивановичъ. Я, Крестьянъ Ивановичъ, хоть и смирный человѣкъ, какъ я уже вамъ, кажется, имѣлъ честь объяснить, но дорога моя отдѣльно идетъ, Крестьянъ Ивановичъ. Путь жизни широкъ... Я хочу... я хочу, Крестьянъ Ивановичъ. сказать этимъ... Извините меня, Крестьянъ Ивановичъ, я не мастеръ красно говорить.

— Гм!.. вы говорите...

— Я говорю, чтобъ вы меня извинили, Крестьянъ Ивановичъ въ томъ, что я, сколько мнѣ кажется, не мастеръ красно говорить, сказалъ господинъ Голядкинъ полуобиженнымъ тономъ, немного сбиваясь и путаясь.—Въ этомъ отношеніи я, Крестьянъ Ивановичъ, не такъ какъ другіе, прибавилъ онъ съ какою-то особенною улыбкою, — и много говорить не умѣю, придавать слогу красоту не учился. Зато я, Крестьянъ Ивановичъ, дѣйствую; зато я дѣйствую, Крестьянъ Ивановичъ.

— Гм!.. Какъ-же это... вы дѣйствуете? отозвался Крестьянъ Ивановичъ. Затѣмъ, на минутку, послѣдовало молчаніе. Докторъ

какъ-то странно и недовѣрчиво вглянулъ на господина Голядкина. Господинъ Голядкинъ тоже въ свою очередь довольно недовѣрчиво покосился на доктора.

— Я, Крестьянъ Ивановичъ, сталъ продолжать господинъ Голядкинъ все въ прежнемъ тонѣ, немного раздраженный и озадаченный крайнимъ упорствомъ Крестьяна Ивановича: — я, Крестьянъ Ивановичъ, люблю спокойствіе, а не свѣтскій шумъ. Тамъ у нихъ, я говорю, въ большомъ свѣтѣ, Крестьянъ Ивановичъ, нужно умѣть паркеты лощить сапогами... (тутъ господинъ Голядкинъ немного пришаркнулъ по полу ножкой), тамъ это спрашиваютъ-съ, и каламбуръ тоже спрашиваютъ... комплиментъ раздушенный нужно умѣть составлять-съ... вотъ что́ тамъ спрашиваютъ. А я этому не учился, Крестьянъ Ивановичъ, — хитростямъ этимъ всѣмъ я не учился; некогда было. Я человѣкъ простой, незатѣйливый, и блеска наружнаго нѣтъ во мнѣ. Въ этомъ, Крестьянъ Ивановичъ, я полагаю оружіе; я кладу его, говоря въ этомъ смыслѣ. — Все это господинъ Голядкинъ проговорилъ, разумѣется, съ такимъ видомъ, который ясно давалъ знать, что герой нашъ вовсе не жалѣетъ о томъ, что кладетъ въ этомъ смыслѣ оружіе, и что о нъ хитростямъ не учился, но что даже совершенно напротивъ. Крестьянъ Ивановичъ, слушая его, смотрѣлъ внизъ, съ весьма непріятной гримасой въ лицѣ, и какъ будто заранѣе что-то предчувствовалъ. За тирадою господина Голядкина послѣдовало довольно долгое и значительное молчаніе.

— Вы, кажется, немного отвлеклись отъ предмета, сказалъ, наконецъ, Крестьянъ Ивановичъ въ полголоса: — я, признаюсь вамъ, не могъ васъ совершенно понять.

— Я не мастеръ красно говорить, Крестьянъ Ивановичъ; я уже вамъ имѣлъ честь доложить, Крестьянъ Ивановичъ, что я не мастеръ красно говорить, сказалъ господинъ Голядкинъ, на этотъ разъ рѣзкимъ и рѣшительнымъ тономъ.

— Гм!..

— Крестьянъ Ивановичъ! началъ опять господинъ Голядкинъ тихимъ, но многозначащимъ голосомъ, отчасти въ торжественномъ родѣ и останавливаясь на каждомъ пунктѣ:—Крестьянъ Ивановичъ! вошедши сюда, я началъ извиненіями. Теперь повторяю прежнее, и опять прошу вашего снисхожденія на время. Мнѣ, Крестьянъ Ивановичъ, отъ васъ скрывать нечего. Человѣкъ я маленькій, сами вы знаете; но, къ счастію моему, не жалѣю о томъ, что я маленькій человѣкъ. Даже напротивъ, Крестьянъ

Ивановичъ; и, чтобъ все сказать, я даже горжусь тѣмъ, что не большой человѣкъ, а маленькій. Не интригантъ,—и этимъ тоже горжусь. Дѣйствую не въ тихомолку, а открыто, безъ хитростей, и хотя-бы могъ вредить въ свою очередь и очень-бы могъ, и даже знаю надъ кѣмъ и какъ это сдѣлать. Крестьянъ Ивановичъ, но не хочу замарать себя, и въ этомъ смыслѣ умываю руки. Въ этомъ смыслѣ, говорю, я ихъ умываю, Крестьянъ Ивановичъ!—Господинъ Голядкинъ на мгновеніе выразительно замолчалъ; говорилъ онъ съ кроткимъ одушевленіемъ.

— Иду я, Крестьянъ Ивановичъ, сталъ продолжать нашъ герой: — прямо, открыто и безъ окольныхъ путей, потому что ихъ презираю, и предоставляю это другимъ. Не стараюсь унизить тѣхъ, которые, можетъ быть, насъ съ вами почище... т. е., я хочу сказать насъ съ ними, Крестьянъ Ивановичъ, я не хотѣлъ сказать съ вами. Полусловъ не люблю; мизерныхъ двуличностей не жалую; клеветою и сплетней гнушаюсь. Маску надѣваю лишь въ маскарадъ, а не хожу съ нею передъ людьми каждодневно. Спрошу я васъ только, Крестьянъ Ивановичъ, какъ-бы стали вы мстить врагу своему, злѣйшему врагу своему,— тому, кого-бы вы считали такимъ? заключилъ господинъ Голядкинъ, бросивъ вызывающій взглядъ на Крестьяна Ивановича.

Хотя господинъ Голядкинъ проговорилъ все это до нельзя отчетливо, ясно, съ увѣренностью, взвѣшивая слова и разсчитывая на вѣрнѣйшій эффектъ, но между тѣмъ, съ безпокойствомъ, съ большимъ безпокойствемъ, съ крайнимъ безпокойствомъ смотрѣлъ теперь на Крестьяна Ивановича. Теперь онъ обратился весь въ зрѣніе, и робко, съ досаднымъ, тоскливымъ нетерпѣніемъ ожидалъ отвѣта Крестьяна Ивановича. Но, къ изумленію и къ совершенному пораженію господина Голядкина, Крестьянъ Ивановичъ что-то пробормоталъ себѣ подъ носъ; потомъ придвинулъ кресла къ столу, и довольно сухо, но, впрочемъ, учтиво объявилъ ему что-то въ родѣ того, что ему время дорого, что онъ какъ-то не совсѣмъ понимаетъ; что, впрочемъ, онъ, чѣмъ можетъ, готовъ служить, по силамъ, но что все дальнѣйшее и до него не касающееся онъ оставляетъ. Тутъ онъ взялъ перо, придвинулъ бумагу, выкроилъ изъ нея докторской формы лоскутикъ и объявилъ, что тотчасъ пропишетъ, что слѣдуетъ.

— Нѣтъ-съ, не слѣдуетъ, Крестьянъ Ивановичъ! Нѣтъ-съ, это вовсе не слѣдуетъ! проговорилъ господинъ Голядкинъ, привставъ съ мѣста и хватая Крестьяна Ивановича за правую руку: — этого, Крестьянъ Ивановичъ, здѣсь вовсе не надобно...

А между тѣмъ, покамѣстъ говорилъ это все господинъ Голядкинъ, въ немъ произошла какая-то странная перемѣна. Сѣрые глаза его какъ-то странно блеснули, губы его задрожали, всѣ мускулы, всѣ черты лица его заходили, задвигались. Самъ онъ весь дрожалъ. Послѣдовавъ первому движенію своему и остановивъ руку Крестьяна Ивановича, господинъ Голядкинъ стоялъ теперь неподвижно, какъ будто самъ не довѣряя себѣ и ожидая вдохновенія для дальнѣйшихъ поступковъ.

Тогда произошла довольно странная сцена.

Немного озадаченный, Крестьянъ Ивановичъ на мгновеніе будто приросъ къ своему креслу и, потерявшись, смотрѣлъ во всѣ глаза господину Голядкину, который такимъ-же образомъ смотрѣлъ на него. Наконецъ, Крестьянъ Ивановичъ всталъ, придерживаясь немного за лацканъ вицъ-мундира господина Голядкина. Нѣсколько секундъ стояли они такимъ образомъ оба, неподвижно, и не сводя глазъ другъ съ друга. Тогда, впрочемъ, необыкновенно страннымъ образомъ разрѣшилось и второе движеніе господина Голядкина. Губы его затряслись, подбородокъ запрыгалъ и герой нашъ заплакалъ совсѣмъ неожиданно. Всхлипывая, кивая головой, и ударяя себя въ грудь правой рукою, а лѣвой схвативъ тоже за лацканъ домашней одежды Крестьяна Ивановича, хотѣлъ было онъ говорить и въ чемъ-то немедленно объясниться, но не могъ и слова сказать. Наконецъ, Крестьянъ Ивановичъ опомнился отъ своего изумленія.

— Полноте, успокойтесь, садитесь! проговорилъ онъ, наконецъ, стараясь посадить господина Голядкина въ кресла.

— У меня есть враги, Крестьянъ Ивановичъ, у меня есть враги; у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись... отвѣчалъ господинъ Голядкинъ боязливо и шепотомъ.

— Полноте, полноте; что враги! Не нужно враговъ поминать! Это совершенно не нужно. Садитесь, садитесь, продолжалъ Крестьянъ Ивановичъ, усаживая господина Голядкина окончательно въ кресла.

Господинъ Голядкинъ усѣлся, наконецъ, не сводя глазъ съ Крестьяна Ивановича. Крестьянъ Ивановичъ съ крайне недовольнымъ видомъ сталъ шагать изъ угла въ уголъ своего кабинета. Послѣдовало долгое молчаніе.

— Я вамъ благодаренъ, Крестьянъ Ивановичъ, весьма благодаренъ, и весьма чувствую все, что вы для меня теперь сдѣлали. Но гробъ не забуду я ласки вашей, Крестьянъ Ивановичъ, ска-

залъ, наконецъ, господинъ Голядкинъ, съ обиженнымъ видомъ вставая со стула.

— Полноте, полноте! Я вамъ говорю полноте! отвѣчалъ довольно строго Крестьянъ Ивановичъ на выходку господина Голядкина, еще разъ усаживая его на мѣсто.

— Ну, что у васъ? Разскажите мнѣ, что у васъ есть тамъ теперь непріятнаго, продолжалъ Крестьянъ Ивановичъ:—и о какихъ врагахъ говорите вы? Что у васъ есть тамъ такое?

— Нѣтъ, Крестьянъ Ивановичъ, мы лучше это оставимъ теперь, отвѣчалъ господинъ Голядкинъ, опустивъ глаза въ землю:—лучше отложимъ все это въ сторону, до времени... до другаго времени, Крестьянъ Ивановичъ, до болѣе удобнаго времени, когда все обнаружится, и маска спадетъ съ нѣкоторыхъ лицъ, и кое-что обнажится. А теперь, покамѣстъ, разумѣется, послѣ того что съ нами случилось... вы согласитесь сами, Крестьянъ Ивановичъ... Позвольте пожелать вамъ добраго утра, Крестьянъ Ивановичъ, сказалъ господинъ Голядкинъ, въ этотъ разъ рѣшительно и серьезно вставая съ мѣста и хватаясь за шляпу.

— А, ну... какъ хотите... гм... (Послѣдовало минутное молчаніе).—Я, съ моей стороны, вы знаете, что могу... и искренно вамъ добра желаю.

— Понимаю васъ, Крестьянъ Ивановичъ. понимаю; я васъ совершенно понимаю теперь... Во всякомъ случаѣ, извините меня, что я васъ обезпокоилъ, Крестьянъ Ивановичъ.

— Гм... Нѣтъ, я вамъ не то хотѣлъ говорить. Впрочемъ, какъ угодно. Медикаменты, по прежнему, продолжайте...

— Буду продолжать медикаменты, какъ вы говорите, Крестьянъ Ивановичъ, буду продолжать, и въ той-же аптекѣ брать буду... Ныньче и аптекаремъ быть, Крестьянъ Ивановичъ, уже важное дѣло...

— Какъ? Въ какомъ смыслѣ вы хотите сказать?

— Въ весьма обыкновенномъ смыслѣ, Крестьянъ Ивановичъ. Я хочу сказать, что ныньче такъ свѣтъ пошелъ...

— Гм...

— И что всякій мальчишка, не только аптекарскій, передъ порядочнымъ человѣкомъ носъ задираетъ теперь.

— Гм. Какъ-же вы это понимаете?

— Я говорю, Крестьянъ Ивановичъ, про извѣстнаго человѣка... про общаго намъ знакомаго, Крестьянъ Ивановичъ, напримѣръ, хоть про Владиміра Семеновича...

— А!

— Да, Крестьянъ Ивановичъ; и я знаю нѣкоторыхъ людей, Крестьянъ Ивановичъ, которые не слишкомъ-то держатся общаго мнѣнія, чтобъ иногда правду сказать.

— А!.. Какъ-же это?

— Да ужь такъ-съ; это, впрочемъ, постороннее дѣло; умѣютъ этакъ иногда поднести коку съ сокомъ.

— Что̀? Что̀ поднести?

— Коку съ сокомъ, Крестьянъ Ивановичъ; это пословица русская. Умѣютъ иногда кстати поздравить кого нибудь, напримѣръ; есть такіе люди, Крестьянъ Ивановичъ.

— Поздравить?

— Да-съ, поздравить, Крестьянъ Ивановичъ, какъ сдѣлалъ на дняхъ одинъ изъ моихъ короткихъ знакомыхъ...

— Одинъ изъ вашихъ короткихъ знакомыхъ... а! какъ-же это? сказалъ Крестьянъ Ивановичъ, внимательно взглянувъ на господина Голядкина.

— Да-съ, одинъ изъ моихъ близкихъ знакомыхъ поздравилъ съ чиномъ, съ полученіемъ ассесорскаго чина, другаго весьма близкаго тоже знакомаго и вдобавокъ пріятеля, какъ говорится, сладчайшаго друга. Этакъ къ слову пришлось. «Чувствительно, дескать, говоритъ, радъ случаю принести вамъ, Владиміръ Семеновичъ, мое поздравленіе, *искреннее* мое поздравленіе въ полученіи чина. И тѣмъ болѣе радъ, что ныньче, какъ всему свѣту извѣстно, вывелись бабушки, которыя ворожатъ». Тутъ господинъ Голядкинъ плутовски кивнулъ головой и, прищурясь, посмотрѣлъ на Крестьяна Ивановича...

— Гм. Такъ это сказалъ...

— Сказалъ, Крестьянъ Ивановичъ, сказалъ, да тутъ-же и взглянулъ на Андрея Филипповича, на дядю-то нашего нещечка, Владиміра Семеновича. Да что мнѣ, Крестьянъ Ивановичъ, что онъ ассесоромъ сдѣланъ? Мнѣ-то что̀ тутъ? Да жениться хочетъ, когда еще молоко, съ позволенія сказать, на губахъ не обсохло. Такъ таки и сказалъ. Дескать, говорю, Владиміръ Семеновичъ! Я теперь все сказалъ; позвольте-же мнѣ удалиться.

— Гм...

— Да, Крестьянъ Ивановичъ, позвольте-же мнѣ теперь, говорю, удалиться. Да тутъ, чтобъ ужь разомъ двухъ воробьевъ однимъ камнемъ убить, — какъ срѣзалъ молодца-то на бабушкахъ, и обращаюсь къ Кларѣ Олсуфьевнѣ (дѣло-то было третьяго дня у Олсуфья Ивановича),—а она только что романсъ пропѣла чувствительный,—говорю, дескать, «чувствительно пропѣть вы

романсы изволили, да только слушаютъ-то васъ не отъ чистаго сердца». И намекаю тѣмъ ясно, понимаете, Крестьянъ Ивановичъ, намекаю тѣмъ ясно, что ищутъ-то теперь не въ ней, а подальше...

— А! Ну что-же онъ?..

— Лимонъ съѣлъ, Крестьянъ Ивановичъ, какъ по пословицѣ говорится.

— Гм...

— Да-съ, Крестьянъ Ивановичъ. Тоже и старику самому говорю, — дескать, Олсуфій Ивановичъ, говорю, я знаю чѣмъ обязанъ я вамъ, цѣню вполнѣ благодѣянія ваши, которыми почти съ дѣтскихъ лѣтъ моихъ вы осыпали меня. Но откройте глаза, Олсуфій Ивановичъ, говорю. Посмотрите. Я самъ дѣло на чистоту и открыто веду, Олсуфій Ивановичъ.

— А, вотъ какъ!

— Да, Крестьянъ Ивановичъ. Оно вотъ какъ...

— Что-жь онъ?

— Да что онъ, Крестьянъ Ивановичъ! Мямлитъ; и того, и сего, и я тебя знаю, и что его превосходительство благодѣтельный человѣкъ — и пошелъ, и размазался... Да вѣдь что-жь? Отъ старости, какъ говорится, покачнулся порядкомъ.

— А! Такъ вотъ какъ теперь!

— Да, Крестьянъ Ивановичъ. И всѣ-то мы такъ, чего! старикашка! въ гробъ смотритъ, дышетъ на ладанъ, какъ говорится, а сплетню бабью заплетутъ какую нибудь, такъ онъ ужь тутъ слушаетъ; безъ него невозможно...

— Сплетню, вы говорите?

— Да, Крестьянъ Ивановичъ, заплели они сплетню. Замѣшалъ свою руку сюда и нашъ медвѣдь, и племянникъ его, наше нещечко; связались они съ старухами, разумѣется, и состряпали дѣло. Какъ-бы вы думали? Что они выдумали, чтобъ убить человѣка?..

— Чтобъ убить человѣка?

— Да, Крестьянъ Ивановичъ, убить человѣка, нравственно убить человѣка. Распустили они... я все про моего близкаго знакомаго говорю...

Крестьянъ Ивановичъ кивнулъ головою.

— Распустили они на счетъ его слухъ... Признаюсь вамъ, мнѣ даже совѣстно говорить, Крестьянъ Ивановичъ.

— Гм...

— Распустили они слухъ, что онъ уже далъ подписку же-

ниться, что онъ уже женихъ съ другой стороны... И какъ-бы вы думали, Крестьянъ Ивановичъ, на комъ?

— Право?

— На кухмистершѣ, на одной неблагопристойной нѣмкѣ, у которой обѣды беретъ; вмѣсто заплаты долговъ, руку ей предлагаетъ.

— Это они говорятъ?

— Вѣрите-ли, Крестьянъ Ивановичъ? Нѣмка, подлая, гадкая, безстыдная нѣмка, Каролина Ивановна, если извѣстно вамъ...

— Я признаюсь, съ моей стороны...

— Понимаю васъ, Крестьянъ Ивановичъ, понимаю, и съ своей стороны это чувствую...

— Скажите мнѣ, пожалуйста, гдѣ вы живете теперь?

— Гдѣ я живу теперь, Крестьянъ Ивановичъ?

— Да... я хочу... вы прежде, кажется, жили...

— Жилъ, Крестьянъ Ивановичъ, жилъ, жилъ и прежде. Какъ-же не жить! отвѣчалъ господинъ Голядкинъ, сопровождая слова свои маленькимъ смѣхомъ, и немного смутивъ отвѣтомъ своимъ Крестьяна Ивановича.

— Нѣтъ, вы не такъ это приняли; я хотѣлъ съ своей стороны...

— Я тоже хотѣлъ, Крестьянъ Ивановичъ, съ своей стороны, я тоже хотѣлъ, смѣясь, продолжалъ господинъ Голядкинъ. — Однако-жь, я, Крестьянъ Ивановичъ, у васъ засидѣлся совсѣмъ. Вы, надѣюсь, позволите мнѣ теперь... пожелать вамъ добраго утра...

— Гм...

— Да, Крестьянъ Ивановичъ, я васъ понимаю; я васъ теперь вполнѣ понимаю, сказалъ нашъ герой, немного рисуясь передъ Крестьяномъ Ивановичемъ... Итакъ, позвольте вамъ пожелать добраго утра...

Тутъ герой нашъ шаркнулъ ножкой и вышелъ изъ комнаты, оставивъ въ крайнемъ изумленіи Крестьяна Ивановича. Сходя съ докторской лѣстницы, онъ улыбался и радостно потиралъ себѣ руки. На крыльцѣ, дохнувъ свѣжимъ воздухомъ и почувствовавъ себя на свободѣ, онъ даже дѣйствительно готовъ былъ признать себя счастливѣйшимъ смертнымъ, и потомъ прямо отправиться въ департаментъ, — какъ вдругъ у подъѣзда загремѣла его карета; онъ взглянулъ и все вспомнилъ. Петрушка отворялъ уже дверцы. Какое-то странное и крайне непріятное ощущеніе охватило всего господина Голядкина. Онъ какъ будто-

бы покраснѣлъ на мгновеніе. Что-то кольнуло его. Онъ уже сталъ было заносить свою ногу на подножку кареты, какъ вдругъ обернулся и посмотрѣлъ на окна Крестьяна Ивановича. Такъ и и есть! Крестьянъ Ивановичъ стоялъ у окна, поглаживалъ правой рукой свои бакенбарды и довольно любопытно смотрѣлъ на героя нашего.

— Этотъ докторъ глупъ, подумалъ господинъ Голядкинъ, забиваясь въ карету: — крайне глупъ. Онъ, можетъ быть, и хорошо своихъ больныхъ лечитъ, а всетаки... глупъ какъ бревно. Господинъ Голядкинъ усѣлся, Петрушка крикнулъ: «пошолъ!» и карета покатилась опять на Невскій проспектъ.

ГЛАВА III.

Все это утро прошло въ страшныхъ хлопотахъ у господина Голядкина. Попавъ на Невскій проспектъ, герой нашъ приказалъ остановиться у Гостиннаго Двора. Выпрыгнувъ изъ своего экипажа, побѣжалъ онъ подъ аркаду, въ сопровожденіи Петрушки, и пошелъ прямо въ лавку серебряныхъ и золотыхъ издѣлій. Замѣтно было уже по одному виду господина Голядкина, что у него хлопотъ полонъ ротъ и дѣла страшная куча. Сторговавъ полный обѣденный и чайный сервизъ слишкомъ на тысячу пятьсотъ рублей ассигнаціями и, выторговавъ себѣ въ эту-же сумму затѣйливой формы сигарочницу и полный серебряный приборъ для бритья бороды, прицѣнившись, наконецъ, еще къ коекакимъ въ своемъ родѣ полезнымъ и пріятнымъ вещицамъ, господинъ Голядкинъ кончилъ тѣмъ, что обѣщалъ завтра-же зайдти непремѣнно, или даже сегодня прислать за сторгованнымъ, взялъ номеръ лавки и, выслушавъ внимательно купца, хлопотавшаго о задаточкѣ, обѣщалъ въ свое время и задаточекъ. Послѣ чего онъ поспѣшно распростился съ недоумѣвавшимъ купцомъ и пошелъ вдоль по линіи, преслѣдуемый цѣлой стаей сидѣльцевъ, поминутно оглядываясь на Петрушку и тщательно отыскивая какую-то новую лавку. Мимоходомъ забѣжалъ онъ въ мѣняльную лавочку и размѣнялъ всю свою крупную бумагу на мелкую, и хотя потерялъ на промѣнѣ, но за то всетаки размѣнялъ, и бумажникъ его значительно потолстѣлъ, что, повидимому, доставило ему крайнее удовольствіе. Наконецъ, остановился онъ въ магазинѣ разныхъ дамскихъ матерій. Наторговавъ опять на знатную сумму, господинъ Голядкинъ и здѣсь

обѣщалъ купцу зайдти непремѣнно, взялъ номеръ лавки и, на вопросъ о задаточкѣ, опять повторилъ, что будетъ въ свое время и задаточекъ. Потомъ посѣтилъ и еще нѣсколько лавокъ; во всѣхъ торговалъ, прицѣнялся къ разнымъ вещицамъ, спорилъ иногда долго съ купцами, уходилъ изъ лавки и раза по три возвращался,—однимъ словомъ, оказывалъ необыкновенную дѣятельность. Изъ Гостиннаго Двора герой нашъ отправился въ одинъ извѣстный мебельный магазинъ, гдѣ сторговалъ мебели на шесть комнатъ, полюбовался однимъ моднымъ и весьма затѣйливымъ дамскимъ туалетомъ въ послѣднемъ вкусѣ и, увѣривъ купца, что пришлетъ за всѣмъ непремѣнно, вышелъ изъ магазина, по своему обычаю, съ обѣщаніемъ задаточка, потомъ заѣхалъ еще кое-куда и поторговалъ кое-что. Однимъ словомъ, не было, повидимому, конца его хлопотамъ. Наконецъ, все это, кажется, сильно стало надоѣдать самому господину Голядкину. Даже и Богъ знаетъ по какому случаю стали его терзать, ни съ того, ни съ сего, угрызенія совѣсти. Ни за что̀бы не согласился онъ теперь встрѣтиться, напримѣръ, съ Андреемъ Филипповичемъ, или хоть съ Крестьяномъ Ивановичемъ. Наконецъ, городскіе часы пробили три по полудни. Когда господинъ Голядкинъ сѣлъ окончательно въ карету, изъ всѣхъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ имъ въ это утро, оказалась въ дѣйствительности лишь одна пара перчатокъ и стклянка духовъ въ полтора рубля ассигнаціями. Такъ какъ для господина Голядкина было еще довольно рано, то онъ и приказалъ своему кучеру остановиться возлѣ одного извѣстнаго ресторана на Невскомъ проспектѣ, о которомъ доселѣ онъ зналъ лишь по наслышкѣ, вышелъ изъ кареты и побѣжалъ закусить, отдохнуть и выждать извѣстное время.

Закусивъ такъ, какъ закусываетъ человѣкъ, у котораго въ перспективѣ богатый званый обѣдъ, то есть перехвативъ кое-что, чтобы, какъ говорится, червячка заморить, и выпивъ одну рюмочку водки, господинъ Голядкинъ усѣлся въ креслахъ, и, скромно осмотрѣвшись кругомъ, мирно пристроился къ одной тощей національной газеткѣ. Прочтя строчки двѣ, онъ всталъ, посмотрѣлся въ зеркало, оправился и огладился; потомъ подошелъ къ окну и поглядѣлъ тутъ-ли его карета... потомъ опять сѣлъ на мѣсто и взялъ газету. Замѣтно было, что герой нашъ былъ въ крайнемъ волненіи. Взглянувъ на часы, и видя, что еще только четверть четвертаго, слѣдовательно, еще остается порядочно ждать, а вмѣстѣ съ тѣмъ и разсудивъ, что такъ сидѣть

неприлично, господинъ Голядкинъ приказалъ подать себѣ шоколаду, къ которому, впрочемъ, въ настоящее время большой охоты не чувствовалъ. Выпивъ шоколадъ и замѣтивъ, что время немного подвинулось, вышелъ онъ расплатиться. Вдругъ кто-то ударилъ его по плечу.

Онъ обернулся и увидѣлъ предъ собою двухъ своихъ сослуживцевъ-товарищей, тѣхъ самыхъ, съ которыми встрѣтился утромъ на Литейной—ребятъ еще весьма молодыхъ и по лѣтамъ, и по чину. Герой нашъ былъ съ ними ни то, ни сё, ни въ дружбѣ, ни въ открытой враждѣ. Разумѣется, соблюдалось приличіе съ обѣихъ сторонъ: дальнѣйшаго-же сближенія не было, да и быть не могло. Встрѣча въ настоящее время была крайне непріятна господину Голядкину. Онъ немного поморщился и на минутку смѣшался.

— Яковъ Петровичъ, Яковъ Петровичъ! защебетали оба регистратора:—вы здѣсь? по какому...

— А! это вы, господа! перебилъ поспѣшно господинъ Голядкинъ, немного сконфузясь и скандализируясь изумленіемъ чиновниковъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, короткостію ихъ обращенія, но, впрочемъ, дѣлая развязнаго и молодца по неволѣ. Дезертировали, господа, хе-хе-хе!.. Тутъ даже, чтобъ не уронить себя и снизойдти до канцелярскаго юношества, съ которымъ всегда былъ въ должныхъ границахъ, онъ попробовалъ было потрепать одного юношу по плечу; но популярность въ этомъ случаѣ не удалась господину Голядкину, и, вмѣсто прилично-короткаго жеста, вышло что-то совершенно другое.

— Ну, а что, медвѣдь нашъ сидитъ?..

— Кто это, Яковъ Петровичъ?

— Ну, медвѣдь-то, будто не знаете, кого медвѣдемъ зовутъ?.. Господинъ Голядкинъ засмѣялся и отвернулся къ прикащику взять съ него сдачу.—Я говорю про Андрея Филипповича, господа, продолжалъ онъ, кончивъ съ прикащикомъ и, на этотъ разъ, съ весьма серьезнымъ видомъ обратившись къ чиновникамъ. Оба регистратора значительно перемигнулись другъ съ другомъ.

— Сидитъ еще и васъ спрашивалъ, Яковъ Петровичъ, отвѣчалъ одинъ изъ нихъ.

— Сидитъ, а! Въ такомъ случаѣ, пусть его сидитъ, господа. И меня спрашивалъ, а?

— Спрашивалъ, Яковъ Петровичъ; да что это съ вами, раздушены, распомажены, франтомъ такимъ?..

— Такъ, господа, это такъ! Полноте... отвѣчалъ господинъ

Голядкинъ, смотря въ сторону и напряженно улыбнувшись. Видя, что господинъ Голядкинъ улыбается, чиновники расхохотались. Господинъ Голядкинъ немного надулся.

— Я вамъ скажу, господа, по дружески, сказалъ немного помолчавъ нашъ герой, какъ будто (такъ ужь и быть) рѣшившись открыть что-то чиновникамъ:—вы, господа, всѣ меня знаете, но до сихъ поръ знали только съ одной стороны. Пенять въ этомъ случаѣ не на кого, и, отчасти, сознаюсь, я былъ самъ виноватъ.

Господинъ Голядкинъ сжалъ губы и значительно взглянулъ на чиновниковъ. Чиновники снова перемигнулись.

— До сихъ поръ, господа, вы меня не знали. Объясняться теперь и здѣсь будетъ не совсѣмъ-то кстати. Скажу вамъ только кое-что мимоходомъ и вскользь. Есть люди, господа, которые не любятъ окольныхъ путей и маскируются только для маскарада. Есть люди, которые не видятъ прямаго человѣческаго назначенія въ ловкомъ умѣньи лощить паркетъ сапогами. Есть и такіе люди, господа, которые не будутъ говорить, что счастливы, и живутъ вполнѣ, когда, напримѣръ, на нихъ хорошо сидятъ панталоны. Есть, наконецъ, люди, которые не любятъ скакать и вертѣться по пустому, заигрывать и подлизываться, а, главное, господа, совать туда свой носъ, гдѣ его вовсе не спрашиваютъ... Я, господа, сказалъ почти все; позвольте-жь мнѣ теперь удалиться...

Господинъ Голядкинъ остановился. Такъ какъ господа регистраторы были теперь удовлетворены вполнѣ, то, вдругъ, оба крайне неучтиво покатились со смѣха. Господинъ Голядкинъ вспыхнулъ.

— Смѣйтесь, господа, смѣйтесь покамѣстъ! Поживете—увидите, сказалъ онъ съ чувствомъ оскорбленнаго достоинства, взявъ шляпу и ретируясь къ дверямъ.

— Но скажу болѣе, господа, прибавилъ онъ, обращаясь въ послѣдній разъ къ господамъ регистраторамъ:—скажу болѣе,— оба вы здѣсь со мной глазъ-на-глазъ. Вотъ, господа, мои правила: не удастся—крѣплюсь, удастся—держусь, и во всякомъ случаѣ никого не подкапываю. Не интригантъ—и этимъ горжусь. Въ дипломаты-бы я не годился. Говорятъ еще, господа, что птица сама летитъ на охотника. Правда, и готовъ согласиться; но кто здѣсь охотникъ, кто птица? Это еще вопросъ, господа!

Господинъ Голядкинъ краснорѣчиво умолкъ и съ самой значительной миной, то есть, поднявъ брови и сжавъ губы до нельзя, раскланялся съ господами чиновниками и потомъ вышелъ, оставя ихъ въ крайнемъ изумленіи.

— Куда прикажете? спросилъ довольно сурово Петрушка, которому уже наскучило, вѣроятно, таскаться по холоду:—куда прикажете? спросилъ онъ господина Голядкина, встрѣчая его страшный, всеуничтожающій взглядъ, которымъ герой нашъ уже два раза обезпечивалъ себя въ это утро, и къ которому прибѣгнулъ теперь въ третій разъ, сходя съ лѣстницы.

— Къ Измайловскому мосту.

— Къ Измайловскому мосту! Пошолъ!

— Обѣдъ у нихъ начнется не раньше какъ въ пятомъ, или даже въ пять часовъ, думалъ господинъ Голядкинъ:—не рано-ль теперь? Впрочемъ, вѣдь я могу и по раньше; да къ тому-же и семейный обѣдъ. Я, этакъ, могу сан-фасонъ, какъ между порядочными людьми говорится. Отъ чего-же бы мнѣ нельзя сан-фасонъ? Медвѣдь нашъ тоже говорилъ, что будетъ все сан-фасонъ, а потому и я тоже... Такъ думалъ господинъ Голядкинъ; а между тѣмъ волненіе его все болѣе и болѣе увеличивалось. Замѣтно было, что онъ готовился къ чему-то весьма хлопотливому, чтобъ не сказать болѣе, шепталъ про себя, жестикулировалъ правой рукой, безпрерывно поглядывалъ въ окна кареты, такъ что, смотря теперь на господина Голядкина, правобы никто не сказалъ, что онъ сбирается хорошо пообѣдать, запросто, да еще въ своемъ семейномъ кругу,—сан-фасонъ, какъ между порядочными людьми говорится. Наконецъ, у самаго Измайловскаго моста, господинъ Голядкинъ указалъ на одинъ домъ; карета съ громомъ вкатилась въ ворота и остановилась у подъѣзда праваго фаса. Замѣтивъ одну женскую фигуру въ окнѣ втораго этажа, господинъ Голядкинъ послалъ ей рукой поцалуй. Впрочемъ, онъ не зналъ самъ, что̀ дѣлаетъ, потому что рѣшительно былъ ни живъ, ни мертвъ въ эту минуту. Изъ кареты онъ вышелъ блѣдный, растерянный; взошелъ на крыльцо, снялъ свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочемъ, маленькую дрожь въ колѣнкахъ, пустился по лѣстницѣ.

— Олсуфій Ивановичъ? спросилъ онъ отворившаго ему человѣка.

— Дома-съ, то есть нѣтъ-съ, ихъ нѣтъ дома-съ.

— Какъ? Что ты, мой милый? Я—я на обѣдъ, братецъ. Вѣдь ты меня знаешь?

— Какъ не знать-съ! Принимать васъ не велѣно-съ.

— Ты... ты, братецъ... ты вѣрно ошибаешься, братецъ. Это я. Я, братецъ, приглашенъ; я на обѣдъ,—проговорилъ госпо-

динъ Голядкинъ, сбрасывая шинель и показывая очевидное намѣреніе отправиться въ комнаты.

— Позвольте-съ, нельзя-съ. Не велѣно принимать-съ, вамъ отказывать велѣно. Вотъ какъ!

Господинъ Голядкинъ поблѣднѣлъ. Въ это самое время дверь изъ внутреннихъ комнатъ отворилась, и вошелъ Герасимычъ, старый камердинеръ Олсуфія Ивановича.

— Вотъ они, Емельянъ Герасимовичъ, войдти хотятъ, а я...

— А вы дуракъ, Алексѣичъ. Ступайте въ комнаты, а сюда пришлите подлеца Семеныча. Нельзя-съ, сказалъ онъ учтиво, но рѣшительно обращаясь къ господину Голядкину. — Никакъ не возможно-съ. Просятъ извинить-съ; не могутъ принять-съ.

— Они такъ и сказали, что не могутъ принять? нерѣшительно спросилъ господинъ Голядкинъ. — Вы извините, Герасимычъ. Отчего-же никакъ невозможно?

— Никакъ невозможно-съ. Я докладывалъ-съ; сказали: проси извинить. Не могутъ, дескать, принять-съ.

— Отчего-же? Какъ-же это? Какъ...

— Позвольте, позвольте!..

— Однако, какъ-же это такъ? Такъ нельзя! Доложите... Какъ-же это такъ? Я на обѣдъ...

— Позвольте, позвольте!..

— А, ну, впрочемъ, это дѣло другое, — извинить просятъ: однако-жь, позвольте, Герасимычъ, какъ-же это, Герасимычъ?

— Позвольте, позвольте! возразилъ Герасимычъ, весьма рѣшительно отстраняя рукой господина Голядкина и давая широкую дорогу двумъ господамъ, которые въ это самое мгновеніе входили въ прихожую. Входившіе господа были: Андрей Филипповичъ и племянникъ его, Владиміръ Семеновичъ. Оба они съ недоумѣніемъ посмотрѣли на господина Голядкина. Андрей Филипповичъ хотѣлъ было что-то заговорить, но господинъ Голядкинъ уже рѣшился; онъ уже выходилъ изъ прихожей Олсуфія Ивановича, опустивъ глаза, покраснѣвъ, улыбаясь, съ совершенно потерянной физіономіей.—Я зайду послѣ, Герасимычъ; я объяснюсь: я надѣюсь, что все это не замедлитъ своевременно объясниться, проговорилъ онъ на порогѣ и отчасти на лѣстницѣ...

— Яковъ Петровичъ, Яковъ Петровичъ... послышался голосъ послѣдовавшаго за господиномъ Голядкинымъ Андрея Филипповича.

Господинъ Голядкинъ находился тогда уже на первой забѣжной площадкѣ. Онъ быстро оборотился къ Андрею Филипповичу.

— Что вамъ угодно, Андрей Филипповичъ? сказалъ онъ довольно рѣшительнымъ тономъ.

— Что̀ это съ вами, Яковъ Петровичъ? Какимъ образомъ?..

— Ничего-съ, Андрей Филипповичъ. Я здѣсь самъ по себѣ. Это моя частная жизнь, Андрей Филипповичъ.

— Что такое-съ?

— Я говорю, Андрей Филипповичъ, что это моя частная жизнь, и что здѣсь, сколько мнѣ кажется, ничего нельзя найдти предосудительнаго касательно оффиціальныхъ отношеній моихъ.

— Какъ! Касательно оффиціальныхъ... Что̀ съ вами, сударь, такое?

— Ничего, Андрей Филипповичъ, совершенно ничего; дерзкая дѣвчонка, больше ничего...

— Что!.. Что? Андрей Филипповичъ потерялся отъ изумленія. Господинъ Голядкинъ, который доселѣ, разговаривая снизу лѣстницы съ Андреемъ Филипповичемъ, смотрѣлъ такъ, что, казалось, готовъ былъ ему прыгнуть прямо въ глаза, — видя, что начальникъ отдѣленія немного смѣшался, сдѣлалъ, почти невѣдомо себѣ, шагъ впередъ. Андрей Филипповичъ подался назадъ. Господинъ Голядкинъ переступилъ еще, и еще ступеньку. Андрей Филипповичъ безпокойно осмотрѣлся кругомъ. Господинъ Голядкинъ вдругъ быстро поднялся на лѣстницу. Еще быстрѣе прыгнулъ Андрей Филипповичъ въ комнату и захлопнулъ дверь за собою. Господинъ Голядкинъ остался одинъ. Въ глазахъ у него потемнѣло. Онъ сбился совсѣмъ и стоялъ теперь въ какомъ-то безтолковомъ раздумьѣ, какъ будто припоминая о какомъ-то тоже крайне безтолковомъ обстоятельствѣ, весьма недавно случившемся. «Эхъ, эхъ!» прошепталъ онъ, улыбаясь съ натуги. Между тѣмъ, на лѣстницѣ, внизу, послышались голоса и шаги, вѣроятно, новыхъ гостей, приглашенныхъ Олсуфьемъ Ивановичемъ. Господинъ Голядкинъ отчасти опомнился, поскорѣе поднялъ повыше свой енотовый воротникъ, прикрылся имъ по возможности — и сталъ, ковыляя, сѣменя, торопясь и спотыкаясь, сходить съ лѣстницы. Чувствовалъ онъ въ себѣ какое-то ослабленіе и онѣмѣніе. Смущеніе его было въ такой сильной степени, что, вышедъ на крыльцо, онъ не подождалъ и кареты, а самъ пошелъ, прямо, черезъ грязный дворъ, до своего экипажа. Подойдя къ своему экипажу и приготовляясь въ немъ помѣститься, господинъ Голядкинъ мысленно обнаружилъ желаніе провалиться сквозь землю, или спрятаться хоть въ мышиную шелочку, вмѣстѣ съ каретой. Ему казалось, что все, что̀ ни есть въ домѣ Олсуфія

Ивановича, вотъ такъ и смотритъ теперь на него изъ всѣхъ оконъ. Онъ зналъ, что непремѣнно тутъ-же на мѣстѣ умретъ, если обернется назадъ.

— Что ты смѣешься, болванъ? сказалъ онъ скороговоркой Петрушкѣ, который приготовился было его подсадить въ карету.

— Да что мнѣ смѣяться-то? Я ничего; куда теперь ѣхать?

— Ступай домой, поѣзжай...

— Пошолъ домой! крикнулъ Петрушка, взмостясь на запятки.

— Экое горло воронье! подумалъ господинъ Голядкинъ. Между тѣмъ, карета уже довольно далеко отъѣхала за Измайловскій мостъ. Вдругъ герой нашъ изъ всей силы дернулъ снурокъ и закричалъ своему кучеру немедленно воротиться назадъ. Кучеръ поворотилъ лошадей и черезъ двѣ минуты въѣхалъ опять во дворъ къ Олсуфію Ивановичу.—«Не нужно, дуракъ, не нужно; назадъ!» прокричалъ господинъ Голядкинъ,—и кучеръ словно ожидалъ такого приказанія: не возражая ни на что, не останавливаясь у подъѣзда и объѣхавъ кругомъ весь дворъ, выѣхалъ снова на улицу.

Домой господинъ Голядкинъ не поѣхалъ, а, миновавъ Семеновскій мостъ, приказалъ поворотить въ одинъ переулокъ и остановиться возлѣ трактира довольно скромной наружности. Выпедъ изъ кареты, герой нашъ расплатился съ извощикомъ, и такимъ образомъ избавился, наконецъ, отъ своего экипажа. Петрушкѣ приказалъ идти домой и ждать его возвращенія, самъ-же вошелъ въ трактиръ, взялъ особенный номеръ и приказалъ подать себѣ пообѣдать. Чувствовалъ онъ себя весьма дурно, а голову свою въ полнѣйшемъ разбродѣ и въ хаосѣ. Долго ходилъ онъ, въ волненіи, по комнатѣ; наконецъ, сѣлъ на стулъ, подперъ себѣ лобъ руками и началъ всѣми силами стараться обсудить и разрѣшить кое-что относительно настоящаго своего положенія...

ГЛАВА IV.

День, торжественный день рожденія Клары Олсуфьевны, единородной дочери статскаго совѣтника Берендѣева, въ оно время благодѣтеля господина Голядкина,—день, ознаменовавшійся блистательнымъ, великолѣпнымъ, званымъ обѣдомъ, такимъ обѣдомъ, какого давно не видали въ стѣнахъ чиновничьихъ квартиръ у Измайловскаго моста и около, — обѣдомъ, который

походилъ болѣе на какой-то пиръ вальтасаровскій, чѣмъ на обѣдъ,—который отзывался чѣмъ-то вавилонскимъ, въ отношеніи блеска, роскоши и приличія, съ шампанскимъ - клико, съ устрицами и плодами Елисѣева и Милютиныхъ лавокъ, со всякими упитанными тельцами и чиновною табелью о рангахъ,— этотъ торжественный день, ознаменовавшійся такимъ торжественнымъ обѣдомъ, заключился блистательнымъ баломъ, семейнымъ, маленькимъ, родственнымъ баломъ, но всетаки блистательнымъ въ отношеніи вкуса, образованности и приличія. Конечно, я совершенно согласенъ, такіе балы бываютъ, но рѣдко. Такіе балы, болѣе похожіе на семейныя радости, чѣмъ на балы, могутъ лишь даваться въ такихъ домахъ, какъ, напримѣръ, домъ статскаго совѣтника Берендѣева. Скажу болѣе: я даже сомнѣваюсь, чтобъ у всѣхъ статскихъ совѣтниковъ могли даваться такіе балы. О, если бы я былъ поэтъ! — разумѣется, по крайней мѣрѣ, такой, какъ Гомеръ или Пушкинъ; съ меньшимъ талантомъ соваться нельзя,— я-бы непремѣнно изобразилъ вамъ яркими красками и широкою кистью, о, читатели! весь этотъ высокоторжественный день. Нѣтъ, я-бы началъ свою поэму обѣдомъ, я особенно-бы налегъ на то поразительное и, вмѣстѣ съ тѣмъ торжественное мгновеніе, когда поднялась первая заздравная чаша въ честь царицы праздника. Я изобразилъ-бы вамъ, во первыхъ, этихъ гостей, погруженныхъ въ благоговѣйное молчаніе и ожиданіе, болѣе похожее на демосѳеновское краснорѣчіе, чѣмъ на молчаніе. Я изобразилъ-бы вамъ потомъ Андрея Филипповича, какъ старшаго изъ гостей, имѣющаго даже нѣкоторое право на первенство, украшеннаго сѣдинами и приличными сѣдинѣ орденами, вставшаго съ мѣста и поднявшаго надъ головою заздравный бокалъ съ искрометнымъ виномъ, — виномъ нарочно привозимымъ изъ одного отдаленнаго королевства, чтобъ запивать имъ подобныя мгновенія,—виномъ болѣе похожимъ на божественный нектаръ, чѣмъ на вино. Я изобразилъ-бы вамъ гостей и счастливыхъ родителей царицы праздника, поднявшихъ тоже свои бокалы вслѣдъ за Андреемъ Филипповичемъ, и устремившихъ на него полныя ожиданія очи: Я изобразилъ-бы вамъ, какъ этотъ часто поминаемый Андрей Филипповичъ, уронивъ сначала слезу въ бокалъ, проговорилъ поздравленіе и пожеланіе, провозгласилъ тостъ и выпилъ за здравіе... Но, сознаюсь, вполнѣ сознаюсь, не могъ-бы я изобразить всего торжества той минуты, когда сама царица праздника, Клара Олсуфьевна, краснѣя, какъ вешняя роза, румянцемъ блаженства и стыдливости, отъ

полноты чувствъ упала въ объятія нѣжной матери, какъ прослезилась нѣжная мать, и какъ зарыдалъ при семъ случаѣ самъ отецъ, маститый старецъ и статскій совѣтникъ Олсуфій Ивановичъ, лишившійся употребленія ногъ на долговременной службѣ и вознагражденный судьбою за таковое усердіе капитальцемъ, домкомъ, деревеньками и красавицей-дочерью,—зарыдалъ, какъ ребенокъ, и провозгласилъ сквозь слезы, что его превосходительство благодѣтельный человѣкъ. Я-бы не могъ, да, именно не могъ-бы изобразить вамъ и неукоснительно-послѣдовавшаго за сей минутой всообщаго увлеченія сердецъ, — увлеченія, ясно выразившагося даже поведеніемъ одного юнаго регистратора (который въ это мгновеніе походилъ болѣе на статскаго совѣтника, чѣмъ на регистратора), тоже прослезившагося, внимая Андрею Филипповичу. Въ свою очередь, Андрей Филипповичъ въ это торжественное мгновеніе вовсе не походилъ на коллежскаго совѣтника и начальника отдѣленія въ одномъ департаментѣ, — нѣтъ, онъ казался чѣмъ-то другимъ... я не знаю только, чѣмъ именно, но не коллежскимъ совѣтникомъ. Онъ былъ выше! Наконецъ... о! для чего я не обладаю тайною слога высокаго, сильнаго, слога торжественнаго, для изображенія всѣхъ этихъ прекрасныхъ и назидательныхъ моментовъ человѣческой жизни, какъ будто нарочно устроенныхъ для доказательства, какъ иногда торжествуетъ добродѣтель надъ неблагонамѣренностью, вольнодумствомъ, порокомъ и завистью! Я ничего не скажу, но молча— что̀ будетъ лучше всякаго краснорѣчія — укажу вамъ на этого счастливаго юношу, вступающаго въ свою двадцать шестую весну,—на Владиміра Семеновича, племянника Андрея Филипповича, который всталъ въ свою очередь съ мѣста, который провозглашаетъ въ свою очередь тостъ, и на котораго устремлены слезящіяся очи родителей царицы праздника, гордыя очи Андрея Филипповича, стыдливыя очи самой царицы праздника, восторженныя очи гостей и даже прилично-завистливыя очи нѣкоторыхъ молодыхъ сослуживцевъ этого блестящаго юноши. Я не скажу ничего, хотя не могу не замѣтить, что все въ этомъ юношѣ, — который болѣе похожъ на старца, чѣмъ на юношу, говоря въ выгодномъ для него отношеніи, — все, начиная съ цвѣтущихъ ланитъ до самаго ассессорскаго, на немъ лежавшаго чина, все это въ сію торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени можетъ благонравіе довести человѣка! Я не буду описывать, какъ, наконецъ, Антонъ Антоновичъ Сѣточкинъ, столоначальникъ одного

департамента, сослуживецъ Андрея Филипповича и нѣкогда Олсуфія Ивановича, вмѣстѣ съ тѣмъ старинный другъ дома и крестный отецъ Клары Олсуфьевны,—старичокъ, какъ лунь сѣденькій, въ свою очередь предлагая тостъ, пропѣлъ пѣтухомъ и проговорилъ веселыя вирши; какъ онъ, такимъ приличнымъ забвеніемъ приличія, если можно такъ выразиться, разсмѣшилъ до слезъ цѣлое общество, и какъ сама Клара Ольсуфьевна за таковую веселость и любезность поцаловала его, по приказанію родителей. Скажу только, что, наконецъ, гости, которые послѣ такого обѣда, естественно, должны были чувствовать себя другъ другу родными и братьями—встали изъ-за стола; какъ потомъ старички и люди солидные, послѣ недолгаго времени, употребленнаго на дружескій разговоръ и даже на кое-какія, разумѣется, весьма приличныя и любезныя откровенности, чинно прошли въ другую комнату и, не теряя золотаго времени, рѣздѣлившись на партіи, съ чувствомъ собственнаго достоинства сѣли за столы, обтянутые зеленымъ сукномъ; какъ дамы, усѣвшись въ гостиной, стали вдругъ всѣ необыкновенно любезны и начали разговаривать о разныхъ матеріяхъ; какъ, наконецъ, самъ высокоуважаемый хозяинъ дома, лишившійся употребленія ногъ на службѣ вѣрою и правдою и награжденный за это всѣмъ, чѣмъ выше упомянуто было, сталъ расхаживать на костыляхъ между гостями своими, поддерживаемый Владиміромъ Семеновичемъ и Кларой Олсуфьевной, и какъ, вдругъ сдѣлавшись тоже необыкновенно любезнымъ, рѣшился импровизировать маленькій скромный балъ, не смотря на издержки; какъ для сей цѣли командированъ былъ одинъ расторопный юноша (тотъ самый, который за обѣдомъ болѣе похожъ былъ на статскаго совѣтника, чѣмъ на юношу) за музыкантами; какъ потомъ прибыли музыканты въ числѣ цѣлыхъ одиннадцати штукъ, и какъ, наконецъ, ровно въ половинѣ девятаго раздались призывные звуки французской кадрили и прочихъ различныхъ танцевъ... Нечего уже и говорить, что перо мое слабо, вяло и тупо для приличнаго изображенія бала, импровизированнаго необыкновенною любезностью сѣдовласаго хозяина. Да и какъ, спрошу я, какъ могу я, скромный повѣствователь весьма, впрочемъ, любопытныхъ въ своемъ родѣ приключеній господина Голядкина,—какъ могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смѣсь красоты, блеска, приличія, веселости, любезной солидности и солидной любезности, рѣзвости, радости, всѣ эти игры и смѣхи всѣхъ этихъ чиновныхъ дамъ, болѣе похожихъ на фей, чѣмъ на дамъ,—говоря въ выгодномъ

для нихъ отношеніи,—съ ихъ лилейно-розовыми плечами и личиками, съ ихъ воздушными станами, съ ихъ рѣзво-игривыми, гомеопатическими, говоря высокимъ слогомъ, ножками? Какъ изображу я вамъ, наконецъ, этихъ блестящихъ чиновныхъ кавалеровъ, веселыхъ и солидныхъ юношей и степенныхъ, радостныхъ и прилично туманныхъ, курящихъ въ антрактахъ между танцами, въ маленькой отдаленной зеленой комнатѣ трубку и некурящихъ въ антрактахъ трубки,—кавалеровъ, имѣвшихъ на себѣ, отъ перваго до послѣдняго, приличный чинъ и фамилію,—кавалеровъ, глубоко проникнутыхъ чувствомъ изящнаго и чувствомъ собственнаго достоинства; кавалеровъ, говорящихъ бо̀льшею частію на французскомъ языкѣ съ дамами, а если на русскомъ, то выраженіями самаго высокаго тона, комплиментами и глубокими фразами,—кавалеровъ, развѣ только въ трубочной позволявшихъ себѣ нѣкоторыя любезныя отступленія отъ языка высшаго тона, нѣкоторыя фразы дружеской и любезной короткости, въ родѣ такихъ, напримѣръ: «что̀, дескать, ты, такой-сякой, Петька, славно польку откалывалъ», или: «что, дескать, ты, такой-сякой, Вася пришпандорилъ таки свою дамочку, какъ хотѣлъ». На все это, какъ уже выше имѣлъ я честь объяснить вамъ, о, читатели! не достаетъ пера моего, и потому я молчу. Обратимся лучше къ господину Голядкину, единственному, истинному герою весьма правдивой повѣсти нашей.

Дѣло въ томъ, что онъ находится теперь въ весьма странномъ, чтобъ не сказать болѣе, положеніи. Онъ, господа, тоже здѣсь, то есть не на балѣ, но почти что на балѣ, онъ, господа, ничего; онъ хотя и самъ по себѣ, но въ эту минуту стоитъ на дорогѣ не совсѣмъ-то прямой; стоитъ онъ теперь—даже странно сказать — стоитъ онъ теперь въ сѣняхъ, на черной лѣстницѣ квартиры Олсуфья Ивановича. Но это ничего, что онъ тутъ стоитъ; онъ такъ себѣ. Онъ, господа, стоитъ въ уголку, забившись въ мѣстечко хоть не потеплѣе, но за то потемнѣе, закрывшись отчасти огромнымъ шкафомъ и старыми ширмами, между всякимъ дрязгомъ, хламомъ и рухлядью, скрываясь до времени, и покамѣстъ только наблюдая за ходомъ общаго дѣла въ качествѣ посторонняго зрителя. Онъ, господа, только наблюдаетъ теперь; онъ, господа, тоже вѣдь можетъ войдти... почему-же не войдти? Стоитъ только шагнуть, и войдетъ, и весьма ловко войдетъ. Сейчасъ только, — выстаивая, впрочемъ, уже третій часъ на холодѣ, между шкафомъ и ширмами, между всякимъ хламомъ, дрязгомъ и рухлядью,—цитировалъ онъ, въ собственное оправ-

даніе свое, одну фразу блаженной памяти французскаго министра Виллеля, что «все, дескать, прійдетъ своимъ чередомъ, если выждать есть смётка». Фразу эту вычиталъ господинъ Голядкинъ когда-то изъ совершенно посторонней, впрочемъ, книжки, но теперь весьма кстати привелъ ее себѣ на память. Фраза, во первыхъ, очень хорошо шла къ настоящему его положенію, а во вторыхъ, чего-же не прійдетъ въ голову человѣку, выжидающему счастливой развязки обстоятельствъ своихъ почти битые три часа въ сѣняхъ, въ темнотѣ и на холодѣ? Цитировавъ, какъ уже сказано было, весьма кстати фразу бывшаго французскаго министра Виллеля, господинъ Голядкинъ тутъ-же, неизвѣстно почему, припомнилъ и о бывшемъ турецкомъ визирѣ Марцимирисѣ, равно какъ и о прекрасной маркграфинѣ Луизѣ, исторію которыхъ читалъ онъ тоже когда-то въ книжкѣ. Потомъ пришло ему на память, что іезуиты поставили даже правиломъ своимъ считать всѣ средства годящимися, лишь-бы цѣль была достигнута. Обнадеживъ себя немного подобнымъ историческимъ пунктомъ, господинъ Голядкинъ сказалъ самъ себѣ, что, дескать, что̀ іезуиты? Іезуиты всѣ до одного были величайшіе дураки, что онъ самъ ихъ всѣхъ заткнетъ за поясъ, что вотъ только-бы хоть на минуту опустѣла буфетная (та комната, которой дверь выходила прямо въ сѣни, на черную лѣстницу, и гдѣ господинъ Голядкинъ находился теперь), такъ онъ, не смотря на всѣхъ іезуитовъ, возьметъ—да прямо и пройдетъ, сначала изъ буфетной въ чайную, потомъ въ ту комнату, гдѣ теперь въ карты играютъ, а тамъ прямо въ залу, гдѣ теперь польку танцуютъ. И пройдетъ, непремѣнно пройдетъ, ни на что не смотря пройдетъ, проскользнетъ—да и только, и никто не замѣтитъ; а тамъ ужь онъ самъ знаетъ, что̀ ему дѣлать. Вотъ въ такомъ-то положеніи, господа, находимъ мы теперь героя совершенно правдивой исторіи нашей, хотя, впрочемъ, трудно объяснить, что именно дѣлалось съ нимъ въ настоящее время. Дѣло-то въ томъ, что онъ до сѣней и до лѣстницы добраться умѣлъ, по той причинѣ, что, дескать, почему-жь не добраться, что всѣ добираются; но далѣе проникнуть не смѣлъ, явно этого сдѣлать не смѣлъ... не потому, чтобъ чего нибудь не смѣлъ, а такъ, потому что самъ не хотѣлъ, потому что ему лучше хотѣлось быть втихомолочку. Вотъ онъ, господа, и выжидаетъ теперь тихомолочки, и выжидаетъ ее ровно два часа съ половиною. Отчего-жь и не выждать? И самъ Виллель выжидалъ. «Да что тутъ Виллель!» думалъ господинъ Голядкинъ: «какой тутъ Виллель? А вотъ, какъ-бы мнѣ теперь того... взять

да и проникнуть?.. Эхъ, ты, фигурантъ ты этакой!» сказалъ господинъ Голядкинъ, ущипнувъ себя окоченѣвшею рукою за окоченѣвшую щеку: «дурашка ты этакой, Голядка ты этакой— фамилія твоя такова!..» Впрочемъ, это ласкательство собственной особѣ своей въ настоящую минуту было лишь такъ себѣ, мимоходомъ, безъ всякой, видимой цѣли. Вотъ было онъ сунулся и подался впередъ; минута настала; буфетная опустѣла и въ ней нѣтъ никого; господинъ Голядкинъ видѣлъ все это въ окошко; въ два шага очутился онъ у двери, и уже сталъ отворять ее. «Идти или нѣтъ? Ну, идти, или нѣтъ? Пойду... отчего-жь не пойдти? Смѣлому дорога вездѣ!» Обнадеживъ себя такимъ образомъ, герой нашъ вдругъ, и совсѣмъ неожиданно, ретировался за ширмы. «Нѣтъ» думалъ онъ: «а ну какъ войдетъ кто нибудь? Такъ и есть, вошли; чего-жь я зѣвалъ, когда народу не было? Этакъ-бы, взять—да и проникнуть!.. Нѣтъ, ужь что проникнуть, когда характеръ у человѣка такой! Эка вѣдь тенденція подлая! Струсилъ какъ курица. Струсить-то наше дѣло; вотъ оно что̀! Нагадить-то всегда наше дѣло: объ этомъ вы насъ и не спрашивайте. Вотъ и стой здѣсь какъ чурбанъ, да и только! Дома-бы чаю теперь выпить чашечку... Оно-бы и пріятно этакъ было, выпить-бы чашечку. Позже прійдти, такъ Петрушка будетъ, пожалуй, ворчать. Не пойдти-ли домой? Черти-бы взяли все это! Иду, да и только!» Разрѣшивъ такимъ образомъ свое положеніе, господинъ Голядкинъ быстро подался впередъ, словно пружину какую кто тронулъ въ немъ; съ двухъ шаговъ очутился въ буфетной, сбросилъ шинель, снялъ свою шляпу, поспѣшно сунулъ это все въ уголъ, оправился и огладился; потомъ... потомъ двинулся въ чайную, изъ чайной юркнулъ еще въ другую комнату, скользнулъ, почти незамѣтно, между вошедшими въ азартъ игроками; потомъ... потомъ... тутъ господинъ Голядкинъ позабылъ все, что вокругъ него дѣлается, и прямо, какъ снѣгъ на голову, явился въ танцовальную залу.

Какъ нарочно въ это время не танцовали. Дамы гуляли по залѣ живописными группами. Мужчины сбивались въ кружки, или шныряли по комнатѣ, ангажируя дамъ. Господинъ Голядкинъ не замѣчалъ этого ничего. Видѣлъ онъ только Клару Олсуфьевну; возлѣ нея Андрея Филипповича, потомъ Владиміра Семеновича, да еще двухъ или трехъ офицеровъ, да еще двухъ или трехъ молодыхъ людей, тоже весьма интересныхъ, подающихъ или уже осуществившихъ, какъ можно было по первому взгляду судить, кое-какія надежды... Видѣлъ онъ и еще кой-кого. Или

нѣтъ; онъ уже никого не видалъ, ни на кого не глядѣлъ... а двигаемый тою-же самой пружиной, посредствомъ которой вскочилъ на чужой балъ непрошеный, подался впередъ, потомъ и еще впередъ, и еще впередъ; наткнулся мимоходомъ на какого-то совѣтника, отдавилъ ему ногу; кстати уже наступилъ на платье одной почтенной старушки и немного порвалъ его, толкнулъ человѣка съ подносомъ, толкнулъ и еще кой-кого, и не замѣтивъ всего этого, или, лучше сказать, замѣтивъ, но ужь такъ, заодно, не глядя ни на кого, пробираясь все далѣе и далѣе впередъ, вдругъ очутился передъ самой Кларой Олсуфьевной. Безъ всякаго сомнѣнія, глазкомъ не мигнувъ, онъ съ величайшимъ-бы удовольствіемъ провалился въ эту минуту сквозь землю; но, что̀ сдѣлано было, того не воротишь... вѣдь ужь никакъ не воротишь. Что-же было дѣлать? «Не удастся—держись, а удастся—крѣпись. Господинъ Голядкинъ, ужь разумѣется, былъ не интригантъ и лощить паркетъ сапогами не мастеръ»... Такъ ужь случилось. Къ тому-же, и іезуиты какъ-то тутъ подмѣшались... Но не до нихъ, впрочемъ, было господину Голядкину! Все, что̀ ходило, шумѣло, говорило, смѣялось, — вдругъ, какъ-бы по мановенію какому, затихло, и мало по малу столпилось около господина Голядкина. Господинъ Голядкинъ, впрочемъ, какъ-бы ничего не слыхалъ, ничего не видалъ, онъ не могъ смотрѣть... онъ ни за что не могъ смотрѣть; онъ опустилъ глаза въ землю, да такъ и стоялъ себѣ, давъ себѣ, впрочемъ, мимоходомъ, честное слово какимъ нибудь образомъ застрѣлиться въ эту-же ночь. Давъ себѣ такое честное слово, господинъ Голядкинъ мысленно сказалъ себѣ «была не была!» и, къ собственному своему величайшему изумленію, совсѣмъ неожиданно началъ вдругъ говорить.

Началъ господинъ Голядкинъ поздравленіями и приличными пожеланіями. Поздравленія прошли хорошо, а на пожеланіяхъ герой нашъ запнулся. Чувствовалъ онъ, что если запнется, то все сразу къ чорту пойдетъ. Такъ и вышло — запнулся и завязъ... завязъ и покраснѣлъ; покраснѣлъ и потерялся; потерялся и поднялъ глаза; поднялъ глаза и обвелъ ихъ кругомъ; обвелъ ихъ кругомъ—и обмеръ... Все стояло, все молчало, все выжидало: немного подальше зашептало; немного поближе захохотало. Господинъ Голядкинъ бросилъ покорный, потерянный взоръ на Андрея Филипповича. Андрей Филипповичъ отвѣтилъ господину Голядкину такимъ взглядомъ, что если-бъ герой нашъ не былъ уже убитъ вполнѣ, совершенно, то былъ-бы непре-

мѣнно убить въ другой разъ, — если-бъ это было только возможно. Молчаніе длилось.

— Это болѣе относится къ домашнимъ обстоятельствамъ и къ частной жизни моей, Андрей Филипповичъ, едва слышнымъ голосомъ проговорилъ полумертвый господинъ Голядкинъ:—это не оффиціальное приключеніе, Андрей Филиповичъ...

— Стыдитесь, сударь, стыдитесь! проговорилъ Андрей Филипповичъ полушепотомъ, съ невыразимою миной негодованія,— проговорилъ, взялъ за руку Клару Олсуфьевну и отвернулся отъ господина Голядкина.

— Нечего мнѣ стыдиться, Андрей Филипповичъ, отвѣчалъ господинъ Голядкинъ такъ-же полушепотомъ, обводя свои несчастные взоры кругомъ, потерявшись и стараясь по сему случаю отыскать, въ недоумѣвающей толпѣ, средины и соціальнаго своего положенія.

— Ну, и ничего, ну, и ничего, господа! Ну, что-жь такое? Ну, и со всякимъ можетъ случиться, шепталъ господинъ Голядкинъ, сдвигаясь понемногу съ мѣста и стараясь выбраться изъ окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой нашъ кое-какъ прошелъ между двумя рядами любопытныхъ и недоумѣвающихъ наблюдателей. Рокъ увлекалъ его. Господинъ Голядкинъ самъ это чувствовалъ, что рокъ-то его увлекалъ. Конечно, онъ-бы дорого далъ за возможность находиться теперь, безъ нарушенія приличій, на прежней стоянкѣ своей въ сѣняхъ, возлѣ черной лѣстницы; но такъ какъ это было рѣшительно невозможно, то онъ и началъ стараться улизнуть куда нибудь въ уголокъ, да такъ и стоять себѣ тамъ—скромно, прилично, особо, никого не затрогивая, не обращая на себя исключительнаго вниманія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, снискавъ благорасположеніе гостей и хозяина. Впрочемъ, господинъ Голядкинъ чувствовалъ, что его какъ будто-бы подмываетъ что-то, какъ будто онъ колеблется, падаетъ. Наконецъ, онъ добрался до одного уголка и сталъ въ немъ, какъ посторонній, довольно равнодушный наблюдатель, опершись руками на спинки двухъ стульевъ, захвативъ ихъ такимъ образомъ въ свое полное обладаніе и стараясь по возможности взглянуть бодрымъ взглядомъ на сгруппировавшихся около него гостей Олсуфья Ивановича. Ближе всѣхъ стоялъ къ нему какой-то офицеръ, высокій и красивый малый, предъ которымъ господинъ Голядкинъ почувствовалъ себя настоящей букашкой.

— Эти два стула, поручикъ, назначены: одинъ для Клары Олсуфьевны, а другой для танцующей здѣсь-же княжны Чевче-

хановой; я ихъ, поручикъ, теперь для нихъ берегу, задыхаясь, проговорилъ господинъ Голядкинъ, обращая умоляющій взоръ на господина поручика. Поручикъ, молча и съ убійственной улыбкой, отворотился. Осѣкшись въ одномъ мѣстѣ, герой нашъ попробовалъ было попытать счастье гдѣ нибудь съ другой стороны, и обратился прямо къ одному важному совѣтнику, съ значительнымъ крестомъ на шеѣ. Но совѣтникъ обмѣрилъ его такимъ холоднымъ взглядомъ, что господинъ Голядкинъ ясно почувствовалъ, что его вдругъ окатили цѣлымъ ушатомъ холодной воды. Господинъ Голядкинъ затихъ. Онъ рѣшился лучше смолчать, не заговаривать, показать, что онъ такъ себѣ, что онъ тоже такъ, какъ и всѣ, и что положеніе его, сколько ему кажется, по крайней мѣрѣ, тоже приличное. Съ этою цѣлью онъ приковалъ свой взглядъ къ обшлагамъ своего вицъ-мундира, потомъ поднялъ глаза и остановилъ ихъ на одномъ весьма почтенной наружности господинѣ.—На этомъ господинѣ парикъ, подумалъ господинъ Голядкинъ:—а если снять этотъ парикъ, такъ будетъ голая голова, точь въ точь какъ ладонь моя голая.—Сдѣлавъ такое важное открытіе, господинъ Голядкинъ вспомнилъ и о арабскихъ эмирахъ, у которыхъ, если снять съ головы зеленую чалму, которую они носятъ въ знакъ родства своего съ пророкомъ Мухаммедомъ, то останется тоже голая, безволосая голова. Потомъ, и, вѣроятно, по особенному столкновенію идей относительно турковъ въ головѣ своей, господинъ Голядкинъ дошелъ и до туфлей турецкихъ, и тутъ-же кстати вспомнилъ, что Андрей Филипповичъ носитъ сапоги, похожіе больше на туфли, чѣмъ на сапоги. Замѣтно было, что господинъ Голядкинъ отчасти освоился съ своимъ положеніемъ.—Вотъ если-бъ эта люстра, мелькнуло въ головѣ господина Голядкина:—вотъ, если-бъ эта люстра сорвалась теперь съ мѣста и упала на общество, то я-бы тотчасъ бросился спасать Клару Олсуфьевну. Спасши ее, сказалъ-бы ей: «не безпокойтесь, сударыня; это ничего-съ, а спаситель вашъ я». Потомъ... Тутъ господинъ Голядкинъ повернулъ глаза въ сторону, отыскивая Клару Олсуфьевну, и увидѣлъ Герасимыча, стараго камердинера Олсуфія Ивановича. Герасимычъ съ самымъ заботливымъ, съ самымъ оффиціально-торжественнымъ видомъ пробирался прямо къ нему. Господинъ Голядкинъ вздрогнулъ и поморщился отъ какого-то безотчетнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самаго непріятнаго ощущенія. Машинально осмотрѣлся кругомъ: ему пришло было на мысль, какъ нибудь, этакъ подъ рукой, бочкомъ, въ тихомолку улизнуть отъ грѣха, этакъ взять—да и

стушеваться, то есть сдѣлать такъ, какъ будто-бы онъ ни въ одномъ глазу, какъ будто-бы вовсе не въ немъ было и дѣло. Однако, прежде, чѣмъ нашъ герой успѣлъ рѣшиться на что нибудь, Герасимычъ уже стоялъ передъ нимъ.

— Видите-ли, Герасимычъ, сказалъ нашъ герой, съ улыбочкой обращаясь къ Герасимычу:—вы возьмите, да и прикажите,—вотъ видите, свѣчка тамъ въ канделябрѣ, Герасимычъ—она сейчасъ упадетъ: такъ вы, знаете-ли, прикажите поправить ее; она, право, сейчасъ упадетъ, Герасимычъ...

— Свѣчка-съ? Нѣтъ-съ, свѣчка прямо стоитъ-съ; а вотъ васъ кто-то тамъ спрашиваетъ-съ.

— Кто-же это тамъ меня спрашиваетъ, Герасимычъ?

— А ужь право не знаюсъ-съ, кто именно-съ. Человѣкъ отъ какихъ-то-съ. Здѣсь, дескать, находится Яковъ Петровичъ Голядкинъ? Такъ вызовите, говоритъ, его по весьма нужному и спѣшному дѣлу... вотъ какъ-съ.

— Нѣтъ, Герасимычъ, вы ошибаетесь; въ этомъ вы, Герасимычъ, ошибаетесь.

— Сумнительно-съ...

— Нѣтъ, Герасимычъ, не сумнительно; тутъ, Герасимычъ, ничего нѣтъ сумнительнаго. Никто меня не спрашиваетъ, Герасимычъ, меня некому спрашивать, а я здѣсь у себя, то есть на своемъ мѣстѣ, Герасимычъ.

Господинъ Голядкинъ перевелъ духъ и осмотрѣлся кругомъ. Такъ и есть! Все, что̀ ни было въ залѣ, всѣ такъ и устремились на него взоромъ и слухомъ въ какомъ-то торжественномъ ожиданіи. Мужчины толпились поближе и прислушивались. Подальше тревожно перешептывались дамы. Самъ хозяинъ явился въ весьма недальнемъ разстояніи отъ господина Голядкина, и хотя по виду его нельзя было замѣтить, что онъ тоже, въ свою очередь, принимаетъ прямое и непосредственное участіе въ обстоятельствахъ господина Голядкина, потому что все это дѣлалось на деликатную ногу, но тѣмъ не менѣе все это дало ясно почувствовать герою повѣсти нашей, что минута для него настала рѣшительная. Господинъ Голядкинъ ясно видѣлъ, что настало время удара смѣлаго, время посрамленія враговъ его. Господинъ Голядкинъ былъ въ волненіи. Господинъ Голядкинъ почувствовалъ какое-то вдохновеніе и дрожащимъ, торжественнымъ голосомъ началъ снова, обращаясь къ ожидавшему Герасимычу.

— Нѣтъ, мой другъ, меня никто не зоветъ. Ты ошибаешься.

Скажу болѣе, ты ошибался и утромъ сегодня, увѣряя меня... осмѣливаясь увѣрять меня, говорю я (господинъ Голядкинъ возвысилъ голосъ), что Олсуфій Ивановичъ, благодѣтель мой съ незапамятныхъ лѣтъ, замѣнившій мнѣ въ нѣкоторомъ смыслѣ отца, закажетъ для меня дверь свою въ минуту семейной и торжественнѣйшей радости для его сердца родительскаго. (Господинъ Голядкинъ самодовольно, но съ глубокимъ чувствомъ осмотрѣлся кругомъ. На рѣсницахъ его навернулись слезы). Повторяю, мой другъ, заключилъ нашъ герой:—ты ошибался; ты жестоко, непростительно ошибался...

Минута была торжественная. Господинъ Голядкинъ чувствовалъ, что эффектъ былъ вѣрнѣйшій. Господинъ Голядкинъ стоялъ, скромно потупивъ глаза и ожидая объятій Олсуфія Ивановича. Въ гостяхъ замѣтно было волненіе и недоумѣніе; даже самъ непоколебимый и ужасный Герасимычъ заикнулся на словѣ «сумнительно-съ»... какъ вдругъ безпощадный оркестръ, ни съ того, ни сего, грянулъ польку. Все пропало, все на вѣтеръ пошло. Господинъ Голядкинъ вздрогнулъ, Герасимычъ отшатнулся назадъ, все, что̀ ни было въ залѣ, заволновалось какъ море, и Владиміръ Семеновичъ уже несся въ первой парѣ съ Кларой Олсуфьевной, а красивый поручикъ съ княжной Чевчехановой. Зрители съ любопытствомъ и восторгомъ тѣснились взглянуть на танцующихъ польку — танецъ интересный, новый, модный, кружившій всѣмъ головы. Господинъ Голядкинъ былъ на время забытъ. Но вдругъ все заволновалось, замѣшалось, засуетилось; музыка умолкла... случилось странное происшествіе. Утомленная танцемъ, Клара Олсуфьевна, едва переводя духъ отъ усталости, съ пылающими щеками и глубоко волнующеюся грудью упала, наконецъ, въ изнеможеніи силъ, въ кресла. Всѣ сердца устремились къ прелестной очаровательницѣ, всѣ спѣшили наперерывъ привѣтствовать ее и благодарить за оказанное удовольствіе,— вдругъ передъ нею очутился господинъ Голядкинъ. Господинъ Голядкинъ былъ блѣденъ, крайне разстроенъ; казалось, онъ тоже былъ въ какомъ-то изнеможеніи, онъ едва двигался. Онъ отчего-то улыбался, онъ просительно протягивалъ руку. Клара Олсуфьевна, въ изумленіи, не успѣла отдернуть руки своей, и машинально встала на приглашеніе господина Голядкина. Господинъ Голядкинъ покачнулся впередъ, сперва одинъ разъ, потомъ другой, потомъ поднялъ ножку, потомъ какъ-то пришаркнулъ, потомъ какъ-то притопнулъ, потомъ споткнулся... онъ тоже хотѣлъ танцовать съ Кларой Олсуфьевной. Клара Олсуфь-

евна вскрикнула; всѣ бросились освобождать ея руку изъ руки господина Голядкина, и разомъ герой нашъ былъ оттѣсненъ толпою едва-ли не на десять шаговъ разстоянія. Вокругъ него сгруппировался тоже кружокъ. Послышался визгъ и крикъ двухъ старухъ, которыхъ господинъ Голядкинъ едва не опрокинулъ въ ретирадѣ. Смятеніе было ужасное; все спрашивало, все кричало, все разсуждало. Оркестръ умолкъ. Герой нашъ вертѣлся въ кружкѣ своемъ, и машинально, отчасти улыбаясь, что-то бормоталъ про себя, что, «дескать, отчего-жь и нѣтъ, и что, дескать, полька, сколько ему, по крайней мѣрѣ, кажется, танецъ новый и весьма интересный, созданный для утѣшенія дамъ... но что, если такъ дѣло пошло, то онъ, пожалуй, готовъ согласиться». Но согласія господина Голядкина, кажется, никто и не спрашивалъ. Герой нашъ почувствовалъ, что вдругъ чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его съ какою-то особенною заботливостью направляютъ въ какую-то сторону. Наконецъ, онъ замѣтилъ, что идетъ прямо къ дверямъ. Господинъ Голядкинъ хотѣлъ было что-то сказать, что-то сдѣлать... Но нѣтъ, онъ уже ничего не хотѣлъ. Онъ только машинально отсмѣивался. Наконецъ, онъ почувствовалъ, что на него надѣваютъ шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу; что, наконецъ, — онъ почувствовалъ себя въ сѣняхъ, въ темнотѣ и на холодѣ, наконецъ, и на лѣстницѣ. Наконецъ, онъ споткнулся, ему казалось, что онъ падаетъ въ бездну; онъ хотѣлъ было вскрикнуть — и вдругъ очутился на дворѣ. Свѣжій воздухъ пахнулъ на него, онъ на минутку пріостановился; въ самое это мгновеніе до него долетѣли звуки вновь грянувшаго оркестра. Господинъ Голядкинъ вдругъ вспомнилъ все; казалось, всѣ опавшія силы его возвратились къ нему опять. Онъ сорвался съ мѣста, на которомъ доселѣ стоялъ какъ прикованный, и стремглавъ бросился вонъ, куда нибудь, на воздухъ, на волю, куда глаза глядятъ...

ГЛАВА V.

На всѣхъ петербургскихъ башняхъ, показывающихъ и бьющихъ часы, пробило ровно полночь, когда господинъ Голядкинъ, внѣ себя, выбѣжалъ на набережную Фонтанки, близь самаго Измайловскаго моста, спасаясь отъ враговъ, отъ преслѣдованій, отъ града щелчковъ, на него занесенныхъ, отъ крика встрево-

женныхъ старухъ, отъ оханья и аханья женщинъ и отъ убійственныхъ взглядовъ Андрея Филипповича. Господинъ Голядкинъ былъ убитъ—убитъ вполнѣ, въ полномъ смыслѣ слова, и если сохранилъ въ настоящую минуту способность бѣжать, то единственно по какому-то чуду, по чуду, которому онъ самъ, наконецъ, вѣрить отказывался. Ночь была ужасная,—ноябрьская,—мокрая, туманная, дождливая, снѣжливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всѣхъ возможныхъ родовъ и сортовъ, однимъ словомъ, всѣми дарами петербургскаго ноября. Вѣтеръ вылъ въ опустѣлыхъ улицахъ, вздымая выше колецъ черную воду Фонтанки, и задорно потрогивая тощіе фонари набережной, которые, въ свою очередь, вторили его завываніямъ тоненькимъ, пронзительнымъ скрипомъ, что̀ составляло безконечный, пискливый, дребезжащій концертъ, весьма знакомый каждому петербургскому жителю. Шелъ дождь и снѣгъ разомъ. Прорываемыя вѣтромъ струи дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, словно изъ пожарной трубы, и кололи и сѣкли лицо несчастнаго господина Голядкина, какъ тысячи булавокъ и шпилекъ. Среди ночнаго безмолвія, прорываемаго лишь отдаленнымъ гуломъ каретъ, воемъ вѣтра и скрипомъ фонарей, уныло слышались хлестъ и журчаніе воды, стекавшей со всѣхъ крышъ, крылечекъ, жолобовъ и карнизовъ на гранитный помостъ тротуара. Ни души не было ни вблизи, ни вдали, да, казалось, что и быть не могло въ такую пору и въ такую погоду. Итакъ, одинъ только господинъ Голядкинъ, одинъ съ своимъ отчаяніемъ, трусилъ въ это время по тротуару Фонтанки своимъ обыкновеннымъ, мелкимъ и частымъ шажкомъ, спѣша добѣжать какъ можно скорѣе въ свою Шестилавочную улицу, въ свой четвертый этажъ, къ себѣ на квартиру.

Хотя снѣгъ, дождь, и все то, чему даже имени не бываетъ, когда разыграется вьюга и хмара подъ петербургскимъ ноябрьскимъ небомъ, разомъ, вдругъ атаковали и безъ того убитаго несчастіями господина Голядкина, не давая ему ни малѣйшей пощады и отдыха, пронимая его до костей, залѣпляя глаза, продувая со всѣхъ сторонъ, сбивая съ пути и съ послѣдняго толка, хоть все это разомъ опрокинулось на господина Голядкина, какъ-бы нарочно сообщась и согласясь со всѣми врагами его отработать ему денекъ, вечерокъ и ночку на славу,—не смотря на все это, господинъ Голядкинъ остался почти нечувствителенъ къ этому послѣднему доказательству гоненія судьбы: такъ сильно потрясло и поразило его все происшедшее съ нимъ, нѣсколько минутъ

назадъ, у господина статскаго совѣтника Берендѣева! Если-бъ теперь посторонній, неинтересованный какой нибудь наблюдатель, взглянулъ-бы такъ себѣ, съ боку, на тоскливую побѣжку господина Голядкина, то и тотъ-бы разомъ проникнулся всѣмъ страшнымъ ужасомъ его бѣдствій, и непремѣнно сказалъ-бы, что господинъ Голядкинъ глядитъ теперь такъ, какъ будто самъ отъ себя куда-то спрятаться хочетъ, какъ будто самъ отъ себя убѣжать куда нибудь хочетъ! Да! Оно было дѣйствительно такъ. Скажемъ болѣе: господинъ Голядкинъ не только желалъ теперь убѣжать отъ себя самого, но даже совсѣмъ уничтожиться, не быть, въ прахъ обратиться. Въ настоящія минуты, онъ не внималъ ничему окружающему, не понималъ ничего, что вокругъ него дѣлается, и смотрѣлъ такъ, какъ будто-бы для него не существовало на самомъ дѣлѣ ни непріятностей ненастной ночи, ни долгаго пути, ни дождя, ни снѣга, ни вѣтра, ни всей крутой непогоды. Калоша, отставшая отъ сапога съ правой ноги господина Голядкина, тутъ-же и осталась въ грязи и снѣгу, на тротуарѣ Фонтанки, а господинъ Голядкинъ и не подумалъ воротиться за нею, и не примѣтилъ пропажи ея. Онъ былъ такъ озадаченъ, что нѣсколько разъ, вдругъ, не смотря ни на что окружающее, проникнутый вполнѣ идеей своего недавняго, страшнаго паденія, останавливался неподвижно, какъ столбъ, посреди тротуара; въ это мгновеніе, онъ умиралъ, исчезалъ; потомъ вдругъ срывался какъ бѣшеный съ мѣста и бѣжалъ, бѣжалъ безъ оглядки, какъ будто спасаясь отъ чьей-то погони, отъ какого-то еще болѣе ужаснаго бѣдствія... Дѣйствительно, положеніе было ужасное!.. Наконецъ, въ истощеніи силъ, господинъ Голядкинъ остановился, оперся на перила набережной въ положеніи человѣка, у котораго вдругъ, совсѣмъ неожиданно, потекла носомъ кровь, и пристально сталъ смотрѣть на мутную, черную воду Фонтанки. Неизвѣстно, сколько именно времени проведено было имъ въ этомъ занятіи. Извѣстно только, что въ это мгновеніе господинъ Голядкинъ дошелъ до такого отчаянія, такъ былъ истерзанъ, такъ былъ измученъ, до того изнемогъ и опалъ и безъ того уже слабыми остатками духа, что позабылъ обо всемъ, и объ Измайловскомъ мостѣ, и о Шестилавочной улицѣ и о настоящемъ своемъ... Что-жь, въ самомъ дѣлѣ? Вѣдь ему было все равно: дѣло сдѣлано, кончено, рѣшеніе скрѣплено и подписано; что-жь ему?... Вдругъ... вдругъ онъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и невольно отскочилъ шага на два въ сторону. Съ неизъяснимымъ безпокойствомъ началъ онъ озираться кругомъ; но никого

не было, ничего не случилось особеннаго,—а между тѣмъ... между тѣмъ ему показалось, что кто-то сейчасъ, сію минуту, стоялъ здѣсь около него, рядомъ съ нимъ, тоже облокотясь на перила набережной, и—чудное дѣло!—даже что-то сказалъ ему, что-то скоро сказалъ, отрывисто, не совсѣмъ понятно, но о чемъ-то весьма къ нему близкомъ, до него относящемся. «Что-жь, это мнѣ почудилось, что ли?» сказалъ господинъ Голядкинъ, еще разъ озираясь кругомъ.—«Да я-то гдѣ-же стою?.. Эхъ, эхъ!» заключилъ онъ, покачавъ головою, а между тѣмъ съ безпокойнымъ, тоскливымъ чувствомъ, даже со страхомъ сталъ вглядываться въ мутную, влажную даль, напрягая всѣми силами зрѣніе и всѣми силами стараясь пронзить близорукимъ взоромъ своимъ мокрую средину, передъ нимъ разстилавшуюся. Однако-жь, ничего не было новаго, ничего особеннаго не бросилось въ глаза господину Голядкину. Казалось, все было въ порядкѣ, какъ слѣдуетъ, то есть снѣгъ валилъ еще сильнѣе, крупнѣе и гуще; на разстояніи двадцати шаговъ не было видно ни зги; фонари скрипѣли еще пронзительнѣе прежняго, и вѣтеръ, казалось, еще плачевнѣе, еще жалостнѣе затягивалъ тоскливую пѣсню свою, словно неотвязчивый нищій, вымаливающій мѣдный грошъ на свое пропитаніе. «Эхъ, эхъ! да что-жь это со мною такое?» повторилъ опять господинъ Голядкинъ, пускаясь снова въ дорогу и все слегка озираясь кругомъ. А между тѣмъ, какое-то новое ощущеніе отозвалось во всемъ существѣ господина Голядкина: тоска не тоска, страхъ не страхъ... лихорадочный трепетъ пробѣжалъ по жиламъ его. Минута была невыносимо непріятная! «Ну, ничего», проговорилъ онъ, чтобъ себя ободрить: «ну, ничего; можетъ быть, это и совсѣмъ ничего, и чести ничьей не мараетъ. Можетъ быть, оно такъ и надобно было», продолжалъ онъ, самъ не понимая, что̀ говоритъ: «можетъ быть, все это въ свое время устроится къ лучшему, и претендовать будетъ не на что, и всѣхъ оправдаетъ». Такимъ образомъ говоря и словами себя облегчая, господинъ Голядкинъ отряхнулся немного, стряхнулъ съ себя снѣжныя хлопья, навалившіеся густою корою ему на шляпу, на воротникъ, на шинель, на галстукъ, на сапоги и на все, — но страннаго чувства, странной темной тоски своей все еще не могъ оттолкнуть отъ себя, сбросить съ себя. Гдѣ-то далеко раздался пушечный выстрѣлъ. «Эка погодка», подумалъ герой нашъ: «чу! не будетъ-ли наводненія? Видно вода поднялась слишкомъ сильно». Только что сказалъ или подумалъ это господинъ Голядкинъ, какъ увидѣлъ впереди себя идущаго ему на встрѣчу прохожаго,

тоже, вѣроятно, какъ и онъ, по какому нибудь случаю запоздалаго. Дѣло-бы, кажется, пустое, случайное; но, неизвѣстно почему, господинъ Голядкинъ смутился и даже струсилъ, потерялся немного. Не то чтобъ онъ боялся недобраго человѣка, а такъ, можетъ быть... да и кто его знаетъ, этого запоздалаго, промелькнуло въ головѣ господина Голядкина, можетъ быть, и онъ тоже самое, можетъ быть, онъ-то тутъ и самое главное дѣло, и не даромъ идетъ, а съ цѣлью идетъ, дорогу мою переходитъ и меня задѣваетъ. Можетъ быть, впрочемъ, господинъ Голядкинъ и не подумалъ именно этого, а такъ только ощутилъ мгновенно что-то подобное и весьма непріятное. Думать-то и ощущать, впрочемъ, некогда было; прохожій уже былъ въ двухъ шагахъ. Господинъ Голядкинъ тотчасъ, по всегдашнему обыкновенію своему, поспѣшилъ принять видъ совершенно особенный, видъ ясно выражавшій, что онъ, Голядкинъ, самъ по себѣ, что онъ ничего, что дорога для всѣхъ довольно широкая, и что вѣдь онъ, Голядкинъ, самъ никого не затрогиваетъ. Вдругъ онъ остановился, какъ вкопанный, какъ будто молніей пораженный, и быстро потомъ обернулся назадъ, вслѣдъ прохожему, едва только его миновавшему,—обернулся съ такимъ видомъ, какъ будто что его дернуло сзади, какъ будто вѣтеръ повернулъ его флюгеръ. Прохожій быстро исчезалъ въ снѣжной мятелицѣ. Онъ тоже шелъ торопливо, тоже, какъ и господинъ Голядкинъ, былъ одѣтъ и укутанъ съ головы до ногъ, и такъ-же, какъ и онъ, дробилъ и сѣменилъ по тротуару Фонтанки частымъ, мелкимъ шажкомъ, немного съ притрусочкой. «Что̀, что̀ это?» шепталъ господинъ Голядкинъ, недовѣрчиво улыбаясь,—однако-жь, дрогнулъ всѣмъ тѣломъ. Морозомъ подернуло у него по спинѣ. Между тѣмъ, прохожій исчезъ совершенно, не стало уже слышно и шаговъ его, а господинъ Голядкинъ все еще стоялъ и глядѣлъ ему вслѣдъ. Однако-жь, наконецъ, онъ мало по малу опомнился. «Да что-жь это такое», подумалъ онъ съ досадою: — «что-жь это я, съ ума, что-ли, въ самомъ дѣлѣ, сошелъ?» обернулся и пошелъ своею дорогою, ускоряя и частя болѣе и болѣе шаги, и стараясь ужь лучше вовсе ни о чемъ не думать. Даже и глаза, наконецъ, закрылъ съ сею цѣлью. Вдругъ, сквозь завыванія вѣтра и шумъ непогоды, до слуха его долетѣлъ опять шумъ чьихъ-то весьма недалекихъ шаговъ. Онъ вздрогнулъ и открылъ глаза. Передъ нимъ опять, шагахъ въ двадцати отъ него, чернѣлся какой-то быстро приближавшійся къ нему человѣчекъ. Человѣчекъ этотъ спѣшилъ, частилъ, то-

ропился; разстояніе быстро уменьшалось. Господинъ Голядкинъ уже могъ даже совсѣмъ разглядѣть своего новаго запоздалаго товарища,—разглядѣлъ и вскрикнулъ отъ изумленія и ужаса; ноги его подкосились. Это былъ тотъ самый знакомый ему пѣшеходъ, котораго онъ, минутъ съ десять назадъ, пропустилъ мимо себя, и который вдругъ совсѣмъ неожиданно, теперь опять передъ нимъ появился. Но не одно это чудо поразило господина Голядкина,—а пораженъ господинъ Голядкинъ былъ такъ, что остановился, вскрикнулъ, хотѣлъ было что-то сказать,—и пустился догонять незнакомца, даже закричалъ ему что-то, вѣроятно, желая остановить его поскорѣе. Незнакомецъ остановился дѣйствительно, такъ—шагахъ въ десяти отъ господина Голядкина, и такъ что свѣтъ близь состоявшаго фонаря совершенно падалъ на всю фигуру его,—остановился, обернулся къ господину Голядкину и съ нетерпѣливо озабоченнымъ видомъ ждалъ, что̀ онъ скажетъ. «Извините, я, можетъ, и ошибся», дрожащимъ голосомъ проговорилъ нашъ герой. Незнакомецъ молча и съ досадою повернулся, и быстро пошелъ своею дорогою, какъ будто спѣша нагнать потерянныя двѣ секунды съ господиномъ Голядкинымъ. Что-же касается до господина Голядкина, то у него задрожали всѣ жилки, колѣни его подогнулись, ослабли, и онъ со стономъ присѣлъ на тротуарную тумбочку. Впрочемъ, дѣйствительно, было отъ чего прійдти въ такое смущеніе. Дѣло въ томъ, что незнакомецъ этотъ показался ему теперь какъ-то знакомымъ. Это-бы еще все ничего. Но онъ узналъ, почти совсѣмъ узналъ теперь этого человѣка. Онъ его часто видывалъ, этого человѣка, когда-то видывалъ, даже недавно весьма; гдѣ-же-бы это? ужь не вчера-ли? Впрочемъ, и опять не въ томъ было главное дѣло, что господинъ Голядкинъ его видывалъ часто; да и особеннаго-то въ этомъ человѣкѣ почти не было ничего,—особеннаго вниманія рѣшительно ничьего не возбуждалъ съ перваго взгляда этотъ человѣкъ. Такъ, человѣкъ былъ какъ и всѣ, порядочный, разумѣется, какъ и всѣ люди порядочные, и, можетъ быть, имѣлъ такъ кое-какія, и даже довольно значительныя достоинства,—однимъ словомъ: былъ самъ по себѣ человѣкъ. Господинъ Голядкинъ не питалъ даже ни ненависти, ни вражды, ни даже никакой самой легкой непріязни къ этому человѣку, даже напротивъ, казалось-бы,—а между тѣмъ (и въ этомъ-то вотъ обстоятельствѣ была главная сила), а между тѣмъ, ни за какія сокровища міра не желалъ-бы встрѣтиться съ нимъ, и особенно встрѣтиться такъ, какъ теперь, напримѣръ. Скажемъ болѣе: господинъ Голядкинъ зналъ вполнѣ

этого человѣка; онъ даже зналъ, какъ зовутъ его, какъ фамилія этого человѣка; а между тѣмъ ни за что, и опять таки ни за какія сокровища въ мірѣ, не захотѣлъ-бы назвать его, согласиться признать, что вотъ, дескать, его такъ-то зовутъ, что онъ такъ-то по батюшкѣ, и такъ по фамиліи. Много-ли, мало-ли продолжалось недоразумѣніе господина Голядкина, долго-ли именно онъ сидѣлъ на тротуарномъ столбу,—не могу сказать, но, только, наконецъ, маленько очнувшись, онъ вдругъ пустился бѣжать безъ оглядки, что̀ силы въ немъ было; духъ его занимался; онъ споткнулся два раза, чуть не упалъ,—и при этомъ обстоятельствѣ осиротѣлъ другой сапогъ господина Голядкина, тоже покинутый своею калошею. Наконецъ, господинъ Голядкинъ сбавилъ шагу немножко, чтобъ духъ перевести, торопливо осмотрѣлся кругомъ и увидѣлъ, что уже перебѣжалъ, не замѣчая того, весь свой путь по Фонтанкѣ, перешелъ Аничковъ мостъ, миновалъ часть Невскаго и теперь стоитъ на поворотѣ въ Литейную. Господинъ Голядкинъ поворотилъ въ Литейную. Положеніе его въ это мгновеніе походило на человѣка, стоящаго надъ страшной стремниной, когда земля подъ нимъ обрывается, ужь покачнулась, ужь двинулась, въ послѣдній разъ колышется, падаетъ, увлекаетъ его въ бездну, а между тѣмъ у несчастнаго нѣтъ ни силы, ни твердости духа отскочить назадъ, отвесть свои глаза отъ зіяющей пропасти; бездна тянетъ его, и онъ прыгаетъ, наконецъ, въ нее самъ, самъ ускоряя минуту своей-же погибели. Господинъ Голядкинъ зналъ, чувствовалъ и былъ совершенно увѣренъ, что съ нимъ непремѣнно совершится дорогой еще что-то недоброе, что разразится надъ нимъ еще какая нибудь непріятность, что, напримѣръ, онъ встрѣтитъ опять своего незнакомца; но—странное дѣло, онъ даже желалъ этой встрѣчи, считалъ ее неизбѣжною, и просилъ только, чтобъ поскорѣе все это кончилось, чтобъ положеніе-то его разрѣшилось хоть какъ нибудь, но только-бъ скорѣе. А, между тѣмъ, онъ все бѣжалъ да бѣжалъ, и словно двигаемый какою-то посторонней силою: ибо во всемъ существѣ своемъ чувствовалъ какое-то ослабленіе и онѣмѣніе; думать ни о чемъ онъ не могъ, хотя идеи его цѣплялись за все, какъ терновникъ. Какая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за господиномъ Голядкинымъ и тоже бѣжала около него бочкомъ, торопливо, поджавъ хвостъ и уши, по временамъ робко и понятливо на него поглядывая. Какая-то далекая, давно ужь забытая идея—воспоминаніе о какомъ-то давно случившемся обстоятельствѣ—пришла теперь ему въ голову, стучала словно

молоточкомъ, въ его головѣ, досаждала ему, не отвязывалась прочь отъ него. «Эхъ, эта скверная собачонка!» шепталъ господинъ Голядкинъ, самъ не понимая себя. Наконецъ, онъ увидѣлъ своего незнакомца на поворотѣ въ Итальянскую улицу. Только теперь незнакомецъ уже шелъ не на встрѣчу ему, а въ ту-же самую сторону, какъ и онъ, и тоже бѣжалъ, нѣсколько шаговъ впереди. Наконецъ, вошли въ Шестилавочную. У господина Голядкина духъ захватило. Незнакомецъ остановился прямо передъ тѣмъ домомъ, въ которомъ квартировалъ господинъ Голядкинъ. Послышался звонъ колокольчика, и почти въ то-же время скрипъ желѣзной задвижки. Калитка отворилась, незнакомецъ нагнулся, мелькнулъ и исчезъ. Почти въ тоже самое мгновеніе поспѣлъ и господинъ Голядкинъ, и какъ стрѣлка влетѣлъ подъ ворота. Не слушая заворчавшаго дворника, запыхавшись, вбѣжалъ онъ на дворъ и тотчасъ-же увидалъ своего интереснаго спутника, на минуту потеряннаго. Незнакомецъ мелькнулъ при входѣ на ту лѣстницу, которая вела въ квартиру господина Голядкина. Господинъ Голядкинъ бросился вслѣдъ за нимъ. Лѣстница была темная, сырая и грязная. На всѣхъ поворотахъ нагромождена была бездна всякаго жилецкаго хлама, такъ что чужой, небывалый человѣкъ, попавши на эту лѣстницу въ темное время, принуждаемъ былъ по ней съ полчаса путешествовать, рискуя сломать себѣ ноги и проклиная вмѣстѣ съ лѣстницей и знакомыхъ своихъ, неудобно такъ поселившихся. Но спутникъ господина Голядкина былъ словно знакомый, словно домашній; взбѣгалъ легко, безъ затрудненій и съ совершеннымъ знаніемъ мѣстности. Господинъ Голядкинъ почти совсѣмъ нагонялъ его; даже раза два, или три, подолъ шинели незнакомца ударилъ его по носу. Сердце въ немъ замирало. Таинственный человѣкъ остановился прямо противъ дверей квартиры господина Голядкина, стукнулъ, и (что, впрочемъ, удивило-бы въ другое время господина Голядкина) Петрушка словно ждалъ, и спать не ложился, тотчасъ отворилъ дверь и пошелъ за вошедшимъ человѣкомъ со свѣчею въ рукахъ. Внѣ себя вбѣжалъ въ жилище свое герой нашей повѣсти; не снимая шинели и шляпы, прошелъ онъ корридорчикъ и, словно громомъ пораженный, остановился на порогѣ своей комнаты. Всѣ предчувствія господина Голядкина сбылись совершенно. Все, чего опасался онъ и что предугадывалъ, совершилось теперь на-яву. Дыханіе его порвалось, голова закружилась. Незнакомецъ сидѣлъ передъ нимъ, тоже въ шинели и въ шляпѣ, на его-же постели, слегка улы-

баясь и, прищурясь немного, дружески кивалъ ему головою. Господинъ Голядкинъ хотѣлъ закричать, но не могъ,—протестовать какимъ нибудь образомъ, но силъ не хватило. Волосы встали на головѣ его дыбомъ, и онъ присѣлъ безъ чувствъ на мѣстѣ отъ ужаса. Да и было отъ чего, впрочемъ. Господинъ Голядкинъ совершенно узналъ своего ночнаго пріятеля. Ночной пріятель его былъ ни кто иной, какъ онъ самъ,—самъ господинъ Голядкинъ, другой господинъ Голядкинъ, но совершенно какой-же какъ и онъ самъ,—однимъ словомъ, что называется, двойникъ его во всѣхъ отношеніяхъ . . . . . .

. . . . . .

ГЛАВА VI.

На другой день, ровно въ восемь часовъ, господинъ Голядкинъ очнулся на своей постели. Тотчасъ-же всѣ необыкновенныя вещи вчерашняго дня и вся невѣроятная, дикая ночь, съ ея почти невозможными приключеніями, разомъ, вдругъ, во всей ужасающей полнотѣ, явились его воображенію и памяти. Такая ожесточенная адская злоба враговъ его и, особенно, послѣднее доказательство этой злобы, оледенили сердце господина Голядкина. Но и вмѣстѣ съ тѣмъ все это было такъ странно, непонятно, дико, казалось такъ невозможнымъ, что дѣйствительно трудно было вѣру дать всему этому дѣлу; господинъ Голядкинъ даже самъ готовъ былъ признать все это несбыточнымъ бредомъ, мгновеннымъ разстройствомъ воображенія, отемнѣніемъ ума, если-бъ, къ счастію своему, не зналъ по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба можетъ довести человѣка,—до чего можетъ иногда дойдти ожесточенность врага, мстящаго за честь и амбицію. Къ тому-же, разбитые члены господина Голядкина, чадная голова, изломанная поясница и злокачественный насморкъ сильно свидѣтельствовали и отстаивали всю вѣроятность вчерашней ночной прогулки, а частію и всего прочаго, приключившагося во время этой прогулки. Да и, наконецъ, господинъ Голядкинъ уже давнымъ давно зналъ, что у нихъ тамъ что-то приготовляется, что у нихъ тамъ есть кто-то другой. Но—что̀-же? Хорошенько раздумавъ, господинъ Голядкинъ рѣшился смолчать, покориться и не протестовать по этому дѣлу до времени. «Такъ, можетъ быть, только попугать меня вздумали, а какъ увидятъ, что я ничего, не протестую и совершенно

смиряюсь, съ смиреніемъ переношу, такъ и отступятся, сами отступятся, да еще первые отступятся».

Такъ вотъ такія-то мысли были въ головѣ господина Голядкина, когда онъ, потягиваясь въ постели своей и расправляя разбитые члены, ждалъ, этотъ разъ, обычнаго появленія Петрушки въ своей комнатѣ. Ждалъ онъ уже съ четверть часа; слышалъ, какъ лѣнивецъ Петрушка возится за перегородкой съ самоваромъ, а между тѣмъ никакъ не рѣшался позвать его. Скажемъ болѣе: господинъ Голядкинъ даже немного боялся теперь очной ставки съ Петрушкою. «Вѣдь Богъ знаетъ», думалъ онъ, «вѣдь Богъ знаетъ, какъ теперь смотритъ на все это дѣло этотъ мошенникъ. Онъ тамъ молчитъ-молчитъ, а самъ себѣ на умѣ». Наконецъ, дверь заскрипѣла, и явился Петрушка съ подносомъ въ рукахъ. Господинъ Голядкинъ робко на него покосился, съ нетерпѣніемъ ожидая, что̀ будетъ, ожидая, не скажетъ-ли онъ, наконецъ, чего нибудь на счетъ извѣстнаго обстоятельства. Но Петрушка ничего не сказалъ, а, напротивъ, былъ какъ-то молчаливѣе, суровѣе и сердитѣе обыкновеннаго, косился на все изъ подлобья; вообще видно было, что онъ чѣмъ-то крайне недоволенъ; даже ни разу не взглянулъ на своего барина, что̀, мимоходомъ сказать, немного кольнуло господина Голядкина; поставилъ на столъ все, что принесъ съ собой, повернулся и ушелъ, молча, за свою перегородку. «Знаетъ, знаетъ, все знаетъ, бездѣльникъ!» ворчалъ господинъ Голядкинъ, принимаясь за чай. Однако-жъ, герой нашъ ровно ничего не разспросилъ у своего человѣка, хотя Петрушка нѣсколько разъ потомъ входилъ въ его комнату за разными надобностями. Въ самомъ тревожномъ положеніи духа былъ господинъ Голядкинъ. Жутко было еще идти въ департаментъ. Сильное предчувствіе было, что вотъ именно тамъ-то что нибудь да не такъ. «Вѣдь вотъ пойдешь», думалъ онъ: «да какъ наткнешься на что нибудь: Не лучше-ли теперь потерпѣть? Не лучше-ли теперь подождать? Они тамъ—пускай себѣ какъ хотятъ; а я-бы сегодня здѣсь подождалъ, собрался-бы съ силами, оправился-бы, размыслилъ получше обо всемъ этомъ дѣлѣ, да потомъ улучилъ-бы минутку, да всѣмъ имъ какъ снѣгъ на голову, а самъ ни въ одномъ глазу». Раздумывая такимъ образомъ, господинъ Голядкинъ выкуривалъ трубку за трубкой; время летѣло; было уже почти половина десятаго. «Вѣдь вотъ уже половина десятаго», думалъ господинъ Голядкинъ: «и являться-то поздно». Да къ тому-же я боленъ, разумѣется, боленъ, непремѣнно боленъ; кто-же скажетъ, что нѣтъ? Что мнѣ!

А пришлютъ свидѣтельствовать, а пусть прійдетъ экзекуторъ; да и что-же мнѣ въ самомъ дѣлѣ? У меня вотъ спина болитъ, кашель, насморкъ; да и, наконецъ, и нельзя мнѣ идти, никакъ нельзя по этой погодѣ; я могу заболѣть, а потомъ и умереть, пожалуй; ныньче особенно смертность такая»... Такими резонами господинъ Голядкинъ успокоилъ, наконецъ, вполнѣ свою совѣсть и заранѣе оправдался самъ передъ собою въ нагоняѣ, ожидаемомъ отъ Андрея Филипповича за нерадѣніе по службѣ. Вообще, во всѣхъ подобныхъ обстоятельствахъ крайне любилъ нашъ герой оправдывать себя въ собственныхъ глазахъ своихъ разными неотразимыми резонами и успокоивать такимъ образомъ вполнѣ свою совѣсть. И такъ, успокоивъ теперь вполнѣ свою совѣсть, взялся онъ за трубку, набилъ ее и только что началъ порядочно раскуривать,—быстро вскочилъ съ дивана, трубку отбросилъ, живо умылся, обрился, пригладился, натянулъ на себя вицъ-мундиръ и все прочее, захватилъ кое какія бумаги и полетѣлъ въ департаментъ.

Вошелъ господинъ Голядкинъ въ свое отдѣленіе робко, съ трепещущимъ ожиданіемъ чего-то весьма нехорошаго,—ожиданіемъ хотя безсознательнымъ, темнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и непріятнымъ; робко присѣлъ онъ на свое всегдашее мѣсто возлѣ столоначальника, Антона Антоновича Сѣточкина. Ни на что не глядя, не развлекаясь ничѣмъ, вникнулъ онъ въ содержаніе лежавшихъ передъ нимъ бумагъ. Рѣшился онъ и далъ себѣ слово какъ можно сторониться отъ всего вызывающаго, отъ всего могущаго сильно его компрометтировать, какъ-то: отъ нескромныхъ вопросовъ, отъ чьихъ нибудь шуточекъ и неприличныхъ намековъ на счетъ всѣхъ обстоятельствъ вчерашняго вечера; рѣшился даже отстраниться отъ обычныхъ учтивостей съ сослуживцами, то есть вопросовъ о здоровьѣ и прочее. Но очевидно тоже, что такъ оставаться было нельзя, невозможно. Безпокойство и невѣдѣніе о чемъ нибудь близко его задѣвающемъ, всегда его мучило болѣе, нежели самое задѣвающее. И вотъ почему, не смотря на данное себѣ слово не входить ни во что, что̀-бы ни дѣлалось, и сторониться отъ всего, что̀-бы ни было, господинъ Голядкинъ изрѣдка, украдкой, тихонько-тихонько приподымалъ голову и исподтишка поглядывалъ на стороны, направо, налѣво, заглядывалъ въ физіономіи своихъ сослуживцевъ, и по нимъ уже старался заключить, нѣтъ-ли чего новаго и особеннаго, до него относящагося и отъ него съ какими нибудь неблаговидными цѣлями скрываемаго. Предполагалъ онъ непремѣнную связь всего своего вчерашняго об-

стоятельства со всѣмъ теперь его окружающимъ. Наконецъ, въ тоскѣ своей, онъ началъ желать, чтобъ, хоть Богъ знаетъ какъ, да только разрѣшилось-бы все поскорѣе; хоть и бѣдой какой нибудь—нужды нѣтъ! Какъ тутъ судьба поймала господина Голядкина: не успѣлъ онъ пожелать, какъ сомнѣнія его вдругъ разрѣшились, но зато самымъ страннымъ и самымъ неожиданнымъ образомъ.

Дверь изъ другой комнаты вдругъ скрипнула тихо и робко, какъ-бы рекомендуя тѣмъ, что входящее лицо весьма незначительно, и чья-то фигура, впрочемъ, весьма знакомая господину Голядкину, застѣнчиво явилась передъ самымъ тѣмъ столомъ, за которымъ помѣщался герой нашъ. Герой нашъ не подымалъ головы,—нѣтъ, онъ наглядѣлъ эту фигуру лишь вскользь, самымъ маленькимъ взглядомъ, но уже все узналъ, понялъ все, до малѣйшихъ подробностей. Онъ сгорѣлъ отъ стыда и уткнулъ въ бумагу свою побѣдную голову, совершенно съ тою-же самою цѣлью, съ которою страусъ, преслѣдуемый охотникомъ, прячетъ свою въ горячій песокъ. Новоприбывшій поклонился Андрею Филипповичу и, вслѣдъ за тѣмъ, послышался голосъ форменно-ласковый, такой, какимъ говорятъ начальники во всѣхъ служебныхъ мѣстахъ съ новопоступившими подчиненными. — Сядьте вотъ здѣсь, проговорилъ Андрей Филипповичъ, указывая новичку на столъ Антона Антоновича: — вотъ здѣсь, напротивъ господина Голядкина, а дѣломъ мы васъ тотчасъ займемъ. Андрей Филипповичъ заключилъ тѣмъ, что сдѣлалъ новоприбывшему скорый прилично-увѣщательный жестъ, а потомъ немедленно углубился въ сущность разныхъ бумагъ, которыхъ передъ нимъ была цѣлая куча.

Господинъ Голядкинъ поднялъ, наконецъ, глаза, и если не упалъ въ обморокъ, то единственно оттого, что уже сперва все дѣло предчувствовалъ, что уже сперва былъ обо всемъ предувѣдомленъ, угадавъ пришельца въ душѣ. Первымъ движеніемъ господина Голядкина было быстро осмотрѣться кругомъ,—нѣтъ-ли тамъ какого шушуканья, не отливается-ли на этотъ счетъ какая нибудь острота канцелярская, не искривилось-ли чье лицо удивленіемъ, не упалъ-ли, наконецъ, кто нибудь подъ столъ отъ испуга. Но къ величайшему удивленію господина Голядкина, ни въ комъ не обнаружилось ничего подобнаго. Поведеніе господъ товарищей и сослуживцевъ господина Голядкина поразило его. Оно казалось внѣ здраваго смысла. Господинъ Голядкинъ даже испугался такого необыкновеннаго молчанія. Существен-

ность за себя говорила; дѣло было странное, безобразное, дикое. Было отъ чего шевельнуться. Все это, разумѣется, только мелькнуло въ головѣ господина Голядкина. Самъ-же онъ горѣлъ на мелкомъ огнѣ. Да и было отчего, впрочемъ. Тотъ, кто сидѣлъ теперь напротивъ господина Голядкина, былъ ужасъ—господина Голядкина, былъ—стыдъ господина Голядкина, былъ—вчерашній кошмаръ господина Голядкина, однимъ словомъ, былъ самъ господинъ Голядкинъ, - не тотъ господинъ Голядкинъ, который сидѣлъ теперь на стулѣ съ разинутымъ ртомъ и съ застывшимъ перомъ въ рукѣ; не тотъ, который служилъ въ качествѣ помощника своего столоначальника; не тотъ, который любилъ стушеваться и зарыться въ толпѣ; не тотъ, наконецъ, чья походка ясно выговариваетъ: «не троньте меня, и я васъ трогать не буду», или: «не троньте меня, вѣдь я васъ не затрогиваю»,—нѣтъ, это былъ другой господинъ Голядкинъ, совершенно другой, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и совершенно похожій на перваго,—такого-же роста, такого-же склада, такъ-же одѣтый, съ такой-же лысиной,—однимъ словомъ, ничего, рѣшительно ничего не было забыто для совершеннаго сходства, такъ что еслибъ взять да поставить ихъ рядомъ, то никто, рѣшительно никто не взялъ-бы на себя опредѣлить—который именно настоящій Голядкинъ а который поддѣльный, кто старенькій и кто новенькій, кто оригиналъ и кто копія.

Герой нашъ, если возможно сравненіе былъ теперь въ положеніи человѣка, надъ которымъ забавлялся проказникъ какой нибудь, для шутки наводя на него исподтишка зажигательное стекло. «Что-жь это, сонъ или нѣтъ», думалъ онъ: «настоящее или продолженіе вчерашняго. Да какъ-же? По какому-же праву все это дѣлается? Кто разрѣшилъ такого чиновника, кто далъ право на это? Сплю-ли я, грежу-ли я? «Господинъ Голядкинъ попробовалъ ущипнуть самого себя, даже попробовалъ вознамѣриться ущипнуть другаго кого нибудь... Нѣтъ, не сонъ да и только. Господинъ Голядкинъ почувствовалъ, что потъ съ него градомъ льется, что сбывается съ нимъ небывалое и доселѣ невиданное, и потому самому, къ довершенію несчастія неприличное, ибо господинъ Голядкинъ понималъ и ощущалъ всю невыгоду быть въ такомъ пасквильномъ дѣлѣ первымъ примѣромъ. Онъ даже сталъ, наконецъ, сомнѣваться въ собственномъ существованіи своемъ, и хотя заранѣе былъ ко всему приготовленъ и самъ желалъ, чтобъ хоть какимъ нибудь образомъ разрѣшились его сомнѣнія, но самая-то сущность обстоятельства,

ужь конечно, стоила неожиданности. Тоска его давила и мучила. Порой онъ совершенно лишался и смысла, и памяти. Очнувшись послѣ такого мгновенія, онъ замѣчалъ, что машинально и безсознательно водитъ перомъ по бумагѣ. Не довѣряя себѣ, онъ начиналъ повѣрять все написанное—и не понималъ ничего. Наконецъ, другой господинъ Голядкинъ, сидѣвшій до сихъ поръ чинно и смирно, всталъ и исчезъ въ дверяхъ другаго отдѣленія за какимъ-то дѣломъ. Господинъ Голядкинъ оглянулся кругомъ,—ничего, все тихо; слышенъ лишь скрипъ перьевъ, шумъ переворачиваемыхъ листовъ и говоръ въ уголкахъ поотдаленнѣе отъ сѣдалища Андрея Филипповича. Господинъ Голядкинъ взглянулъ на Антона Антоновича, и такъ какъ, по всей вѣроятности, физіономія нашего героя вполнѣ отзывалась его настоящимъ и гармонировала со всѣмъ смысломъ дѣла, слѣдовательно въ нѣкоторомъ отношеніи была весьма замѣчательна, то добрый Антонъ Антоновичъ, отложивъ перо въ сторону, съ какимъ-то необыкновеннымъ участіемъ освѣдомился о здоровьѣ господина Голядкина.

— Я, Антонъ Антоновичъ, слава Богу, заикаясь, проговорилъ господинъ Голядкинъ.—Я, Антонъ Антоновичъ, совершенно здоровъ; я, Антонъ Антоновичъ, теперь ничего, прибавилъ онъ нерѣшительно, не совсѣмъ еще довѣряя часто поминаемому имъ Антону Антоновичу.

— А! А мнѣ показалось, что вы нездоровы; впрочемъ, не мудрено, чего добраго! Ныньче-же, особенно, все такія повѣтрія. Знаете-ли...

— Да, Антонъ Антоновичъ, я знаю, что существуютъ такія повѣтрія... Я, Антонъ Антоновичъ, не оттого, продолжалъ господинъ Голядкинъ, пристально вглядываясь въ Антона Антоновича:—я, видите-ли, Антонъ Антоновичъ, даже не знаю, какъ вамъ, то есть я хочу сказать съ которой стороны за это дѣло приняться, Антонъ Антоновичъ...

— Что-съ? Я васъ... знаете-ли... я, признаюсь вамъ, не такъ-то хорошо понимаю; вы... знаете, вы объяснитесь подробнѣе, въ какомъ отношеніи вы здѣсь затрудняетесь, сказалъ Антонъ Антоновичъ, самъ затрудняясь немножко, видя, что у господина Голядкина даже слезы на глазахъ выступили.

— Я, право... здѣсь, Антонъ Антоновичъ... тутъ—чиновникъ, Антонъ Антоновичъ...

— Ну-съ! Все еще не понимаю.

— Я хочу сказать, Антонъ Антоновичъ, что здѣсь есть новопоступившій чиновникъ.

— Да-съ, есть-съ; однофамилецъ вашъ.

— Какъ? вскрикнулъ господинъ Голядкинъ.

— Я говорю: вашъ однофамилецъ; тоже Голядкинъ. Не братецъ-ли вашъ?

— Нѣтъ-съ, Антонъ Антоновичъ, я...

— Гм! скажите пожалуйста, а мнѣ показалось, что, должно быть, близкій вашъ родственникъ. Знаете-ли, есть такое, фамильное въ нѣкоторомъ родѣ, сходство.

Господинъ Голядкинъ остолбенѣлъ отъ изумленія, и на время у него языкъ отнялся. Такъ легко трактовать такую безобразную, невиданную вещь, вещь дѣйствительно рѣдкую въ своемъ родѣ, вещь, которая поразила-бы даже самаго не интереснаго наблюдателя, говорить о фамильномъ сходствѣ тогда, когда тутъ видно какъ въ зеркалѣ!

— Я, знаете-ли, что посовѣтую вамъ, Яковъ Петровичъ, продолжалъ Антонъ Антоновичъ.—Вы сходите-ка къ доктору, да посовѣтуйтесь съ нимъ. Знаете-ли, вы какъ-то *выглядите* совсѣмъ нездорово. У васъ глаза особенно... знаете, особенное какое-то выраженіе есть.

— Нѣтъ-съ, Антонъ Антоновичъ, я, конечно, чувствую... то есть, я хочу все спросить, какъ-же этотъ чиновникъ?

— Ну-съ?

— То есть, вы не замѣчали-ли, Антонъ Антоновичъ, чего нибудь въ немъ особеннаго... слишкомъ чего нибудь выразительнаго?

— То есть?

— То есть я хочу сказать, Антонъ Антоновичъ, поразительнаго сходства такого съ кѣмъ нибудь, напримѣръ, то есть со мной, напримѣръ. Вы вотъ сейчасъ, Антонъ Антоновичъ, сказали про фамильное сходство, замѣчаніе вскользь сдѣлали... Знаете-ли, этакъ иногда близнецы бываютъ, то есть совершенно какъ двѣ капли воды, такъ что и отличить нельзя? Ну, вотъ, я про это-съ.

— Да-съ, сказалъ Антонъ Антоновичъ, немного подумавъ и какъ будто въ первый разъ пораженный такимъ обстоятельствомъ:—да-съ! Справедливо-съ; сходство въ самомъ дѣлѣ разительное, и вы безошибочно разсудили, такъ что и дѣйствительно можно принять одного за другаго, продолжалъ онъ, болѣе и болѣе открывая глаза.—И знаете-ли, Яковъ Петровичъ, это даже чудесное сходство, фантастическое, какъ иногда говорится, то есть, совершенно какъ вы... Вы замѣтили-ли, Яковъ Петровичъ?

Я даже самъ хотѣлъ просить у васъ объясненія, да, признаюсь, не обратилъ должнаго вниманія сначала. Чудо, дѣйствительно чудо! А знаете-ли, Яковъ Петровичъ, вы вѣдь не здѣшній родомъ, я говорю?

— Нѣтъ-съ.

— Онъ также вѣдь не изъ здѣшнихъ. Можетъ быть, изъ однихъ съ вами мѣстъ. Ваша матушка, смѣю спросить, гдѣ большею частью проживала?

— Вы сказали... вы сказали, Антонъ Антоновичъ, что онъ не изъ здѣшнихъ?

— Да-съ, не изъ здѣшнихъ мѣстъ. А, и въ самомъ дѣлѣ, какъ-же это чудно, продолжалъ словоохотливый Антонъ Антоновичъ, которому поболтать о чемъ нибудь было истиннымъ праздникомъ:—дѣйствительно способно завлечь любопытство; и вѣдь какъ часто мимо пройдешь, задѣнешь, толкнешь его, а не замѣтишь. Впрочемъ, вы не смущайтесь. Это бываетъ. Это, знаете-ли—вотъ я вамъ разскажу, тоже самое случилось съ моей тетушкой съ матерней стороны; она тоже передъ смертію себя вдвойнѣ видѣла...

— Нѣтъ-съ, я,—извините, что прерываю васъ, Антонъ Антоновичъ,—я, Антонъ Антоновичъ, хотѣлъ-бы узнать, какъ-же этотъ чиновникъ, то есть на какомъ онъ здѣсь основаніи?

— А на мѣсто Семена Ивановича покойника, на вакантное мѣсто; вакансія открылась, такъ вотъ и замѣстили. Вѣдь вотъ, право, сердечный этотъ Семенъ-то Ивановичъ покойникъ, троихъ дѣтей, говорятъ, оставилъ—малъ-мала меньше. Вдова падала къ ногамъ его превосходительства. Говорятъ, впрочемъ, она таитъ: у ней есть деньжонки, да она ихъ таитъ...

— Нѣтъ-съ, я, Антонъ Антоновичъ, я вотъ все о томъ обстоятельствѣ.

— То есть? Ну, да! Да что-же вы-то такъ интересуетесь этимъ? Говорю вамъ: вы не смущайтесь. Это все временное отчасти. Что-жь? Вѣдь вы сторона; это ужь такъ Самъ Господь Богъ устроилъ, это ужь Его воля была, и роптать на это грѣшно. На этомъ Его премудрость видна. А вы-же тутъ, Яковъ Петровичъ, сколько я понимаю, не виноваты нисколько. Мало-ли чудесъ есть на свѣтѣ! Мать-природа щедра; а съ васъ за это отвѣта не спросятъ, отвѣчать за это не будете. Вѣдь вотъ, для примѣра, кстати сказать, слыхали, надѣюсь, какъ ихъ, какъ бишь ихъ тамъ, да, сіамскіе близнецы, срослись себѣ спинами, такъ и живутъ, и ѣдятъ, и спятъ вмѣстѣ; деньги, говорятъ, большія берутъ.

— Позвольте, Антонъ Антоновичъ...

— Понимаю васъ, понимаю! Да! Ну да, что-жь?—ничего! Я говорю по крайнему моему разумѣнію, что смущаться тутъ нечего. Что-жь? Онъ чиновникъ—какъ чиновникъ; кажется, что дѣловой человѣкъ. Говоритъ, что Голядкинъ, не изъ здѣшнихъ мѣстъ, говоритъ, титулярный совѣтникъ. Лично съ его превосходительствомъ объяснялся.

— А они какъ-же-съ?

— Ничего-съ; говорятъ, что достаточно объяснился; резоны представилъ; говоритъ, что вотъ, дескать, такъ и такъ, ваше превосходительство, и что нѣтъ состоянія, а желаю служить и особенне подъ вашимъ лестнымъ начальствомъ... ну и тамъ все что слѣдуетъ, знаете-ли, ловко все выразилъ. Умный человѣкъ, должно быть. Ну, разумѣется, явился съ рекомендаціей; безъ нея вѣдь нельзя...

— Ну-съ, отъ кого-же-съ... то есть я хочу сказать, кто тутъ именно въ это срамное дѣло руку свою замѣшалъ?

— Да-съ. Хорошая, говорятъ, рекомендація; его превосходительство, говорятъ, посмѣялись съ Андреемъ Филипповичемъ.

— Посмѣялись съ Андреемъ Филипповичемъ?

— Да-съ; только такъ улыбнулись и сказали, что хорошо, и пожалуй, и что они съ ихъ стороны не прочь, только-бы вѣрно служилъ...

— Ну-съ, дальше-съ. Вы меня оживляете отчасти, Антонъ Антоновичъ; умоляю васъ—дальше-съ.

— Позвольте, я опять что-то васъ... Ну-съ, да-съ; ну, и ничего-съ; обстоятельство не мудреное; вы, я вамъ говорю, не смущайтесь, и сумнительнаго въ этомъ нечего находить...

— Нѣтъ-съ. Я, то есть, хочу спросить васъ, Антонъ Антоновичъ, что его превосходительство ничего больше не прибавили... на счетъ меня, напримѣръ?

— То есть, какъ-же-съ! Да-съ! Ну, нѣтъ, ничего; можете быть совершенно спокойны. Знаете, оно, конечно, разумѣется, обстоятельство довольно разительное и сначала... да вотъ я, напримѣръ, сначала я и не замѣтилъ почти. Не знаю, право, отчего не замѣтилъ до тѣхъ поръ, покамѣстъ вы не напомнили. Но, впрочемъ, можете быть совершенно спокойны. Ничего особеннаго, ровно ничего не сказали, прибавилъ добренькій Антонъ Антоновичъ, вставая со стула.

— Такъ вотъ-съ я, Антонъ Антоновичъ...

— Ахъ, вы меня извините-съ. Я и такъ о пустякахъ про-

болталъ, а вотъ дѣло есть важное, спѣшное. Нужно вотъ справиться.

— Антонъ Антоновичъ! раздался учтиво-призывный голосъ Андрея Филипповича:—его превосходительство спрашивалъ.

— Сейчасъ, сейчасъ, Андрей Филипповичъ, сейчасъ иду-съ. И Антонъ Антоновичъ, взявъ въ руки кучку бумагъ, полетѣлъ сначала къ Андрею Филипповичу, а потомъ въ кабинетъ его превосходительства.

— Такъ какъ-же это? думалъ про себя господинъ Голядкинъ:—такъ вотъ у насъ игра какова? Такъ вотъ у насъ какой вѣтерокъ теперь подуваетъ.. Это не дурно; это, стало быть, наипріятнѣйшій оборотъ дѣла приняли, говорилъ про себя герой нашъ, потирая руки и не слыша подъ собою стула отъ радости. Такъ дѣло-то наше обыкновенное дѣло. Такъ все пустячками кончается, ничѣмъ разрѣшается. Въ самомъ дѣлѣ, никто ничего, и не пикнутъ, разбойники, сидятъ и дѣлами занимаются; славно, славно! Я добраго человѣка люблю, любилъ и всегда готовъ уважать... Впрочемъ, вѣдь оно и того, какъ подумать, этотъ Антонъ-отъ Антоновичъ... довѣряться-то страшно: сѣдъ черезчуръ и отъ старости покачнулся порядкомъ. Самое, впрочемъ, славное и громадное дѣло то, что его превосходительство ничего не сказали и такъ пропустили: оно хорошо! одобряю! Только Андрей-то Филипповичъ чего-жь тутъ съ своими смѣшками мѣшается? Ему-то тутъ что̀? Старая петля! Всегда на пути моемъ, всегда черной кошкой наровитъ перебѣжать человѣку дорогу, всегда-то поперегъ да въ пику человѣку; человѣку-то въ пику, да поперегъ...

Господинъ Голядкинъ опять оглянулся кругомъ и опять оживился надеждой. Чувствовалъ онъ, впрочемъ, что его всетаки смущаетъ одна отдаленная мысль, какая-то недобрая мысль. Ему даже пришло было въ голову самому какъ нибудь подбиться къ чиновникамъ, забѣжать впередъ зайцемъ, даже (тамъ, какъ нибудь, при выходѣ изъ должности, или подойдя какъ будто-бы за дѣлами) между разговоромъ, и намекнуть—что вотъ, дескать, господа, такъ и такъ, вотъ такое-то сходство разительное, обстоятельство странное, комедія пасквильная,—то есть подтрунить самому надъ всѣмъ этимъ, да и сондировать такимъ образомъ глубину опасности. А то, вѣдь, въ тихомъ-то омутѣ черти водятся, мысленно заключилъ нашъ герой. Впрочемъ, господинъ Голядкинъ это только подумалъ; за то одумался во̀-время. Понялъ онъ, что это значитъ махнуть далеко. «Натура-то твоя такова!» сказалъ онъ про себя, щелкнувъ себя легонько по лбу рукою: «сейчасъ

заиграешь, обрадовался! Душа ты правдивая! Нѣтъ, ужь лучше мы съ тобой потерпимъ, Яковъ Петровичъ, подождемъ да потерпимъ!»—Тѣмъ не менѣе, и какъ мы уже упомянули, господинъ Голядкинъ возродился полной надеждой, точно изъ мертвыхъ воскресъ. «Ничего», думалъ онъ: «словно пятьсотъ пудовъ съ груди сорвалось! Вѣдь вотъ обстоятельство! А ларчикъ-то просто вѣдь открывался. Крыловъ-то и правъ...Крыловъ-то и правъ, дòка, петля этотъ Крыловъ, и баснописецъ великій! А что до того, такъ пусть его служитъ, пусть его служитъ себѣ на здоровье, лишь-бы никому не мѣшалъ и никого не затрогивалъ; пусть его служитъ,—согласенъ и аппробую!»

А между тѣмъ часы проходили, летѣли, и незамѣтно стукнуло четыре часа. Присутствіе закрылось; Андрей Филипповичъ взялся за шляпу, и, какъ водится, всѣ послѣдовали его примѣру. Господинъ Голядкинъ помедлилъ немножко, нужное время, и вышелъ нарочно позже всѣхъ, самымъ послѣднимъ, когда уже всѣ разбрелись по разнымъ дорогамъ. Вышедъ на улицу, онъ почувствовалъ себя точно въ раю, такъ, что даже ощутилъ желаніе хоть и крюку дать, а пройдтись по Невскому. «Вѣдь вотъ судьба!» говорилъ нашъ герой: «неожиданный переворотъ всего дѣла. И погодка-то разгулялась, и морозецъ, и саночки. А морозъ то годится русскому человѣку, славно уживается съ морозомъ русскій человѣкъ! Я люблю русскаго человѣка. И снѣжочекъ и первая пороша, какъ сказалъ-бы охотникъ; вотъ-бы тутъ зайца по первой порошѣ! Эхма! Да ну, ничего!»

Такъ-то выражался восторгъ господина Голядкина, а между тѣмъ что-то все еще щекотало у него въ головѣ, тоска не тоска—а порой такъ сердце насасывало, что господинъ Голядкинъ не зналъ чѣмъ утѣшить себя. «Впрочемъ, подождемъ-ка мы дня, и тогда будемъ радоваться. А, впрочемъ, вѣдь что-же такое? Ну, разсудимъ, посмотримъ. Ну, давай разсуждать, молодой другъ мой, ну, давай разсуждать. Ну, такой-же какъ и ты человѣкъ, во первыхъ, совершенно такой-же. Ну, да что-жь тутъ такого? Коли такой человѣкъ, такъ мнѣ и плакать? Мнѣ-то чтò? Я въ сторонѣ; свищу себѣ, да и только! На то пошелъ, да и только! Пусть его служитъ! Ну, чудо и странность, тамъ говорятъ, что сіамскіе близнецы... Ну, да зачѣмъ ихъ, сіамскихъ-то? Положимъ, они близнецы, но вѣдь и великіе люди подчасъ чудаками смотрѣли. Даже изъ исторіи извѣстно, что знаменитый Суворовъ пѣлъ пѣтухомъ... Ну, да онъ тамъ это все изъ политики; и великіе полководцы... да, впрочемъ, что-жь полководцы? А вотъ

я самъ по себѣ, да и только, и знать никого не хочу, и въ невинности моей врага презираю. Не интригантъ, и этимъ горжусь. Чистъ, прямодушенъ, опрятенъ, пріятенъ, незлобивъ»...

Вдругъ господинъ Голядкинъ умолкъ, осѣкся, и какъ листъ задрожалъ, даже закрылъ глаза на мгновеніе. Надѣясь, впрочемъ, что предметъ его страха просто иллюзія, открылъ онъ, наконецъ, глаза и робко покосился направо. Нѣтъ, не иллюзія!.. Рядомъ съ нимъ сѣменилъ утренній знакомецъ его, улыбался, заглядывалъ ему въ лицо и, казалось, ждалъ случая начать разговоръ. Разговоръ, впрочемъ, не начинался. Оба они прошли шаговъ пятьдесятъ такимъ образомъ. Все стараніе господина Голядкина было какъ можно плотнѣе закутаться, зарыться въ шинель и нахлобучить на глаза шляпу до послѣдней возможности. Къ довершенію обиды, даже и шинель, и шляпа его пріятеля были точно такія-же, какъ будто сейчасъ съ плеча господина Голядкина.

— Милостивый государь, произнесъ, наконецъ, нашъ герой, стараясь говорить почти шепотомъ и не глядя на своего пріятеля:—мы, кажется, идемъ по разнымъ дорогамъ... Я даже увѣренъ въ этомъ, сказалъ онъ, помолчавъ немножко.—Наконецъ, я увѣренъ, что вы меня поняли совершенно, довольно строго прибавилъ онъ въ заключеніе.

— Я-бы желалъ, проговорилъ, наконецъ, пріятель господина Голядкина: — я-бы желалъ... вы, вѣроятно, великодушно извините меня... я не знаю, къ кому обратиться здѣсь... мои обстоятельства, — я надѣюсь, что вы извините мнѣ мою дерзость, — мнѣ даже показалось, что вы, движимые состраданіемъ, принимали во мнѣ сегодня утромъ участіе. Съ своей стороны, я съ перваго взгляда почувствовалъ къ вамъ влеченіе, я... Тутъ господинъ Голядкинъ мысленно пожелалъ своему новому сослуживцу провалиться сквозь землю

— Если-бы я смѣлъ надѣяться, что вы, Яковъ Петровичъ, меня снисходительно изволите выслушать...

— Мы—мы здѣсь—мы... лучше пойдемте ко мнѣ, отвѣчалъ господинъ Голядкинъ,—мы теперь перейдемъ на ту сторону Невскаго, тамъ намъ будетъ удобнѣе съ вами, а потомъ переулочкомъ... мы лучше возьмемъ переулочкомъ.

— Хорошо-съ. Пожалуй, возьмемъ переулочкомъ-съ, робко сказалъ смиренный спутникъ господина Голядкина, какъ будто намекая тономъ отвѣта, что гдѣ ему разбирать, и что, въ его положеніи, онъ и переулочкомъ готовъ удовольствоваться. Что-

же касается до господина Голядкина, то онъ совершенно не понималъ, что̀ съ нимъ дѣлалось. Онъ не вѣрилъ себѣ. Онъ еще не опомнился отъ своего изумленія.

ГЛАВА VII.

Опомнился онъ немного на лѣстницѣ, при входѣ въ квартиру свою. «Ахъ, я баранъ-голова!» ругнулъ онъ себя мысленно: «ну, куда-жь я веду его? Самъ я голову въ петлю кладу. Что-же подумаетъ Петрушка, увидя насъ вмѣстѣ? Что этотъ мерзавецъ теперь подумать осмѣлится? а онъ подозрителенъ»...— Но уже поздно было раскаяваться; господинъ Голядкинъ постучался, дверь отворилась и Петрушка началъ снимать шинели съ гостя и барина. Господинъ Голядкинъ посмотрѣлъ вскользь, такъ только бросилъ мелькомъ взглядъ на Петрушку, стараясь проникнуть въ его физіономію и разгадать его мысли. Но, къ величайшему своему удивленію, увидѣлъ онъ, что служитель его и не думаетъ удивляться, и даже, напротивъ, словно ждалъ чего-то подобнаго. Конечно, онъ и теперь смотрѣлъ волкомъ, косилъ на сторону, и какъ будто кого-то съѣсть собирался. Ужь не околдовалъ-ли ихъ кто всѣхъ сегодня, думалъ герой нашъ,— бѣсъ какой нибудь обѣжалъ! Непремѣнно что нибудь особенное должно быть во всемъ народѣ сегодня. «Чортъ возьми, экая мука какая!» Вотъ все то такимъ образомъ думая и раздумывая, господинъ Голядкинъ ввелъ гостя къ себѣ въ комнату и пригласилъ покорно садиться. Гость былъ въ крайнемъ, повидимому, замѣшательствѣ, очень робѣлъ, покорно слѣдилъ за всѣми движеніями своего хозяина, ловилъ его взгляды, и по нимъ, казалось, старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всѣхъ жестахъ его, такъ что онъ, если позволятъ сравненіе, довольно походилъ въ эту минуту на того человѣка, который, за неимѣніемъ своего платья, одѣлся въ чужое: рукава лѣзутъ на верхъ, талія почти на затылкѣ, а онъ-то поминутно оправляетъ на себѣ короткій жилетишко, то виляетъ бочкомъ и сторонится, то наровитъ куда нибудь спрятаться, то заглядываетъ всѣмъ въ глаза и прислушивается, не говорятъ-ли чего люди о его обстоятельствахъ, не смѣются-ли надъ нимъ, не стыдятся-ли его,—и краснѣетъ человѣкъ, и теряется человѣкъ, и страдаетъ амбиція... Господинъ Голядкинъ поставилъ свою шляпу на окно; отъ неосторожнаго движенія

шляпа его слетѣла на полъ. Гость тотчасъ-же бросился ее поднимать, счистилъ всю пыль, бережно поставилъ на прежнее мѣсто, а свою на полу, возлѣ стула, на краюшкѣ котораго смиренно самъ помѣстился. Это маленькое обстоятельство открыло отчасти глаза господину Голядкину; понялъ онъ, что нужда въ немъ великая, и потому не сталъ болѣе затрудняться, какъ начать съ своимъ гостемъ, предоставивъ это все, какъ и слѣдовало, ему самому. Гость-же, съ своей стороны, тоже не начиналъ ничего, робѣлъ-ли, стыдился-ли немножко, или, изъ учтивости, ждалъ начина хозяйскаго,—неизвѣстно,—разобрать было трудно. Въ это время вошелъ Петрушка, остановился въ дверяхъ и уставился глазами въ сторону, совершенно противоположную той, въ которой помѣщались и гость, и баринъ его.

— Обѣда двѣ порціи прикажете брать? проговорилъ онъ небрежно и сиповатымъ голосомъ.

— Я, я не знаю... вы—да, возьми братъ, двѣ порціи.

Петрушка ушелъ. Господинъ Голядкинъ взглянулъ на своего гостя. Гость его покраснѣлъ до ушей. Господинъ Голядкинъ былъ добрый человѣкъ, и потому, по добротѣ души своей, тотчасъ-же составилъ теорію:

— Бѣдный человѣкъ, думалъ онъ, да и на мѣстѣ-то всего одинъ день; въ свое время пострадалъ, вѣроятно; можетъ быть, только и добра-то, что приличное платьишко, а самому и пообѣдать-то нечѣмъ. Экъ его, какой онъ забитый! Ну, ничего; это отчасти и лучше... Извините меня, что я,—началъ господинъ Голядкинъ:—впрочемъ, позвольте узнать, какъ мнѣ звать васъ?

— Я... я... Яковъ Петровичемъ, почти прошепталъ гость его, словно совѣстясь и стыдясь, словно прошенія прося въ томъ, что и его зовутъ тоже Яковомъ Петровичемъ.

— Яковъ Петровичъ, повторилъ нашъ герой, не въ силахъ будучи скрыть своего смущенія.

— Да-съ, точно такъ-съ... Тезка вамъ-съ, отвѣчалъ смиренный гость господина Голядкина, осмѣливаясь улыбнуться и сказать что нибудь пошутливѣе. Но тутъ-же и осѣлся назадъ, принявъ видъ самый серьезный и немного, впрочемъ, смущенный, замѣчая, что хоаяину его теперь не до шуточекъ.

— Вы... позвольте-же васъ спросить, по какому случаю имѣю я честь...

— Зная ваше великодушіе и добродѣтели ваши,—быстро, но робкимъ голосомъ прервалъ его гость, немного приподымаясь со стула:—осмѣлился я обратиться къ вамъ и просить ва

шего... знакомства и покровительства... заключилъ его гость, очевидно, затрудняясь въ своихъ выраженіяхъ и выбирая слова не слишкомъ льстивыя и унизительныя, чтобъ не окомпрометтировать себя въ отношеніи амбиціи,—но и не слишкомъ смѣлыя, отзывающіяся неприличнымъ равенствомъ. Вообще можно сказать, что гость господина Голядкина велъ себя какъ благородный нищій въ заштопанномъ фракѣ и съ благороднымъ паспортомъ въ карманѣ, ненапрактиковавшійся еще какъ слѣдуетъ протягивать руку.

— Вы смущаете меня, отвѣчалъ господинъ Голядкинъ, оглядывая себя, свои стѣны и гостя:—чѣмъ-же я могъ-бы... я, то есть, хочу сказать, въ какомъ именно отношеніи могу я вамъ услужить въ чемъ нибудь?

— Я, Яковъ Петровичъ, почувствовалъ къ вамъ влеченіе съ перваго взгляда, и простите меня великодушно, на васъ понадѣялся,—осмѣлился понадѣяться, Яковъ Петровичъ. Я... я человѣкъ здѣсь затерянный, Яковъ Петровичъ, бѣдный, пострадалъ весьма много, Яковъ Петровичъ, и здѣсь еще вновѣ. Узнавъ, что вы, при обыкновенныхъ, врожденныхъ вамъ качествахъ вашей прекрасной души, однофамилецъ мой...

Господинъ Голядкинъ поморщился.

— Однофамилецъ мой, и родомъ изъ однихъ со мною мѣстъ, рѣшился я обратиться къ вамъ и изложить вамъ затруднительное мое положеніе.

— Хорошо-съ, хорошо-съ; право, я не знаю, что вамъ сказать, отвѣчалъ смущеннымъ голосомъ господинъ Голядкинъ:—вотъ, послѣ обѣда, мы потолкуемъ...

Гость поклонился; обѣдъ принесли. Петрушка собралъ на столъ,—и гость, вмѣстѣ съ хозяиномъ, принялись насыщать себя. Обѣдъ продолжался недолго; оба они торопились,—хозяинъ потому, что былъ не въ обыкновенной тарелкѣ своей, да къ тому-же и совѣстился, что обѣдъ былъ дурной,—совѣстился-же отчасти оттого, что хотѣлось гостя хорошо покормить, а частію оттого, что хотѣлось показать, что онъ не какъ нищій живетъ. Съ своей стороны, гость былъ въ крайнемъ смущеніи и крайне конфузился. Взявъ одинъ разъ хлѣба и съѣвъ свой ломоть, онъ уже боялся протягивать руку къ другому ломтю, совѣстился брать кусочки получше и поминутно увѣрялъ, что онъ вовсе не голоденъ, что обѣдъ былъ прекрасный, и что онъ, съ своей стороны, совершенно доволенъ и по гробъ будетъ чувствовать. Когда ѣда кончилась, господинъ Голядкинъ закурилъ

свою трубочку, предложилъ другую, заведенную для пріятеля, гостю,—оба усѣлись другъ противъ друга и гость началъ разсказывать свои приключенія.

Разсказъ господина Голядкина-младшаго продолжался часа три или четыре. Исторія приключеній его была, впрочемъ, составлена изъ самыхъ пустѣйшихъ, изъ самыхъ мизернѣйшихъ, если можно сказать, обстоятельствъ. Дѣло шло о службѣ гдѣ-то въ палатѣ, въ губерніи, о прокурорахъ и предсѣдателяхъ, о кое-какихъ канцелярскихъ интригахъ, о развратѣ души одного изъ повытчиковъ, о ревизорѣ, о внезапной перемѣнѣ начальства, о томъ, какъ господинъ Голядкинъ второй пострадалъ совершенно безвинно; о престарѣлой тетушкѣ его, Пелагеѣ Семеновнѣ; о томъ, какъ онъ, по разнымъ интригамъ враговъ своихъ, мѣста лишился и пѣшкомъ пришелъ въ Петербургъ; о томъ, какъ онъ маялся и горе мыкалъ здѣсь, въ Петербургѣ, какъ безплодно долгое время мѣста искалъ, прожился, исхарчился, жилъ чуть не на улицѣ, ѣлъ черствый хлѣбъ и запивалъ его слезами своими, спалъ на голомъ полу, и, наконецъ, какъ кто-то изъ добрыхъ людей взялся хлопотать о немъ, рекомендовалъ и великодушно къ новому мѣсту пристроилъ. Гость господина Голядкина плакакъ, разсказывая, и утиралъ слезы синимъ клѣтчатымъ платкомъ, весьма походившимъ на клеенку. Заключилъ-же онъ тѣмъ, что открылся вполнѣ господину Голядкину и признался, что ему не только нечѣмъ покамѣстъ жить и прилично устроиться, но и обмундироваться-то какъ слѣдуетъ не на что; что вотъ, включилъ онъ, даже на сапожишки не могъ сколотиться, и что вицъ-мундиръ взятъ имъ у кого-то на подержаніе, на малое время.

Господинъ Голядкинъ былъ въ умиленіи, былъ истинно тронутъ. Впрочемъ, и даже не смотря на то, что исторія его гостя была самая пустая исторія, всѣ слова этой исторіи ложились на сердце его словно манна небесная. Дѣло въ томъ, что господинъ Голядкинъ забывалъ послѣднія сомнѣнія свои, разрѣшилъ свое сердце на свободу и радость и, наконецъ, мысленно самъ себя пожаловалъ въ дураки. Все было такъ натурально! И было отчего сокрушаться, бить такую тревогу! Ну, есть, дѣйствительно есть одно щекотливое обстоятельство,—да вѣдь оно не бѣда: оно не можетъ замарать человѣка, амбицію его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноватъ человѣкъ, когда сама природа сюда замѣшалась. Къ тому-же, гость просилъ покровительства, гость плакалъ, гость судьбу обвинялъ, казался такимъ незатѣй-

ливымъ, безъ злобы и хитростей, жалкимъ, ничтожнымъ, и, кажется, самъ теперь совѣстился, хотя, можетъ быть, и въ другомъ отношеніи, страннымъ сходствомъ лица своего съ хозяйскимъ лицомъ. Велъ онъ себя до нельзя благонадежно, такъ и смотрѣлъ угодить своему хозяину, и смотрѣлъ такъ, какъ смотритъ человѣкъ, который терзается угрызеніями совѣсти и чувствуетъ, что виноватъ передъ другимъ человѣкомъ. Заходила-ли, напримѣръ, рѣчь о какомъ нибудь сомнительномъ пунктѣ, гость тотчасъ-же соглашался съ мнѣніемъ господина Голядкина. Если-же какъ нибудь, по ошибкѣ, заходилъ мнѣніемъ своимъ въ контру господину Голядкину и потомъ замѣчалъ, что сбился съ дороги, то тотчасъ-же поправлялъ свою рѣчь, объяснялся и давалъ немедленно знать, что онъ все разумѣетъ точно такимъ-же образомъ, какъ хозяинъ его, мыслитъ такъ-же, какъ онъ, и смотритъ на все совершенно такими-же глазами, какъ и онъ. Однимъ словомъ, гость употреблялъ всевозможныя усилія «найдти» въ господинѣ Голядкинѣ, такъ что господинъ Голядкинъ рѣшилъ, наконецъ, что гость его долженъ быть весьма любезный человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ. Между прочимъ, подали чай; часъ былъ девятый. Господинъ Голядкинъ чувствовалъ себя въ прекрасномъ расположеніи духа, развеселился, разъигрался, расходился понемножку и пустился, наконецъ, въ самый живой и занимательный разговоръ съ своимъ гостемъ. Господинъ Голядкинъ, подъ веселую руку, любилъ иногда разсказать что нибудь интересное. Такъ и теперь: разсказалъ гостю много о столицѣ, объ увеселеніяхъ и красотахъ ея, о театрѣ, о клубахъ, о картинѣ Брюлова; о томъ, какъ два англичанина пріѣхали нарочно изъ Англіи въ Петербургъ, чтобъ посмотрѣть на рѣшетку Лѣтняго сада, и тотчасъ уѣхали; о службѣ, объ Олсуфьѣ Ивановичѣ и объ Андреѣ Филипповичѣ; о томъ, что Россія съ часу на часъ идетъ къ совершенству, и что тутъ

«Словесныя науки днесь цвѣтутъ»;

объ анекдотцѣ, прочитанномъ недавно въ «Сѣверной Пчелѣ», и что въ Индіи есть змѣя удавъ, необыкновенной силы; наконецъ, о баронѣ Брамбеусѣ, и т. д., и т. д. Словомъ, господинъ Голядкинъ вполнѣ былъ доволенъ, во первыхъ, потому, что былъ совершенно спокоенъ, во вторыхъ, что не только не боялся враговъ своихъ, но даже готовъ былъ теперь всѣхъ ихъ вызвать на самый рѣшительный бой; въ третьихъ, что самъ своею особою оказывалъ покровительство и, наконецъ, дѣлалъ доброе дѣло.

Сознавался онъ, впрочемъ, въ душѣ своей, что еще не совсѣмъ счастливъ въ эту минуту, что сидитъ въ немъ еще одинъ червячекъ, самый маленькій, впрочемъ, и точитъ даже и теперь его сердце. Мучило крайне его воспоминаніе о вчерашнемъ вечерѣ у Олсуфья Ивановича. Много-бы далъ онъ теперь, если-бъ не было кой-чего изъ того, что̀ было вчера. «Впрочемъ, вѣдь оно ничего!» заключилъ, наконецъ, нашъ герой, и рѣшился твердо въ душѣ вести себя впередъ хорошо и не впадать въ подобные промахи. Такъ какъ господинъ Голядкинъ теперь расходился вполнѣ и сталъ вдругъ почти совершенно счастливъ, то вздумалось ему даже и пожуировать жизнію. Принесенъ былъ Петрушкою ромъ, и составился пуншъ. Гость и хозяинъ осушили по стакану и по два. Гость оказался еще любезнѣе прежняго, и съ своей стороны показалъ не одно доказательство прямодушія и счастливаго характера своего, сильно входилъ въ удовольствіе господина Голядкина, казалось, радовался только одною его радостью и смотрѣлъ на него, какъ на истиннаго и единственнаго своего благодѣтеля. Взявъ перо и листочекъ бумажки, онъ попросилъ господина Голядкина не смотрѣть на то, что̀ онъ будетъ писать, и потомъ, когда кончилъ, самъ показалъ хозяину своему все написанное. Оказалось, что это было четверостишіе, написанное довольно чувствительно, впрочемъ, прекраснымъ слогомъ и почеркомъ, и, какъ видно, сочиненіе самого любезнаго гостя. Стишки были слѣдующіе:

Если ты меня забудешь,
Не забуду я тебя;
Въ жизни можетъ все случиться,
Не забудь и ты меня!

Со слезами на глазахъ обнялъ своего гостя господинъ Голядкинъ, и, расчувствовавшись, наконецъ, вполнѣ, самъ посвятилъ своего гостя въ нѣкоторые секреты и тайны свои, причемъ рѣчь сильно напиралась на Андрея Филипповича и на Клару Олсуфьевну. «Ну, да вѣдь мы съ тобой, Яковъ Петровичъ, сойдемся» говорилъ нашъ герой своему гостю: «мы съ тобой, Яковъ Петровичъ, будемъ жить какъ рыба съ водой, какъ братья родные; мы, дружище, будемъ хитрить, за одно хитрить будемъ; съ своей стороны будемъ интригу вести въ пику имъ... въ пику-то имъ интригу вести. А имъ-то ты никому не ввѣряйся. Вѣдь я тебя знаю, Яковъ Петровичъ, и характеръ твой понимаю: вѣдь ты какъ разъ все разскажешь, душа ты правдивая! Ты, братъ,

сторонись отъ нихъ всѣхъ». Гость вполнѣ соглашался, благодарилъ господина Голядкина и тоже, наконецъ, прослезился. «Ты знаешь-ли, Яша», продолжалъ господинъ Голядкинъ дрожащимъ, разслабленнымъ голосомъ: «ты, Яша, поселись у меня на время, или навсегда поселись. Мы сойдемся. Что, братъ, тебѣ, а? А ты не смущайся и не ропщи на то, что вотъ между нами такое странное теперь обстоятельство: роптать, братъ, грѣшно; это природа! А мать природа щедра, вотъ что, братъ Яша! Любя тебя, братски любя тебя, говорю. А мы съ тобой, Яша, будемъ хитрить и съ своей стороны подкопы вести, и носы имъ утремъ». Пуншъ, наконецъ, дошелъ до третьихъ и четвертыхъ стакановъ на брата, и тогда господинъ Голядкинъ сталъ испытывать два ощущенія: одно то, что необыкновенно счастливъ, а другое—что уже не можетъ стоять на ногахъ. Гость, разумѣется, былъ приглашенъ ночевать. Кровать была кое-какъ составлена изъ двухъ рядовъ стульевъ. Господинъ Голядкинъ-младшій объявилъ, что подъ дружескимъ кровомъ мягко спать и на голомъ полу, что съ своей стороны онъ заснетъ, гдѣ прійдется, съ покорностью и признательностью; что теперь онъ въ раю, и что, наконецъ, онъ много перенесъ на своемъ вѣку несчастій и горя, на все посмотрѣлъ, всего перетерпѣлъ, и—кто знаетъ будущность?—можетъ быть, еще перетерпитъ. Господинъ Голядкинъ-старшій протестовалъ противъ этого и началъ доказывать, что нужно возложить всю надежду на Бога. Гость вполнѣ соглашался и говорилъ, что, разумѣется, никто таковъ, какъ Богъ. Тутъ господинъ Голядкинъ-старшій замѣтилъ что турки правы въ нѣкоторомъ отношеніи, призывая даже во снѣ имя Божіе. Потомъ, не соглашаясь, впрочемъ, съ иными учеными въ иныхъ клеветахъ, взводимыхъ на турецкаго пророка Мухаммеда, и признавая его въ своемъ родѣ великимъ политикомъ господинъ Голядкинъ перешелъ къ весьма интересному описанію алжирской цирюльни, о которой читалъ въ какой-то книжкѣ, въ смѣси. Гость и хозяинъ много смѣялись надъ простодушіемъ турковъ; впрочемъ, не могли не отдать должной дани удивленія ихъ фанатизму, возбуждаемому опіумомъ... Гость сталъ, наконецъ раздѣваться, а господинъ Голядкинъ вышелъ за перегородку, частію по добротѣ души, что, можетъ быть, дескать, у него и рубашки-то порядочной нѣтъ, такъ чтобъ не сконфузить и безъ того уже пострадавшаго человѣка, а частію для того, чтобъ увѣриться по возможности въ Петрушкѣ, испытать его, развеселить, если можно, и приласкать человѣка, чтобъ ужь всѣ были счастливы, и чтобъ не оставалось

на столѣ просыпанной соли. Нужно замѣтить что Петрушка все еще немного смущалъ господина Голядкина.

— Ты, Петръ, ложись теперь спать,—кротко слазалъ господинъ Голядкинъ, входя въ отдѣленіе своего служителя:—ты теперь ложись спать, а завтра въ восемь часовъ ты меня и разбуди. Понимаешь, Петруша?

Господинъ Голядкинъ говорилъ необыкновенно мягко и ласково. Но Петрушка молчалъ. Онъ въ это время возился около своей кровати и даже не обернулся къ своему барину, что̀-бы долженъ былъ сдѣлать, впрочемъ, изъ одного къ нему уваженія.

— Ты, Петръ, меня слышалъ? продолжалъ господинъ Голядкинъ.—«Ты вотъ теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты и разбуди меня въ восемь часовъ; понимаешь?»

— Да ужь помню, ужь что̀ тутъ! проворчалъ себѣ подъ носъ Петрушка.

— Ну, то-то, Петруша; я это только такъ говорю, чтобъ и ты былъ спокоенъ и счастливъ. Вотъ мы теперь всѣ счастливы, такъ чтобъ и ты былъ спокоенъ и счастливъ. А теперь спокойной ночи желаю тебѣ. Усни, Петруша, усни; мы всѣ трудиться должны... Ты, братъ, знаешь, не думай чего нибудь...

Господинъ Голядкинъ началъ было, да и остановился. «Не слишкомъ-ли будетъ», подумалъ онъ: «не далеко-ли я замахнулъ? Такъ-то всегда; всегда-то я пересыплю». Герой нашъ вышелъ отъ Петрушки весьма недовольный собою. Къ тому-же, грубостью и неподатливостью Петрушки онъ немного обидѣлся. «Съ шельмецомъ заигрываютъ, шельмецу баринъ честь дѣлаетъ, а онъ не чувствуетъ», подумалъ господинъ Голядкинъ. «Впрочемъ, такая ужь тенденція подлая у всего этого рода!» Отчасти покачиваясь, воротился онъ въ комнату, и видя, что гость его улегся совсѣмъ, присѣлъ на минутку къ нему на постель. «А вѣдь признайся, Яша, началъ онъ шепотомъ и курныкая головой: «вѣдь ты, подлецъ, предо мной виноватъ? Вѣдь ты, тёзка, знаешь, того... продолжалъ онъ, довольно фамильярно заигрывая съ своимъ гостемъ. Наконецъ, распростившись съ нимъ дружески, господинъ Голядкинъ отправился спать. Гость между тѣмъ захрапѣлъ. Господинъ Голядкинъ въ свою очередь началъ ложиться въ постель, а между тѣмъ, посмѣиваясь, шепталъ про себя: «Вѣдь ты пьянъ сегодня, голубчикъ мой, Яковъ Петровичъ, подлецъ ты такой, Голядка ты этакой,—фамилья твоя такова!! Ну, чему ты обрадовался? Вѣдь завтра расплачешься, пюня ты этакая: что̀ мнѣ дѣлать съ тобой!» Тутъ довольно странное ощущеніе отозвалось

во всемъ существѣ господина Голядкина, что̀-то похожее на сомнѣніе, или раскаяніе. «Расходился-жь я», думалъ онъ: «вѣдь вотъ теперь шумитъ въ головѣ и я пьянъ; и не удержался, дурачина ты этакая! и вздору съ три короба намололъ, да еще хитрить, подлецъ, собирался. Конечно, прощеніе и забвеніе обидъ есть первѣйшая добродѣтель, но все-жь оно плохо! Вотъ оно какъ!» Тутъ господинъ Голядкинъ привсталъ, взялъ свѣчу, и на цыпочкахъ еще разъ пошелъ взглянуть на спящаго своего гостя. Долго стоялъ онъ надъ нимъ въ глубокомъ раздумьи. «Картина непріятная! Пасквиль, чистѣйшій пасквиль, да и дѣло съ концомъ!»

Наконецъ, господинъ Голядкинъ улегся совсѣмъ.—Въ головѣ у него шумѣло, трещало, звонило. Онъ сталъ забываться-забываться... силился было о чемъ-то думать, вспомнить что-то такое весьма интересное, разрѣшить что-то такое весьма важное, какое-то щекотливое дѣло,—но не могъ. Сонъ налетѣлъ на его побѣдную голову, и онъ заснулъ такъ, какъ обыкновенно спятъ люди, съ непривычки употребившіе вдругъ пять стакановъ пунша на какой нибудь дружеской вечеринкѣ.

ГЛАВА VIII.

Какъ обыкновенно, на другой день господинъ Голядкинъ проснулся въ восемь часовъ; проснувшись-же, тотчасъ припомнилъ всѣ происшествія вчерашняго вечера,—припомнилъ и поморщился. «Экъ я разыгрался вчера какимъ дуракомъ!» подумалъ онъ, приподымаясь съ постели и взглянувъ на постель своего гостя. Но каково-же было его удивленіе, когда не только гостя, но даже и постели, на которой спалъ гость, не было въ комнатѣ! «Что̀-жь это такое?» чуть не вскрикнулъ господинъ Голядкинъ: «что̀-жь-бы это было такое? Что̀-жь означаетъ теперь это новое обстоятельство?» Покамѣстъ господинъ Голядкинъ, недоумѣвая, съ раскрытымъ ртомъ смотрѣлъ на опустѣлое мѣсто, скрипнула дверь, и Петрушка вошелъ съ чайнымъ подносомъ. «Гдѣ-же, гдѣ-же?» проговорилъ чуть слышнымъ голосомъ нашъ герой, указывая пальцемъ на вчерашнее мѣсто, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвѣчалъ ничего, даже не посмотрѣлъ на своего барина, а поворотилъ свои глаза въ уголъ направо, такъ что господинъ Голядкинъ самъ принужденъ былъ взглянуть въ уголъ направо. Впрочемъ, послѣ нѣкотораго молчанія, Петрушка

сиповатымъ и грубымъ голосомъ, отвѣтилъ — «что барина дома нѣтъ».

— Дуракъ ты; да вѣдь я твой баринъ, Петрушка, проговорилъ господинъ Голядкинъ прерывистымъ голосомъ и во всѣ глаза смотря на своего служителя.

Петрушка ничего не отвѣчалъ, но посмотрѣлъ такъ на господина Голядкина, что тотъ покраснѣлъ до ушей, — посмотрѣлъ съ какою-то оскорбительною укоризною, похожею на чистую брань. Господинъ Голядкинъ и руки опустилъ, какъ говорится. Наконецъ, Петрушка объявилъ, что *другой* ужь часа съ полтора какъ ушелъ и не хотѣлъ дожидаться. Конечно, отвѣтъ былъ вѣроятенъ и правдоподобенъ; видно было, что Петрушка не лгалъ, что оскорбительный взглядъ его и слово *другой*, употребленное имъ, были лишь слѣдствіемъ всего извѣстнаго гнуснаго обстоятельства, но всетаки онъ понималъ, хоть и смутно, что тутъ что нибудь да не такъ, и что судьба готовитъ ему еще какой-то гостинецъ, не совсѣмъ-то пріятный. «Хорошо, мы посмотримъ», думалъ онъ про себя: «мы увидимъ, мы своевременно раскусимъ все это... Ахъ ты, Господи Боже мой!» простоналъ онъ въ заключеніе уже совсѣмъ другимъ голосомъ: «и зачѣмъ я это приглашалъ его, на какой конецъ я все это дѣлалъ? Вѣдь истинно самъ голову свою въ петлю ихъ воровскую, самъ эту петлю свиваю. Ахъ ты голова, голова! Вѣдь и утерпѣть-то не можешь ты, чтобъ не провраться какъ мальчишка какой нибудь, канцеляристъ какой нибудь, какъ безчиновная дрянь какая нибудь, тряпка, ветошка гнилая какая нибудь, сплетнилъ ты этакой, баба ты этакая!.. Святые вы мои! И стишки шельмецъ написалъ и въ любви ко мнѣ изъяснился! Какъ-бы этакъ, того... Какъ-бы ему, шельмецу, приличнѣе на дверь указать, коли воротится? Разумѣется, много есть разныхъ оборотовъ и способовъ. Такъ и такъ, дескать, при моемъ ограниченномъ жалованьи... Или, тамъ припугнуть его какъ нибудь, что, дескать, взявъ въ соображеніе вотъ то-то и то-то, принужденъ изъясниться... дескать, нужно въ половинѣ платить за квартиру и столъ, и деньги впередъ отдавать. Гм! нѣтъ, чортъ возьми, нѣтъ! Это меня замараетъ. Оно не совсѣмъ деликатно! Развѣ какъ нибудь, тамъ, вотъ этакъ-бы сдѣлать: взять-бы, да и надоумить Петрушку, чтобъ Петрушка ему насолилъ какъ нибудь, неглижировалъ-бы съ нимъ какъ нибудь, сгрубилъ ему, да и выжить его такимъ образомъ? Стравить-бы ихъ этакъ вмѣстѣ... Нѣтъ, чортъ возьми, нѣтъ! Это опасно, да и опять, если съ этакой точки зрѣнія смотрѣть — ну, да, вовсе

нехорошо! Совсѣмъ нехорошо! А ну—если онъ не придетъ? и это плохо будетъ? проврался я ему вчера вечеромъ!.. Эхъ, плохо плохо! Эхъ, дѣло-то наше какъ плоховато! Ахъ, я голова, голова окаянная! Взубрить то ты чего слѣдуетъ не можешь себѣ, резону то вгвоздить туда не можешь себѣ! Ну, какъ онъ придетъ и откажется? А дай-то Господи, если-бъ пришелъ! Весьма былъ бы радъ я, если-бъ пришелъ»... Такъ разсуждалъ господинъ Голядкинъ, глотая свой чай и безпрестанно поглядывая на стѣнные часы. «Безъ четверти девять теперь; вѣдь вотъ ужь пора идти. А что-то будетъ такое! что-то тутъ будетъ? Желалъ-бы я знать, что̀ здѣсь именно особеннаго такого скрывается,—этакъ цѣль, направленіе и разныя тамъ закавыки. Хорошо-бы узнать, на что̀ именно мѣтятъ всѣ эти народы, и каковъ-то будетъ ихъ первый шагъ»... Господинъ Голядкинъ не могъ долѣе вытерпѣть, бросилъ недокуренную трубку, одѣлся и пустился на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всемъ удостовѣриться своимъ личнымъ присутствіемъ. А опасность была: это ужь онъ самъ зналъ, что опасность была. «А вотъ мы ее... и раскусимъ», говорилъ господинъ Голядкинъ, снимая шинель и калоши въ передней: «вотъ мы и проникнемъ сейчасъ во всѣ эти дѣла». Рѣшившись такимъ образомъ дѣйствовать, герой нашъ оправился, принялъ видъ приличный и форменный, и только что хотѣлъ было проникнуть въ сосѣднюю комнату, какъ вдругъ, въ самыхъ дверяхъ, столкнулся съ нимъ вчерашній знакомецъ другъ и пріятель его. Господинъ Голядкинъ-младшій, кажется, не замѣчалъ господина Голядкина-старшаго, хотя и сошелся съ нимъ почти носомъ къ носу. Господинъ Голядкинъ-младшій былъ кажется, занятъ, куда-то спѣшилъ, запыхался; видъ имѣлъ такой оффиціальный, такой дѣловой, что̀, казалось, всякій могъ прямо прочесть на лицѣ его—«командированъ по особому порученію»...

— Ахъ, это вы, Яковъ Петровичъ! сказалъ нашъ герой, хватая своего вчерашняго гостя за руку.

— Послѣ, послѣ, извините меня, разскажете послѣ, закричалъ господинъ Голядкинъ-младшій, порываясь впередъ...

— Однако, позвольте; вы, кажется, хотѣли, Яковъ Петровичъ, того-съ...

— Что-съ? Объясните скорѣе-съ. — Тутъ вчерашній гость господина Голядкина остановился какъ-бы черезъ силу и нехотя, и подставилъ ухо свое прямо къ носу господина Голядкина.

— Я вамъ скажу, Яковъ Петровичъ, что я удивляюсь пріему... пріему, какого вовсе, повидимому, не могъ-бы я ожидать.

— На все есть извѣстная форма-съ. Явитесь къ секретарю его превосходительства и потомъ отнеситесь, какъ слѣдуетъ, къ господину правителю канцеляріи. Просьба есть?..

— Вы, я не знаю, Яковъ Петровичъ! Вы меня просто изумляете, Яковъ Петровичъ! Вы вѣрно не узнаете меня, или шутите по врожденной веселости характера вашего.

— А, это вы! сказалъ господинъ Голядкинъ-младшій, какъ будто только что сейчасъ разглядѣвъ господина Голядкина-старшаго:—такъ это вы? Ну, что-жь, хорошо-ли вы почивали? Тутъ господинъ Голядкинъ-младшій, улыбнувшись немного, — оффиціально и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не такъ, какъ-бы слѣдовало (потому что, вѣдь во всякомъ случаѣ онъ одолженъ-же былъ благодарностью господину Голядкину-старшему), и такъ — улыбнувшись оффиціально и форменно, прибавилъ, что онъ съ своей стороны весьма радъ, что господинъ Голядкинъ хорошо почивалъ; потомъ наклонился немного, посѣменилъ немного на мѣстѣ, поглядѣлъ направо, налѣво, потомъ опустилъ глаза въ землю, нацѣлился въ боковую дверь и, прошептавъ скороговоркой, что онъ по особому порученію, юркнулъ въ сосѣднюю комнату. Только его и видѣли.

— Вотъ-те и штука!.. прошепталъ нашъ герой, остолбенѣвъ на мгновеніе:—вотъ-те и штука! Такъ вотъ такое здѣсь обстоятельство!.. Тутъ господинъ Голядкинъ почувствовалъ, что у него отчего-то заходили мурашки по тѣлу. — Впрочемъ, продолжалъ онъ про себя, пробираясь въ свое отдѣленіе: — впрочемъ, вѣдь я уже давно говорилъ о такомъ обстоятельствѣ, я уже давно предчувствовалъ что онъ по особому порученію,—именно, вотъ вчера говорилъ, что непремѣнно по чьему нибудь особому порученію употребленъ человѣкъ.

— Окончили вы, Яковъ Петровичъ, вчерашнюю вашу бумагу? спросилъ Антонъ Антоновичъ Сѣточкинъ усѣвшагося подлѣ него господина Голядкина:—у васъ здѣсь она?

— Здѣсь, прошепталъ господинъ Голядкинъ, смотря на своего столоначальника, отчасти съ потерявшимся видомъ.

— То-то-съ. Я къ тому говорю, что Андрей Филипповичъ уже два раза спрашивалъ. Того и гляди, что его превосходительство потребуетъ...

— Нѣтъ-съ, она кончена-съ...

— Ну-съ, хорошо-съ.

— Я, Антонъ Антоновичъ, всегда, кажется, исполнялъ свою должность какъ слѣдуетъ и радѣю о порученныхъ мнѣ начальствомъ дѣлахъ-съ, занимаюсь ими рачительно.

— Да-съ. Ну-съ, что̀-же вы хотите этимъ сказать-съ?

— Я ничего-съ, Антонъ Антоновичъ. Я только, Антонъ Антоновичъ, хочу объяснить, что я... то есть, я хотѣлъ выразить, что иногда неблагонамѣренность и зависть не щадятъ никакого лица, ища своей повседневной отвратительной пищи-съ...

— Извините, я васъ не совсѣмъ-то понимаю. То есть, на какое лицо вы теперь намекаете?

— То есть, я хотѣлъ только сказать, Антонъ Антоновичъ, что я иду прямымъ путемъ, а окольнымъ путемъ ходить презираю, что я не интригантъ, и что симъ, если позволено только будетъ мнѣ выразиться, могу весьма справедливо гордиться...

— Да-съ. Это все такъ-съ, и по крайнему моему разумѣнію отдаю полную справедливость разсужденію вашему; но позвольте-же и мнѣ вамъ, Яковъ Петровичъ, замѣтить, что личности въ хорошемъ обществѣ не совсѣмъ позволительны-съ; что за глаза, я, напримѣръ, готовъ снести, — потому что за глаза и кого-жь не бранятъ — но въ глаза, воля ваша, и я, сударь мой, напримѣръ, себѣ дерзостей говорить не позволю. Я, сударь мой, посѣдѣлъ на государственной службѣ, и дерзостей на старости лѣтъ говорить себѣ не позволю-съ...

— Нѣтъ-съ, я, Антонъ Антоновичъ-съ, вы видите-ли, Антонъ Антоновичъ, — вы, кажется, Антонъ Антоновичъ, меня не совсѣмъ-то уразумѣли-съ. А я, помилуйте, Антонъ Антоновичъ, я съ своей стороны могу только за честь поставить-съ...

— Да ужь и насъ тоже прошу извинить-съ. Учены мы по-старинному-съ. А по вашему, по новому, учиться намъ поздно. На службѣ отечеству разумѣнія доселѣ намъ, кажется, доставало. У меня, сударь мой, какъ вы сами знаете, есть знакъ за двадцати-пятилѣтнюю безпорочную службу-съ...

— Я чувствую, Антонъ Антоновичъ, я съ моей стороны совершенно все это чувствую-съ. Но я не про то-съ, я про маску говорилъ, Антонъ Антоновичъ-съ ..

— Про маску-съ?

— То есть, вы опять... я опасаюсь, что вы и тутъ примете въ другую сторону смыслъ, то есть смыслъ рѣчей моихъ, какъ вы сами говорите, Антонъ Антоновичъ. Я только тему развиваю, то есть пропускаю идею, Антонъ Антоновичъ, что люди, носящіе

маску, стали не рѣдки-съ, и что теперь трудно подъ маской узнать человѣка-съ...

— Ну-съ, знаете-ли-съ, оно не совсѣмъ-то и трудно-съ. Иногда и довольно легко-съ, иногда и искать недалеко нужно ходить-съ.

— Нѣтъ-съ, знаете-ли-съ, я, Антонъ Антоновичъ, говорю-съ, про себя говорю, что я, напримѣръ, маску надѣваю лишь когда нужда въ ней бываетъ, то есть единственно для карнавала и веселыхъ собраній, говоря въ прямомъ смыслѣ, но что не маскируюсь передъ людьми каждодневно, говоря въ другомъ, болѣе скрытномъ смыслѣ-съ. Вотъ что̀ я хотѣлъ сказать, Антонъ Антоновичъ-съ.

— Ну, да мы, покамѣстъ, оставимъ все это; да мнѣ-же и некогда-съ, сказалъ Антонъ Антоновичъ, привставъ съ своего мѣста и собирая кой-какія бумаги для доклада его превосходительству. - - Дѣло-же ваше, какъ я полагаю, не замедлитъ своевременно объясниться. Сами-же увидите вы, на кого вамъ пенять, и кого обвинять, а затѣмъ прошу васъ покорнѣйше уволить меня отъ дальнѣйшихъ, частныхъ и вредящихъ службѣ объясненій и толковъ-съ...

— Нѣтъ-съ, я, Антонъ Антоновичъ, началъ поблѣднѣвшій немного господинъ Голядкинъ вслѣдъ удаляющемуся Антону Антоновичу: — я, Антонъ Антоновичъ, того-съ, и не думалъ-съ.— Что̀-же это такое? продолжалъ уже про себя нашъ герой, оставшись одинъ: — что-же это за вѣтры такіе здѣсь подуваютъ, и что̀ означаетъ этотъ новый крючекъ? Въ то самое время, какъ потерянный и полу-убитый герой нашъ готовился было разрѣшить этотъ новый вопросъ, въ сосѣдней комнатѣ послышался шумъ, обнаружилось какое-то дѣловое движеніе, дверь отворилась, и Андрей Филипповичъ, только что передъ тѣмъ отлучившійся по дѣламъ въ кабинетъ его превосходительства, запыхавшись, появился въ дверяхъ и кликнулъ господина Голядкина. Зная въ чемъ дѣло и не желая заставить ждать Андрея Филипповича, господинъ Голядкинъ вскочилъ съ своего мѣста и, какъ слѣдуетъ, немедленно засуетился на чемъ свѣтъ стоитъ, обготовляя и обхоливая окончательно требуемую тетрадку, да и самъ приготовляясь отправиться, вслѣдъ за тетрадкой и Андреемъ Филипповичемъ, въ кабинетъ его превосходительства. Вдругъ, и почти изъ подъ руки Андрея Филипповича, стоявшаго въ то время въ самыхъ дверяхъ, юркнулъ въ комнату господинъ Голядкинъ-младшій, суетясь, запыхавшись, загонявшись на службѣ,

съ важнымъ рѣшительно-форменнымъ видомъ, и прямо подкатился къ господину Голядкину-старшему, менѣе всего ожидавшему подобнаго нападенія...

— Бумаги, Яковъ Петровичъ, бумаги... его превосходительство изволили спрашивать, готовы-ль у васъ? защебеталъ въ полголоса и скороговоркой пріятель господина Голядкина-старшаго: — Андрей Филипповичъ васъ ожидаетъ...

— Знаю и безъ васъ, что ожидаютъ, проговорилъ господинъ Голядкинъ-старшій, тоже скороговоркой и шепотомъ.

— Нѣтъ, я, Яковъ Петровичъ, не то; я, Яковъ Петровичъ, совсѣмъ не то; я сочувствую, Яковъ Петровичъ, и подвигнутъ душевнымъ участіемъ.

— Отъ котораго нижайше прошу васъ избавить меня. Позвольте, позвольте-съ...

— Вы, разумѣется, ихъ обернете оберточкой, Яковъ Петровичъ, а третью-то страничку вы заложите закладкой, позвольте, Яковъ Петровичъ...

— Да позвольте-же вы, наконецъ...

— Но вѣдь здѣсь чернильное пятнышко, Яковъ Петровичъ, вы замѣтили-ль чернильное пятнышко?..

Тутъ Андрей Филипповичъ второй разъ кликнулъ господина Голядкина.

— Сейчасъ, Андрей Филипповичъ; я вотъ только немножко, вотъ здѣсь... Милостивый государь, понимаете-ли вы русскій языкъ?

— Лучше всего будетъ ножичкомъ снять, Яковъ Петровичъ, вы лучше на меня положитесь: вы лучше не трогайте сами, Яковъ Петровичъ, а на меня положитесь, — я-же самъ отчасти тутъ ножичкомъ...

Андрей Филипповичъ третій разъ кликнулъ господина Голядкина.

— Да помилуйте, гдѣ-же тутъ пятнышко? Вѣдь, кажется, вовсе нѣту здѣсь пятнышка?

— И огромное пятнышко, вотъ оно! Вотъ, позвольте, я здѣсь его видѣлъ; вотъ, позвольте... вы только позвольте мнѣ, Яковъ Петровичъ, я отчасти здѣсь ножичкомъ, я изъ участія, Яковъ Петровичъ, и ножичкомъ отъ чистаго сердца... вотъ такъ, вотъ и дѣло съ концомъ...

Тутъ, и совсѣмъ неожиданно, господинъ Голядкинъ-младшій, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, осиливъ господина Голядкина-старшаго въ мгновенной борьбѣ, между ними возникшей, и во

всякомъ случаѣ совершенно противъ воли его, овладѣлъ требуемой начальствомъ бумагой, и, вмѣсто того, чтобъ поскоблить ее ножичкомъ отъ чистаго сердца, какъ вѣроломно увѣрялъ онъ господина Голядкина-старшаго, — быстро свернулъ ее, сунулъ подъ мышку, въ два скачка очутился возлѣ Андрея Филипповича, не замѣтившаго ни одной изъ продѣлокъ его, и полетѣлъ съ нимъ въ директорскій кабинетъ. Господинъ Голядкинъ-старшій остался какъ-бы прикованнымъ къ мѣсту, держа въ рукахъ ножичекъ и какъ будто приготовляясь что-то скоблить имъ...

Герой нашъ еще не совсѣмъ понималъ свое новое обстоятельство. Онъ еще не опомнился. Онъ почувствовалъ ударъ, но думалъ, что это что нибудь такъ. Въ страшной, неописанной тоскѣ сорвался онъ, наконецъ, съ мѣста и бросился прямо въ директорскій кабинетъ, моля, впрочемъ, небо дорогою, чтобъ это устроилось все какъ нибудь къ лучшему и было-бы такъ, ничего... Въ послѣдней комнатѣ передъ директорскимъ кабинетомъ, сбѣжался онъ, прямо носъ съ носомъ, съ Андреемъ Филипповичемъ и съ однофамильцемъ своимъ. Оба они уже возвращались: господинъ Голядкинъ посторонился. Андрей Филипповичъ говорилъ улыбаясь и весело. Однофамилецъ господина Голядкина-старшаго тоже улыбался, юлилъ, сѣменилъ въ почтительномъ разстояніи отъ Андрея Филипповича, и что-то съ восхищеннымъ видомъ нашептывалъ ему на ушко, на что Андрей Филипповичъ самымъ благосклоннымъ образомъ кивалъ головою. Разомъ понялъ герой нашъ все положеніе дѣлъ. Дѣло въ томъ, что работа его (какъ онъ послѣ узналъ) почти превзошла ожиданія его превосходительства и поспѣла дѣйствительно къ сроку и во-время. Его превосходительство были крайне довольны. Говорили даже, что его превосходительство сказали спасибо господину Голядкину-младшему, крѣпкое спасибо; сказали, что вспомнятъ при случаѣ и никакъ не забудутъ... Разумѣется, что первымъ дѣломъ господина Голядкина было протестовать, протестовать всѣми силами, до послѣдней возможности. Почти не помня себя и блѣдный какъ смерть бросился онъ къ Андрею Филипповичу. Но Андрей Филипповичъ, услышавъ, что дѣло господина Голядкина было частное дѣло, отказался слушать, рѣшительно замѣчая, что у него нѣтъ ни минуты свободной и для собственныхъ надобностей.

Сухость тона и рѣзкость отказа поразили господина Голядкина. «А вотъ лучше я какъ нибудь съ другой стороны... вотъ я лучше къ Антону Антоновичу». Къ несчастію господина Го-

лядкина, и Антона Антоновича не оказалось въ наличности: онъ тоже гдѣ-то былъ чѣмъ-то занятъ! «А вѣдь не безъ намѣренія просилъ уволить себя отъ объясненій и толковъ!» подумалъ герой нашъ. «Вотъ куда мѣтилъ—старая петля! Въ такомъ случаѣ, я просто дерзну умолять его превосходительство.».

Все еще блѣдный и чувствуя въ совершенномъ разбродѣ всю свою голову, крѣпко недоумѣвая, на что именно нужно рѣшиться, присѣлъ господинъ Голядкинъ на стулъ. «Гораздо было-бы лучше, если-бъ все это было лишь такъ только», безпрерывно думалъ онъ про себя. «Дѣйствительно, подобное темное дѣло было даже невѣроятно совсѣмъ. Это, во первыхъ, и вздоръ, а во вторыхъ, и случиться не можетъ. Это, вѣроятно, какъ нибудь тамъ померещилось, или вышло что нибудь другое, а не то, что̀ дѣйствительно было; или вѣрно это я самъ ходилъ... и себя какъ нибудь тамъ принялъ совсѣмъ за другаго... однимъ словомъ, это совершенно невозможное дѣло».

Только что господинъ Голядкинъ рѣшилъ, что это совсѣмъ невозможное дѣло, какъ вдругъ въ комнату влетѣлъ господинъ Голядкинъ-младшій, съ бумагами въ обѣихъ рукахъ и подъ мышкой. Сказавъ мимоходомъ какія-то нужныя два слова Андрею Филипповичу, перемолвивъ и еще кое съ кѣмъ, полюбезничавъ кое съ кѣмъ, пофамильярничавъ кое съ кѣмъ, господинъ Голядкинъ-младшій, повидимому, не имѣвшій лишняго времени на безполезную трату, собирался уже, кажется, выйдти изъ комнаты, но, къ счастію господина Голядкина-старшаго, остановился въ самыхъ дверяхъ и заговорилъ мимоходомъ съ двумя или тремя случившимися тутъ-же молодыми чиновниками. Господинъ Голядкинъ-старшій бросился прямо къ нему. Только что увидѣлъ господинъ Голядкинъ-младшій маневръ господина Голядкина-старшаго, тотчасъ-же началъ съ большимъ безпокойствомъ осматриваться куда-бы ему поскорѣй улизнуть. Но герой нашъ уже держался за рукава своего вчерашняго гостя. Чиновники, окружавшіе двухъ титулярныхъ совѣтниковъ, разступились и съ любопытствомъ ожидали что̀ будетъ. Старый титулярный совѣтникъ понималъ хорошо, что доброе мнѣніе теперь не на его сторонѣ, понималъ хорошо, что подъ него интригуютъ: тѣмъ болѣе нужно было теперь поддержать себя. Минута была рѣшительная.

— Ну-съ? проговорилъ господинъ Голядкинъ-младшій, довольно дерзко смотря на господина Голядкина-старшаго.

Господинъ Голядкинъ-старшій едва дышалъ.

— Я не знаю, милостивый государь, началъ онъ:—какимъ

образомъ вамъ теперь объяснить странность вашего поведенія со мною.

— Ну-съ. Продолжайте-съ. — Тутъ господинъ Голядкинъ-младшій оглянулся кругомъ и мигнулъ глазомъ окружавшимъ ихъ чиновникамъ, какъ-бы давая знать, что вотъ именно сейчасъ и начнется комедія.

— Дерзость и безстыдство вашихъ пріемовъ, милостивый государь мой, со мною въ настоящемъ случаѣ, еще болѣе васъ обличаютъ... чѣмъ всѣ слова мои. Не надѣйтесь на вашу игру: она плоховата...

— Ну, Яковъ Петровичъ, теперь скажите-ка мнѣ, каково-то вы почивали? отвѣчалъ господинъ Голядкинъ-младшій, прямо смотря въ глаза господину Голядкину-старшему.

— Вы, милостивый государь, забываетесь, сказалъ совершенно потерявшійся титулярный совѣтникъ, едва слыша полъ подъ собою: — я надѣюсь, что вы перемѣните тонъ...

— Душка мой!! проговорилъ господинъ Голядкинъ-младшій, скорчивъ довольно неблагопристойную гримасу господину Голядкину-старшему, и вдругъ, совсѣмъ неожиданно, подъ видомъ ласкательства, ухватилъ его двумя пальцами за довольно пухлую правую щеку. Герой нашъ вспыхнулъ какъ огонь... Только что пріятель господина Голядкина-старшаго примѣтилъ, что противникъ его, трясясь всѣми членами, нѣмой отъ изступленія, красный какъ ракъ, и, наконецъ, доведенный до послѣднихъ границъ, можетъ даже рѣшиться на формальное нападеніе, то немедленно, и самымъ безстыднымъ образомъ, предупредилъ его въ свою очередь. Потрепавъ его еще раза два по щекѣ, пощекотавъ его еще раза два, поигравъ съ нимъ, неподвижнымъ и обезумѣвшимъ отъ бѣшенства, еще нѣсколько секундъ такимъ образомъ, къ немалой утѣхѣ, окружающей ихъ молодежи, господинъ Голядкинъ-младшій, съ возмущающимъ душу безстыдствомъ, щелкнулъ окончательно господина Голядкина-старшаго по крутому брюшку и съ самой ядовитой и далеко намекающей улыбкой проговорилъ ему: «шалишь, братецъ, Яковъ Петровичъ, шалишь! Хитрить мы будемъ съ тобой, Яковъ Петровичъ, хитрить». Потомъ, и прежде чѣмъ герой нашъ успѣлъ мало-мальски придти въ себя отъ послѣдней атаки, господинъ Голядкинъ-младшій вдругъ (предварительно отпустивъ только улыбочку окружавшимъ ихъ зрителямъ) принялъ на себя видъ самый занятой, самый дѣловой, самый форменный, опустилъ глаза въ землю, съежился, сжался, и, быстро проговоривъ «по особому поруче-

нію», лягнулъ своей коротенькой ножкой и шмыгнулъ въ сосѣднюю комнату. Герой нашъ не вѣрилъ глазамъ и все еще былъ не въ состояніи опомниться...

Наконецъ, онъ опомнился. Сознавъ въ одинъ мигъ, что погибъ, уничтожился въ нѣкоторомъ смыслѣ, что замаралъ себя и запачкалъ свою репутацію, что осмѣянъ и оплеванъ въ присутствіи постороннихъ лицъ, что предательски поруганъ тѣмъ, кого еще вчера считалъ первѣйшимъ и надежнѣйшимъ другомъ своимъ, что срѣзался, наконецъ, на чемъ свѣтъ стоитъ, — господинъ Голядкинъ бросился въ погоню за своимъ непріятелемъ. Въ настоящее мгновеніе онъ уже и думать не хотѣлъ о свидѣтеляхъ своего поруганія. «Это все въ стачкѣ другъ съ другомъ», говорилъ онъ самъ про себя: «одинъ за другаго стоитъ и одинъ другаго на меня натравляетъ». Однако-жь, сдѣлавъ десять шаговъ, герой нашъ ясно увидѣлъ, что всѣ преслѣдованія остались пустыми и тщетными, и потому воротился. «Не уйдешь», думалъ онъ: «попадешь подъ сюркупъ своевременно, отольются волку овечьи слезы». Съ яростнымъ хладнокровіемъ и съ самою энергическою рѣшимостью дошелъ господинъ Голядкинъ до стула и усѣлся на немъ. «Не уйдешь!» сказалъ онъ опять. Теперь дѣло шло не о пассивной оборонѣ какой нибудь: пахнуло рѣшительнымъ, наступательнымъ, и кто видѣлъ господина Голядкина въ ту минуту, какъ онъ, краснѣя и едва сдерживая волненіе свое, кольнулъ перомъ въ чернильницу, и съ какой яростью принялся строчить на бумагѣ, тотъ могъ уже заранѣе рѣшить, что дѣло такъ не пройдетъ, и простымъ какимъ нибудь бабьимъ образомъ не можетъ окончиться. Въ глубинѣ души своей сложилъ онъ одно рѣшеніе, и въ глубинѣ сердца своего поклялся исполнить его. По правдѣ-то, онъ еще не совсѣмъ хорошо зналъ, какъ ему поступить, то есть, лучше сказать, вовсе не зналъ; но все равно, ничего! «А самозванствомъ и безстыдствомъ, милостивый государь, въ нашъ вѣкъ не берутъ. Самозванство и безстыдство, милостивый мой государь, не къ добру приводитъ, а до петли доводитъ. Гришка Отрепьевъ только одинъ, сударь вы мой, взялъ самозванствомъ, обманувъ слѣпой народъ, да и то не надолго». Не смотря на это послѣднее обстоятельство, господинъ Голядкинъ положилъ ждать до тѣхъ поръ, покамѣстъ маска спадетъ съ нѣкоторыхъ лицъ и кое-что обнажится. Для сего нужно было, во первыхъ, чтобъ кончились какъ можно скорѣе часы присутствія, а до тѣхъ поръ герой нашъ положилъ не предпринимать ничего. Потомъ-же, когда кончатся часы при-

сутствія, онъ приметъ мѣру одну. Тогда-же онъ знаетъ какъ ему поступить, принявъ эту мѣру, какъ расположить весь планъ своихъ дѣйствій, чтобъ сокрушить рогъ гордыни и раздавить змѣю, грызущую правъ въ презрѣніи безсилія. Позволить-же затереть себя, какъ ветошку, объ которую грязные сапоги обтираютъ, господинъ Голядкинъ не могъ. Согласиться на это не могъ онъ, и особенно въ настоящемъ случаѣ. Не будь послѣдняго посрамленія, герой нашъ, можетъ быть, и рѣшился-бы скрѣпить свое сердце, можетъ быть, онъ и рѣшился-бы смолчать, покориться и не протестовать слишкомъ упорно; такъ, поспорилъ-бы, попретендовалъ-бы немножко, доказалъ-бы, что онъ въ своемъ правѣ, потомъ-бы уступилъ немножко, потомъ, можетъ быть, и еще немножко-бы уступилъ, потомъ согласился-бы совсѣмъ, потомъ, и особенно тогда, когда противная сторона признала-бы торжественно, что онъ въ своемъ правѣ, потомъ, можетъ быть, и помирился-бы даже, даже умилился-бы немножко, даже,—кто-бы могъ знать,—можетъ быть, возродилась-бы новая дружба, крѣпкая, жаркая дружба, еще болѣе широкая, чѣмъ вчерашняя дружба, такъ что эта дружба совершенно могла-бы затмить, наконецъ, непріятность довольно неблагопристойнаго сходства двухъ лицъ, такъ, что оба титулярные совѣтника были-бы крайне какъ рады, и прожили-бы, наконецъ, до ста лѣтъ, и т. д. Скажемъ все, наконецъ: господинъ Голядкинъ даже начиналъ немного раскаяваться, что вступился за себя и за право свое, и тутъ-же получилъ за то непріятность. «Покорись онъ», думалъ господинъ Голядкинъ: «скажи, что пошутилъ,—простилъ-бы ему, даже болѣе простилъ бы ему, только-бы въ этомъ громко признался. Но какъ ветошку себя затирать я не дамъ. И не такимъ людямъ не давалъ я себя затирать, тѣмъ болѣе не позволю покуситься на это человѣку развращенному. Я не ветошка; я сударь мой, не ветошка!» Однимъ словомъ, герой нашъ рѣшился. «Сами вы, сударь вы мой, виноваты!» Рѣшился-же онъ протестовать и протестовать всѣми силами до послѣдней возможности. Такой ужь былъ человѣкъ! Позволить обидѣть себя онъ никакъ не могъ согласиться, а тѣмъ болѣе дозволить себя затереть какъ ветошку, и, наконецъ, дозволить это совсѣмъ развращенному человѣку. Не споримъ, впрочемъ, не споримъ. Можетъ быть, если-бъ кто захотѣлъ, если-бъ ужь кому, напримѣръ, вотъ такъ непремѣнно захотѣлось обратить въ ветошку господина Голядкина, то и обратилъ-бы, обратилъ-бы безъ сопротивленія и безнаказанно (господинъ Голядкинъ самъ, въ иной разъ, это

чувствовалъ), и вышла-бы ветошка, а не Голядкинъ),—такъ, подлая, грязная-бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была-бы не простая ветошка эта была бы съ амбиціей, ветошка-то эта была-бы съ одушевленіемъ и чувствами, хотя-бы и съ безотвѣтной амбиціей и съ безотвѣтными чувствами и—далеко въ грязныхъ складкахъ этой ветошки скрытыми, но всетаки съ чувствами...

Часы длились невѣроятно долго; наконецъ, пробило четыре. Спустя немного, всѣ встали, и вслѣдъ за начальникомъ двинулись къ себѣ, по домамъ. Господинъ Голядкинъ вмѣшался въ толпу; глазъ его не дремалъ и не упускалъ кого нужно изъ виду. Наконецъ, нашъ герой увидалъ, что пріятель его подбѣжалъ къ канцелярскимъ сторожамъ, раздававшимъ шинели, и, по подлому обыкновенію своему, юлитъ около нихъ въ ожиданіи своей. Минута была рѣшительная. Кое какъ протѣснился господинъ Голядкинъ сквозь толпу и, не желая отставать, тоже захлопоталъ о шинели. Но шинель подалась сперва пріятелю и другу господина Голядкина, затѣмъ, что и здѣсь успѣлъ онъ по своему подбиться приласкаться, нашептать и наподличать.

Накинувъ шинель, господинъ Голядкинъ-младшій, иронически взглянувъ на господина Голядкина-старшаго, дѣйствуя такимъ образомъ открыто и дерзко ему въ пику, потомъ, съ свойственною ему наглостью, осмотрѣлся кругомъ, посѣменилъ окончательно,—вѣроятно, чтобъ оставить выгодное по себѣ впечатлѣніе,—около чиновниковъ, сказалъ слово одному, пошептался о чемъ-то съ другимъ, почтительно полизался съ третьимъ, адрессовалъ улыбку четвертому, далъ руку пятому, и весело юркнулъ внизъ по лѣстницѣ. Господинъ Голядкинъ-старшій за нимъ, и, къ неописанному своему удовольствію, таки нагналъ его на послѣдней ступенькѣ, и схватилъ за воротникъ его шинели. Казалось, что господинъ Голядкинъ-младшій немного оторопѣлъ и посмотрѣлъ кругомъ съ потеряннымъ видомъ.

— Какъ понимать мнѣ васъ? прошепталъ онъ, наконецъ, слабымъ голосомъ господину Голядкину.

— Милостивый государь, если вы только благородный человѣкъ, то надѣюсь, что вспомните про вчерашнія дружескія наши сношенія, проговорилъ нашъ герой.

— А, да. Ну, что-жь? Хорошо-ли вы почивали-съ?

Бѣшенство отняло на минутку языкъ у господина Голядкина-старшаго.

— Я-то почивалъ хорошо-съ... Но позвольте-же и вамъ сказать, милостивый мой государь, что игра ваша крайне запутана...

— Кто это говоритъ? Это враги мои говорятъ, отвѣчалъ отрывисто тотъ, кто называлъ себя господиномъ Голядкинымъ, и вмѣстѣ съ словомъ этимъ неожиданно освободился изъ слабыхъ рукъ настоящаго господина Голядкина. Освободившись, онъ бросился съ лѣстницы, оглянулся кругомъ, увидѣвъ извощика— подбѣжалъ къ нему, сѣлъ на дрожки, и въ одно мгновеніе скрылся изъ глазъ господина Голядкина-старшаго. Отчаянный и покинутый всѣми титулярный совѣтникъ оглянулся кругомъ, но не было другаго извощика. Попробовалъ было онъ бѣжать, да ноги подламывались. Съ опрокинутой физіономіей, съ разинутымъ ртомъ, уничтожившись, съежившись, въ безсиліи прислонился онъ къ фонарному столбу и остался нѣсколько минутъ такимъ образомъ посреди тротуара. Казалось, что все погибло для господина Голядкина...

ГЛАВА IX.

Все, повидимому, и даже природа сама, вооружилось противъ господина Голядкина; но онъ еще былъ на ногахъ и не побѣжденъ; онъ это чувствовалъ, что не побѣжденъ. Онъ готовъ былъ бороться. Онъ съ такимъ чувствомъ и съ такою энергіей потеръ себѣ руки, когда очнулся послѣ перваго изумленія, что уже по одному виду господина Голядкина заключить можно было, что онъ не уступитъ. Впрочемъ, опасность была на носу, была очевидна; господинъ Голядкинъ и это чувствовалъ; да какъ за нее взяться за эту опасность-то? вотъ вопросъ. Даже на мгновеніе мелькнула мысль въ головѣ господина Голядкина, «что, дескать, не оставить-ли все это такъ, не отступиться-ли запросто? Ну, что-жь? Ну, и ничего. Я буду особо, какъ будто не я», думалъ господинъ Голядкинъ: «пропускаю все мимо; не я, да и только; онъ тоже особо, авось и отступится; поюлитъ, шельмецъ, поюлитъ, повертится, да и отступится. Вотъ оно какъ! Я смиреніемъ возьму. Да и гдѣ-же опасность? Ну, какая опасность? Желалъ-бы я, чтобъ кто нибудь указалъ мнѣ въ этомъ дѣлѣ опасность? Плёвое дѣло! обыкновенное дѣло!..» Здѣсь господинъ Голядкинъ осѣкся. Слова у него на языкѣ замерли; онъ даже ругнулъ себя за эту мысль; даже тутъ-же и уличилъ себя въ низости, въ трусости за эту мысль; однако, дѣло его всетаки не двинулось съ мѣста. Чувствовалъ онъ, что рѣшиться на что нибудь въ настоящую минуту было для него сущею необходимостью; даже чувствовалъ, что много-бы далъ тому, кто сказалъ-бы ему,

на что̀ именно нужно рѣшиться. Ну, да вѣдь какъ угадать? Впрочемъ, и некогда было угадывать. На всякій случай, чтобъ времени не терять, нанялъ онъ извощика и полетѣлъ домой. «Что̀? Каково-то ты теперь себя чувствуешь?» подумалъ онъ самъ въ себѣ: «каково-то вы себя теперь изволите чувствовать. Яковъ Петровичъ? Что̀-то ты сдѣлаешь? Что-то сдѣлаешь ты теперь, подлецъ ты такой, шельмецъ ты такой! Довелъ себя до послѣдняго, да и плачешь теперь, да и хнычешь теперь!» Такъ поддразнивалъ себя господинъ Голядкинъ, подпрыгивая на тряскомъ экипажѣ своего ваньки. Поддразнивать себя и растравлять такимъ образомъ свои раны въ настоящую минуту было какимъ-то глубокимъ наслажденіемъ для господина Голядкина, даже чуть-ли не сладострастіемъ. «Ну, если-бъ тамъ, теперь», думалъ онъ,—«волшебникъ какой-бы пришелъ, или оффиціальнымъ образомъ какъ-нибудь этакъ пришлось, да сказали-бы: дай, Голядкинъ, палецъ съ правой руки — и квиты съ тобой; не будетъ другаго Голядкина, и ты будешь счастливъ, только пальца не будетъ,—такъ отдалъ-бы палецъ, непремѣнно-бы отдалъ, не поморщась-бы отдалъ. Черти-бы взяли все это!» вскрикнулъ, наконецъ, отчаянный титулярный совѣтникъ: «ну, зачѣмъ все это? Ну, надобно было всему этому быть; вотъ непремѣнно этому; вотъ именно этому, какъ-будто нельзя было другому чему! И все было хорошо сначала, всѣ были довольны и счастливы; такъ вотъ нѣтъ-же, надобно было! Впрочемъ, вѣдь словами ничего не возьмешь. Нужно дѣйствовать».

Итакъ, почти рѣшившись на что-то, господинъ Голядкинъ, войдя въ свою квартиру, нимало немедля схватился за трубку и, насасывая ее изъ всѣхъ силъ, раскидывая клочья дыма направо и налѣво, началъ, въ чрезвычайномъ волненіи, бѣгать взадъ и впередъ по комнатѣ. Между тѣмъ, Петрушка сталъ сбирать на столъ. Наконецъ, господинъ Голядкинъ рѣшился совсѣмъ, вдругъ бросилъ трубку, накинулъ на себя шинель, сказалъ, что дома обѣдать не будетъ, и выбѣжалъ вонъ изъ квартиры. На лѣстницѣ нагналъ его запыхавшись Петрушка, держа въ рукахъ забытую имъ шляпу. Господинъ Голядкинъ взялъ шляпу, хотѣлъ было мимоходомъ маленько оправдаться въ глазахъ Петрушки, чтобъ не подумалъ чего Петрушка особеннаго,—что вотъ, дескать, такое-то обстоятельство, что вотъ шляпу позабылъ и т. д.—но такъ какъ Петрушка и глядѣть не хотѣлъ, и тотчасъ ушелъ, то и господинъ Голядкинъ, безъ дальнѣйшихъ объясненій, надѣлъ свою шляпу, сбѣжалъ съ лѣстницы, и, приговаривая, что все,

можетъ быть, къ лучшему будетъ, и что дѣло устроится какъ нибудь, хотя чувствовалъ, между прочимъ, даже у себя въ пяткахъ ознобъ, вышелъ на улицу, нанялъ извощика и полетѣлъ къ Андрею Филипповичу. «Впрочемъ, не лучше-ли завтра»? думалъ господинъ Голядкинъ, хватаясь за снурокъ колокольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича: да и что̀-же я скажу особеннаго? Особеннаго-то здѣсь нѣтъ ничего. Дѣло-то такое мизерное, да оно, наконецъ, и дѣйствительно мизерное, плёвое, то есть почти плёвое дѣло... вѣдь вотъ оно какъ это все, обстоятельство-то»... вдругъ господинъ Голядкинъ дернулъ за колокольчикъ; колокольчикъ зазвенѣлъ, изнутри послышались чьи-то шаги... Тутъ господинъ Голядкинъ даже проклялъ себя, отчасти за свою поспѣшность и дерзость. Недавнія непріятности, о которыхъ господинъ Голядкинъ едва не позабылъ за дѣлами, и контра съ Андреемъ Филипповичемъ—тутъ-же пришли ему на память. Но уже бѣжать было поздно: дверь отворилась. Къ счастью господина Голядкина, отвѣчали ему, что Андрей Филипповичъ и домой не пріѣзжалъ изъ должности, и не обѣдаетъ дома. «Знаю, гдѣ онъ обѣдаетъ: онъ у Измайловскаго моста обѣдаетъ», подумалъ герой нашъ, и страхъ какъ обрадовался. На вопросъ слуги, какъ объ васъ доложить, сказалъ, что, дескать, я, мой другъ, хорошо, что, дескать, я, мой другъ, послѣ, и даже съ нѣкоторою бодростью сбѣжалъ внизъ по лѣстницѣ. Выйдя на улицу, онъ рѣшился отпустить экипажъ и расплатился съ извощикомъ. Когда-же извощикъ попросилъ о прибавкѣ,—дескать, ждалъ, сударь, долго, и рысачка для вашей милости не жалѣлъ,—то далъ и прибавочки пятачекъ, и даже съ большою охотою; самъ-же пѣшкомъ пошелъ.

— Дѣло-то оно, правда, такое, думалъ господинъ Голядкинъ:—что вѣдь такъ оставить нельзя; однако-жь, если такъ разсудить, этакъ здраво разсудить, такъ изъ чего-же по настоящему здѣсь хлопотать? Ну, нѣтъ, однако-жь, я буду все про то говорить, изъ чего-же мнѣ хлопотать? Изъ чего мнѣ маяться, биться, мучиться, себя убивать? Во первыхъ, дѣло сдѣлано, и его не воротишь... вѣдь не воротишь! Разсудимъ такъ: является человѣкъ,—является человѣкъ, съ достаточной рекомендаціей, дескать, способный чиновникъ, хорошаго поведенія, только бѣденъ, и потерпѣлъ разныя непріятности,—передряги тамъ этакія,—ну, да вѣдь бѣдность не порокъ; стало быть, я въ сторонѣ. Ну, въ самомъ дѣлѣ, что-жь за вздоръ такой? Ну, пришелся, устроился, самой природой устроился такъ человѣкъ,

что двѣ капли воды похожъ но другаго человѣка, что совершенная копія съ другаго человѣка: такъ ужь его за это и не принимать въ департаментъ?! Коли ужь судьба, коли одна судьба, коли одна слѣпая фортуна тутъ виновата,—такъ ужь его и затереть какъ ветошку, такъ ужь и служить ему не давать... да гдѣ-же тутъ, послѣ этого, справедливость будетъ? Человѣкъ-же онъ бѣдный, затерянный, запуганный; тутъ сердце болитъ, тутъ состраданіе его призрѣть велитъ! Да! Нечего сказать, хороши-бы были начальники, если-бъ такъ разсуждали, какъ я, забубенная голова! Эка вѣдь башка у меня! На десятерыхъ подъ часъ глупости хватитъ! Нѣтъ, нѣтъ! И сдѣлали хорошо, и спасибо имъ, что призрѣли бѣднаго горемыку... Ну, да, положимъ, напримѣръ, что мы близнецы, что вотъ ужь мы такъ уродились, что братья-близнецы, да и только,—вотъ оно какъ! Ну, что-же такое? Ну, и ничего! Можно всѣхъ чиновниковъ пріучить... а посторонній кто, войдя въ наше вѣдомство, ужь, вѣрно не нашелъ-бы ничего неприличнаго и оскорбительнаго въ такомъ обстоятельствѣ. Оно даже тутъ есть кое-что умилительное; что вотъ, дескать, мысль-то какая: что, дескать, промыслъ Божій создалъ двухъ совершенно подобныхъ, а начальство благодѣтельное, видя промыслъ Божій, пріютило двухъ близнецовъ. Оно, конечно,—продолжалъ господинъ Голядкинъ, переводя духъ и немного понизивъ голосъ:—оно, конечно... оно, конечно, лучше-бы было, кабы не было ничего этого, умилительнаго, и близнецовъ никакихъ тоже-бы не было... Чортъ-бы побралъ все это! И на что это нужно было? И что̀ за надобность тутъ была такая особенная и никакого отлагательства нетерпящая?! Господи Богъ мой! Экъ вѣдь черти заварили кашу какую! Вотъ, вѣдь, однако-жь, у него и характеръ такой, нрава онъ такого игриваго, сквернаго,—подлецъ онъ такой, вертлявый такой, лизунъ, лизоблюдъ, Голядкинъ онъ этакой! Пожалуй, еще дурно себя поведетъ, да фамилью мою замараетъ, мерзавецъ. Вотъ теперь и смотри за нимъ, и ухаживай! Экъ вѣдь наказаніе какое! Впрочемъ, что-жь? Ну, и нужды нѣтъ! Ну, онъ подлецъ,—ну, пусть онъ подлецъ, а другой за то честный. Ну, вотъ онъ подлецъ будетъ, а я буду честный,—и скажутъ, что вотъ этотъ Голядкинъ подлецъ, на него не смотрите, и его съ другимъ не мѣшайте; а этотъ вотъ честный, добродѣтельный, кроткій, незлобивый, весьма надежный по службѣ, и къ повышенію чиномъ достойный; вотъ оно какъ! Ну, хорошо... а какъ того... А какъ они тамъ того... да и перемѣшаютъ! Отъ него вѣдь все станется! Ахъ ты, Господи Боже мой!.. И под-

мѣнитъ человѣка, подмѣнитъ, подлецъ такой,—какъ ветошку человѣка подмѣнитъ, и не разсудитъ, что человѣкъ не ветошка. Ахъ ты, Господи Боже мой! Эко несчастіе какое!...

Вотъ такимъ-то образомъ разсуждая и сѣтуя, бѣжалъ господинъ Голядкинъ, не разбирая дороги, и самъ почти не зная куда. Очнулся онъ на Невскомъ проспектѣ, и то по тому только случаю, что столкнулся съ какимъ-то прохожимъ такъ ловко и плотно, что только искры посыпались. Господинъ Голядкинъ, не поднимая головы, пробормоталъ извиненіе, и только тогда, когда прохожій, проворчавъ что-то не слишкомъ лестное, отошелъ уже на разстояніе значительное, поднялъ носъ кверху и осмотрѣлся, гдѣ онъ и какъ. Осмотрѣвшись и замѣтивъ, что находится именно возлѣ того ресторана, къ которомъ отдыхалъ, приготовляясь къ званому обѣду у Олсуфія Ивановича, герой нашъ почувствовалъ вдругъ щипки и щелчки по желудку, вспомнилъ, что не обѣдалъ, званаго-же обѣда не предстояло нигдѣ, и потому, дорогаго своего времени не теряя, вбѣжалъ онъ вверхъ по лѣстницѣ въ ресторанъ, перехватить что нибудь поскорѣе, и какъ можно торопясь не замѣшкать. И хотя въ ресторанѣ было все дорогонько, но это маленькое обстоятельство не остановило, на этотъ разъ, господина Голядкина; да и останавливаться-то теперь на подобныхъ бездѣлицахъ некогда было. Въ ярко освѣщенной комнатѣ, у прилавка, на которомъ лежала разнообразная груда всего того, что потребляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая толпа посѣтителей. Конторщикъ едва успѣвалъ наливать, отпускать, сдавать и принимать деньги. Господинъ Голядкинъ подождалъ своей очереди и, выждавъ, скромно протянулъ свою руку къ пирожку-растегайчику. Отойдя въ уголокъ, оборотясь спиною къ присутствующимъ и закусивъ съ аппетитомъ, онъ поворотился къ конторщику, поставилъ на столъ блюдечко, зная цѣну, вынулъ 10 коп. сер. и положилъ на прилавокъ монетку, ловя взгляды конторщика, чтобъ указать ему: «что вотъ, дескать, монетка лежитъ; одинъ растегайчикъ» и т. д.

— Съ васъ рубль десять копѣекъ, процѣдилъ сквозь зубы конторщикъ.

Господинъ Голядкинъ порядочно изумился.

— Вы мнѣ говорите?.. Я... я, кажется, взялъ одинъ пирожокъ.

— Одиннадцать взяли, съ увѣренностью возразилъ конторщикъ.

— Вы... сколько мнѣ кажется... вы, кажется, ошибаетесь... Я, право, кажется, взялъ одинъ пирожокъ.

— Я считалъ; вы взяли одиннадцать штукъ. Когда взяли, такъ нужно платить; у насъ даромъ ничего не даютъ.

Господинъ Голядкинъ былъ ошеломленъ. Что-жь это, колдовство, что-ль, какое надо мной совершается? подумалъ онъ. Между тѣмъ, конторщикъ ожидалъ рѣшенія господина Голядкина; господина Голядкина обступили; господинъ Голядкинъ уже полѣзъ было въ карманъ, чтобъ вынуть рубль серебромъ, чтобъ расплатиться немедленно, чтобъ отъ грѣха-то подальше быть. «Ну, одиннадцать, такъ одиннадцать», думалъ онъ, краснѣя какъ ракъ: «ну, что-же такого тутъ, что съѣдено одиннадцать пирожковъ? Ну, голоденъ человѣкъ, такъ и съѣлъ одиннадцать пирожковъ; ну, и пусть ѣстъ-себѣ на здоровье; ну, и дивиться тутъ нечему, и смѣяться тутъ нечему»... Вдругъ, какъ будто что-то кольнуло господина Голядкина; онъ поднялъ глаза и—разомъ понялъ загадку, понялъ все колдовство; разомъ разрѣшились всѣ затрудненія... Въ дверяхъ въ сосѣднюю комнату, почти прямо за спиною конторщика и лицомъ къ господину Голядкину, въ дверяхъ, которыя, между прочимъ, герой нашъ принималъ доселѣ за зеркало, стоялъ одинъ человѣчекъ,—стоялъ онъ, стоялъ самъ господинъ Голядкинъ,—не старый господинъ Голядкинъ, не герой нашей повѣсти, а другой господинъ Голядкинъ, новый господинъ Голядкинъ. Другой господинъ Голядкинъ находился, повидимому, въ превосходномъ расположеніи духа. Онъ улыбался господину Голядкину первому, кивалъ ему головою, подмигивалъ глазками, сѣменилъ немного ногами, и глядѣлъ такъ, что чуть что̀,—такъ онъ и стушуется, такъ онъ и въ сосѣднюю комнату, а тамъ, пожалуй, заднимъ ходомъ, да и того... и всѣ преслѣдованія останутся тщетными. Въ рукахъ его былъ послѣдній кусокъ десятаго растегая, который онъ въ глазахъ-же господина Голядкина отправилъ съ свой ротъ, чмокнувъ отъ удовольствія. «Подмѣнилъ, подлецъ!» подумалъ господинъ Голядкинъ, вспыхнувъ, какъ огонь, отъ стыда: «не постыдился публичности! Видятъ-ли его? Кажется, не замѣчаетъ никто»... Господинъ Голядкинъ бросилъ рубль серебромъ такъ, какъ будто-бы объ него всѣ пальцы обжегъ, и не замѣчая значительно наглой улыбки конторщика, улыбки торжества и спокойнаго могущества, выдрался изъ толпы и бросился вонъ безъ оглядки. «Спасибо за то, что хоть не компрометтировалъ окончательно человѣка!» подумалъ старшій господинъ Голядкинъ. «Спасибо разбойнику, и ему и

судьбѣ, что еще хорошо все уладилось. Нагрубилъ лишь конторщикъ. Да что-жь, вѣдь онъ былъ въ своемъ правѣ! Рубль десять слѣдовало, такъ и былъ въ своемъ правѣ. Дескать, безъ денегъ у насъ никому не даютъ! Хоть-бы былъ поучтивѣй, бездѣльникъ!..»

Все это говорилъ господинъ Голядкинъ, сходя съ лѣстницы на крыльцо. Однако-же, на послѣдней ступенькѣ онъ остановился какъ вкопаный и вдругъ покраснѣлъ такъ, что даже слезы выступили у него на глазахъ отъ припадка страданія амбиціи. Простоявъ съ полминуты столбомъ, онъ вдругъ рѣшительно топнулъ ногою, въ одинъ прыжокъ соскочилъ съ крыльца на улицу, и, безъ оглядки, задыхаясь, не слыша усталости, пустился къ себѣ, домой, въ Шестилавочную улицу. Дома, не снявъ даже съ себя верхняго платья, вопреки привычкѣ своей быть у себя по домашнему, не взявъ даже предварительно трубки, усѣлся онъ немедленно на диванѣ, придвинулъ чернильницу, взялъ перо, досталъ листъ почтовой бумаги и принялся строчить, дрожащею отъ внутренняго волненія рукой, слѣдующее посланіе:

«Милостивый государь мой,

«Яковъ Петровичъ!

«Никакъ-бы не взялъ я пера, если-бы обстоятельства мои, и вы сами, милостивый государь мой, меня къ тому не принудили. Вѣрьте, что необходимость одна понудила меня вступить съ вами въ подобное объясненіе, и потому прежде всего прошу считать эту мѣру мою не какъ умышленнымъ намѣреніемъ къ вашему, милостивый государь мой, оскорбленію, но какъ необходимымъ слѣдствіемъ связующихъ насъ теперь обстоятельствъ».

— Кажется, хорошо, прилично, вѣжливо, хотя не безъ силы и твердости?.. Обижаться ему тутъ, кажется, нечѣмъ. Къ тому-же я въ своемъ правѣ,—подумалъ господинъ Голядкинъ, перечитывая написанное.

«Неожиданное и странное появленіе ваше, милостивый государь мой, въ бурную ночь, послѣ грубаго и неприличнаго со мною поступка враговъ моихъ, коихъ имя умалчиваю изъ презрѣнія къ нимъ, было зародышемъ всѣхъ недоразумѣній, въ настоящее время между нами существующихъ. Упорное-же ваше, милостивый государь, желаніе стоять на своемъ и насильственно войдти въ кругъ моего бытія и всѣхъ отношеній моихъ въ практической жизни, выступаетъ даже за предѣлы, требуемые одною лишь вѣжливостью и простымъ общежитіемъ. Я думаю, нечего

упоминать здѣсь о похищеніи вами, милостивый государь мой, бумаги моей и собственнаго моего честнаго имени, для пріобрѣтенія ласки начальства,—ласки, незаслуженной вами. Нечего упоминать здѣсь и объ умышленныхъ и обидныхъ уклоненіяхъ вашихъ отъ необходимыхъ по сему случаю объясненій. Наконецъ, чтобы все сказать, не упоминаю здѣсь и о послѣднемъ странномъ, можно сказать, непонятномъ поступкѣ вашемъ, со мною въ кофейномъ домѣ. Далекъ отъ того, чтобъ сѣтовать о безполезной для меня утратѣ рубля серебромъ; но не могу не выказать всего негодованія моего при воспоминаніи о явномъ посягательствѣ вашемъ, милостивый государь, въ ущербъ моей чести, и, въ добавокъ, въ присутствіи нѣсколькихъ персонъ, хотя незнакомыхъ мнѣ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, весьма хорошаго тона»...

— Не далеко-ли я захожу? подумалъ господинъ Голядкинъ. Не много-ли будетъ; не слишкомъ-ли это обидчиво,—этотъ намекъ на хорошій тонъ, напримѣръ?.. Ну, да ничего! Нужно показать ему твердость характера. Впрочемъ, ему можно, для смягченія, этакъ, польстить и подмаслить въ концѣ. А вотъ мы посмотримъ:

«Но не сталъ-бы я, милостивый государь мой, утомлять васъ письмомъ моимъ, если-бы не былъ твердо увѣренъ, что благородство сердечныхъ чувствъ и открытый, прямодушный характеръ вашъ укажутъ вамъ самому средства поправить всѣ упущенія и возстановить все попрежнему.

«Въ полной надеждѣ я смѣю оставаться увѣреннымъ, что вы не примете письма моего въ обидную для васъ сторону, а вмѣстѣ съ тѣмъ и не откажетесь объясниться нарочито по этому случаю письменно, черезъ посредство моего человѣка.

«Въ ожиданіи, честь имѣю пребыть,
милостивый государь,
покорнѣйшимъ вашимъ слугою

«Я. Голядкинымъ».

— Ну, вотъ и все хорошо. Дѣло сдѣлано; дошло и до письменнаго. Но кто-жь виноватъ? Онъ самъ виноватъ: самъ доводитъ человѣка до необходимости требовать письменныхъ документовъ. А я въ своемъ правѣ...

Перечитавъ послѣдній разъ письмо, господинъ Голядкинъ сложилъ его, запечаталъ и позвалъ Петрушку. Петрушка явился, по обыкновенію своему, съ заспанными глазами, и на что-то крайне сердитый.

— Ты, братецъ, вотъ возьмешь это письмо... понимаешь?

Петрушка молчалъ.

— Возьмешь его и отнесешь въ департаментъ; тамъ отыщешь дежурнаго, губернскаго секретаря Вахрамѣева. Вахрамѣевъ сегодня дежурный. Понимаешь ты это?

— Понимаю.

— Понимаю! Не можешь сказать: понимаю-съ. Спросишь чиновника Вахрамѣева и скажешь ему, что, дескать, вотъ такъ и такъ, дескать, баринъ приказалъ вамъ кланяться и покорнѣйше попросить васъ справиться въ адрессной нашего вѣдомства книгѣ — гдѣ, дескать, живутъ титулярный совѣтникъ Голядкинъ?

Петрушка промолчалъ и, какъ показалось господину Голядкину, улыбнулся.

— Ну, такъ вотъ ты, Петръ, спросишь у нихъ адрессъ, и узнаешь, гдѣ, дескать, живетъ новопоступившій чиновникъ Голядкинъ?

— Слушаю.

— Спросишь адрессъ и отнесешь по этому адрессу это письмо; понимаешь?

— Понимаю.

— Если тамъ... вотъ куда ты письмо отнесешь, — тотъ господинъ, кому письмо это дашь, Голядкинъ-то... Чего смѣешься, болванъ?

— Да чего мнѣ смѣяться-то? Что мнѣ! Я ничего-съ. Нечего нашему брату смѣяться...

— Ну, такъ вотъ... если тотъ господинъ будетъ спрашивать, дескать, какъ-же твой баринъ, какъ-же онъ тамъ; что, дескать, онъ того... ну, тамъ, что нибудь будетъ выспрашивать,—такъ ты молчи, и отвѣчай, дескать, баринъ мой ничего, а просятъ, дескать, отвѣта отъ васъ, своеручнаго. Понимаешь?

— Понимаю-съ.

— Ну, такъ вотъ, дескать, баринъ мой, дескать, говори ничего, дескать, и здоровъ, и въ гости, дескать, сейчасъ собирается; а отъ васъ, дескать, они отвѣта просятъ письменнаго. Понимаешь?

— Понимаю.

— Ну, ступай.

— Вѣдь вотъ еще съ этимъ болваномъ работа! Смѣется себѣ, да и кончено. Чему-жь онъ смѣется? Дожилъ я до бѣды, дожилъ я вотъ такимъ-то образомъ до бѣды! Впрочемъ, можетъ быть,

оно обратится все къ лучшему... Этотъ мошенникъ вѣрно часа два будетъ таскаться теперь, пропадетъ еще гдѣ нибудь... Послать нельзя никуда. Эка бѣда вѣдь какая!.. эка вѣдь бѣда одолѣла какая!..

Чувствуя такимъ образомъ вполнѣ бѣду свою, герой нашъ рѣшился на пассивную двухчасовую роль въ ожиданіи Петрушки. Съ часъ времени ходилъ онъ по комнатѣ, курилъ, потомъ бросилъ трубку и сѣлъ за какую-то книжку, потомъ прилегъ на диванъ, потомъ опять взялся за трубку, потомъ опять началъ бѣгать по комнатѣ. Хотѣлъ было онъ разсуждать, но разсуждать не могъ рѣшительно ни о чемъ. Наконецъ, агонія пассивнаго состоянія его возрасла до послѣдняго градуса и господинъ Голядкинъ рѣшился принять одну мѣру. «Петрушка придетъ еще черезъ часъ», думалъ онъ: «можно ключъ отдать дворнику, а самъ я покамѣстъ и того... изслѣдую дѣло, по своей части изслѣдую дѣло». — Не теряя времени и спѣша изслѣдовать дѣло, господинъ Голядкинъ взялъ свою шляпу, вышелъ изъ комнаты, заперъ квартиру, зашелъ къ дворнику, вручилъ ему ключъ вмѣстѣ съ гривенникомъ, — господинъ Голядкинъ сталъ какъ-то необыкновенно щедръ, — и пустился, куда ему слѣдовало. Господинъ Голядкинъ пустился пѣшкомъ, сперва къ Измайловскому мосту. Въ ходьбѣ прошло съ полчаса. Дойдя до цѣли своего путешествія онъ вошелъ прямо во дворъ своего знакомаго дома и взглянулъ на окна квартиры статскаго совѣтника Берендѣева. Кромѣ трехъ завѣшенныхъ красными гардинами оконъ, остальныя всѣ были темны. «У Олсуфья Ивановича сегодня вѣрно нѣтъ гостей», подумалъ господинъ Голядкинъ: «они вѣрно всѣ одни теперь дома сидятъ». Постоявъ нѣсколько времени на дворѣ, герой нашъ хотѣлъ было уже на что-то рѣшиться. Но рѣшенію не суждено было состояться, повидимому. Господинъ Голядкинъ отдумалъ, махнулъ рукой и воротился на улицу. «Нѣтъ, не сюда мнѣ нужно было идти. Что-же я буду здѣсь дѣлать?.. А вотъ я лучше теперь того... и собственно лично изслѣдую дѣло». Принявъ такое рѣшеніе, господинъ Голядкинъ пустился въ свой департаментъ. Путь былъ не близокъ, въ добавокъ была страшная грязь и мокрый снѣгъ валилъ самыми густыми хлопьями. Но для героя нашего въ настоящее время затрудненій, кажется, не было. Измокъ-то онъ измокъ, правда, да и загрязнился не мало, «да ужь такъ, заодно, за то цѣль достигнута». И дѣйствительно, господинъ Голядкинъ уже подходилъ къ своей цѣли. Темная масса огромнаго

казеннаго строенія уже зачернѣла вдали передъ нимъ. «Стой!» подумалъ онъ: «куда-жь я иду, и что̀ я буду здѣсь дѣлать? Положимъ, узнаю гдѣ онъ живетъ; а между тѣмъ Петрушка уже вѣрно вернулся и отвѣтъ мнѣ принесъ. Время-то я мое дорогое только даромъ теряю, время-то я мое только такъ потерялъ. Ну ничего: еще все это можно исправить. Однако, и въ самомъ дѣлѣ не зайдти-ль къ Вахрамѣеву? Ну, да нѣтъ! Я ужь послѣ... Экъ! выходить-то было вовсе не нужно. Да нѣтъ, ужь характеръ такой! Сноровка такая, что нужда-ли, нѣтъ-ли, вѣчно норовлю какъ нибудь впередъ забѣжать... Гм... который-то часъ? Ужь вѣрно есть девять. Петрушка можетъ придти и не найдетъ меня дома. Сдѣлалъ я чистую глупость, что вышелъ... Эхъ, право, комиссія!»

Искренно сознавшись такимъ образомъ, что сдѣлалъ чистую глупость, герой нашъ побѣжалъ обратно къ себѣ въ Шестилавочную. Добѣжалъ онъ усталый, измученный. Еще отъ дворника узналъ онъ, что Петрушка и не думалъ являться. «Ну, такъ! Ужь я предчувствовалъ это», подумалъ герой нашъ: «а между тѣмъ уже девять часовъ. Экъ вѣдь негодяй онъ какой! Ужь вѣчно гдѣ нибудь пьянствуетъ! Господи, Богъ мой! Экой вѣдь денекъ выдался на долю мою горемычную!» Такимъ-то образомъ размышляя и сѣтуя, господинъ Голядкинъ отперъ квартиру свою, досталъ огня, раздѣлся совсѣмъ, выкурилъ трубку, и истощенный, усталый, разбитый, голодный прилегъ на диванъ, въ ожиданіи Петрушки. Свѣча нагорала тускло, свѣтъ трепеталъ на стѣнахъ... Господинъ Голядкинъ глядѣлъ-глядѣлъ, думалъ-думалъ, да и заснулъ, наконецъ, какъ убитый.

Проснулся онъ уже поздно. Свѣча совсѣмъ почти догорѣла, дымилась и готова была тотчасъ совершенно потухнуть. Господинъ Голядкинъ вскочилъ, встрепенулся и вспомнилъ все, рѣшительно все. За перегородкой раздавался густой храпъ Петрушки. Господинъ Голядкинъ бросился къ окну — нигдѣ ни огонька. Отворилъ форточку—тихо; городъ словно вымеръ, спитъ. Стало быть, часа два или три; такъ и есть: часы за перегородкой понатужились и пробили два. Господинъ Голядкинъ бросился за перегородку.

Кое-какъ, впрочемъ послѣ долгихъ усилій, растолкалъ онъ Петрушку и успѣлъ посадить его на постель. Въ это время свѣчка совершенно потухла. Минутъ съ десять прошло покамѣстъ господинъ Голядкинъ успѣлъ найдти другую свѣчу и зажечь ее. Въ это время Петрушка успѣлъ заснуть съизнова.

«Мерзавецъ ты этакой, негодяй ты такой!» проговорилъ господинъ Голядкинъ, снова его расталкивая: «встанешь-ли ты, проснешься-ли ты?» Послѣ получасовыхъ усилій, господинъ Голядкинъ успѣлъ однако-же расшевелить совершенно своего служителя и вытащить его изъ за перегородки. Тутъ только увидѣлъ герой нашъ, что Петрушка былъ, какъ говорится, мертвецки-пьянъ и едва на ногахъ держался.

— Бездѣльникъ ты этакой! закричалъ господинъ Голядкинъ: — разбойникъ ты этакой! Голову ты срѣзалъ съ меня! Господи, куда же это онъ письмо-то сбылъ съ рукъ? Ахти, Создатель мой, ну, какъ оно... И зачѣмъ я его написалъ? И нужно было мнѣ его написать? Разскакался, дуралей, я съ амбиціей! Туда-же полѣзъ за амбиціей! Вотъ тебѣ и амбиція, подлецъ ты этакой, вотъ и амбиція!.. Ну, ты! Куда-же ты письмо-то дѣлъ, разбойникъ ты этакой? Кому-же ты отдалъ его?..

— Никому я не отдавалъ никакого письма; и не было у меня никакого письма... вотъ какъ!

Господинъ Голядкинъ ломалъ руки съ отчаянія.

— Слушай ты, Петръ... ты послушай, ты слушай меня...

— Слушаю...

— Ты куда ходилъ?—отвѣчай...

— Куда ходилъ... къ добрымъ людямъ ходилъ! Что мнѣ!

— Ахъ ты, Господи Боже мой! Куда сначала ходилъ? Былъ въ департаментѣ?.. Ты послушай, Петръ; ты, можетъ быть, пьянъ?

— Я пьянъ? Вотъ, хоть сейчасъ съ мѣста не сойдти, мак-мак-маковой—вотъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, это ничего, что ты пьянъ... Я только такъ спросилъ; это хорошо, что ты пьянъ; я ничего, Петруша, я ничего... Ты, можетъ быть, только такъ позабылъ, а все помнишь. Ну-ка, вспомни-ка, былъ ты у Вахрамѣева чиновника,— былъ или нѣтъ?

— И не былъ, и чиновника такого не бывало. Вотъ хоть сейчасъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, Петръ! Нѣтъ, Петруша, вѣдь я ничего. Вѣдь ты видишь, что я ничего... Ну, что-жь такое! Ну, на дворѣ холодно, сыро, ну, выпилъ человѣкъ маленько, ну и ничего. Я не сержусь. Я самъ, братъ, выпилъ сегодня... Ты признайся, вспомни-ка, братъ: былъ ты у чиновника Вахрамѣева?

— Ну, какъ теперь, вотъ этакъ пошло, такъ право слово— вотъ былъ-же, вотъ хоть сейчасъ.

— Ну, хорошо, Петруша, хорошо, что былъ. Ты видишь,

я не сержусь... Ну, ну, продолжалъ нашъ герой, еще болѣе задобривая своего служителя, трепля его по плечу и улыбаясь ему:—ну, клюкнулъ, мерзавецъ, маленько... на гривенникъ что-ли клюкнулъ? Плутъ ты этакой! Ну и ничего; ну, ты видишь, что я не сержусь... я не сержусь, братецъ, я не сержусь...

— Нѣтъ, я не плутъ, какъ хотите-съ... Къ добрымъ людямъ только зашелъ, а не плутъ, и плутомъ никогда не бывалъ...

— Да, нѣтъ-же, нѣтъ, Петруша! Ты послушай, Петръ: вѣдь я тебя не ругаю, что плутомъ называю. Вѣдь это я въ утѣшеніе тебѣ говорю, въ благородномъ смыслѣ про это говорю. Вѣдь это значитъ, Петруша, польстить иному человѣку, какъ сказать ему, что онъ петля этакая, продувной малой, что онъ малой не промахъ и никому надуть себя не позволитъ. Это любитъ иной человѣкъ... Ну, ну, ничего! Ну, скажи-же ты мнѣ, Петруша, теперь, безъ утайки, откровенно, какъ другу... ну, былъ ты у чиновника Вахрамѣева, и адрессъ онъ далъ тебѣ?

— И адрессъ далъ, тоже и адрессъ далъ. Хорошій чиновникъ! И баринъ твой, говоритъ, хорошій человѣкъ. очень хорошій, говоритъ, человѣкъ; я, дескать, скажи, говоритъ,—кланяйся, говоритъ, своему барину, благодари и скажи, что я, дескать, люблю,—вотъ, дескать, какъ, уважаю твоего барина! За то, что, говоритъ, ты, баринъ твой, говоритъ, Петруша, хорошій человѣкъ, говоритъ, и ты, говоритъ, тоже хорошій человѣкъ, Петруша,—вотъ...

— Ахъ ты, Господи Боже мой! А адрессъ-то, адрессъ-то! Іуда ты этакой?—Послѣднія слова господинъ Голядкинъ проговорилъ почти шепотомъ.

— И адрессъ... и адрессъ далъ.

— Далъ? Ну, гдѣ-же живетъ онъ, Голядкинъ, чиновникъ Голядкинъ, титулярный совѣтникъ?

— А Голядкинъ будетъ тебѣ, говоритъ, въ Шестилавочной улицѣ. Вотъ какъ пойдешь, говоритъ, въ Шестилавочную, такъ направо, на лѣстницу, въ четвертый этажъ. Вотъ тутъ тебѣ, говоритъ, и будетъ Голядкинъ...

— Мошенникъ ты этакой! закричалъ, наконецъ, вышедшій изъ терпѣнія герой нашъ:—разбойникъ ты этакой! Да это вѣдь я; вѣдь это ты про меня говоришь. А то другой есть Голядкинъ; я про другаго говорю, мошенникъ ты этакой!

— Ну, какъ хотите! Что мнѣ! Вы какъ хотите—вотъ!..

— А письмо-то, письмо...

— Какое письмо? И не было никакого письма, и не видалъ я никакого письма.

— Да куда-же ты дѣлъ его—шельмецъ ты такой!?..

— Отдалъ его, отдалъ письмо. Кланяйся, говоритъ, благодари; хорошій твой, говоритъ, баринъ. Кланяйся, говоритъ, твоему барину...

— Да кто-же это сказалъ? Это Голядкинъ сказалъ?—Петрушка помолчалъ немного, и усмѣхнулся во весь ротъ, глядя прямо въ глаза своему барину...

— Слушай, ты, разбойникъ ты этакой!—началъ господинъ Голядкинъ задыхаясь, теряясь отъ бѣшенства:—что̀ ты сдѣлалъ со мной! Говори ты мнѣ, что̀ ты сдѣлалъ со мной! Срѣзалъ ты меня, злодѣй ты такой! Голову съ плечъ моихъ снялъ, Іуда ты этакой!

— Ну, теперь какъ хотите! Что мнѣ! сказалъ рѣшительнымъ тономъ Петрушка, ретируясь за перегородку.

— Пошелъ сюда, пошелъ сюда, разбойникъ ты этакой!..

— И не пойду я къ вамъ теперь, совсѣмъ не пойду. Что мнѣ! Я къ добрымъ людямъ пойду... А добрые люди живутъ по честности, добрые люди безъ фальши живутъ, и по-двое никогда не бываютъ... У господина Голядкина и руки и ноги оледенѣли, и духъ занялся...

— Да-съ, продолжалъ Петрушка:—ихъ по-двое никогда не бываетъ, Бога и честныхъ людей не обижаютъ...

— Ты бездѣльникъ, ты пьянъ! Ты спи теперь, разбойникъ ты этакой! А вотъ завтра и будетъ тебѣ,—едва слышнымъ голосомъ проговорилъ господинъ Голядкинъ. Что-же касается до Петрушки, то онъ пробормоталъ еще что-то; потомъ слышно было, какъ онъ налегъ на кровать, такъ что кровать затрещала, протяжно зѣвнулъ, потянулся и, наконецъ, захрапѣлъ сномъ невинности, какъ говорится. Ни живъ, ни мертвъ былъ господинъ Голядкинъ. Поведеніе Петрушки, намеки его весьма странные, хотя и отдаленные, на которые сердиться, слѣдственно, нечего было, тѣмъ болѣе, что пьяный человѣкъ говорилъ и, наконецъ, весь злокачественный оборотъ, принимаемый дѣломъ,—все это потрясло до основанія господина Голядкина. «И дернуло меня его распекать среди ночи», говорилъ нашъ герой, дрожа всѣмъ тѣломъ отъ какого-то болѣзненнаго ощущенія. «И подсунуло меня съ пьянымъ человѣкомъ связаться! Какого толку ждать отъ пьянаго человѣка! Что ни слово, то вретъ. На что̀ это, впрочемъ, онъ намекалъ, разбойникъ онъ этакой? Господи Боже

мой! И зачѣмъ я всѣ эти письма писалъ, я-то, душегубецъ; я-то, самоубійца я этакой! Нельзя помолчать! Надо было провраться! Вѣдь ужь чего! Погибаешь, ветошкѣ подобишься, такъ вѣдь нѣтъ-же, туда-же съ амбиціей, дескать, честь моя страждетъ, дескать, честь тебѣ свою нужно спасать! Самоубійца я этакой!»

Такъ говорилъ господинъ Голядкинъ, сидя на диванѣ своемъ и не смѣя пошевелиться отъ страха. Вдругъ глаза его остановились на одномъ предметѣ, въ высочайшей степени возбудившемъ его вниманіе. Въ страхѣ—не иллюзія-ли, не обманъ-ли воображенія предметъ, возбудившій вниманіе его,—протянулъ онъ къ нему руку, съ надеждою, съ робостію, съ любопытствомъ неописаннымъ... Нѣтъ, не обманъ! Не иллюзія! Письмо, точно письмо, непремѣнно письмо, и къ нему адрессованное. Господинъ Голядкинъ взялъ письмо со стола. Сердце въ немъ страшно билось. «Это вѣрно тотъ мошенникъ принесъ», подумалъ онъ: «и тутъ положилъ, а потомъ и забылъ; вѣрно такъ все случилось; это вѣрно именно такъ все случилось... Письмо было отъ чиновника Вахрамѣева, молодаго сослуживца и нѣкогда пріятеля господина Голядкина. «Впрочемъ, я все это заранѣе предчувствовалъ», подумалъ герой нашъ, «и все то, что въ письмѣ теперь будетъ, также предчувствовалъ»... Письмо было слѣдующее:

«Милостивый Государь,

«Яковъ Петровичъ!

«Человѣкъ вашъ пьянъ, и путнаго отъ него не дождешься; по сей причинѣ предпочитаю отвѣчать письменно. Спѣшу вамъ объявить, что порученіе, вами на меня возлагаемое, и состоящее въ передачѣ извѣстной вамъ особѣ черезъ мои руки письма, согласенъ исполнить во всей вѣрности и точности. Квартируетъ-же сія особа, весьма вамъ извѣстная, и теперь замѣнившая мнѣ друга, коей имя при семъ умалчиваю (затѣмъ, что не хочу напрасно чернить репутацію совершенно невиннаго человѣка), вмѣстѣ съ нами, въ квартирѣ Каролины Ивановны, въ томъ самомъ номерѣ, гдѣ прежде еще, въ бытность вашу у насъ, квартировалъ заѣзжій изъ Тамбова пѣхотный офицеръ. Впрочемъ, особу сію можете найдти вездѣ между честныхъ и искреннихъ сердцемъ людей, чего объ иныхъ сказать невозможно. Связи мои съ вами намѣренъ я съ сего числа прекратить; въ дружественномъ-же тонѣ и въ прежнемъ согласномъ видѣ товарищества нашего намъ оставаться нельзя, и потому прошу васъ, милостивый государь мой, немедленно по полученіи сего откро-

веннаго письма моего, выслать слѣдуемые мнѣ два цѣлковыхъ за бритвы иностранной работы, проданныя мною, если запомнить изволите, семь мѣсяцевъ тому назадъ, въ долгъ, еще во время жительства вашего съ нами у Каролины Ивановны, которую я отъ всей души моей уважаю. Дѣйствую-же я такимъ образомъ потому, что вы, по разсказамъ умныхъ людей, потеряли амбицію и репутацію и стали опасны для нравственности невинныхъ и незараженныхъ людей, ибо нѣкоторыя особы живутъ не по правдѣ и, сверхъ того, слова ихъ—фальшь, и благонамѣренный видъ подозрителенъ. Вступиться-же за обиду Каролины Ивановны, которая всегда была благонравнаго поведенія, а во вторыхъ, честная женщина и, въ добавокъ, дѣвица, хотя не молодыхъ лѣтъ, но зато хорошей иностранной фамиліи,—людей способныхъ можно найдти всегда и вездѣ, о чемъ просили меня нѣкоторыя особы упомянуть въ семъ письмѣ моемъ мимоходомъ и говоря отъ своего лица. Во всякомъ-же случаѣ, вы все узнаете своевременно, если теперь не узнали; не смотря на то, что ославили себя, по разсказамъ умныхъ людей, во всѣхъ концахъ столицы и, слѣдовательно, уже во многихъ мѣстахъ могли получить надлежащія о себѣ, милостивый государь, свѣдѣнія. Въ заключеніе письма моего объявляю вамъ, милостивый мой государь, что извѣстная вамъ особа, коей имя не упоминаю здѣсь по извѣстнымъ благороднымъ причинамъ, весьма уважаема людьми благомыслящими; сверхъ того, характера веселаго и пріятнаго, успѣваетъ какъ на службѣ, такъ и между всѣми здравомыслящими людьми, вѣрна своему слову и дружбѣ и не обижаетъ заочно тѣхъ, съ кѣмъ въ глаза находится въ пріятельскихъ отношеніяхъ.

«Во всякомъ случаѣ пребываю
«покорнымъ слугою вашимъ
«*Н. Вахрамѣевымъ*».

«P. S. Вы вашего человѣка сгоните: онъ пьяница и приноситъ вамъ, по всей вѣроятности, много хлопотъ, а возьмите Евстафія, служившаго прежде у насъ и находящагося на сей разъ безъ мѣста. Теперешній-же служитель вашъ не только пьяница, но, сверхъ того, воръ, ибо еще на прошлой недѣлѣ продалъ фунтъ сахару, въ видѣ кусковъ, Каролинѣ Ивановнѣ за уменьшенную цѣну, что, по моему мнѣнію, не могъ иначе сдѣлать, какъ обворовать васъ хитростнымъ образомъ, по малому и въ разные сроки. Пишу вамъ сіе, желая добра, не смотря на то,

что нѣкоторыя особы умѣютъ только обижать и обманывать всѣхъ людей, преимущественно-же честныхъ и обладающихъ добрымъ характеромъ; сверхъ того, заочно поносятъ ихъ и представляютъ ихъ въ обратномъ смыслѣ, единственно изъ зависти и потому, что сами себя не могутъ назвать таковыми».

«*В.*»

Прочтя письмо Вахрамѣева, герой нашъ долго еще оставался въ неподвижномъ положеніи на диванѣ своемъ. Какой-то новый свѣтъ пробивался сквозь весь неясный и загадочный туманъ, уже два дня окружавшій его. Герой нашъ отчасти начиналъ понимать... Попробовалъ было онъ встать съ дивана и пройдтись, разъ и другой, по комнатѣ, чтобъ освѣжить себя, собрать кое-какъ разбитыя мысли, устремить ихъ на извѣстный предметъ и потомъ, поправивъ себя немного, зрѣло обдумать свое положеніе. Но только что хотѣлъ было онъ привстать, какъ тутъ-же, въ немощи и безсиліи, упалъ опять на прежнее мѣсто. «Оно, конечно, я это все заранѣе предчувствовалъ; однако-же, какъ-же онъ пишетъ и каковъ прямой смыслъ этихъ словъ. Смыслъ-то я, положимъ, и знаю; но куда это поведетъ? Сказалъ-бы прямо: вотъ, дескать, такъ-то и такъ-то, требуется то-то и то-то, я-бы и исполнилъ. Турнюра-то, оборотъ-то, принимаемый дѣломъ, такой непріятный выходитъ! Ахъ, какъ-бы поскорѣе добраться до завтра и поскорѣе добраться до дѣла! Теперь-же я знаю что̀ дѣлать. Дескать, такъ и такъ, скажу, на резоны согласенъ, чести мо̀ей не продамъ, а того... пожалуй; впрочемъ, онъ-то, особа-то эта извѣстная, лицо-то неблагопріятное какъ-же сюда подмѣшалось? И зачѣмъ именно подмѣшалось сюда? Ахъ, какъ-бы до завтра скорѣй! Ославятъ они меня до тѣхъ поръ, интригуютъ они, въ пику работаютъ! Главное—времени не нужно терять, а теперь, напримѣръ, хоть письмо написать и только пропустить, что, дескать, то-то и то-то, и вотъ на то-то и то-то согласенъ. А завтра чѣмъ свѣтъ отослать и самому пораньше того... и съ другой стороны имъ въ контру пойдти и предупредить ихъ голубчиковъ... Ославятъ они меня, да и только!»

Господинъ Голядкинъ подвинулъ бумагу, взялъ перо и написалъ слѣдующее посланіе въ отвѣтъ на письмо губернскаго секретаря Вахрамѣева:

«Милостивый Государь

«Несторъ Игнатьевичъ!

«Съ прискорбнымъ сердцу моему удивленіемъ прочелъ я оскорбительное для меня письмо ваше, ибо ясно вижу, что подъ именемъ нѣкоторыхъ неблагопристойныхъ особъ и иныхъ съ ложною благонамѣренностью людей разумѣете вы меня. Съ истинною горестію вижу, какъ скоро, успѣшно и какіе далекіе корни пустила клевета, въ ущербъ моему благоденствію, моей чести и доброму моему имени. И тѣмъ болѣе прискорбно и оскорбительно это, что даже честные люди съ истинно благороднымъ образомъ мыслей и, главное, одаренные прямымъ и открытымъ характеромъ, отступаютъ отъ интересовъ благородныхъ людей и прилѣпляются лучшими качествами сердца своего къ зловредной тлѣ, — къ несчастію, въ наше тяжелое и безнравственное время расплодившейся сильно и крайне неблагонамѣренно. Въ заключеніе скажу, что вами означенный долгъ мой, два рубля серебромъ, почту святою обязаностію возвратить вамъ во всей его цѣлости.

«Что-же касается до вашихъ, милостивый государь мой, намековъ на счетъ извѣстной особы женскаго пола, на счетъ намѣреній, разсчетовъ и разныхъ замысловъ этой особы, то скажу вамъ, милостивый государь мой, что я смутно и неясно понялъ всѣ эти намеки. Позвольте мнѣ, милостивый государь мой, благородный образъ мыслей моихъ и честное имя мое сохранить незапятнанными. Во всякомъ-же случаѣ, готовъ снизойдти до объясненія лично, предпочитая вѣрность личнаго письменному, и сверхъ того готовъ войдти въ разныя миролюбивыя, обоюдныя, разумѣется, соглашенія. На сей конецъ прошу васъ, милостивый мой государь, передать сей особѣ готовность мою для соглашенія личнаго, и сверхъ того, просить ее назначить время и мѣсто свиданія. Горько мнѣ было читать, милостивый государь мой, намеки на то, что будто-бы васъ оскорбилъ, измѣнилъ нашей первобытной дружбѣ и отзывался о васъ съ дурной стороны. Приписываю все сіе недоразумѣнію, гнусной клеветѣ, зависти и недоброжелательству тѣхъ, коихъ справедливо могу наименовать ожесточеннѣйшими врагами моими. Но они, вѣроятно, не знаютъ, что невинность сильна уже своею невинностью, что безстыдство, наглость и возмущающая душу фамильярность иныхъ особъ, рано-ли, поздно-ли, заслужитъ себѣ всеобщее клеймо презрѣнія, и что эти особы погибнутъ не иначе, какъ отъ собственной неблагопристойности и развращенности сердца. Въ заключеніе прошу васъ, милостивый государь мой, передать симъ особамъ, что странная претензія ихъ и неблаго-

родное фантастическое желаніе вытѣснять другихъ изъ предѣловъ, занимаемыхъ сими другими своимъ бытіемъ въ этомъ мірѣ, и занять ихъ мѣсто, заслуживаютъ изумленія, презрѣнія, сожалѣнія и, сверхъ того, съумасшедшаго дома; что, сверхъ того, такія отношенія запрещены строго законами, что, по моему мнѣнію, совершенно справедливо, ибо всякій долженъ быть доволенъ своимъ собственнымъ мѣстомъ. Всему есть предѣлы, и если это шутка, то шутка неблагопристойная, скажу болѣе: совершенно безнравственная, ибо, смѣю увѣрить васъ, милостивый государь мой, что идеи мои, выше распространенныя на счетъ *своихъ мѣстъ*, чисто нравственныя.

«Во всякомъ случаѣ честь имѣю пребыть
«вашимъ покорнымъ слугою

«*Я. Голядкинъ*».

ГЛАВА X.

Вообще можно сказать, что происшествія вчерашняго дня до основанія потрясли господина Голядкина. Почивалъ нашъ герой весьма нехорошо, т. е. никакъ не могъ даже на пять минутъ заснуть совершенно: словно проказникъ какой нибудь насыпалъ ему рѣзаной щетины въ постель. Всю ночь провелъ онъ въ какомъ-то полуснѣ, полубдѣніи, переворачиваясь со стороны на сторону, съ боку на бокъ, охая, кряхтя, на минутку засыпая, черезъ минутку опять просыпаясь, и все это сопровождалось какой-то странной тоской, неясными воспоминаніями, безобразными видѣніями, — однимъ словомъ всѣмъ, что̀ только можно найдти непріятнаго... То появлялась передъ нимъ, въ какомъ-то странномъ, загадочномъ полусвѣтѣ, фигура Андрея Филипповича, — сухая фигура, сердитая фигура, съ сухимъ жесткимъ взглядомъ и съ черство-учтивой побранкой... И только что господинъ Голядкинъ начиналъ было подходить къ Андрею Филипповичу, чтобъ передъ нимъ, какимъ нибудь образомъ, такъ или этакъ, оправдаться и доказать ему, что онъ вовсе не таковъ, какъ его враги расписали, что онъ вотъ такой-то, да сякой-то, и даже обладаетъ, сверхъ обыкновенныхъ, врожденныхъ качествъ своихъ, вотъ тѣмъ-то и тѣмъ-то; — но, какъ тутъ, и являлось извѣстное своимъ неблагопристойнымъ направленіемъ лицо, и какимъ нибудь самымъ возмущающимъ душу средствомъ сразу разрушало всѣ предначинанія господина Голядкина, тутъ-же, почти на гла-

захъ-же господина Голядкина, очерняло досконально его репутацію, втаптывало въ грязь его амбицію, и потомъ немедленно занимало мѣсто его на службѣ и въ обществѣ. То чесалась голова господина Голядкина отъ какого нибудь щелчка, недавно благопріобрѣтеннаго и униженно принятаго, полученнаго или въ общежитіи, или, какъ нибудь тамъ, по обязанности, на который щелчокъ протестовать было трудно... И между тѣмъ какъ господинъ Голядкинъ начиналъ было ломать себѣ голову надъ тѣмъ, что почему вотъ именно трудно протестовать хоть бы на такой-то щелчокъ, — между тѣмъ эта-же мысль о щелчкѣ незамѣтно переливалась въ какую нибудь другую форму, — въ форму какой нибудь извѣстной маленькой или довольно значительной подлости, видѣнной, слышанной или самимъ недавно исполненной, — и часто исполненной-то даже и не на подломъ основаніи, даже и не изъ подлаго побужденія какого нибудь, а такъ, — иногда, напримѣръ, по случаю, — изъ деликатности; другой разъ изъ ради совершенной своей беззащитности, ну и, наконецъ, потому... потому, однимъ словомъ, ужь это господинъ Голядкинъ зналъ хорошо: *почему!* Тутъ господинъ Голядкинъ краснѣлъ сквозь сонъ, и, подавляя краску свою, бормоталъ про себя, что, дескать, здѣсь, напримѣръ, можно-бы показать твердость характера, значительную-бы можно было показать въ этомъ случаѣ твердость характера... а потомъ и заключалъ, что, «дескать, что-же твердость характера!.. Дескать, зачѣмъ ее теперь понимать!..» Но всего болѣе бѣсило и раздражало господина Голядкина то, что какъ тутъ, и непремѣнно въ такую минуту, звали-ль, не звали-ль его, являлось извѣстное безобразіемъ и пасквильностью своего направленія лицо, и тоже, не смотря на то, что уже, кажется, дѣло было извѣстное — тоже тудаже бормотало съ неблагопристойной улыбочкой, что «дескать, что ужь тутъ твердость характера! Какая, дескать, у насъ съ тобой, Яковъ Петровичъ, будетъ твердость характера!..» То грезилось господину Голядкину, что находится онъ въ одной прекрасной компаніи, извѣстной своимъ остроуміемъ и благороднымъ тономъ всѣхъ лицъ, ее составляющихъ; что господинъ Голядкинъ, въ свою очередь, отличился въ отношеніи любезности и остроумія, что всѣ его полюбили, даже нѣкоторые изъ враговъ его, бывшихъ тутъ-же, его полюбили, что̀ очень пріятно было господину Голядкину; что всѣ ему отдали первенство, и что наконецъ, самъ господинъ Голядкинъ съ пріятностью подслушалъ, какъ хозяинъ, тутъ-же, отведя въ сторону кой-кого изъ гостей, по-

хвалилъ господина Голядкина... и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, опять явилось извѣстное своею неблагонамѣренностью и звѣрскими побужденіями лицо, въ видѣ господина Голядкина-младшаго, и тутъ-же, сразу, въ одинъ мигъ, однимъ появленіемъ своимъ, Голядкинъ-младшій разрушалъ все торжество и всю славу господина Голядкина-старшаго, затмилъ собою Голядкина-старшаго, втопталъ въ грязь Голядкина-старшаго, и, наконецъ, ясно доказалъ, что Голядкинъ-старшій, и вмѣстѣ съ тѣмъ настоящій, — вовсе не настоящій, а поддѣльный, а что онъ настоящій, что, наконецъ, Голядкинъ-старшій вовсе не то чѣмъ онъ кажется, а такой-то и сякой-то, и, слѣдовательно, не долженъ и не имѣетъ права принадлежать къ обществу людей благонамѣренныхъ и хорошаго тона. И все это до того быстро сдѣлалось, что господинъ Голядкинъ-старшій и рта раскрыть не успѣлъ, какъ уже всѣ и душою и тѣломъ предались безобразному и поддѣльному господину Голядкину и съ глубочайшимъ презрѣніемъ отвергли его, настоящаго и невиннаго господина Голядкина. Не оставалось лица, котораго мнѣнія не передѣлалъ-бы въ одинъ мигъ безобразный господинъ Голядкинъ по своему. Не оставалось лица, даже самаго незначительнаго изъ цѣлой компаніи, къ которому-бы не подлизался безполезный и фальшивый господинъ Голядкинъ по своему, самымъ сладчайшимъ манеромъ, къ которому-бы не подбился по своему, передъ которымъ-бы онъ не покурилъ, по своему обыкновенію, чѣмъ нибудь самымъ пріятнымъ и сладкимъ, что обкуриваемое лицо только нюхало и чихало до слезъ, въ знакъ высочайшаго удовольствія. И, главное, все это дѣлалось мигомъ: быстрота хода подозрительнаго и безполезнаго господина Голядкина была удивительная! Чуть успѣетъ, напримѣръ, полизаться съ однимъ, заслужить благорасположеніе его, — и глазкомъ не мигнешь, какъ ужь онъ и другаго. Полижется-полижется съ другимъ въ тихомолочку, сорветъ улыбочку благоволенія, лягнетъ своей коротенькой, кругленькой, довольно, впрочемъ, дубоватенькой ножкой, и вотъ ужь и съ третьимъ, и куртизанитъ ужь третьяго, съ нимъ тоже лижется попріятельски; рта раскрыть не успѣваешь, въ изумленіе не успѣешь прійдти, а ужь онъ у четвертаго, и съ четвертымъ уже на тѣхъ-же кондиціяхъ, — ужасъ: колдовство да и только! И всѣ рады ему, и всѣ любятъ его, и всѣ превозносятъ его, и всѣ провозглашаютъ хоромъ, что любезность и сатирическое ума его направленіе не въ примѣръ лучше любезности и сатирическаго направленія настоящаго господина Го-

лядкина, и стыдятъ этимъ настоящаго и невиннаго господина Голядкина, и отвергаютъ правдоподобнаго господина Голядкина, и уже гонятъ въ толчки благонамѣреннаго господина Голядкина, и ужь сыплютъ щелчки въ извѣстнаго любовію къ ближнему настоящаго господина Голядкина!.. Въ тоскѣ, въ ужасѣ, въ бѣшенствѣ выбѣжалъ многострадальный господинъ Голядкинъ на улицу, и сталъ нанимать извощика, чтобъ прямо летѣть къ его превосходительству, а если не такъ, то ужь, по крайней мѣрѣ, къ Андрею Филипповичу, но — ужасъ! извощики никакъ не соглашались везти господина Голядкина, «дескать, баринъ нельзя везти двухъ совершенно подобныхъ; дескать, ваше благородіе, хорошій человѣкъ, наровитъ жить по честности, а не какъ нибудь, и вдвойнѣ никогда не бываетъ». Въ изступленіи стыда, оглядывался кругомъ совершенно честный господинъ Голядкинъ, и дѣйствительно увѣрялся, самъ, своими глазами, что извощики и стакнувшійся съ ними Петрушка всѣ въ своемъ правѣ; ибо развращенный господинъ Голядкинъ находился дѣйствительно тутъ-же, возлѣ него, не въ дальнемъ отъ него разстояніи, и, слѣдуя подлымъ обычаямъ нравовъ своихъ, и тутъ, и въ этомъ критическомъ случаѣ, непремѣнно готовился сдѣлать что-то весьма неприличное, и нисколько не обличавшее особеннаго благородства характера, получаемаго обыкновенно при воспитаніи,—благородства, которымъ такъ величался при всякомъ удобномъ случаѣ отвратительный господинъ Голядкинъ второй. Не помня себя, въ стыдѣ и въ отчаяніи, бросился погибшій и совершенно справедливый господинъ Голядкинъ—куда глаза глядятъ, на волю судьбы, куда-бы не вынесло; но съ каждымъ шагомъ его, съ каждымъ ударомъ ноги въ гранитъ тротуара, выскакивало, какъ будто изъ подъ земли, по такому-точно—совершенно подобному и отвратительному развращенностію сердца—господину Голядкину. И всѣ эти совершенно подобные пускались тотчасъ-же по появленіи своемъ бѣжать одинъ за другимъ, и длинною цѣпью, какъ вереница гусей, тянулись и ковыляли за господиномъ Голядкинымъ-старшимъ, такъ что некуда было убѣжать отъ совершенно подобныхъ, — такъ что духъ захватывало всячески достойному сожалѣнія господину Голядкину отъ ужаса, такъ что народилась, наконецъ, страшная бездна совершенно подобныхъ,—такъ что вся столица запрудилась, наконецъ, совершено подобными, и полицейскій служитель, видя таковое нарушеніе приличія, принужденъ былъ взять этихъ всѣхъ совершенно подобныхъ за шиворотъ и посадить

въ случившуюся у него подъ бокомъ будку... Цѣпенѣя и леденѣя отъ ужаса, просыпался герой нашъ, и цѣпенѣя и леденѣя отъ ужаса, чувствовалъ, что и на яву едва-ли веселѣе проводится время... Тяжело, мучительно было... Тоска подходила такая, какъ будто кто сердце выѣдалъ изъ груди...

Наконецъ, господинъ Голядкинъ не могъ долѣе вытерпѣть. «Не будетъ-же этого!» закричалъ онъ, съ рѣшимостью приподымаясь съ постели, и вслѣдъ за этимъ восклицаніемъ совершенно очнулся.

День, повидимому, уже давно начался. Въ комнатѣ было какъ-то не по обыкновенному свѣтло; солнечные лучи густо процѣживались сквозь заиндевѣвшія отъ мороза стекла и обильно разсыпались по комнатѣ, что не мало удивило господина Голядкина; ибо развѣ только въ полдень заглядывало къ нему солнце своимъ чередомъ; прежде-же такихъ исключеній въ теченіи небеснаго свѣтила, сколько, по крайней мѣрѣ, господинъ Голядкинъ самъ могъ припомнить, почти никогда не бывало. Только что успѣлъ подивиться на это герой нашъ, какъ зажужжали за перегородкой стѣнные часы, и такимъ образомъ совершенно приготовились бить. «А вотъ!» подумалъ господинъ Голядкинъ, и съ тоскливымъ ожиданіемъ приготовился слушать... Но, къ совершенному и окончательному пораженію господина Голядкина, часы его попатужились и ударили всего одинъ разъ. «Это что за исторія?» вскричалъ нашъ герой, выскакивая совсѣмъ изъ постели. Такъ какъ былъ, не вѣря ушамъ своимъ, бросился онъ за перегородку. На часахъ былъ дѣйствительно часъ. Господинъ Голядкинъ взглянулъ на кровать Петрушки; но въ комнатѣ даже не пахло Петрушкой: постель его, повидимому, давно уже была прибрана и оставлена; сапоговъ его тоже нигдѣ не было,—несомнѣнный признакъ, что Петрушки дѣйствительно не было дома. Господинъ Голядкинъ бросился къ дверямъ: двери заперты. «Да гдѣ-же Петрушка?» продолжалъ онъ шепотомъ, весь въ страшномъ волненіи и чувствуя довольно значительную дрожь во всѣхъ членахъ... Вдругъ одна мысль пронеслась въ головѣ его... Господинъ Голядкинъ бросился къ столу своему, оглядѣлъ его, обшарилъ кругомъ, — такъ и есть: вчерашняго письма его къ Вахрамѣеву не было... Петрушки за перегородкой тоже совсѣмъ не было; на стѣнныхъ часахъ былъ часъ, а во вчерашнемъ письмѣ Вахрамѣева были введены какіе-то новые пункты, весьма, впрочемъ, съ перваго взгляда неясные, пункты, но теперь совершенно объяснившіеся. Наконецъ

и Петрушка — очевидно, подкупленный Петрушка! Да, да, это такъ!

«Такъ это такъ-то главный узелъ завязывался!» вскричалъ господинъ Голядкинъ, ударивъ себя по лбу, и все болѣе и болѣе открывая глаза; «такъ это въ гнѣздѣ этой скаредной нѣмки кроется теперь вся главная нечистая сила! Такъ это, стало быть, она только стратегическую диверсію дѣлала, указывая мнѣ на Измайловскій мостъ, — глаза отводила, смущала меня (негодная вѣдьма!) и вотъ такимъ-то образомъ подкопы вела!!! Да, это такъ! Если только съ этой стороны на дѣло взглянуть, это, все это и будетъ именно такъ! И появленіе мерзавца тоже теперь вполнѣ объясняется: это все одно къ одному. Они его давно ужь держали, приготовляли и на черный день припасали. Вѣдь вотъ оно какъ теперь, какъ оказалось-то все! Какъ разрѣшилось-то все? А ну, ничего! Еще не потеряно время!..» Тутъ господинъ Голядкинъ съ ужасомъ вспомнилъ, что уже второй часъ пополудни. «Что если они теперь и успѣли...» Стонъ вырвался у него изъ груди... «Да нѣтъ-же, врутъ, не успѣли,— посмотримъ»... Кое какъ онъ одѣлся, схватилъ бумагу, перо и настрочилъ слѣдующее посланіе:

«Милостивый государь мой,

«Яковъ Петровичъ!

«Либо вы, либо я, а вмѣстѣ намъ невозможно! И потому объявляю вамъ, что странное, смѣшное и, вмѣстѣ невозможное желаніе ваше—казаться моимъ близнецомъ и выдавать себя за таковаго, послужитъ ни къ чему иному, какъ къ совершенному вашему безчестію и пораженію. И потому прошу васъ, ради собственной-же выгоды вашей, посторониться и дать путь людямъ истинно благороднымъ и съ цѣлями благонамѣренными. Въ противномъ-же случаѣ, готовъ рѣшиться даже на самыя крайнія мѣры. Кладу перо и ожидаю... Впрочемъ, пребываю готовымъ на услуги и—на пистолеты.

«*Я. Голядкинъ*».

Энергически потеръ себѣ руки герой нашъ, когда кончилъ записку. Затѣмъ, натянувъ шинель и надѣвъ шляпу, отперъ другимъ, запаснымъ ключемъ квартиру и пустился въ департаментъ. До департаманта онъ дошелъ, но войдти не рѣшился; дѣйствительно, было уже слишкомъ поздно; половину третьяго показывали часы господина Голядкина. Вдругъ одно, повидимому, весьма маловажное обстоятельство разрѣшило нѣкоторыя

сомнѣнія господина Голядкина: изъ-за угла департаментскаго зданія вдругъ показалась запыхавшаяся и раскраснѣвшаяся фигурка, и украдкой, крысиной походкой шмыгнула на крыльцо, и потомъ тотчасъ-же въ сѣни. Это былъ писарь Остафьевъ, человѣкъ весьма знакомый господину Голядкину, человѣкъ отчасти нужный и за гривенникъ готовый на все. Зная нѣжную струну Остафьева, и смекнувъ, что онъ, послѣ отлучки за самонужнѣйшей надобностью, вѣроятно, сталъ еще болѣе прежняго падокъ на гривенники, герой нашъ рѣшился ихъ не жалѣть, и тотчасъ-же шмыгнулъ на крыльцо, а потомъ и въ сѣни вслѣдъ за Остафьевымъ, кликнулъ его, и съ таинственнымъ видомъ пригласилъ въ сторонку, въ укромный уголокъ, за огромную желѣзную печку. Заведя его туда, герой нашъ началъ разспрашивать.

— Ну, что, мой другъ, какъ этакъ тамъ того... ты меня понимаешь?..

— Слушаю, ваше благородіе, здравія желаю вашему благородію.

— Хорошо, мой другъ, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый другъ. Ну, вотъ видишь, какъ-же, мой другъ?

— Что изволите спрашивать-съ? Тутъ Остафьевъ попридержалъ немного рукою свой нечаянно раскрывшійся ротъ.

— Я, вотъ видишь-ли, мой другъ, я того... а ты не думай чего нибудь... Ну что, Андрей Филипповичъ здѣсь?..

— Здѣсь-съ.

— И чиновники здѣсь?

— И чиновники тоже-съ, какъ слѣдуетъ-съ.

— И его превосходительство тоже?

— И его превосходительство тоже-съ. Тутъ писарь еще, другой разъ, попридержалъ свой опять раскрывшійся ротъ и какъ-то любопытно и странно посмотрѣлъ на господина Голядкина. Герою нашему, по крайней мѣрѣ, такъ показалось.

— И ничего особеннаго такого нѣту, мой другъ?

— Нѣтъ-съ; никакъ нѣтъ-съ.

— Этакъ обо мнѣ, милый другъ, нѣтъ-ли чего нибудь тамъ этакъ чего нибудь только... а? только такъ, мой другъ, понимаешь?

— Нѣтъ-съ, еще ничего не слышно покамѣстъ. Тутъ писарь опять попридержалъ свой ротъ и опять какъ-то странно взглянулъ на господина Голядкина. Дѣло въ томъ, что герой нашъ старался теперь проникнуть въ физіономію Остафьева, про-

честь на ней кое-что, не таится-ли чего нибудь. И дѣйствительно, какъ будто что-то такое таилось; дѣло въ томъ, что Остафьевъ становился все какъ-то грубѣе и суше, и не съ такимъ уже участіемъ, какъ съ начала разговора, входилъ теперь въ интересы господина Голядкина. «Онъ отчасти въ своемъ правѣ», подумалъ господинъ Голядкинъ: «вѣдь что-жь я ему? Онъ, можетъ быть, уже и получилъ съ другой стороны, а потому и отлучился по самонужнѣйшей-то. А вотъ я ему и того»... Господинъ Голядкинъ понялъ, что время гривенниковъ наступило.

— Вотъ тебѣ, милый другъ...

— Чувствительно благодаренъ вашему благородію.

— Еще болѣе дамъ.

— Слушаю, ваше благородіе.

— Теперь, сейчасъ еще болѣе дамъ, и когда дѣло кончится, еще столько-же дамъ. Понимаешь?

Писарь молчалъ, стоялъ въ струнку и неподвижно смотрѣлъ на господина Голядкина.

— Ну, теперь говори: про меня ничего не слышно?..

— Кажется, что еще, покамѣстъ... того-съ... ничего нѣтъ покамѣстъ-съ. Остафьевъ отвѣчалъ съ разстановкой, тоже, какъ и господинъ Голядкинъ, наблюдая немного таинственный видъ, подергивая немного бровями, смотря въ землю, стараясь попасть въ надлежащій тонъ, и, однимъ словомъ, всѣми силами стараясь наработать обѣщанное, потому что данное онъ уже считалъ за собою и окончательно пріобрѣтеннымъ.

— И неизвѣстно ничего?

— Покамѣстъ еще нѣтъ-съ.

— А послушай... того... оно, можетъ быть, будетъ извѣстно?

— Потомъ, разумѣется, можетъ быть, будетъ извѣстно-съ.

— Плохо! подумалъ герой нашъ. Послушай; вотъ тебѣ еще, милый мой.

— Чувствительно благодаренъ вашему благородію.

— Вахрамѣевъ былъ вчера здѣсь?..

— Были-съ.

— А другаго кого нибудь не было-ли!.. Припомни-ка, братецъ?

Писарь порылся съ минутку въ своихъ воспоминаніяхъ, и надлежащаго ничего не припомнилъ

— Нѣтъ-съ, никого другаго не было-съ.

— Гм! —Послѣдовало молчаніе.

— Послушай, братецъ, вотъ тебѣ еще; говори, все, всю подноготную.

— Слушаю-съ. Остафьевъ стоялъ теперь точно шелковый: того надобно было господину Голядкину.

— Объясни мнѣ, братецъ, теперь, на какой онъ ногѣ?

— Ничего-съ, хорошо-съ, отвѣчалъ писарь, во всѣ глаза смотря на господина Голядкина.

— То есть, какъ хорошо?

— То есть такъ-съ. Тутъ Остафьевъ значительно подернулъ бровями. Впрочемъ, онъ рѣшительно становился въ тупикъ и не зналъ, что ему еще говорить. «Плохо!» подумалъ господинъ Голядкинъ.

— Нѣтъ-ли у нихъ дальнѣйшаго чего нибудь съ Вахрамѣевымъ-то?

— Да и все, какъ и прежде-съ.

— Подумай-ка.

— Есть, говорятъ-съ.

— А ну, что-же такое?

Остафьевъ попридержалъ рукою свой ротъ.

— Письма оттудова нѣтъ-ли ко мнѣ?

— А сегодня сторожъ Михѣевъ ходилъ къ Вахрамѣеву на квартиру, туда-съ, къ нѣмкѣ ихней-съ, такъ вотъ я пойду и спрошу, если надобно.

— Сдѣлай одолженіе, братецъ, ради Создателя!.. Я только такъ... Ты, братъ, не думай чего нибудь, а я только такъ. Да разспроси, братецъ, разузнай, не приготовляется-ли что нибудь тамъ на мой счетъ. Онъ-то какъ дѣйствуетъ? Вотъ мнѣ что̀ нужно; вотъ это ты и узнай, милый другъ, а я тебя потомъ и поблагодарю, милый другъ...

— Слушаю-съ, ваше благородіе, а на вашемъ мѣстѣ Иванъ Семенычъ сѣли сегодня-съ.

— Иванъ Семенычъ? А! Да! Не-уже-ли?

— Андрей Филипповичъ указали имъ сѣсть-съ...

— Не-уже-ли? По какому-же случаю? Разузнай это, братецъ; ради Создателя разузнай это, братецъ; разузнай это все,— а я тебя поблагодарю, милый мой; вотъ что мнѣ нужно... А ты не думай чего нибудь, братецъ...

— Слушаю-съ, слушаю-съ, тотчасъ сойду сюда-съ. Да вы, ваше благородіе, развѣ не войдете сегодня?

— Нѣтъ, мой другъ; я только такъ, я вѣдь такъ только, я посмотрѣть только пришелъ, милый другъ, а потомъ я тебя и поблагодарю, милый мой.

— Слушаю-съ. Писарь быстро и усердно побѣжалъ вверхъ по лѣстницѣ, а господинъ Голядкинъ остался одинъ.

«Плохо!» подумалъ онъ. «Эхъ, плохо, плохо! Эхъ дѣльцо-то наше... какъ теперь плоховато! Что̀-бы это значило все? Что именно значили нѣкоторые намеки этого пьяницы, напримѣръ, и чья это штука? А! Я теперь знаю, чья это штука. Это вотъ какая штука. Они вѣрно узнали, да и посадили... Впрочемъ, что-жь,—посадили? Это Андрей Филипповичъ его посадилъ, Ивана-то Семеновича; да, впрочемъ, зачѣмъ-же онъ его посадилъ, и съ какою именно цѣлью посадилъ? Вѣроятно; узнали... Это Вахрамѣевъ работаетъ, то есть не Вахрамѣевъ, онъ глупъ, какъ простое осиновое бревно, Вахрамѣевъ-то, а это они всѣ за него работаютъ, да и шельмеца-то за тѣмъ-же самымъ сюда натравили; а нѣмка нажаловалась, одноглазая! Я всегда подозрѣвалъ, что вся эта интрига не спроста, и что во всей этой бабьей, старушьей сплетнѣ непремѣнно есть что нибудь; тоже самое я и Крестьяну Ивановичу говорилъ, что, дескать, поклялись зарѣзать, въ нравственномъ смыслѣ говоря, человѣка, да и ухватились за Каролину Ивановну. Нѣтъ, тутъ мастера̀ работаютъ видно! Тутъ, сударь мой, работаетъ мастерская рука, а не Вахрамѣевъ. Уже сказано, что глупъ Вахрамѣевъ, а это... я знаю теперь, кто здѣсь за нихъ всѣхъ работаетъ: это шельмецъ работаетъ, самозванецъ работаетъ! На этомъ одномъ онъ и лѣпится, что̀ доказываютъ отчасти и успѣхи его въ высшемъ обществѣ. А дѣйствительно, желательно-бы знать было, на какой онъ ногѣ теперь... что-то онъ тамъ у нихъ?—Только зачѣмъ-же они тамъ взяли Ивана-то Семеновича? На какой имъ чортъ было нужно Ивана Семеновича? Точно нельзя ужь было достать другаго кого. Впрочемъ, кого ни посади, все было-бы тоже самое; а что я только знаю, такъ это то, что онъ, Иванъ-то Семеновичъ, былъ мнѣ давно подозрителенъ, я про него давно замѣчалъ: старикашка такой скверный, гадкій такой,—говорятъ, на проценты даетъ и жидовскіе проценты беретъ. А вѣдь это все медвѣдь мастеритъ. Во все это обстоятельство медвѣдь замѣшался. Началось-то оно такимъ образомъ. У Измайловскаго моста оно началось; вотъ оно какъ началось»... Тутъ господинъ Голядкинъ сморщился, словно лимонъ разгрызъ, вѣроятно, припомнивъ что нибудь весьма непріятное. «Ну, да ничего, впрочемъ!» подумалъ онъ. «А вотъ только, я все про свое. Что-же это Остафьевъ нейдетъ? Вѣроятно, засѣлъ или былъ остановленъ тамъ какъ нибудь. Это вѣдь и хорошо отчасти, что я такъ интригую, и съ своей стороны подкопы веду. Остафьеву только гривенникъ нужно дать, такъ онъ и того... и на моей сторонѣ. Только вотъ дѣло

въ чемъ: точно-ли онъ на моей сторонѣ; можетъ быть, они его тоже съ своей стороны... и съ своей стороны согласясь съ нимъ, интригу ведутъ. Вѣдь разбойникомъ смотритъ, мошенникъ, чистымъ разбойникомъ! Таится, шельмецъ! «Нѣтъ ничего» говоритъ «и чувствительно, дескать, вамъ, ваше благородіе, говоритъ, благодаренъ». Разбойникъ ты этакой!»

Послышался шумъ... господинъ Голядкинъ съежился и прыгнулъ за печку. Кто-то сошелъ съ лѣстницы и вышелъ на улицу. Кто-бы это такъ отправлялся теперь? подумалъ про себя нашъ герой. Черезъ минутку послышались опять чьи-то шаги... Тутъ господинъ Голядкинъ не вытерпѣлъ и высунулъ изъ-за своего бруствера маленькій-маленькій кончикъ носа,—высунулъ и тотчасъ-же осѣкся назадъ, словно кто ему булавкой носъ укололъ. На этотъ разъ проходилъ извѣстно кто, то есть шельмецъ, интригантъ и развратникъ,—проходилъ по обыкновенію, своимъ подленькимъ частымъ шажкомъ, присѣменивая и выкидывая ножками такъ, какъ будто-бы собирался кого-то лягнуть. «Подлецъ!» проговорилъ про себя нашъ герой. Впрочемъ, господинъ Голядкинъ не могъ не замѣтить, что у подлеца подъ мышкой былъ огромный зеленый портфель, принадлежавшій его превосходительству. «Онъ это опять по особому», подумалъ господинъ Голядкинъ, покраснѣвъ и съежившись еще болѣе прежняго отъ досады. Только что господинъ Голядкинъ-младшій промелькнулъ мимо господина Голядкина-старшаго, совсѣмъ не замѣтивъ его, какъ послышались въ третій разъ чьи-то шаги, и на этотъ разъ господинъ Голядкинъ догадался, что шаги были писарскіе. Дѣйствительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула къ нему за печку; фигурка, впрочемъ, была не Остафьева, а другаго писаря, Писаренки по прозванію. Это изумило господина Голядкина. Зачѣмъ-же это онъ другихъ въ секретъ замѣшалъ? подумалъ герой нашъ: экіе варвары! святаго у нихъ ничего не имѣется! «Ну, что, мой другъ?» проговорилъ онъ, обращаясь къ Писаренкѣ: «ты, мой другъ, отъ кого?..»

— Вотъ-съ, по вашему дѣльцу-съ. Ни отъ кого извѣстій покамѣстъ нѣтъ никакихъ-съ. А если будутъ, увѣдомимъ-съ.

— А Остафьевъ?..

— Да ему, ваше благородіе, никакъ нельзя-съ. Его превосходительство уже два раза проходили по отдѣленію, да и мнѣ теперь некогда.

— Спасибо, милый мой, спасибо тебѣ... Только ты мнѣ скажи...

— Ей Богу-же, некогда-съ... Поминутно насъ спрашиваютъ-съ... А вотъ вы извольте здѣсь еще постоять-съ, такъ если будетъ что нибудь относительно вашего дѣльца-съ, такъ мы васъ увѣдомимъ-съ...

— Нѣтъ, ты, мой другъ, ты скажи...

— Позвольте-съ; мнѣ некогда-съ, говорилъ Писаренко, порываясь отъ ухватившаго его за полу господина Голядкина:— право, нельзя-съ. Вы извольте здѣсь еще постоять-съ, такъ мы и увѣдомимъ.

— Сейчасъ, сейчасъ, другъ мой! Сейчасъ, милый другъ! Вотъ что теперь: вотъ письмо, мой другъ; а я тебя поблагодарю, милый мой.

— Слушаю-съ.

— Постарайся отдать, милый мой, господину Голядкину.

— Голядкину?

— Да, мой другъ, господину Голядкину.

— Хорошо-съ; вотъ какъ уберусь, такъ снесу-съ. А вы здѣсь стойте покамѣстъ. Здѣсь никто не увидитъ...

— Нѣтъ, я, мой другъ, ты не думай... я вѣдь здѣсь стою не для того, чтобъ кто нибудь не видѣлъ меня. А я, мой другъ, теперь буду не здѣсь... буду вотъ здѣсь въ переулочкѣ. Кофейная есть здѣсь одна; такъ я тамъ буду ждать, а ты, если случится что̀, и увѣдомляй меня обо всемъ, понимаешь?

— Хорошо-съ. Пустите только; я понимаю...

— А я тебя поблагодарю, милый мой! кричалъ господинъ Голядкинъ вслѣдъ освободившемуся, наконецъ, Писаренкѣ... Шельмецъ, кажется, грубѣе сталъ послѣ,—подумалъ герой нашъ, украдкой выходя изъ-за печки. Тутъ еще есть крючокъ. Это ясно... Сначала было и того, и сего... Впрочемъ, онъ и дѣйствительно торопился; можетъ быть, дѣла тамъ много. И его превосходительство два раза ходили по отдѣленію... По какому-бы это случаю было?.. Ухъ! да ну, ничего! Оно, впрочемъ, и ничего, можетъ быть; а вотъ мы теперь и посмотримъ...

Тутъ господинъ Голядкинъ отворилъ было дверь и хотѣлъ уже выйдти на улицу, какъ вдругъ, въ это самое мгновеніе, у крыльца загремѣла карета его превосходительства. Не успѣлъ господинъ Голядкинъ опомниться, какъ отворились изнутри дверцы кареты, и сидѣвшій въ ней господинъ выпрыгнулъ на крыльцо. Пріѣхавшій былъ никто иной, какъ тотъ-же господинъ Голядкинъ-младшій, минутъ десять тому назадъ отлучившійся. Господинъ Голядкинъ-старшій вспомнилъ, что квартира директора

была въ двухъ шагахъ. «Это онъ по особому», подумалъ нашъ герой про себя. Между тѣмъ, господинъ Голядкинъ-младшій, захвативъ изъ кареты толстый зеленый портфель и еще какія-то бумаги, приказавъ, наконецъ, что-то кучеру, отворилъ дверь, почти толкнувъ ею господина Голядкина-старшаго, и нарочно не замѣтивъ его, и, слѣдовательно, дѣйствуя такимъ образомъ ему въ пику, пустился скоробѣжкой вверхъ по департаментской лѣстницѣ. «Плохо!» подумалъ господинъ Голядкинъ: «эхъ, дѣльцо-то наше чего прихватило теперь! Ишь его, Господи Богъ мой!» Съ полминутки еще простоялъ нашъ герой неподвижно;— наконецъ, онъ рѣшился. Долго не думая, чувствуя, впрочемъ, сильное трепетаніе сердца и дрожь во всѣхъ членахъ, побѣжалъ онъ вслѣдъ за пріятелемъ своимъ вверхъ по лѣстницѣ. «А! Была не была; что-же мнѣ-то такое? Я сторона въ этомъ дѣлѣ», думалъ онъ, снимая шляпу, шинель и калоши въ передней.

Когда господинъ Голядкинъ вошелъ въ свое отдѣленіе, были уже полныя сумерки. Ни Андрея Филипповича, ни Антона Антоновича не было въ комнатѣ. Оба они находились въ директорскомъ кабинетѣ съ докладами; директоръ-же, какъ по слухамъ извѣстно было, въ свою очередь спѣшилъ къ его высокопревосходительству. Вслѣдствіе таковыхъ обстоятельствъ, да еще потому, что и сумерки сюда подмѣшались и кончилось время присутствія, нѣкоторые изъ чиновниковъ, преимущественно-же молодежь, въ ту самую минуту, когда вошелъ нашъ герой, занимались нѣкотораго рода бездѣйствіемъ, сходились, разговаривали, толковали, смѣялись, и даже кое-кто изъ самыхъ юнѣйшихъ, т. е. изъ самыхъ безчиновныхъ чиновниковъ, въ тихомолочку и подъ общій шумокъ составили орлянку, въ углу, у окошка. Зная приличіе и чувствуя въ настоящее время какую-то особенную надобность пріобрѣсть и найдти, господинъ Голядкинъ немедленно подошелъ кой къ кому, съ кѣмъ ладилъ получше, чтобъ пожелать добраго дня, и т. д. Но какъ-то странно отвѣтили сослуживцы на привѣтствіе господина Голядкина. Непріятно былъ онъ пораженъ какою-то всеобщею холодностью, сухостью даже, можно сказать, какою-то строгостью пріема. Руки ему не далъ никто. Иные просто сказали «здравствуйте» и прочь отошли; другіе лишь головою кивнули, кое-кто просто отвернулся и показалъ, что ничего не замѣтилъ, наконецъ, нѣкоторые,—и что̀ было всего обиднѣе господину Голядкину,—нѣкоторые изъ самой безчиновной молодежи, ребята, которые, какъ справедливо выразился о нихъ господинъ Голядкинъ, умѣютъ лишь въ орлянку поиграть

при случаѣ, да гдѣ нибудь потаскаться,—мало по малу окружили господина Голядкина, сгруппировались около него и почти заперли ему выходъ. Всѣ они смотрѣли на него съ какимъ-то оскорбительнымъ любопытствомъ.

Знакъ былъ дурной. Господинъ Голядкинъ чувствовалъ это и благоразумно приготовился съ своей стороны ничего не замѣтить. Вдругъ одно совершенно неожиданное обстоятельство совсѣмъ, какъ говорится, доканало и уничтожило господина Голядкина.

Въ кучкѣ молодыхъ, окружавшихъ его сослуживцевъ, вдругъ, и словно нарочно, въ самую тоскливую минуту для господина Голядкина, появился господинъ Голядкинъ-младшій, веселый по всегдашнему, съ улыбочкой по всегдашнему, вертлявый тоже по всегдашнему, однимъ словомъ: шалунъ, прыгунъ, лизунъ, хохотунъ, легокъ на язычокъ и на ножку, какъ и всегда, какъ прежде, точно такъ, какъ и вчера, напримѣръ, въ одну весьма непріятную минутку для господина Голядкина-старшаго. Осклабившись, вертясь, сѣменя, съ улыбочкой, которая такъ и говорила всѣмъ: «добраго вечера», втерся онъ въ кучку чиновниковъ, тому пожалъ руку, этого по плечу потрепалъ, третьяго обнялъ слегка, четвертому объяснилъ, по какому именно случаю былъ его превосходительствомъ употребленъ, куда ѣздилъ, что сдѣлалъ, что съ собою привезъ; пятаго и, вѣроятно, своего лучшаго друга, чмокнулъ въ самыя губки,—однимъ словомъ, все происходило точь въ точь, какъ во снѣ господина Голядкина-старшаго. Напрыгавшись до сыта, покончивъ со всякимъ по своему, обдѣлавъ ихъ всѣхъ въ свою пользу, нужно-ль, не нужно-ли было; нализавшись всласть съ ними со всѣми, господинъ Голядкинъ-младшій вдругъ, и вѣроятно ошибкой, еще не успѣвъ замѣтить до сихъ поръ своего старѣйшаго друга, протянулъ руку и господину Голядкину-старшему. Вѣроятно, тоже ошибкой, хотя, впрочемъ, и успѣвъ совершенно замѣтить неблагороднаго господина Голядкина-младшаго, тотчасъ-же, жадно схватилъ нашъ герой простертую ему такъ неожиданно руку и пожалъ ее самымъ крѣпкимъ, самымъ дружескимъ образомъ, пожалъ ее съ какимъ-то страннымъ, совсѣмъ неожиданнымъ внутреннимъ движеніемъ, съ какимъ-то слезящимся чувствомъ. Былъ-ли обманутъ герой нашъ первымъ движеніемъ неблагопристойнаго врага своего, или такъ, не нашелся, или почувствовалъ и созналъ въ глубинѣ души своей всю степень своей беззащитности,—трудно сказать. Фактъ тотъ, что господинъ Голядкинъ-старшій, въ здра-

вомъ видѣ, по собственной волѣ своей, и при свидѣтеляхъ, торжественно пожалъ руку того, кого называлъ смертельнымъ врагомъ своимъ.—Но каково-же было изумленіе, изступленіе и бѣшенство, каковъ-же былъ ужасъ и стыдъ господина Голядкина-старшаго, когда непріятель и смертельный врагъ его, неблагородный господинъ Голядкинъ-младшій, замѣтивъ ошибку преслѣдуемаго, невиннаго и вѣроломно-обманутаго имъ человѣка, безъ всякаго стыда, безъ чувствъ, безъ состраданія и совѣсти, вдругъ съ нестерпимымъ нахальствомъ и съ грубостію вырвалъ свою руку изъ руки господина Голядкина-старшаго; мало того,—стряхнулъ свою руку, какъ будто замаралъ ее черезъ то въ чемъ-то совсѣмъ нехорошемъ; мало того,—плюнулъ на сторону, сопровождая все это самымъ оскорбительнымъ жестомъ; мало того,—вынулъ платокъ свой и тутъ же, самымъ безчиннѣйшимъ образомъ, вытеръ имъ всѣ пальцы свои, побывавшіе на минутку въ рукѣ господина Голядкина-старшаго. Дѣйствуя такимъ образомъ, господинъ Голядкинъ-младшій, по подленькому обыкновенію своему, нарочно осматривался кругомъ, дѣлалъ такъ, чтобъ всѣ видѣли его поведеніе, заглядывалъ всѣмъ въ глаза, и очевидно старался о внушеніи всѣмъ всего самаго неблагопріятнаго относительно господина Голядкина. Казалось, что поведеніе отвратительнаго господина Голядкина-младшаго возбудило всеобщее негодованіе окружавшихъ чиновниковъ; даже вѣтренная молодежь показала свое неудовольствіе. Кругомъ поднялся ропотъ и говоръ. Всеобщее движеніе не могло миновать ушей господина Голядкина-старшаго; но вдругъ,—кстати подоспѣвшая шуточка, накипѣвшая, между прочимъ, въ устахъ господина Голядкина-младшаго, разбила, уничтожила послѣднія надежды героя нашего, и наклонила балансъ опять въ пользу смертельнаго и безполезнаго врага его.

— Это нашъ русскій Фоблазъ, господа; позвольте вамъ рекомендовать молодаго Фоблаза, запищалъ господинъ Голядкинъ-младшій, съ свойственною ему наглостью сѣменя и вьюня межъ чиновниками, и указывая имъ на оцѣпенѣвшаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, настоящаго господина Голядкина. «Поцалуемся душка!» продолжалъ онъ съ нестерпимою фамильярностью, подвигаясь къ предательски оскорбленному имъ человѣку. Шуточка безполезнаго господина Голядкина-младшаго, кажется, нашла отголосокъ гдѣ слѣдовало, тѣмъ болѣе, что въ ней заключался коварный намекъ на одно обстоятельство, повидимому, уже гласное и извѣстное всѣмъ. Герой нашъ тяжко почувствовалъ руку

враговъ на плечахъ своихъ. Впрочемъ, онъ уже рѣшился. Съ пылающимъ взоромъ, съ блѣднымъ лицомъ, съ неподвижной улыбкой выбрался онъ кое-какъ изъ толпы, и неровными, учащенными шагами направилъ свой путь прямо къ кабинету его превосходительства. Въ предпослѣдней комнатѣ встрѣтился съ нимъ только что выходившій отъ его превосходительства Андрей Филипповичъ, и хотя тутъ-же въ комнатѣ было порядочно всякихъ другихъ, совершенно постороннихъ въ настоящую минуту для господина Голядкина лицъ, но герой нашъ и вниманія не хотѣлъ обратить на подобное обстоятельство. Прямо, рѣшительно, смѣло, почти самъ себѣ удивляясь и внутренно себя за смѣлость похваливая, абордировалъ онъ, не теряя времени, Андрея Филипповича, порядочно изумленнаго такимъ нечаяннымъ нападеніемъ.

— А!.. Что вы... что вамъ угодно? спросилъ начальникъ отдѣленія, не слушая запнувшагося на чемъ-то господина Голядкина.

— Андрей Филипповичъ, я... могу-ли я, Андрей Филипповичъ, имѣть теперь, тотчасъ-же и глазъ на глазъ, разговоръ съ его превосходительствомъ? рѣчисто и отчетливо проговорилъ нашъ герой, устремивъ самый рѣшительный взглядъ на Андрея Филипповича.

— Что-съ? Конечно, нѣтъ-съ. Андрей Филипповичъ съ ногъ до головы обмѣрилъ взглядомъ своимъ господина Голядкина.

— Я, Андрей Филипповичъ, все это къ тому говорю, что удивляюсь, какъ никто здѣсь не обличитъ самозванца и подлеца.

— Что-о-съ?

— Подлеца, Андрей Филипповичъ.

— О комъ-же это угодно такимъ образомъ относиться?

— Объ извѣстномъ лицѣ, Андрей Филипповичъ. Я, Андрей Филипповичъ, на извѣстное лицо намекаю; я въ своемъ правѣ... Я думаю, Андрей Филипповичъ, что начальство должно было бы поощрять подобныя движенія, прибавилъ господинъ Голядкинъ, очевидно не помня себя.—Андрей Филипповичъ... вы вѣроятно сами видите, Андрей Филипповичъ, что это благородное движеніе и всяческую мою благонамѣренность означаетъ, — принять начальника за отца, Андрей Филипповичъ, принимаю, дескать, благодѣтельное начальство за отца, и слѣпо ввѣряю судьбу свою. Такъ и такъ, дескать... вотъ какъ... Тутъ голосъ господина Голядкина задрожалъ, лицо его раскраснѣлось, и двѣ слезы набѣжали на обѣихъ рѣсницахъ его.

Андрей Филипповичъ, слушая господина Голядкина, до того удивился, что какъ-то невольно отшатнулся шага на два назадъ. Потомъ съ безпокойствомъ осмотрѣлся кругомъ... Трудно сказать, чѣмъ-бы кончилось дѣло... Но вдругъ дверь изъ кабинета его превосходительства отворилась, и онъ самъ вышелъ, въ сопровожденіи нѣкоторыхъ чиновниковъ. За нимъ потянулись всѣ, кто ни былъ въ комнатѣ. Его превосходительство подозвалъ Андрея Филипповича и пошелъ съ нимъ рядомъ, заведя разговоръ о какихъ-то дѣлахъ. Когда всѣ тронулись и пошли вонъ изъ комнаты, опомнился и господинъ Голядкинъ. Присмирѣвъ, пріютился онъ подъ крылышко Антона Антоновича Сѣточкина, который сзади всѣхъ ковылялъ въ свою очередь, и, какъ показалось господину Голядкину, съ самымъ строгимъ и озабоченнымъ видомъ. «Провралcя я и тутъ; нагадилъ и тутъ», подумалъ онъ про себя: «да ну, ничего. Надѣюсь, что, по крайней мѣрѣ, вы, Антонъ Антоновичъ, согласитесь прослушать меня и вникнуть въ мои обстоятельства», проговорилъ онъ тихо, и еще немного дрожащимъ отъ волненія голосомъ. «Отверженный всѣми, обращаюсь я къ вамъ. Недоумѣваю до сихъ поръ, что значили слова Андрея Филипповича, Антонъ Антоновичъ. Объясните мнѣ ихъ, если можно»...

— Своевременно все объяснится-съ, строго и съ разстановкою отвѣчалъ Антонъ Антоновичъ и, какъ показалось господину Голядкину, съ такимъ видомъ, который ясно давалъ знать, что Антонъ Антоновичъ вовсе не желаетъ продолжать разговоръ.— Узнаете въ скоромъ времени все-съ. Сегодня-же форменно обо всемъ извѣститесь.

— Что-же такое форменно, Антонъ Антоновичъ? Почему-же такъ именно форменно-съ? робко спросилъ нашъ герой.

— Не намъ съ вами разсуждать, Яковъ Петровичъ, какъ начальство рѣшаетъ.

— Почему-же начальство, Антонъ Антоновичъ, проговорилъ господинъ Голядкинъ, оробѣвъ еще болѣе: — почему-же начальство? Я не вижу причины, почему-же тутъ нужно безпокоить начальство, Антонъ Антоновичъ... Вы, можетъ быть, что нибудь относительно вчерашняго хотите сказать, Антонъ Антоновичъ?

— Да нѣтъ-съ, не вчерашнее-съ; тутъ кое-что другое хромаетъ-съ у васъ.

— Что-же хромаетъ, Антонъ Антоновичъ? Мнѣ кажется, Антонъ Антоновичъ, что у меня ничего не хромаетъ.

— А хитрить-то съ кѣмъ собирались? рѣзко пересѣкъ Ан-

тонъ Антоновичъ совершенно оторопѣвшаго господина Голядкина. Господинъ Голядкинъ вздрогнулъ и поблѣднѣлъ какъ платокъ.

— Конечно, Антонъ Антоновичъ, проговорилъ онъ едва слышнымъ голосомъ: — если внимать голосу клеветы и слушать враговъ нашихъ, не принявъ оправданія съ другой стороны, то, конечно... конечно, Антонъ Антоновичъ, тогда можно и пострадать, Антонъ Антоновичъ, безвинно и ни за что пострадать.

— То-то-съ; а неблагопристойный поступокъ вашъ во вредъ репутаціи благородной дѣвицы того добродѣтельнаго, почтеннаго и извѣстнаго семейства, которое вамъ благодѣтельствовало?

— Какой-же это поступокъ, Антонъ Антоновичъ?

— То-то-съ. А относительно другой дѣвицы, хотя бѣдной, но зато честнаго иностраннаго происхожденія, похвальнаго поступка своего тоже знаете-съ?

— Позвольте, Антонъ Антоновичъ... благоволите, Антонъ Антоновичъ, выслушать...

— А вѣроломный поступокъ вашъ и клевета на другое лицо—обвиненіе другаго лица въ томъ, въ чемъ сами грѣшка прихватили? А? Это какъ называется?

— Я, Антонъ Антоновичъ, не выгонялъ его, проговорилъ затрепетавъ нашъ герой:—и Петрушку, то есть человѣка моего, подобному ничему не училъ-съ... Онъ ѣлъ мой хлѣбъ, Антонъ Антоновичъ; онъ пользовался гостепріимствомъ моимъ, прибавилъ выразительно и съ глубокимъ чувствомъ герой нашъ, такъ что подбородокъ его запрыгалъ немножко и слезы готовы были опять навернуться.

— Это вы, Яковъ Петровичъ, только такъ говорите, что онъ хлѣбъ-то вашъ ѣлъ, отвѣчалъ осклабляясь Антонъ Антоновичъ, и въ голосѣ его было слышно лукавство, такъ что по сердцу скребнуло у господина Голядкина.

— Позвольте еще васъ, Антонъ Антоновичъ, нижайше спросить: извѣстны-ли обо всемъ этомъ дѣлѣ его превосходительство?

— Какъ-же-съ! Впрочемъ, вы теперь пустите меня-съ. Мнѣ съ вами тутъ некогда... Сегодня-же обо всемъ узнаете, что вамъ слѣдуетъ знать-съ.

— Позвольте, ради Бога, еще на минутку, Антонъ Антоновичъ...

— Послѣ разскажете-съ...

— Нѣтъ-съ, Антонъ Антоновичъ; я-съ, видите-съ, прислушайте только, Антонъ Антоновичъ... Я совсѣмъ не вольнодум-

ство, Антонъ Антоновичъ; я бѣгу вольнодумства; я совершенно готовъ съ своей стороны, и даже пропускалъ ту идею...

— Хорошо-съ, хорошо-съ. Я ужъ слышалъ-съ...

— Нѣтъ-съ, этого вы не слыхали, Антонъ Антоновичъ. Это другое, Антонъ Антоновичъ, это хорошо, право хорошо, и пріятно слышать... Я пропускалъ, какъ выше объяснилъ, ту идею, Антонъ Антоновичъ, что вотъ промыслъ Божій создалъ двухъ совершенно подобныхъ, а благодѣтельное начальство, видя промыслъ Божій, пріютили двухъ близнецовъ-съ. Это хорошо, Антонъ Антоновичъ. Вы видите, что это очень хорошо, Антонъ Антоновичъ, и что я далекъ вольнодумства. Принимаю благодѣтельное начальство за отца. Такъ и такъ, дескать, благодѣтельное начальство, а вы того... дескать... молодому человѣку нужно служить... Поддержите меня, Антонъ Антоновичъ, заступитесь за меня, Антонъ Антоновичъ... Я ничего-съ... Антонъ Антоновичъ, ради Бога, еще одно словечко... Антонъ Антоновичъ...

Но уже Антонъ Антоновичъ былъ далеко отъ господина Голядкина... Герой-же нашъ не зналъ, гдѣ стоялъ, что̀ слышалъ, что̀ дѣлалъ, что̀ съ нимъ сдѣлалось, и что̀ еще будутъ дѣлать съ нимъ—такъ смутило его и потрясло все имъ слышанное и все съ нимъ случившееся.

Умоляющимъ взоромъ отыскивалъ онъ въ толпѣ чиновниковъ Антона Антоновича, чтобъ еще болѣе оправдаться въ глазахъ его и сказать ему что нибудь крайне благонамѣренное и весьма благородное и пріятное относительно себя самого... Впрочемъ, мало по малу, новый свѣтъ начиналъ пробиваться сквозь смущеніе господина Голядкина, новый, ужасный свѣтъ, озарившій передъ нимъ вдругъ, разомъ, цѣлую перспективу совершенно невѣдомыхъ доселѣ и даже нисколько не подозрѣваемыхъ обстоятельствъ... Въ эту минуту кто-то толкнулъ совершенно сбившагося героя нашего подъ бокъ. Онъ оглянулся. Передъ нимъ стоялъ Писаренко.

— Письмо-съ, ваше благородіе.

— А!.. Ты ужъ сходилъ, милый мой?

— Нѣтъ, это еще утромъ въ десять часовъ сюда принеслисъ. Сергѣй Михѣевъ, сторожъ, принесъ-съ съ квартиры губернскаго секретаря Вахрамѣева.

— Хорошо, мой другъ, хорошо, а я тебя поблагодарю, милый мой.

Сказавъ это, господинъ Голядкинъ спряталъ письмо въ боковой карманъ своего вицъ-мундира и застегнулъ его на всѣ

пуговицы; потомъ остотрѣлся кругомъ и, къ удивленію своему, замѣтилъ, что уже находится въ сѣняхъ департаментскихъ, въ кучкѣ чиновниковъ, столпившихся къ выходу, ибо кончилось присутствіе. Господинъ Голядкинъ не только не замѣчалъ до сихъ поръ этого послѣдняго обстоятельства, но даже не замѣтилъ и не помнилъ того, какимъ образомъ онъ вдругъ очутился въ шинели, въ калошахъ и держалъ свою шляпу въ рукахъ. Всѣ чиновники стояли неподвижно и въ почтительномъ ожиданіи. Дѣло въ томъ, что его превосходительство остановился внизу лѣстницы, въ ожиданіи своего почему-то замѣшкавшагося экипажа, и велъ весьма интересный разговоръ съ двумя совѣтниками и съ Андреемъ Филипповичемъ. Немного поодаль отъ двухъ совѣтниковъ и Андрея Филипповича, стоялъ Антонъ Антоновичъ Сѣточкинъ и кое-кто изъ другихъ чиновниковъ, которые весьма улыбались, видя, что его превосходительство изволитъ шутить и смѣяться. Столпившіеся на верху лѣстницы чиновники тоже улыбались и ждали, покамѣстъ его превосходительство опять засмѣются. Не улыбался лишь только одинъ Ѳедосѣичъ, толстопузый швейцаръ, державшійся у ручки дверей, вытянувшійся въ струнку, и съ нетерпѣніемъ ожидавшій порціи своего обыденнаго удовольствія, состоявшаго въ томъ, чтобъ разомъ, однимъ взмахомъ руки, широко откинуть одну половинку дверей, и потомъ, согнувшись въ дугу, почтительно пропустить мимо себя его превосходительство. Но всѣхъ болѣе, повидимому, былъ радъ и чувствовалъ удовольствіе недостойный и неблагородный врагъ господина Голядкина. Онъ въ это мгновеніе даже позабылъ всѣхъ чиновниковъ, даже оставилъ вьюнить и сѣменить между ними, по своему подленькому обыкновенію, даже позабылъ, пользуясь случаемъ, подлизаться къ кому нибудь въ это мгновеніе. Онъ обратился весь въ слухъ и зрѣніе, какъ-то странно съежился, вѣроятно, чтобъ удобнѣе слушать, не спуская глазъ съ его превосходительства, и изрѣдка только подергивало его руки, ноги и голову какими-то едва замѣтными судорогами, обличавшими всѣ внутреннія, сокровенныя движенія души его.

— Ишь его разбираетъ! подумалъ герой нашъ:—фаворитомъ смотритъ, мошенникъ! Желалъ-бы я знать, чѣмъ онъ именно беретъ въ обществѣ высокаго тона? Ни ума, ни характера, ни образованія, ни чувства;—везетъ шельмецу! Господи, Боже! Вѣдь какъ это скоро можетъ пойдти человѣкъ, какъ подумаешь, и найдти во всѣхъ людяхъ! И пойдетъ человѣкъ, клятву даю, что пойдетъ далеко, шельмецъ, доберется,—везетъ шельмецу! Желалъ-

бы я еще узнать, что̀ именно такое онъ всѣмъ имъ нашептываетъ? Какія тайны у него со всѣмъ этимъ народомъ заводятся и про какіе секреты они говорятъ? Господи, Боже! Какъ-бы мнѣ этакъ, того... и съ ними-бы тоже немножко... дескать, такъ и такъ, попросить его развѣ... дескать, такъ и такъ, а я больше не буду; дескать, я виноватъ, а молодому человѣку, ваше превосходительство, нужно служить въ наше время; обстоятельствомъ-же темнымъ моимъ я отнюдь не смущаюсь,—вотъ оно какъ! Протестовать тамъ какимъ нибудь образомъ тоже не буду, и все съ терпѣніемъ и смиреніемъ снесу,— вотъ какъ! Вотъ развѣ такъ поступить?.. Да, впрочемъ, его не проймешь, шельмеца, никакимъ словомъ не пробьешь; резону-то ему вгвоздить нельзя въ забубенную голову... А, впрочемъ, попробуемъ. Случится, что въ добрый часъ попаду, такъ вотъ и попробовать...

Въ безпокойствѣ своемъ, въ тоскѣ и смущеніи, чувствуя, что такъ оставаться нельзя, что наступаетъ минута рѣшительная, что нужно-же съ кѣмъ нибудь объясниться, герой нашъ сталъ было понемножку подвигаться къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ недостойный и загадочный пріятель его; но въ са̀мое это время у подъѣзда загремѣлъ давно ожидаемый экипажъ его превосходительства. Ѳедосѣичъ рванулъ дверь и, согнувшись въ три дуги, пропустилъ его превосходительство мимо себя. Всѣ ожидавшіе разомъ хлынули къ выходу и оттѣснили на мгновеніе господина Голядкина-старшаго отъ господина Голядкина-младшаго. «Не уйдешь!» говорилъ нашъ герой, прорываясь сквозь толпу и не спуская глазъ съ кого слѣдовало. Наконецъ, толпа раздалась. Герой нашъ почувствовалъ себя на свободѣ и ринулся въ погоню за своимъ непріятелемъ.

ГЛАВА XI.

Духъ занимался въ груди господина Голядкина; словно на крыльяхъ летѣлъ онъ вслѣдъ за своимъ быстро удалявшимся непріятелемъ. Чувствовалъ онъ въ себѣ присутствіе страшной энергіи. Впрочемъ, не смотря на присутствіе страшной энергіи господинъ Голядкинъ могъ смѣло надѣяться, что въ настоящую минуту даже простой комаръ, если-бы только онъ могъ въ такое время жить въ Петербургѣ, весьма-бы удобно перешибъ его крыломъ своимъ. Чувствовалъ онъ еще, что опалъ и ослабъ совершенно, что несетъ его какою-то совершенно особенною и

постороннею силою, что онъ вовсе не самъ идетъ, что, напротивъ, его ноги подкашиваются и служить отказываются. Впрочемъ, это все могло-бы устроиться къ лучшему. «Къ лучшему— не къ лучшему», думалъ господинъ Голядкинъ, почти задыхаясь отъ скораго бѣга: — «но что дѣло проиграно, такъ въ томъ теперь и сомнѣнія малѣйшаго нѣтъ; что пропалъ я совсѣмъ, такъ ужь это извѣстно, опредѣлено, рѣшено и подписано». Не смотря на все это, герой нашъ словно изъ мертвыхъ воскресъ, словно баталію выдержалъ, словно побѣду схватилъ, когда пришлось ему уцѣпиться за шинель своего непріятеля, уже заносившаго одну ногу на дрожки куда-то только что сговореннаго имъ ваньки. «Милостивый государь! Милостивый государь!» закричалъ онъ, наконецъ, настигнутому имъ неблагородному господину Голядкину-младшему: «Милостивый государь, я надѣюсь, что вы»...

— Нѣтъ, вы ужь, пожалуйста, ничего не надѣйтесь, уклончиво отвѣчалъ безчувственный непріятель господина Голядкина, стоя одною ногою на одной ступенькѣ дрожекъ, а другой изо всѣхъ силъ порываясь попасть на другую сторону экипажа, тщетно махая ею по воздуху, стараясь сохранить экилибръ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, стараясь всѣми силами отцѣпить шинель свою отъ господина Голядкина-старшаго, за которую тотъ, съ своей стороны, уцѣпился всѣми данными ему природою средствами.

— Яковъ Петровичъ! Только десять минутъ...

— Извините, мнѣ некогда-съ.

— Согласитесь сами, Яковъ Петровичъ .. пожалуйста, Яковъ Петровичъ... ради Бога, Яковъ Петровичъ... такъ и такъ — объясниться... на смѣлую ногу... Секундочку, Яковъ Петровичъ!...

— Голубчикъ мой, некогда, отвѣчалъ съ неучтивою фамильярностью, но подъ видомъ душевной доброты, ложно благородный непріятель господина Голядкина: — въ другое время, повѣрьте, отъ полноты души и отъ чистаго сердца; но теперь — вотъ право-жь нельзя.

— Подлецъ! подумалъ герой нашъ:—Яковъ Петровичъ! закричалъ онъ тоскливо:—я вашимъ врагомъ никогда не бывалъ. Злые-же люди несправедливо меня описали... Съ своей стороны я готовъ... Яковъ Петровичъ, угодно, мы съ вами, Яковъ Петровичъ, вотъ тотчасъ зайдемъ?.. И тамъ, отъ чистаго сердца какъ справедливо сказали вы тотчасъ, и языкомъ прямымъ, благороднымъ... вотъ въ эту кофейную: тогда все само собою

объяснится.— вотъ какъ, Яковъ Петровичъ! Тогда непремѣнно все само собой объяснится...

— Въ кофейную? Хорошо-съ. Я не прочь, зайдемъ, въ кофейную, съ однимъ только условіемъ, радость моя, съ единымъ условіемъ,—что тамъ все само собой объяснится. Дескать, такъ и такъ, душка, проговорилъ господинъ Голядкинъ-младшій, слѣзая съ дрожекъ и безстыдно потрепавъ героя нашего по плечу:— дружище ты этакой; для тебя, Яковъ Петровичъ, я готовъ переулочкомъ (какъ справедливо въ оно время вы, Яковъ Петровичъ, замѣтить изволили). Вѣдь вотъ плутъ, право, что захочетъ, то и дѣлаетъ съ человѣкомъ! продолжалъ ложный другъ господина Голядкина, съ легкой улыбочкой вертясь и увиваясь около него. Отдаленная отъ большихъ улицъ кофейная, куда вошли оба господина Голядкина, была въ эту минуту совершенно пуста. Довольно толстая нѣмка появилась у прилавка, едва только заслышался звонъ колькольчика. Господинъ Голядкинъ и недостойный непріятель его прошли во вторую комнату, гдѣ одутловатый и остриженный подъ гребенку мальчишка возился съ вязанкою щепокъ около печки, силясь возобновить въ ней погасавшій огонь По требованію господина Голядкина-младшаго поданъ былъ шоколадъ.

— А преподобная бабенка, проговорилъ господинъ Голядкинъ-младшій, плутовски мигнувъ господину Голядкину-старшему.

Герой нашъ покраснѣлъ и смолчалъ.

— А, да, позабылъ, извините. Знаю вашъ вкусъ. Мы, сударь, лакомы до тоненькихъ нѣмочекъ; мы, дескать, душа ты правдивая, Яковъ Петровичъ, лакомы съ тобою до тоненькихъ хотя, впрочемъ, и нелишенныхъ еще пріятности нѣмочекъ; квартиры у нихъ нанимаемъ, ихъ нравственность соблазняемъ, забир-супъ, да мильх-супъ наше сердце имъ посвящаемъ, да разныя подписки даемъ,—вотъ что̀ мы дѣлаемъ, Фоблазъ ты такой, предатель ты этакой! Все это проговорилъ господинъ Голядкинъ-младшій, дѣлая такимъ образомъ совершенно безполезный, хотя, впрочемъ, и злодѣйски хитрый намекъ на извѣстную особу женскаго пола, увиваясь около господина Голядкина, улыбаясь ему подъ видомъ любезности, ложно показывая такимъ образомъ радушіе къ нему и радость при встрѣчѣ съ нимъ. Замѣчая-же, что господинъ Голядкинъ-старшій вовсе не такъ глупъ и вовсе не до того лишенъ образованности и манеръ хорошаго тона, чтобъ сразу повѣрить ему, неблагородный человѣкъ рѣшился перемѣнить свою тактику и повести дѣла на открытую ногу. Тутъ-же

проговоривъ свою гнусность, фальшивый господинъ Голядкинъ заключилъ тѣмъ, что съ возмущающимъ душу безстыдствомъ и фамильярностью, потрепалъ солиднаго господина Голядкина по плечу, и, не удовольствовавшись этимъ, пустился заигрывать съ нимъ совершенно неприличнымъ въ обществѣ хорошаго тона образомъ, именно вознамѣрился повторить свою прежнюю гнусность, то есть, не смотря на сопротивленіе и легкіе крики возмущеннаго господина Голядкина-старшаго, ущипнуть его за щеку. При видѣ такого разврата, герой нашъ вскипѣлъ и смолчалъ... до времени, впрочемъ.

— Это рѣчь враговъ моихъ, отвѣтилъ онъ, наконецъ, благоразумно сдерживая себя, трепещущимъ голосомъ. Въ тоже самое время герой нашъ съ безпокойствомъ оглянулся на дверь. Дѣло въ томъ, что господинъ Голядкинъ-младшій былъ, повидимому, въ превосходномъ расположеніи духа и въ готовности пуститься на разныя шуточки, непозволительныя въ общественномъ мѣстѣ и, вообще говоря, не допускаемыя законами свѣта, и преимущественно въ обществѣ высокаго тона.

— А, ну, въ такомъ случаѣ, какъ хотите, серьезно возразилъ господинъ Голядкинъ-младшій на мысль господина Голядкина-старшаго, поставивъ свою опустѣлую чашку, выпитую имъ съ неприличною жадностью, на столъ. — Ну-съ, мнѣ съ вами долго нечего, впрочемъ... Ну-съ, каково-то вы теперь поживаете, Яковъ Петровичъ?

— Одно только могу сказать я вамъ, Яковъ Петровичъ, хладнокровно и съ достоинствомъ отвѣчалъ нашъ герой:— врагомъ вашимъ я никогда не бывалъ.

— Гм... ну, а Петрушка? Какъ бишь! Петрушка вѣдь, кажется?—Ну, да! Что, каковъ ? Хорошо? По прежнему?

— И онъ тоже попрежнему, Яковъ Петровичъ, отвѣчалъ немного изумленный господинъ Голядкинъ-старшій.—Я не знаю, Яковъ Петровичъ... съ моей стороны... съ благородной, съ откровенной стороны, Яковъ Петровичъ, согласитесь сами, Яковъ Петровичъ...

— Да-съ. Но вы сами знаете, Яковъ Петровичъ, отвѣчалъ тихимъ и выразительнымъ голосомъ господинъ Голядкинъ младшій, фальшиво изображая собою такимъ образомъ грустнаго, полнаго раскаянія и сожалѣнія достойнаго человѣка:—сами вы знаете, время наше тяжелое... Я на васъ сошлюсь, Яковъ Петровичъ; человѣкъ вы умный и справедливо разсудите, включилъ господинъ Голядкинъ-младшій, подло льстя господину Го-

лядкину - старшему. — Жизнь не игрушка — сами вы знаете, Яковъ Петровичъ, многозначительно заключилъ господинъ Голядкинъ - младшій, прикидываясь такимъ образомъ умнымъ и ученымъ человѣкомъ, который можетъ разсуждать о высокихъ предметахъ.

— Съ своей стороны, Яковъ Петровичъ, съ одушевленіемъ отвѣчалъ нашъ герой: — съ своей стороны, презирая окольнымъ путемъ и говоря смѣло и откровенно, говоря языкомъ прямымъ, благороднымъ и поставивъ все дѣло на благородную доску, скажу вамъ, могу открыто и благородно утверждать, Яковъ Петровичъ, что я чистъ совершенно, и что, сами вы знаете, Яковъ Петровичъ, обоюдное заблужденіе, — все, можетъ быть, — судъ свѣта, мнѣніе раболѣпной толпы... Я говорю откровенно, Яковъ Петровичъ, все можетъ быть. Еще скажу, Яковъ Петровичъ, если такъ судить, если съ благородной и высокой точки зрѣнія на дѣло смотрѣть, то смѣло скажу, безъ ложнаго стыда скажу, Яковъ Петровичъ, мнѣ даже пріятно будетъ открыть, что я заблуждался, мнѣ даже пріятно будетъ сознаться въ томъ. Сами вы знаете, вы человѣкъ умный, а сверхъ того благородный. Безъ стыда, безъ ложнаго стыда готовъ въ этомъ сознаться... съ достоинствомъ и благородствомъ, — заключилъ нашъ герой.

— Рокъ, судьба! Яковъ Петровичъ... но оставимъ все это, со вздохомъ проговорилъ господинъ Голядкинъ-младшій. — Употребимъ лучше краткія минуты нашей встрѣчи на болѣе полезный и пріятный разговоръ, какъ слѣдуетъ между двумя сослуживцами... Право, мнѣ какъ-то не удавалось съ вами двухъ словъ сказать во все это время... Въ этомъ не я виноватъ, Яковъ Петровичъ...

— И не я, съ жаромъ перебилъ нашъ герой: — и не я! Сердце мое говоритъ мнѣ, Яковъ Петровичъ, что не я виноватъ во всемъ этомъ. Будемъ обвинять судьбу во всемъ этомъ, Яковъ Петровичъ, прибавилъ господинъ Голядкинъ-старшій совершенно примирительнымъ тономъ. Голосъ его начиналъ мало по малу слабѣть и дрожать.

— Ну, что? Какъ вообще ваше здоровье? произнесъ заблудшійся сладкимъ голосомъ.

— Немного покашливаю, отвѣчалъ еще слаще герой нашъ.

— Берегитесь. Теперь все такія повѣтрія, не мудрено схватить жабу, и я, признаюсь вамъ, начинаю уже кутаться во фланель.

— Дѣйствительно, Яковъ Петровичъ, немудрено схватить

жабу-съ... Яковъ Петровичъ! произнесъ послѣ краткаго молчанія герой нашъ, — Яковъ Петровичъ! Я вижу, что я заблуждался... Я съ умиленіемъ вспоминаю о тѣхъ счастливыхъ минутахъ, которыя удалось намъ провести вмѣстѣ, подъ бѣднымъ, но, смѣю сказать, радушнымъ кровомъ моимъ...

— Въ письмѣ вашемъ, вы, впрочемъ, не то написали, отчасти съ укоризною проговорилъ совершенно справедливый (впрочемъ, единственно только въ этомъ отношеніи совершенно справедливый) господинъ Голядкинъ-младшій.

— Яковъ Петровичъ! Я заблуждался... Ясно вижу теперь, что заблуждался и въ этомъ несчастномъ письмѣ моемъ. Яковъ Петровичъ, мнѣ совѣстно смотрѣть на васъ, Яковъ Петровичъ, вы не повѣрите... Дайте мнѣ это письмо, чтобъ разорвать его въ вашихъ-же глазахъ, Яковъ Петровичъ, или если ужь этого никакъ невозможно, то умоляю васъ читать его на оборотъ, — совсѣмъ на оборотъ, то есть, нарочно съ намѣреніемъ дружескимъ, давая обратный смыслъ всѣмъ словамъ письма моего. Я заблуждался. Простите меня, Яковъ Петровичъ, я совсѣмъ... я горестно заблуждался, Яковъ Петровичъ.

— Вы говорите? довольно разсѣянно и равнодушно спросилъ вѣроломный другъ господина Голядкина-старшаго.

— Я говорю, что я совсѣмъ заблуждался, Яковъ Петровичъ, и что съ моей стороны я совершенно безъ ложнаго стыда...

— А, ну, хорошо! Это очень хорошо, что вы заблуждались, грубо отвѣчалъ господинъ Голядкинъ-младшій.

— У меня, Яковъ Петровичъ, даже идея была, прибавилъ благороднымъ образомъ откровенный герой нашъ, совершенно не замѣчая ужаснаго вѣроломства своего ложнаго друга: — у меня даже идея была, что, дескать, вотъ, создались два совершенно подобные...

— А! Это ваша идея!...

Тутъ извѣстный своею безполезностью господинъ Голядкинъ-младшій всталъ и схватился за шляпу. Все еще не замѣчая обмана, всталъ и господинъ Голядкинъ-старшій, простодушно и благородно улыбаясь своему лже-пріятелю, стараясь въ невинности своей его приласкать, ободрить и завязать съ нимъ такимъ образомъ новую дружбу...

— Прощайте, ваше превосходительство,—вскрикнулъ вдругъ господинъ Голядкинъ-младшій. Герой нашъ вздрогнулъ, замѣтивъ въ лицѣ врага своего что-то даже вакхическое — и единственно чтобъ только отвязаться, сунулъ въ простертую ему

руку безнравственнаго — два пальца своей руки; но тутъ... тутъ безстыдство господина Голядкина-младшаго превзошло всѣ ступени. Схвативъ два пальца руки господина Голядкина-старшаго и сначала пожавъ ихъ, недостойный, тутъ-же, въ глазахъ-же господина Голядкина, рѣшился повторить свою утреннюю безстыдную шутку. Мѣра человѣческаго терпѣнія была истощена...

Онъ уже пряталъ платокъ, которымъ обтеръ свои пальцы, въ карманъ, когда господинъ Голядкинъ-старшій опомнился и ринулся вслѣдъ за нимъ въ сосѣднюю комнату, куда, по скверной привычкѣ своей, тотчасъ-же поспѣшилъ улизнуть непримиримый врагъ его. Какъ будто ни въ одномъ глазу, онъ стоялъ себѣ у прилавка, ѣлъ пирожки и преспокойно, какъ добродѣтельный человѣкъ, любезничалъ съ нѣмкой-кандитершей. — «При дамахъ нельзя», подумалъ герой нашъ и подошелъ тоже къ прилавку, не помня себя отъ волненія.

— А вѣдь дѣйствительно бабёнка то не дурна! — Какъ вы думаете? снова началъ свои неприличныя выходки господинъ Голядкинъ-младшій, вѣроятно, разсчитывая на безконечное терпѣніе господина Голядкина. Толстая-же нѣмка, съ своей стороны, смотрѣла на обоихъ своихъ посѣтителей оловянно-безсмысленными глазами, очевидно, не понимая русскаго языка и привѣтливо улыбаясь. Герой нашъ вспыхнулъ какъ огонь, отъ словъ незнающаго стыда господина Голядкина-младшаго, и, не въ силахъ владѣть собою, бросился, наконецъ, на него съ очевиднымъ намѣреніемъ растерзать его и повершить съ нимъ такимъ образомъ окончательно; но господинъ Голядкинъ-младшій, по подлому обыкновенію своему, уже былъ далеко: онъ далъ тягу, онъ уже былъ на крыльцѣ. Само собой разумѣется, что послѣ перваго мгновеннаго столбняка, естественно нашедшаго на господина Голядкина-старшаго, онъ опомнился и бросился со всѣхъ ногъ за обидчикомъ, который уже садился на поджидавшаго его и очевидно во всемъ согласившагося съ нимъ ваньку. Но, въ это самое мгновеніе, толстая нѣмка, видя бѣгство двухъ посѣтителей, взвизгнула и позвонила, что было силы, въ свой колокольчикъ. Герой нашъ почти на лету обернулся назадъ, бросилъ ей деньги за себя и за незаплатившаго безстыднаго человѣка, не требуя сдачи, и, не смотря на то что промѣшкалъ, всетаки успѣлъ, хотя и опять на лету только, подхватить своего непріятеля. Уцѣпившись за крыло дрожекъ всѣми данными ему природою средствами, герой нашъ несся нѣкоторое время по улицѣ, карабкаясь на экипажъ, отстаиваемый изъ всѣхъ силъ

господиномъ Голядкинымъ-младшимъ. Извощикъ, между тѣмъ, и кнутомъ, и возжей, и ногой, и словами понукалъ свою разбитую клячу, которая совсѣмъ неожиданно понеслась вскачь, закусивъ удила и лягаясь, по скверной привычкѣ своей, задними ногами на каждомъ третьемъ шагу. Наконецъ, нашъ герой успѣлъ таки взмоститься на дрожки, лицомъ къ своему непріятелю, спиной упираясь въ извощика, колѣнками въ колѣнки безстыднаго, а правой рукой своей всѣми средствами вцѣпившись въ весьма скверный мѣховой воротникъ шинели развратнаго и ожесточеннѣйшаго своего непріятеля...

Враги неслись и нѣкоторое время молчали. Герой нашъ едва переводилъ духъ; дорога была прескверная, и онъ подскакивалъ на каждомъ шагу, съ опасностію сломить себѣ шею. Сверхъ того, ожесточенный непріятель его все еще не соглашался признать себя побѣжденнымъ и старался спихнуть въ грязь своего противника. Къ довершенію всѣхъ непріятностей, погода была ужаснѣйшая. Снѣгъ валилъ хлопьями и всячески старался, съ своей стороны, какимъ нибудь образомъ залѣзть подъ распахнувшуюся шинель настоящаго господина Голядкина. Кругомъ было мутно и не видно ни зги. Трудно было отличить: куда и по какимъ улицамъ несутся они... Господину Голядкину показалось, что сбывается съ нимъ что-то знакомое. Одно мгновеніе онъ старался припомнить, не предчувствовалъ-ли онъ чего нибудь вчера... во снѣ, напримѣръ... Наконецъ, тоска его доросла до послѣдней степени своей агоніи. Налегши на безпощаднаго противника своего, онъ началъ было кричать. Но крикъ его замиралъ у него на губахъ... Была минута, когда господинъ Голядкинъ все позабылъ, и рѣшилъ, что все это совсѣмъ ничего, и что это такъ только, какъ нибудь, необъяснимымъ образомъ дѣлается, и протестовать по этому случаю было-бы лишнимъ и совершенно потеряннымъ дѣломъ... Но вдругъ, и почти въ то самое мгновеніе, какъ герой нашъ заключалъ это все, какой-то неосторожный толчокъ перемѣнилъ весь смыслъ дѣла. Господинъ Голядкинъ - какъ куль муки свалился съ дрожекъ и покатился куда-то, совершенно справедливо сознаваясь въ минуту паденія, что дѣйствительно и весьма некстати погорячился. Вскочивъ наконецъ, онъ увидѣлъ, что куда-то пріѣхали; дрожки стояли среди чьего-то двора, и герой нашъ съ перваго взгляда замѣтилъ, что это дворъ того самаго дома, въ которомъ квартируетъ Олсуфій Ивановичъ. Въ тоже самое мгновеніе замѣтилъ онъ, что пріятель его пробирается уже на крыльцо и, вѣроятно, къ

Олсуфью Ивановичу. Въ неописанной тоскѣ своей, бросился было онъ догонять своего непріятеля, но къ счастію своему благоразумно одумался во-время. Не забывъ расплатиться съ извощикомъ, бросился господинъ Голядкинъ на улицу и побѣжалъ, что есть мочи, куда глаза глядятъ. Снѣгъ валилъ по прежнему хлопьями, по прежнему было мутно, мокро и темно. Герой нашъ не шелъ, а летѣлъ, опрокидывая всѣхъ на дорогѣ,—мужиковъ и бабъ, и дѣтей, и самъ въ свою очередь отскакивая отъ бабъ, мужиковъ и дѣтей. Кругомъ и вслѣдъ ему слышался пугливый говоръ, визгъ, крикъ... Но господинъ Голядкинъ, казалось, былъ безъ памяти, и вниманія ни на что не хотѣлъ обратить... Опомнился онъ, впрочемъ, уже у Семеновскаго моста, да и то по тому только случаю, что успѣлъ какъ-то неловко задѣть и опрокинуть двухъ бабъ, съ ихъ какимъ-то походнымъ товаромъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самъ повалиться. «Это ничего», подумалъ господинъ Голядкинъ: «все это еще весьма можетъ устроиться къ лучшему», и тутъ-же полѣзъ въ свой карманъ, желая отдѣлаться рублемъ серебра за просыпанные пряники, яблоки, горохъ и разныя разности. Вдругъ новымъ свѣтомъ озарило господина Голядкина; въ карманѣ ощупалъ онъ письмо, переданное ему по утру писаремъ. Вспомнивъ, между прочимъ, что есть у него недалеко знакомый трактиръ, забѣжалъ онъ въ трактиръ, не медля ни минуты пристроился къ столику, освѣщенному сальною свѣчкою, и, не обращая ни на что вниманія, не слушая половаго, явившагося за приказаніями, сломалъ печать и началъ читать нижеслѣдующее, окончательно его поразившее:

«Благородный, за меня страдающій и на вѣки милый сердцу моему человѣкъ!

«Я страдаю, я погибаю, — спаси меня! Клеветникъ, интригантъ и извѣстный безполезностью своего направленія человѣкъ опуталъ меня сѣтями своими, и я погибла! Я пала! Но онъ мнѣ противенъ, а ты!.. Насъ разлучали, мои письма къ тебѣ перехватывали,—и все это сдѣлалъ безнравственный, воспользовавшись однимъ своимъ лучшимъ качествомъ,—сходствомъ съ тобою. Во всякомъ-же случаѣ, можно быть дурнымъ собою, но плѣнять умомъ, сильнымъ чувствомъ и пріятными манерами... Я погибаю! Меня отдаютъ насильно и всего болѣе интригуетъ здѣсь родитель, благодѣтель мой и статскій совѣтникъ Олсуфій Ивановичъ, вѣроятно, желая занять мое мѣсто и мои отношенія въ обществѣ высокаго тона... Но я рѣшилась и протестую всѣми

данными мнѣ природою средствами. Жди меня съ каретой своей сегодня, ровно въ девять часовъ, у оконъ квартиры Олсуфія Ивановича. У насъ опять балъ и будетъ красивый поручикъ. Я выйду, и мы полетимъ. Къ тому-же, есть и другія служебныя мѣста, гдѣ еще можно приносить пользу отечеству. Во всякомъ случаѣ, вспомни, мой другъ, что невинность сильна уже своею невинностью. Прощай. Жди съ каретой у подъѣзда. Брошусь подъ защиту объятій твоихъ ровно въ два часа по полуночи.

«Твоя до гроба

«Клара Олсуфьевна».

Прочтя письмо, герой нашъ остался на нѣсколько минутъ какъ-бы пораженный. Въ страшной тоскѣ, въ страшномъ волненіи, блѣдный какъ платокъ, съ письмомъ въ рукахъ, прошелся онъ нѣсколько разъ по комнатѣ; къ довершенію бѣдствія своего положенія, герой нашъ не замѣтилъ, что былъ въ настоящую минуту предметомъ исключительнаго вниманія всѣхъ находившихся въ комнатѣ. Вѣроятно, безпорядокъ костюма его, несдерживаемое волненіе, ходьба или, лучше сказать, бѣготня, жестикуляція обѣими руками, можетъ быть, нѣсколько загадочныхъ словъ, сказанныхъ на вѣтеръ и въ забывчивости, — вѣроятно, все это весьма плохо зарекомендовало господина Голядкина въ мнѣніи всѣхъ посѣтителей; и даже самъ половой начиналъ поглядывать на него подозрительно. Очнувшись, герой нашъ замѣтилъ, что стоитъ посреди комнаты, и почти неприличнымъ, невѣжливымъ образомъ смотритъ на одного весьма почтенной наружности старичка, который, пообѣдавъ и помолясь передъ образомъ Богу, усѣлся опять, и съ своей стороны тоже не сводилъ глазъ съ господина Голядкина. Смутно оглянулся кругомъ нашъ герой и замѣтилъ, что всѣ, рѣшительно всѣ смотрятъ на него съ видомъ самымъ зловѣщимъ и подозрительнымъ. Вдругъ одинъ отставной военный, съ краснымъ воротникомъ, громко потребовалъ «Полицейскія Вѣдомости». Господинъ Голядкинъ вздрогнулъ и покраснѣлъ: какъ-то нечаянно опустилъ онъ глаза въ землю и увидѣлъ, что былъ въ такомъ неприличномъ костюмѣ, въ которомъ и у себя дома ему быть нельзя, не только въ общественномъ мѣстѣ. Сапоги, панталоны и весь лѣвый бокъ его были совершенно въ грязи, штрипка на правой ногѣ оторвана, а фракъ даже разорванъ во многихъ мѣстахъ. Въ неистощимой тоскѣ своей подошелъ нашъ герой къ столу, за которымъ читалъ, и увидѣлъ, что къ нему подходитъ трактирный служи

тель съ какимъ-то страннымъ и дерзко-настоятельнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Потерявшись и опавъ совершенно, герой нашъ началъ разсматривать столъ, за которымъ стоялъ теперь. На столѣ стояли неубранныя тарелки послѣ чьего-то обѣда, лежала замаранная салфетка и валялись только что бывшіе въ употребленіи ножъ, вилка и ложка. «Кто-жь это обѣдалъ?» подумалъ герой нашъ. «Неужели я? А все можетъ быть! Пообѣдалъ, да такъ и не замѣтилъ себѣ; какъ-же мнѣ быть?» Поднявъ глаза, господинъ Голядкинъ увидѣлъ опять подлѣ себя половаго, который собирался ему что-то сказать.

— Сколько съ меня, братецъ? спросилъ нашъ герой трепещущимъ голосомъ.

Громкій смѣхъ раздался кругомъ господина Голядкина; самъ половой усмѣхнулся. Господинъ Голядкинъ понялъ, что и на этомъ срѣзался и сдѣлалъ какую-то страшную глупость. Понявъ все это, онъ до того сконфузился, что принужденъ былъ полѣзть въ карманъ за платкомъ своимъ, вѣроятно, чтобы что нибудь сдѣлать и такъ не стоять; но, къ неописанному своему и всѣхъ окружавшихъ его изумленію, вынулъ вмѣсто платка, стклянку съ какимъ-то лѣкарствомъ, дня четыре тому назадъ прописаннымъ Крестьяномъ Ивановичемъ. «Медикаменты въ той-же аптекѣ», пронеслось въ головѣ господина Голядкина... Вдругъ онъ вздрогнулъ и чуть не вскрикнулъ отъ ужаса. Новый свѣтъ проливался... Темная, красновато-отвратительная жидкость зловѣщимъ отсвѣтомъ блеснула въ глаза господину Голядкину... Пузырекъ выпалъ у него изъ рукъ и тутъ-же разбился. Герой нашъ вскрикнулъ и отскочилъ шага на два назадъ отъ пролившейся жидкости... онъ дрожалъ всѣми членами, и потъ пробивался у него на вискахъ и на лбу. «Стало быть, жизнь въ опасности!» Между тѣмъ, въ комнатѣ произошло движеніе, смятеніе; всѣ окружали господина Голядкина, всѣ говорили господину Голядкину, нѣкоторые даже хватали господина Голядкина. Но герой нашъ былъ нѣмъ и недвижимъ, не видя ничего, не слыша ничего, не чувствуя ничего... Наконецъ, какъ будто съ мѣста сорвавшись, бросился онъ вонъ изъ трактира, растолкалъ всѣхъ и каждаго изъ стремившихся удержать его, почти безъ чувствъ упалъ на первыя, попавшіяся ему извощичьи дрожки и полетѣлъ на квартиру.

Въ сѣняхъ квартиры своей встрѣтилъ онъ Михѣева, сторожа департаментскаго, съ казеннымъ пакетомъ въ рукахъ. «Знаю, другъ мой, все знаю», отвѣчалъ слабымъ, тоскливымъ голосомъ.

изнуренный герой нашъ: «это оффиціальное»... Въ пакетѣ дѣйствительно было предписаніе господину Голядкину, за подписью Андрея Филипповича, сдать находившіяся у него на рукахъ дѣла Ивану Семеновичу. Взявъ пакетъ и давъ сторожу гривенникъ, господинъ Голядкинъ пришелъ въ квартиру свою и увидѣлъ, что Петрушка готовитъ и собираетъ въ одну кучу весь свой дрязгъ и хламъ, всѣ свои вещи, очевидно, намѣреваясь оставить господина Голядкина и переѣхать отъ него къ переманившей его Каролинѣ Ивановнѣ, чтобъ замѣнить ей Евстафія.

ГЛАВА XII.

Петрушка вошелъ, покачиваясь, держась какъ-то странно-небрежно и съ какой-то холопски-торжественной миной въ лицѣ. Видно было, что онъ что-то задумалъ, чувствовалъ себя вполнѣ въ своемъ правѣ и смотрѣлъ совершенно постороннимъ человѣкомъ, то есть чьимъ-то другимъ служителемъ, но только никакъ не прежнимъ служителемъ господина Голядкина.

— Ну, вотъ видишь, мой милый, началъ, задыхаясь, герой нашъ:—который теперь часъ, милый мой?

Петрушка молча отправился за перегородку, потомъ воротился и довольно независимымъ тономъ объявилъ, что ужь скоро половина восьмаго.

— Ну, хорошо, мой милый, хорошо. Ну, видишь, мой милый... позволь тебѣ сказать, милый мой, что между нами, кажется, теперь кончено все.

Петрушка молчалъ.

— Ну, теперь, какъ ужь все между нами кончилось, скажи ты мнѣ теперь откровенно, какъ другу скажи, гдѣ ты былъ, братецъ?

— Гдѣ былъ? Между добрыхъ людей-съ.

— Знаю, мой другъ, знаю. Я тобою былъ постоянно доволенъ, мой милый, и аттестатъ тебѣ дамъ... Ну, что-же ты у нихъ теперь?

— Что-же, сударь! Сами изволите знать-съ. Извѣстно-съ, добрый человѣкъ худому тебя не научитъ.

— Знаю, мой милый, знаю. Нынче добрые люди рѣдки, мой другъ; цѣни ихъ, мой другъ. Ну, какъ-же они?

— Извѣстно-съ, какъ-съ... Только я у васъ, сударь, больше служить теперь не могу-съ; сами изволите знать-съ.

— Знаю, милый мой, знаю; твою ревность и усердіе знаю; я видѣлъ все это, другъ мой, я замѣчалъ. Я, мой другъ, тебя уважаю. Я добраго и честнаго человѣка, будь онъ и лакей, уважаю.

— Что-жь, извѣстно-съ! Нашъ братъ, конечно, сами изволите знать-съ, гдѣ лучше. Ужь такъ оно-съ. Что мнѣ! Извѣстно, сударь, что ужь безъ добраго человѣка нельзя-съ.

— Ну, хорошо, братецъ, хорошо; я это чувствую... Ну, вотъ твои деньги и вотъ твой аттестатъ. Теперь поцалуемся, братецъ, простимся съ тобою...

— Ну, теперь, милый мой, я у тебя попрошу одной услуги, послѣдней услуги, сказалъ господинъ Голядкинъ торжественнымъ тономъ. — Видишь-ли, милый мой, всякое бываетъ. Горе, другъ мой, кроется и въ позлащенныхъ палатахъ, и отъ него никуда не уйдешь. Ты знаешь, мой другъ, я, кажется, съ тобою всегда ласковъ былъ...

Петрушка молчалъ.

— Я, кажется, съ тобой всегда ласковъ былъ, милый мой... Ну, сколько у насъ теперь бѣлья, милый мой?

— Да все на лицо-съ. Рубашекъ холстинковыхъ шесть-съ; карпетокъ три пары; четыре манишки-съ; фуфайка фланелевая; изъ нижняго платья двѣ штуки-съ. Сами знаете все-съ. Я, сударь, вашего ничего-съ... Я, сударь, барское добро берегу-съ. Я вами, сударь, того-съ... извѣстно-съ... а грѣха какого за мной— никогда, сударь; ужь это сами знаете, сударь...

— Вѣрю, другъ мой, вѣрю. Я не про то, мой другъ, не про то; видишь-ли, вотъ что, мой другъ...

— Извѣстно, сударь-съ, ужь это мы знаемъ-съ. Я, вотъ, когда еще у генерала Столбнякова служилъ-съ, такъ отпускали меня, уѣзжали сами въ Саратовъ... вотчина тамъ у нихъ...

— Нѣтъ, мой другъ, не про то; я ничего... ты не думай чего, милый другъ мой...

— Извѣстно-съ. Что ужь нашего брата-съ, сами изволите знать-съ, долго-ли поклепать человѣка-съ. А мною были довольны вездѣ-съ. Были министры, генералы, сенаторы, графы-съ. Бывалъ у всѣхъ-съ, у князя Свинчаткина-съ, у Переборкина полковника-съ, у Недобарова генерала, тоже ходили-съ, въ вотчину ѣздили къ нашимъ-съ. Извѣстно-съ...

— Да, другъ мой, да; хорошо мой другъ, хорошо. Вотъ и я теперь, мой другъ, уѣзжаю... Путь всякому разный лежитъ, милый мой, и неизвѣстно, на какую дорогу каждый человѣкъ

попасть можетъ. Ну, мой другъ, дай-же ты мнѣ одѣться теперь; да, ты вицъ-мундиръ мой тоже положишь... брюки другіе, простыни, одѣяла, подушки...

— Въ узелъ прикажете все завязать-съ?

— Да, мой другъ, да; пожалуй и въ узелъ... Кто знаетъ, что можетъ съ нами случиться. Ну, теперь, милый мой, сходишь и пріищешь карету...

— Карету-съ?..

— Да, мой другъ, карету, просторнѣе и на извѣстное время. А ты, мой другъ, не думай чего нибудь...

— А далеко уѣзжать хотите-съ?

— Не знаю, мой другъ, этого тоже не знаю. Перину тоже, я думаю, туда-же положить нужно будетъ. Какъ ты самъ думаешь, другъ мой? Я на тебя полагаюсь, мой милый...

— Нешто сейчасъ изволите уѣзжать-съ?

— Да, мой другъ, да! Обстоятельство вышло такое... вотъ оно какъ, милый мой, вотъ оно какъ...

— Извѣстно, сударь; вотъ у насъ въ полку, съ поручикомъ тоже самое было-съ; тамъ у помѣщика-съ... увезли-съ...

— Увезъ?.. Какъ! Милый мой, ты...

— Да-съ, увезли-съ и въ другой усадьбѣ вѣнчались. Все было заранѣе готово-съ. Погоня была-съ; князь тутъ только-съ вступились, покойникъ-съ,—ну, и уладили дѣло-съ...

— Вѣнчались, да... ты, какъ-же, мой милый? Ты-то какимъ-же образомъ, милый мой, знаешь?

— Да ужъ извѣстно-съ, что-съ! Слухомъ земля, сударь, полнится. Знаемъ, сударь, мы все-съ... конечно, съ кѣмъ-же грѣха не бывало. Только я вамъ скажу теперь, сударь, позвольте мнѣ, по просту, сударь, по холопски сказать; ужь коль теперь на то пошло, такъ ужь я вамъ скажу, сударь: есть у васъ врагъ,— суперника вы, сударь, имѣете, сильный суперникъ, вотъ-съ...

— Знаю, мой другъ, знаю; самъ ты, милый мой, знаешь... Ну, такъ вотъ я на тебя полагаюсь. Какъ-же намъ теперь дѣлать, мой другъ? Какъ ты мнѣ посовѣтуешь?

— А вотъ, сударь, если вы такъ теперь, такимъ, примѣрно сказать, манеромъ пошли, сударь, такъ вотъ вамъ понадобится тамъ что покупать-съ, — ну тамъ простыни, подушки, перину другую-съ, двуспальную-съ, одѣяло хорошее-съ, — такъ вотъ здѣсь, у сосѣдки-съ, внизу-съ: мѣщанка, сударь, она; лисій салопъ есть хорошій; такъ можно его посмотрѣть и купить, можно сейчасъ сходить посмотрѣть-съ. Оно-же вамъ надобно, сударь,

теперь-съ; хорошій салопъ-съ, атласомъ крытый-съ, на лисьемъ мѣху-съ...

— Ну, хорошо, мой другъ, хорошо, я согласенъ, мой другъ, я на тебя полагаюсь, вполнѣ полагаюсь: пожалуй, хоть и салопъ, милый мой... Только поскорѣй, поскорѣй! Ради Бога, поскорѣй! Я и салопъ куплю, только пожалуйста—поскорѣй! Скоро восемь часовъ, скорѣй, ради Бога, мой другъ! Поторопись поскорѣе, мой другъ!..

Петрушка бросилъ недовязанный узелъ бѣлья, подушекъ, одѣяла, простынь и всякаго дрязгу, что̀ сталъ было вмѣстѣ сбирать и увязывать, и стремглавъ бросился вонъ изъ комнаты. Господинъ Голядкинъ, между тѣмъ, схватился еще разъ за письмо; — но читать его онъ не могъ. Схвативъ въ обѣ руки свою побѣдную голову, онъ въ изумленіи прислонился къ стѣнѣ. Думать ни о чемъ онъ не могъ, дѣлать что нибудь тоже не могъ; онъ и самъ не зналъ, что̀ съ нимъ дѣлается. Наконецъ, видя, что время проходитъ, а ни Петрушки, ни солопа еще не являлось, господинъ Голядкинъ рѣшился пойдти самъ. Растворивъ дверь въ сѣни, онъ услышалъ внизу шумъ, говоръ, споръ и толки... Нѣсколько сосѣдокъ болтали, кричали, судили, рядили о чемъ-то,— ужь это господинъ Голядкинъ зналъ, о чемъ именно. Слышался голосъ Петрушки; потомъ послышались чьи-то шаги. «Боже ты мой! Они сюда весь свѣтъ созовутъ!» простоналъ господинъ Голядкинъ, ломая руки въ отчаяніи и бросаясь назадъ въ свою комнату. Прибѣжавъ въ свою комнату, онъ упалъ, почти не помня себя, на диванъ, лицомъ въ подушку. Съ минутку полежавъ такимъ образомъ, онъ вскочилъ и, не дожидаясь Петрушки, надѣлъ свои калоши, шляпу, шинель, захватилъ свой бумажникъ и побѣжалъ стремглавъ съ лѣстницы. «Ничего не нужно, ничего, милый мой! Я самъ, я все самъ. Тебя покамѣстъ не нужно, а между тѣмъ дѣло, можетъ быть, и уладится къ лучшему», пробормоталъ господинъ Голядкинъ Петрушкѣ, встрѣтивъ его на лѣстницѣ; потомъ выбѣжалъ на дворъ и вонъ изъ дому; сердце его замирало; онъ еще не рѣшался... Какъ ему быть, что̀ ему дѣлать, какъ ему въ настоящемъ и критическомъ случаѣ поступить...

— Вѣдь вотъ: какъ поступить, Господи, Богъ мой? И нужно-же было быть всему этому! вскричалъ онъ, наконецъ, въ отчаяніи, куда глаза глядятъ на удачу ковыляя по улицѣ:—нужно-же было быть всему этому! Вѣдь вотъ не будь этого, вотъ именно этого, такъ все-бы уладилось; разомъ, однимъ ударомъ, однимъ

ловкимъ, энергическимъ, твердымъ ударомъ уладилось-бы. Палецъ даю на отсѣченіе, что уладилось-бы! И даже знаю, какимъ именно образомъ уладилось-бы. Оно-бы вотъ какъ все сдѣлалось: я-бы тутъ и того — дескать, такъ и такъ, а мнѣ, сударь мой, съ позволенія сказать, ни туда, ни сюда; дескать, дѣла такъ не дѣлаются; дескать, сударь вы мой, милостивый мой государь, дѣла такъ не дѣлаются, и самозванствомъ у насъ не возьмешь; самозванецъ, сударь вы мой, человѣкъ того — безполезный, и пользы отечеству не приносящій. Понимаете-ли вы это? Дескать, понимаете-ли вы это, милостивый мой государь?! Вотъ-бы какъ оно и того... Да нѣтъ, впрочемъ, что-же... оно вовсе вѣдь не того, совсѣмъ не того... Я-то что вру, дуракъ-дуракомъ! Я-то, самоубійца я этакой! Оно, дескать, самоубійца ты этакой совсѣмъ, не того... Вотъ, однако, развращенный ты человѣкъ, вотъ оно какъ теперь дѣлается!.. Ну, куда я дѣнусь теперь? Ну, что я, напримѣръ, буду дѣлать теперь надъ собой? Ну, куда я гожусь теперь? Ну, куда ты, примѣромъ сказать, годишься теперь, Голядкинъ ты этакой, недостойный ты этакой! Ну, что теперь? Карету брать нужно; возьми, дескать, да подай ей карету сюда; дескать, ножки замочимъ, если кареты не будетъ... И вотъ, кто-бы подумать могъ? Ай-да барышня, ай сударыня вы моя! Ай-да благонравнаго поведенія дѣвица! Ай-да хваленая наша. Отличились, сударыня, нечего сказать, отличились!... А это все происходитъ отъ безнравственности воспитанія; а я, какъ теперь поразсмотрѣлъ, да пораскусилъ это все, такъ и вижу, что это не отъ инаго чего происходитъ, какъ отъ безнравственности. Чѣмъ-бы съ молоду ее того... да и розгой подъ часъ, а они ее конфектами, а они ее сластями разными пичкаютъ, и самъ старикашка нюнитъ надъ ней: — дескать, ты такая моя, да сякая моя ты хорошая, дескать, за графа отдамъ тебя!.. А вотъ она и вышла у нихъ, и показала намъ теперь свои карты; дескать, вотъ у насъ игра какова! Чѣмъ-бы дома держать ее съ молоду, а они ее въ пансіонъ, къ мадамъ француженкѣ, къ эмигранткѣ Фальбала тамъ какой нибудь; а она тамъ добру всякому учится у эмигрантки-то Фальбала, — вотъ оно и выходитъ такимъ-то все образомъ. Дескать, подите, порадуйтесь! Дескать, будьте въ каретѣ вотъ въ такомъ-то часу передъ окнами, и романсъ чувствительный по испански пропойте; жду васъ, и знаю, что любите, и убѣжимъ съ вами вмѣстѣ, и будемъ жить въ хижинѣ. Да, наконецъ, оно и нельзя; оно, сударыня вы моя, — если на то ужь пошло, — такъ оно и нельзя, такъ оно и законами за-

прещено честную и невинную дѣвицу изъ родительскаго дома увозить безъ согласія родителей! Да, наконецъ, и зачѣмъ, почему, и какая тутъ надобность? Ну, вышла-бы тамъ себѣ за кого слѣдуетъ, за кого судьбой предназначено, такъ и дѣло съ концомъ. А я человѣкъ служащій; а я мѣсто мое могу потерять изъ-за этого; я, сударыня вы моя, подъ судъ могу попасть изъ-за этого! Вотъ оно что! Коль не знали. Это нѣмка работаетъ. Это отъ нея, вѣдьмы, все происходитъ, всѣ сыры-боры отъ нея загораются. Потому что оклеветали человѣка, потому что выдумали на него сплетню бабью, небылицу въ лицахъ, по совѣту Андрея Филипповича, оттого и происходитъ. Иначе, почему-же Петрушкѣ тутъ вмѣшиваться? Ему-то тутъ что? Шельмецу-то какая тутъ надобность? Нѣтъ, я не могу, сударыня, никакъ не могу, ни за что не могу... А вы меня, сударыня, на этотъ разъ ужь какъ нибудь тамъ извините. Это отъ васъ, сударыня, все происходитъ, это не отъ нѣмки все происходитъ, вовсе не отъ вѣдьмы, а чисто отъ васъ, потому что вѣдьма добрая женщина, потому что вѣдьма не виновата ни въ чемъ, а вы, сударыня вы моя, виноваты, — вотъ оно какъ! Вы, сударыня, вы меня въ напраслину вводите... Тутъ человѣкъ пропадаетъ, тутъ самъ отъ себя человѣкъ исчезаетъ, и самого себя не можетъ сдержать— какая тутъ свадьба! И какъ это кончится все? И какъ это теперь устроится? Дорого-бы я далъ, чтобъ узнать это все!..

Такъ разсуждалъ въ отчаяніи своемъ нашъ герой. Очнувшись вдругъ, замѣтилъ онъ, что гдѣ-то стоитъ на Литейной. Погода была ужасная: была оттепель, валилъ снѣгъ, шелъ дождь, — ну точь въ точь какъ въ то незабвенное время, когда, въ страшный полночный часъ начались всѣ несчастія господина Голядкина. — «Какой тутъ вояжъ!» думалъ господинъ Голядкинъ, смотря на погоду: — «тутъ всеобщая смерть... Господи, Богъ мой! Ну гдѣ мнѣ, напримѣръ, здѣсь карету сыскать? Вонъ тамъ на углу, кажется, что-то чернѣется. Посмотримъ, изслѣдуемъ... Господи, Богъ мой!» продолжалъ нашъ герой, направивъ слабые и шаткіе шаги свои въ ту сторону, гдѣ увидѣлъ что-то похожее на карету. «Нѣтъ, я вотъ какъ сдѣлаю: отправлюсь, паду къ ногамъ, если можно, униженно буду испрашивать. Дескать, такъ и такъ; въ ваши руки судьбу свою предаю, въ руки начальства; дескать, ваше превосходительство, защитите и облагодѣтельствуйте человѣка; такъ и такъ, дескать, вотъ то-то и то-то, противозаконный поступокъ; не погубите, принимаю васъ за отца, не оставьте... амбицію, честь, имя и фамилію спасите... и отъ злодѣя, раз-

вращеннаго человѣка спасите... Онъ другой человѣкъ, ваше превосходительство, а я тоже другой человѣкъ; онъ особо и я тоже самъ по себѣ; право, самъ по себѣ, ваше превосходительство, право самъ по себѣ; дескать, вотъ оно какъ. Дескать, походить на него не могу; перемѣните, благоволите, велите перемѣнить— и безбожный самовольный подмѣнъ уничтожить... не въ примѣръ другимъ, ваше превосходительство. Принимаю васъ за отца; начальство, конечно, благодѣтельное и попечительное начальство подобныя движенія должно поощрять... Тутъ есть даже нѣсколько рыцарскаго. Дескать, принимаю васъ, благодѣтельное начальство, за отца и ввѣряю судьбу свою и прекословить не буду, ввѣряюсь и самъ отстраняюсь отъ дѣлъ... дескать, вотъ оно какъ!

— Ну, что, мой милый, извощикъ?

— Извощикъ...

— Карету, братъ, на вечеръ...

— А далеко-ли ѣхать изволите-съ?

— На вечеръ, на вечеръ; куда-бъ ни пришлось, милый мой, куда-бъ ни пришлось.

— Нешто за городъ ѣхать изволите?

— Да, мой другъ; можетъ, и за городъ. Я еще самъ навѣрно не знаю, мой другъ, не могу тебѣ навѣрно сказать, милый мой. Оно, видишь-ли, милый мой, можетъ быть, все и уладится къ лучшему. Извѣстно, мой другъ...

— Да, ужь извѣстно, сударь, конечно; дай Богъ всякому.

— Да, мой другъ, да; благодарю тебя, милый мой; ну, что-же ты возьмешь, милый мой?..

— Сейчасъ изволите ѣхать-съ?

— Да, сейчасъ, то есть нѣтъ, подождешь въ одномъ мѣстѣ... такъ, немножко, недолго подождешь, милый мой...

— Да, если ужь на все время берете-съ, такъ ужь меньше шести цѣлковыхъ, по погодѣ, нельзя-съ...

— Ну, хорошо, мой другъ, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый мой. Ну, такъ вотъ ты меня и повезешь теперь, милый мой.

— Садитесь; позвольте, вотъ я здѣсь оправлю маленько;— извольте садиться теперь. Куда ѣхать прикажете?

— Къ Измайловскому мосту, мой другъ.

Извощикъ-кучеръ взгромоздился на козла и тронулъ было пару тощихъ клячъ, которыхъ насилу оторвалъ отъ корыта съ сѣномъ, къ Измайловскому мосту. Но вдругъ господинъ Голядкинъ дернулъ снурокъ, остановилъ карету и попросилъ умоляющимъ голосомъ поворотить назадъ, не къ Измайловскому, а въ

одну другую улицу. Кучеръ поворотилъ въ другую улицу, и чрезъ десять минутъ новопріобрѣтенный экипажъ господина Голядкина остановился передъ домомъ, въ которомъ квартировалъ его превосходительство. Господинъ Голядкинъ вышелъ изъ кареты, попросилъ своего кучера убѣдительно подождать, и самъ взбѣжалъ съ замирающимъ сердцемъ вверхъ, во второй этажъ, дернулъ за снурокъ, дверь отворилась, и нашъ герой очутился въ передней его превосходительства.

— Его превосходительство дома изволятъ быть? спросилъ господинъ Голядкинъ, адрессуясь такимъ образомъ къ отворившему ему человѣку.

— А вамъ чего-съ? спросилъ лакей, оглядывая съ ногъ до головы господина Голядкина.

— А я, мой другъ, того... Голядкинъ, чиновникъ, титулярный совѣтникъ Голядкинъ. Дескать, такъ и такъ объясниться...

— Обождите; нельзя-съ...

— Другъ мой, я не могу обождать: мое дѣло важное, нетерпящее отлагательства дѣло...

— Да вы отъ кого? Вы съ бумагами?..

— Нѣтъ, я, мой другъ, самъ по себѣ... Доложи, мой другъ, дескать, такъ и такъ, объясниться. А я тебя поблагодарю, милый мой...

— Нельзя-съ. Не велѣно принимать; у нихъ гости-съ. Пожалуйте утромъ въ 10 часовъ-съ...

— Доложите-же, мой милый; мнѣ нельзя, невозможно мнѣ ждать... Вы, милый мой, за это отвѣтите...

— Да ступай, доложи; что тебѣ: сапоговъ жаль, что-ли? проговорилъ другой лакей, развалившійся на залавкѣ и до сихъ поръ не сказавшій ни слова.

— Сапоговъ топтать! Не велѣлъ принимать, знаешь? Ихняя череда по утрамъ.

— Доложи. Языкъ, что-ли, отвалится?

— Да я-то доложу: языкъ не отвалится. Не велѣлъ: сказано— не велѣлъ. Войдите въ комнату-то.

Господинъ Голядкинъ вошелъ въ первую комнату; на столѣ стояли часы. Онъ взглянулъ: половина девятаго. Сердце у него заныло въ груди. Онъ было уже хотѣлъ воротиться: но въ эту самую минуту долговязый лакей, ставъ на порогѣ слѣдующей комнаты, громко провозгласилъ фамилію господина Голядкина.— «Эко вѣдь горло!» подумалъ въ неописанной тоскѣ нашъ герой... — «Ну, сказалъ-бы ты: того... дескать, такъ и такъ, по-

корнѣйше и смиренно пришелъ объясниться, — того... благоволите принять... А теперь, вотъ и дѣло испорчено, вотъ и все мое дѣло на вѣтеръ пошло; впрочемъ... да, ну—ничего»... Разсуждать, впрочемъ, нечего было. Лакей воротился, сказалъ «пожалуйте» и ввелъ господина Голядкина въ кабинетъ.

Когда нашъ герой вошелъ, то почувствовалъ, что какъ будто ослѣпъ, ибо рѣшительно ничего не видалъ. Мелькнули, впрочемъ, двѣ — три фигуры въ глазахъ: «Ну да это гости» мелькнуло у господина Голядкина въ головѣ. Наконецъ, нашъ герой сталъ ясно отличать звѣзду на черномъ фракѣ его превосходительства, потомъ, сохраняя постепенность, перешелъ и къ черному фраку, наконецъ, получилъ способность — полнаго созерцанія...

— Что-съ? проговорилъ знакомый голосъ надъ господиномъ Голядкинымъ.

— Титулярный совѣтникъ Голядкинъ, ваше превосходительство.

— Ну?

— Пришелъ объясниться...

— Какъ?.. Что̀?

— Да ужь такъ. Дескать, такъ и такъ, пришелъ объясниться—ваше превосходительство-съ...

— Да, вы... да кто вы такой?..

— Го-го-господинъ Голядкинъ, ваше превосходительство, титулярный совѣтникъ.

— Ну, такъ чего-же вамъ нужно?

— Дескать, такъ и такъ, принимаю его за отца; самъ отстраняюсь отъ дѣлъ, и отъ врага защитите,—вотъ какъ!

— Что такое?..

— Извѣстно...

— Что извѣстно?

Господинъ Голядкинъ молчалъ; подбородокъ его начинало по немногу подергивать...

— Ну?

— Я думалъ рыцарское, ваше превосходительство... Что здѣсь, дескать, рыцарское, и начальника за отца принимаю.. дескать, такъ и такъ, защитите, сле...слезно м...молю, и что такія дви... движенія долж...но по...по...поощрять...

Его превосходительство отвернулся. Герой нашъ нѣсколько мгновеній не могъ ничего разглядѣть своими глазами. Грудь его тѣснило. Духъ занимался. Онъ не зналъ, гдѣ стоялъ... Было какъ-

то стыдно и грустно ему. Богъ знаетъ что было послѣ... Очнувшись, герой нашъ замѣтилъ, что его превосходительство говоритъ съ своими гостями, и какъ будто рѣзко и сильно разсуждаетъ съ ними о чемъ-то. Одного изъ гостей господинъ Голядкинъ тотчасъ узналъ. Это былъ Андрей Филипповичъ; другаго-же нѣтъ; впрочемъ, лицо было какъ будто тоже знакомое,— высокая, плотная фигура, лѣтъ пожилыхъ, одаренная весьма густыми бровями и бакенбардами, и выразительнымъ, рѣзкимъ взглядомъ. На шеѣ незнакомца былъ орденъ, а во рту сигарка. Незнакомецъ курилъ, и, не вынимая сигары изо рта, значительно кивалъ головою, взглядывая по временамъ на господина Голядкина. Господину Голядкину стало какъ-то неловко; онъ отвелъ свои глаза въ сторону, и тутъ-же увидѣлъ еще одного весьма страннаго гостя. Въ дверяхъ, которыя герой нашъ принималъ доселѣ за зеркало, какъ нѣкогда тоже случилось съ нимъ,—появился *онъ*,—извѣстно кто, весьма короткій знакомый и другъ господина Голядкина. Господинъ Голядкинъ-младшій дѣйствительно находился до сихъ поръ въ другой маленькой комнаткѣ и что-то спѣшно писалъ; теперь видно понадобилось — и онъ явился, съ бумагами подъ мышкой, подошелъ къ его превосходительству и весьма ловко, въ ожиданіи исключительнаго къ своей особѣ вниманія, успѣлъ втереться въ разговоръ и совѣтъ, занявъ свое мѣсто немного за спиной Андрея Филипповича, и отчасти маскируясь незнакомцемъ, курящимъ сигарку. Повидимому, господинъ Голядкинъ-младшій принималъ крайнее участіе въ разговорѣ, который подслушивалъ теперь благороднымъ образомъ, кивалъ головою, сѣменилъ ножками, улыбался, поминутно взглядывалъ на его превосходительство, какъ будто-бы умолялъ взоромъ, чтобъ и ему тоже позволили ввернуть свои полсловечка. Подлецъ! подумалъ господинъ Голядкинъ и невольно ступилъ шагъ впередъ. Въ это время генералъ оборотился и самъ довольно нерѣшительно подошелъ къ господину Голядкину.

— Ну, хорошо, хорошо; ступайте съ Богомъ. Я поразсмотрю ваше дѣло, а васъ велю проводить... Тутъ генералъ взглянулъ на незнакомца съ густыми бакенбардами. Тотъ, въ знакъ согласія, кивнулъ головою.

Господинъ Голядкинъ чувствовалъ и понималъ ясно, что его принимаютъ за что-то другое, а вовсе не такъ, какъ-бы слѣдовало. «Такъ или этакъ, а объясниться вѣдь нужно», подумалъ онъ:—«такъ и такъ, дескать, ваше превосходительство». Тутъ въ недоумѣніи своемъ опустилъ онъ глаза въ землю, и,

къ крайнему своему изумленію, увидѣлъ на сапогахъ его превосходительства значительное бѣлое пятно. «Неужели лопнули?» подумалъ господинъ Голядкинъ. Вскорѣ, однако-жь, господинъ Голядкинъ открылъ, что сапоги его превосходительства вовсе не лопнули, а только сильно отсвѣчивали, — феноменъ, совершенно объяснившійся тѣмъ, что сапоги были лакированные и сильно блестѣли. Это называется *бликъ*, подумалъ герой нашъ, особенно-же сохраняется это названіе въ мастерскихъ художниковъ; въ другихъ-же мѣстахъ этотъ отсвѣтъ называется *свѣтлымъ ребромъ*. Тутъ господинъ Голядкинъ поднялъ глаза и увидѣлъ, что пора говорить, потому что дѣло весьма могло повернуться къ худому концу... Герой нашъ ступилъ шагъ впередъ.

— Дескать, такъ и такъ, ваше превосходительство, сказалъ онъ:—а самозванствомъ въ нашъ вѣкъ не возьмешь.

Генералъ ничего не отвѣчалъ, а сильно позвонилъ за снурокъ колокольчика. Герой нашъ еще ступилъ шагъ впередъ.

— Онъ подлый и развращенный человѣкъ, ваше превосходительство, сказалъ нашъ герой, не помня себя, замирая отъ страха, и, при всемъ томъ, смѣло и рѣшительно указывая на недостойнаго близнеца своего, сѣменившаго въ это мгновеніе около его превосходительства:—такъ и такъ, дескать, а я на извѣстное лицо намекаю.

Послѣдовало всеобщее движеніе за словами господина Голядкина. Андрей Филипповичъ и незнакомая фигура закивали своими головами; его превосходительство дергалъ въ нетерпѣніи изъ всѣхъ силъ за снурокъ колокольчика, дозываясь людей. Тутъ господинъ Голядкинъ-младшій выступилъ впередъ, въ свою очередь.

— Ваше превосходительство, сказалъ онъ:—униженно прошу позволенія вашего говорить. Въ голосѣ господина Голядкина-младшаго было что-то крайне рѣшительное; все въ немъ показывало, что онъ чувствуетъ себя совершенно въ правѣ своемъ.

— Позвольте спросить васъ, началъ онъ снова, предупреждая усердіемъ своимъ отвѣтъ его превосходительства и обращаясь въ этотъ разъ къ господину Голядкину:—позвольте спросить васъ, въ чьемъ присутствіи вы такъ объясняетесь? Передъ кѣмъ вы стоите, въ чьемъ кабинетѣ находитесь?.. Господинъ Голядкинъ-младшій былъ весь въ необыкновенномъ волненіи, весь красный и пылающій отъ негодованія и гнѣва; даже слезы въ его глазахъ показались.

— Господа Бассаврюковы! проревѣлъ во все горло лакей, появившись въ дверяхъ кабинета.—«Хорошая дворянская фами-

лія, выходцы изъ Малороссіи»,—подумалъ господинъ Голядкинъ, и тутъ-же почувствовалъ, что кто-то весьма дружескимъ образомъ налегъ ему одною рукою на спину, потомъ и другая рука налегла ему на спину; подлый близнецъ господина Голядкина юлилъ впереди, показывая дорогу, и герой нашъ ясно увидѣлъ, что его, кажется, направляютъ къ большимъ дверямъ кабинета. «Точь въ точь какъ у Олсуфія Ивановича», подумалъ онъ и очутился въ передней. Оглянувшись, онъ увидѣлъ подлѣ себя двухъ лакеевъ его превосходительства и одного близнеца.

— Шинель, шинель, шинель, шинель друга моего! Шинель моего лучшаго друга! защебеталъ развратный человѣкъ, вырывая изъ рукъ одного человѣка шинель и набрасывая ее, для подлой и неблагопріятной насмѣшки, прямо на голову господину Голядкину. Выбиваясь изъ подъ шинели своей, господинъ Голядкинъ-старшій ясно услышалъ смѣхъ двухъ лакеевъ. Но, не слушая ничего и не внимая ничему постороннему, онъ ужъ выходилъ изъ передней и очутился на освѣщенной лѣстницѣ. Господинъ Голядкинъ-младшій—за нимъ.

— Прощайте, ваше превосходительство! закричалъ онъ вслѣдъ господину Голядкину-старшему.

— Подлецъ! проговорилъ внѣ ся нашъ герой.

— Ну, и подлецъ...

— Развратный человѣкъ!..

— Ну, и развратный человѣкъ... отвѣчалъ такимъ образомъ достойному господину Голядкину недостойный непріятель его и, по свойственной ему подлости, глядѣлъ съ высоты лѣстницы, прямо и не смигнувъ глазомъ, въ глаза господину Голядкину, какъ будто прося его продолжать. Герой нашъ плюнулъ отъ негодованія и выбѣжалъ на крыльцо; онъ былъ такъ убитъ, что совершенно не помнилъ, кто и какъ посадилъ его въ карету. Очнувшись, увидѣлъ онъ, что его везутъ по Фонтанкѣ. «Стало быть, къ Измайловскому мосту?» подумалъ господинъ Голядкинъ.. Тутъ господину Голядкину захотѣлось еще о чемъ-то подумать, но нельзя было; а было что-то такое ужасное, чего и объяснить невозможно... «Ну, ничего!» заключилъ нашъ герой, и поѣхалъ къ Измайловскому мосту.

ГЛАВА XIII.

... Казалось, что погода хотѣла перемѣниться къ лучшему. Дѣйствительно, мокрый снѣгъ, валившій доселѣ цѣлыми тучами,

началъ мало по малу рѣдѣть, рѣдѣть и, наконецъ, почти совсѣмъ пересталъ. Стало видно небо, и на немъ, тамъ и сямъ, заискрились звѣздочки. Было только мокро, грязно, сыро и удушливо, особенно для господина Голядкина, который и безъ того уже едва духъ переводилъ. Вымокшая и отяжелѣвшая шинель его пронимала всѣ его члены какою-то непріятно теплою сыростью, и тяжестью своею подламывала и безъ того уже сильно ослабѣвшія ноги его. Какая-то лихорадочная дрожь гуляла острыми и ѣдкими мурашками по всему его тѣлу; изнеможеніе точило изъ него холодный, болѣзненный потъ, такъ что господинъ Голядкинъ позабылъ уже, при семъ удобномъ случаѣ, повторить съ свойственною ему твердостью и рѣшимостью свою любимую фразу, что оно и все-то авось, можетъ быть, какъ нибудь, навѣрное непремѣнно, возьметъ, да и уладится къ лучшему. «Впрочемъ, это все еще ничего покамѣстъ», прибавилъ крѣпкій и неунывающій духомъ герой нашъ, отирая съ лица своего капли холодной воды, струившейся по всѣмъ направленіямъ съ полей круглой и до того взмокшей шляпы его, что уже вода не держалась на ней. Прибавивъ, что это все еще ничего, герой нашъ попробывалъ было присѣсть на довольно толстый деревянный обрубокъ, валявшійся возлѣ кучи дровъ на дворѣ Олсуфья Ивановича. Конечно, объ испанскихъ серенадахъ и о шелковыхъ лѣстницахъ нечего уже было думать; но объ укромномъ уголкѣ, хотя и не совсѣмъ тепломъ, но зато уютномъ и скрытномъ, нужно-же было подумать. Сильно соблазнялъ его, мимоходомъ сказать, тотъ самый уголокъ въ сѣняхъ квартиры Олсуфья Ивановича, гдѣ прежде еще, почти въ началѣ сей правдивой исторіи, выстоялъ свои два часа нашъ герой, между шкафомъ и старыми ширмами, между всякимъ домашнимъ и ненужнымъ дрязгомъ, хламомъ и рухлядью. Дѣло въ томъ, что и теперь господинъ Голядкинъ стоялъ и выжидалъ уже цѣлые два часа на дворѣ Олсуфья Ивановича. Но относительно укромнаго и уютнаго прежняго уголка существовали теперь нѣкоторыя неудобства, прежде не существовавшія. Первое неудобство—то, что, вѣроятно, это мѣсто теперь замѣчено и приняты на счетъ его нѣкоторыя предохранительныя мѣры со времени исторіи на послѣднемъ балѣ у Олсуфья Ивановича; а во вторыхъ, должно-же было ждать условнаго знака отъ Клары Олсуфьевны, потому что непремѣнно долженъ-же былъ существовать какой нибудь этакой знакъ условный. Такъ всегда дѣлалось и «дескать, не нами началось, не нами и кончится». Господинъ Голядкинъ тутъ-же кстати мимо-

ходомъ припомнилъ какой-то романъ, уже давно имъ прочитанный, гдѣ героиня подала условный знакъ Альфреду совершенно въ подобномъ-же обстоятельствѣ, привязавъ къ окну розовую ленточку. Но розовая ленточка теперь, ночью и при санктпетербургскомъ климатѣ, извѣстномъ свою сыростью и ненадежностію, въ дѣло идти не могла и, однимъ словомъ, была совсѣмъ невозможна. «Нѣтъ, тутъ не до шелковыхъ лѣстницъ», подумалъ герой нашъ: «а я лучше здѣсь, такъ себѣ, укромно и въ тихомолочку... я лучше вотъ, напримѣръ, здѣсь стану», и выбралъ мѣстечко на дворѣ, противъ самыхъ оконъ, около кучи складенныхъ дровъ. Конечно, на дворѣ ходило много постороннихъ людей, форрейторовъ, кучеровъ; къ тому-же, стучали колеса и фыркали лошади и т. д.; но всетаки мѣсто было удобное: замѣтятъ-ли, не замѣтятъ-ли, а теперь, по крайней мѣрѣ, выгода та, что дѣло происходитъ нѣкоторымъ образомъ въ тѣни, и господина Голядкина не видитъ никто; самъ-же онъ могъ видѣть рѣшительно все. Окна были сильно освѣщены; былъ какой-то торжественный съѣздъ у Олсуфья Ивановича. Музыки, впрочемъ, еще не было слышно. «Стало быть, это не балъ, а такъ, по какому нибудь другому случаю съѣхались», думалъ, отчасти замирая, герой нашъ. «Да сегодня-ли, впрочемъ?» пронеслось въ его головѣ: «не ошибка-ли въ числѣ? Можетъ быть, все можетъ быть... Оно, вотъ это, какъ можетъ быть все... Оно еще, можетъ быть, вчера было письмо-то написано, а ко мнѣ не дошло, и потому не дошло, что Петрушка сюда замѣшался, шельмецъ онъ такой! Или завтра написано, то есть, что я... что завтра нужно было все сдѣлать, то есть съ каретой-то ждать»... Тутъ герой нашъ похолодѣлъ окончательно и полѣзъ въ свой карманъ за письмомъ, чтобъ справиться. Но письма, къ удивленію его, не оказалось въ карманѣ. «Какъ-же это?» прошепталъ полумертвый господинъ Голядкинъ: «гдѣ-же это я оставилъ его? Стало быть, я его потерялъ? — Этого еще не доставало!» простоналъ онъ, наконецъ, въ заключеніе. «Ну, если оно въ недобрыя руки теперь попадетъ? (Да, можетъ, попало уже!). Господи! Что изъ этого воспослѣдуетъ! Будетъ такое, что ужь... Ахъ ты, судьба ты моя ненавистная!» Тутъ господинъ Голядкинъ какъ листъ задрожалъ при мысли, что, можетъ быть, неблагопристойный близнецъ его, набрасывая ему шинель на голову, имѣлъ именно цѣлью похитить письмо, о которомъ, какъ нибудь тамъ, пронюхалъ отъ враговъ господина Голядкина. «Къ тому-же, онъ перехватываетъ», подумалъ герой нашъ; «доказательствомъ-же...

да что̀ доказательствомъ!..» Послѣ перваго припадка и столбняка ужаса, кровь бросилась въ голову господина Голядкина. Со стономъ и скрежеща зубами схватилъ онъ себя за горячую голову, опустился на свой обрубокъ и началъ думать о чемъ-то... Но мысли какъ-то ни о чемъ не вязались въ его головѣ. Мелькали какія-то лица, припоминались, то неясно, то рѣзко, какія-то давно забытыя происшествія, лѣзли въ голову какіе-то мотивы какихъ-то глупыхъ пѣсень... Тоска, тоска была неестественная! «Боже мой! Боже мой!» подумалъ нѣсколько очнувшись герой нашъ, подавляя глухое рыданіе въ груди: «подай мнѣ твердость духа въ неистощимой глубинѣ моихъ бѣдствій! Что пропалъ я, исчезъ совершенно,—въ этомъ ужь нѣтъ никакого сомнѣнія, и это все въ порядкѣ вещей, ибо и быть не можетъ никакимъ другимъ образомъ. Во первыхъ, я мѣста лишился, непремѣнно лишился, никакъ не могъ не лишиться... Ну, да положимъ, оно и уладится какъ нибудь тамъ. Деньжонокъ-же моихъ, положимъ, и достанетъ на первый разъ: тамъ—квартиренку другую какую нибудь, мебелишки какой нибудь нужно-же... Петрушки-же, во первыхъ, не будетъ со мной. Я могу и безъ шельмеца... этакъ отъ жильцовъ; ну, хорошо! И входишь и уходишь когда мнѣ угодно, да и Петрушка не будетъ ворчать, что поздно приходишь,—вотъ оно какъ; вотъ почему отъ жильцовъ хорошо... Ну, да положимъ, это все хорошо; только какъ-же я все не про то говорю, вовсе не про то говорю?» Тутъ мысль о настоящемъ положеніи опять озарила память господина Голядкина. Онъ оглянулся кругомъ. «Ахъ ты, Господи, Богъ мой! Господи, Богъ мой! Да о чемъ-же это я теперь говорю?» подумалъ онъ, растерявшись со всѣмъ и хватая себя за свою горячую голову...

— Нѐшто скоро, сударь, изволите ѣхать? произнесъ голосъ надъ господиномъ Голядкинымъ. Господинъ Голядкинъ вздрогнулъ; но передъ нимъ стоялъ его извощикъ, тоже весь до нитки измокшій и продрогшій, отъ нетерпѣнія и отъ нечего дѣлать вздумавшій заглянуть къ господину Голядкину за дрова.

— Я, мой другъ, ничего... я, мой другъ, скоро, очень скоро, очень скоро, а ты подожди...

Извощикъ ушелъ, ворча себѣ подъ носъ.—Объ чемъ-же онъ это ворчитъ? думалъ сквозь слезы господинъ Голядкинъ:—вѣдь я его нанялъ-же на вечеръ, вѣдь я того... въ своемъ правѣ теперь... вотъ оно какъ! На вечеръ нанялъ, такъ и дѣло съ концомъ. Хоть и такъ простоишь, все равно. Все въ моей волѣ. Воленъ ѣхать и воленъ не ѣхать. И что вотъ здѣсь за дровами

стою, такъ и это совсѣмъ ничего... и не смѣешь ничего говорить; дескать, барину хочется за дровами стоять, вотъ онъ и стоитъ за дровами... и чести ничьей не мараетъ,—вотъ оно какъ! Вотъ оно какъ, сударыня вы моя, если только это вамъ хочется знать. А въ хижинѣ, сударыня вы моя, дескать, такъ и такъ, въ нашъ вѣкъ никто не живетъ. Оно вотъ что! А безъ благонравія въ нашъ промышленный вѣкъ, сударыня вы моя, не возьмешь, чему сами теперь служите пагубнымъ примѣромъ... Дескать, повытчикомъ нужно служить и въ хижинѣ жить, на морскомъ берегу. Во первыхъ, сударыня вы моя, на морскихъ берегахъ нѣтъ повытчиковъ, а во вторыхъ, и достать его намъ съ вами нельзя, повытчика-то. Ибо, положимъ, примѣрно сказать, вотъ я просьбу подаю, являюсь—дескать, такъ и такъ, въ повытчики, дескать, того... и отъ врага защитите... а вамъ скажутъ, сударыня, дескать, того... повытчиковъ много, и что вы здѣсь не у эмигрантки Фальбала, гдѣ вы благонравію учились, чему сами служите пагубнымъ примѣромъ. Благонравіе-же, сударыня, значитъ дома сидѣть, отца уважать и не думать о женишкахъ прежде времени. Женишки-же, сударыня, въ свое время найдутся, — вотъ оно какъ! Конечно, разнымъ талантамъ безспорно нужно умѣть, какъ-то: на фортепіанахъ иногда поиграть, по французски говорить, исторіи, географіи, закону Божію и ариѳметикѣ,—вотъ оно какъ!—А больше не нужно. Къ тому-же, и кухня; непремѣнно въ область вѣдѣнія всякой благонравной дѣвицы должна входить кухня! А то что тутъ? Во первыхъ, красавица вы моя, милостивая моя государыня, васъ не пустятъ, а пустятъ за вами погоню, и потомъ подъ сюркупъ, въ монастырь. Тогда что̀, сударыня вы моя? Тогда мнѣ-то что̀ дѣлать прикажете? Прикажете мнѣ, сударыня вы моя, слѣдуя нѣкоторымъ глупымъ романамъ, на ближній холмъ приходить и таять въ слезахъ, смотря на хладныя стѣны вашего заключенія и, наконецъ, умереть, слѣдуя привычкѣ нѣкоторыхъ скверныхъ нѣмецкихъ поэтовъ и романистовъ, такъ-ли, сударыня? Да, во первыхъ, позвольте сказать вамъ по дружески, что дѣла такъ не дѣлаются, а во вторыхъ, и васъ, да и родителей-то вашихъ посѣкъ-бы препорядочно за то, что, французскія-то книжки вамъ давали читать; ибо французскія книжки добру не научатъ. Тамъ ядъ... ядъ тлетворный, сударыня вы моя! Или вы думаете, позвольте спросить васъ, или вы думаете, что, дескать, такъ и такъ, убѣжимъ безнаказанно, да и того... дескать, хижинку вамъ на берегу моря; да и ворковать начнемъ и объ чувствахъ разныхъ

разсуждать, да такъ и всю жизнь проведемъ, въ довольствѣ и счастьи; да потомъ заведется птенецъ, такъ мы и того... дескать, такъ и такъ, родитель нашъ и статскій совѣтникъ, Олсуфій Ивановичъ, вотъ, дескать, птенецъ завелся, такъ вы по сему удобному случаю снимите проклятіе, да благословите чету. Нѣтъ, сударыня, и опять таки дѣла такъ не дѣлаются, и первое дѣло то, что воркованія не будетъ, не извольте надѣяться. Ныньче мужъ, сударыня вы моя, господинъ, и добрая, благовоспитанная жена должна во всемъ угождать ему. А нѣжностей, сударыня, ныньче не любятъ, въ нашъ промышленный вѣкъ; дескать, прошли времена Жанъ-Жака Руссо. Мужъ, напримѣръ, ныньче приходитъ голодный изъ должности,—дескать, душенька, нѣтъ-ли чего закусить, водочки выпить, селедочки съѣсть? Такъ у васъ, сударыня, должны быть сейчасъ на готовѣ и водочка, и селедочка. Мужъ закуситъ себѣ съ аппетитомъ, да на васъ и не взглянетъ, а скажетъ: поди-тка, дескать, на кухню, котеночекъ, да присмотри за обѣдомъ, да развѣ-развѣ въ недѣлю разокъ поцалуетъ, да и то равнодушно... Вотъ оно какъ по нашему-то, сударыня вы моя! Да и то, дескать, равнодушно!.. Вотъ оно какъ будетъ, если такъ разсуждать, если ужь на то пошло, что такимъ-то вотъ образомъ начать на дѣло смотрѣть... Да я-то тутъ что? Меня-то, сударыня, въ ваши капризы зачѣмъ подмѣшали? «Дескать, благодѣтельный, за меня страждущій и всячески милый сердцу моему человѣкъ, и т. д.». Да, во первыхъ, я, сударыня вы моя, я для васъ не гожусь, сами знаете, комплиментамъ не мастеръ, дамскіе тамъ разные раздушенные пустячки говорить не люблю, селадоновъ не жалую, да и фигурою, признаться, не взялъ. Ложнаго-то хвастовства и стыда вы въ насъ не найдете, а признаемся вамъ теперь во всей искренности. Дескать, вотъ оно какъ, обладаемъ лишь прямымъ и открытымъ характеромъ, да здравымъ разсудкомъ; интригами не занимаемся. Не интригантъ, дескать, и этимъ горжусь,—вотъ оно какъ!.. Хожу безъ маски между добрыхъ людей, и чтобъ все вамъ сказать...

Вдругъ господинъ Голядкинъ вздрогнулъ. Рыжая и взмокшая окончательно борода его кучера опять глянула къ нему за дрова...

— Я сейчасъ, мой другъ; я, мой другъ, знаешь, тотчасъ; я, мой другъ, тотчасъ-же, отвѣчалъ господинъ Голядкинъ трепещущимъ и изнывающимъ голосомъ.

Кучеръ почесалъ въ затылкѣ, потомъ погладилъ свою бороду, потомъ шагнулъ шагъ впередъ... остановился и недовѣрчиво взглянулъ на господина Голядкина.

— Я сейчасъ, мой другъ; я, видишь... мой другъ... я немножко, я, видишь, мой другъ, только секундочку здѣсь... видишь, мой другъ...

— Нешто совсѣмъ не поѣдете? сказалъ, наконецъ, кучеръ рѣшительно и окончательно приступая къ господину Голядкину...

— Нѣтъ, мой другъ, я сейчасъ. Я, видишь, мой другъ, дожидаюсь...

— Такъ-съ...

— Я, видишь, мой другъ... Ты изъ какой деревни, мой милый?

— Мы господскіе...

— И добрыхъ господъ?..

— Нешто...

— Да, мой другъ; ты постой здѣсь, мой другъ. Ты, видишь, мой другъ, ты давно въ Петербургѣ?

— Да ужь годъ ѣзжу...

— И хорошо тебѣ, другъ мой?

— Нешто.

— Да, мой другъ, да. Благодари Провидѣніе, мой другъ. Ты, мой другъ, добраго человѣка ищи. Ныньче добрые люди стали рѣдки, мой милый; онъ обмоетъ, накормитъ и напоитъ тебя, милый мой, добрый-то человѣкъ... А иногда, ты видишь, что и черезъ золото слезы льются, мой другъ... видишь плачевный примѣръ; вотъ оно какъ, милый мой...

Извощику какъ будто стало жалко господина Голядкина.— Да извольте, я подожду-съ. Нешто долго ждать будете-съ?

— Нѣтъ, мой другъ, нѣтъ; я ужь, знаешь, того... я ужь не буду ждать, милый мой. Какъ ты думаешь, другъ мой? Я на тебя полагаюсь. Я ужь не буду здѣсь ждать...

— Нешто совсѣмъ не поѣдете?

— Нѣтъ, мой другъ; нѣтъ, а я тебя поблагодарю, милый мой... вотъ оно какъ. Тебѣ сколько слѣдуетъ, милый мой?

— Да ужь за что рядились, сударь, то и пожалуете. Ждалъ, сударь, долго; ужь вы человѣка не обидите, сударь.

— Ну, вотъ тебѣ, милый мой, вотъ тебѣ. Тутъ господинъ Голядкинъ отдалъ всѣ шесть руб. сер. извощику, и, серьезно рѣшившись не терять болѣе времени, т. е. уйдти по добру по здорову, тѣмъ болѣе, что уже окончательно рѣшено было дѣло и извощикъ отпущенъ былъ, и, слѣдовательно, ждать болѣе нечего, пустился со двора, вышелъ за ворота, поворотилъ налѣво, и безъ оглядки, задыхаясь и радуясь, пустился бѣжать. «Оно,

можетъ быть, и все устроится къ лучшему», думалъ онъ: «а я вотъ такимъ-то образомъ бѣды избѣжалъ». Дѣйствительно, какъ-то вдругъ стало необыкновенно легко въ душѣ господина Голядкина. «Ахъ, кабы устроилось къ лучшему!» подумалъ герой нашъ, самъ, впрочемъ, мало себѣ на-слово вѣря. «Вотъ я и того»... думалъ онъ. «Нѣтъ, я лучше вотъ какъ, и съ другой стороны... Или лучше вотъ этакъ мнѣ сдѣлать?.» Такимъ-то образомъ сомнѣваясь и ища ключа и разрѣшенія сомнѣній своихъ, герой нашъ добѣжалъ до Семеновскаго моста, а, добѣжавъ до Семеновскаго моста, благоразумно и окончательно положилъ воротиться. «Оно и лучше», подумалъ онъ. «Я лучше съ другой стороны, т. е. вотъ какъ. Я буду такъ—наблюдателемъ постороннимъ буду, да и дѣло съ концомъ; дескать, я наблюдатель, лицо постороннее — и только, а тамъ, что ни случись — не я виноватъ. Вотъ оно какъ! Вотъ оно такимъ-то образомъ и будетъ теперь».

Положивъ воротиться, герой нашъ дѣйствительно воротился, тѣмъ болѣе, что, по счастливой мысли своей, ставилъ себя теперь лицомъ совсѣмъ постороннимъ. «Оно-же и лучше: и не отвѣчаешь ни за что, да и увидишь, что слѣдовало... вотъ оно какъ!» То есть, разсчетъ былъ вѣрнѣйшій, да и дѣло съ концомъ. Успокоившись, забрался онъ опять подъ мирную сѣнь своей успокоительной и охранительной кучи дровъ и внимательно сталъ смотрѣть на окна. Въ этотъ разъ смотрѣть и дожидаться пришлось ему недолго. Вдругъ, во всѣхъ окнахъ разомъ, обнаружилось какое-то странное движеніе, замелькали фигуры, открылись занавѣсы, цѣлыя группы людей толпились въ окнахъ Олсуфія Ивановича, всѣ искали и выглядывали чего-то на дворѣ. Обезпеченный своею кучею дровъ, герой нашъ тоже въ свою очередь съ любопытствомъ сталъ слѣдить за всеобщимъ движеніемъ и съ участіемъ вытягивать направо и налѣво свою голову, сколько, по крайней мѣрѣ, позволяла ему короткая тѣнь отъ дровяной кучи, его прикрывавшая. Вдругъ онъ оторопѣлъ, вздрогнулъ и едва не присѣлъ на мѣстѣ отъ ужаса. Ему показалось,—однимъ словомъ, онъ догадался вполнѣ, что искали-то не что нибудь и не кого нибудь: искали просто его, господина Голядкина. Всѣ смотрятъ въ его сторону. Бѣжать было невозможно: увидятъ... Оторопѣвшій господинъ Голядкинъ прижался какъ можно плотнѣе къ дровамъ, и тутъ только замѣтилъ, что предательская тѣнь измѣняла, что прикрывала она не всего его. Съ величайшимъ удовольствіемъ согласился-бы нашъ герой про-

лѣзть теперь въ какую нибудь мышиную щелочку между дровами, да тамъ и сидѣть себѣ смирно, если-бъ только это было возможно. Но было рѣшительно невозможно. Въ агоніи своей онъ сталъ, наконецъ, рѣшительно и прямо смотрѣть на всѣ окна разомъ; оно-же и лучше... И вдругъ сгорѣлъ со стыда окончательно. Его совершенно замѣтили, всѣ разомъ замѣтили, всѣ манятъ его руками, всѣ киваютъ ему головами, всѣ зовутъ его; вотъ щелкнуло и отворилось нѣсколько форточекъ; нѣсколько голосовъ разомъ что-то начали кричать ему... «Удивляюсь, какъ этихъ дѣвчонокъ не сѣкутъ еще съ дѣтства», бормоталъ про себя нашъ герой, совсѣмъ потерявшись. Вдругъ съ крыльца сбѣжалъ *онъ* (извѣстно, кто) въ одномъ вицъ-мундирѣ, безъ шляпы, запыхавшись, юля, сѣменя и подпрыгивая, вѣроломно изъявляя ужаснѣйшую радость о томъ, что увидѣлъ, наконецъ, господина Голядкина.

— Яковъ Петровичъ, защебеталъ извѣстный своей безполезностью человѣкъ. — Яковъ Петровичъ, вы здѣсь? Вы простудитесь. Здѣсь холодно, Яковъ Петровичъ. Пожалуйте въ комнату.

— Яковъ Петровичъ! Нѣтъ-съ, я ничего, Яковъ Петровичъ, покорнымъ голосомъ пробормоталъ нашъ герой.

— Нѣтъ-съ, нельзя, Яковъ Петровичъ; просятъ, покорнѣйше просятъ, ждутъ насъ. «Осчастливьте, дескать, и приведите сюда Якова Петровича», Вотъ какъ-съ.

— Нѣтъ, Яковъ Петровичъ; я, видите-ли, я-бы лучше сдѣлалъ... Мнѣ-бы лучше домой пойдти, Яковъ Петровичъ... говорилъ нашъ герой, горя на мелкомъ огнѣ и замерзая отъ стыда и ужаса, все въ одно время.

— Ни-ни-ни-ни! защебеталъ отвратительный человѣкъ.—Ни-ни-ни, ни за что! Идемъ! сказалъ онъ рѣшительно и потащилъ къ крыльцу господина Голядкина-старшаго. Господинъ Голядкинъ-старшій хотѣлъ было вовсе не идти; но такъ какъ смотрѣли всѣ и сопротивляться и упираться было-бы глупо, то герой нашъ пошелъ—впрочемъ, нельзя сказать, чтобъ пошелъ, потому что рѣшительно самъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается. Да ужъ такъ ничего, за-одно!

Прежде нежели герой нашъ успѣлъ кое-какъ оправиться и опомниться, очутился онъ въ залѣ. Онъ былъ блѣденъ, растрепанъ, растерзанъ; мутными глазами окинулъ онъ всю толпу,— ужасъ! Зала, всѣ комнаты, — все, все было полнымъ полнехонько. Людей было бездна, дамъ цѣлая оранжерея; все это

тѣснилось около господина Голядкина, все это стремилось къ господину Голядкину, все это выносило на плечахъ своихъ господина Голядкина, весьма ясно замѣтившаго, что его упираютъ въ какую-то сторону. «Вѣдь не къ дверямъ», пронеслось въ головѣ господина Голядкина. Дѣйствительно, упирали его не къ дверямъ, а прямо къ покойнымъ кресламъ Олсуфія Ивановича. Возлѣ креселъ, съ одной стороны, стояла Клара Олсуфьевна, блѣдная, томная, грустная, впрочемъ, пышно убранная. Особенно бросились въ глаза господину Голядкину маленькіе бѣленькіе цвѣточки въ ея черныхъ волосахъ, что̀ составляло превосходный эффектъ. Съ другой стороны креселъ держался Владиміръ Семеновичъ, въ черномъ фракѣ, съ новымъ своимъ орденомъ въ петличкѣ. Господина Голядкина вели подъ руки, и, какъ сказано было выше, прямо на Олсуфія Ивановича—съ одной стороны господинъ Голядкинъ-младшій, принявшій на себя видъ чрезвычайно благопристойный и благонамѣренный, чему нашъ герой до-нельзя обрадовался, съ другой-же стороны руководилъ его Андрей Филипповичъ съ самой торжественной миной въ лицѣ. Что̀-бы это? подумалъ господинъ Голядкинъ. Когда-же онъ увидалъ, что ведутъ его къ Олсуфію Ивановичу, то его вдругъ какъ будто молніей озарило. Мысль о перехваченномъ письмѣ мелькнула въ головѣ его. Въ неистощимой агоніи предсталъ нашъ герой передъ кресла Олсуфія Ивановича. «Какъ мнѣ теперь?» подумалъ онъ про себя. «Разумѣется, этакъ все на смѣлую ногу, то есть, съ откровенностью, не лишенною благородства; дескать, такъ и такъ и т. д.». Но чего боялся, повидимому, герой нашъ, то и не случилось. Олсуфій Ивановичъ принялъ, кажется, весьма хорошо господина Голядкина, и хотя не протянулъ ему руки своей, но, по крайней мѣрѣ, смотря на него, покачалъ своею сѣдовласою и внушающею всякое уваженіе головою, — покачалъ съ какимъ-то торжественно-печальнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ благосклоннымъ видомъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, показалось господину Голядкину. Ему показалось даже, что слеза блеснула въ тусклыхъ взорахъ Олсуфія Ивановича; онъ поднялъ глаза и увидѣлъ, что и на рѣсницахъ Клары Олсуфьевны, тутъ-же стоявшей, тоже какъ будто блеснула слезинка,—что и въ глазахъ Владиміра Семеновича тоже какъ будто-бы было что-то подобное, — что, наконецъ, ненарушимое и спокойное достоинство Андрея Филипповича тоже стоило общаго, слезящагося участія,—что, наконецъ, юноша, когда-то весьма походившій на важнаго совѣтника, уже горько рыдалъ, пользуясь

настоящей минутой... Или это все, можетъ быть, только такъ показалось господину Голядкину, потому что онъ самъ весьма прослезился, и ясно слышалъ, какъ текли его горячія слезы по его холоднымъ щекамъ... Голосомъ, полнымъ рыданій, примиренный съ людьми и судьбою, и крайне любя въ настоящее мгновеніе не только Олсуфія Ивановича, не только всѣхъ гостей, взятыхъ вмѣстѣ, но даже и зловреднаго близнеца своего, который теперь, повидимому, вовсе былъ не зловреднымъ и даже не близнецомъ господину Голядкину, но совершенно постороннимъ и крайне любезнымъ самимъ по себѣ человѣкомъ, обратился было герой нашъ къ Олсуфію Ивановичу съ трогательнымъ изліяніемъ души своей; но отъ полноты всего, въ немъ накопившагося, не могъ ровно ничего объяснить, а только весьма краснорѣчивымъ жестомъ, молча, указалъ на свое сердце... Наконецъ, Андрей Филипповичъ, вѣроятно, желая пощадить чувствительность сѣдовласаго старца, отвелъ господина Голядкина немного въ сторону и оставилъ его, впрочемъ, кажется, въ совершенно независимомъ положеніи. Улыбаясь, что-то бормоча себѣ подъ носъ, немного недоумѣвая, но во всякомъ случаѣ почти совершенно примиренный съ людьми и судьбою, началъ пробираться герой нашъ куда-то сквозь густую массу гостей. Всѣ ему давали дорогу, всѣ смотрѣли на него съ какимъ-то страннымъ любопытствомъ и съ какимъ-то необъяснимымъ, загадочнымъ участіемъ. Герой нашъ прошелъ въ другую комнату:—тоже вниманіе вездѣ; онъ глухо слышалъ, какъ цѣлая толпа тѣснилась по слѣдамъ его, какъ замѣчали его каждый шагъ, какъ въ тихомолку всѣ между собою толковали о чемъ-то весьма занимательномъ, качали головами, говорили, судили, рядили и шептались. Господину Голядкину весьма-бы хотѣлось узнать, о чемъ они всѣ такъ судятъ и рядятъ, и шепчутся. Оглянувшись, герой нашъ замѣтилъ подлѣ себя господина Голядкина-младшаго. Почувствовавъ необходимость схватить его руку и отвести его въ сторону, господинъ Голядкинъ убѣдительнѣйше попросилъ другаго Якова Петровича содѣйствовать ему при всѣхъ будущихъ начинаніяхъ и не оставлять его въ критическомъ случаѣ. Господинъ Голядкинъ-младшій важно кивнулъ головою и крѣпко сжалъ руку господина Голядкина-старшаго. Сердце затрепетало отъ избытка чувствъ въ груди героя нашего. Впрочемъ, онъ задыхался, онъ чувствовалъ, что его такъ тѣснитъ-тѣснитъ; что всѣ эти глаза, на него обращенные, какъ-то гнетутъ и давятъ его... Господинъ Голядкинъ увидалъ мимоходомъ того совѣтника, который носилъ па-

рикъ на головѣ. Совѣтникъ глядѣлъ на него строгимъ, испытующимъ взглядомъ, вовсе не смягченнымъ отъ всеобщаго участія... Герой нашъ рѣшился было идти къ нему прямо, чтобъ улыбнуться ему и немедленно съ нимъ объясниться; но дѣло какъ-то не удалось. На одно мгновеніе господинъ Голядкинъ почти забылся совсѣмъ, потерялъ и память, и чувства... Очнувшись, замѣтилъ онъ, что вертится въ широкомъ кругу его обступившихъ гостей. Вдругъ изъ другой комнаты крикнули господина Голядкина; крикъ разомъ пронесся по всей толпѣ. Все заволновалось, все зашумѣло, всѣ ринулись къ дверямъ первой залы; героя нашего почти вынесли на рукахъ, причемъ твердосердый совѣтникъ въ парикѣ очутился бокъ о бокъ съ господиномъ Голядкинымъ. Наконецъ, онъ взялъ его за руку и посадилъ возлѣ себя, напротивъ сѣдалища Олсуфія Ивановича, въ довольно значительномъ, впрочемъ, отъ него разстояніи. Всѣ, кто ни были въ комнатахъ, всѣ усѣлись въ нѣсколькихъ рядахъ, кругомъ господина Голядкина и Олсуфія Ивановича. Все затихло и присмирѣло, всѣ наблюдали торжественное молчаніе, всѣ взглядывали на Олсуфія Ивановича, очевидно, ожидая чего-то не совсѣмъ обыкновеннаго. Господинъ Голядкинъ замѣтилъ, что возлѣ креселъ Олсуфія Ивановича, и тоже прямо противъ совѣтника, помѣстился другой господинъ Голядкинъ съ Андреемъ Филипповичемъ. Молчаніе длилось; чего-то дѣйствительно ожидали. «Точь въ точь, какъ въ семьѣ какой нибудь, при отъѣздѣ кого нибудь въ дальній путь, стоитъ только встать, да помолиться теперь», подумалъ герой нашъ. Вдругъ обнаружилось необыкновенное движеніе и прервало всѣ размышленія господина Голядкина. Случилось что-то давно ожидаемое. «Ѣдетъ, ѣдетъ!» пронеслось по толпѣ. «Кто это ѣдетъ?» пронеслось въ головѣ господина Голядкина, и онъ вздрогнулъ отъ какого-то страннаго ощущенія. «Пора!» сказалъ совѣтникъ, внимательно посмотрѣвъ на Андрея Филипповича. Андрей Филипповичъ, съ своей стороны, взглянулъ на Олсуфія Ивановича. Важно и торжественно кивнулъ головой Олсуфій Ивановичъ. «Встанемъ», проговорилъ совѣтникъ, подымая господина Голядкина. Всѣ встали. Тогда совѣтникъ взялъ за руку господина Голядкина-старшаго, а Андрей Филипповичъ господина Голядкина-младшаго, и оба торжественно свели двухъ совершенно подобныхъ, среди обставшей ихъ кругомъ и устремившейся въ ожиданіи толпы. Герой нашъ съ недоумѣніемъ осмотрѣлся кругомъ, но его тотчасъ остановили и указали ему на господина Голядкина-младшаго, который протя-

нулъ ему руку. «Это мирить насъ хотятъ», подумалъ герой нашъ, и съ умиленіемъ протянулъ свою руку господину Голядкину-младшему; потомъ, потомъ протянулъ къ нему свою голову. Тоже сдѣлалъ и другой господинъ Голядкинъ... Тутъ господину Голядкину-старшему показалось, что вѣроломный другъ его улыбается, что бѣгло и плутовски мигнулъ всей окружающей ихъ толпѣ, что есть что-то зловѣщее въ лицѣ неблагопристойнаго господина Голядкина-младшаго, что даже онъ отпустилъ гримасу какую-то въ минуту іудина своего поцалуя... Въ головѣ зазвонило у господина Голядкина, въ глазахъ потемнѣло; ему показалось, что бездна, цѣлая вереница совершенно подобныхъ Голядкиныхъ, съ шумомъ вламываются во всѣ двери комнаты; но было поздно... Звонкій, предательскій поцалуй раздался, и...

Тутъ случилось совсѣмъ неожиданное обстоятельство... Двери въ залу растворились съ шумомъ, и на порогѣ показался человѣкъ, котораго одинъ видъ оледенилъ господина Голядкина. Ноги его приросли къ землѣ. Крикъ замеръ въ его стѣсненной груди. Впрочемъ, господинъ Голядкинъ зналъ все заранѣе и давно уже предчувствовалъ что-то подобное. Незнакомецъ важно и торжественно приближался къ господину Голядкину. Господинъ Голядкинъ эту фигуру очень хорошо зналъ. Онъ ее видѣлъ, очень часто видалъ, еще сегодня видѣлъ... Незнакомецъ былъ высокій, плотный человѣкъ, въ черномъ фракѣ, съ значительнымъ крестомъ на шеѣ, и одаренный густыми, весьма черными бакенбардами; не доставало только сигарки во рту для дальнѣйшаго сходства... Зато взглядъ незнакомца, какъ уже сказано было, оледенилъ ужасомъ господина Голядкина. Съ важной и торжественной миной подошелъ страшный человѣкъ къ плачевному герою повѣсти нашей... Герой нашъ протянулъ ему руку; незнакомецъ взялъ его руку и потащилъ за собою... Съ потеряннымъ, съ убитымъ лицомъ оглянулся кругомъ нашъ герой...

— Это, это Крестьянъ Ивановичъ Рутеншпицъ, докторъ медицины и хирургіи, вашъ давнишній знакомецъ, Яковъ Петровичъ! защебеталъ чей-то противный голосъ подъ самымъ ухомъ господина Голядкина. Онъ оглянулся: то былъ, отвратительный подлыми качествами души своей, близнецъ господина Голядкина. Неблагопристойная, зловѣщая радость сіяла въ лицѣ его; съ восторгомъ онъ теръ свои руки, съ восторгомъ повертывалъ кругомъ свою голову, съ восторгомъ сѣменилъ кругомъ всѣхъ и каждаго; казалось, готовъ былъ тутъ-же начать танцовать отъ

восторга; наконецъ, онъ прыгнулъ впередъ, выхватилъ свѣчку у одного изъ слугъ и пошелъ впередъ, освѣщая дорогу господину Голядкину и Крестьяну Ивановичу. Господинъ Голядкинъ слышалъ ясно, какъ все, что̀ ни было въ залѣ, ринулось вслѣдъ за нимъ; какъ всѣ тѣснились, давили другъ друга и всѣ вмѣстѣ, въ голосъ, начинали повторять за господиномъ Голядкинымъ: что это ничего; что не бойтесь, Яковъ Петровичъ, что это вѣдь старинный другъ и знакомецъ вашъ, Крестьянъ Ивановичъ Рутеншпицъ... Наконецъ, вышли на парадную, ярко освѣщенную лѣстницу; на лѣстницѣ была тоже куча народа; съ шумомъ растворились двери на крыльцо, и господинъ Голядкинъ очутился на крыльцѣ вмѣстѣ съ Крестьяномъ Ивановичемъ. У подъѣзда стояла карета, запряженная четверней лошадей, которыя фыркали отъ нетерпѣнія. Злорадственный господинъ Голядкинъ-младшій въ три прыжка сбѣжалъ съ лѣстницы и самъ отворилъ карету. Крестьнъ Ивановичъ увѣщательнымъ жестомъ попросилъ садиться господина Голядкина. Впрочемъ, увѣщательнаго жеста было вовсе не нужно; было довольно народу подсаживать... Замирая отъ ужаса, оглянулся господинъ Голядкинъ назадъ: вся ярко-освѣщенная лѣстница была унизана народомъ; любопытные глаза глядѣли на него отовсюду; самъ Олсуфій Ивановичъ предсѣдалъ на самой верхней площадкѣ лѣстницы, въ своихъ покойныхъ креслахъ, и внимательно, съ сильнымъ участіемъ, смотрѣлъ на все совершавшееся. Всѣ ждали. Ропотъ нетерпѣнія пробѣжалъ по толпѣ, когда господинъ Голядкинъ оглянулся назадъ.

— Я надѣюсь, что здѣсь нѣтъ ничего... ничего предосудительнаго... или могущаго возбудить строгость... и вниманіе всѣхъ, касательно оффиціальныхъ отношеній моихъ? проговорилъ потерявшись герой нашъ. Говоръ и шумъ поднялся кругомъ, всѣ отрицательно закивали головами своими. Слезы брызнули изъ глазъ господина Голядкина.

— Въ такомъ случаѣ, я готовъ... я ввѣряюсь вполнѣ... и вручаю судьбу мою Крестьяну Ивановичу...

Только что проговорилъ господинъ Голядкинъ, что онъ вручаетъ вполнѣ свою судьбу Крестьяну Ивановичу, какъ страшный, оглушительный, радостный крикъ вырвался у всѣхъ окружавшихъ его, и самымъ зловѣщимъ откликомъ прокатился по всей ожидавшей толпѣ. Тутъ Крестьянъ Ивановичъ съ одной стороны, а съ другой—Андрей Филипповичъ, взяли подъ руку господина Голядкина и стали сажать въ карету; двойникъ-же, по подленькому обыкновенію своему, подсаживалъ сзади. Несчастный госпо-

динъ Голядкинъ-старшій бросилъ свой послѣдній взглядъ на всѣхъ и на все и, дрожа какъ котенокъ, котораго окатили холодной водой,—если позволятъ сравненіе,—влѣзъ въ карету; за нимъ тотчасъ-же сѣлъ и Крестьянъ Ивановичъ. Карета захлопнулась; послышался ударъ кнута по лошадямъ, лошади рванули экипажъ съ мѣста... все ринулось вслѣдъ за господиномъ Голядкинымъ. Пронзительные, неистовые крики всѣхъ враговъ его покатились ему вслѣдъ, въ видѣ напутствія. Нѣкоторое время еще мелькали кое-какія лица кругомъ кареты, уносившей господина Голядкина; но мало по малу стали отставать-отставать и, наконецъ, исчезли совсѣмъ. Долѣе всѣхъ оставался неблагопристойный близнецъ господина Голядкина. Заложа руки въ боковые карманы своихъ зеленыхъ форменныхъ брюкъ, бѣжалъ онъ съ довольнымъ видомъ, подпрыгивая то съ одной, то съ другой стороны экипажа; иногда-же, схватившись за рамку окна и повиснувъ на ней, просовывалъ въ окно свою голову и, въ знакъ прощанія, посылалъ господину Голядкину поцалуйчики; но и онъ сталъ уставать, все рѣже и рѣже появлялся и, наконецъ, исчезъ совершенно. Глухо занывало сердце въ груди господина Голядкина; кровь горячимъ ключомъ била ему въ голову; ему было душно, ему хотѣлось разстегнуться, обнажить свою грудь, обсыпать ее снѣгомъ и облить холодной водой. Онъ впалъ, наконецъ, въ забытье... Когда-же очнулся, то увидѣлъ, что лошади несутъ его по какой-то ему незнакомой дорогѣ. Направо и налѣво чернѣлись лѣса; было глухо и пусто. Вдругъ онъ обмеръ: два огненные глаза смотрѣли на него въ темнотѣ и зловѣщею, адскою радостію блестѣли эти два глаза.—Это не Крестьянъ Ивановичъ! Кто это? Или это онъ? Онъ! Это Крестьянъ Ивановичъ, но только не прежній, это другой Крестьянъ Ивановичъ! Это ужасный Крестьянъ Ивановичъ!..

— Крестьянъ Ивановичъ, я... я, кажется, ничего, Крестьянъ Ивановичъ,—началъ было робко и трепеща нашъ герой, желая хоть сколько нибудь, покорностію и смиреніемъ, умилосердить ужаснаго Крестьяна Ивановича.

— Ви получаитъ казенный квартиръ, съ дровами, съ лихтъ и съ прислугой, чего ви недостоинъ,—строго и ужасно, какъ приговоръ, прозвучалъ отвѣтъ Крестьяна Ивановича.

Герой нашъ вскрикнулъ и схватилъ себя за голову. Увы! Онъ это давно уже предчувствовалъ.

ГОСПОДИНЪ ПРОХАРЧИНЪ

РАЗСКАЗЪ.

Въ первый разъ напечатанъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1846 г., томъ 48-й.

Въ квартирѣ Устиньи Ѳедоровны, въ уголкѣ самомъ темномъ и скромномъ, помѣщался Семенъ Ивановичъ Прохарчинъ, человѣкъ уже пожилой, благомыслящій и непьющій. Такъ какъ господинъ Прохарчинъ, при мелкомъ чинѣ своемъ, получалъ жалованья въ совершенную мѣру своихъ служебныхъ способностей, то Устинья Ѳедоровна никакимъ образомъ не могла имѣть съ него болѣе пяти рублей за квартиру по мѣсячно. Говорили иные, что у ней былъ тутъ свой особый разсчетъ; но какъ-бы тамъ ни было, а господинъ Прохарчинъ, словно въ отместку всѣмъ своимъ злоязычникамъ, попалъ даже въ ея фавориты, разумѣя это достоинство въ значеніи благородномъ и честномъ. Нужно замѣтить, что Устинья Ѳедоровна, весьма почтенная и дородная женщина, имѣвшая особенную наклонность къ скоромной пищѣ и кофею и черезъ силу перемогавшая посты, держала у себя нѣсколько штукъ такихъ постояльцевъ, которые платили даже и вдвое дороже Семена Ивановича, но, не бывъ смирными и будучи, напротивъ того, всѣ до единаго «злыми надсмѣшниками» надъ ея бабьимъ дѣломъ и сиротскою беззащитностью, сильно проигрывали въ добромъ ея мнѣніи, такъ что не плати они только денегъ за свои помѣщенія, такъ она не только жить пустить, но и видѣть-то не захотѣла-бы ихъ у себя на квартирѣ. Въ фавориты-же Семенъ Ивановичъ попалъ съ того самаго времени, какъ свезли на Волково увлеченнаго пристрастіемъ къ крѣпкимъ напиткамъ отставнаго, или, можетъ быть, гораздо лучше будетъ сказать, одного исключеннаго человѣка. Увлеченный и исключенный, хотя и ходилъ съ подбитымъ, по словамъ его, за храбрость глазомъ и имѣлъ одну ногу, тамъ какъ-то тоже изъ-за храбрости сломанную,—но тѣмъ не менѣе умѣлъ снискать и воспользоваться всѣмъ тѣмъ благорасположеніемъ, къ которому только способна была Устинья Ѳедоровна, и, вѣроятно, долго-бы прожилъ еще въ качествѣ самаго вѣрнаго ея приспѣшника и приживальщика, если-бъ не опился, наконецъ, самымъ глубокимъ, плачевнѣйшимъ образомъ. Случилось же это все еще на Пескахъ,

когда Устинья Ѳедоровна держала всего только трехъ постояльцевъ, изъ которыхъ при переѣздѣ на новую квартиру, гдѣ образовалось заведеніе на болѣе обширную ногу и пригласилось около десятка новыхъ жильцовъ, уцѣлѣлъ всего только одинъ господинъ Прохарчинъ.

Самъ-ли господинъ Прохарчинъ имѣлъ свои неотъемлемые недостатки, товарищи-ль его обладали таковыми-же каждый,— но дѣла съ обѣихъ сторонъ пошли съ самаго начала какъ будто не ладно. Замѣтимъ здѣсь, что всѣ до единаго изъ новыхъ жильцовъ Устиньи Ѳедоровны жили между собою словно братья родные; нѣкоторые изъ нихъ вмѣстѣ служили; всѣ вообще поочередно каждое первое число проигрывали другъ другу свои жалованья въ банчишку, въ преферансъ и на биксѣ: любили подъ веселый часъ всѣ вмѣстѣ гурьбой насладиться, какъ говорилось у нихъ, шипучими мгновеніями жизни; любили иногда тоже поговорить о высокомъ, и хотя въ послѣднемъ случаѣ дѣло рѣдко обходилось безъ спора, но такъ какъ предразсудки были изъ всей этой компаніи изгнаны, то взаимное согласіе въ такихъ случаяхъ не нарушалось нисколько. Изъ жильцовъ особенно замѣчательны были: Маркъ Ивановичъ, умный и начитанный человѣкъ; потомъ еще Оплеваніевъ-жилецъ; потомъ еще Преполовенко-жилецъ, тоже скромный и хорошій человѣкъ; потомъ еще былъ одинъ Зиновій Прокофьевичъ, имѣвшій непремѣнною цѣлью попасть въ высшее общество; наконецъ, писарь Океановъ, въ свое время едва не отбившій пальму первенства и фаворитства у Семена Ивановича; потомъ еще другой писарь Судьбинъ; Кантаревъ разночинецъ;—были еще и другіе. Но всѣмъ этимъ людямъ Семенъ Ивановичъ былъ какъ будто не товарищъ. Зла ему, конечно, никто не желалъ, тѣмъ болѣе, что всѣ еще въ самомъ началѣ умѣли отдать Прохарчину справедливость и рѣшили словами Марка Ивановича, что онъ, Прохарчинъ, человѣкъ хорошій и смирный, хотя и не свѣтскій, вѣренъ, не льстецъ, имѣетъ, конечно, свои недостатки, но если пострадаетъ когда, то не отъ чего инаго, какъ отъ недостатка собственнаго своего воображенія. Мало того: хотя лишенный такимъ образомъ собственнаго своего воображенія, господинъ Прохарчинъ фигурою своей и манерами не могъ, напримѣръ, никого поразить съ особенно выгодной для себя точки зрѣнія (къ чему любятъ придраться насмѣшники), но и фигура сошла ему съ рукъ, какъ будто ни въ чемъ не бывало; при чемъ Маркъ Ивановичъ, будучи умнымъ человѣкомъ, принялъ формально защиту Семена Ивановича и объявилъ

довольно удачно и въ прекрасномъ, цвѣтистомъ слогѣ, что Прохарчинъ человѣкъ пожилой и солидный и уже давнымъ давно оставилъ за собой свою пору элегій. Итакъ, если Семенъ Ивановичъ не умѣлъ уживаться съ людьми, то единственно потому, что былъ самъ во всемъ виноватъ.

Первое, на что̀ обратили вниманіе, было, безъ сомнѣнія, скопидомство и скаредность Семена Ивановича. Это тотчасъ замѣтили и приняли въ счетъ, ибо Семенъ Ивановичъ никакъ ни за что и никому не могъ одолжить своего чайника на подержаніе, хотя-бы то было на самое малое время; и тѣмъ болѣе былъ несправедливъ въ этомъ дѣлѣ, что самъ почти совсѣмъ не пилъ чаю, а пилъ, когда была надобность, какой-то довольно пріятный настой изъ полевыхъ цвѣтовъ и нѣкоторыхъ цѣлебнаго свойства травъ, всегда въ значительномъ количествѣ у него запасенный. Впрочемъ, онъ и ѣлъ тоже совсѣмъ не такимъ образомъ, какъ обыкновенно ѣдятъ всякіе другіе жильцы. Никогда, напримѣръ, онъ не позволялъ себѣ съѣсть всего обѣда, предлагаемаго каждодневно Устиньей Ѳедоровной его товарищамъ. Обѣдъ стоилъ полтину; Семенъ Ивановичъ употреблялъ только 25 коп. мѣдью и никогда не восходилъ выше, и потому бралъ по порціямъ или одни щи съ пирогомъ, или одну говядину; чаще-же всего не ѣлъ ни щей, ни говядины, а съѣдалъ въ мѣру ситнаго съ лукомъ, съ творогомъ, съ огурцомъ разсольнымъ, или съ другими приправами, что̀ было несравненно дешевле, и только тогда, когда уже не въ мочь становилось, обращался опять къ своей половинѣ обѣда...

Здѣсь біографъ сознается, что онъ ни за что-бы не рѣшился говорить о такихъ нестоющихъ, низкихъ и даже щекотливыхъ, скажемъ болѣе, даже обидныхъ для инаго любителя благороднаго слога подробностяхъ, если-бъ во всѣхъ этихъ подробностяхъ не заключалась одна особенность, одна господствующая черта въ характерѣ героя сей повѣсти; ибо господинъ Прохарчинъ далеко не былъ такъ скуденъ, какъ самъ иногда увѣрялъ, чтобъ даже харчей не имѣть постоянныхъ и сытныхъ, но дѣлалъ противное, не боясь стыда и людскихъ пересудовъ, собственно для удовлетворенія своихъ странныхъ прихотей, изъ скопидомства и излишней осторожности, что, впрочемъ, гораздо яснѣе будетъ видно впослѣдствіи. Но мы остережемся наскучить читателю описаніемъ всѣхъ прихотей Семена Ивановича и не только пропускаемъ, напримѣръ, любопытное и очень смѣшное для читателя описаніе всѣхъ нарядовъ его, но даже, если-бъ только не по-

казаніе самой Устиньи Ѳедоровны, наврядъ-ли упомянули-бы мы и о томъ, что Семенъ Ивановичъ во всю жизнь свою никакъ не могъ рѣшиться отдать свое бѣлье въ стирку, или рѣшался, но такъ рѣдко, что въ промежуткахъ можно было совершенно забыть о присутствіи бѣлья на Семенѣ Ивановичѣ. Въ показаніи-же хозяйкиномъ значилось, что «Семенъ-отъ Ивановичъ младъ-голубчикъ, согрѣй его душеньку, гноилъ у ней уголъ два десятка лѣтъ, стыда не имѣя, ибо не только все время земнаго житія своего, постоянно и съ упорствомъ чуждался носковъ, платковъ и другихъ подобныхъ предметовъ, но даже сама Устинья Ѳедоровна собственными глазами видѣла, съ помощію ветхости ширмъ, что ему, голубчику, нечѣмъ было подъ-часъ своего бѣлаго тѣльца прикрыть». Такіе толки пошли уже по кончинѣ Семена Ивановича. Но при жизни своей (и здѣсь-то былъ одинъ изъ главнѣйшихъ пунктовъ раздора) онъ никакимъ образомъ не могъ потерпѣть, не смотря даже на самыя пріятныя отношенія товарищества, чтобъ кто нибудь не спросясь совалъ свой любопытный носъ къ нему въ уголъ, хотя-бы то было даже и съ помощію ветхости ширмъ. Человѣкъ былъ совсѣмъ несговорчивый, молчаливый и на праздную рѣчь неподатливый. Совѣтниковъ не любилъ никакихъ, выскочекъ тоже не жаловалъ, и всегда, бывало, тутъ-же на мѣстѣ укоритъ насмѣшника или совѣтника-выскочку, пристыдитъ его, и дѣло съ концомъ. «Ты мальчишка, ты свистунъ, а не совѣтникъ, вотъ какъ; знай, сударь, свой карманъ, да лучше сосчитай, мальчишка, много-ли нитокъ на твои онучки пошло, вотъ какъ!» Семенъ Ивановичъ былъ простой человѣкъ и всѣмъ рѣшительно говорилъ *ты*. Тоже никакъ не могъ онъ стерпѣть, когда кто нибудь, зная, всегдашній норовъ его, начнетъ, бывало, изъ одного баловства приставать и разспрашивать, что у него лежитъ въ сундучкѣ... У Семена Ивановича былъ одинъ сундучокъ. Этотъ стоялъ у него подъ кроватью и оберегаемъ былъ какъ зеница ока; и хотя всѣ знали, что въ немъ, кромѣ старыхъ тряпицъ, двухъ или трехъ паръ изъянившихся сапоговъ и вообще всякаго случившагося хламу и дрязгу, ровно не было ничего, но господинъ Прохарчинъ цѣнилъ это движимое свое весьма высоко, и даже слышали разъ, какъ онъ, не довольствуясь своимъ старымъ, но довольно крѣпкимъ замкомъ, поговаривалъ завести другой, какой-то особенный, нѣмецкой работы, съ разными затѣями и съ потайною пружиною. Когда-же одинъ разъ Зиновій Прокофьевичъ, увлеченный своимъ молодоуміемъ, обнаружилъ весьма не-

приличную и грубую мысль, что Семенъ Ивановичъ, вѣроятно, таитъ и откладываетъ въ свой сундукъ, чтобъ оставить потомкамъ, то всѣ, кто тутъ ни были около, принуждены были въ столбнякъ стать отъ необыкновенныхъ послѣдствій выходки Зиновья Прокофьевича. Во первыхъ, господинъ Прохарчинъ на такую обнаженную и грубую мысль даже выраженій приличныхъ не могъ сразу найдти. Долгое время изъ устъ его сыпались слова безъ всякаго смысла, и наконецъ только разобрали, что Семенъ Ивановичъ, во первыхъ, коритъ Зиновья Прокофьича однимъ его давнопрошедшимъ скареднымъ дѣломъ; потомъ распознали, будто Семенъ Ивановичъ предсказываетъ, что Зиновій Прокофьичъ ни за что не попадетъ въ высшее общество, а что вотъ портной, которому онъ долженъ за платье, его прибьетъ, непремѣнно прибьетъ за то, что долго мальчишка не платитъ, и что, «наконецъ, ты мальчишка», прибавилъ Семенъ Ивановичъ: «вишь, тамъ хочешь въ гусарскіе юнкера перейдти, такъ вотъ не перейдешь, грибъ съѣшь, а что вотъ тебя, мальчишку, какъ начальство узнаетъ про все, возьмутъ, да въ писаря отдадутъ; вотъ-молъ какъ, слышь ты, мальчишка!» Потомъ Семенъ Ивановичъ успокоился, но, полежавъ часовъ пять, къ величайшему и всеобщему изумленію, какъ будто надумался и вдругъ опять, сначала одинъ, а потомъ, обращаясь къ Зиновію Прокофьичу, началъ его вновь укорять и стыдить. Но тѣмъ дѣло опять не кончилось и по вечеру, когда Маркъ Ивановичъ и Преполовенко-жилецъ затѣяли чай, пригласивъ къ себѣ въ товарищи писаря Океанова, Семенъ Ивановичъ слѣзъ съ постели своей, нарочно подсѣлъ къ нимъ, давъ свои двадцать или пятнадцать копѣекъ, и подъ видомъ того, что захотѣлъ вдругъ пить чаю, началъ весьма пространно входить въ матерію и изъяснять, что бѣдный человѣкъ, всего только бѣдный человѣкъ, а болѣе ничего, а что, бѣдному человѣку, ему копить не изъ чего. Тутъ господинъ Прохарчинъ даже признался, единственно потому, что вотъ теперь оно къ слову пришлось, что онъ бѣдный человѣкъ; еще третьяго дня, у него, дерзкаго человѣка, занять хотѣлъ денегъ рубль, а что теперь не займетъ, чтобъ не хвалился, мальчишка, что вотъ молъ какъ, а жалованье у меня-де такое, что и корму не купишь; и что, наконецъ, онъ, бѣдный человѣкъ, вотъ такой, какъ вы его видите, самъ каждый мѣсяцъ своей золовкѣ по пяти рублей въ Тверь отсылаетъ, и что не отсылай онъ въ Тверь золовкѣ по пяти рублей въ мѣсяцъ, такъ умерла-бы золовка, а если-бъ умерла-бы золовка-нахлѣбница, то Семенъ Ивановичъ

давно-бы себѣ новую одежу состроилъ... И такъ долго и пространно говорилъ Семенъ Ивановичъ о бѣдномъ человѣкѣ, о рубляхъ и золовкѣ, и повторялъ одно и тоже для сильнѣйшаго внушенія слушателямъ, что, наконецъ, сбился совсѣмъ, замолчалъ, и только три дня спустя, когда уже никто и не думалъ его задирать, и все объ немъ позабыли, прибавилъ въ заключеніе что-то въ родѣ того, что когда Зиновій Прокофьичъ вступитъ въ гусары, такъ отрубятъ ему, дерзкому человѣку, ногу въ войнѣ, и надѣнутъ ему, вмѣсто ноги, деревяшку, и придетъ Зиновій Прокофьичъ и скажетъ: «дай добрый человѣкъ, Семенъ Ивановичъ, хлѣбца!» Такъ не дастъ Семенъ Ивановичъ хлѣбца и не посмотритъ на буйнаго человѣка, Зиновія Прокофьевича, и что вотъ, дескать, какъ молъ; поди-ка ты съ нимъ.

Все это, какъ и слѣдовало тому быть, показалось весьма любопытнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ страхъ какъ забавнымъ. Долго не думая, всѣ хозяйкины жильцы соединились для дальнѣйшихъ изслѣдованій и, собственно изъ одного любопытства, рѣшились наступить на Семена Ивановича гурьбою, и окончательно. И такъ какъ господинъ Прохарчинъ въ свое послѣднее время, то есть съ самыхъ тѣхъ поръ, какъ сталъ жить въ компаніи, тоже чрезвычайно какъ полюбилъ обо всемъ узнавать, разспрашивать и любопытствовать, что, вѣроятно, дѣлалъ для какихъ-то собственныхъ тайныхъ причинъ, то сношенія обѣихъ враждебныхъ сторонъ начинались безъ всякихъ предварительныхъ приготовленій и безъ тщетныхъ усилій, но какъ будто случаемъ и сами собою. Для начатія сношеній, у Семена Ивановича былъ всегда въ запасѣ свой особый, довольно хитрый и весьма, впрочемъ, замысловатый маневръ, частію уже извѣстный читателю: слѣзетъ, бывало, съ постели своей около того времени какъ надо пить чай, и если увидитъ, что собрались другіе гдѣ нибудь въ кучку для составленія напитка, подойдетъ къ нимъ какъ скромный, умный и ласковый человѣкъ, дастъ свои законныя двадцать копѣекъ и объявитъ, что желаетъ участвовать. Тутъ молодежь перемигивалась, и такимъ образомъ согласясь межъ собой на Семена Ивановича, начинала разговоръ сначала приличный и чинный. Потомъ какой нибудь повострѣе пускался, какъ будто ни въ чемъ не бывалъ, разсказывать про разныя новости, и чаще всего о матеріяхъ лживыхъ и совершенно неправдоподобныхъ. То, напримѣръ, что будто-бы слышалъ кто-то сегодня, какъ его превосходительство сказали самому Демиду Васильевичу, что, по ихъ мнѣнію, женатые чиновники «выйдутъ» посолиднѣе неженатыхъ и къ повышенію

чиномъ удобнѣе; ибо смирные и въ бракѣ значительно болѣе пріобрѣтаютъ способностей, и что потому онъ, то есть разскащикъ, чтобъ удобнѣе отличиться и пріобрѣсти, стремится какъ можно скорѣе сочетаться бракомъ съ какой нибудь Ѳевроньей Прокофьевной. То, напримѣръ, что будто-бы неоднократно замѣчено про разныхъ иныхъ изъ ихъ братьи, что лишены они всякой свѣтскости и хорошихъ, пріятныхъ манеръ, а слѣдовательно и не могутъ нравиться въ обществѣ дамамъ, и что потому, для искорененія сего злоупотребленія, послѣдуетъ немедленно вычетъ у получающихъ жалованье, и на складочную сумму устроится такой залъ, гдѣ будутъ учить танцовать, пріобрѣтать всѣ признаки благородства и хорошее обращеніе, вѣжливость, почтеніе къ старшимъ, сильный характеръ, доброе, признательное сердце и разныя пріятныя манеры. То, наконецъ, говорили, что будто-бы выходитъ такое, что нѣкоторые чиновники, начиная съ самыхъ древнѣйшихъ, должны для того, чтобъ немедленно сдѣлаться образованными, какой-то экзаменъ по всѣмъ предметамъ держать и что такимъ образомъ, прибавлялъ разсказчикъ, многое выйдетъ на чистую воду, и нѣкоторымъ господамъ придется положить свои карты на столъ, — однимъ словомъ, разсказывались тысяча такихъ или тому подобныхъ пренелѣпѣйшихъ толковъ. Для вида всѣ тотчасъ вѣрили, принимали участіе, разспрашивали, на себя смекали, а нѣкоторые, принявъ грустный видъ, начинали покачивать головами и совѣтовъ повсюду искать, какъ будто въ томъ смыслѣ, что, дескать, что̀-же имъ будетъ дѣлать, если ихъ постигнетъ? Само собой разумѣется, что и тотъ человѣкъ, который былъ бы гораздо менѣе добродушенъ и смиренъ, чѣмъ господинъ Прохарчинъ, смѣшался и запутался-бы отъ такого всеобщаго толка. Кромѣ того, по всѣмъ признакамъ можно совершенно безошибочно заключить, что Семенъ Ивановичъ былъ чрезвычайно тупъ и тугъ на всякую новую, для его разума непривычную мысль и что, получивъ, напримѣръ, какую нибудь новость, всегда принужденъ былъ сначала ее какъ будто переваривать и пережевывать, толку искать, сбиваться и путаться, и наконецъ развѣ одолѣвать ее, но и тутъ какимъ-то совершенно особеннымъ, ему только одному свойственнымъ образомъ... Открылись такимъ образомъ въ Семенѣ Ивановичѣ вдругъ разныя любопытныя и доселѣ неподозрѣваемыя свойства... Пошли пересуды и говоръ, и все это какъ было и съ прибавленіями дошло, наконецъ, своимъ путемъ въ канцелярію. Способствовало эффекту и то, что господинъ Про-

харчинъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, бывъ съ незапамятныхъ временъ почти все въ одномъ и томъ-же лицѣ, перемѣнилъ физіономію: лицо сталъ имѣть безпокойное, взгляды пугливые, робкіе и немного подозрительные; сталъ чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться, и, къ довершенію всѣхъ новыхъ качествъ своихъ, страхъ какъ полюбилъ отыскивать истину. Любовь къ истинѣ довелъ онъ, наконецъ, до того, что рискнулъ раза два справиться о вѣроятности ежедневно десятками получаемыхъ имъ новостей, даже у самого Демида Васильевича, и если мы здѣсь умалчиваемъ о послѣдствіяхъ этой выходки Семена Ивановича, то не отъ чего инаго, какъ отъ сердечнаго состраданія къ его репутаціи. Такимъ образомъ, нашли что онъ мизантропъ и пренебрегаетъ приличіями общества. Нашли потомъ, что много въ немъ фантастическаго, и тутъ тоже совсѣмъ не ошиблись; ибо неоднократно замѣчено было, что Семенъ Ивановичъ иногда совсѣмъ забывается и, сидя на мѣстѣ съ разинутымъ ртомъ и съ поднятымъ въ воздухъ перомъ, какъ будто застывшій или окаменѣвшій, походитъ болѣе на тѣнь разумнаго существа, чѣмъ на тоже разумное существо. Случалось нерѣдко, что какой нибудь невинно-зазѣвавшійся господинъ вдругъ встрѣчая его бѣглый, мутный и чего-то ищущій взглядъ, приходилъ въ трепетъ, робѣлъ и немедленно ставилъ на нужной бумагѣ или жида, или какое нибудь совершенно ненужное слово. Неблагопристойность поведенія Семена Ивановича смущала и оскорбляла истинно благородныхъ людей... Наконецъ, никто уже болѣе не сталъ сомнѣваться въ фантастическомъ направленіи головы Семена Ивановича, когда въ одно прекрасное утро, пронесся по всей канцеляріи слухъ, что господинъ Прохарчинъ испугалъ даже самого Демида Васильевича, ибо, встрѣтивъ его въ корридорѣ, былъ такъ чуденъ и страненъ, что принудилъ его отступить... Проступокъ Семена Ивановича дошелъ, наконецъ, и до него самого. Услышавъ о немъ, онъ немедленно всталъ, бережно прошелъ между столами и стульями, достигъ передней, собственноручно снялъ шинель, надѣлъ, вышелъ—и исчезъ на неопредѣленное время. Оробѣлъ-ли онъ, влекло-ль его что̀ другое—не знаемъ, но ни дома, ни въ канцеляріи на время его не нашлось...

Мы не будетъ объяснять судьбы Семена Ивановича прямофантастическимъ его направленіемъ; но однако-жь не можемъ не замѣтить читателю, что герой нашъ—человѣкъ не свѣтскій, совсѣмъ смирный, и жилъ до того самаго времени, какъ попалъ

въ компанію, въ глухомъ, непроницаемомъ уединеніи, отличался тихостію и даже какъ будто таинственностью; ибо все время послѣдняго житья своего на Пескахъ лежалъ на кровати за ширмами, молчалъ и сношеній не держалъ никакихъ. Оба старые его сожителя жили совершенно такъ же, какъ онъ: оба были тоже какъ будто таинственны и тоже пятнадцать лѣтъ пролежали за ширмами. Въ патріархальномъ затишьи тянулись одинъ за другимъ, счастливые, дремотные дни и часы, и такъ какъ все вокругъ тоже шло своимъ добрымъ чередомъ и порядкомъ, то ни Семенъ Ивановичъ, ни Устинья Ѳедоровна ужь и не помнили даже хорошенько, когда ихъ и судьба-то свела. «А не то десять лѣтъ, не то ужь пятнадцать, не то ужь и всѣ тѣ-же двадцать пять» говорила она подъ часъ своимъ новымъ жильцамъ, «какъ онъ, голубчикъ, у меня основался, согрѣй его душеньку». И потому весьма естественно, что пренепріятно былъ изумленъ непривычный къ компаніи герой нашей повѣсти, когда ровно годъ тому назадъ очутился онъ, солидный и скромный, вдругъ посреди шумливой и безпокойной ватаги цѣлаго десятка молодыхъ ребятъ, своихъ новыхъ сожителей и товарищей.

Исчезновеніе Семена Ивановича надѣлало не малой суматохи въ углахъ. Одно то, что онъ былъ фаворитъ; во вторыхъ-же, паспортъ его, бывшій подъ сохраненіемъ хозяйки, оказался на ту пору ненарокомъ затеряннымъ. Устинья Ѳедоровна взвыла,— къ чему прибѣгала во всѣхъ критическихъ случаяхъ; ровно два дня корила, поносила жильцовъ; причитала, что загоняли у ней жильца какъ цыпленка, и что сгубили его «всѣ тѣ-же злые надсмѣшники», а на третій выгнала всѣхъ искать и добыть бѣглеца во что-бы ни стало, живаго иль мертваго. По вечеру пришелъ первый писарь Судьбинъ и объявилъ, что слѣдъ отыскался, что видѣлъ онъ бѣглеца на Толкучемъ и по другимъ мѣстамъ, ходилъ за нимъ, близко стоялъ, но говорить не посмѣлъ, а былъ неподалеку отъ него и на пожарѣ, когда загорѣлся домъ въ Кривомъ переулкѣ. Полчаса спустя, явились Океановъ и Кантаревъ-разночинецъ, подтвердили Судьбина слово въ слово: тоже недалеко стояли, близко, всего только въ десяти шагахъ отъ него ходили, но говорить опять не посмѣли, а замѣтили оба, что ходилъ Семенъ Ивановичъ съ попрошайкой-пьянчужкой. Собрались, наконецъ, и остальные жильцы и, внимательно выслушавъ, рѣшили, что Прохарчинъ долженъ быть теперь недалеко и не замедлитъ придти; но что они и прежде всѣ знали, что ходитъ онъ съ попрошайкой - пьянчужкой. По-

прошайка-пьянчужка былъ человѣкъ совсѣмъ скверный, буйный и льстивый, и по всему было видно, что онъ какъ нибудь тамъ обольстилъ Семена Ивановича. Явился онъ ровно за недѣлю до исчезновенія Семена Ивановича, вмѣстѣ съ Ремневымъ-товарищемъ, проживалъ малое время въ углахъ, разсказалъ, что страдаетъ за правду, что прежде служилъ по уѣздамъ, что наѣхалъ на нихъ ревизоръ, что пошатнули какъ-то за правду его и компанію, что явился онъ въ Петербургъ и палъ въ ножки къ Порфирію Григорьевичу, что помѣстили его, по ходатайству, въ одну канцелярію, но что, по жесточайшему гоненію судьбы, упразднили его и отсюда, затѣмъ что уничтожилась сама канцелярія, получивъ измѣненіе; а въ преобразовавшійся новый штатъ чиновниковъ его не приняли, сколько по прямой неспособности къ служебному дѣлу, столько и по причинѣ способности къ одному другому совершенно постороннему дѣлу, — вмѣстѣ-же со всѣмъ этимъ за любовь къ правдѣ, и, наконецъ, по кознямъ враговъ. Кончивъ исторію, въ продолженіе которой господинъ Зимовейкинъ неоднократно лобызалъ своего суроваго и небритаго друга Ремнева, онъ поочередно поклонился всѣмъ бывшимъ въ комнатѣ въ ножки, не забывъ Авдотью-работницу, назвалъ ихъ всѣхъ благодѣтелями и объяснилъ, что онъ человѣкъ недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый, а чтобъ не взыскали добрые люди на его горемычной долѣ и простотѣ. Испросивъ покровительства, господинъ Зимовейкинъ оказался весельчакомъ, сталъ очень радъ, цѣловалъ у Устиньи Ѳедоровны ручки, не смотря на скромныя увѣренія ея, что рука у ней подлая, не дворянская, а къ вечеру обѣщалъ всему обществу показать свой талантъ въ одномъ замѣчательномъ характерномъ танцѣ. Но на завтра-же дѣло его окончилось плачевной развязкой. Иль оттого, что характерный танецъ оказался ужь слишкомъ характернымъ, иль оттого, что онъ Устинью Ѳедоровну, по словамъ ея, какъ-то «опозорилъ и опростоволосилъ, а ей къ тому-же самъ Ярославъ Ильичъ знакомъ и если-бъ захотѣла она, то давно-бы сама была оберъ-офицерской женой», — только Зимовейкину пришлось уплывать во-свояси. Онъ ушелъ, опять воротился, былъ опять съ безчестіемъ изгнанъ, втерся потомъ во вниманіе и милость Семена Ивановича, лишилъ его мимоходомъ новыхъ ретузъ и, наконецъ, явился теперь опять въ качествѣ обольстителя Семена Ивановича.

Лишь только хозяйка узнала, что Семенъ Ивановичъ былъ живъ и здоровъ и что паспорта искать теперь нечего, то немед-

ленно оставила горевать и пошла успокоиться. Тѣмъ временемъ кое-кто изъ жильцовъ рѣшились сдѣлать торжественный пріемъ бѣглецу: испортили задвижку и отодвинули ширмы отъ кровати пропавшаго, немножко поизмяли постель, взяли извѣстный сундукъ, помѣстили его на кровати въ ногахъ, а на кровать положили золовку, т. е. куклу, форму, сдѣланную изъ стараго хозяйкина платка, чепца и салопа, но только совершенно на подобіе золовки, такъ что можно было совсѣмъ обмануться. Кончивъ работу, стали ждать, съ тѣмъ, чтобъ, по прибытіи Семена Ивановича, объявить ему, что пришла изъ уѣзда золовка и помѣстилась у него за ширмами, бѣдная. Но ждали-ждали, ждали-ждали... Уже въ ожиданіи, Маркъ Ивановичъ прометалъ и проставилъ полмѣсячное жалованье Преполовенкѣ и Кантареву-жильцамъ; уже весь носъ покраснѣлъ и вспухъ у Океанова за игрой въ носки и въ три листика; уже Авдотья-работница почти совсѣмъ выспалась и два раза собиралась вставать, дрова таскать, печку топить, и весь до нитки промокъ Зиновій Прокофьевичъ, поминутно выбѣгая во дворъ навѣдываться о Семенѣ Ивановичѣ; но не явилось еще никого—ни Семена Ивановича, ни попрошайки-пьянчужки. Наконецъ, всѣ спать полегли, оставивъ на всякій случай золовку за ширмами; и только въ четыре часа раздался стукъ у воротъ, но зато такой сильный, что совершенно вознаградилъ ожидавшихъ за всѣ тяжкіе труды, ими понесенные. Это былъ онъ, онъ самый, Семенъ Ивановичъ, господинъ Прохарчинъ, но только въ такомъ положеніи, что всѣ ахнули, и никому и въ мысль не пришло о золовкѣ. Пропавшій явился безъ памяти. Его ввели, или, лучше сказать, внесъ его на плечахъ весь измокшій и издрогшій, оборванный ночной ванька-извощикъ. На вопросъ хозяйки, гдѣ-же онъ такъ, горемычный, наклюкался, ванька отвѣчалъ: «да не пьянъ, и маковой не было; это ужь тебя завѣряю, а вѣрно такъ омракъ нашелъ, или столбнякомъ, какъ тамъ ни есть, прихватило, или, може, кондрашка *) пришибъ». Стали разсматривать, для удобства прислонивъ виноватаго къ печкѣ, и увидѣли, что дѣйствительно хмѣлю тутъ не было, да и кондрашка не трогалъ, а былъ другой какой ни есть грѣхъ, за тѣмъ, что Семенъ Ивановичъ и языкомъ не ворочалъ, а какъ будто судорогой его какой дергало, и только хлопалъ глазами, въ недоумѣніи установляясь то на того, то на другаго ночнымъ образомъ костюмированнаго зрителя. Стали

*) Ударъ.

потомъ спрашивать ваньку, отколева взялъ? «Да отъ какихъ-то», отвѣчалъ онъ, — «изъ Коломны, шутъ ихъ знаетъ, господа не господа, а гулявшіе, веселые господа; такъ таки вотъ такого и сдали; подрались они, что-ли, или судорогой какой его передернуло, Богъ знаетъ какого тутъ было; а господа веселые, хорошіе!» Взяли Семена Ивановича, приподняли на пару-другую дюжихъ плечъ и снесли на кровать. Когда-же Семенъ Ивановичъ, помѣщаясь на постель, ощупалъ собою золовку и уперъ ноги въ свой завѣтный сундукъ, то вскрикнулъ благимъ матомъ, усѣлся почти на карячки и, весь дрожа и трепеща, загребъ и замѣстилъ сколько могъ руками и тѣломъ пространства на своей кровати, тогда какъ трепещущимъ, но странно-рѣшительнымъ взоромъ окидывая присутствующихъ, казалось, изъяснялъ, что скорѣе умретъ, чѣмъ уступитъ кому нибудь хоть сотую капельку изъ бѣдной своей благостыни...

Семенъ Ивановичъ пролежалъ дня два или три, плотно-обставленный ширмами и отдѣленный такимъ образомъ отъ всего Божьяго свѣта и всѣхъ напрасныхъ его треволненій. Какъ слѣдуетъ, на завтра-же всѣ о немъ позабыли; время летѣло межъ тѣмъ своимъ чередомъ, часы смѣнялись часами, день другимъ. Полусонъ, полубредъ налегли на отяжелѣвшую, горячую голову больнаго; но онъ лежалъ смирно, не стоналъ и не жаловался; напротивъ, притихъ, молчалъ и крѣпился, приплюснувъ себя къ постели своей, словно какъ заяцъ припадаетъ отъ страха къ землѣ, заслышавъ охоту. Порой наставала въ квартирѣ долгая, тоскливая тишина,—знакъ, что всѣ жильцы удалялись по должности, и просыпавшійся Семенъ Ивановичъ могъ сколько угодно развлекать тоску свою, прислушиваясь къ близкому шороху въ кухнѣ, гдѣ хлопотала хозяйка, или къ мѣрному отшлепыванію стоптанныхъ башмаковъ Авдотьи-работницы по всѣмъ комнатамъ, когда она, охая и кряхтя, прибирала, притирала и приглаживала во всѣхъ углахъ для порядка. Цѣлые часы проходили такимъ образомъ, дремотные, лѣнивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мѣрно въ кухнѣ съ залавка въ лахань. Наконецъ, приходили жильцы, по очередно или кучками и Семенъ Ивановичъ очень удобно могъ слышать, какъ они бранили погоду, хотѣли ѣсть, какъ шумѣли, курили, бранились, дружились, играли въ карты и стучали чашками, собираясь пить чай. Семенъ Ивановичъ машинально дѣлалъ усиліе привстать и просоединиться законнымъ образомъ для составленія напитка, но тутъ-же впадалъ въ усыпленіе и грезилъ, что уже давно

сидитъ за чайнымъ столомъ, участвуетъ и бесѣдуетъ, и что Зиновій Прокофьевичъ успѣлъ уже, пользуясь случаемъ, вклеить въ разговоръ какой-то проэктъ о золовкахъ и о нравственномъ отношеніи къ нимъ различныхъ хорошихъ людей. Тутъ Семенъ Ивановичъ поспѣшилъ было оправдаться и возразить, но разомъ слетѣвшая со всѣхъ языковъ могуче форменная фраза, «неоднократно замѣчено» окончательно осѣкла всѣ его возраженія, и Семенъ Ивановичъ ничего не могъ придумать лучшаго, какъ начать снова грезить о томъ, что сегодня первое число и что онъ получаетъ цѣлковики въ своей канцеляріи. Развернувъ бумажку на лѣстницѣ, онъ быстро оглянулся кругомъ и поспѣшилъ какъ можно скорѣе отдѣлить цѣлую половину изъ законнаго возмездія, имъ полученнаго, и припрятать эту половину въ сапогъ, потомъ, тутъ-же на лѣстницѣ и вовсе не обращая вниманія на то, что дѣйствуетъ на своей постели, во снѣ, рѣшилъ, пришедъ домой, немедленно воздать, что слѣдуетъ, за харчи и постой хозяйкѣ своей, потомъ накупить кой чего необходимаго и показать кому слѣдуетъ, какъ будто безъ намѣренія и нечаянно, что подвергся вычету, что остается ему и всего ничего и что вотъ и золовкѣ-то послать теперь нечего, причемъ погоревать тутъ-же о золовкѣ, много говорить о ней завтра и послѣ завтра, и дней черезъ десять еще повторить мимоходомъ объ ея нищетѣ, чтобъ не забыли товарищи. Рѣшивъ такимъ образомъ, онъ увидѣлъ, что и Андрей Ефимовичъ, тотъ самый маленькій, вѣчно-молчаливый лысый человѣчекъ, который помѣщался въ канцеляріи за цѣлыя три комнаты отъ мѣста сидѣнья Семена Ивановича и въ двадцать лѣтъ не сказалъ съ нимъ ни слова, стоитъ тутъ-же на лѣстницѣ, тоже считаетъ свои рубли серебромъ и, тряхнувъ головою, говоритъ ему: «денежки-съ!»— «Ихъ не будетъ и каши не будетъ-съ», сурово прибавляетъ онъ, сходя съ лѣстницы, и уже на крыльцѣ заключаетъ: «а у меня, сударь, семеро-съ». Тутъ лысый человѣчекъ, тоже, вѣроятно, нисколько не замѣчая, что дѣйствуетъ какъ призракъ, а вовсе не на яву и въ дѣйствительности, показалъ ровно аршинъ съ вершкомъ отъ полу и махнувъ рукой въ нисходящей линіи, пробормоталъ, что старшій ходитъ въ гимназію; затѣмъ, съ негодованіемъ взглянувъ на Семена Ивановича, какъ будто-бы именно господинъ Прохарчинъ виноватъ былъ въ томъ, что у него цѣлыхъ семеро, нахлобучилъ на глаза свою шляпенку, тряхнулъ шинелью, поворотилъ налѣво и скрылся. Семенъ Ивановичъ весьма испугался, и хотя былъ совершенно увѣренъ въ

невинности своей на счетъ непріятнаго стеченія числа семерыхъ подъ одну кровлю, но на дѣлѣ какъ будто-бы именно такъ выходило, что виноватъ никто другой, какъ Семенъ Ивановичъ. Испугавшись, онъ принялся бѣжать, ибо показалось ему, что лысый господинъ воротился, догоняетъ его и хочетъ, обшаривъ, отнять все возмездіе, опираясь на свое неотъемлемое число семерыхъ и рѣшительно отрицая всякое возможное отношеніе какихъ-бы то ни было золовокъ къ Семену Ивановичу. Прохарчинъ бѣжалъ, бѣжалъ, задыхался... рядомъ съ нимъ бѣжало тоже чрезвычайно много людей, и всѣ они побрякивали своими возмездіями въ заднихъ карманахъ своихъ кургузыхъ фрачишекъ: наконецъ, весь народъ побѣжалъ, загремѣли пожарныя трубы, и цѣлыя волны народа вынесли его почти на плечахъ на тотъ самый пожаръ, на которомъ онъ присутствовалъ въ послѣдній разъ, вмѣстѣ съ попрошайкой-пьянчужкой. Пьянчужка,—иначе господинъ Зимовейкинъ,—находился уже тамъ, встрѣтилъ Семена Ивановича, страшно захлопоталъ, взялъ его за руку и повелъ въ самую густую толпу. Такъ-же, какъ и тогда на яву, кругомъ нихъ гремѣла и гудѣла необозримая толпа народа, запрудивъ межъ двумя мостами всю набережную Фонтанки, всѣ окрестныя улицы и переулки; такъ-же, какъ и тогда, вынесло Семена Ивановича, вмѣстѣ съ пьянчужкой, за какой-то заборъ, гдѣ притиснули ихъ какъ въ клещахъ на огромномъ дровяномъ дворѣ, полномъ зрителями, собравшимися съ улицъ, съ Толкучаго рынка и изъ всѣхъ окрестныхъ домовъ, трактировъ и кабаковъ. Семенъ Ивановичъ видѣлъ все такъ-же и по тогдашнему чувствовалъ; въ вихрѣ горячки и бреда начали мелькать передъ нимъ разныя странныя лица. Онъ припомнилъ изъ нихъ кой-кого. Одинъ былъ тотъ самый, чрезвычайно внушавшій всѣмъ господинъ, въ сажень ростомъ и съ аршинными усищами, помѣщавшійся во время пожара за спиной Семена Ивановича и задававшій сзади ему поощренія, когда нашъ герой, съ своей стороны, почувствовавъ нѣчто въ родѣ восторга, затопалъ ножонками, какъ будто желая такимъ образомъ апплодировать молодецкой пожарной работѣ, которую совершенно видѣлъ съ своего возвышенія. Другой—тотъ самый дюжій парень, отъ котораго герой нашъ пріобрѣлъ тумака въ видѣ подсадки на другой заборъ, когда было совсѣмъ расположился лѣзть черезъ него, можетъ быть, кого-то спасать. Мелькнула передъ нимъ и фигура того старика съ геморoидальнымъ лицомъ, въ ветхомъ, чѣмъ-то подпоясанномъ, ватномъ халатишкѣ, отлучившагося было еще до

пожара въ лавочку за сухарями и табакомъ своему жильцу и пробивавшагося теперь съ молочникомъ и съ четверкой въ рукахъ сквозь толпу, до дома, гдѣ горѣли у него жена, дочка и тридцать съ полтиною денегъ въ углу подъ периной. Но всего внятнѣе явилась ему та бѣдная, грѣшная баба, о которой онъ уже не разъ грезилъ во время болѣзни своей,—представилась такъ, какъ была тогда—въ лаптишкахъ, съ костылемъ, съ плетеной котомкой за спиною и въ рубищѣ. Она кричала громче пожарныхъ и народа, размахивая костылемъ и руками, о томъ, что выгнали ее откуда-то дѣти родныя и что пропали при семъ случаѣ тоже два пятака. Дѣти и пятаки, пятаки и дѣти вертѣлись на ея языкѣ въ непонятной, глубокой безсмыслицѣ, отъ которой всѣ отступились, послѣ тщетныхъ усилій понять; но баба не унималась, все кричала, выла, размахивала руками, не обращая, казалось, никакого вниманія ни на пожаръ, на который занесло ее народомъ съ улицы, ни на весь людъ-людской, около нея бывшій, ни на чужое несчастіе, ни даже на головешки и искры, которыя уже начали было пудрить весь около стоявшій народъ. Наконецъ, господинъ Прохарчинъ почувствовалъ, что на него начинаетъ нападать ужасъ; ибо видѣлъ ясно, что все это какъ будто не спроста теперь дѣлается и что даромъ ему не пройдетъ. И дѣйствительно, тутъ-же недалеко отъ него взмостился на дрова какой-то мужикъ, въ разорванномъ, ничѣмъ неподпоясанномъ армякѣ, съ опаленными волосами и бородой и началъ подымать весь Божій народъ на Семена Ивановича. Толпа густѣла-густѣла, мужикъ кричалъ и, цѣпенѣя отъ ужаса, господинъ Прохарчинъ вдругъ припомнилъ, что мужикъ—тотъ самый извощикъ, котораго онъ ровно пять лѣтъ назадъ надулъ безчеловѣчнѣйшимъ образомъ, скользнувъ отъ него до расплаты въ сквозныя ворота и подбирая подъ себя на бѣгу свои пятки такъ, какъ будто-бы бѣжалъ босикомъ по раскаленной плитѣ. Отчаянный господинъ Прохарчинъ хотѣлъ говорить, кричать, но голосъ его замиралъ. Онъ чувствовалъ, какъ вся разъяренная толпа обвиваетъ его подобно пестрому змѣю, давитъ, душитъ. Онъ сдѣлалъ невѣроятное усиліе и—проснулся. Тутъ онъ увидѣлъ, что горитъ, что горитъ весь его уголъ, горятъ его ширмы, вся квартира горитъ, вмѣстѣ съ Устиньей Ѳедоровной и со всѣми ея постояльцами, что горитъ его кровать, подушка, одѣяло, сундукъ и, наконецъ, его драгоцѣнный тюфякъ. Семенъ Ивановичъ вскочилъ, вцѣпился въ тюфякъ и побѣжалъ, волоча его за собою. Но въ хозяйкиной комнатѣ, куда было забѣжалъ нашъ герой

такъ, какъ былъ, безъ приличія, босой и въ рубашкѣ, его перехватили, скрутили и побѣдно снесли обратно за ширмы, которыя, между прочимъ, совсѣмъ не горѣли, а горѣла скорѣе голова Семена Ивановича,—и уложили въ постель. Подобно тому укладываетъ въ свой походный ящикъ оборванный, небритый и суровый артистъ-шарманщикъ своего пульчинеля, набуянившаго, переколотившаго всѣхъ, продавшаго душу чорту и наконецъ, оканчивающаго существованіе свое до новаго представленія въ одномъ сундукѣ вмѣстѣ съ тѣмъ-же чортомъ, съ арапами, съ Петрушкой, съ мамзель Катериной и счастливымъ любовникомъ ея, капитаномъ-исправникомъ.

Немедленно всѣ обступили Семена Ивановича, старый и малый, помѣстившись рядкомъ вокругъ его кровати и устремивъ на больнаго полныя ожиданія лица. Между тѣмъ онъ очнулся, но отъ совѣсти-ль, или инаго чего, началъ вдругъ изо всѣхъ силъ натягивать на себя одѣяло, желая, вѣроятно, укрыться подъ нимъ отъ вниманія сочувствователей. Наконецъ, Маркъ Ивановичъ первый прервалъ молчаніе и, какъ умный человѣкъ, началъ весьма ласково говорить, что Семену Ивановичу нужно совсѣмъ успокоиться, что болѣть скверно и стыдно, что такъ дѣлаютъ только дѣти маленькія, что нужно выздоравливать, а потомъ и служить. Окончилъ Маркъ Ивановичъ шуточкой, сказавъ, что больнымъ не означенъ еще вполнѣ окладъ жалованья, и такъ какъ онъ твердо знаетъ, что и чины идутъ весьма небольшіе, то, по его разумѣнію, по крайней мѣрѣ, такое званіе или состояніе не приноситъ большихъ, существенныхъ выгодъ. Однимъ словомъ, видно было, что всѣ принимали дѣйствительное участіе въ судьбѣ Семена Ивановича и весьма сердобольничали. Но онъ съ непонятною грубостью продолжалъ лежать на кровати, молчать и упорно все болѣе и болѣе натягивать на себя одѣяло. Маркъ Ивановичъ, однако, не призналъ себя побѣжденнымъ и, скрѣпивъ сердце, сказалъ опять что-то очень сладенькое Семену Ивановичу, зная, что такъ и должно поступать съ больнымъ человѣкомъ; но Семенъ Ивановичъ не хотѣлъ и почувствовать; напротивъ, промычалъ что-то сквозь зубы съ самымъ недовѣрчивымъ видомъ и вдругъ началъ совершенно непріязненнымъ образомъ косить изъ подлобья направо и налѣво глазами, казалось, желая взглядомъ своимъ обратить въ прахъ всѣхъ сочувствователей. Тутъ ужь нечего было останавливаться: Маркъ Ивановичъ не вытерпѣлъ и, видя, что человѣкъ просто далъ себѣ слово упорствовать, оскорбясь и разсердившись совсѣмъ, объявилъ

напрямки и уже безъ сладкихъ околичностей, что пора вставать, что лежать на двухъ бокахъ нечего, что кричать днемъ и ночью о пожарахъ, золовкахъ, пьянчужкахъ, замкахъ, сундукахъ, и чортъ знаетъ объ чемъ еще—глупо, неприлично и оскорбительно для человѣка, ибо если Семенъ Ивановичъ спать не желаетъ, такъ чтобы другимъ не мѣшалъ и чтобъ онъ, наконецъ, это все изволилъ намотать себѣ на усъ. Рѣчь произвела свое дѣйствіе, ибо Семенъ Ивановичъ, немедленно обернувшись къ оратору, съ твердостью объявилъ, хотя еще слабымъ и хриплымъ голосомъ, что «ты, мальчишка, молчи! Празднословный ты человѣкъ, сквернословъ ты! Слышь, каблукъ! Князь ты, а? Понимаешь штуку?» Услышавъ такое. Маркъ Ивановичъ вспылилъ, но, замѣтивъ, что дѣйствуетъ съ больнымъ человѣкомъ, великодушно пересталъ обижаться, а, напротивъ, попробовалъ его пристыдить, но осѣкся и тутъ; ибо Семенъ Ивановичъ сразу замѣтилъ, что шутить съ собой не позволитъ, даромъ что Маркъ Ивановичъ стихи сочинилъ. Послѣдовало двухминутное молчаніе; наконецъ, опомнившись отъ своего изумленія, Маркъ Ивановичъ прямо, ясно, весьма краснорѣчиво, хотя не безъ твердости, объявилъ, что Семенъ Ивановичъ долженъ знать, что онъ межъ благородныхъ людей и что, «милостивый государь, должны понимать, какъ поступаютъ съ благороднымъ лицомъ». Маркъ Ивановичъ умѣлъ при случаѣ краснорѣчиво сказать и любилъ внушить своимъ слушателямъ. Съ своей стороны, Семенъ Ивановичъ говорилъ и поступалъ, вѣроятно, отъ долгой привычки молчать, болѣе въ отрывистомъ родѣ, и кромѣ того, когда, напримѣръ, случалось ему вести долгую фразу, то, по мѣрѣ углубленія въ нее, каждое слово, казалось, рождало еще по другому слову, другое слово, тотчасъ при рожденіи, по третьему, третье по четвертому и т. д., такъ что набивался полонъ ротъ, начиналась перхота, и набивныя слова принимались, наконецъ, вылетать въ самомъ живописномъ безпорядкѣ. Вотъ почему Семенъ Ивановичъ, будучи умнымъ человѣкомъ, говоритъ иногда страшный вздоръ. «Врешь ты», отвѣчалъ онъ теперь: «дѣтина, гулявый ты парень! А вотъ какъ надѣнешь суму, — побираться пойдешь; ты-жь вольнодумецъ, ты-жь потаскунъ; вотъ оно тебѣ, стихотворецъ!»

— Да вы это все еще бредите, что-ли, Семенъ Ивановичъ?

— А, слышь, отвѣчалъ Семенъ Ивановичъ: — бредитъ дуракъ, пьянчужка бредитъ, песъ бредитъ, а мудрый благоразумному служитъ. Ты, слышь, дѣла ты не знаешь, потаскливый ты человѣкъ, ученый ты, книга ты писаная! А вотъ возьмешь, сго-

ришь, такъ не замѣтишь, какъ голова, отгоритъ, вотъ, слышалъ исторію?!

— Да... то есть, какъ-же... то есть, какъ-же вы это говорите, Семенъ Ивановичъ, что голова отгоритъ?..

Маркъ Ивановичъ и не докончилъ, ибо всѣ увидѣли ясно, что Семенъ Ивановичъ еще не отрезвился и бредитъ; но хозяйка не вытерпѣла и тутъ-же замѣтила, что домъ въ Кривомъ переулкѣ ономнясь отъ лысой дѣвки сгорѣлъ; что лысая дѣвка тамъ такая была; она свѣчку зажгла и чуланъ запалила, а у ней не случится, и что въ углахъ будетъ цѣло.

— Да вѣдь, Семенъ Ивановичъ! закричалъ внѣ себя Зиновій Прокофьевичъ, перебивая хозяйку: — Семенъ Ивановичъ, такой вы, сякой, прошедшій вы, простой человѣкъ, шутки тутъ, что-ли, съ вами шутятъ теперь про вашу золовку, или экзамены съ танцами? Такъ оно что-ли? Этакъ вы думаете?

— Ну, слышь ты теперь, отвѣчалъ нашъ герой, приподымаясь съ постели, собравъ послѣднія силы, и въ конецъ озлясь на сочувствователей: — шутъ кто? Ты шутъ, песъ шутъ, шутовскій человѣкъ, а шутки дѣлать по твоему, сударь, приказу не буду; слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга!

Тутъ Семенъ Ивановичъ хотѣлъ еще что-то сказать, но въ безсиліи упалъ на постель. Сочувствователи остались въ недоумѣніи, всѣ разинули рты, ибо смекнули теперь, во что̀ Семенъ Ивановичъ ногой ступилъ и не знали съ чего начать; вдругъ дверь въ кухнѣ скрипнула, отворилась и пьянчужка-пріятель,— иначе господинъ Зимовейкинъ,—робко просунулъ голову, осторожно обнюхивая, по своему обычаю, мѣстность. Его точно ждали; всѣ разомъ замахали ему, чтобъ шелъ поскорѣе, и Зимовейкинъ, чрезвычайно обрадовавшись, не снимая шинели, и поспѣшно и въ полной готовности протолкался къ постели Семена Ивановича.

Видно было, что Зимовейкинъ провелъ всю ночь въ бдѣніи и въ какихъ-то важныхъ трудахъ. Правая сторона его лица была чѣмъ-то заклеена; опухшія вѣки были влажны отъ гноившихся глазъ; фракъ и все платье было изорвано, при чемъ вся лѣвая сторона одѣянія была какъ будто опрыскана чѣмъ-то крайне дурнымъ, можетъ быть, грязью изъ какой нибудь лужи. Подъ мышкой у него была чья-то скрипка, которую онъ куда-то несъ продавать. Повидимому, не ошиблись, призвавъ его на помощь, ибо тотчасъ, узнавъ въ чемъ сила, обратился онъ къ накуралесившему Семену Ивановичу и съ видомъ такого чело-

вѣка который имѣетъ превосходство и, сверхъ того, знаетъ штуку, сказалъ: «что ты, Сенька, вставай! Что ты, Сенька, Прохарчинъ-мудрецъ, благоразумію послужи! Не то стащу, если куражиться будешь; не куражься!» Такая краткая, но сильная рѣчь удивила присутствующихъ; еще болѣе всѣ удивились, когда замѣтили, что Семенъ Ивановичъ, услышавъ все это и увидавъ передъ собою такое лицо, до того оторопѣлъ и пришелъ въ смущеніе и робость, что едва-едва и только сквозь зубы, шепотомъ, рѣшился пробормотать необходимое возраженіе. — Ты, несчастный, ступай, сказалъ онъ, — ты несчастный, воръ ты! Слышь, понимаешь? Тузъ ты, князь, тузовый ты человѣкъ!

— Нѣтъ, братъ, протяжно отвѣчалъ Зимовейкинъ, сохраняя все присутствіе духа;—не хорошо, ты, братъ-мудрецъ, Прохарчинъ, прохарчинскій ты человѣкъ! продолжалъ Зимовейкинъ, немного пародируя Семена Ивановича и съ удовольствіемъ озираясь кругомъ:—ты не куражься! Смирись, Сеня, смирись, не то донесу, все, братецъ ты мой, разскажу, понимаешь?

Кажется, Семенъ Ивановичъ все разобралъ, ибо вздрогнулъ, когда выслушалъ заключеніе рѣчи, и вдругъ началъ быстро и съ совершенно-потеряннымъ видомъ озираться кругомъ. Довольный эффектомъ, господинъ Зимовейкинъ хотѣлъ продолжать, но Маркъ Ивановичъ тотчасъ-же предупредилъ его рвеніе и, выждавъ время, пока Семенъ Ивановичъ притихъ, присмирѣлъ и почти совсѣмъ успокоился, началъ долго и благоразумно внушать безпокойному, что «питать подобныя мысли, какъ у него теперь въ головѣ, во первыхъ, безполезно, во вторыхъ, не только безполезно, но даже и вредно; наконецъ, не столько вредно, сколько даже совсѣмъ безнравственно; и причина тому та, что Семенъ Ивановичъ всѣхъ въ соблазнъ вводитъ и дурной примѣръ подаетъ». Отъ такой рѣчи всѣ ожидали благоразумнаго слѣдствія. Къ тому-же Семенъ Ивановичъ былъ теперь совсѣмъ тихъ и возражалъ умѣренно. Начался скромный споръ. Адрессовались къ нему братски, освѣдомляясь, чего онъ такъ заробѣлъ? Семенъ Ивановичъ отвѣтилъ, но иносказательно. Ему возразили; Семенъ Ивановичъ возразилъ. Возразили еще по разу съ обѣихъ сторонъ, а потомъ ужь вмѣшались всѣ, и старый и малый, ибо рѣчь началась вдругъ о такомъ дивномъ и странномъ предметѣ, что рѣшительно не знали, какъ это все выразить. Споръ, наконецъ, дошелъ до нетерпѣнія, нетерпѣніе до криковъ, крики даже до слезъ и Маркъ Ивановичъ отошелъ, наконецъ, съ пѣной бѣшенства у рта, объявивъ, что не зналъ до сихъ поръ такого

гвоздя человѣка. Оплеваніевъ плюнулъ, Океановъ перепугался, Зиновій Прокофьевичъ прослезился, а Устинья Ѳедоровна завыла совсѣмъ, причитая, что уходитъ жилецъ, и рехнулся, что умретъ онъ младъ безъ паспорта, не скажется, а она сирота, и что ее затаскаютъ. Однимъ словомъ, всѣ, наконецъ, увидѣли ясно, что посѣвъ былъ хорошъ, что все, что̀ ни вздумалось сѣять, сторицею взошло, что почва была благодатная и что Семену Ивановичу удалось отработать въ ихъ компаніи свою голову на славу и на самый безвозвратный манеръ. Всѣ замолчали, ибо если видѣли, что Семенъ Ивановичъ отъ всего заробѣлъ, то на этотъ разъ заробѣли и сами сочувствователи...

— Какъ! закричалъ Маркъ Ивановичъ:—да чего-жь вы боитесь-то? Чего-жь вы рехнулись-то? Кто объ васъ думаетъ, сударь вы мой? Имѣете-ли право бояться-то? Кто вы? Что̀ вы? Нуль, сударь, блинъ круглый, вотъ что̀! Что вы стучите-то? Бабу на улицѣ придавило, такъ и васъ переѣдетъ? Пьяница какой нибудь кармана не сберегъ, такъ и вамъ фалды отрѣжутъ? Домъ сгорѣлъ, такъ и у васъ голова отгоритъ, а? Такъ, что-ли, сударь? Такъ-ли, батюшка? Такъ-ли?

— Ты, ты, ты глупъ! бормоталъ Семенъ Ивановичъ:—носъ отъѣдятъ, самъ съ хлѣбомъ съѣшь, не замѣтишь...

— Каблукъ, пусть каблукъ, кричалъ Маркъ Ивановичъ, не вслушавшись:—каблуковый я человѣкъ, пожалуй. Да вѣдь мнѣ не экзаменъ держать, не жениться, не танцамъ учиться; подо мной, сударь, мѣсто не сломится. Что̀, батюшка? Такъ вамъ и мѣста широкаго нѣтъ? Полъ тамъ подъ вами провалится, что-ли?

— А что̀? Тебя что-ли спросятъ? Закроютъ, и нѣтъ.

— Нѣтъ. Что̀ закроютъ?! Что̀ тамъ еще у васъ, а?

— А вотъ пьянчужку ссадили...

— Ссадили; да вѣдь то-же пьянчужка, а вы да я—человѣкъ!

— Ну, человѣкъ. А она стоитъ, да и нѣтъ...

— Нѣтъ! Да кто она-то?

— Да она, канцелярія... кан-це-ля-рія!!!

— Да, блаженный вы человѣкъ! Да вѣдь она нужна, канцелярія-то...

— Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вотъ послѣ завтра какъ нибудь тамъ и ненужна. Вотъ, слышалъ исторію...

— Да вѣдь вамъ жалованье-жь дадутъ годовое! Ѳома, Ѳома вы такой, невѣрный вы человѣкъ! По старшинству въ иномъ мѣстѣ уважутъ...

— Жалованье? А я вотъ проѣлъ жалованье, воры придутъ, деньги возьмутъ; а у меня золовка, слышь ты? Золовка! Гвоздырь ты...

— Золовка! Человѣкъ вы...

— Человѣкъ; а я человѣкъ а ты, начитанный, глупъ; слышь, гвоздырь, гвоздыревый ты человѣкъ, вотъ что̀! А я не по шуткамъ твоимъ говорю; а оно мѣсто такое есть, что возьметъ да и уничтожается мѣсто. И Демидъ, слышь ты, Демидъ Васильевичъ говоритъ, что уничтожается мѣсто...

— Ахъ, вы, Демидъ, Демидъ! Грѣховодникъ, да вѣдь...

— Да, хлопъ да и баста, и будешь безъ мѣста; поди ты съ нимъ, вотъ...

— Да вы, наконецъ, просто врете, или ряхнулись совсѣмъ! Вы намъ просто скажите; ужь что̀? Признайтесь, коль грѣхъ такой есть! Стыдиться-то нечего! Рехнулся, батюшка, а?

— Рехнулся! Съ ума сошелъ! раздалось кругомъ, и всѣ ломали руки съ отчаянія, а Марка Ивановича уже обхватила въ обѣ руки хозяйка, за тѣмъ, чтобъ онъ не растерзалъ какъ нибудь Семена Ивановича.—Язычникъ ты, языческая ты душа, мудрецъ, ты! умолялъ Зимовейкинъ:—Сеня, необидчивый ты человѣкъ миловидный, любезный! Ты простъ, ты добродѣтельный... слышалъ? Это отъ добродѣтели твоей происходитъ; а буйный и глупый-то я, побирушка-то я; а вотъ-же добрый человѣкъ меня не оставилъ, не-бойсь; честь, вишь, дѣлаютъ; вотъ имъ и хозяйкѣ спасибо; видишь ты, вотъ и поклонъ земной правлю, вотъ оно, вотъ; долгъ, долгъ исправляю, хозяюшка!—Тутъ дѣйствительно Зимовейкинъ и даже съ какимъ-то педантскимъ достоинствомъ исполнилъ кругомъ свой поклонъ до земли. Послѣ того, Семенъ Ивановичъ хотѣлъ было опять продолжать говорить; но въ этотъ разъ ему уже не дали: всѣ вступились, стали его умолять, завѣрять, утѣшать и достигли того, что Семенъ Ивановичъ даже устыдился совсѣмъ и, наконецъ, слабымъ голосомъ попросилъ объясниться.

— Да вотъ; оно хорошо, сказалъ онъ:—миловидный я, смирный, слышь, и добродѣтеленъ, преданъ и вѣренъ; кровь, знаешь, каплю послѣднюю, слышь ты, мальчишка, тузъ... пусть оно стоитъ, мѣсто-то; да я вѣдь бѣдный; а вотъ какъ возьмутъ его, слышь ты, тузовый,—молчи теперь, понимай,—возьмутъ да и того... оно, братъ, стоитъ, а потомъ и не стоитъ... понимаешь? А я, братъ, и съ сумочкой, слышь ты?

— Сенька! завопилъ въ изступленіи Зимовейкинъ, покрывая

въ этотъ разъ голосомъ весь поднявшійся шумъ:—вольнодумецъ ты! Сейчасъ донесу! Чтó ты? Кто ты? Буянъ, что-ли, бараній ты лобъ? Буйному, глупому, слышь ты, безъ абшида съ мѣста укажутъ; ты кто?!

— Да вотъ оно и того...

— Что того?! Да вотъ, поди ты съ нимъ!..

— Что поди ты съ нимъ?

— Да вотъ онъ вольный, я вольный; а какъ лежишь-лежишь, и того...

— Чего?

— Анъ и вольнодумецъ...

— Воль-но-ду-мецъ! Сенька, ты вольнодумецъ!!

— Стой! закричалъ господинъ Прохарчинъ, махнувъ рукою и прерывая начавшійся крикъ:—я не того... Ты пойми, ты пойми только, баранъ ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потомъ и не смирный, сгрубилъ; пряжку тебѣ, и пошелъ вольнодумецъ!..

— Да что-жь вы? прогремѣлъ, наконецъ, Маркъ Ивановичъ, вскочивъ со стула, на которомъ было сѣлъ отдохнуть, и подбѣжавъ къ кровати весь въ волненіи, въ изступленіи, весь дрожа отъ досады и бѣшенства:—что-жь вы? Баранъ вы! Ни кола, ни двора. Что вы, одинъ, что-ли, на свѣтѣ? Для васъ свѣтъ, что-ли, сдѣланъ? Наполеонъ вы, что-ли, какой? Что вы? Кто вы? Наполеонъ вы, а? Наполеонъ, или нѣтъ?! Говорите-же, сударь, Наполеонъ или нѣтъ?..

Но господинъ Прохарчинъ уже и не отвѣчалъ на этотъ вопросъ. Не то чтобъ устыдился, что онъ Наполеонъ, или струсилъ взять на себя такую отвѣтственность,—нѣтъ, онъ ужь и не могъ болѣе ни спорить, ни дѣла говорить... Послѣдовалъ болѣзненный кризисъ. Дробныя слезы хлынули вдругъ изъ его блистающихъ лихорадочнымъ огнемъ сѣрыхъ глазъ. Костлявыми, исхудалыми отъ болѣзни руками закрылъ онъ свою горячую голову, приподнялся на кровати и, всхлипывая, сталъ говорить, что онъ совсѣмъ бѣдный, что онъ такой несчастный, простой человѣкъ, что онъ глупый и темный, чтобъ простили ему добрые люди, сберегли, защитили, накормили-бъ, напоили его, въ бѣдѣ не оставили, и Богъ знаетъ, что еще причиталъ Семенъ Ивановичъ. Причитая-же, онъ съ дикимъ страхомъ глядѣлъ кругомъ, какъ будто ожидая, что вотъ-вотъ сейчасъ потолокъ упадетъ или полъ провалится. Всѣмъ стало жалко, глядя на бѣднаго, и у всѣхъ умягчились сердца. Хозяйка, рыдая какъ баба и при-

читая про свое сиротство, сама уложила больнаго въ постель. Маркъ Ивановичъ, видя безполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впалъ въ добродушіе и началъ тоже оказывать помощь. Другіе, чтобъ что нибудь въ свою очередь сдѣлать, предложили малинный настой, говоря, что онъ немедленно и отъ всего помогаетъ и что будетъ очень пріятенъ больному; но Зимовейкинъ тотчасъ-же всѣхъ опровергнулъ, включивъ, что въ такомъ дѣлѣ нѣтъ лучше добраго пріема какой нибудь ромашки забористой. Что-же касается до Зиновья Прокофьевича, то, имѣя доброе сердце, онъ рыдалъ и заливался слезами, раскаяваясь, что пугалъ Семена Ивановича разными небылицами, и, вникнувъ въ послѣднія слова больнаго, что онъ совсѣмъ бѣдный и чтобъ его накормили, пустился созидать подписку, ограничиваясь ею покамѣстъ въ углахъ. Всѣ охали и ахали, всѣмъ было и жалко и горько, и всѣ межъ тѣмъ дивились, что вотъ какъ-же это такимъ образомъ могъ совсѣмъ заробѣть человѣкъ? И изъ чего-жь заробѣлъ? Добро-бы былъ при мѣстѣ большомъ, женой обладалъ, дѣтей поразвелъ; добробъ его тамъ подъ судъ какой ни есть притянули; а то вѣдь и человѣкъ совсѣмъ дрянь, съ однимъ сундукомъ и съ нѣмецкимъ замкомъ, лежалъ слишкомъ двадцать лѣтъ за ширмами, молчалъ, свѣту и горя не зналъ, скопидомничалъ, и вдругъ вздумалось теперь человѣку, съ пошлаго, празднаго слова какого нибудь, совсѣмъ перевернуть себѣ голову, совсѣмъ забояться о томъ, что на свѣтѣ вдругъ стало жить тяжело... А и не разсудилъ человѣкъ, что и всѣмъ тяжело! «Прими онъ вотъ только это въ разсчетъ», говорилъ потомъ Океановъ: «что вотъ всѣмъ тяжело, такъ сберегъ-бы человѣкъ свою голову, пересталъ-бы куралесить и потянулъ-бы свое кое-какъ, куда слѣдуетъ». Цѣлый день только и толку было, что о Семенѣ Ивановичѣ. Приходили къ нему, справлялись о немъ, утѣшали его; но къ вечеру ему стало не до утѣшеній. Открылся у бѣднаго бредъ, жаръ; впалъ онъ въ безпамятство, такъ что чуть было ужь не хотѣли пуститься за докторомъ; жильцы всѣ согласились и дали себѣ взаимное слово охранять и упокоивать Семена Ивановича по-очередно всю ночь, и что случится, то всѣхъ будить разомъ. Съ этою цѣлью, чтобъ не заснуть, засѣли въ картишки, приставивъ къ больному пьянчужку-пріятеля, который квартировалъ весь день въ углахъ, у постели больнаго, и попросился заночевать. Такъ какъ игра велась на мѣлокъ и не представляла совсѣмъ интереса, то скоро соскучились. Игру бросили, потомъ о чемъ-то заспорили, потомъ

начали шумѣть и стучать, наконецъ, разошлись по угламъ, долго еще въ сердцахъ перекликались и переговаривались и такъ какъ вдругъ всѣ стали сердиты, то ужь не захотѣли дежурить, и заснули. Скоро въ углахъ стало тихо, какъ въ пустомъ погребѣ, тѣмъ болѣе, что былъ холодъ ужаснѣйшій. Изъ послѣднихъ заснувшихъ былъ Океановъ, «и не то,—какъ говорилъ онъ потомъ, — во снѣ, не то было оно на яву, но привидѣлось мнѣ, что близь меня, этакъ передъ самымъ утреннимъ часомъ, разговаривали два человѣка. Океановъ разсказывалъ, что онъ узналъ Зимовейкина, и что Зимовейкинъ сталъ возлѣ него будить стараго друга Ремнева, что они долго шепотомъ говорили; потомъ Зимовейкинъ вышелъ, и слышно было, какъ онъ пытался отпереть въ кухнѣ дверь ключомъ. Ключъ-же, — увѣряла потомъ хозяйка, — лежалъ у нея подъ подушками и пропалъ въ эту ночь. Наконецъ, — показывалъ Океановъ, — слышалось ему, какъ будто оба они пошли къ больному за ширмы и засвѣтили тамъ свѣчку. Болѣе, говоритъ, ничего не знаю, глаза завело; а проснулся потомъ вмѣстѣ со всѣми, когда всѣ, кто ни были въ углахъ, разомъ повскочили съ постелей, затѣмъ что за ширмами раздался такой крикъ, что встрепенулся-бы мертвый, — и тутъ многимъ показалось, что вдругъ тамъ-же свѣчка потухла. Поднялась суматоха; у всѣхъ сердце упало; бросились какъ ни попало на крикъ, но въ это время за ширмами поднялась возня, крикъ, брань и драка. Вздули огонь и увидѣли, что дерутся другъ съ другомъ Зимовейкинъ и Ремневъ, что оба другъ друга корятъ и ругаютъ; а какъ освѣтили ихъ, то одинъ закричалъ: «не я, а разбойникъ!», а другой, именно Зимовейкинъ, закричалъ: «не трошь, неповиненъ; сейчасъ присягну!» На обоихъ образа не было человѣческаго; но въ первую минуту не до нихъ было дѣло: больнаго не оказалось на прежнемъ мѣстѣ за ширмами. Тотчасъ-же разлучили бойцовъ, оттащили ихъ, и увидѣли, что господинъ Прохарчинъ лежитъ подъ кроватью, должно быть въ совершенномъ безпамятствѣ, стащивъ на себя и одѣяло и подушку, такъ что на кровати оставался одинъ только голый, ветхій и масляный тюфякъ (простыни-же на немъ никогда не бывало). Вытащили Семена Ивановича, протянули его на тюфякъ, но сразу замѣтили, что много хлопотать было нечего, что капутъ совершенный; руки его костенѣютъ, а самъ еле держится. Стали надъ нимъ: онъ все еще помаленьку дрожалъ и трепеталъ всѣмъ тѣломъ, что-то силился сдѣлать руками, языкомъ не шевелилъ, но моргалъ глазами совершенно подобнымъ образомъ, какъ го-

ворятъ, моргаетъ вся еще теплая залитая кровью и живущая голова, только-что отскочившая отъ палачова топора.

Наконецъ, все стало тише и тише; замерли и предсмертный трепетъ и судороги; господинъ Прохарчинъ протянулъ ноги и отправился по своимъ добрымъ дѣламъ и грѣхамъ. Испугался-ли Семенъ Ивановичъ чего, сонъ-ли ему приснился такой, какъ потомъ Ремневъ увѣрялъ, или былъ другой какой грѣхъ — неизвѣстно; дѣло только въ томъ, что хотя-бы теперь самъ экзекуторъ явился въ квартирѣ и лично за вольнодумство, буянство и пьянство объявилъ-бы абшидъ Семену Ивановичу, если-бъ даже теперь въ другую дверь вошла какая ни есть попрошайка-салопница, подъ титуломъ золовки Семена Ивановича, если-бъ даже Семенъ Ивановичъ тотчасъ получилъ 200 рублей награжденія, или домъ, наконецъ, загорѣлся и начала горѣть голова на Семенѣ Ивановичѣ, онъ, можетъ быть, и пальцемъ не удостоилъ-бы пошевелить теперь при подобныхъ извѣстіяхъ. Покамѣстъ сошелъ первый столбнякъ, покамѣстъ присутствующіе обрѣли даръ слова и бросились въ суматоху, предположенія, сомнѣнія и крики,— покамѣстъ Устинья Ѳедоровна тащила изъ-подъ кровати сундукъ, обшаривала въ попыхахъ подъ подушкой, подъ тюфякомъ и даже въ сапогахъ Семена Ивановича, — покамѣстъ принимали въ допросъ Ремнева съ Зимовейкинымъ, — жилецъ Океановъ, бывшій доселѣ самый недальній, смиреннѣйшій и тихій жилецъ, вдругъ обрѣлъ все присутствіе духа, попалъ на свой даръ и талантъ, схватилъ шапку и подъ шумокъ ускользнулъ изъ квартиры. И когда всѣ ужасы безначалія достигли своего послѣдняго періода въ взволнованныхъ и доселѣ смиренныхъ углахъ, дверь отворилась, и внезапно, какъ снѣгъ на голову, появились сперва одинъ господинъ благородной наружности съ строгимъ, но недовольнымъ лицомъ, за нимъ Ярославъ Ильичъ, за Ярославомъ Ильичемъ его причетъ и всѣ кто слѣдуетъ, и сзади всѣхъ — смущенный господинъ Океановъ. Господинъ строгой, но благородной наружности подошелъ прямо къ Семену Ивановичу, пощупалъ его, сдѣлалъ гримасу, вскинулъ плечами и объявилъ весьма извѣстное, именно, что покойникъ уже умеръ, прибавивъ только отъ себя, что тоже со сна случилось на дняхъ съ однимъ весьма почтеннымъ и большимъ господиномъ, который тоже взялъ да и умеръ. Тутъ господинъ съ благородной, но недовольной осанкой отошелъ отъ кровати, сказалъ, что напрасно его безпокоили, и вышелъ. Тотчасъ-же замѣстилъ его Ярославъ Ильичъ (при чемъ Ремнева и Зимовейкина сдали

кому слѣдуетъ на руки), разспросилъ кой-кого, ловко овладѣлъ сундукомъ, который хозяйка уже пыталась вскрывать, поставилъ сапоги на прежнее мѣсто, замѣтивъ, что они всѣ въ дырьяхъ и совсѣмъ негодятся, потребовалъ назадъ подушку, подозвалъ Океанова, спросилъ ключъ отъ сундука, который нашелся въ карманѣ пьянчужки пріятеля, и торжественно, при комъ слѣдуетъ, вскрылъ добро Семена Ивановича. Все было на лицо: — двѣ тряпки, одна пара носковъ, полуплатокъ, старая шляпа, нѣсколько пуговицъ, старыя подошвы и сапожныя голенища, однимъ словомъ, шильцо, мыльцо, бѣлое бѣлильцо, то есть дрянь, ветошь, соръ, мелюзга, отъ которой пахло залавкомъ; хорошъ былъ одинъ только нѣмецкій замокъ. Позвали Океанова, сурово переговорили съ нимъ; но Океановъ былъ готовъ подъ присягу идти. Потребовали подушку, осмотрѣли ее: она была только грязна, но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ совершенно походила на подушку. Принялись за тюфякъ, хотѣли было его приподнять, остановились было немножко подумать, но вдругъ, совсѣмъ неожиданно, что-то тяжелое, звонкое хлопнулось объ полъ. Нагнулись, обшарили и увидѣли свертокъ бумажный, а въ сверткѣ съ десятокъ цѣлковиковъ. «Эге-ге-ге!» сказалъ Ярославъ Ильичъ, показывая въ тюфякѣ одно худое мѣсто, изъ котораго торчали волосья и хлопья. Осмотрѣли худое мѣсто и увѣрились, что оно сейчасъ только сдѣлано ножомъ, а было въ пол-аршина длиною; засунули руку въ изъянъ, и вытащили, вѣроятно, въ попыхахъ брошенный тамъ, хозяйскій кухонный ножъ, которымъ взрѣзанъ былъ тюфякъ. Не успѣлъ Ярославъ Ильичъ вытащить ножъ изъ изъяннаго мѣста и опять сказать «эге-ге!» какъ тотчасъ-же выпалъ другой свертокъ, а за нимъ по одиночкѣ выкатились два полтинника, одинъ четвертакъ, потомъ какая-то мелочь и одинъ старинный здоровенный пятакъ. Все это тотчасъ-же переловили руками. Тутъ увидѣли, что не дурно-бы было вспороть совсѣмъ тюфякъ ножницами. Потребовали ножницы...

Между тѣмъ, нагорѣвшій сальный огарокъ освѣщалъ чрезвычайно любопытную для наблюдателя сцену. Около десятка жильцовъ группировалось у кровати въ самыхъ живописныхъ костюмахъ, всѣ неприглаженные, небритые, немытые, заспанные, такъ какъ были отходя на грядущій сонъ. Иные были совершенно блѣдны, у другихъ на лбу потъ показывался, иныхъ дрожь пронимала, другихъ жаръ. Хозяйка, совсѣмъ оглупѣвшая, тихо стояла сложивъ руки и ожидая милостей Ярослава Ильича. Сверху, съ печки, съ испуганнымъ любопытствомъ глядѣли го-

ловы Авдотьи-работницы и хозяйкиной кошки-фаворитки; кругомъ были разбросаны изорванныя и разбитыя ширмы; раскрытый сундукъ показывалъ свою неблагородную внутренность; валялись одѣяло и подушка, покрытыя хлопьями изъ тюфяка, и, наконецъ, на деревянномъ трехногомъ столѣ заблистала постепенно возраставшая куча серебра и всякихъ монетъ. Одинъ только Семенъ Ивановичъ сохранилъ вполнѣ свое хладнокровіе, смирно лежалъ на кровати и, казалось, совсѣмъ не предчувствовалъ своего разоренія. Когда-же принесены были ножницы, и помощникъ Ярослава Ильича, желая подслужиться, немного нетерпѣливо тряхнулъ тюфякъ, чтобъ удобнѣе высвободить его изъ-подъ спины обладателя, то Семенъ Ивановичъ, зная учтивость, сначала уступилъ немножко мѣста, скатившись на бочокъ, спиною къ искателямъ; потомъ при второмъ толчкѣ помѣстился ничкомъ, наконецъ, еще уступилъ, и такъ какъ не доставало послѣдней боковой доски въ кровати, то вдругъ совсѣмъ неожиданно бултыхнулся внизъ головою, оставивъ на видъ только двѣ костлявыя, худыя, синія ноги, торчавшія кверху, какъ два сучка обгорѣвшаго дерева. Такъ какъ господинъ Прохарчинъ уже второй разъ въ это утро навѣдывался подъ свою кровать, то немедленно возбудилъ подозрѣніе, и кое-кто изъ жильцовъ подъ предводительствомъ Зиновія Прокофьевича, полѣзли туда-же съ намѣреніемъ посмотрѣть, не скрыто-ли и тамъ кой-чего. Но искатели только напрасно перестукались лбами, и такъ какъ Ярославъ Ильичъ тутъ-же прикрикнулъ на нихъ и велѣлъ немедленно освободить Семена Ивановича изъ сквернаго мѣста, то двое изъ благоразумнѣйшихъ взяли каждый въ обѣ руки по ногѣ, вытащили неожиданнаго капиталиста на свѣтъ Божій и положили его поперегъ кровати. Между тѣмъ, волосья и хлопья летѣли кругомъ, серебряная куча росла — и Боже! чего, чего не было тутъ... Благородные цѣлковики, солидные, крѣпкіе полутора-рублевики, хорошенькая монета полтинникъ, плебеи-четвертачки, двугривеннички, даже малообѣщающая, старушечья мелюзга гривенники и пятаки серебромъ,—все въ особыхъ бумажкахъ, въ самомъ методическомъ и солидномъ порядкѣ. Были и рѣдкости: два какіе-то жетона, одинъ наполеондоръ, одна неизвѣстно какая, но только очень рѣдкая монетка... Нѣкоторые изъ рублевиковъ относились тоже къ глубокой древности; истертые и изрубленные елизаветинскіе, нѣмецкіе крестовики, петровскія монеты, екатерининскія; были, напримѣръ, теперь весьма рѣдкія монетки, старые пятіалтынники, проколотые для но-

шенія въ ушахъ, всѣ совершенно истертые, но съ законнымъ количествомъ точекъ; даже мѣдь была, но вся уже зеленая, ржавая... Нашли одну красную бумажку — но болѣе не было. Наконецъ, когда кончилась вся анатомія и, неоднократно встряхнувъ тюфячій чехолъ, нашли, что ничего не гремитъ, сложили всѣ деньги на столъ и принялись считать. Съ перваго взгляда можно было даже совсѣмъ обмануться и смекнуть прямо на милліонъ, — такая была огромная куча! Но милліона не было, хотя и вышла, впрочемъ, сумма чрезвычайно значительная, — ровно 2497 рублей съ полтиною, такъ что если-бъ осуществилась вчера подписка у Зиновія Прокофьевича, то, можетъ быть, было-бы всего ровно двѣ тысячи пятьсотъ рублей ассигнаціями. Денежки забрали, къ сундуку покойнаго приложили печать, хозяйкины жалобы выслушали и указали ей, когда и куда слѣдуетъ представить свидѣтельство на счетъ должишка покойнаго. Съ кого слѣдовало взяли подписку; заикнулись было тутъ о золовкѣ; но увѣрившись, что золовка была въ нѣкоторомъ смыслѣ миѳъ, то есть произведеніе недостаточности воображенія Семена Ивановича, въ чемъ, по справкамъ, не разъ упрекали покойнаго, — то тутъ-же идею оставили какъ безполезную, вредную и въ ущербъ добраго имени его, господина Прохарчина, относящуюся: тѣмъ дѣло и кончилось. Когда-же первый страхъ попалъ, когда схватились за умъ и узнали, что былъ такое покойникъ, то присмирѣли, притихнули всѣ и стали какъ-то съ недовѣрчивостью другъ на друга поглядывать. Нѣкоторые приняли чрезвычайно близко къ сердцу поступокъ Семена Ивановича и даже какъ будто обидѣлись... Такой капиталъ! Этакъ натаскалъ человѣкъ! Маркъ Ивановичъ, не теряя присутствія духа, пустился было объяснять, почему такъ вдругъ заробѣлось Семену Ивановичу; но его ужь не слушали. Зиновій Прокофьевичъ что-то былъ очень задумчивъ, Океановъ подпилъ немножко, остальные какъ-то прижались, а маленькій человѣчекъ Кантаревъ, отличавшійся воробьинымъ носомъ, къ вечеру съѣхалъ съ квартиры, весьма тщательно заклеивъ и завязавъ всѣ свои сундучки, узелки, и холодно объясняя любопытствующимъ, что время тяжелое, а что приходится здѣсь не по карману платить. Хозяйка-же безъ умолку выла, и, причитая и кляня Семена Ивановича за то, что онъ обидѣлъ ея сиротство. Освѣдомились у Марка Ивановича, зачѣмъ-же это покойникъ свои деньги въ Ломбардъ не носилъ?—Простъ, матушка, былъ; воображенія на то не хватило, отвѣчалъ Маркъ Ивановичъ.

— Ну, да и вы просты, матушка, включилъ Океановъ: — двадцать лѣтъ крѣпился у васъ человѣкъ, съ одного щелчка покачнулся, а у васъ щи варились, некогда было!.. Э-эхъ, матушка!..

— Охъ ужь ты мнѣ младъ-младъ! продолжала хозяйка:—да что Ломбардъ! Принеси-ка онъ мнѣ свою горсточку, да скажи мнѣ: возьми младъ Устиньюшка, вотъ тебѣ благостыня, а держи ты младаго меня на своихъ харчахъ, поколѣ мать сыра земля меня носитъ,—то вотъ тебѣ образъ, кормила-бъ его, поила-бъ его, ходила-бъ за нимъ. Ахъ, грѣховодникъ, обманщикъ такой! Обманулъ, надулъ сироту!..

Приблизились снова къ постели Семена Ивановича. Теперь онъ лежалъ какъ слѣдуетъ, въ лучшемъ, хотя, впрочемъ, и единственномъ своемъ одѣяніи, запрятавъ окостенѣлый подбородокъ за галстухъ, который навязанъ былъ немножко неловко, обмытый, приглаженный и не совсѣмъ лишь выбритый, за тѣмъ, что бритвы въ углахъ не нашлось: единственная принадлежавшая Зиновію Прокофьевичу, иззубрилась еще прошлаго года и выгодно была продана на Толкучемъ; другіе-жь ходили въ цирюльню. Безпорядокъ все еще не успѣли прибрать. Разбитыя ширмы лежали по прежнему и, обнажая уединеніе Семена Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть срываетъ завѣсу со всѣхъ нашихъ тайнъ, интригъ, проволочекъ. Начинка изъ тюфяка, тоже не прибранная, густыми кучами лежала кругомъ. — Весь этотъ внезапно остывшій уголъ можно было-бы весьма удобно сравнить поэту съ разореннымъ гнѣздомъ «домовитой» ласточки: все разбито и истерзано бурею, убиты птенчики съ матерью, и развѣяна кругомъ ихъ теплая постелька изъ пуха, перушекъ, хлопокъ... Впрочемъ, Семенъ Ивановичъ смотрѣлъ скорѣе какъ старый самолюбецъ и воръ-воробей. Онъ теперь притихнулъ, казалось, совсѣмъ притаился, какъ будто и не онъ виноватъ, какъ будто не онъ пускался на штуки, чтобъ надуть и провести всѣхъ добрыхъ людей, безъ стыда и безъ совѣсти, неприличнѣйшимъ образомъ. Онъ теперь ужь не слушалъ рыданій и плача осиротѣвшей и разобиженной хозяйки своей. Напротивъ, какъ опытный, тертый капиталистъ, который и въ гробу не желалъ-бы потерять минуты въ бездѣйствіи, казалось, весь былъ преданъ какимъ-то спекулятивнымъ разсчетамъ. Въ лицѣ его появилась какая-то глубокая дума, а губы были стиснуты съ такимъ значительнымъ видомъ, котораго никакъ нельзя было-бы подозрѣвать при жизни при-

надлежностью Семена Ивановича. Онъ какъ будто-бы поумнѣлъ. Правый глазокъ его былъ какъ-то плутовски прищуренъ; казалось, Семенъ Ивановичъ хотѣлъ что-то сказать, что-то сообщить весьма нужное, объясниться, да и не теряя времени, а поскорѣе, за тѣмъ, что дѣла навязались, а некогда было... И какъ будто-бы слышалось: «Что, дескать, ты? Перестань, слышь ты, баба ты глупая! Не хнычь! Ты, мать, проспись, слышь ты! Я, дескать, умеръ; теперь ужь не нужно; что, заправду! Хорошо лежать-то... Я, то есть, слышь, и не про то говорю; ты баба тузъ, тузовая ты, понимай; оно вотъ умеръ теперь; а ну, какъ этакъ того, то есть оно, пожалуй, и не можетъ такъ быть, а ну, какъ этакъ того и не умеръ — слышь ты, встану, такъ что-то будетъ, а?»

РОМАНЪ

ВЪ ДЕВЯТИ ПИСЬМАХЪ.

Въ первый разъ напечатанъ въ «Современникѣ» 1847 г. томъ 1-й.

I.

(Отъ Петра Иваныча къ Ивану Петровичу).

Милостивый Государь и драгоцѣннѣйшій другъ
Иванъ Петровичъ!

Вотъ уже третій день, какъ я, можно сказать, гоняюсь за вами, драгоцѣннѣйшій другъ мой, имѣя переговорить о наинужнѣйшемъ дѣлѣ, и нигдѣ не встрѣчаю васъ. Жена моя вчера, въ бытность нашу у Семена Алексѣича, весьма кстати подшутила надъ вами, говоря, что васъ съ Татьяной Петровной вышла парочка непосѣдовъ. Трехъ мѣсяцевъ нѣтъ, какъ женаты, а уже неглижируете домашними своими пенатами. Мы всѣ много смѣялись, — отъ полноты искренняго расположенія нашего къ вамъ, разумѣется, — но, кромѣ шутокъ, безцѣннѣйшій мой, задали вы мнѣ хлопотъ. Говоритъ мнѣ Семенъ Алексѣичъ, что не въ клубѣ ли вы Соединеннаго Общества на балѣ? Оставляю жену у супруги Семена Алексѣича, самъ-же лечу въ Соединенное Общество. Смѣхъ и горе! Представьте мое положеніе: я на балъ—и одинъ, безъ жены! Иванъ Андреичъ, встрѣтившійся со мною въ швейцарской, увидѣвъ меня одного, немедленно заключилъ (злодѣй!) о необыкновенной страсти моей къ танцовальнымъ собраніямъ и, подхвативъ меня подъ руку, хотѣлъ было уже насильно тащить въ танцклассъ, говоря, что въ Соединенномъ Обществѣ тѣсно ему, развернуться негдѣ молодецкой душѣ, и что отъ пачули съ резедою у него голова разболѣлась. Не нахожу ни васъ, ни Татьяны Петровны. Иванъ Андреичъ увѣряетъ и божится, что вы непремѣнно на «Горе отъ ума» въ Александринскомъ театрѣ.

Лечу въ Александринскій театръ: нѣтъ и тамъ. Сегодня утромъ думалъ васъ найдти у Чистоганова,—не тутъ-то было. Чистогановъ шлетъ къ Перепалкинымъ, — тоже самое. Однимъ словомъ, измучился совершенно; судите, какъ я хлопоталъ! Те-

перь пишу къ вамъ (нечего дѣлать!). Дѣло-то мое отнюдь не литературное (вы меня понимаете); лучше-бы съ глазу на глазъ, крайне нужно объясниться съ вами и какъ можно скорѣе, и потому прошу ко мнѣ сегодня на чай и на вечернюю бесѣду, вмѣстѣ съ Татьяной Петровной. Моя Анна Михайловна будетъ крайне обрадована посѣщеніемъ вашимъ. Истинно, какъ говорится, по гробъ одолжите. Кстати, безцѣннѣйшій другъ мой, — коли дѣло дошло до пера, то все въ строку,—нахожусь вынужденнымъ теперь уже попенять вамъ отчасти и даже укорить васъ, почтеннѣйшій другъ мой, въ одной повидимому, весьма невинной продѣлочкѣ, которою вы зло надо мной подшутили... Злодѣй вы, безсовѣстный человѣкъ! Около половины прошедшаго мѣсяца вводите вы въ домъ мой одного знакомаго вашего, именно Евгенія Николаича, ассюрируете его дружеской и для меня, разумѣется, священнѣйшей рекомендаціей вашей; я радуюсь случаю, принимаю молодаго человѣка съ распростертыми объятіями и вмѣстѣ съ тѣмъ кладу голову въ петлю. Петля не петля, а вышла, что называется, штука хорошая. Объяснять теперь некогда, да на перѣ и неловко, а только нижайшая просьба до васъ, злорадственный другъ и пріятель, нельзя-ли какимъ нибудь образомъ, поделикатнѣе, въ скобкахъ, на ушко, въ тихомолочку, пошептать вашему молодому человѣку, что есть въ столицѣ много домовъ, кромѣ нашего. Мочи нѣтъ, батюшка! Падамъ до ногъ, какъ говоритъ пріятель нашъ Симоневичъ. Свидимся, я вамъ все разскажу. Не въ томъ смыслѣ говорю, что молодой человѣкъ не взялъ, напримѣръ, на фасонѣ или душевными качествами, или въ чемъ нибудь тамъ другомъ оплошалъ. Напротивъ, онъ даже малый любезный и милый; но вотъ погодите, увидимся; а между тѣмъ, если встрѣтите его, то шепните ему, ради Бога, почтеннѣйшій. Я-бы и самъ это сдѣлалъ, но вы знаете характеръ такой: не могу да и только. Вы-же рекомендовали его. Впрочемъ, вечеромъ, во всякомъ случаѣ, подробнѣе объяснимся. А теперь до свиданія. Остаюсь, и пр.

P. S. Маленькой у меня уже съ недѣлю прихварываетъ, и съ каждымъ днемъ все хуже и хуже. Страдаетъ зубенками; вырѣзываются. Жена все няньчится съ нимъ и груститъ, бѣдняжка. Пріѣзжайте. Истинно обрадуете насъ, драгоцѣннѣйшій другъ мой.

II.

(Отъ Ивана Петровича къ Петру Иванычу).

Милостивый Государь, Петръ Иванычъ!

Получаю вчера письмо ваше, читаю и недоумѣваю. Ищете меня Богъ знаетъ въ какихъ мѣстахъ, а я просто былъ дома. До десяти часовъ ожидалъ Ивана Иваныча Толоконова. Тотчасъ-же беру жену, нанимаю извощика, трачусь и являюсь къ вамъ, временемъ около половины седьмаго. Васъ дома нѣтъ, а встрѣчаетъ насъ ваша супруга. Жду васъ до половины одиннадцатаго; долѣе невозможно. Беру жену, трачусь, нанимаю извощика, завожу ее домой, а самъ отправляюсь къ Перепалкинымъ, думая, не встрѣчу-ли тамъ, но опять ошибаюсь въ разсчетахъ. Пріѣзжаю домой, не сплю всю ночь, безпокоюсь, утромъ заѣзжаю къ вамъ три раза, въ 9, въ 10 и въ 11 часовъ, три раза трачусь, нанимаю извощиковъ, и опять вы меня оставляете съ носомъ.

Читая-же ваше письмо, удивлялся. Пишете о Евгеніи Николаичѣ, просите шепнуть и не упоминаете, почему. Хвалю осторожность, но бумага бумагѣ рознь, а я нужныхъ бумагъ на папильотки женѣ не даю. Недоумѣваю, наконецъ, въ какомъ смыслѣ изволили мнѣ это все написать. Впрочемъ, если на то пошло, то чего-же меня-то мѣшать въ это дѣло? Я носа своего не сую во всякую всячину. Отказать могли сами, вижу только, что объясниться нужно мнѣ съ вами короче, рѣшительнѣе, да къ тому-же и время проходитъ. А я стѣсненъ и не знаю, что̀ дѣлать придется, коли неглижировать условіями будете. Дорога на носу, дорога чего нибудь стоитъ, да тутъ еще жена хнычетъ: сшей ей бархатный копотъ по модному вкусу. На счетъ-же Евгенія Николаича спѣшу вамъ замѣтить: навелъ я вчера, не теряя времени, окончательно справки, въ бытность мою у Павла Семеныча Перепалкина. У него своихъ 500 душъ въ Ярославской губерніи, да отъ бабушки есть надежда получить въ 300 душъ подмосковную. Денегъ-же сколько, не знаю, а я думаю, что вамъ это лучше знать. Окончательно прошу васъ назначить мнѣ мѣсто свиданія. Встрѣтили вчера Ивана Андреича и пишете, что объявилъ онъ вамъ, что я въ Александринскомъ театрѣ съ женою. Я-же пишу, что онъ вретъ, и тѣмъ болѣе ему вѣры нельзя имѣть въ подобныхъ дѣлахъ, что онъ, не далѣе какъ

третьяго дня, провелъ свою бабушку на восьми стахъ рубляхъ ассигнаціями. Затѣмъ имѣю честь пребыть.

P. S. Жена моя забеременѣла; къ тому же она пуглива и чувствуетъ подъ-часъ меланхолію. Въ театральныя-же представленія иногда вводятъ пальбу и искусственно машинами сдѣланный громъ. И потому, боясь испугать жену, въ театры ее не вожу. Самъ-же до театральныхъ представленій охоты большой не имѣю.

III.

(Отъ Петра Иваныча къ Ивану Петровичу).

Безцѣннѣйшій другъ мой, Иванъ Петровичъ!

Виноватъ, виноватъ и тысячу разъ виноватъ, но спѣшу оправдаться. Вчера въ шестомъ часу, и какъ разъ въ то самое время, какъ мы съ истиннымъ участіемъ сердца о васъ вспоминали, прискакалъ нарочный отъ дядюшки Степана Алексѣича съ извѣстіемъ, что съ тетушкой худо. Боясь перепугать жену, не говоря ей ни слова, претекстую постороннее нужное дѣло, и ѣду въ домъ тетушки. Нахожу ее едва живу. Ровно въ пять часовъ послѣдовалъ съ нею ударъ, уже третій въ два года. Карлъ Ѳедорычъ, медикъ ихъ дома, объявилъ, что, можетъ быть, она не проживетъ и ночи одной. Судите о моемъ положеніи, драгоцѣннѣйшій другъ мой. Цѣлую ночь на ногахъ, въ хлопотахъ и горѣ! Утромъ только, истощивъ свои силы и удрученный тѣлесною и душевною немощью, прилегъ я у нихъ-же на диванѣ, забылъ сказать, чтобы во время меня разбудили, и проснулся въ половинѣ двѣнадцатаго. Тетушкѣ лучше. Ѣду къ женѣ; она, бѣдная, истерзалась, ожидая меня. Перехватилъ кусокъ кой-чего, обнялъ малютку, разувѣрилъ жену и отправился къ вамъ. Васъ нѣтъ дома. Нахожу-же у васъ Евгенія Николаича. Отправляюсь домой, беру перо и теперь къ вамъ пишу. Не ропщите и не сердитесь на меня, искренній другъ мой. Бейте, рубите голову повинную съ плечъ, но не лишайте благорасположенія вашего. Отъ вашей супруги узналъ, что вечеромъ вы у Славяновыхъ. Буду тамъ непремѣнно. Съ величайшимъ нетерпѣніемъ ожидаю васъ.

Теперь-же остаюсь и т. д.

P. S. Маленькій нашъ повергаетъ насъ въ истинное отчаяніе. Карлъ Ѳедорычъ прописалъ ему ревеньку. Стонетъ, вчера не узнавалъ никого. Сегодня-же сталъ узнавать и лепечетъ все папа, мама, бу... Жена въ слезахъ цѣлое утро.

IV.

(Отъ Ивана Петровича къ Петру Иванычу).

Милостивый Государь мой, Петръ Иванычъ!

Пишу къ вамъ у васъ, въ нашей комнатѣ, на вашемъ бюро; а прежде чѣмъ взялся за перо, прождалъ васъ слишкомъ два часа съ половиною. Теперь позвольте-же вамъ прямо сказать, Петръ Иванычъ, мое открытое мнѣніе, на счетъ этого скареднаго обстоятельства. Изъ вашего послѣдняго письма заключаю, что васъ ждутъ у Славяновыхъ, зовете меня туда, являюсь, сижу пять часовъ, а васъ не бывало. Что-жь, я людей смѣшить, что-ли, по вашему, долженъ? Позвольте, милостивый государь... Являюсь къ вамъ утромъ, надѣясь застать васъ, и не подражая такимъ манеромъ нѣкоторымъ обманчивымъ лицамъ, которые ищутъ людей Богъ знаетъ по какимъ мѣстамъ, когда ихъ можно застать дома во всякое прилично выбранное время. Дома и духа вашего не было. Не знаю, что удерживаетъ меня теперь высказать вамъ всю рѣзкую правду. Скажу только то, что вижу васъ, кажется, на попятномъ дворѣ, относительно нашихъ извѣстныхъ условій. И теперь только, соображая все дѣло, не могу не признаться, что рѣшительно удивляюсь хитростному вашего ума направленію. Ясно вижу теперь, что неблагопріятное намѣреніе свое питали вы съ давнихъ поръ. Доказательствомъ-же такому моему предположенію служитъ то, что вы еще на прошлой недѣлѣ, почти непозволительнымъ образомъ, овладѣли тѣмъ письмомъ вашимъ, на имя мое адрессованнымъ, въ которомъ сами изложили, хотя и довольно темно и нескладно, условія наши на счетъ весьма извѣстнаго вамъ обстоятельства. Боитесь документовъ, ихъ уничтожаете, а меня въ дуракахъ оставляете. Но я въ дуракахъ себя считать не позволю, ибо за таковаго меня доселѣ никто не считалъ, и всѣ на счетъ этого обстоятельства обо мнѣ съ хорошей стороны относились. Открываю глаза. Сбиваете меня съ толку, туманите меня Евгеніемъ Николаичемъ, и когда я, съ неразгаданоымъ мною доселѣ письмомъ

вашимъ отъ седьмаго сего мѣсяца, ищу обясниться съ вами, вы назначаете мнѣ ложныя свиданія, а сами скрываетесь. Не думаете-ли вы, милостивый государь, что я всего этого замѣтить не въ силахъ? Обѣщаете вознаградить меня за весьма хорошо вамъ извѣстныя услуги, относительно рекомендаціи разныхъ лицъ, а между тѣмъ, и неизвѣстно какимъ образомъ. устроиваете такъ, что сами у меня деньги берете безъ росписки знатными суммами, что̀ было не далѣе, какъ напрошлой недѣлѣ. Теперь-же. взявъ деньги, скрываетесь, да еще отрекаетесь отъ услуги моей, вамъ оказанной относительно Евгенія Николаича. Разсчитываете, можетъ быть, на скорый отъѣздъ мой въ Симбирскъ и думаете, что не успѣемъ концовъ свести съ вами. Но объявляю вамъ торжественно и свидѣтельствуясь при томъ честнымъ словомъ моимъ, что если пойдетъ на то, то я нарочно готовъ буду еще цѣлыхъ два мѣсяца прожить въ Петербургѣ, а дѣла своего добьюсь, цѣли достигну и васъ отыщу. И мы умѣемъ подъ часъ дѣйствовать въ пику. Въ заключеніе-же объявляю вамъ, что если вы сегодня-же не объяснитесь со мною удовлетворительно, сперва на письмѣ, а потомъ личнымъ образомъ, съ глазу на глазъ. и не изложите въ вашемъ письмѣ вновь всѣхъ главныхъ условій. существовавшихъ между нами, и не обьясните окончательно мыслей вашихъ на счетъ Евгенія Николаича, то я принужденъ буду прибѣгнуть къ мѣрамъ вамъ весьма неблагопріятнымъ и даже самому мнѣ противнымъ.

Позвольте пребыть и т. д.

V.

(Отъ Петра Иваныча къ Ивану Петровичу).

Ноября 11.

Любезнѣйшій, почтеннѣйшій другъ мой, Иванъ Петровичъ!

До глубины души мой я былъ огорченъ письмомъ вашимъ. И не совѣстно было вамъ, дорогой, но несправедливый другъ мой, такъ поступать съ лучшимъ доброжелателемъ вашимъ. Поторопиться, не объяснить всего дѣла и, наконецъ, оскорбить меня такими обидными подозрѣніями? — Но спѣшу отвѣчать на обвиненія ваши.—Не застали вы меня, Иванъ Петровичъ, вчера

потому, что я вдругъ и совсѣмъ неожиданно позванъ былъ къ одру умирающей. Тетушка Евфимія Николавна преставилась вчера вечеромъ, въ 11 часовъ пополудни. Общимъ голосомъ родственниковъ избранъ я былъ распорядителемъ всей плачевной и горестной церемоніи. Дѣлъ было столько, что я и по утру сегодня не успѣлъ увидѣться съ вами, ниже увѣдомить хоть строчкой письма, Скорбѣю душевно о недоразумѣніи, вышедшемъ между нами. Слова мои Евгеніѣ Николаевичѣ, высказанныя мною шутливо и мимоходомъ, приняли вы въ совершено противную сторону, а дѣлу всему дали глубоко обижающій меня смыслъ. Упоминаете о деньгахъ и выказываете о нихъ свое безпокойство. Но не обинуясь, готовъ удовлетворить всѣмъ вашимъ желаніямъ и требованіямъ, хотя здѣсь, мимоходомъ, и не могу не напомнить вамъ, что деньги, 350 р. с., взяты мною у васъ на прошлой недѣлѣ на извѣстныхъ условіяхъ. а не заимообразно. Въ послѣднемъ-же случаѣ, непремѣнно-бы существовала росписка. Не снисхожу до объясненій остальныхъ пунктовъ, изложенныхъ въ вашемъ письмѣ. Вижу, что это недоразумѣніе, вижу въ этомъ вашу обычную скорость, горячность и прямоту. Знаю, что благодушіе и открытый характеръ вашъ не позволятъ оставаться сомнѣнію въ сердцѣ вашемъ, и что, наконецъ, вы-же сами протянете первый мнѣ руку вашу. Вы ошиблись, Иванъ Петровичъ, вы крайне ошиблись!

Не смотря на то, что письмо ваше глубоко уязвило меня, я первый, и сегодня-же, готовъ-бы былъ къ вамъ явиться съ повинною, но я нахожусь въ такихъ хлопотахъ, съ самаго вчерашняго дня, что убитъ теперь совершенно и едва стою на ногахъ. Къ довершенію бѣдствій моихъ, жена слегла въ постель; боюсь серьезной болѣзни: Что-же касается до маленькаго, то ему, слава Богу, получше. Но бросаю перо... дѣла зовутъ, а ихъ цѣлая куча. Позвольте, безцѣннѣйшій другъ мой, пребыть, и проч.

VI.

(Отъ Ивана Петровича къ Петру Иванычу).

Ноября 14.

Милостивый мой государь, Петръ Иванычъ!

Я выждалъ три дня; употребить постарался ихъ съ пользою,—между тѣмъ, чувствуя, что вѣжливость и приличіе суть

первыя украшенія всякаго человѣка, съ самаго послѣдняго письма моего, отъ десятаго числа сего мѣсяца, не напоминалъ вамъ о себѣ ни словомъ, ни дѣломъ, частію для того, чтобы дать вамъ исполнить безмятежно христіанскій долгъ относительно тетушки вашей, частію-же потому, что для нѣкоторыхъ соображеній и изысканій по извѣстному дѣлу имѣлъ во времени надобность. Теперь-же спѣшу съ вами окончательнымъ и рѣшительнымъ образомъ объясниться.

Признаюсь вамъ откровенно, что при чтеніи первыхъ двухъ писемъ вашихъ я серьезно думалъ, что вы не понимаете, чего я хочу; вотъ по какому случаю наиболѣе искалъ я свиданія съ вами и объясненія съ глазу на глазъ, боялся пера и обвинялъ себя въ неясности способа выраженія мыслей моихъ на бумагѣ. Извѣстно вамъ, что воспитанія и манеровъ хорошихъ я не имѣю, и пустозвоннаго щегольства я чуждаюсь, потому что по горькому опыту позналъ, наконецъ, сколь обманчива иногда бываетъ наружность, и что подъ цвѣтами иногда таится змѣя. Но вы меня понимали; не отвѣчали-же мнѣ такъ, какъ слѣдуетъ, потому, что вѣроломствомъ души своей положили заранѣ измѣнить своему честному слову и существовавшимъ между нами пріятельскимъ отношеніямъ. Совершенно-же доказали вы это гнуснымъ поведеніемъ вашимъ, относительно меня въ послѣднее время, поведеніемъ, пагубнымъ для моего интереса, чего не ожидалъ я и чему вѣрить никакъ не хотѣлъ до настоящей минуты, ибо плѣненный въ самомъ началѣ знакомства нашего умными манерами вашими, тонкостію вашего обращенія, знаніемъ дѣлъ и выгодами, имѣвшими быть мнѣ отъ сообщества съ вами, я полагалъ, что нашелъ истиннаго друга, пріятеля и доброжелателя. Теперь-же ясно позналъ, что есть много людей, подъ льстивою и блестящею наружностью скрывающихъ ядъ въ своемъ сердцѣ, употребляющихъ умъ свой на устроеніе козней ближнему и на непозволительный обманъ, и потому боящихся пера и бумаги, а вмѣстѣ съ тѣмъ и употребляющихъ слогъ свой не на пользу ближняго и отечества, а для усыпленія и обаянія разсудка тѣхъ, кои вошли съ ними въ разныя дѣла и условія. Вѣроломство ваше, милостивый государь мой, относительно меня, ясно можно видѣть изъ нижеслѣдующаго.

Во первыхъ, когда я, въ ясныхъ и отчетливыхъ выраженіяхъ письма моего изображалъ вамъ, милостивый государь мой, свое положеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ спрашивалъ васъ въ первомъ письмѣ моемъ, что̀ вы хотите разумѣть подъ нѣкоторыми выра-

женіями и намѣреніями вашими, преимущественно-же относительно Евгенія Николаича, то вы по бо́льшей части старались умалчивать и, возмутивъ меня разъ подозрѣніями и сомнѣніями, спокойно сторонились отъ дѣла. Потомъ, надѣлавъ со мной такихъ дѣлъ, которыхъ и приличнымъ словомъ назвать нельзя, стали писать, что вы огорчаетесь. Какъ это назвать прикажете, милостивый государь? Потомъ, когда каждая минута была для меня дорога и когда вы заставляли меня гоняться за вами на протяженіи всей столицы, писали вы подъ личиною дружбы мнѣ письма, въ которыхъ, нарочно умалчивая о дѣлѣ, говорили о совершенно постороннихъ вещахъ; именно о болѣзняхъ, во всякомъ случаѣ уважаемой мною вашей супруги, и о томъ, что вашему малюткѣ ревеню дали, и что-де по сему случаю у него прорѣзался зубъ. Обо всемъ этомъ упоминали вы въ каждомъ письмѣ своемъ, съ гнусною и обидною для меня регулярностью. Конечно, готовъ согласиться, что страданія роднаго дѣтища терзаютъ душу отца, но для чего-же упоминать объ этомъ тогда, когда нужно было совершенно другое, болѣе нужное и интересное. Я молчалъ и терпѣлъ; теперь-же, когда время прошло, долгомъ почелъ объясниться. Наконецъ, нѣсколько разъ вѣроломно обманувши меня ложнымъ назначеніемъ свиданій, заставили меня играть, повидимому, роль вашего дурака и потѣшителя, чѣмъ я быть никогда не намѣренъ. Потомъ, и пригласивъ меня къ себѣ предварительно, и какъ слѣдуетъ обманувъ, увѣдомляете меня, что отозваны были къ страдающей тетушкѣ вашей, получившей ударъ ровно въ пять часовъ, изъясняя такимъ образомъ и тутъ съ постыдною точностью. Къ счастью моему, милостивый мой государь, въ эти три дня я успѣлъ навесть справки, и по нимъ узналъ, что тетушку вашу постигъ ударъ еще наканунѣ осьмаго числа, незадолго до полночи. По сему случаю вижу, что вы употребили святость родственныхъ отношеній для обмана совершенно постороннихъ людей. Наконецъ, въ послѣднемъ письмѣ своемъ упоминаете и о смерти родственницы вашей, какъ-бы приключившейся именно въ то самое время, когда я долженъ былъ явиться къ вамъ для совѣщаній объ извѣстныхъ дѣлахъ. Но здѣсь гнусность разсчетовъ и выдумокъ вашихъ превосходитъ даже всякое вѣроятіе, ибо, по достовѣрнѣйшимъ справкамъ, къ которымъ по счастливѣйшему для меня случаю успѣлъ я прибѣгнуть и кстати, и во время, узналъ я, что тетушка ваша скончалась ровно цѣлыя сутки спустя послѣ безбожно опредѣленнаго вами въ письмѣ

своемъ срока для кончины ея. Я не кончу, если буду исчислять всѣ признаки, по коимъ узналъ о вашемъ относительно меня вѣроломствѣ. Довольно даже того для безпристрастнаго наблюдателя, что во всякомъ письмѣ своемъ именуете вы меня своимъ искреннимъ другомъ и называете любезными именами, что̀ дѣлали, по моему разумѣнію, не для чего иного, какъ съ тѣмъ, чтобы усыпить мою совѣсть.

Приступлю теперь къ главному вашему относительно меня обману и вѣроломству, состоящему именно: въ безпрерывномъ умалчиваніи въ послѣднее время о всемъ томъ, что̀ касается общаго нашего интереса, о безбожномъ похищеніи письма, въ которомъ, хотя темно и не совсѣмъ мнѣ понятно, объяснили вы наши обоюдныя условія и соглашенія, въ варварскомъ насильномъ займѣ 350 руб. сер., безъ росписки, сдѣланномъ у меня въ качествѣ вашего половинщика; и, наконецъ, въ гнусной клеветѣ на общаго знакомаго нашего Евгенія Николаича. Ясно вижу теперь, что хотѣлось вамъ доказать мнѣ, что съ него, съ позволенія сказать, какъ съ козла, нѣтъ ни молока, ни шерсти, и что онъ самъ ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо, что̀ и поставили ему въ порокъ въ письмѣ своемъ отъ 6-го числа сего мѣсяца. Я-же знаю Евгенія Николаича какъ за скромнаго и благонравнаго юношу, чѣмъ именно можетъ онъ и прельстить, и сыскать, и заслужить уваженіе въ свѣтѣ. Извѣстно тоже мнѣ, что вы каждый вечеръ, въ продолженіи цѣлыхъ двухъ недѣль, клали въ карманъ свой по нѣскольку десятковъ, а иногда и до сотни рублей серебромъ, держа палки и банки Евгенію Николаичу. Теперь-же вы отъ этого всего отпираетесь и не только не соглашаетесь возблагодарить меня за старанія, но даже присвоили безвозвратно собственныя деньги мои, соблазнивъ меня предварительно качествомъ вашего половинщика и обольстивъ меня разными выгодами, имѣющими быть на долю мою. Присвоивъ-же теперь беззаконнѣйшимъ образомъ себѣ мои и Евгенія Николаича деньги, возблагодарить меня уклоняетесь, употребляя для сего клевету, которою и очернили безразсудно въ глазахъ моихъ того, кого я стараніями и усиліями своими ввелъ въ домъ вашъ. Сами-же, напротивъ, по разсказамъ пріятелей, до сихъ поръ чуть-чуть не лижетесь съ нимъ и выдаете всему свѣту за первѣйшаго вашего друга, не смотря на то, что въ свѣтѣ нѣтъ такого послѣдняго дурака, который-бы сразу не угадалъ, къ чему клонятся всѣ ваши намѣренія и что̀ именно значатъ на дѣлѣ дружелюбныя и пріятельскія отношенія ваши.

Я-же скажу, что они значатъ обманъ, вѣроломство, забвеніе приличій и правъ человѣка, богопротивны и всячески порочны. Ставлю себя примѣромъ и доказательствомъ. Чѣмъ я васъ оскорбилъ и за что̀ вы со мною такимъ безбожнымъ образомъ поступили?

Кончаю письмо. Я объяснился. Теперь заключаю: если вы, милостивый мой государь, въ наикратчайшее по полученіи письма сего времени не возвратите мнѣ сполна, во первыхъ, мною вамъ данной суммы, 350 руб. сер., и, во вторыхъ, всѣхъ затѣмъ слѣдующихъ мнѣ по обѣщанію вашему суммъ, то я прибѣгну ко всевозможнымъ средствамъ, чтобъ принудить васъ къ отдачѣ даже открытою силою; во вторыхъ, къ покровительству законовъ, и, наконецъ, объявляю вамъ, что обладаю кое-какими свидѣтельствами, которыя, оставаясь въ рукахъ вашего покорнѣйшаго слуги и почитателя, могутъ погубить и осквернить ваше имя въ глазахъ цѣлаго свѣта.

Позвольте пребыть и проч.

VII.

(Отъ Петра Иваныча къ Ивану Петровичу).

Ноября 15.

Иванъ Петровичъ!

Получивъ ваше мужицкое и, вмѣстѣ съ тѣмъ, странное посланіе, я въ первую минуту хотѣлъ было разорвать его въ клочки,—но сохранилъ для рѣдкости. Впрочемъ, сердечно сожалѣю о недоразумѣніяхъ и непріятностяхъ нашихъ. Отвѣчать вамъ я было не хотѣлъ. Но заставляетъ необходимость. Именно сими строками объявить вамъ нужно, что видѣть васъ когда либо въ домѣ моемъ мнѣ будетъ весьма непріятно, равно и женѣ моей: она слаба здоровьемъ и запахъ дегтя ей вреденъ. Жена моя отсылаетъ вашей супругѣ книжку ея, оставшуюся у насъ — «Донъ-Кихота Ламанчскаго», съ благодарностью. Что-же касается до вашихъ калошъ, будто-бы забытыхъ вами у насъ во время послѣдняго посѣщенія, то съ сожалѣніемъ увѣдомляю васъ, что ихъ нигдѣ не нашли. Покамѣстъ ихъ ищутъ; но если ихъ совсѣмъ не найдутъ, тогда я вамъ куплю новыя.

Впрочемъ, честь имѣю пребыть и проч.

VIII.

Шестнадцатаго числа ноября, Петръ Ивановичъ получаетъ по городской почтѣ на свое имя два письма. Вскрывая первый пакетъ, вынимаетъ онъ записочку, затѣйливо сложенную, на блѣдно-розовой бумажкѣ. Рука жены его. Адрессовано къ Евгенію Николаичу, число 2 ноября. Въ пакетѣ больше ничего не нашлось. Петръ Иванычъ читаетъ:

Милый Eugène! Вчера никакъ нельзя было. Мужъ былъ дома весь вечеръ. Завтра-же пріѣзжай непремѣнно ровно въ одиннадцать. Въ половинѣ одиннадцатаго мужъ отправляется въ Царское и воротится въ полночь. Я злилась всю ночь. Благодарю за присылку извѣстій и переписки. Какая куча бумаги! Неужели это все она исписала? Впрочемъ, есть слогъ; спасибо тебѣ; вижу, что любишь меня. Не сердись за вчерашнее и приходи завтра, ради Бога.

А.

Петръ Иванычъ распечатываетъ второе письмо.

Петръ Иванычъ!

Нога моя и безъ того-бы никогда не была въ вашемъ домѣ; напрасно изволили даромъ бумагу марать.

На будущей недѣлѣ уѣзжаю въ Симбирскъ; пріятелемъ безцѣннѣйшимъ и любезнѣйшимъ другомъ останется у васъ Евгеній Николаичъ; желаю удачи, а о калошахъ не безпокойтесь.

IX.

Семнадцатаго числа ноября, Иванъ Петровичъ получаетъ по городской почтѣ на свое имя два письма. Вскрывая первый пакетъ, вынимаетъ онъ записочку, небрежно и наскоро написанную. Рука жены его; адрессовано къ Евгенію Никалаичу, число 4 августа. Въ пакетѣ больше ничего не нашлось. Иванъ Петровичъ читаетъ:

Прощайте, прощайте Евгеній Николаевичъ! Награди васъ Господь и за это. Будьте счастливы, а мнѣ доля лютая; страшно! Ваша воля была. Если-бы не тетушка, я-бы вамъ ввѣрилась такъ. Не смѣйтесь-же ни надо мною, ни надъ тетушкой. Завтра

вѣнчаютъ насъ. Тетушка рада, что нашелся добрый человѣкъ и беретъ безъ приданаго. Я въ первый разъ пристально на него поглядѣла сегодня. Онъ, кажется, добрый такой. Меня торопятъ. Прощайте, прощайте... голубчикъ мой!! Помяните обо мнѣ когда нибудь; я-же васъ никогда не забуду. Прощайте! Подпишу и это послѣднее, какъ первое мое... помните?

Татьяна

Во второмъ письмѣ было слѣдующее:

Иванъ Петровичъ! Завтра вы получите калоши новыя; я ничего не привыкъ таскать изъ чужихъ кармановъ; также не люблю собирать по улицамъ лоскутки всякой всячины.

Евгеній Николаевичъ на дняхъ уѣзжаетъ въ Симбирскъ, по дѣламъ своего дѣда, и просилъ меня похлопотать о попутчикѣ; не хотите-ли?

ХОЗЯЙКА

ПОВѢСТЬ.

Въ первый разъ напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1847 г.
т. т. 54 и 55

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Ордыновъ рѣшился, наконецъ, перемѣнить квартиру. Хозяйка его, очень бѣдная пожилая вдова и чиновница, у которой онъ нанималъ помѣщеніе, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ уѣхала изъ Петербурга куда-то въ глушь, къ родственникамъ, не дождавшись перваго числа – срока найма своего. Молодой человѣкъ, доживая срочное время, съ сожалѣніемъ думалъ о старомъ углѣ и досадовалъ на то, что приходилось оставить его; онъ былъ бѣденъ, а квартира была дорога. На другой-же день послѣ отъѣзда хозяйки, онъ взялъ фуражку и пошелъ бродить по петербургскимъ переулкамъ, высматривая всѣ ярлычки, прибитые къ воротамъ домовъ, и выбирая домъ почернѣе, полюднѣе и *капитальнѣе*, въ которомъ всего удобнѣе было найдти требуемый уголъ у какихъ нибудь бѣдныхъ жильцовъ.

Онъ уже долго искалъ, весьма прилежно, но скоро новыя, почти незнакомыя ощущенія посѣтили его. Сначала, разсѣянно и небрежно, потомъ со вниманіемъ, наконецъ, съ сильнымъ любопытствомъ сталъ онъ смотрѣть кругомъ себя. Толпа и уличная жизнь, шумъ, движеніе, новость предметовъ, новость положенія — вся эта мелочная жизнь и обыденная дребедень, такъ давно наскучившая дѣловому и занятому петербургскому человѣку, безплодно, но хлопотливо всю жизнь свою отыскивающему средствъ умириться, стихнуть и успокоиться гдѣ нибудь въ тепломъ гнѣздѣ, добытомъ трудомъ, потомъ и разными другими средствами,—вся эта пошлая *проза* и скука возбудила въ немъ, напротивъ, какое-то тихо-радостное, свѣтлое ощущеніе. Блѣдныя щеки его стали покрываться легкимъ румянцемъ, глаза заблестѣли какъ будто новой надеждой, и онъ съ жадностью, широко сталъ вдыхать въ себѣ холодный, свѣжій воздухъ. Ему сдѣлалось необыкновенно легко.

Онъ всегда велъ жизнь тихую, совершенно уединенную. Года три назадъ, получивъ свою ученую степень и ставъ по возможности свободнымъ, онъ пошелъ къ одному старичку, котораго доселѣ зналъ по наслышкѣ, и долго ждалъ покамѣстъ ливрейный камердинеръ согласился доложить о немъ въ другой разъ. Потомъ онъ вошелъ въ высокую, темную и пустынную залу, крайне скучную, какъ еще бываетъ въ старинныхъ, уцѣлѣвшихъ отъ времени фамильныхъ, барскихъ домахъ, и увидѣлъ въ ней старичка увѣшеннаго орденами и украшеннаго сѣдиной, друга и сослуживца его отца и опекуна своего. Старичокъ вручилъ ему щепоточку денегъ. Сумма оказалась очень ничтожною; это былъ остатокъ проданнаго съ молотка за долги прадѣдовскаго наслѣдія. Ордыновъ равнодушно вступилъ во владѣніе, навсегда откланялся опекуну своему и вышелъ на улицу. Вечеръ былъ осенній, холодный и мрачный; молодой человѣкъ былъ задумчивъ, и какая-то безсознательная грусть надрывала его сердце. Въ глазахъ его былъ огонь; онъ чувствовалъ лихорадку, ознобъ и жаръ попеременно. Онъ разсчиталъ дорогою, что можетъ прожить своими средствами года два-три, даже съ голодомъ пополамъ и четыре. Смерклось, накрапывалъ дождь. Онъ сторговалъ первый встрѣчный уголъ и черезъ часъ переѣхалъ. Тамъ онъ какъ будто заперся въ монастырь, какъ будто отрѣшился отъ свѣта. Черезъ два года, онъ одичалъ совершенно.

Онъ одичалъ, не замѣчая того; ему покамѣстъ и въ голову не приходило, что есть другая жизнь—шумная, гремящая, вѣчно волнующаяся, вѣчно мѣняющаяся, вѣчно зовущая и всегда, рано-ли, поздно-ли, неизбѣжная. Онъ, правда, не могъ не слыхать о ней, но не зналъ и не искалъ ея никогда. Съ самаго дѣтства, онъ жилъ исключительно; теперь эта исключительность опредѣлилась. Его пожирала страсть самая глубокая, самая ненасытимая, истощающая всю жизнь человѣка и не выдѣляющая такимъ существамъ, какъ Ордыновъ, ни одного угла въ сферѣ другой, практической, житейской дѣятельности. Эта страсть была—наука. Онъ снѣдала покамѣстъ его молодость, медленнымъ, упоительнымъ ядомъ отравляла ночной покой, отнимала у него здоровую пищу и свѣжій воздухъ, котораго никогда не бывало въ его душномъ углу, и Ордыновъ въ упоеніи страсти своей не хотѣлъ замѣчать того. Онъ былъ молодъ и покамѣстъ не требовалъ большаго. Страсть сдѣлала его младенцемъ для внѣшней жизни и уже навсегда неспособнымъ заставить посторониться иныхъ добрыхъ людей, когда придетъ къ тому надобность, чтобъ

отмежевать себѣ между нихъ хоть какой нибудь уголъ. Наука иныхъ ловкихъ людей—капиталъ въ рукахъ; страсть Ордынова была обращеннымъ на него-же оружіемъ.

Въ немъ было болѣе безсознательнаго влеченія, нежели логически отчетливой причины учиться и знать какъ и во всякой другой, даже самой мелкой дѣятельности, доселѣ его занимавшей. Еще въ дѣтскихъ лѣтахъ, онъ прослылъ чудакомъ и былъ непохожъ на товарищей. Родителей онъ не зналъ; отъ товарищей за свой странный, нелюдимый характеръ терпѣлъ онъ безчеловѣчность и грубость, отчего сдѣлался дѣйствительно нелюдимъ и угрюмъ и мало по малу ударился въ исключительность. Но въ уединенныхъ занятіяхъ его никогда, даже и теперь, не было порядка и опредѣленной системы; теперь былъ одинъ только первый восторгъ, первый жаръ, первая горячка художника. Онъ самъ создавалъ себѣ систему; она выживалась въ немъ годами, и въ душѣ его уже мало по малу возставалъ еще темный, неясный, но какъ-то дивно-отрадный образъ идеи, воплощенной въ новую, просвѣтленную форму, и эта форма просилась изъ души его, терзая эту душу; онъ еще робко чувствовалъ оригинальность, истину и самобытность ея: творчество уже сказывалось силамъ его; оно формировалось и крѣпло. Но срокъ воплощенія и созданія былъ еще далекъ, можетъ быть, очень далекъ, можетъ быть, совсѣмъ невозможенъ!

Теперь онъ ходилъ по улицамъ, какъ отчужденный, какъ отшельникъ, внезапно вышедшій изъ своей нѣмой пустыни въ шумный и гремящій городъ. Все ему казалось ново и странно. Но онъ до того былъ чуждъ тому міру, который кипѣлъ и грохоталъ кругомъ него, что даже не подумалъ удивиться своему странному ощущенію. Онъ какъ будто не замѣчалъ своего дикарства; напротивъ, въ немъ родилось какое-то радостное чувство, какое-то охмѣлѣніе, какъ у голоднаго, которому послѣ долгаго поста дали пить и ѣсть; хотя, конечно, странно было, что такая мелочная новость положенія, какъ перемѣна квартиры, могла отуманить и взволновать петербургскаго жителя, хотя-бъ и Ордынова; но правда и то, что ему до сихъ поръ почти ни разу не случалось выходить *по дѣламъ*.

Все болѣе и болѣе ему нравилось бродить по улицамъ. Онъ глазѣлъ на все какъ *фланеръ*.

Но и теперь, вѣрный своей всегдашней настроенности, онъ читалъ въ ярко раскрывавшейся передъ нимъ картинѣ, какъ въ книгѣ между строкъ. Все поражало его; онъ не терялъ ни

одного впечатлѣнія и мыслящимъ взглядомъ смотрѣлъ на лица ходящихъ людей, всматривался въ физіономію всего окружающаго, любовно вслушивался въ рѣчь народную, какъ будто повѣряя на всемъ свои заключенія, родившіяся въ тиши уединенныхъ ночей. Часто какая нибудь мелочь поражала его, рождала идею, и ему впервые стало досадно за то, что онъ такъ заживо погребъ себя въ своей кельѣ. Здѣсь все шло скорѣе; пульсъ его былъ полонъ и быстръ, умъ, подавленный одиночествомъ, изощряемый и возвышаемый лишь напряженною, экзальтированной дѣятельностью, работалъ теперь скоро, покойно и смѣло. Къ тому-же, ему какъ-то безсознательно хотѣлось втѣснить какъ нибудь и себя въ эту для него чуждую жизнь, которую онъ доселѣ зналъ, или, лучше сказать, только вѣрно предчувствовалъ инстинктомъ художника. Сердце его невольно забилось тоскою любви и сочувствія. Онъ внимательнѣе вглядывался въ людей, мимо него проходившихъ; но люди были чужіе, озабоченные и задумчивые... И мало помалу безпечность Ордынова стала невольно упадать; дѣйствительность уже подавляла его, вселяла въ него какой-то невольный страхъ уваженія. Онъ сталъ уставать отъ наплыва новыхъ впечатлѣній, доселѣ ему невѣдомыхъ, какъ больной, который радостно всталъ въ первый разъ съ болѣзненнаго одра своего и упалъ, изнеможенный свѣтомъ, блескомъ, вихремъ жизни, шумомъ и пестротою пролетавшей мимо него толпы, отуманенный, закруженный движеніемъ. Ему стало тоскливо и грустно. Онъ началъ бояться за всю свою жизнь, за всю свою дѣятельность и даже за будущность. Новая мысль убивала покой его. Ему вдругъ пришло въ голову, что всю жизнь свою онъ былъ одинокъ, что никто не любилъ его, да и ему никого не удавалось любить. Иные изъ прохожихъ, съ которыми онъ случайно вступалъ въ разговоры въ началѣ прогулки, смотрѣли на него грубо и странно. Онъ видѣлъ, что его принимали за съумасшедшаго или за оригинальнѣйшаго чудака, что̀, впрочемъ, было совсѣмъ справедливо. Онъ вспомнилъ, что и всегда всѣмъ было какъ-то тяжело въ его присутствіи, что еще и въ дѣтствѣ всѣ бѣжали его за его задумчивый, упорный характеръ, что тяжело, подавленно и непримѣтно другимъ проявлялось его сочувствіе, которое было въ немъ, но въ которомъ какъ-то никогда не было примѣтно нравственнаго равенства, что̀ мучило его, еще ребенкомъ, когда онъ никакъ не походилъ на другихъ дѣтей, своихъ сверстниковъ. Теперь онъ вспомнилъ и сообразилъ, что и всегда, во всякое время, всѣ оставляли и обходили его.

Непримѣтно зашелъ онъ въ одинъ отдаленный отъ центра города конецъ Петербурга. Кое какъ пообѣдавъ въ уединенномъ трактирѣ, онъ вышелъ опять бродить. Опять прошелъ онъ много улицъ и площадей. За ними потянулись длинные желтые и сѣрые заборы, стали встрѣчаться совсѣмъ ветхія избенки, вмѣсто богатыхъ домовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ колоссальныя зданія подъ фабриками, уродливыя, почернѣвшія, красныя, съ длинными трубами. Всюду было безлюдно и пусто; все смотрѣла какъ-то угрюмо и непріязненно; по крайней мѣрѣ, такъ казалось Ордынову. Былъ уже вечеръ. Однимъ длиннымъ переулкомъ онъ вышелъ на площадку, гдѣ стояла приходская церковь.

Онъ вошелъ въ нее разсѣянно. Служба только что кончилась; церковь была почти совсѣмъ пуста, и только двѣ старухи стояли еще на колѣняхъ у входа. Служитель, сѣдой старичокъ, тушилъ свѣчи. Лучи заходящаго солнца широкою струею лились сверху сквозь узкое окно купола и освѣщали моремъ блеска одинъ изъ придѣловъ; но они слабѣли все болѣе и болѣе, и чѣмъ чернѣе становилась мгла, густѣвшая подъ сводами храма, тѣмъ ярче блистали мѣстами раззолоченныя иконы, озаренныя трепетнымъ заревомъ лампадъ и свѣчей. Въ припадкѣ глубоко-волнующей тоски и какого-то подавленнаго чувства, Ордыновъ прислонился къ стѣнѣ, въ самомъ темномъ углу церкви, и забылся на мгновеніе. Онъ очнулся, когда мѣрный, глухой звукъ двухъ вошедшихъ прихожанъ раздался подъ сводами храма. Онъ поднялъ глаза, и какое-то невыразимое любопытство овладѣло имъ при взглядѣ на двухъ пришельцевъ. Это были старикъ и молодая женщина. Старикъ былъ высокаго роста, еще прямой и бодрый, но худой и болѣзненно блѣдный. Съ вида, его можно было принять за заѣзжаго откуда нибудь издалека купца. На немъ былъ длинный, черный, очевидно, праздничный кафтанъ на мѣху, надѣтый на распашку. Изъ-подъ кафтана виднѣлась какая-то другая длиннополая русская одежда, плотно застегнутая снизу до верха. Голая шея была небрежно повязана яркимъ краснымъ платкомъ; въ рукахъ мѣховая шапка. Длинная, тонкая, полусѣдая борода падала ему на грудь и изъ-подъ нависшихъ, хмурыхъ бровей сверкалъ взглядъ огневой, лихорадочно воспаленный, надменный и долгій. Женщина была лѣтъ двадцати и чудно прекрасна. На ней была богатая, голубая, подбитая мѣхомъ шубейка, а голова покрыта бѣлымъ атласнымъ платкомъ, завязаннымъ у подбородка. Она шла потупивъ глаза, и какая-то задумчивая важность, разлитая во всей фигурѣ ея, рѣзко и пе-

чально отражалась на сладостномъ контурѣ дѣтски-нѣжныхъ и кроткихъ линій лица ея. Что-то странное было въ этой неожиданной парѣ.

Старикъ остановился посреди церкви и поклонился на всѣ четыре стороны, хотя церковь была совершенно пуста; тоже сдѣлала и его спутница. Потомъ онъ взялъ ее за руку и повелъ къ большому мѣстному образу Богородицы, во имя которой была построена церковь, сіявшему у алтаря ослѣпительнымъ блескомъ огней, отражавшихся на горѣвшей золотомъ и драгоцѣнными камнями ризѣ. Церковнослужитель, послѣдній оставшійся въ церкви, поклонился старику съ уваженіемъ; тотъ кивнулъ ему головою. Женщина упала ницъ передъ иконой. Старикъ взялъ конецъ покрова, висѣвшаго у подножія иконы и накрылъ ея голову. Глухое рыданіе раздалось въ церкви.

Ордыновъ былъ пораженъ торжественностью всей этой сцены и съ нетерпѣніемъ ждалъ ея окончанія. Минуты черезъ двѣ женщина подняла голову, и опять яркій свѣтъ лампады озарилъ прелестное лицо ея. Ордыновъ вздрогнулъ и ступилъ шагъ впередъ. Она уже подала руку старику, и оба тихо пошли изъ церкви. Слезы кипѣли въ ея темныхъ синихъ глазахъ, опушенныхъ длинными, сверкавшими на млечной бѣлизнѣ лица рѣсницами, и катились по поблѣднѣвшимъ щекамъ. На губахъ ея мелькала улыбка; но въ лицѣ замѣтны были слѣды какого-то дѣтскаго страха и таинственнаго ужаса. Она робко прижималась къ старику, и видно было, что она вся дрожала отъ волненія.

Пораженный, бичуемый какимъ-то невѣдомо сладостнымъ и упорнымъ чувствомъ, Ордыновъ быстро пошелъ вслѣдъ за ними и на церковной паперти перешелъ имъ дорогу. Старикъ поглядѣлъ на него непріязненно и сурово; она тоже взглянула на него, но безъ любопытства и разсѣянно, какъ будто другая отдаленная мысль занимала ее. Ордыновъ пошелъ вслѣдъ за ними, самъ не понимая своего движенія. Уже совершенно смерклось; онъ шелъ поодаль. Старикъ и молодая женщина вошли въ большую, широкую улицу, грязную, полную разнаго промышленнаго народа, мучныхъ лабазовъ и постоялыхъ дворовъ, которая вела прямо къ заставѣ, и повернули изъ нея въ узкій, длинный переулокъ, съ длинными заборами по обѣимъ сторонамъ его, упиравшійся въ огромную, почернѣвшую стѣну четырехъ-этажнаго капитальнаго дома, сквозными воротами котораго можно было выйдти на другую, тоже большую и людную улицу. Они уже подходили къ дому; вдругъ старикъ оборотился и съ нетерпѣ-

ніемъ взглянулъ на Ордынова. Молодой человѣкъ остановился, какъ вкопанный; ему самому показалось страннымъ его увлеченіе. Старикъ оглянулся другой разъ, какъ будто желая увѣриться, произвела-ли дѣйствіе угроза его, и потомъ оба, онъ и молодая женщина, вошли чрезъ узкія ворота во дворъ дома. Ордыновъ вернулся назадъ.

Онъ былъ въ самомъ непріятномъ расположеніи духа и досадовалъ на самого себя, соображая, что потерялъ день напрасно, напрасно усталъ и вдобавокъ кончилъ глупостью, придавъ смыслъ цѣлаго приключенія происшествію болѣе чѣмъ обыкновенному.

Какъ ни досадовалъ онъ на себя по утру за свою одичалость, но въ инстинктѣ его было бѣжать отъ всего, что̀ могло развлечь, поразить и потрясти его во внѣшнемъ, не внутреннемъ, художественномъ мірѣ его. Теперь съ грустью и съ какимъ-то раскаяніемъ подумалъ онъ о своемъ безмятежномъ углѣ; потомъ напала на него тоска и забота о неразрѣшенномъ положеніи его, о предстоявшихъ хлопотахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ стало досадно, что такая мелочь могла его занимать. Наконецъ, усталый и не въ состояніи связать двухъ идей, добрелъ онъ уже поздно до квартиры своей и съ изумленіемъ спохватился, что прошелъ было, не замѣчая того, мимо дома, въ которомъ жилъ. Ошеломленный и покачивая головою на свою разсѣянность, онъ приписалъ ее усталости и, подымаясь на лѣстницу, вошелъ, наконецъ, на чердакъ въ свою комнату. Тамъ онъ зажегъ свѣчу— и черезъ минуту образъ плачущей женщины ярко поразилъ его воображеніе. Такъ пламенно, такъ сильно было впечатлѣніе, такъ любовно воспроизвело его сердце эти кроткія, тихія черты лица, потрясеннаго таинственнымъ умиленіемъ и ужасомъ, облитаго слезами восторга или младенческаго покаянія, что глаза его помутились и какъ будто огонь пробѣжалъ по всѣмъ его членамъ. Но видѣніе продолжалось недолго. Послѣ восторга, настало размышленіе, потомъ досада, потомъ какая-то безсильная злость; не раздѣваясь, завернулся онъ въ одѣяло и бросился на жесткую постель свою...

Ордыновъ проснулся уже довольно поздно утромъ въ раздраженномъ, робкомъ и подавленномъ состояніи духа, собрался наскоро, почти насильно стараясь думать о насущныхъ заботахъ своихъ, и отправился въ сторону, противоположную вчерашнему своему путешествію; наконецъ, онъ отыскалъ себѣ квартиру гдѣ-то въ свѣтелкѣ у бѣднаго нѣмца, по прозвищу

Шписъ, жившаго съ дочерью Тинхенъ. Шписъ, получивъ задатокъ, тотчасъ-же снялъ ярлыкъ, прибитый на воротахъ и приглашавшій наемщиковъ, похвалилъ Ордынова за любовь къ наукамъ и обѣщалъ самъ усердно позаняться съ нимъ. Ордыновъ сказалъ, что переѣдетъ къ вечеру. Оттуда онъ пошелъ было домой, но раздумалъ и поворотилъ въ другую сторону; бодрость воротилась къ нему, и онъ самъ мысленно улыбнулся своему любопытству. Дорога въ нетерпѣніи показалась ему чрезвычайно длинною; наконецъ, онъ дошелъ до церкви, въ которой былъ вчера вечеромъ. Служили обѣдню. Онъ выбралъ мѣсто, съ котораго могъ видѣть почти всѣхъ молящихся; но тѣхъ, которыхъ онъ искалъ, не было. Послѣ долгаго ожиданія онъ вышелъ, краснѣя. Упорно подавляя въ себѣ какое-то невольное чувство, упрямо и насильно старался онъ перемѣнить ходъ мыслей своихъ. Раздумывая объ обыденномъ житейскомъ, онъ вспомнилъ, что ему пора обѣдать, и почувствовавъ, что дѣйствительно голоденъ, зашелъ въ тотъ-же самый трактиръ, въ которомъ обѣдалъ вчера. Долго и безсознательно бродилъ онъ по улицамъ, по людным и безлюднымъ переулкамъ и, наконецъ, зашелъ въ глушь, гдѣ уже не было города и гдѣ разстилалось пожелтѣвшее поле; онъ очнулся, когда мертвая тишина поразила его новымъ, давно невѣдомымъ ему впечатлѣніемъ. День былъ сухой и морозный, какой нерѣдко бываетъ въ петербургскомъ октябрѣ. Неподалеку была изба; возлѣ нея два стога, сѣна; маленькая круторебрая лошаденка, понуря голову, съ отвислой губой, стояла безъ упряжи подлѣ двуколесной таратайки, казалось, объ чемъ-то раздумывая. Дворная собака ворча грызла кость вблизи разбитаго колеса, и трехлѣтній ребенокъ въ одной рубашонкѣ, почесывая свою бѣлую мохнатую голову, съ удивленіемъ глядѣлъ на зашедшаго одинокаго горожанина. За избой тянулись поля и огороды. На краю синихъ небесъ чернѣлись лѣса, а съ противоположной стороны находились мутныя снѣжныя облака, какъ будто гоня передъ собою стаю перелетныхъ птицъ, безъ крика, одна за другою, пробиравшихся по небу. Все было тихо и какъ-то торжественно-грустно, полно какого-то замиравшаго, притаившагося ожиданія... Ордыновъ пошелъ было дальше и дальше; но пустыня только тяготила его. Онъ повернулъ назадъ въ городъ, изъ котораго вдругъ понесся густой гулъ колоколовъ, сзывавшихъ къ вечернему богослуженію, удвоилъ шаги и черезъ нѣсколько времени опять пошелъ въ храмъ, такъ знакомый ему со вчерашняго дня.

Незнакомка его была уже тамъ.

Она стояла на колѣняхъ у самаго входа между толпой молившихся. Ордыновъ протѣснился сквозь густую массу нищихъ, старухъ въ лохмотьяхъ, больныхъ и калѣкъ, ожидавшихъ у церковныхъ дверей милостыни, и сталъ на колѣни возлѣ незнакомки. Одежда его касалась ея одежды, и онъ слышалъ порывистое дыханіе, вылетавшее изъ ея устъ, шептавшихъ горячую молитву. Черты лица ея по прежнему были потрясены чувствомъ безпредѣльной набожности, и слезы опять катились и сохли на горячихъ щекахъ ея, какъ будто омывая какое нибудь страшное преступленіе. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ стояли они оба, было совершенно темно, и только по временамъ тусклое пламя лампады, колеблемое вѣтромъ, врывавшимся чрезъ отворенное узкое стекло окна, озаряло трепетнымъ блескомъ лицо ея, котораго каждая черта врѣзалась въ память юноши, мутила зрѣніе его и глухою, нестерпимою болью надрывала его сердце. Но въ этомъ мученіи было свое изступленное упоеніе. Наконецъ, онъ не могъ выдержать; вся грудь его задрожала и изныла въ одно мгновеніе въ невѣдомо сладостномъ стремленіи и онъ, зарыдавъ, склонился воспаленной головой своей на холодный помостъ церкви. Онъ не слыхалъ и не чувствовалъ ничего, кромѣ боли въ сердцѣ своемъ, замиравшемъ въ сладостныхъ мукахъ.

Одиночествомъ-ли развилась эта крайняя впечатлительность, обнаженность и незащищенность чувства; приготовлялась-ли въ томительномъ, душномъ и безвыходномъ безмолвіи долгихъ, безсонныхъ ночей, среди безсознательныхъ стремленій и нетерпѣливыхъ потрясеній духа, эта порывчивость сердца, готовая, наконецъ, разорваться или найдти изліяніе; или просто настало внезапно время этой торжественной минуты, и такъ должно было быть ей, какъ внезапно, въ знойный, душный день вдругъ зачернѣетъ все небо и гроза разольется дождемъ и огнемъ на взалкавшую землю, повиснетъ перлами дождя на изумрудныхъ вѣтвяхъ, сомнетъ траву, поля, прибьетъ къ землѣ нѣжныя чашечки цвѣтовъ, чтобъ потомъ, при первыхъ лучахъ солнца, все, опять оживая, устремилось, поднялось на встрѣчу ему и торжественно, до неба послало ему свой роскошный, сладостный ѳиміамъ, веселясь и радуясь обновленной своей жизни... Но Ордыновъ не могъ-бы теперь и подумать, что̀ съ нимъ дѣлается: онъ едва сознавалъ себя...

Онъ почти не замѣтилъ, какъ кончилось богослуженіе, и очнулся, продираясь за своей незнакомкой сквозь сплотившуюся

у входа толпу. Порой, онъ встрѣчалъ ея удивленный и свѣтлый взглядъ. Останавливаемая поминутно выходившимъ народомъ, она не разъ оборачивалась къ нему; видно было, какъ все сильнѣе и сильнѣе росло ея удивленіе, и вдругъ она вся вспыхнула, будто заревомъ. Въ эту минуту вдругъ изъ толпы явился опять вчерашній старикъ и взялъ ее за руку. Ордыновъ опять встрѣтилъ жолчный и насмѣшливый взглядъ его, и какая-то странная злоба вдругъ стѣснила ему сердце. Наконецъ, онъ потерялъ ихъ въ темнотѣ изъ вида; тогда въ неестественномъ усиліи, онъ рванулся впередъ и вышелъ изъ церкви. Но свѣжій вечерній воздухъ не могъ освѣжить его: дыханіе спиралось и сдавливалось въ его груди, и сердце стало биться медленно и крѣпко, какъ будто хотѣло пробить ему грудь. Наконецъ, онъ увидѣлъ, что дѣйствительно потерялъ своихъ незнакомцевъ; ни въ улицѣ, ни въ переулкѣ ихъ уже не было. Но въ головѣ Ордынова уже явилась мысль, сложился одинъ изъ тѣхъ рѣшительныхъ, странныхъ плановъ, которые хотя и всегда сумасбродны, но зато почти всегда успѣваютъ и выполняются въ подобныхъ случаяхъ; на завтра въ восемь часовъ утра онъ подошелъ къ дому со стороны переулка и вошелъ на узенькій, грязный и нечистый задній дворикъ, нѣчто въ родѣ помойной ямы въ домѣ. Дворникъ, что-то дѣлавшій на дворѣ, пріостановился, уперся подбородкомъ на ручку своей лопаты, оглядѣлъ Ордынова съ ногъ до головы и спросилъ его, что̀ ему надо.

Дворникъ былъ молодой малый, лѣтъ двадцати пяти, съ чрезвычайно старообразнымъ лицомъ, сморщенный, маленькій, татаринъ породою.

— Ищу квартиру, отвѣчалъ съ нетерпѣніемъ Ордыновъ.

— Которая? спросилъ дворникъ, съ усмѣшкою.—Онъ смотрѣлъ на Ордынова такъ, какъ будто зналъ все его дѣло.

— Нужно отъ жильцовъ, отвѣчалъ Ордыновъ.

— На томъ дворѣ нѣтъ, отвѣчалъ загадочно дворникъ.

— А здѣсь?

— И здѣсь нѣтъ. Тутъ дворникъ принялся за лопату.

— А, можетъ быть, и уступятъ, сказалъ Ордыновъ, давая дворнику гривенникъ.

Татаринъ взглянулъ на Ордынова, взялъ гривенникъ, потомъ опять взялся за лопату, и послѣ нѣкотораго молчанія объявилъ, что «нѣтъ, нѣту квартира». Но молодой человѣкъ уже не слушалъ его; онъ шелъ по гнилымъ, трясучимъ доскамъ, лежавшимъ въ лужѣ, къ единственному входу на этотъ дворъ изъ флигеля

дома, черному, нечистому, грязному, казалось, захлебывавшемуся въ лужѣ. Въ нижнемъ этажѣ жилъ бѣдный гробовщикъ. Миновавъ его остроумную мастерскую, Ордыновъ по полуразломанной, скользкой, винтообразной лѣстницѣ поднялся въ верхній этажъ, ощупалъ въ темнотѣ толстую, неуклюжую дверь, покрытую рогоженными лохмотьями, нашелъ замокъ и пріотворилъ ее. Онъ не ошибся. Передъ нимъ стоялъ ему знакомый старикъ и пристально, съ крайнимъ удивленіемъ смотрѣлъ на него.

— Что̀ тебѣ? спросилъ онъ отрывисто и почти шепотомъ.

— Есть квартира?.. спросилъ Ордыновъ, почти забывъ все, что̀ хотѣлъ сказать.—Онъ увидалъ изъ-за плеча старика свою незнакомку.

Старикъ молча сталъ затворять дверь, вытѣсняя ею Ордынова.

— Есть квартира, раздался вдругъ ласковый голосъ молодой женщины.

Старикъ освободилъ дверь.

— Мнѣ нуженъ уголъ, сказалъ Ордыновъ, поспѣшно входя въ комнату и обращаясь къ красавицѣ.

Но онъ остановился въ изумленіи, какъ вкопанный, взглянувъ на будущихъ хозяевъ своихъ; въ глазахъ его произошла нѣмая, поразительная сцена. Старикъ былъ блѣденъ какъ смерть, какъ будто готовый лишиться чувствъ. Онъ смотрѣлъ свинцовымъ, неподвижнымъ, пронзающимъ взглядомъ на женщину. Она тоже поблѣднѣла сначала; но потомъ вся кровь бросилась ей въ лицо, и глаза ея какъ-то странно сверкнули. Она повела Ордынова въ другую каморку.

Вся квартира состояла изъ одной довольно обширной комнаты, раздѣленной двумя перегородками на три части; изъ сѣней прямо входили въ узенькую, темную прихожую; прямо была дверь за перегородку, очевидно, въ спальню хозяевъ. Направо, черезъ прихожую, проходили въ комнату, которая отдавалась въ наймы. Она была узенькая и тѣсная, приплюснутая перегородкою къ двумъ низенькимъ окнамъ. Все было загромождено и заставлено необходимыми во всякомъ житьѣ предметами; было бѣдно, тѣсно, но по возможности чисто. Мебель состояла изъ простаго бѣлаго стола, двухъ простыхъ стульевъ и залавка по обѣимъ сторонамъ стѣнъ. Большой старинный образъ съ позолоченнымъ вѣнчикомъ стоялъ надъ полкой въ углу и передъ нимъ горѣла лампада. Въ отдаваемой комнатѣ, и частію въ прихожей, помѣщалась огромная, неуклюжая русская печь. Ясно было, что троимъ въ такой квартирѣ нельзя было жить.

Они стали уговариваться, но безсвязно и едва понимая другъ друга. Ордыновъ за два шага отъ нея слышалъ, какъ стучало ея сердце; онъ видѣлъ, что она вся дрожала отъ волненія и какъ будто отъ страха. Наконецъ, кое-какъ сговорились. Молодой человѣкъ объявилъ, что онъ сейчасъ переѣдетъ, и взглянулъ на хозяина. Старикъ стоялъ въ дверяхъ все еще блѣдный, но тихая, даже задумчивая улыбка прокрадывалась на губахъ его. Встрѣтивъ взглядъ Ордынова, онъ опять нахмурилъ брови.

— Есть паспортъ? спросилъ онъ вдругъ громкимъ, отрывистымъ голосомъ, отворяя ему дверь въ сѣни.

— Да! отвѣчалъ Ордыновъ, немного озадаченный.

— Кто ты таковъ?

— Василій Ордыновъ, дворянинъ, не служу, по своимъ дѣламъ, отвѣчалъ онъ, поддѣлываясь подъ тонъ старика.

— И я тоже, отвѣчалъ старикъ. — Я Илья Муринъ, мѣщанинъ; довольно съ тебя? Ступай...

Черезъ часъ, Ордыновъ уже былъ на новой квартирѣ, къ удивленію своему и своего нѣмца, который уже начиналъ подозрѣвать, вмѣстѣ съ покорною Тинхенъ, что навернувшійся жилецъ обманулъ его. Ордыновъ-же самъ не понималъ, какъ все это сдѣлалось, да и не хотѣлъ понимать...

II.

Сердце его такъ билось, что въ глазахъ зеленѣло и голова шла кругомъ. Машинально занялся онъ размѣщеніемъ своего скуднаго имущества въ новой квартирѣ, развязалъ узелъ съ разнымъ необходимымъ добромъ, отперъ сундукъ съ книгами и сталъ укладывать ихъ на столъ; но скоро вся эта работа выпала изъ рукъ его. Поминутно сіялъ въ его глазахъ образъ женщины, встрѣча съ которою взволновала и потрясла все его существованіе, который наполнялъ его сердце такимъ неудержимымъ, судорожнымъ восторгомъ, — столько счастья прихлынуло разомъ въ скудную жизнь его, что мысли его темнѣли и духъ замиралъ въ тоскѣ и смятеніи. Онъ взялъ свой паспортъ и понесъ къ хозяину въ надеждѣ взглянуть на нее. Но Муринъ едва пріотворилъ дверь, взялъ у него бумагу, сказалъ ему «хорошо, живи съ миромъ» и снова заперся въ своей комнатѣ. Какое-то непріятное чувство овладѣло Ордыновымъ. Неизвѣстно почему, ему стало тяжело глядѣть на этого старика. Въ его взглядѣ было

что-то презрительное и злобное. Но непріятное впечатлѣніе скоро разсѣялось. Ужь третій день, какъ Ордыновъ жилъ въ какомъ-то вихрѣ въ сравненіи съ прежнимъ затишьемъ его жизни; но разсуждать онъ не могъ и даже боялся. Все сбилось и перемѣшалось въ его существованіи; онъ глухо чувствовалъ, что вся его жизнь какъ будто переломлена пополамъ; одно стремленіе, одно ожиданіе овладѣло имъ, и другая мысль его не смущала.

Въ недоумѣніи воротился онъ въ свою комнату. Тамъ, у печки, въ которой стряпалось кушанье, хлопотала маленькая, сгорбленная старушонка, такая грязная и въ такомъ отвратительномъ отребьи, что жалко было смотрѣть на нее. Она, казалось, была очень зла и по временамъ что-то ворчала, шамкая губами себѣ подъ носъ. Это была хозяйская работница. Ордыновъ попробовалъ было заговорить съ нею, но она промолчала, очевидно, со зла. Наконецъ, насталъ часъ обѣда; старуха вынула изъ печи щи, пироги и говядину и понесла къ хозяевамъ. Тогоже подала и Ордынову. Послѣ обѣда, въ квартирѣ настала мертвая тишина.

Ордыновъ взялъ въ руки книгу и долго переворачивалъ листы, стараясь доискаться смысла въ томъ, что̀ читалъ уже нѣсколько разъ. Въ нетерпѣніи онъ отбросилъ книгу и опять попробовалъ было прибирать свои пожитки; наконецъ, взялъ фуражку, надѣлъ шинель и вышелъ на улицу. Идя наудачу, не видя дороги, онъ все старался, по возможности, сосредоточиться духомъ, свести свои разбитыя мысли и хоть немного разсудить о своемъ положеніи. Но усиліе только повергало его въ страданіе, въ пытку. Ознобъ и жаръ овладѣвали имъ попеременно, и по временамъ сердце начинало вдругъ стучать такъ, что̀ приходилось прислониться къ стѣнѣ. «Нѣтъ, лучше смерть», думалъ онъ: «лучше смерть», шепталъ онъ воспаленными, дрожащими губами, мало думая о томъ, что̀ говоритъ. Онъ ходилъ очень долго; наконецъ, почувствовавъ, что промокъ до костей, и замѣтивъ въ первый разъ, что дождь идетъ ливнемъ, воротился домой. Неподалеку отъ дома, онъ увидѣлъ своего дворника. Ему показалось, что татаринъ нѣсколько времени пристально и съ любопытствомъ смотрѣлъ на него и потомъ пошелъ своею дорогою, когда замѣтилъ, что его увидали.

— Здравствуй, сказалъ Ордыновъ, нагнавъ его. — Какъ тебя зовутъ?

— Дворникъ зовутъ, отвѣчалъ тотъ, скаля зубы.

— Ты давно здѣсь дворникомъ?

— Давно.

— Хозяинъ мой мѣщанинъ?

— Мѣщанинъ, коли сказывалъ.

— Что̀-жь онъ дѣлаетъ?

— Больна; живетъ, Бога молитъ — вотъ.

— Это жена его?

— Какая жена?

— Что̀ съ нимъ живетъ?

— Же-на, коли сказывалъ. Прощай, баринъ.

Татаринъ тронулъ шапку и вошелъ въ конуру свою.

Ордыновъ вошелъ въ свою квартиру. Старуха, шамкая и что-то ворча про себя, отворила ему дверь, опять заперла ее на щеколду и полѣзла на печь, на которой доживала свой вѣкъ. Уже смеркалось. Ордыновъ пошелъ достать огня и увидѣлъ, что дверь къ хозяевамъ заперта на замокъ. Онъ кликнулъ старуху, которая, приподнявшись на локоть, зорко смотрѣла на него съ печки, казалось, раздумывая, что̀-бы ему нужно было у хозяйскаго замка; она молча бросила ему пачку спичекъ. Онъ воротился въ комнату и принялся опять, въ сотый разъ, за свои вещи и книги. Но мало по малу, недоумѣвая что̀ съ нимъ дѣлается, присѣлъ на лавку и ему показалось, что онъ заснулъ. По временамъ приходилъ онъ въ себя и догадывался, что сонъ его былъ не сонъ, а какое-то мучительное, болѣзненное забытье. Онъ слышалъ, какъ стукнула дверь, какъ отворилась она, и догадался, что это воротились хозяева отъ вечерни. Тутъ ему пришло въ голову, что нужно было пойдти къ нимъ зачѣмъ-то. Онъ привсталъ, и показалось ему, что онъ уже идетъ къ нимъ, но оступился и упалъ на кучу дровъ, брошенныхъ старухою среди комнаты. Тутъ онъ совершенно забылся и, раскрывъ глаза послѣ долгаго-долгаго времени, съ удивленіемъ замѣтилъ, что лежитъ на той-же лавкѣ, такъ какъ былъ, одѣтый, и что надъ нимъ съ нѣжною заботливостію склонялось лицо женщины, дивно прекрасное, и какъ будто все омоченное тихими, материнскими слезами. Онъ слышалъ, какъ положили ему подъ голову подушку и одѣли чѣмъ-то теплымъ, и какъ чья-то нѣжная рука легла на горячій лобъ его. Онъ хотѣлъ поблагодарить, онъ хотѣлъ взять эту руку, поднести къ запекшимся губамъ своимъ, омочить ее слезами и цаловать, цаловать цѣлую вѣчность. Ему хотѣлось что-то много сказать, но что такое — онъ самъ не зналъ того; ему захотѣлось умереть въ эту минуту. Но руки его были какъ свинцовыя и не двигались; онъ какъ будто онѣмѣлъ и слышалъ

только, какъ разлетается кровь его по всѣмъ жиламъ, какъ будто приподымая его на постели. Кто-то далъ ему воды... Наконецъ, онъ впалъ въ безпамятство.

Онъ проснулся по утру часовъ въ восемь. Солнце сыпало золотымъ снопомъ лучи свои сквозь зеленыя заплесневѣлыя окна его комнаты; какое-то отрадное ощущеніе нѣжило всѣ члены больнаго. Онъ былъ спокоенъ и тихъ, безконечно счастливъ. Ему казалось, что кто-то былъ сейчасъ у его изголовья. Онъ проснулся, заботливо ища вокругъ себя это невидимое существо; ему такъ хотѣлось обнять своего друга и сказать первый разъ въ жизни—здравствуй, добрый день тебѣ, мой милый.

— Какъ-же ты долго спишь! сказалъ нѣжный женскій голосъ. Ордыновъ оглянулся, и къ нему склонилось, съ привѣтливою и свѣтлою какъ солнце улыбкою, лицо красавицы-хозяйки его.

— Какъ ты долго былъ боленъ, говорила она:—полно, вставай; что неволишь себя? Волюшка хлѣба слаще, солнца краше. Вставай, голубь мой, вставай.

Ордыновъ схватилъ и крѣпко сжалъ ея руку. Ему казалось, что онъ все еще видитъ сонъ.

— Подожди, я тебѣ чаю готовила; хочешь чаю? Захоти; тебѣ лучше будетъ. Я сама хворала и знаю.

— Да, дай мнѣ пить, сказалъ Ордыновъ слабымъ голосомъ и сталъ на ноги. Онъ еще былъ очень слабъ. Озпобъ пробѣжалъ по спинѣ его, всѣ члены его болѣли и какъ будто были разбиты. Но на сердцѣ его было ясно, и лучи солнца, казалось, согрѣвали его какою-то торжественною, свѣтлою радостью. Онъ чувствовалъ, что новая, сильная, невидимая жизнь началась для него. Голова его слегка закружилась.

— Вѣдь тебя зовутъ Васильемъ? спросила она;—я иль ослышалась, иль, сдается, тебя хозяинъ такъ вчера назвалъ.

— Да, Василій. А тебя какъ зовутъ? —сказалъ Ордыновъ, приближаясь къ ней и едва устоявъ на ногахъ. Онъ покачнулся. Она схватила его за руки и засмѣялась.

— Меня Катериной, сказала она, смотря ему въ глаза своими большими, ясными, голубыми глазами. Оба держали другъ друга за руки.

— Ты мнѣ хочешь что-то сказать? проговорила она, наконецъ.

— Не знаю, отвѣчалъ Ордыновъ,—у него помутилось зрѣніе.

— Видишь какой. Полно, голубь мой, полно; не горюй, не

тужи; садись сюда къ солнцу за столъ; сиди смирно, а за мной не ходи, прибавила она, видя, что молодой человѣкъ сдѣлалъ движеніе, какъ будто удерживая ее: — я сейчасъ сама къ тебѣ буду; успѣешь на меня наглядѣться. Черезъ минуту она принесла чаю, поставила на столъ и сѣла напротивъ его.

— На, напейся, сказала она.— Что, болитъ твоя голова?

— Нѣтъ, теперь не болитъ,—сказалъ онъ: — не знаю, можетъ быть, и болитъ... я не хочу... полно, полно!.. Я и не знаю, что̀ со мною, говорилъ онъ, задыхаясь и отыскавъ, наконецъ, ея руку:—будь здѣсь, не уходи отъ меня; дай, дай мнѣ опять твою руку... У меня въ глазахъ темнѣетъ; я на тебя какъ на солнце смотрю,—сказалъ онъ, какъ будто отрывая отъ сердца слова свои, замирая отъ восторга, когда ихъ говорилъ. Рыданія сдавливали ему горло.

— Бѣдный какой! Знать, не жилъ ты съ человѣкомъ хорошимъ. Ты одинъ-одинешенекъ; нѣтъ у тебя родичей?

— Нѣтъ никого; я одинъ... ничего, пусть! Теперь лучше... хорошо мнѣ теперь! говорилъ Ордыновъ, будто въ бреду. Комната какъ будто ходила кругомъ него.

— Я сама много лѣтъ людей не видала. Ты такъ глядишь на меня... проговорила она послѣ минутнаго молчанія.

— Ну... что̀-же?

— Какъ будто грѣютъ тебя мои очи! Знаешь, когда любишь кого... Я тебя съ первыхъ словъ въ сердце мое приняла. Заболѣешь, опять буду ходить за тобой. Только ты не болѣй, нѣтъ. Встанешь, будемъ жить какъ братъ и сестра. Хочешь? Вѣдь сестру трудно нажить, какъ Богъ родивъ не далъ.

— Кто ты? Откуда ты? проговорилъ Ордыновъ слабымъ голосомъ.

— Я не здѣшняя... что тебѣ! Знаешь, люди разсказываютъ, какъ жили двѣнадцать братьевъ въ темномъ лѣсу, и какъ заблудилась въ томъ лѣсу красная дѣвица. Зашла она къ нимъ и прибрала имъ все въ домѣ, любовь свою на всемъ положила. Пришли братья и спознали, что сестрица у нихъ день прогостила. Стали ее выкликать, она къ нимъ вышла. Нарекли ее всѣ сестрой, дали ей волюшку, и всѣмъ она была ровня. Знаешь-ли сказку?

— Знаю, прошепталъ Ордыновъ.

— Жить хорошо; любо-ль тебѣ на свѣтѣ жить?

— Да, да; вѣкъ жить, долго жить, отвѣчалъ Ордыновъ.

— Не знаю, сказала задумчиво Катерина:—я-бы и смерти

хотѣла. Хорошо жить любить и добрыхъ людей любить, да... Смотри, ты опять какъ мука побѣлѣлъ!

— Да, голова кругомъ ходитъ...

— Постой, я тебѣ мою постель принесу и подушку другую; здѣсь и постелю. Заснешь, обо мнѣ приснится; недугъ отойдетъ. Наша старуха тоже больна...

Она еще говорила, какъ уже начала готовить постель, по временамъ съ улыбкою смотря черезъ плечо на Ордынова.

— Сколько у тебя книгъ! сказала она, сдвигая сундукъ.

Она подошла къ нему, схватила его правой рукой, подвела къ постели, уложила и одѣла одѣяломъ.

— Говорятъ, книги человѣка портятъ, говорила она, задумчиво покачивая головою.—Ты любишь въ книгахъ читать?

— Да, отвѣчалъ Ордыновъ, не зная, спитъ онъ или нѣтъ, и крѣпче сжимая руку Катерины, чтобъ увѣрить себя, что не спитъ.

— У хозяина моего много книгъ; видишь, какія! Онъ говоритъ, что божественныя. Онъ мнѣ все читаетъ изъ нихъ. Я потомъ тебѣ покажу; ты мнѣ разскажешь послѣ, что̀ онъ мнѣ въ нихъ все читаетъ?

— Разскажи, прошепталъ Ордыновъ, неотступно смотря на нее.

— Ты любишь молиться? спросила она послѣ минутнаго молчанія.—Знаешь что? Я все боюсь, все боюсь...

Она не договорила, казалось, размышляла о чемъ-то. Ордыновъ поднесъ, наконецъ, ея руку къ губамъ своимъ.

— Что ты мою руку цѣлуешь? (И щеки ея слегка заалѣли).—На, цѣлуй ее, продолжала она, смѣясь и подавая ему обѣ руки; потомъ высвободила одну и приложила ее къ горячему лбу его, потомъ стала расправлять и приглаживать его волосы. Она краснѣла болѣе и болѣе; наконецъ, присѣла на полу у постели его и приложила свою щеку къ его щекѣ; теплое, влажное дыханіе ея шелестило по его лицу... Вдругъ Ордыновъ почувствовалъ, что горячія слезы градомъ полились изъ ея глазъ и падали, какъ растопленный свинецъ, на его щеки. Онъ слабѣлъ болѣе и болѣе; онъ уже не могъ двинуть рукою. Въ это время раздался стукъ въ дверь и загремѣла задвижка. Ордыновъ еще могъ слышать, какъ старикъ, его хозяинъ, вошелъ за перегородку. Онъ слышалъ потомъ, что Катерина привстала, не спѣша и не смущаясь, взяла свои книги, слышалъ, какъ она перекрестила его, уходя; онъ закрылъ глаза. Вдругъ горячій, долгій поцалуй загорѣлся на воспаленныхъ губахъ его,

какъ будто ножомъ его ударили въ сердце. Онъ слабо вскрикнулъ и лишился чувствъ...

Потомъ началась для него какая-то странная жизнь.

Порой, въ минуту неяснаго сознанія, мелькало въ умѣ его, что онъ осужденъ жить въ какомъ-то длинномъ, нескончаемомъ снѣ, полномъ странныхъ, безплодныхъ тревогъ, борьбы и страданій. Въ ужасѣ онъ старался возстать противъ роковаго фатализма, его гнетущаго, и въ минуту напряженной, самой отчаянной борьбы, какая-то невѣдомая сила опять поражала его, и онъ слышалъ, чувствовалъ ясно, какъ онъ снова теряетъ память, какъ вновь непроходимая, бездонная темень разверзается передъ нимъ, и онъ бросается въ нее съ воплемъ тоски и отчаянія. Порой мелькали мгновенія невыносимаго, уничтожающаго счастья, когда жизненность судорожно усиливается во всемъ составѣ человѣческомъ, яснѣетъ прошедшее, звучитъ торжествомъ, весельемъ настоящій свѣтлый мигъ и снится на яву невѣдомое грядущее; когда невыразимая надежда падаетъ живительной росой на душу; когда хочешь вскрикнуть отъ восторга; когда чувствуешь, что немощна плоть предъ такимъ гнетомъ впечатлѣній, что разрывается вся нить бытія, и когда, вмѣстѣ съ тѣмъ, поздравляешь всю жизнь свою съ обновленіемъ и воскресеніемъ. Порой онъ опять впадалъ въ усыпленіе, и тогда все, что̀ случилось съ нимъ въ послѣдніе дни, снова повторялось, и смутнымъ, мятежнымъ роемъ проходило въ умѣ его; но видѣніе представлялось ему въ странномъ, загадочномъ видѣ. Порой больной забывалъ, что̀ съ нимъ было, и удивлялся, что онъ не на старой квартирѣ, не у старой хозяйки своей. Онъ недоумѣвалъ, отчего старушка не подходила, какъ бывало всегда въ поздній сумеречный часъ, къ потухавшей печкѣ, обливавшей по временамъ слабымъ, мерцающимъ заревомъ весь темный уголъ комнаты, и въ ожиданіи, какъ погаснетъ огонь, не грѣла, по привычкѣ, своихъ костлявыхъ, дрожащихъ рукъ на замиравшемъ огнѣ, всегда болтая и шепча про себя и изрѣдка въ недоумѣніи поглядывая на него, чуднаго жильца своего, котораго считала помѣшаннымъ отъ долгаго сидѣнія за книгами. Другой разъ онъ вспоминалъ, что переѣхалъ на другую квартиру; но какъ это сдѣлалось, что̀ съ нимъ было, и зачѣмъ пришлось переѣхать, онъ не зналъ того, хотя замиралъ весь духъ его, въ безпрерывномъ, неудержимомъ стремленіи... Но куда, что̀ звало и мучило его, и кто бросилъ этотъ невыносимый пламень, душившій, пожиравшій всю кровь его?—онъ опять не зналъ и

не помнилъ. Часто жадно ловилъ онъ руками какую-то тѣнь, часто слышались ему шелестъ близкихъ, легкихъ шаговъ около постели его и сладкихъ, какъ музыка, шепотъ чьихъ-то ласковыхъ, нѣжныхъ рѣчей; чье-то влажное, порывистое дыханіе скользило по лицу его, и любовью потрясалось все его существо; чьи-то горячія слезы жгли его воспаленныя щеки, и вдругъ чей-то поцѣлуй, долгій, нѣжный, впивался въ его губы; тогда жизнь его изнывала въ неугасимой мукѣ; казалось, все бытіе, весь міръ останавливался, умиралъ на цѣлые вѣка кругомъ него, и долгая, тысячелѣтняя ночь простиралась надъ всѣмъ...

То какъ будто наступали для него опять его нѣжные, безмятежно-прошедшіе годы перваго дѣтства, съ ихъ свѣтлою радостію, съ неугасимымъ счастіемъ, съ первымъ сладостнымъ удивленіемъ къ жизни, съ роями свѣтлыхъ духовъ, вылетавшихъ изъ-подъ каждаго цвѣтка, который срывалъ онъ, игравшихъ съ нимъ на тучномъ зеленомъ лугу передъ маленькимъ домикомъ, окруженнымъ акаціями, улыбавшихся ему изъ хрустальнаго, необозримаго озера, возлѣ котораго просиживалъ онъ по цѣлымъ часамъ, прислушиваясь какъ бьется волна о волну, и шелестившихъ кругомъ него крыльями, любовно усыпая свѣтлыми, радужными сновидѣніями маленькую его колыбельку, когда его мать, склоняясь надъ нею, крестила, цѣловала и баюкала его тихою колыбельною пѣсенкой въ долгія, безмятежныя ночи. Но тутъ вдругъ стало являться одно существо, которое смущало его какимъ-то не дѣтскимъ ужасомъ, которое вливало первый, медленный ядъ горя и слезъ въ его жизнь; онъ смутно чувствовалъ, какъ невѣдомый старикъ держитъ во власти своей всѣ его грядущіе годы, и, трепеща, не могъ онъ отвести отъ него глазъ своихъ. Злой старикъ за нимъ слѣдовалъ всюду. Онъ выглядывалъ и обманчиво кивалъ ему головою изъ-подъ каждаго куста въ рощѣ, смѣялся и дразнилъ его, воплощался въ каждую куклу ребенка, гримасничая и хохоча въ рукахъ его, какъ злой, скверный гномъ; онъ подбивалъ на него каждаго изъ его безчеловѣчныхъ школьныхъ товарищей, или, садясь съ малютками на школьную скамью, гримасничая, выглядывалъ изъ-подъ каждой буквы его грамматики. Потомъ, во время сна, злой старикъ садился у его изголовья... Онъ отогналъ рои свѣтлыхъ духовъ, шелестившихъ своими золотыми и сафирными крыльями кругомъ его колыбели, отвелъ отъ него навсегда его бѣдную мать и сталъ по цѣлымъ ночамъ нашептывать ему длинную, дивную сказку, невнятную для сердца

дитяти, но терзавшую, волновавшую его ужасомъ и не дѣтскою страстью. Но злой старикъ не слушалъ его рыданій и просьбъ и все продолжалъ ему говорить, покамѣстъ онъ не впадалъ въ оцѣпенѣніе, въ безпамятство. Потомъ малютка просыпался вдругъ человѣкомъ; невидимо и неслышно пронеслись надъ нимъ цѣлые годы. Онъ вдругъ сознавалъ свое настоящее положеніе, вдругъ сталъ понимать, что онъ одинокъ и чуждъ всему міру, одинъ въ чужомъ углу, межь таинственныхъ, подозрительныхъ людей, между враговъ, которые все собираются и шепчутся по угламъ его темной комнаты и киваютъ старухѣ, сидѣвшей у огня на корточкахъ, нагрѣвавшей свои дряхлыя, старыя руки и указывавшей имъ на него. Онъ впадалъ въ смятеніе, въ тревогу; ему все хотѣлось узнать, кто таковы эти люди, зачѣмъ они здѣсь, зачѣмъ онъ самъ въ этой комнатѣ, и догадывался, что забрелъ въ какой-то темный, злодѣйскій притонъ, будучи увлеченъ чѣмъ-то могучимъ, но невѣдомымъ, не разсмотрѣвъ прежде, кто и каковы жильцы и кто именно его хозяева. Его начинало мучить подозрѣніе,—и вдругъ, среди ночной темноты опять началась шепотливая, длинная сказка и начала ее тихо, чуть внятно про себя, какая-то старуха, печально качая передъ потухавшимъ огнемъ своей бѣлой, сѣдой головой. Но — и опять ужасъ нападалъ на него: сказка воплощалась передъ нимъ въ лица и формы. Онъ видѣлъ, какъ все, начиная съ дѣтскихъ, неясныхъ грезъ его, всѣ мысли и мечты его, все, что онъ выжилъ жизнію, все, что вычиталъ въ книгахъ, все объ чемъ уже и забылъ давно, все одушевлялось, все складывалось, воплощалось, вставало передъ нимъ въ колоссальныхъ формахъ и образахъ, ходило, роилось кругомъ него; видѣлъ, какъ раскидывались передъ нимъ волшебные, роскошные сады, какъ слагались и разрушались въ глазахъ его цѣлые города, какъ цѣлыя кладбища высылали ему своихъ мертвецовъ, которые начинали жить съизнова, какъ приходили, рождались и отживали въ глазахъ его цѣлые племена и народы, какъ воплощалась, наконецъ, теперь, вокругъ болѣзненнаго одра его, каждая мысль его, каждая безплотная греза, воплощалась почти въ мигъ зарожденія; какъ, наконецъ, онъ мыслилъ не безплотными идеями, а цѣлыми мірами, цѣлыми созданіями; какъ онъ носился, подобно пылинкѣ, во всемъ этомъ безконечномъ, странномъ, невыходимомъ мірѣ, и какъ вся эта жизнь, своею мятежною независимостью, давитъ, гнететъ его и преслѣдуетъ его вѣчной, безконечной ироніей; онъ слышалъ, какъ онъ умираетъ, разрушается въ пыль и прахъ,

безъ воскресенія, на вѣки вѣковъ; онъ хотѣлъ бѣжать, но не было угла во всей вселенной, чтобъ укрыть его. Наконецъ, въ припадкѣ отчаянія, онъ напрягъ свои силы, вскрикнулъ и проснулся...

Онъ проснулся, весь облитый холоднымъ, ледянымъ потомъ. Кругомъ него стояла мертвая тишина; была глубокая ночь. Но все ему казалось, что гдѣ-то продолжается его дивная сказка, что чей-то хриплый голосъ дѣйствительно заводитъ долгій разсказъ о чемъ-то какъ будто ему знакомомъ. Онъ слышалъ, что говорятъ про темные лѣса, про какихъ-то лихихъ разбойниковъ, про какого-то удалаго молодца, чуть-чуть не про самого Стеньку Разина, про веселыхъ пьяницъ, бурлаковъ, про одну красную дѣвицу и про Волгу-матушку. Не сказка-ли это? На яву-ли онъ слышитъ ее? Цѣлый часъ пролежалъ онъ, открывъ глаза, не шевеля ни однимъ членомъ, въ мучительномъ оцѣпенѣніи. Наконецъ, онъ привсталъ осторожно и съ веселіемъ ощутилъ въ себѣ силу, неистощившуюся въ лютой болѣзни. Бредъ прошелъ, начиналась дѣйствительность. Онъ замѣтилъ, что еще былъ одѣтъ такъ, какъ былъ во время разговора съ Катериной, и что, слѣдовательно, немного времени прошло съ того утра, какъ она ушла отъ него. Огонь рѣшимости пробѣжалъ по его жиламъ. Машинально отыскалъ онъ руками большой гвоздь, вбитый для чего-то вверху перегородки, возлѣ которой постлали постель его, схватился за него, и, повиснувъ на немъ всѣмъ тѣломъ, кое-какъ добрался до щели, изъ которой выходилъ едва замѣтный свѣтъ въ его комнату. Онъ приложилъ глазъ къ отверзтію и сталъ глядѣть, едва переводя духъ отъ волненія.

Въ углу хозяйской каморки стояла постель, передъ постелью столъ, покрытый ковромъ, заваленный книгами большой старинной формы, въ переплетахъ, напоминавшихъ священныя книги. Въ углу стоялъ образъ, такой-же старинный, какъ и въ его комнатѣ; передъ образомъ горѣла лампада. На постели лежалъ старикъ Муринъ, больной, изможденный страданіемъ и блѣдный какъ полотно, закрытый мѣховымъ одѣяломъ. На колѣняхъ его была раскрытая книга. На скамьѣ возлѣ постели лежала Катерина, охвативъ рукою грудь старика и склонившись къ нему на плечо головою. Она смотрѣла на него внимательными, дѣтски-удивленными глазами и, казалось, съ неистощимымъ любопытствомъ, замирая отъ ожиданія, слушала то, что̀ ей разсказывалъ Муринъ. По временамъ, голосъ разскащика возвышался, одушевленіе отражалось на блѣдномъ лицѣ его; онъ хмурилъ брови, глаза

его начинали сверкать, и Катерина, казалось, блѣднѣла отъ страха и волненія. Тогда что-то похожее на улыбку являлось на лицѣ старика, и Катерина начинала тихо смѣяться. Порой слезы загорались въ глазахъ ея; тогда старикъ нѣжно гладилъ ее по головѣ какъ ребенка, и она еще крѣпче обнимала его своею обнаженною, сверкающею какъ снѣгъ рукою, и еще любовнѣе припадала къ груди его.

По временамъ Ордыновъ думалъ, что все это еще сонъ, даже былъ въ этомъ увѣренъ; но кровь ему бросилась въ голову и жилы напряженно, съ болью, бились на вискахъ его. Онъ выпустилъ гвоздь, всталъ съ постели и, качаясь, пробираясь какъ лунатикъ, самъ не понимая своего побужденія, вспыхнувшаго цѣлымъ пожаромъ въ крови его, подошелъ къ хозяйскимъ дверямъ и съ силой толкнулся въ нихъ; ржавая задвижка отлетѣла разомъ, и онъ вдругъ съ шумомъ и трескомъ очутился среди хозяйской спальни. Онъ видѣлъ, какъ вся вспорхнулась и вздрогнула Катерина, какъ злобно засверкали глаза старика изъ подъ тяжело-сдавленныхъ вмѣстѣ бровей и какъ внезапно ярость исказила все лицо его. Онъ видѣлъ, какъ старикъ, не спуская съ него своихъ глазъ, блуждающей рукой наскоро ищетъ ружье, висѣвшее на стѣнѣ; видѣлъ потомъ, какъ сверкнуло дуло ружья, направленное невѣрной, дрожащей отъ бѣшенства рукой прямо въ грудь его... Раздался выстрѣлъ, раздался потомъ дикій, почти нечеловѣческій крикъ, и когда разлетѣлся дымъ, страшное зрѣлище поразило Ордынова. Дрожа всѣмъ тѣломъ, онъ нагнулся надъ старикомъ. Муринъ лежалъ на полу; его коробило въ судорогахъ, лицо его было искажено въ мукахъ, и пѣна показывалась на искривленныхъ губахъ его. Ордыновъ догадался, что несчастный былъ въ жесточайшемъ припадкѣ падучей болѣзни. Вмѣстѣ съ Катериной, онъ бросился помогать ему...

III.

Вся ночь прошла въ тревогѣ. На другой день Ордыновъ вышелъ рано по утру, не смотря на свою слабость и на лихорадку, которая все еще не оставляла его. На дворѣ онъ опять встрѣтилъ дворника. Въ этотъ разъ татаринъ еще издали приподнялъ фуражку и съ любопытствомъ поглядѣлъ на него. Потомъ, какъ будто опомнясь, принялся за свою метлу, искоса взглядывая на медленно приближавшагося Ордынова.

— Что̀? Ты ничего не слыхалъ ночью? спросилъ Ордыновъ.

— Да, слыхалъ.

— Что̀ это за человѣкъ? Кто онъ такой?

— Сама нанимала, сама и знай; а моя чужая.

— Да будешь-ли ты когда говорить! закричалъ Ордыновъ внѣ себя отъ припадка какой-то болѣзненной раздражительности.

— А моя что сдѣлала? Виновата твоя,—твоя жильцовъ пугала. Внизу гробовщикъ жилъ: онъ глухъ, а все слышалъ, и баба его глухая, и та слышала. А на другомъ дворѣ, хоть и далеко, а тоже слышала—вотъ. Я къ надзирателю пойду.

— Я самъ туда-же пойду, отвѣчалъ Ордыновъ и пошелъ къ воротамъ.

— А хошь какъ хошь; сама нанимала... Баринъ, баринъ, постой! Ордыновъ оглянулся; дворникъ изъ учтивости тронулъ за шапку.

— Ну!

— Коль пойдешь, я къ хозяину пойду.

— Что̀-жь?

— Лучше съѣзжай.

— Ты глупъ, проговорилъ Ордыновъ и опять пошелъ было прочь.

— Баринъ, баринъ, постой! Дворникъ опять тронулъ за шапку и оскалилъ зубы.

— Слушай, баринъ: ты сердце держи; за что бѣднаго гнать? Бѣднаго гонять—грѣхъ. Богъ не велитъ—слышь?

— Слушай-же и ты: вотъ возьми это. Ну, кто-жь онъ таковъ?

— Кто таковъ?

— Да.

— Я и безъ денегъ скажу.

Тутъ дворникъ взялъ метлу, махнулъ разъ-два, потомъ остановился, внимательно и важно посмотрѣвъ на Ордынова.

— Ты баринъ хорошій. А не хошь жить съ человѣкомъ хорошимъ, какъ хошь; моя вотъ какъ сказала.

Тутъ татаринъ посмотрѣлъ еще выразительнѣе и какъ будто осердясь, опять принялся за метлу. Показавъ, наконецъ, видъ, что кончилъ какое-то дѣло, онъ таинственно подошелъ къ Ордынову и, сдѣлавъ какой-то очень выразительный жестъ, произнесъ:

— Она вотъ что̀!

— Чего? Какъ?

— Ума нѣтъ.

— Что̀?

— Улетѣла. Да! Улетѣла! повторилъ онъ еще болѣе таинственнымъ тономъ.—Она больна. У него барка была, большая была и другая была, и третья была, по Волгѣ ходила, а я самъ изъ Волги: еще заводъ была, да сгорѣла, и онъ безъ башка.

— Онъ помѣшанный?

— Ни!.. Ни! отвѣчалъ съ разстановкой татаринъ.—Не мѣшана. Онъ умный человѣкъ. Онъ все знаетъ, книжка много читала, читала, читала, все читала и другимъ правда сказывала. Такъ; пришла кто: два рубля, три рубля, 40 рубля, а не хошь какъ хошь; книжка посмотритъ, увидитъ и всю правду скажетъ. А деньга не столъ, тотчасъ на столъ, —безъ деньга ни!

Тутъ татаринъ, съ излишкомъ сердца входившій въ интересы Мурина, даже засмѣялся отъ радости.

— Что-жь, онъ колдовалъ, гадалъ кому нибудь?

— Гм... промычалъ дворникъ, скоро кивнувъ головою:—она правду сказывала. Она Бога молитъ, много молитъ. А то такъ, находитъ на него.

Тутъ татаринъ опять повторилъ свой выразительный жестъ.

Въ эту минуту кто-то кликнулъ дворника съ другаго двора, а вслѣдъ затѣмъ показался какой-то маленькій, согбенный, сѣденькій человѣкъ въ тулупѣ. Онъ шелъ кряхтя, спотыкаясь, смотрѣлъ въ землю и что-то нашептывалъ про себя. Можно было подумать, что онъ отъ старости выжилъ изъ ума.

— Хозяева, хозяева! прошепталъ въ попыхахъ дворникъ, наскоро кивнувъ головою Ордынову и, сорвавъ шапку, бросился бѣгомъ къ старичку, котораго лицо было какъ-то знакомо Ордынову; по крайней мѣрѣ, онъ гдѣ-то встрѣтилъ его очень недавно. Сообразивъ, впрочемъ, что тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, онъ пошелъ со двора. Дворникъ показался ему мошенникомъ и наглецомъ первой руки.—Бездѣльникъ точно торговался со мной! думалъ онъ: Богъ знаетъ, что̀ тутъ такое!

Онъ уже произнесъ это на улицѣ.

Мало по малу, его начали одолѣвать другія мысли. Впечатлѣніе было непріятное: день сѣрый и холодный, порхалъ снѣгъ. Молодой человѣкъ чувствовалъ, какъ ознобъ снова начинаетъ ломать его; онъ чувствовалъ тоже, что какъ будто земля начинала подъ нимъ колыхаться. Вдругъ одинъ знакомый голосъ непріятно-сладенькимъ, дребежжащимъ теноромъ пожелалъ ему добраго утра.

— Ярославъ Ильичъ! сказалъ Ордыновъ.

Передъ нимъ стоялъ бодрый, краснощекій человѣкъ, съ виду лѣтъ тридцати, невысокаго роста, съ сѣренькими масляными глазками, съ улыбочкой, одѣтый.., какъ и всегда бываетъ одѣтъ Ярославъ Ильичъ, и пріятнѣйшимъ образомъ протягивалъ ему руку. Ордыновъ познакомился съ Ярославомъ Ильичемъ тому назадъ ровно годъ, совершенно случайнымъ образомъ, почти на улицѣ. Очень легкому знакомству способствовала, кромѣ случайности, необыкновенная наклонность Ярослава Ильича отыскивать всюду добрыхъ, благородныхъ людей, прежде всего образованныхъ и, по крайней мѣрѣ, талантомъ и красотою обращенія достойныхъ принадлежать высшему обществу. Хотя Ярославъ Ильичъ имѣлъ чрезвычайно сладенькій теноръ, но даже въ разговорахъ съ искреннѣйшими друзьями въ настроѣ его голоса проглядывало что-то необыкновенно-свѣтлое, могучее и повелительное, не терпящее никакихъ отлагательствъ, что̀ было, можетъ быть, слѣдствіемъ привычки.

— Какимъ образомъ? вскрикнулъ Ярославъ Ильичъ съ выраженіемъ искреннѣйшей, восторженной радости.

— Я здѣсь живу.

— Давно-ли? продолжалъ Ярославъ Ильичъ, подымая ноту все выше и выше.—И я не зналъ этого! Но я съ вами сосѣдъ! Я теперь уже въ здѣшней части. Я уже мѣсяцъ какъ воротился изъ Рязанской губерніи. Поймалъ-же васъ, старинный и благороднѣйшій другъ! — И Ярославъ Ильичъ разсмѣялся добродушнѣйшимъ образомъ.

— Сергѣевъ! закричалъ онъ вдохновенно:—жди меня у Тарасова; да чтобъ безъ меня не шевелили кулей. Да турни олсуфьевскаго дворника; скажи, чтобъ тотъ-же часъ явился въ контору. Я приду черезъ часъ...

На-скоро отдавая кому-то этотъ приказъ, деликатный Ярославъ Ильичъ взялъ Ордынова подъ руку и повелъ въ ближайшій трактиръ.

— Не успокоюсь безъ того, пока не перебросимъ двухъ словъ наединѣ послѣ такой долгой разлуки. Ну, что ваши занятія? прибавилъ онъ почти благоговѣйно и таинственно понизивъ голосъ: — всегда въ наукахъ?

— Да, я по прежнему, отвѣчалъ Ордыновъ, у котораго мелькнула одна свѣтлая мысль.

— Благородно, Василій Михайловичъ, благородно! — Тутъ Ярославъ Ильичъ крѣпко пожалъ руку Ордынова: — вы будете украшеніемъ нашего общества. Подай вамъ Господь счастливаго

пути на вашемъ поприщѣ... Боже! какъ я радъ, что васъ встрѣтилъ! Сколько разъ я вспоминалъ объ васъ, сколько разъ говорилъ: гдѣ-то онъ, нашъ добрый, великодушный, остроумный Василій Михайловичъ?

Они заняли особую комнату. Ярославъ Ильичъ заказалъ закуску, велѣлъ подать водки и съ чувствомъ взглянулъ на Ордынова.

— Я много читалъ безъ васъ, началъ онъ робкимъ, немного вкрадчивымъ голосомъ. — Я прочелъ всего Пушкина...

Ордыновъ разсѣянно посмотрѣлъ на него.

— Удивительно изображеніе человѣческой страсти-съ. Но прежде всего позвольте мнѣ быть вамъ благодарнымъ. Вы такъ много сдѣлали для меня благородствомъ внушеній справедливаго образа мыслей...

— Помилуйте!

— Нѣтъ, позвольте-съ. Я всегда люблю воздать справедливость и горжусь, что, по крайней мѣрѣ, хоть это чувство не замолкло во мнѣ.

— Помилуйте, вы несправедливы къ себѣ, и я, право...

— Нѣтъ, совершенно справедливъ-съ, возразилъ съ необыкновеннымъ жаромъ Ярославъ Ильичъ. — Что̀ я такое въ сравненіи съ вами-съ? Не правда-ли?

— Ахъ, Боже мой!

— Да-съ...

Тутъ послѣдовало молчаніе.

— Слѣдуя вашимъ совѣтамъ, я прервалъ много грубыхъ знакомствъ и смягчилъ отчасти грубость привычекъ, началъ опять Ярославъ Ильичъ нѣсколько робкимъ и вкрадчивымъ голосомъ.—Въ свободное отъ должности время большею частію сижу дома; по вечерамъ читаю какую нибудь полезную книгу и... у меня одно желаніе, Василій Михайловичъ, приносить хоть посильную пользу отечеству...

— Я всегда считалъ васъ за благороднѣйшаго человѣка, Ярославъ Ильичъ.

— Вы всегда приносите бальзамъ... благородный молодой человѣкъ...

Ярославъ Ильичъ горячо пожалъ руку Ордынову.

— Вы не пьете? замѣтилъ онъ, немного утишивъ свое волненіе.

— Не могу; я боленъ.

— Больны? Да, въ самомъ дѣлѣ! Давно-ли, какъ, какимъ

образомъ вы изволили заболѣть? Угодно, я скажу... какой медикъ васъ лечитъ? Угодно, я сейчасъ скажу нашему частному доктору. Я самъ, лично, къ нему побѣгу. Искуснѣйшій человѣкъ!

Ярославъ Ильичъ уже брался за шляпу.

— Покорно благодарю. Я не лечусь и не люблю лѣкарей...

— Что вы? Можно-ли этакъ? Но это искуснѣйшій человѣкъ, продолжалъ Ярославъ Ильичъ, умоляя: — намедни, — но позвольте вамъ это разсказать, дорогой Василій Михайловичъ, — намедни приходитъ одинъ бѣдный слесарь: «я, вотъ», говоритъ, «накололъ себѣ руку моимъ орудіемъ; излечите меня»... Семенъ Пафнутьичъ, видя, что несчастному угрожаетъ антоновъ огонь, принялъ мѣру отрѣзать зараженный членъ. Онъ сдѣлалъ это при мнѣ. Но это было такъ сдѣлано, такимъ благор... то есть, такимъ восхитительнымъ образомъ, что, признаюсь, если-бъ не состраданіе къ страждущему человѣчеству, то было-бы пріятно посмотрѣть такъ, просто, изъ любопытства-съ. Но гдѣ и какъ изволили заболѣть?

— Переѣзжая на квартиру... Я только что всталъ.

— Но вы еще очень нездоровы, и вамъ-бы не слѣдовало выходить. Стало быть, вы уже не тамъ, гдѣ прежде, живете? Но что̀ побудило васъ?

— Моя хозяйка уѣхала изъ Петербурга.

— Домна Савишна? Неужели?.. Добрая, истинно благородная старушка! Знаете-ли? Я чувствовалъ къ ней почти сыновнее уваженіе. Что-то возвышенное прадѣдовскихъ лѣтъ свѣтилось въ этой почти отжившей жизни; и, глядя на нее, какъ будто видишь передъ собой воплощеніе нашей сѣдой, величавой старинушки... то есть изъ этого... что-то тутъ, знаете, этакъ поэтическое!.. заключилъ Ярославъ Ильичъ, совершенно оробѣвъ и покраснѣвъ до ушей.

— Да, она была добрая женщина.

— Но позвольте узнать, гдѣ вы теперь изволили поселиться?

— Здѣсь, недалеко, въ домѣ Кошмарова.

— Я съ нимъ знакомъ. Величавый старикъ! Я съ нимъ, смѣю сказать, почти искренній другъ. Благородная старость!

Уста Ярослава Ильича почти дрожали отъ радости умиленія. Онъ спросилъ еще рюмку водки и трубку.

— Сами по себѣ нанимаете?

— Нѣтъ, у жильца.

— Кто таковъ? Можетъ быть, я тоже знакомъ.

— У Мурина, мѣщанина; старикъ высокаго роста...

— Муринъ, Муринъ; да, позвольте-съ, это на заднемъ дворѣ, надъ гробовщикомъ?

— Да, да, на самомъ заднемъ дворѣ.

— Гм... вамъ покойно жить-съ?

— Да я только что переѣхалъ.

— Гм... я только хотѣлъ сказать, гм... впрочемъ, но вы не замѣтили-ль чего особеннаго?

— Право...

— То есть, я увѣренъ, что вамъ будетъ жить у него хорошо, если вы останетесь довольны помѣщеніемъ... я и не къ тому говорю, готовъ предупредить; но, зная вашъ характеръ... Какъ вамъ показался этотъ старикъ-мѣщанинъ?

— Онъ, кажется, совсѣмъ больной человѣкъ.

— Да, онъ очень страждущъ... Но вы такого ничего не замѣтили? Вы говорили съ нимъ?

— Очень мало; онъ такой нелюдимый и желчный...

— Гм... Ярославъ Ильичъ задумался.

— Несчастный человѣкъ! сказалъ онъ, помолчавъ.

— Онъ?

— Да, несчастный и вмѣстѣ съ тѣмъ до невѣрности странный и занимательный человѣкъ. Впрочемъ, если онъ васъ не безпокоитъ... Извините, что я обратилъ вниманіе на такой предметъ, но я полюбопытствовалъ...

— И, право, возбудили и мое любопытство... Я-бы очень желалъ знать, кто онъ таковъ. Къ тому-же, я съ нимъ живу...

— Видите-ли-съ: говорятъ, этотъ человѣкъ былъ прежде очень богатъ. Онъ торговалъ, какъ вамъ, вѣроятно, удавалось слышать. По разнымъ несчастнымъ обстоятельствамъ, онъ обѣднѣлъ; у него въ бурю разбило нѣсколько барокъ съ грузомъ. Заводъ, ввѣренный, кажется, управленію близкаго и любимаго родственника, тоже подвергся несчастной участи и сгорѣлъ, при чемъ въ пламени пожара погибъ и самъ его родственникъ. Согласитесь, потеря ужасная! Тогда Муринъ, разсказываютъ, впалъ въ плачевное уныніе; стали опасаться за его разсудокъ, и дѣйствительно, въ одной ссорѣ съ другимъ купцомъ, тоже владѣтелемъ барокъ, ходившихъ по Волгѣ, онъ вдругъ выказалъ себя съ такой странной и неожиданной точки зрѣнія, что все происшедшее не иначе отнесли какъ къ сильному его помѣшательству, чему и я готовъ вѣрить. Я подробно слышалъ о нѣкоторыхъ его странностяхъ; наконецъ, вдругъ, случилось одно очень странное, такъ сказать, роковое обстоятельство, которое ужь

никакъ нельзя объяснить иначе, какъ враждебнымъ вліяніемъ прогнѣванной судьбы.

— Какое? спросилъ Ордыновъ.

— Говорятъ, что въ болѣзненномъ припадкѣ съумасшествія онъ посягнулъ на жизнь одного молодаго купца, котораго прежде чрезвычайно любилъ. Онъ былъ такъ пораженъ, когда очнулся послѣ припадка, что готовъ былъ лишить себя жизни; такъ, по крайней мѣрѣ, разсказываютъ. Не знаю навѣрно, что̀ произошло за этимъ, но извѣстно то, что онъ находился нѣсколько лѣтъ подъ покаяніемъ... Но что съ вами, Василій Михайловичъ, не утомляетъ-ли васъ мой простой разсказъ?

— О, нѣтъ, ради Бога... Вы говорите, что онъ былъ подъ покаяніемъ; но онъ не одинъ.

— Не знаю-съ. Говорятъ, что былъ одинъ. По крайней мѣрѣ, никто другой не замѣшанъ въ томъ дѣлѣ. А, впрочемъ, не слыхалъ о дальнѣйшемъ; знаю только...

— Ну-съ.

— Знаю только,—то есть, я собственно ничего особеннаго не имѣлъ въ мысляхъ прибавить... я хочу только сказать, если вы находите въ немъ что-то необыкновенное и выходящее изъ обыкновеннаго уровня вещей, то все это произошло не иначе, какъ слѣдствіемъ бѣдъ, обрушившихся на него одна за другою...

— Да, онъ такой богомольный, большой святоша.

— Не думаю, Василій Михайловичъ; онъ столько пострадалъ; мнѣ кажется, онъ чистъ своимъ сердцемъ.

— Но вѣдь теперь онъ не съумасшедшій; онъ здоровъ.

— О, нѣтъ, нѣтъ; въ этомъ я вамъ могу поручиться, готовъ присягнуть; онъ въ полномъ владѣніи всѣхъ своихъ умственныхъ способностей. Онъ только, какъ вы справедливо замѣтили мелькомъ, чрезвычайно чудно̀й и богомольный. Очень даже разумный человѣкъ. Говоритъ бойко, смѣло и очень хитро-съ. Еще видѣнъ слѣдъ прошлой, бурной жизни на лицѣ его-съ. Любопытный человѣкъ-съ и чрезвычайно начитанный.

— Онъ, кажется, читаетъ все священныя книги?

— Да-съ, онъ мистикъ-съ.

— Что?

— Мистикъ. Но я вамъ говорю это по секрету. По секрету скажу вамъ еще, что за нимъ былъ нѣкоторое время сильный присмотръ. Этотъ человѣкъ имѣлъ ужасное вліяніе на приходившихъ къ нему.

— Какое-же?

— Но вы не повѣрите; видите-ли-съ: тогда еще онъ не жилъ въ здѣшнемъ кварталѣ; Александръ Игнатьевичъ, почетный гражданинъ, человѣкъ сановитый и пользующійся общимъ уваженіемъ, ѣздили къ нему съ какимъ-то поручикомъ изъ любопытства. Пріѣзжаютъ они къ нему; ихъ принимаютъ, и странный человѣкъ начинаетъ имъ вглядываться въ лица. Онъ обыкновенно вглядывался въ лица, если соглашался быть полезнымъ; въ противномъ случаѣ отсылалъ приходящихъ назадъ и даже, говорятъ, весьма неучтиво. Спрашиваетъ онъ ихъ: что вамъ угодно, господа? Такъ и такъ, отвѣчаетъ Александръ Игнатьичъ: даръ вашъ можетъ сказать вамъ это и безъ насъ. Пожалуйте-жь, говоритъ, со мной въ другую комнату; тутъ онъ назначилъ именно того изъ нихъ, который до него имѣлъ надобность. Александръ Игнатьичъ не разсказывалъ, что̀ съ нимъ было потомъ, но онъ вышелъ отъ него блѣдный какъ платокъ. Тоже самое случилось и съ одной знатной дамой высшаго общества: она тоже вышла отъ него блѣдна какъ платокъ, вся въ слезахъ и въ изумленіи отъ его предсказанія и краснорѣчія.

— Странно. Но теперь онъ не занимается этимъ?

— Строжайше запрещено-съ. Были чудные примѣры-съ. Одинъ молодой корнетъ, цвѣтъ и надежда высшаго семейства, глядя на него, усмѣхнулся. «Что ты смѣешься?» сказалъ, разсердившись, старикъ: «черезъ три дня ты самъ будешь вотъ что̀!»—и онъ сложилъ на крестъ руки, означая такимъ знакомъ трупъ мертвеца.

— Ну?

— Не смѣю вѣрить, но, говорятъ, предсказаніе сбылось. Онъ имѣетъ даръ, Василій Михайловичъ... Вы изволили улыбнуться на мой простодушный разсказъ. Знаю, что вы далеко упредили меня въ просвѣщеніи; но я вѣрю ему: онъ не шарлатанъ. Самъ Пушкинъ упоминаетъ о чемъ-то подобномъ въ своихъ сочиненіяхъ.

— Гм! Не хочу вамъ противорѣчить. Вы, кажется, сказали, что онъ живетъ не одинъ.

— Я не знаю... съ нимъ, кажется, дочь его.

— Дочь?

— Да-съ, или, кажется, жена его; я знаю, что живетъ съ нимъ какая-то женщина. Я видѣлъ мелькомъ и вниманія не обратилъ.

— Гм! Странно...

Молодой человѣкъ впалъ въ задумчивость. Ярославъ Ильичъ—

въ нѣжное созерцаніе. Онъ былъ растроганъ и тѣмъ, что видѣлъ стараго друга, и тѣмъ, что удовлетворительно разсказалъ интереснѣйшую вещь. Онъ сидѣлъ не спуская глазъ съ Василья Михайловича и потягивая изъ трубки; но вдругъ вскочилъ и засуетился.

— Цѣлый часъ прошелъ, а я и забылъ! Дорогой Василій Михайловичъ, еще разъ благодарю судьбу за то, что свела насъ вмѣстѣ, но мнѣ пора. Дозволите-ли мнѣ посѣтить васъ въ вашемъ ученомъ жилищѣ?

— Сдѣлайте одолженіе, буду вамъ очень радъ. Навѣщу и самъ васъ, когда выпадетъ время.

— Вѣрить-ли пріятному извѣстію? Обяжете, несказанно обяжете!—Не повѣрите, въ какой восторгъ вы меня привели!

Они вышли изъ трактира. Сергѣевъ уже летѣлъ имъ на встрѣчу и скороговоркой рапортовалъ Ярославу Ильичу, что Вильямъ Емельяновичъ изволятъ проѣзжать. Дѣйствительно, въ перспективѣ показалась пара лихихъ саврасокъ, впряженныхъ въ лихія пролетки. Особенно замѣчательна была необыкновенная пристяжная. Ярославъ Ильичъ сжалъ словно въ тискахъ руку лучшаго изъ друзей своихъ, приложился къ шляпѣ и пустился встрѣчать налетавшія дрожки. Дорогою онъ раза два обернулся и прощальнымъ образомъ кивнулъ головою Ордынову.

Ордыновъ чувствовалъ такую усталость, такое изнеможеніе во всѣхъ членахъ, что едва волочилъ ноги. Кое-какъ добрался онъ до дому. Въ воротахъ его опять встрѣтилъ дворникъ, прилежно наблюдавшій все его прощаніе съ Ярославомъ Ильичемъ, и еще издали сдѣлалъ ему какой-то пригласительный знакъ. Но молодой человѣкъ прошелъ мимо. Въ дверяхъ квартиры, онъ плотно столкнулся съ маленькой, сѣденькой фигуркой, выходившей потупивъ очи отъ Мурина.

— Господи, прости мои прегрѣшенія! прошептала фигурка, отскочивъ въ сторону съ упругостью пробки.

— Не ушибъ-ли я васъ?

— Нѣтъ-съ, нижайше благодарю за вниманіе... О, Господи, Господи!

Тихій человѣчекъ, кряхтя, охая и нашептывая что-то назидательное себѣ подъ носъ, бережно пустился по лѣстницѣ. Это былъ хозяинъ дома, котораго такъ испугался дворникъ. Тутъ только Ордыновъ вспомнилъ, что видѣлъ его въ первый разъ здѣсь-же у Мурина, когда переѣзжалъ на квартиру.

Онъ чувствовалъ, что былъ раздраженъ и потрясенъ; онъ

зналъ, что фантазія и впечатлительность его напряжены до крайности, и рѣшилъ не довѣрять себѣ. Мало по малу, онъ впалъ въ какое-то оцѣпенѣніе. Въ грудь его залегло какое-то тяжелое, гнетущее чувство. Сердце его ныло, какъ будто все изъязвленное, и вся душа была полна глухихъ, неизсякаемыхъ слезъ.

Онъ опять припалъ на постель, которую она постлала ему, и сталъ снова слушать. Онъ слышалъ два дыханія: одно тяжелое, болѣзненное, прерывистое, другое тихое, но неровное и какъ будто тоже взволнованное, какъ будто тамъ билось сердце однимъ и тѣмъ-же стремленіемъ, одною и тою-же страстью. Онъ слышалъ порою шумъ ея платья, легкій шелестъ ея тихихъ, мягкихъ шаговъ, и даже этотъ шелестъ ноги ея отдавался глухою, но мучительно-сладостною болью въ его сердцѣ. Наконецъ, онъ какъ будто разслушалъ рыданія, мятежный вздохъ и, наконецъ, опять ея молитву. Онъ зналъ, что она стоитъ на колѣняхъ передъ образомъ, ломая руки въ какомъ-то изступленномъ отчаяніи!.. Кто-же она? За кого она проситъ? Какою безвыходною страстью смущено ея сердце? Отчего оно такъ болитъ и тоскуетъ и выливается въ такихъ жаркихъ и безнадежныхъ слезахъ?..

Онъ началъ припоминать ея слова. Все, что она говорила ему, еще звучало въ ушахъ его, какъ музыка, и сердце любовно отдавалось глухимъ, тяжелымъ ударомъ на каждое воспоминаніе, на каждое набожно повторенное ея слово... На мигъ мелькнуло въ умѣ его, что онъ видѣлъ все это во снѣ. Но въ тотъ-же мигъ весь составъ его изнылъ въ замирающей тоскѣ, когда впечатлѣніе ея горячаго дыханія, ея словъ, ея поцѣлуя, наклеймилось снова въ его воображеніи. Онъ закрылъ глаза и забылся. Гдѣ-то пробили часы; становилось поздно; падали сумерки.

Ему вдругъ показалось, что она опять склонилась надъ нимъ, что глядитъ въ его глаза своими чудно-ясными глазами, влажными отъ сверкающихъ слезъ безмятежной, свѣтлой радости, тихими и ясными, какъ бирюзовый, нескончаемый куполъ неба въ жаркій полдень. Такимъ торжественнымъ спокойствіемъ сіяло лицо ея, такимъ обѣтованіемъ нескончаемаго блаженства теплилась ея улыбка, съ такимъ сочувствіемъ, съ такимъ младенческимъ увлеченіемъ преклонилась она на плечо его, что стонъ вырвался изъ его обезсиленной груди отъ радости. Она хотѣла ему что-то сказать; она ласково что-то повѣряла ему. Опять какъ будто сердце пронзающая музыка поразила слухъ его. Онъ жадно впивалъ въ себя воздухъ, нагрѣтый, наэлектризованный ея близкимъ

дыханіемъ. Въ тоскѣ онъ простеръ свои руки, вздохнулъ, открылъ глаза... Она стояла передъ нимъ, нагнувшись къ лицу его, вся блѣдная какъ отъ испуга, вся въ слезахъ, вся дрожа отъ волненія. Она что-то говорила ему, объ чемъ-то молила его, складывая и ломая свои полуобнаженныя руки. Онъ обвилъ ее въ своихъ объятіяхъ, она вся трепетала на его груди...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

— Что ты? Что съ тобою? говорилъ Ордыновъ, очнувшись совсѣмъ, все еще сжимая ее въ своихъ крѣпкихъ и горячихъ объятіяхъ: — что съ тобой, Катерина? Что съ тобою, любовь моя?

Она тихо рыдала, потупивъ глаза и пряча разгорѣвшееся лицо у него на груди. Долго еще она не могла говорить и вся дрожала, какъ будто въ испугѣ.

— Не знаю, не знаю, проговорила она, наконецъ, едва слышнымъ голосомъ, задыхаясь и почти не выговаривая словъ: — не помню, какъ и къ тебѣ зашла я сюда.. Тутъ она еще крѣпче, еще съ бо́льшимъ стремленіемъ прижалась къ нему и въ неудержимомъ, судорожномъ чувствѣ цѣловала ему плечо, руки, грудь; наконецъ, какъ будто въ отчаяніи, закрылась руками, припала на колѣни и скрыла въ его колѣняхъ свою голову. Когда-же Ордыновъ, въ невыразимой тоскѣ, нетерпѣливо приподнялъ и посадилъ ее возлѣ себя, то цѣлымъ заревомъ стыда горѣло лицо ея, глаза ея плакали о помилованіи, и насильно пробивавшаяся на губѣ ея улыбка едва силилась подавить неудержимую силу новаго ощущенія. Теперь она была какъ будто снова чѣмъ-то испугана, недовѣрчиво отталкивала его рукой, едва взглядывала на него и отвѣчала на его ускоренные вопросы потупивъ голову, боязливо и шепотомъ.

— Ты, можетъ быть, видѣла страшный сонъ, говорилъ Ордыновъ: — можетъ быть, тебѣ привидѣлось что нибудь... да? Можетъ быть, *онъ* испугалъ тебя... Онъ въ бреду и безъ памяти... Можетъ быть, онъ что нибудь говорилъ, что не тебѣ было слушать?.. Ты слышала что нибудь? Да?

— Нѣтъ, я не спала, отвѣчала Катерина, съ усиліемъ подавляя свое волненіе. Сонъ и не шелъ ко мнѣ. *Онъ* все молчалъ и только разъ позвалъ меня. Я подходила, окликала его, гово-

рила ему; мнѣ стало страшно; онъ не просыпался и не слышалъ меня. Онъ въ тяжеломъ недугѣ, подай Господь ему помощи! Тогда мнѣ на сердце стала тоска западать, горькая тоска! Я-жь все молилась, все молилась, и вотъ это и нашло на меня.

— Полно, Катерина, полно, жизнь моя, полно! Это ты вчера испугалась...

— Нѣтъ, я не пугалась вчера!..

— Бываетъ это съ тобою другой разъ?

— Да, бываетъ. — И она вся задрожала и опять въ испугѣ стала прижиматься къ нему, какъ дитя. — Видишь, сказала она, прерывая рыданія: — я не напрасно пришла къ тебѣ, не напрасно тяжело было оставаться одной, повторяла она, благодарно сжимая его руки. — Полно-же, полно о чужомъ горѣ слезы ронять! Прибереги ихъ на черный день, когда самому одинокому тяжело будетъ и не будетъ съ тобой никого!.. Слушай, была у тебя твоя люба?..

— Нѣтъ... до тебя я не зналъ ни одной...

— До меня... ты меня своей любой зовешь?

Она вдругъ посмотрѣла на него, какъ будто съ удивленіемъ, что-то хотѣла сказать, но потомъ утихла и потупилась. Мало по малу, все лицо ея снова зардѣлось внезапно запылавшимъ румянцемъ; ярче, сквозь забытыя, еще не остывшія на рѣсницахъ слезы, блеснули глаза, и видно было, что какой-то вопросъ шевелился на губахъ ея. Съ стыдливымъ лукавствомъ взглянула она раза два на него и потомъ вдругъ снова потупилась.

— Нѣтъ, не бывать мнѣ твоей первой любой, сказала она: — нѣтъ, нѣтъ, повторяла она, покачивая головою, задумавшись, тогда какъ улыбка опять тихо прокрадывалась по лицу ея: — нѣтъ, сказала она, наконецъ, разсмѣявшись: — не мнѣ, родной, быть твоей любушкой.

Тутъ она взглянула, на него; но столько грусти отразилось вдругъ на лицѣ ея такая безвыходная печаль поразила разомъ всѣ черты ея, такъ неожиданно закипѣло изнутри, изъ сердца ея отчаяніе, что непонятное, болѣзненное чувство состраданія къ горю невѣдомому захватило духъ Ордынова, и онъ съ невыразимымъ мученіемъ глядѣлъ на нее.

— Слушай, что я скажу тебѣ, говорила она голосомъ пронзающимъ сердце, сжавъ его руки въ своихъ рукахъ, усиливаясь подавить свои рыданія.—Слушай меня хорошо, слушай, радость моя! Ты укроти свое сердце и не люби меня такъ, какъ теперь полюбилъ. Тебѣ легче будетъ, сердцу станетъ легче и радостнѣе,

и отъ лютаго врага себя сбережешь, и любу-сестрицу себѣ наживешь. Буду къ тебѣ приходить, коль захочешь, миловать тебя буду и стыда на себя не возьму, что спозналась съ тобой. Была-же съ тобой два дня, какъ лежалъ ты въ зломъ недугѣ! Спознай сестрицу! Не даромъ-же мы братались съ тобой, не даромъ-же я за тебя Богородицу слезно молила! Другой такой не нажить тебѣ! Міръ изойдешь кругомъ, поднебесную узнаешь—не найдти тебѣ другой такой любы, коли любы твое сердце проситъ. Горячо тебя полюблю, все какъ теперь любить буду, и за то полюблю, что душа твоя чистая, свѣтлая, насквозь видна; за то, что какъ я взглянула впервой на тебя, такъ тотчасъ спознала, что ты моего дома гость, желанный гость и не даромъ къ намъ напросился; за то полюблю, что, когда глядишь, твои глаза любятъ и про сердце твое говорятъ, и когда скажутъ что̀, такъ я тотчасъ-же обо всемъ, что̀ ни есть въ тебѣ, знаю, и за то тебѣ жизнь отдать хочется на твою любовь, добрую волюшку, за тѣмъ, что сладко быть и рабыней тому, чье сердце нашла... да жизнь-то моя не моя, а чужая, и волюшка связана! Сестрицу-жь возьми и самъ будь мнѣ братъ, и меня въ свое сердце прими, когда опять тоска, злая немочь нападетъ на меня; только самъ сдѣлай такъ, чтобъ мнѣ стыда не было къ тебѣ приходить и съ тобой долгую ночь какъ теперь просидѣть. Слышалъ меня? Открылъ-ли мнѣ сердце свое? Взялъ-ли въ разумъ, что̀ я тебѣ говорила?.. Она хотѣла еще что-то сказать, взглянула на него, положила на плечо ему свою руку и, наконецъ, въ безсиліи припала къ груди его. Голосъ ея замеръ въ судорожномъ, страстномъ рыданіи, грудь волновалась глубоко, и лицо вспыхнуло, какъ заря вечерняя.

— Жизнь моя! прошепталъ Ордыновъ, у котораго зрѣніе помутилось и духъ занялся.—Радость моя! говорилъ онъ, не зная словъ своихъ, не помня ихъ, не понимая себя, трепеща, чтобъ однимъ дуновеніемъ не разрушить обаянія, не разрушить всего, что было съ нимъ и что̀ скорѣе онъ принималъ за видѣніе, чѣмъ за дѣйствительность: такъ отуманилось все передъ нимъ!— Я не знаю, не понимаю тебя, я не помню, что ты мнѣ теперь говорила, разумъ тускнѣетъ мой, сердце ноетъ въ груди, владычица моя!..

Тутъ голосъ его опять пресѣкся отъ волненія. Она все крѣпче, все теплѣе, горячѣе прижималась къ нему. Онъ привсталъ съ мѣста и, уже не сдерживая себя болѣе, разбитый, обезсиленный восторгомъ, упалъ на колѣни. Рыданія судорожно, съ болью

прорвались, наконецъ, изъ груди его, и пробившійся прямо изъ сердца голосъ задрожалъ, какъ струна, отъ всей полноты невѣдомаго восторга и блаженства.

— Кто ты, кто ты, родная моя? Откуда ты, моя голубушка? говорилъ онъ, силясь подавить свои рыданія:—изъ какого неба ты въ мои небеса залетѣла? Точно сонъ кругомъ меня; я вѣрить въ тебя не могу. Не укоряй меня... дай мнѣ говорить, дай мнѣ все, все сказать тебѣ!.. Я долго хотѣлъ говорить... Кто ты, кто ты, радость моя?.. Какъ ты нашла мое сердце? Разскажи мнѣ, давно-ли ты сестрица моя?.. Разскажи мнѣ все про себя, гдѣ ты была до сихъ поръ,—разскажи, какъ звали мѣсто, гдѣ ты жила, что̀ ты тамъ полюбила сначала, чѣмъ рада была, и о чемъ тосковала?.. Былъ-ли тамъ тепелъ воздухъ, чисто-ли небо было?.. Кто тебѣ были милыя, кто любили тебя до меня, къ кому тамъ впервые твоя душа запросилась?.. Была-ль у тебя мать родная и она-ль тебя дитятей лелѣяла, или, какъ я, одинокая, ты на жизнь оглянулась? Скажи мнѣ, всегда-ль ты была такова? Что̀ снилось, о чемъ гадала ты впередъ, что̀ сбылось и что̀ не сбылось у тебя—все скажи... По комъ заныло первый разъ твое дѣвичье сердце и за что ты его отдала? Скажи, что̀-же мнѣ отдать тебѣ за него, что мнѣ отдать тебѣ за тебя?.. Скажи мнѣ, любушка, свѣтъ мой, сестрица моя, скажи мнѣ, чѣмъ-же мнѣ твое сердце нажить?..

Тутъ голосъ его снова изсякъ, и онъ склонилъ голову. Но когда поднялъ глаза, то нѣмой ужасъ оледенилъ его всего разомъ, и волосы встали дыбомъ на головѣ его.

Катерина сидѣла блѣдная, какъ полотно. Она неподвижно смотрѣла въ воздухъ, губы ея были сини, какъ у мертвой, и глаза заволоклись нѣмой, мучительной мукой. Она медленно привстала, ступила два шага и съ пронзительнымъ воплемъ упала передъ образомъ... Отрывистыя, несвязныя слова вырывались изъ груди ея. Она лишилась чувствъ. Ордыновъ, весь потрясенный страхомъ, поднялъ ее и донесъ до своей кровати; онъ стоялъ надъ нею не помня себя. Спустя минуту, она открыла глаза, приподнялась на постели, осмотрѣлась кругомъ и схватила его руку. Она привлекла его къ себѣ, силилась что-то прошептать все еще блѣдными губами, но голосъ все еще измѣнялъ ей. Наконецъ, она разразилась градомъ слезъ; горячія капли жгли похолодѣвшую руку Ордынова.

— Тяжело, тяжело мнѣ теперь; часъ мой приходитъ послѣдній! проговорила она, наконецъ, тоскуя въ безвыходной мукѣ.

Она силилась еще что-то проговорить, но окостенѣлый языкъ ея не могъ произнести ни одного слова. Съ отчаяніемъ глядѣла она на Ордынова, не понимавшаго ея. Онъ нагнулся къ ней ближе и вслушивался... Наконецъ, онъ услышалъ, какъ она прошептала явственно:

— Я испорчена, меня испортили, погубили меня!

Ордыновъ поднялъ голову и съ дикимъ изумленіемъ взглянулъ на нее. Какая-то безобразная мысль мелькнула въ умѣ его. Катерина видѣла судорожное, болѣзненное сжатіе его лица

— Да! Испортили, продолжала она:—меня испортилъ злой человѣкъ.—*онъ* погубитель мой!.. Я душу ему продала... Зачѣмъ, зачѣмъ объ родной ты помянулъ? Что̀ тебѣ было мучить меня? Богъ тебѣ, Богъ тебѣ судья!..

Черезъ минуту она тихо заплакала; сердце Ордынова билось и ныло въ смертной тоскѣ.

— Онъ говоритъ, шептала она сдерживаемымъ, таинственнымъ голосомъ:—что когда умретъ, то придетъ за моей грѣшной душой... Я его, я ему душой продалась... Онъ мучилъ меня, онъ мнѣ въ книгахъ читалъ... На, смотри, смотри его книгу! Вотъ его книга. Онъ говоритъ, что я сдѣлала смертный грѣхъ... Смотри, смотри...

И она показывала ему книгу; Ордыновъ не замѣтилъ, откуда взялась она. Онъ машинально взялъ ее, всю писанную, какъ древнія раскольничьи книги, которыя ему удавалось прежде видѣть. Но теперь онъ былъ не въ силахъ смотрѣть и сосредоточить вниманіе свое на чемъ нибудь другомъ. Книга выпала изъ рукъ его. Онъ тихо обнималъ Катерину, стараясь привести ее въ разумъ.

— Полно, полно! говорилъ онъ:—тебя испугали; я съ тобою; отдохни со мною, родная, любовь моя, свѣтъ мой!

— Ты не знаешь ничего, ничего, говорила она, крѣпко сжимая его руки:—я такая всегда!.. Я все боюсь... Полно, полно тебѣ меня мучить!..

— Я тогда къ нему иду, начала она черезъ минуту, переводя духъ.—Иной разъ онъ просто своими словами меня заговариваетъ, другой разъ беретъ свою книгу, самую большую, и читаетъ надо мной. Онъ все грозное, суровое такое читаетъ! Я не знаю что̀ и понимаю не всякое слово; но меня беретъ страхъ, и когда я вслушиваюсь въ его голосъ, то словно это не онъ говоритъ, а кто-то другой, недобрый, кого ничѣмъ не умягчишь, ничѣмъ не замолишь, и тяжело-тяжело станетъ на сердцѣ, горитъ оно... Тяжелѣй чѣмъ когда начиналась тоска!

— Не ходи къ нему! Зачѣмъ-же ты ходишь къ нему? говорилъ Ордыновъ, едва сознавая слова свои.

— Зачѣмъ я къ тебѣ пришла? Спроси—тоже не знаю... А онъ мнѣ все говоритъ: молись, молись! Иной разъ я встаю въ темную ночь и молюсь долго, по цѣлымъ часамъ; часто и сонъ меня клонитъ, но страхъ все будитъ, все будитъ меня, и мнѣ все чудится тогда, что гроза кругомъ меня собирается, что худо мнѣ будетъ, что разорвутъ и затерзаютъ меня недобрые, что не замолить мнѣ угодниковъ, и что не спасутъ они меня отъ лютаго горя. Вся душа разрывается, словно распаяться все тѣло хочетъ отъ слезъ... Тутъ я опять стану молиться, и молюсь, и молюсь до той поры, пока владычица не посмотритъ на меня съ иконы любовнѣе. Тогда я встаю и отхожу на сонъ какъ убитая; иной разъ и засну на полу, на колѣняхъ предъ иконой. Тогда, случится, онъ проснется, подзоветъ меня, начнетъ меня голубить, ласкать, утѣшать, и тогда ужь мнѣ и легче становится, и приди хоть какая бѣда, я ужь съ нимъ не боюсь. Онъ властенъ! Велико его слово!

— Но какая-жь бѣда, какая-жь бѣда у тебя?.. и Ордыновъ ломалъ руки въ отчаяніи.

Катерина страшно поблѣднѣла. Она смотрѣла на него какъ приговоренная къ смерти, не чая помилованія.

— Меня?.. Я дочь проклятая, я душегубка; меня мать прокляла! Я родную мать загубила!..

Ордыновъ безмолвно обнялъ ее. Она трепетно прижалась къ нему. Онъ чувствовалъ, какъ судорожная дрожь пробѣгала по всему ея тѣлу, и, казалось, душа ея разставалась съ тѣломъ.

— Я ее въ сырую землю зарыла, говорила она вся въ тревогѣ своихъ воспоминаній, вся въ видѣніяхъ своего безвозвратно прошедшаго: — я давно хотѣла говорить; онъ все заказывалъ мнѣ моленіемъ, укоромъ и словомъ гнѣвливымъ, а порой самъ на меня-же подыметъ тоску мою, точно мой врагъ и супостатъ. А мнѣ все — какъ и теперь ночью — все приходитъ на умъ... Слушай, слушай! Это давно уже было, очень давно, я и не помню когда, а все какъ будто вчера передо мною, словно сонъ вчерашній, что сосалъ мнѣ сердце всю ночь. Тоска на двое время длинитъ. Сядь, сядь здѣсь возлѣ меня; я все мое горе тебѣ разскажу; разрази меня, проклятую, проклятіемъ матернимъ... Я тебѣ жизнь мою предаю...

Ордыновъ хотѣлъ остановить ее, но она сложила руки, моля его любовь на вниманіе, и потомъ снова, еще въ большей трево-

гой начала говорить. Разсказъ ея былъ безсвязенъ, въ словахъ слышалась буря душевная, но Ордыновъ все понималъ, затѣмъ, что жизнь ея стала его жизнію, горе ея — его горемъ, и затѣмъ, что врагъ его уже въявь стоялъ передъ нимъ, воплощался и росъ передъ нимъ въ каждомъ ея словѣ, и какъ будто съ неистощимой силой давилъ его сердце и ругался надъ его злобой. Кровь его волновалась, заливала сердце и путала мысли. Злой старикъ его сна (въ это вѣрилъ Ордыновъ) былъ въявь передъ нимъ.

— Вотъ такая-же ночь была, начала говорить Катерина: — только грознѣе, и вѣтеръ вылъ по нашему лѣсу, какъ никогда еще не удавалось мнѣ слышать... или ужь въ эту ночь началась погибель моя! Подъ нашимъ окномъ дубъ сломило, а къ намъ приходилъ старый, сѣдой старикъ-нищій, и онъ говорилъ, что еще малымъ дитей помнилъ этотъ дубъ, и что онъ былъ такой-же, какъ и тогда, когда вѣтеръ осилилъ его... Въ эту-же ночь— какъ теперь все помню! — у отца барки на рѣкѣ бурей разбило, и онъ, хоть и немочь ломала его, поѣхалъ на мѣсто, какъ только прибѣжали къ намъ на заводъ рыбаки. Мы съ матушкой сидѣли одни, я дремала, она объ чемъ-то грустила и горько плакала... да, я знала о чемъ! Она только что хворала, была блѣдна и все говорила мнѣ, чтобъ я ей саванъ готовила... Вдругъ слышенъ въ полночь стукъ у воротъ; я вскочила, кровь залила мнѣ сердце; матушка вскрикнула... я не взглянула на нее, я боялась, взяла фонарь, пошла сама отпирать ворота... Это былъ *онъ!* Мнѣ стало страшно, затѣмъ, что мнѣ всегда страшно было, какъ онъ приходилъ, и съ самого дѣтства такъ было, какъ только память во мнѣ родилась! У него тогда еще не было бѣлаго волоса; борода его была какъ смоль черна, глаза горѣли словно угли, и ни разу до той поры онъ ласково на меня не взглянулъ. Онъ спросилъ: «дома-ли мать?» Я, затворяю калитку, говорю, что «отца нѣту дома». Онъ сказалъ: «знаю», и вдругъ глянулъ на меня, такъ глянулъ... первый разъ онъ такъ глядѣлъ на меня. Я шла, а онъ все стоитъ. «Что ты не идешь?» — «Думу думаю». Мы ужь въ свѣтелку всходимъ. «А зачѣмъ ты сказала, что отца нѣту дома, когда я спрашивалъ, дома-ли мать?» Я молчу... Матушка обмерла — къ нему бросилась... Онъ чуть взглянулъ, — я все видѣла. Онъ былъ весь мокрый, издрогшій: буря гнала его двадцать верстъ — а откуда и гдѣ онъ бываетъ, ни я, ни матушка никогда не знали; мы его ужь девять недѣль не видали... Бросилъ шапку, скинулъ рукавицы — образамъ не молится, хозяевамъ не кланяется — сѣлъ у огня...

Катерина провела рукою по лицу, какъ будто что-то гнело и давило ее, но черезъ минуту опять подняла голову и опять начала:

— Онъ сталъ съ матерью говорить по татарски. Мать умѣла, я не понимала ни слова. Другой разъ, какъ онъ приходилъ, меня отсылали; а теперь мать родному дѣтищу слова сказать не посмѣла. Нечистый купилъ мою душу, и я, сама себѣ хвалясь, смотрѣла на матушку. Вижу, на меня смотрятъ, обо мнѣ говорятъ; она стала плакать; вижу, онъ за ножъ хватается, а ужь не одинъ разъ, съ недавняго времени, онъ при мнѣ за ножъ хватался, когда съ матерью говорилъ. Я встала и схватилась за его поясъ, хотѣла у него ножъ его вырвать нечистый. Онъ скрипнулъ зубами, вскрикнулъ и хотѣлъ меня отбить — въ грудь ударилъ, да не оттолкнулъ. Я думала, тутъ и умру, глаза заволокло, падаю на земь—да не вскрикнула. Смотрю, сколько силъ было видѣть, снимаетъ онъ поясъ, засучиваетъ руку, которой ударилъ меня, ножъ вынимаетъ, мнѣ даетъ: «На̀, рѣжь ее прочь, натѣшься надъ ней во сколько обиды моей къ тебѣ было, а я, гордая, зато до-земи тебѣ поклонюсь». Я ножъ отложила; кровь меня душить начала, на него не глянула, помню, усмѣхнулась, губъ не разжимая, да прямо матушкѣ въ печальныя очи смотрю, грозно смотрю, а у самой смѣхъ съ губъ не сходитъ безстыдный; а мать сидитъ блѣдная, мертвая...

Ордыновъ съ напряженнымъ вниманіемъ слушалъ несвязный разсказъ; но мало по малу тревога ея стихла на первомъ порывѣ; рѣчь стала покойнѣе; воспоминанія увлекли совсѣмъ бѣдную женщину и разбили тоску ея по всему своему безбрежному морю.

— Онъ взялъ шапку не кланяясь. Я опять взяла фонарь его провожать, вмѣсто матушки, которая, хоть больная сидѣла, а хотѣла за нимъ идти. Дошли мы съ нимъ до воротъ, я молчу, калитку ему отворила, собакъ прогнала. Смотрю—снимаетъ онъ шапку и мнѣ поклонъ. Вижу, идетъ къ себѣ за пазуху, вынимаетъ коробокъ красный, сафьянный, задвижку отводитъ; смотрю: бурмицкія зерна, — мнѣ на поклонъ. «Есть», говоритъ, «у меня въ пригородьи красавица, ей везъ на поклонъ, да не къ ней завезъ; возьми, красная дѣвица, полелѣй свою красоту, хоть ногой растопчи, да возьми». Я взяла, а ногой топтать не хотѣла, чести много не хотѣла давать, а взяла какъ ехидна, не сказала ни слова на что̀. Пришла и поставила на столъ передъ матерью— для того и брала. Родимая съ минуту молчала, вся какъ пла-

токъ бѣла, говорить со мной словно боится. «Что-жь это, Катя?» А я отвѣчаю: — «тебѣ, родная, купецъ приносилъ, я не вѣдаю». Смотрю, у ней слезы выдавились, духъ захватило. «Не мнѣ, Катя; не мнѣ, дочка злая, не мнѣ». Помню, такъ горько, такъ горько сказала, словно всю душу выплакала. Я глаза подняла, хотѣла ей въ ноги броситься, да вдругъ окаянный подсказалъ: «Ну, не тебѣ, вѣрно батюшкѣ; ему передамъ, коль воротится; скажу: купцы были, товаръ позабыли»... Тутъ какъ всплачетъ она, родная моя... «Я сама скажу, что̀ за купцы пріѣзжали и за какимъ товаромъ пріѣхали... Ужь я скажу ему, чья ты дочь, беззаконница! Ты-же не дочь мнѣ теперь, ты мнѣ змѣя подколодная! Ты дѣтище мое проклятое!» Я молчу, слезы нейдутъ у меня... Ахъ! словно все во мнѣ вымерло... Пошла я къ себѣ въ свѣтлицу и всю-то ноченьку бурю прослушала, да подъ бурей свои мысли слагала.

А между тѣмъ пять дёнъ прошло. Вотъ къ вечеру пріѣзжаетъ, черезъ пять дёнъ, батюшка, хмурый и грозный, да немочь-то дорогой сломила его. Смотрю, рука у него подвязана, смекнула я, что дорогу ему врагъ его перешелъ; а врагъ тогда утомилъ его и немочь наслалъ на него. Знала я тоже кто его врагъ, все знала. Съ матушкой слова не молвилъ, про меня не спросилъ, всѣхъ людей созвалъ, заводъ остановить приказалъ и домъ отъ худаго глаза беречь. Я почуяла сердцемъ въ тотъ часъ, что дома у насъ нездорово. Вотъ ждемъ, прошла ночь, тоже бурная, вьюжная, и тревога мнѣ въ душу запала. Отворила я окно—горитъ лицо, плачутъ очи, жжетъ сердце неугомонное; сама какъ въ огнѣ: такъ и хочется мнѣ вонъ изъ свѣтлицы, дальше, на край свѣта, гдѣ молонья и буря родятся. Грудь моя дѣвичья ходенемъ ходитъ... вдругъ, ужь поздно—я какъ будто вздремнула, иль туманъ мнѣ на душу запалъ, разумъ смутилъ,—слышу, стучатъ въ окно: «отвори!» Смотрю, человѣкъ въ окно по веревкѣ вскарабкался. Я тотчасъ узнала, кто въ гости пожаловалъ, отворила окно и впустила его въ свѣтлицу свою одинокую. А былъ *онъ*! Шапки не снялъ сѣлъ на лавку, запыхался, еле духъ переводитъ, словно погоня была. Я стала въ уголъ и сама знаю, какъ вся поблѣднѣла.—Дома отецъ? «Дома».—А мать? «Дома и мать».— Молчи-же теперь; слышишь? — «Слышу». — Что? «Свистъ подъ окномъ!»—Ну, хочешь теперь, красная дѣвица, съ недруга голову снять, батюшку родимаго кликнуть, душу мою загубить? Изъ твоей дѣвичьей воли не выйду; вотъ и веревка, вяжи, коли сердце велитъ за обиду свою заступиться.—Я молчу.—Что-жь?

Промолви, радость моя? «Чего тебѣ нужно? —А нужно мнѣ вòрога уходить, съ старой любой по добру, по здорову проститься, а новой, молодой, какъ ты, красной дѣвицѣ, душой поклониться... Я засмѣялась; и сама не знаю, какъ его нечистая рѣчь въ мое сердце дошла. — Пусти-жь меня, красная дѣвица, прогуляться внизъ, свое сердце извѣдать, хозяевамъ поклонъ отнести.—Я вся дрожу, стучу зубомъ объ зубъ, а сердце словно желѣзо каленое. Пошла, дверь ему отворила, впустила въ домъ, только на порогѣ черезъ силу промолвила: «На, вотъ! Возьми свои зерна, и не дари меня другой разъ никогда», и сама ему коробокъ во слѣдъ бросила.

Тутъ Катерина остановилась перевести духъ; она то вздрагивала и какъ листъ блѣднѣла, то кровь всходила ей въ голову, и теперь, когда она остановилась, щеки ея пылали огнемъ, глаза блистали сквозь слезы, и тяжелое, прерывистое дыханіе колебало грудь ея. Но вдругъ она опять поблѣднѣла, и голосъ ея упалъ, задрожавъ тревожно и грустно.

— Тогда я осталась одна, и будто буря меня кругомъ обхватила. Вдругъ слышу крикъ, слышу, по двору люди до завода бѣгутъ, слышу говоръ: «заводъ горитъ». Я притаилась, изъ дома всѣ убѣжали; осталась я съ матушкой. Знала я, что она съ жизнью разстается, третьи сутки на смертной постели лежитъ, знала я, окаянная дочь!.. Вдругъ крикъ подъ моей свѣтлицей, слабый, словно ребенокъ вскрикнулъ, когда во снѣ испугается, и потомъ все затихло. Я задула свѣчу, сама леденѣю, закрылась руками, глянуть боюсь. Вдругъ слышу крикъ подлѣ меня, слышу — съ завода люди бѣгутъ. Я въ окно свѣсилась: вижу, несутъ батюшку мертваго, слышу, говорятъ межъ собою: «оступился, съ лѣстницы въ котелъ раскаленный упалъ; знать, нечистый его туда подтолкнулъ». Я припала на постель; жду, сама вся замерла, и не знаю чего и кого ждала; только тяжело у меня было въ этотъ часъ. Не помню, сколько ждала; помню, что меня вдругъ всю колыхать начало, головѣ тяжело стало, глаза выѣдало дымомъ; и рада была я, что близка моя гибель! Вдругъ слышу, кто-то меня за плечи подымаетъ. Смотрю, сколько глядѣть могу: онъ весь опаленный и кафтанъ его, горячій на ощупь, дымится.

— «За тобой пришелъ, красная дѣвица; уводи-жь меня отъ бѣды, какъ прежде на бѣду наводила; душу свою я за тебя сгубилъ. Не отмолить мнѣ этой ночи проклятой! Развѣ вмѣстѣ будемъ молиться!» Смѣялся онъ, злой человѣкъ! — «Покажи»,

говоритъ, «какъ пройдти, чтобъ не мимо людей!» Я взяла его за руку и повела за собой. Прошли мы корридоръ — со мной ключи были — отворила я дверь въ кладовую и показала ему на окно. А окно наше въ садъ выходило. Онъ схватилъ меня на могучія руки, обнялъ и выпрыгнулъ со мною вонъ изъ окна. Мы побѣжали съ нимъ рука въ руку, долго бѣжали. Смотримъ: густой, темный лѣсъ. Онъ сталъ слушать: «погоня, Катя, за нами! Погоня за нами, красная дѣвица, да не въ этотъ часъ намъ животы свои положить! Поцѣлуй меня, красная дѣвица, на любовь да на вѣчное счастье!» — А отчего у тебя руки въ крови?— «Руки въ крови, моя родимая? А вашихъ собакъ порѣзалъ; разлаялись больно на поздняго гостя. Пойдемъ!» Мы опять побѣжали; видимъ, на тропинкѣ батюшкинъ конь, узду перервалъ, изъ конюшни выбѣжалъ; знать ему горѣть не хотѣлось! «Садись, Катя, со мной! Богъ нашъ помочь послалъ!» Я молчу. «Аль не хочешь? Я вѣдь не нехристь какой, не нечистый, вотъ перекрещусь, коли хочешь», и тутъ онъ крестъ положилъ. Я сѣла, прижалась къ нему и забылась совсѣмъ у него на груди, словно сонъ какой нашелъ на меня, а какъ очнулась, вижу, стоимъ у широкой-широкой рѣки. Онъ слѣзъ, меня съ лошади снялъ, и пошелъ въ тростникъ: тамъ онъ лодку свою затаилъ. Мы ужь садились. «Ну, прощай, добрый конь, ступай до новаго хозяина, а старые всѣ тебя покидаютъ!» Я бросилась къ коню батюшкину и крѣпко на разлуку обняла его. Потомъ мы сѣли, онъ весла взялъ, и мигомъ стало намъ береговъ не видать. И когда стало намъ береговъ не видать, смотрю, онъ весла сложилъ, и кругомъ, по всей водѣ осмотрѣлся.

— «Здравствуй», промолвилъ, «матушка, бурная рѣченка, Божьему люду поилица, а моя кормилица! Скажи-ка, берегла-ль ты мое доброе безъ меня, цѣлы-ль товары мои!» Я молчу, очи на грудь опустила: лицо стыдомъ, какъ полымемъ пышетъ. А онъ: «Ужь и все-бъ ты взяла, бурная, ненасытная, а дала-бъ мнѣ обѣтъ беречь и лелѣять жемчужину мою многоцѣнную! Урони-жь хоть словечко, красная дѣвица, просіяй въ бурю солнцемъ, разгони свѣтомъ темную ночь!» — Говоритъ, а самъ усмѣхается; жгло его сердце по мнѣ, да усмѣшки его, со стыда, мнѣ стерпѣть не хотѣлось; хотѣлось слово сказать, да сробѣла, смолчала. «Ну, инъ быть такъ!» отвѣчаетъ онъ на мою думу робкую, говоритъ будто съ горя, самого будто горе беретъ. «Знать, съ силы ничего не возьмешь. Богъ-же съ тобой, спѣсивая, голу-

бица моя, красная дѣвица! Видно сильна ко мнѣ твоя ненависть, или ужь такъ не любо я твоимъ свѣтлымъ очамъ приглянулся». Слушала я и зло меня взяло, зло съ любви взяло я сердце осилила, промолвила: «любъ или не любъ ты пришелся мнѣ, знать не мнѣ про то знать, а вѣрно другой какой неразумной, безстыжей, что свѣтлицу свою дѣвичью въ темную ночь опозорила, за смертный грѣхъ душу свою продала, да сердца своего не сдержала безумнаго; да знать про то вѣрно моимъ горючимъ слезамъ, да тому, кто чужой бѣдой воровски похваляется, надъ дѣвичьимъ сердцемъ насмѣхается!» Сказала, да не стерпѣла, заплакала... Онъ помолчалъ, поглядѣлъ на меня такъ, что я какъ листъ задрожала. «Слушай-же», говоритъ мнѣ, «красная дѣвица»—а у самого чудно очи горятъ—«не праздное слово скажу, а дамъ тебѣ великое слово: на сколько счастья мнѣ подаришь, на столько буду и я тебѣ господинъ, а не взлюбишь когда—и не говори, словъ не роняй, не трудись, а двинь только бровью своей соболиною, поведи чернымъ глазомъ, мизинцемъ однимъ шевельни, и отдамъ тебѣ назадъ любовь твою съ золотою волюшкой; только будетъ тутъ, краса моя гордая, несносимая, и моей жизни конецъ!» И тутъ вся плоть моя на его слова усмѣхнулася...

Тутъ глубокое волненіе прервало было разсказъ Катерины; она перевела духъ, усмѣхнулась новой думѣ своей и хотѣла было продолжать, но вдругъ сверкающій взглядъ ея встрѣтилъ воспаленный, прикованный къ ней взглядъ Ордынова. Она вздрогнула, хотѣла было что-то сказать, но кровь залила ей лицо... Словно въ безпамятствѣ закрылась она руками и бросилась лицомъ на подушки. Все потряслось въ Ордыновѣ! Какое-то мучительное чувство, смятеніе безотчетное, невыносимое, разливалось какъ ядъ по всѣмъ его жиламъ и росло съ каждымъ словомъ разсказа Катерины: безвыходное стремленіе, страсть жадная и невыносимая захватила думы его, мутила его чувства. Но грусть тяжелая, безконечная въ тоже время все болѣе и болѣе давила его сердце. Минутами онъ хотѣлъ кричать Катеринѣ, чтобъ она замолчала, хотѣлъ броситься къ ногамъ ея и молить своими слезами, чтобъ она возвратила ему его прежнія муки любви, его прежнее, безотчетное, чистое стремленіе, и ему жаль стало давно уже высохшихъ слезъ своихъ. Сердце его ныло, болѣзненно обливаясь кровью и не давая слезъ уязвленной душѣ его. Онъ не понялъ, что̀ говорила ему Катерина, и любовь его пугалась чувства, волновавшаго бѣдную женщину. Онъ проклялъ страсть свою въ эту минуту: она

душила, томила его, и онъ слышалъ, какъ растопленный свинецъ вмѣсто крови потекъ въ его жилахъ.

— Ахъ, не въ томъ мое горе, сказала Катерина, вдругъ приподнявъ свою голову:—что̀ я тебѣ говорила теперь, не въ томъ мое горе, продолжала она голосомъ, зазвенѣвшимъ какъ мѣдь отъ новаго нежданнаго чувства, тогда какъ вся душа ея разрывалась отъ затаившихся, безвыходныхъ слезъ:—не въ томъ мое горе, не въ томъ мука, забота моя! Что̀, что̀ мнѣ до родимой моей, хоть и не нажить мнѣ на всемъ свѣтѣ другой родной матушки! Что̀ мнѣ до того, что прокляла она меня въ часъ свой тяжелый, послѣдній! Что̀ мнѣ до золотой прежней жизни моей, до теплой свѣтлицы, до дѣвичьей волюшки! Что̀ мнѣ до того, что продалась я нечистому и душу мою отдала погубителю, за счастіе вѣчный грѣхъ понесла! Ахъ, не въ томъ мое горе, хоть и на этомъ велика погибель моя! А то мнѣ горько и рветъ мнѣ сердце, что я рабыня его опозоренная, что позоръ и стыдъ мой самой безстыдной мнѣ любъ, что любо жадному сердцу и вспоминать свое горе, словно радость и счастье—въ томъ мое горе, что нѣтъ силы въ немъ и нѣтъ гнѣва за обиду свою!..

Духъ занялся въ груди бѣдной женщины, и судорожное, истерическое рыданіе пресѣкло слова ея. Горячее, порывистое дыханіе палило ея губы, грудь подымалась и опускалась глубоко, и непонятнымъ негодованіемъ сверкнули глаза ея. Но столько очарованія озолотило лицо ея въ эту минуту, такимъ страстнымъ потокомъ чувства, такой невыносимой, неслыханной красотою задрожала каждая линія, каждый мускулъ его, что разомъ угасла черная дума и замолкла чистая грусть въ груди Ордынова. Сердце его рвалось прижаться къ ея сердцу и страстно въ безумномъ волненіи забыться въ немъ вмѣстѣ; застучать въ ладъ тою-же бурею, тѣмъ-же порывомъ невѣдомой страсти и хоть замереть съ нимъ вмѣстѣ. Катерина встрѣтила помутившійся взоръ Ордынова и улыбнулась такъ, что удвоеннымъ потокомъ огня обдало его сердце. Онъ едва помнилъ себя.

— Пожалѣй меня, пощади меня! шепталъ онъ ей, сдерживая дрожащій свой голосъ, наклоняясь къ ней, опершись рукою на ея плечо, и близко, близко такъ, что дыханіе ихъ сливалось въ одно, смотря ей въ глаза:—ты сгубила меня! Я твоего горя не знаю и душа моя смутилась... Что̀ мнѣ до того, объ чемъ плачетъ твое сердце! Скажи, что ты хочешь... я сдѣлаю. Пойдемъ-же со мною, пойдемъ, не убей меня, не мертви меня!..

Катерина смотрѣла на него неподвижно; слезы высохли на

горячихъ щекахъ ея. Она хотѣла прервать его, взяла его за руку, хотѣла сама что-то говорить и какъ будто не находила словъ. Какая-то странная улыбка медленно появилась на ея губахъ, словно смѣхъ пробивался сквозь эту улыбку.

— Не все-жь я, знать, тебѣ разсказала, проговорила она, наконецъ, прерывистымъ голосомъ.—Еще разскажу; только будешь-ли, будешь-ли слушать меня, горячее сердце? Послушай сестрицу свою! Знать мало спозналъ ты ея лютаго горя! Хотѣла-бъ я разсказать, какъ я съ нимъ годъ прожила, да не стану... А минулъ годъ, ушелъ онъ съ товарищами внизъ по рѣкѣ, и осталась я у названной матушки его во пристани ждать. Жду его мѣсяцъ—другой—и повстрѣчалась я въ пригородьи съ молодымъ купцомъ, взглянула на него и вспомнила про былые годы золотые. — «Любушка-сестрица!» говоритъ онъ, какъ два слова перемолвилъ со мной:—«я Алеша, твой названный суженый, насъ дѣтьми старики на словахъ повѣнчали; забыла меня, вспомни-ка, я изъ вашего мѣста»...—А что̀ говорятъ обо мнѣ въ вашемъ мѣстѣ? — «А говоритъ людской толкъ, что ты нечестно пошла, дѣвичій стыдъ позабыла, съ разбойникомъ, душегубцемъ спозналась», говоритъ мнѣ Алеша, смѣясь. — А ты что про меня говорилъ?—«Много хотѣлъ говорить, какъ сюда подъѣзжалъ» — и смутилось въ немъ сердце—«много сказать захотѣлось, а теперь душа у меня помертвѣла, какъ завидѣлъ тебя; сгубила ты меня!» говоритъ. «Купи-жь и мою душу, возьми ее, хоть насмѣйся надъ сердцемъ, любовью моей, красная дѣвица. Я теперь сиротинушка, хозяинъ свой, и душа-то моя своя, не чужая, не продавалъ ее никому, какъ иная, что память свою загасила, а сердце не покупать стать, даромъ отдамъ, да видно дѣло оно наживное!» Я засмѣялась, и не разъ и не два говорилъ—цѣлый мѣсяцъ въ усадьбѣ живетъ, бросилъ товары, своихъ отпустилъ, одинъ одинешенекъ.—Жаль мнѣ стало его сиротскихъ слезъ. Вотъ и сказала я ему разъ по утру: жди меня, Алеша, какъ стемнѣетъ ночь, пониже у пристани; поѣдемъ съ тобой въ твое мѣсто! Опостылѣла мнѣ жизнь моя горемычная!— Вотъ ночь пришла, я узелокъ навязала, и душа заныла, заиграла во мнѣ. Смотрю, входитъ хозяинъ мой, нежданно, невѣдомо.— Здравствуй; пойдемъ, на рѣкѣ будетъ буря, а время не ждетъ. Я пошла за нимъ; къ рѣкѣ подошли, а до своихъ было далеко плыть; смотримъ: лодка и знакомый въ ней гребецъ сидитъ, словно поджидаетъ кого. Здравствуй, Алеша, Богъ въ помощь тебѣ! Что̀? Аль на пристани запоздалъ, на суда свои поспѣшаешь? Довези-ка,

добрый человѣкъ, вотъ меня да съ хозяюшкой, къ своимъ въ наше мѣсто; лодку свою я отпустилъ, а вплавь пойдти не умѣю». — «Садись», сказалъ Алеша, а у меня вся душа изныла, какъ заслышала я голосъ его. «Садись и съ хозяюшкой; вѣтеръ для всѣхъ, а въ моемъ терему и для васъ будетъ мѣсто». Сѣли; ночь была темная, звѣзды попрятались, вѣтеръ завылъ, встала волна, а отъ берега мы съ версту отъѣхали. Всѣ трое молчимъ.

— «Буря!» говоритъ мой хозяинъ: «и не къ добру эта буря! Такой бури я сродясь еще на рѣкѣ не видалъ, какая теперь разъиграется! Тяжело нашей лодкѣ! Не сносить ей троихъ!» — «Да, не сносить», отвѣчаетъ Алеша: «и одинъ изъ насъ, знать, лишній выходитъ»; говоритъ, а у самого голосъ дрожитъ какъ струна. — «А что, Алеша? Зналъ я тебя малымъ дитёй, братался съ твоимъ роднымъ батюшкой, хлѣбъ соль вмѣстѣ водили — скажи мнѣ, Алеша, дойдешь-ли безъ лодки до берега, иль сгинешь ни за что̀, душу погубишь свою?» — «Не дойду!» — «А ты, добрый человѣкъ, какъ случится, не ровенъ часъ и тебѣ порой водицы испить, дойдешь или нѣтъ?» — «Не дойду, тутъ и конецъ моей душеньки, не сносить меня бурной рѣкѣ!» — «Слушай-же ты теперь, Катеринушка, жемчужина моя многоцѣнная! Помню я одну такую-же ночь, только тогда не колыхалась волна, звѣзды сіяли и мѣсяцъ свѣтилъ... Хочу тебя такъ, спроста, спросить, не забыла-ли ты?» — «Помню», я говорю... «А какъ не забыла ея, такъ и уговора не забыла, какъ училъ одинъ молодецъ одну красну дѣвицу волюшку свою похитить назадъ у немилова — а?» — «Нѣтъ, и того не забыла», говорю, а сама ни жива, ни мертва. — «А не забыла! Такъ вотъ теперь въ лодкѣ намъ тяжело. Ужь не пришло-ли чье время? Скажи, родная, скажи, голубица, проворкуй намъ по голубиному, свое слово ласковое»...

«Я слова моего не сказала тогда!» прошептала Катерина, блѣднѣя... Она не докончила.

— Катерина! раздался надъ ними глухой, хриплый голосъ. Ордыновъ вздрогнулъ. Въ дверяхъ стоялъ Муринъ. Онъ былъ едва закрытъ мѣховымъ одѣяломъ, блѣденъ какъ смерть и смотрѣлъ на нихъ почти обезумѣвшимъ взглядомъ. Катерина блѣднѣла больше и больше и тоже смотрѣла на него неподвижно, какъ будто очарованная.

— Иди ко мнѣ, Катерина! прошепталъ больной едва слышнымъ голосомъ и вышелъ изъ комнаты. Катерина все еще смотрѣла неподвижно въ воздухъ, все будто-бы еще старикъ стоялъ передъ нею. Но вдругъ кровь мгновенно опалила ея блѣдныя

щеки, и она медленно приподнялась съ постели. Ордыновъ вспомнилъ первую встрѣчу.

— Такъ до завтра-же, слезы мои! сказала она, какъ-то странно усмѣхаясь: — до завтра! Помни-жь, на чемъ перестала я: «выбирай изъ двухъ: кто любъ иль не любъ тебѣ, красная дѣвица!» Будешь помнить, подождешь одну ночку? повторила она, положивъ ему свои руки на плеча и нѣжно смотря на него.

— Катерина, не ходи, не губи себя! Онъ съумасшедшій! шепталъ Ордыновъ, дрожа за нее.

— Катерина! раздался голосъ за перегородкой.

— Что-жь? Зарѣжетъ, небось? отвѣчала, смѣясь, Катерина.— Доброй ночи тебѣ, сердце мое ненаглядное, голубь горячій мой, братецъ родной! говорила она, нѣжно прижавъ его голову къ груди своей, тогда какъ слезы оросили вдругъ лицо ея. — Это послѣднія слезы. Переспи-жь свое горе, любезный мой, проснешься завтра на радость. И она страстно поцѣловала его.

— Катерина! Катерина! шепталъ Ордыновъ, упавъ передъ ней на колѣни и порываясь остановить ее.—Катерина!

Она обернулась, улыбаясь кивнула ему головою и вышла изъ комнаты. Ордыновъ слышалъ, какъ она вошла къ Мурину; онъ затаилъ дыханіе, прислушиваясь, но ни звука не услышалъ онъ болѣе. Старикъ молчалъ или, можетъ быть, опять былъ безъ памяти... Онъ хотѣлъ было идти къ ней туда, но ноги его подкашивались... Онъ ослабѣлъ и присѣлъ на постели...

II.

Долго не могъ онъ узнать часа, когда очнулся. Были разсвѣтъ или сумерки: въ комнатѣ все еще было темно. Онъ не могъ означить именно сколько времени спалъ, но чувствовалъ, что сонъ его былъ сномъ болѣзненнымъ. Опомнясь, онъ провелъ рукой по лицу, какъ будто снимая съ себя сонъ и ночныя видѣнія. Но когда онъ хотѣлъ ступить на полъ, то почувствовалъ, что какъ будто все тѣло его было разбито, и истомленные члены отказывались повиноваться. Голова его болѣла и кружилась, и все тѣло обдавало то мелкою дрожью, то пламенемъ. Вмѣстѣ съ сознаніемъ воротилась и память, и сердце его дрогнуло, когда въ одинъ мигъ пережилъ онъ воспоминаніемъ всю прошлую ночь. Сердце его такъ сильно билось въ отвѣтъ на его раздумье, такъ горячи, свѣжи были его ощущенія, что какъ будто

не ночь, не долгіе часы, а одна минута прошла по уходѣ Катерины. Онъ чувствовалъ, что глаза его еще не обсохли отъ слезъ,—или новыя, свѣжія слезы брызнули какъ родникъ изъ горячей души его? И, чудное дѣло! Ему даже сладостны были муки его, хотя онъ глухо слышалъ всѣмъ составомъ своимъ, что не вынесетъ болѣе такого насилія. Была минута, когда онъ почти чувствовалъ смерть и готовъ былъ встрѣтить ее, какъ свѣтлую гостью: такъ напряглись его впечатлѣнія, такимъ могучимъ порывомъ закипѣла по пробужденіи вновь его страсть, такимъ восторгомъ обдало душу его, что жизнь, ускоренная напряженною дѣятельностью, казалось, готова была перерваться, разрушиться, истлѣть въ одинъ мигъ и угаснуть на вѣки. Почти въ эту-жь минуту, какъ бы въ отвѣтъ на тоску его, въ отвѣтъ его задрожавшему сердцу, зазвучалъ знакомый —какъ та внутренняя музыка, знакомая душѣ человѣка въ часъ радости о жизни своей, въ часъ безмятежнаго счастья — густой, серебряный голосъ Катерины. Близко, возлѣ, почти надъ изголовьемъ его, началась пѣсня, сначала тихо и заунывно... Голосъ то возвышался, то опадалъ, судорожно замирая, словно тая про себя и нѣжно лелѣя свою-же мятежную муку ненасытимаго, сдавленнаго желанія, безвыходно затаеннаго въ тоскующемъ сердцѣ; то снова разливался соловьиною трелью и весь дрожа, пламенѣя уже несдержимою страстію, разливался въ цѣлое море восторговъ, въ море могучихъ, безпредѣльныхъ, какъ первый мигъ блаженства любви, звуковъ. Ордыновъ отличалъ и слова: они были просты, задушевны, сложенныя давно, прямымъ, спокойнымъ, чистымъ и яснымъ самому себѣ чувствомъ. Но онъ забывалъ ихъ, онъ слышалъ лишь одни звуки. Сквозь простой, наивный складъ пѣсни, ему сверкали другія слова, гремѣвшія всѣмъ стремленіемъ, которое наполняло его-же грудь, давшія откликъ сокровеннѣйшимъ, ему-же невѣдомымъ, изгибамъ страсти его, прозвучавшимъ ему-же ясно, цѣлымъ сознаніемъ, о ней. И то слышался ему послѣдній стонъ безвыходно замершаго въ страсти сердца, то радость воли и духа, разбившаго цѣпи свои и устремившагося свѣтло и свободно въ неисходимое море невозбранной любви; то слышалась первая клятва любовницы съ благоуханнымъ стыдомъ за первую краску въ лицѣ, съ моленіями, со слезами, съ таинственнымъ, робкимъ шепотомъ; то желаніе вакханки, гордое и радостное силой своей, безъ покрова, безъ тайны, съ сверкающимъ смѣхомъ обводящее кругомъ опьянѣвшія очи...

Ордыновъ не выдержалъ окончанія пѣсни и всталъ съ постели. Пѣсня тотчасъ затихла.

— Доброе утро съ добрымъ днемъ прошли, мой желанный! зазвучалъ голосъ Катерины: добрый вечеръ тебѣ! Встань, приди къ намъ, пробудись на свѣтлую радость; ждемъ тебя я да хозяинъ, люди все добрые, твоей волѣ покорные; загаси любовью ненависть, коли все еще сердце обидой болитъ. Скажи слово ласковое!..

Ордыновъ уже вышелъ изъ комнаты на первый окликъ ея и едва понялъ онъ, что входитъ къ хозяевамъ. Передъ нимъ отворилась дверь и ясна какъ солнце, заблестѣла ему золотая улыбка чудной его хозяйки. Въ этотъ мигъ онъ не видалъ, не слыхалъ никого, кромѣ ея. Мгновенно вся жизнь, вся радость его слились въ одно въ его сердцѣ — въ свѣтлый образъ его Катерины.

— Двѣ зари прошло, сказала она, подавая ему свои руки:— какъ мы попрощались съ тобой; вторая гаснетъ теперь, посмотри въ окно. Словно двѣ зари души красной дѣвицы, промолвила, смѣясь, Катерина:—одна, что̀ первымъ стыдомъ лицо разрумянитъ, какъ впервинки скажется въ груди одинокое дѣвичье сердце, а другая, какъ забудетъ первый стыдъ красная дѣвица, горитъ словно полымемъ, давитъ дѣвичью грудь и гонитъ въ лицо румяную кровь... Ступай, ступай въ нашъ домъ, добрый молодецъ! Что стоишь на порогѣ? Честь тебѣ да любовь, да поклонъ отъ хозяина!

Съ звонкимъ, какъ музыка, смѣхомъ взяла она руку Ордынова и ввела его въ комнату. Робость вошла въ его сердце. Все пламя, весь пожаръ, пламенѣвшій въ груди его, словно истлѣли и угасли въ одинъ мигъ и на одинъ мигъ; онъ съ смущеніемъ опустилъ глаза и боялся смотрѣть на нее. Онъ чувствовалъ, что она такъ чудно прекрасна, что не сносить его сердцу знойнаго ея взгляда. Никогда еще онъ не видалъ такъ своей Катерины. Смѣхъ и веселье въ первый разъ засверкали въ лицѣ ея и изсушили грустныя слезы на ея черныхъ рѣсницахъ. Его рука дрожала въ ея рукѣ. И если-бъ онъ поднялъ глаза, то увидѣлъ-бы, что Катерина съ торжествующей улыбкой приковала свѣтлыя очи къ лицу его, отуманенному смущеніемъ и страстью.

— Встань-же, старый! сказала она, наконецъ, какъ будто сама только опомнившись: — скажи гостю слово привѣтливое. Гость, что братъ родной! Встань-же, непоклонный, спѣсивый старинушка, встань, поклонись, гостя за бѣлыя руки возьми, посади за столъ!

Ордыновъ поднялъ глаза и какъ будто теперь лишь опомнился. Онъ теперь только подумалъ о Муринѣ. Глаза старика, словно потухавшіе въ предсмертной тоскѣ, смотрѣли на него неподвижно; и съ болью въ душѣ вспомнилъ онъ этотъ взглядъ, сверкнувшій ему въ послѣдній разъ изъ-подъ нависшихъ черныхъ, сжатыхъ, какъ и теперь, тоскою и гнѣвомъ бровей. Голова его слегка закружилась. Онъ оглядѣлся кругомъ и теперь только сообразилъ все ясно, отчетливо. Муринъ все еще лежалъ на постели, но онъ былъ почти одѣтъ и какъ будто уже вставалъ и выходилъ въ это утро. Шея была обвязана, какъ и прежде, краснымъ платкомъ, на ногахъ были туфли. Болѣзнь, очевидно, прошла, только лицо все еще было страшно блѣдно и желто. Катерина стояла возлѣ постели, опершись рукою на столъ, и внимательно смотрѣла на обоихъ. Но привѣтливая улыбка не сходила съ лица ея. Казалось, все дѣлалось по ея мановенію.

— Да! Это ты, сказалъ Муринъ, приподымаясь и садясь на постели.—Ты мой жилецъ. Виноватъ я передъ тобою, баринъ, согрѣшилъ и обидѣлъ тебя незнамо-невѣдомо, пошалилъ намедни съ ружьемъ. Кто-жъ-те зналъ, что на тебя тоже находитъ черная немочь? А со мною случается, прибавилъ онъ хриплымъ, болѣзненнымъ голосомъ, хмуря брови свои и невольно отводя глаза свои отъ Ордынова.—Бѣда идетъ—не стучитъ въ ворота, какъ воръ подползетъ! Я и ей чуть ножа ономнясь въ грудь не всадилъ... примолвилъ онъ, кивнувъ головой на Катерину.—Боленъ я, припадокъ находитъ, ну, и довольно съ тебя! Садись—будешь гость!

Ордыновъ все еще пристально смотрѣлъ на него.

— Садись-же, садись! крикнулъ старикъ въ нетерпѣніи:—садись, коли ей это любо! Ишь вы побратались, единоутробные! Слюбились словно любовники!

Ордыновъ сѣлъ.

— Видишь, сестрица какая, продолжалъ старикъ, засмѣявшись и показавъ два ряда своихъ бѣлыхъ, цѣлыхъ до единаго зубовъ.—Милуйтесь, родные мои! Хороша-ль у тебя сестрица, баринъ? Скажи, отвѣчай! На, смотри-ка, какъ щеки ея полымемъ пышатъ. Да оглянись-же, почествуй всему свѣту красавицу! Покажи, что болитъ по ней ретивое!

Ордыновъ нахмурилъ брови и злобно посмотрѣлъ на старика. Тотъ вздрогнулъ отъ его взгляда. Слѣпое бѣшенство закипѣло въ груди Ордынова. Онъ какимъ-то животнымъ инстинктомъ

чуялъ близь себя врага на смерть. Онъ самъ не могъ понять, что съ нимъ дѣлается, разсудокъ отказывался служить ему.

— Не смотри! раздался голосъ сзади его. Ордыновъ оглянулся.

— Не смотри-же, не смотри, говорю, коли бѣсъ наущаетъ, пожалѣй свою любу, говорила, смѣясь, Катерина, и вдругъ сзади закрыла рукою глаза его; потомъ тотчасъ-же отняла свои руки и закрылась сама. Но краска лица какъ будто пробивалась сквозь ея пальцы. Она отняла руки и, вся горя какъ огонь, попробовала свѣтло и нетрепетно встрѣтить ихъ смѣхъ и любопытные взгляды. Но оба молча глядѣли на нее — Ордыновъ съ какимъ-то изумленіемъ любви, какъ будто въ первый разъ такая страшная красота пронзила сердце его; старикъ внимательно, холодно. Ничего не выражалось на его блѣдномъ лицѣ; только губы синѣли и слегка трепетали.

Катерина подошла къ столу уже не смѣясь болѣе и стала убирать книги, бумаги, чернильницу, все, что было на столѣ, и сложила все на окно. Она дышала скоро, прерывисто, и по временамъ жадно впивала въ себя воздухъ, какъ будто ей сердце тѣснило. Тяжело, словно волна прибрежная, опускалась и вновь подымалась ея полная грудь. Она потупила глаза, и черныя, смолистыя рѣсницы, какъ острыя иглы, заблистали на свѣтлыхъ щекахъ ея...

— Царь-дѣвица! сказалъ старикъ.

— Владычица моя! прошепталъ Ордыновъ, дрогнувъ всѣмъ тѣломъ. Онъ опомнился, заслышавъ на себѣ взглядъ старика: какъ молнія сверкнулъ этъ взглядъ на мгновеніе — жадный, злой, холодно-презрительный. Ордыновъ привсталъ было съ мѣста, но какъ будто невидимая сила сковала ему ноги. Онъ снова усѣлся. Порой онъ сжималъ свою руку, какъ будто не довѣряя дѣйствительности. Ему казалось, что кошмаръ его душитъ и что на глазахъ его все еще лежитъ страдальческій, болѣзненный сонъ. Но, чудное дѣло! Ему не хотѣлось проснуться.

Катерина сняла со стола старый коверъ, потомъ открыла сундукъ, вынула изъ него драгоцѣнную скатерть, всю расшитую яркими шелками и золотомъ, и накрыла ею столъ; потомъ вынула изъ шкафа старинный, прадѣдовскій, весь серебряный поставецъ, поставила его на средину стола и отдѣлила отъ него три серебряныя чарки — хозяину, гостю и чару себѣ; потомъ важнымъ, почти задумчивымъ взглядомъ посмотрѣла на старика и на гостя.

— Кто-жь изъ насъ кому любъ иль не любъ? сказала она: —

кто не любъ кому, тотъ мнѣ любъ и со мной будетъ пить свою чару. А мнѣ всякъ изъ васъ любъ, всякъ родной: такъ пить всѣмъ на любовь и согласье!

— Пить, да черную думу въ винѣ топить! сказалъ старикъ измѣнившимся голосомъ. — Наливай, Катерина!

— А ты велишь наливать? спросила Катерина, смотря на Ордынова.

Ордыновъ молча подвинулъ свою чарку.

— Стой! У кого какая загадка и думушка, пусть по его-же хотѣнью и сбудется! сказалъ старикъ, поднявъ свою чару.

Всѣ стукнули чарками и выпили.

— Давай-же мы теперь выпьемъ съ тобой, старина! сказала Катерина, обращаясь къ хозяину, — выпьемъ, коли ласково твое сердце ко мнѣ! Выпьемъ за прожитое счастье, ударимъ поклонъ прожитымъ годамъ, сердцемъ за счастье, да любовью поклонимся! Вели-жь наливать, коли горячо твое сердце ко мнѣ!

— Винцо твое крѣпко, голубица моя, а сама только губки помочишь! сказалъ старикъ, смѣясь и подставляя вновь свою чару

— Ну, я отхлебну, а ты пей до дна!.. Что жить, старинушка, тяжелую думу за собой волочить; а только сердце ноетъ съ думы тяжелой! Думушка съ горя идетъ, думушка горе зоветъ, а при счастьи живется безъ думушки! Пей, старина! Утопи свою думушку!

— Много-жь, знать, горя у тебя накипѣло, коли такъ на него ополчаешься! Знать, разомъ хочешь покончить, бѣлая голубка моя. Пью съ тобой, Катя! А у тебя есть-ли горе, баринъ, коль позволишь спросить?

— Что̀ есть, то̀ есть про себя, прошепталъ Ордыновъ, не сводя глазъ съ Катерины.

— Слышалъ, старинушка? Я и сама себя долго не знала, не помнила, а пришло время, все спознала и вспомнила; все, что̀ прошло, ненасытной душой опять прожила.

— Да, горько, коль на бываломъ одномъ пробиваться начнешь, сказалъ старикъ задумчиво. — Что̀ прошло, какъ вино пропито! Что̀ въ прошломъ счастьи? Кафтанъ износилъ, и долой...

— Новый надо! подхватила Катерина, засмѣявшись съ натуги, тогда какъ двѣ крупныя слезинки повисли какъ алмазы на сверкнувшихъ рѣсницахъ. — Знать, вѣку минутой одной не прожить, да и дѣвичье сердце живуче, не угоняешься въ ладъ! Спозналъ, старина? Смотри, я въ твоей чарѣ слезинку мою схоронила!

— А за много-ль счастья ты свое горе купила? сказалъ Ордыновъ, и голосъ его задрожалъ отъ волненія.

— Знать, у тебя, баринъ, своего много продажнаго! отвѣчалъ старикъ: — что суешься непрошенный. И онъ злобно и неслышно захохоталъ, нагло смотря на Ордынова.

— А за что̀ продала, то̀ и было, отвѣчала Катерина, какъ будто недовольнымъ, обиженнымъ голосомъ. — Одному кажется много, другому мало Одинъ все отдать хочетъ, взять нечего, другой ничего не сулитъ, да за нимъ идетъ сердце послушное! А ты не кори человѣка, примолвила она, грустно смотря на Ордынова: — одинъ такой человѣкъ, другой не тотъ человѣкъ, а будто знаешь, зачѣмъ къ кому душа просится! Наливай-же свою чару, старикъ! Выпей за счастье твоей дочки, любезной, рабыни твоей тихой, покорной, какъ впервинки была, какъ съ тобой спознавалась. Подымай свою чару!

— Инъ быть такъ! Наливай-же свою! сказалъ старикъ, взявъ вино.

— Стой, старина! Подожди пить, дай прежде слово сказать!..

Катерина облокотилась руками на столъ и пристально, разгорѣвшимися, страстными очами смотрѣла въ глаза старику. Какая-то странная рѣшимость сіяла въ глазахъ ея. Но всѣ движенія ея были спокойны, жесты отрывисты, неожиданны, скоры. Она была вся словно въ огнѣ, и чудно дѣлалось это. Но какъ будто красота ея росла вмѣстѣ съ волненіемъ, съ одушевленіемъ ея. Изъ полуоткрытыхъ улыбкою губъ, выказывавшихъ два ряда бѣлыхъ, ровныхъ какъ жемчугъ зубовъ, вылетало порывистое дыханіе, слегка приподымая ея ноздри. Грудь волновалась; коса, три раза обернутая на затылкѣ, небрежно слегка упала на лѣвое ухо и прикрыла часть горячей щеки. Легкій потъ пробивался у ней на вискахъ.

— Загадай, старина! Загадай мнѣ, родимый мой, загадай прежде чѣмъ умъ пропьешь; вотъ тебѣ ладонь моя бѣлая! Вѣдь не даромъ тебя у насъ колдуномъ люди прозвали. Ты-же по книгамъ учился и всякую черную грамоту знаешь! Погляди-же, старинушка, разскажи мнѣ всю долю мою горемычную; только смотри, не солги! Ну, скажи какъ самъ знаешь — будетъ-ли счастье дочкѣ твоей, иль, не простишь ты ее и накличешь ей на дорогу одну злую долю кручинушку? Скажи тепелъ-ли будетъ мой уголъ, гдѣ обживусь, иль, какъ пташка перелетная, весь вѣкъ сиротинушкой буду межъ добрыхъ людей своего мѣста искать? Скажи, кто мнѣ недругъ, кто любовь мнѣ готовитъ, кто зло

про меня замышляетъ? Скажи, въ одиночку, сердцу-ль моему молодому, горячему, вѣкъ прожить и до вѣка заглохнуть, иль найдетъ оно ровню себѣ, да въ ладъ съ нимъ на радость забьется... до новаго горя! Угадай ужь за одинъ разъ, старинушка, въ какомъ синемъ небѣ, за какими морями-лѣсами соколъ мой ясный живетъ, гдѣ, да и зорко-ль себѣ соколицу высматриваетъ, да и любовно-ль онъ ждетъ, крѣпко-ль полюбитъ, скоро-ль разлюбитъ, обманетъ, иль не обманетъ меня? Да ужь заразъ, все одно къ одному, скажи мнѣ въ послѣдній, старинушка, долго-ль намъ съ тобой вѣкъ коротать, въ углу черствомъ сидѣть, черныя книги читать; да когда мнѣ тебѣ, старина, низко кланяться, по добру по здорову прощаться; за хлѣбъ-соль благодарить, что поилъ, кормилъ, сказки сказывалъ?.. Да смотри-же, всю правду скажи, не солги; пришло время, постой за себя!

Одушевленіе ея росло все болѣе и болѣе до послѣдняго слова, какъ вдругъ ея голосъ пресѣкся отъ волненія, будто какой-то вихрь увлекалъ ея сердце. Глаза ея сверкнули и верхняя губа слегка задрожала. Слышно было, какъ злая насмѣшка змѣилась и пряталась въ каждомъ словѣ ея, но какъ будто плачъ звенѣлъ въ ея смѣхѣ. Она наклонилась черезъ столъ къ старику и пристально, съ жаднымъ вниманіемъ смотрѣла въ помутившіеся глаза его. Ордыновъ слышалъ, какъ вдругъ застучало ея сердце, когда она кончила; онъ вскрикнулъ отъ восторга, когда взглянулъ на нее, и привсталъ было со скамьи. Но бѣглый, мгновенный взглядъ старика опять приковалъ его къ мѣсту. Какая-та странная смѣсь презрѣнія, насмѣшки, нетерпѣливаго, досаднаго безпокойства и вмѣстѣ съ тѣмъ злаго, лукаваго любопытства свѣтились въ этомъ бѣгломъ, мгновенномъ взглядѣ, отъ котораго каждый разъ вздрагивалъ Ордыновъ и который каждый разъ наполнялъ его сердце желчью, досадой и безсильною злобой.

Задумчиво и съ какимъ-то грустнымъ любопытствомъ смотрѣлъ старикъ на свою Катерину. Сердце его было уязвлено, слова были сказаны. Но даже бровь не шевельнулась въ лицѣ его! Онъ только улыбнулся, когда она кончила.

— Много-жь ты разомъ захотѣла узнать, птенчикъ мой оперившійся, пташка моя встрепенувшаяся! Наливай-же мнѣ скорѣе чару глубокую; выпьемъ сначала на размирье, да на доброю волю; не то чьимъ нибудь глазомъ чернымъ, нечистымъ мое пожеланіе испорчу. Бѣсъ силенъ! Далеко-ль до грѣха!

Онъ поднялъ свою чару и выпилъ. Чѣмъ больше пилъ онъ вина, тѣмъ становился блѣднѣе. Глаза его стали красны, какъ

угли. Видно было, что лихорадочный блескъ ихъ и внезапная, мертвенная синева лица предвѣщала скоро новый припадокъ болѣзни. Вино-жь было крѣпкое, такъ что съ одной выпитой чарки все болѣе и болѣе мутились глаза Ордынова. Лихорадочно воспаленная кровь его не могла долѣе выдержать: она заливала его сердце, мутила и путала разумъ. Безпокойство его росло все сильнѣе и сильнѣе. Онъ налилъ и отхлебнулъ еще, самъ не зная, что̀ дѣлаетъ, чѣмъ помочь возроставшему волненію своему, и кровь еще быстрѣе полетѣла по его жиламъ. Онъ былъ какъ въ бреду и едва могъ слѣдить, напрягая все вниманіе, за тѣмъ что̀ происходило между странныхъ хозяевъ его.

Старикъ звонко стукнулъ серебряной чаркой объ столъ.

— Наливай, Катерина! вскричалъ онъ:—наливай еще, злая дочка, наливай до упаду! Уложи старика на покой, да и полно съ него! Вотъ такъ, наливай еще, наливай мнѣ, красавица! Выпьемъ съ тобой! Что-жь ты мало пилъ? Али я не видалъ...

Катерина что-то отвѣчала ему, но Ордыновъ не разслышалъ, что именно: старикъ не далъ ей кончить; онъ схватилъ ее за руку, какъ-бы не въ силахъ болѣе сдержать всего, что̀ тѣснилось въ груди его. Лицо его было блѣдно; глаза то мутились, то вспыхивали яркимъ огнемъ; побѣлѣвшія губы дрожали, и неровнымъ, смятеннымъ голосомъ, въ которомъ сверкалъ минутами какой-то странный восторгъ, онъ сказалъ ей:

— Давай ручку, красавица! Давай загадаю, всю правду скажу. Я и впрямь колдунъ; знать, не ошиблась ты, Катерина! Знать, правду сказало сердечко твое золотое, что одинъ я ему колдунъ, и правды не потаю отъ него простаго, нехитраго! Да одного не спознала ты: не мнѣ, колдуну, тебя учить уму-разуму! Разумъ не воля для дѣвицы, и слышитъ всю правду, да словно не знала, не вѣдала! У самой голова—змѣя хитрая, хоть и сердце слезой обливается! Сама путь найдетъ, межь бѣдой ползкомъ проползетъ, сбережетъ волю хитрую! Гдѣ умомъ возьметъ, а гдѣ умомъ не возьметъ, красотой затуманитъ, чернымъ глазомъ умъ опьянитъ,—краса силу ломитъ; и желѣзное сердце, да пополамъ распаяется! Ужь и будетъ-ли у тебя печаль со кручинушкой? Тяжела печаль человѣческая! Да на слабое сердце не бываетъ бѣды. Бѣда съ крѣпкимъ сердцемъ знакомится, въ тихомолку кровавой слезой отливается, да на сладкій позоръ къ добрымъ людямъ не просится: твое-жь горе, дѣвица, словно слѣдъ на пескѣ, дождемъ вымоетъ, солнцемъ высушитъ, буйнымъ вѣтромъ снесетъ, замететъ!—Пусть и еще скажу, поколдую: кто

полюбитъ тебя, тому ты въ рабыни пойдешь, сама волюшку свяжешь, въ закладъ отдашь, да ужь и назадъ не возьмешь; въ пору во время разлюбить не съумѣешь; положишь зерно, а губитель твой возьметъ назадъ цѣлымъ колосомъ! Дитя мое нѣжное, золотая головушка, схоронила ты въ чаркѣ моей свою слезинку-жемчужинку, да по ней не стерпѣла, тутъ-же сто пролила, словцо красное потеряла, да горемъ-головушкой своей похвалилася! Да по ней, по слезинкѣ, небесной росинкѣ, тебѣ и тужить-горевать не приходится! Отольется она тебѣ съ лихвою, твоя слезинка жемчужная, въ долгую ночь, въ горемычную ночь, когда станетъ грызть тебя злая кручинушка, нечистая думушка— тогда на твое сердце горячее, все за ту-же слезинку капнетъ тебѣ чья-то иная слеза, да кровавая, да не теплая, а словно топленный свинецъ; до крови бѣлу грудь разожжетъ, и до утра, тоскливаго, хмураго, что̀ приходитъ въ ненастные дни, ты въ постелькѣ своей прометаешься, алу кровь точа, и не залечишь своей раны свѣжей до другаго утра! Налей еще, Катерина, налей, голубица моя, налей мнѣ за мудрый совѣтъ, а дальше, знать, словъ терять нечего...

Голосъ его ослабѣлъ и заброжалъ: казалось, рыданіе готово было прорваться изъ груди его... Онъ налилъ вина и жадно выпилъ новую чару; потомъ снова стукнулъ чаркой объ столъ. Мутный взглядъ его еще разъ вспыхнулъ пламенемъ.

— А! Живи какъ живется! вскричалъ онъ:—что̀ прошло, то ужь съ плечъ долой! Наливай мнѣ, еще наливай, все подноси тяжелую чару, чтобы рѣзала головушку буйную съ плечъ, чтобъ вся душа отъ нея замертвѣла! Уложи на долгую ночь, да безъ утра, да чтобы память совсѣмъ отошла. Что̀ пропито, то прожито! Знать, заглохъ у купца товаръ, залежался, даромъ съ рукъ отдаетъ! А не продалъ-бы своей волей-вольною его тотъ купецъ ниже своей цѣны; отлилась-бы и вражья кровь, пролилась-бы и кровь неповинная, да въ придачу положилъ-бы тотъ покупщикъ свою погибшую душеньку! Наливай, наливай мнѣ еще, Катерина!

Но рука его, державшая чару, какъ будто замерла и не двигалась; онъ дышалъ тяжело и трудно, голова его невольно склонилась. Въ послѣдній разъ онъ вперилъ тусклый взглядъ на Ордынова, но и этотъ взглядъ потухъ, наконецъ, и вѣки его упали, словно свинцовыя. Смертная блѣдность разлилась по лицу его... Еще нѣсколько времени губы его шевелились и вздрагивали, какъ-бы силясь еще что-то промолвить,—и вдругъ слеза, горячая,

крупная, нависла съ рѣсницъ его, порвалась и медленно покатилась по блѣдной щекѣ... Ордыновъ былъ не въ силахъ выдержать болѣе. Онъ привсталъ и, пошатнувшись, ступилъ шагъ впередъ, подошелъ къ Катеринѣ и схватилъ ее за руку; но она и не взглянула на него, какъ будто его не примѣтила, какъ будто не признала его...

Она какъ будто тоже теряла сознаніе, какъ будто одна мысль, одна неподвижная идея увлекла ее всю. Она припала къ груди спящаго старика, обвила своей бѣлой рукой его шею и пристально, словно приковалась къ нему, смотрѣла на него огневымъ, воспаленнымъ взглядомъ. Она будто не слыхала, какъ Ордыновъ взялъ ее за руку. Наконецъ, она повернула къ нему свою голову и посмотрѣла на него долгимъ, пронзающимъ взглядомъ. Казалось, что она поняла, наконецъ, его, и тяжелая, удивленная улыбка тягостно, какъ будто съ болью выдавилась на губахъ ея...

— Поди, поди прочь, прошептала она: — ты пьяный и злой! Ты не гость мнѣ!.. Тутъ она снова обратилась къ старику и опять приковалась къ нему своими очами.

Она какъ будто стерегла каждое дыханіе его и взглядомъ своимъ лелѣяла его сонъ. Она какъ будто боялась сама дохнуть, сдерживая вскипѣвшее сердце. И столько изступленнаго любованія было въ сердцѣ ея, что разомъ отчаяніе, бѣшенство и неистощимая злоба захватили духъ Ордынова...

— Катерина! Катерина! звалъ онъ, сжимая какъ въ тискахъ ея руку.

Чувство боли прошло по лицу ея; она опять подняла свою голову и посмотрѣла на него съ такою насмѣшкой, такъ презрительно-нагло, что онъ едва устоялъ на ногахъ. Потомъ она указала ему на спящаго старика — и какъ будто вся насмѣшка врага его перешла ей въ глаза — терзающимъ, леденящимъ взглядомъ опять взглянула на Ордынова.

— Что̀? Зарѣжетъ, небось? проговорилъ Ордыновъ, не помня себя отъ бѣшенства.

Словно демонъ его шепнулъ ему на ухо, что онъ ее понялъ... И все сердце его засмѣялось на неподвижную мысль Катерины...

— Куплю-жь я тебя, красота моя, у купца твоего, коль тебѣ души моей надобно! Небось, не зарѣзать ему!..

Неподвижный смѣхъ, мертвившій все существо Ордынова, не сходилъ съ лица Катерины. Неистощимая насмѣшка разорвала на части его сердце. Не помня, почти не сознавая себя, онъ обло-

котился рукою объ стѣну и снялъ съ гвоздя дорогой, старинный ножъ старика. Какъ будто изумленіе отразилось на лицѣ Катерины; но какъ будто въ тоже время злость и презрѣніе впервые съ такой силой отразились въ глазахъ ея. Ордынову дурно становилось, смотря на нее... Онъ чувствовалъ, что какъ будто кто-то вырывалъ, подмывалъ потерявшуюся руку его на безумство; онъ вынулъ ножъ... Катерина неподвижно, словно не дыша болѣе, слѣдила за нимъ...

Онъ взглянулъ на старика...

Въ эту минуту ему показалось, что одинъ глазъ старика медленно открывался и, смѣясь, смотрѣлъ на него. Глаза ихъ встрѣтились. Нѣсколько минутъ Ордыновъ смотрѣлъ на него неподвижно... Вдругъ ему показалось, что все лицо старика засмѣялось и что дьявольскій, убивающій, леденящій хохотъ раздался, наконецъ, по комнатѣ. Безобразная, черная мысль какъ змѣя проползла въ головѣ его. Онъ задрожалъ; ножъ выпалъ изъ рукъ его и зазвенѣлъ на полу. Катерина вскрикнула, какъ будто очнувшись отъ забытья, отъ кошмара, отъ тяжелаго, неподвижнаго видѣнья... Старикъ, блѣдный, медленно поднялся съ постели и злобно оттолкнулъ ногой ножъ въ уголъ комнаты. Катерина стояла блѣдная, помертвѣлая, неподвижная; глаза ея закрывались; глухая, невыносимая боль судорожно выдавилась на лицѣ ея; она закрылась руками и съ крикомъ, раздирающимъ душу, почти бездыханная, упала къ ногамъ старика...

— Алеша! Алеша! вырвалось изъ стѣсненной груди ея...

Старикъ обхватилъ ее могучими руками и почти сдавилъ на груди своей. Но когда она спрятала у сердца его свою голову, такимъ обнаженнымъ, безстыднымъ смѣхомъ засмѣялась каждая черточка на лицѣ старика, что ужасомъ обдало весь составъ Ордынова. Обманъ, разсчетъ, холодное, ревнивое тиранство и ужасъ надъ бѣднымъ, разорваннымъ сердцемъ — вотъ что понялъ онъ въ этомъ безстыдно-нетаившемся болѣе смѣхѣ.

— Съумасшедшая! прошепталъ онъ, задрожавъ какъ листъ, обмирая отъ ужаса, и выбѣжалъ вонъ изъ квартиры.

III.

Когда Ордыновъ, блѣдный, встревоженный, еще не опомнившійся отъ вчерашней тревоги, отворилъ на другой день, часовъ въ восемь утра, дверь къ Ярославу Ильичу, къ которому при-

шелъ, впрочемъ, самъ не зная зачѣмъ, то отшатнулся отъ изумленія и какъ вкопаный сталъ на порогѣ, увидя въ комнатѣ — Мурина. Старикъ былъ еще блѣднѣе Ордынова и, казалось, едва стоялъ на ногахъ отъ болѣзни; впрочемъ, сѣсть не хотѣлъ, не смотря ни на какія приглашенія вполнѣ счастливаго такимъ посѣщеніемъ Ярослава Ильича. Ярославъ Ильичъ тоже вскрикнулъ, завидѣвъ Ордынова, но почти въ ту-же минуту радость его прошла, и какое-то замѣшательство застигло его вдругъ, совершенно врасплохъ, на полдорогѣ отъ стола къ сосѣднему стулу. Очевидно было, что онъ не зналъ что̀ сказать, что̀ сдѣлать, и вполнѣ сознавалъ всю неприличность — сосать въ такую хлопотливую минуту, оставивъ гостя въ сторонѣ, одного какъ онъ есть, свой чубучокъ, а между тѣмъ (такъ сильно было смущеніе его) все-таки тянулъ изъ чубучка что было силы и даже почти съ нѣкоторымъ вдохновеніемъ. Ордыновъ вошелъ, наконецъ, въ комнату. Онъ бросилъ бѣглый взглядъ на Мурина. Что-то похожее на вчерашнюю злую улыбку, отъ которой и теперь бросило въ дрожь и въ негодованіе Ордынова, проскользнуло по лицу старика. Впрочемъ, все враждебное тотчасъ-же скрылось и сгладилось, и выраженіе лица его приняло видъ самый неприступный и замкнутый. Онъ отвѣсилъ пренизкій поклонъ жильцу своему... Вся эта сцена воскресила, наконецъ, сознаніе Ордынова. Онъ пристально посмотрѣлъ на Ярослава Ильича, желая вникнуть въ положеніе дѣла. Ярославъ Ильичъ затрепеталъ и замялся.

— Войдите-жь, войдите, промолвилъ онъ, наконецъ: — войдите, драгоцѣннѣйшій Василій Михайловичъ, осѣните прибытіемъ и положите печать... на всѣ эти обыкновенные предметы... — проговорилъ Ярославъ Ильичъ, показавъ рукой въ одинъ уголъ комнаты, покраснѣвъ какъ махровая роза, сбившись, запутавшись въ сердцахъ на то, что самая благородная фраза завязла и лопнула даромъ, и съ громомъ подвинулъ стулъ на самую средину комнаты.

— Я вамъ не мѣшаю, Ярославъ Ильичъ, я хотѣлъ... на двѣ минуты.

— Помилуйте! Возможно-ли вамъ мнѣ помѣшать-съ... Василій Михайловичъ! Но — позвольте чайку-съ! Эй! Служба... Я увѣренъ, что и вы не откажетесь еще одну чашечку!

Муринъ кивнулъ головою, давъ знать такимъ образомъ, что совсѣмъ не откажется.

Ярославъ Ильичъ закричалъ на вошедшую службу и наистрожайшимъ образомъ потребовалъ еще три стакана, затѣмъ

сѣлъ возлѣ Ордынова. Нѣсколько времени онъ вертѣлъ свою голову, какъ гипсовый котенокъ, то вправо, то влѣво отъ Мурина къ Ордынову и отъ Ордынова къ Мурину. Положеніе его было весьма непріятное. Ему очевидно что-то хотѣлось сказать, по идеямъ его, весьма щекотливое, по крайней мѣрѣ, для одной стороны. Но при всѣхъ усиліяхъ своихъ, онъ рѣшительно не могъ вымолвить слова... Ордыновъ тоже какъ будто находился въ недоумѣніи. Была минута, когда оба они разомъ вдругъ принялись говорить... Молчаливый Муринъ, наблюдавшій ихъ съ любопытствомъ, медленно расправилъ ротъ и показалъ зубы свои всѣ до единаго...

Я пришелъ объявить вамъ, вдругъ началъ Ордыновъ: — что по самому непріятному случаю принужденъ оставить квартиру, и...

— Представьте себѣ, какой странный случай! перебилъ вдругъ Ярославъ Ильичъ. — Я, признаюсь, былъ внѣ себя отъ изумленія, когда этотъ почтенный старикъ объявилъ мнѣ сегодня по утру ваше рѣшеніе. Но...

— *Онъ* объявилъ вамъ? спросилъ съ изумленіемъ Ордыновъ, смотря на Мурина.

Муринъ погладилъ свою бороду и засмѣялся въ рукавъ.

— Да-съ, подхватилъ Ярославъ Ильичъ: — впрочемъ, я могу еще ошибаться. Но, смѣло скажу, для васъ — честью моею могу вамъ ручаться, что для васъ въ словахъ этого почтеннаго старика не было ни тѣни обиднаго!..

Тутъ Ярославъ Ильичъ покраснѣлъ и черезъ силу подавилъ свое волненіе. Муринъ, какъ будто натѣшась, наконецъ, вдоволь замѣшательствомъ хозяина и гостя, ступилъ шагъ впередъ.

— Я вотъ про то, ваше благородіе, началъ онъ, съ вѣжливостью поклонившись Ордынову: — ихъ благородіе на вашъ счетъ маленько утрудить посмѣлъ. Оно того, сударь, выходитъ — сами знаете — я и хозяйка, то есть рады-бы душою и волею, и слова-бы сказать не посмѣли... да житье-то мое какое, сами знаете, сами видите, сударь! А, право, только что животы Господь бережетъ, за то и молимъ святую волю Его; а то сами видите, сударь, взвыть мнѣ что-ли приходится? Тутъ Муринъ опять утеръ рукавомъ свою бороду.

Ордынову почти дѣлалось дурно.

— Да, да, я вамъ самъ про него говорилъ: больной, то есть это malheur... то есть я было хотѣлъ выразиться по французски, но, извините, я по французски не такъ свободно, то есть...

— Да-съ...

— Да-съ, то есть...

Ордыновъ и Ярославъ Ильичъ сдѣлали другъ другу по полупоклону, каждый съ своего стула и нѣсколько на бокъ, и оба прикрыли возникшее недоумѣніе извинительнымъ смѣхомъ. Дѣловой Ярославъ Ильичъ тотчасъ поправился.

— Я, впрочемъ, подробно разспрашивалъ этого честнаго человѣка, началъ онъ: — онъ мнѣ говорилъ, что болѣзнь той женщины...

Тутъ щекотливый Ярославъ Ильичъ, вѣроятно, желая скрыть маленькое недоумѣніе, опять возникшее на лицѣ его, быстро, вопросительнымъ взглядомъ устремился на Мурина.

— Да, хозяйки-то нашей...

Деликатный Ярославъ Ильичъ не настаивалъ.

— Хозяйки, то есть бывшей хозяйки вашей, я какъ-то, право... ну, да! Она, видите-ли, больная женщина. Онъ говоритъ, что она вамъ мѣшаетъ... въ вашихъ занятіяхъ, да и онъ самъ... вы отъ меня скрыли одно важное обстоятельство, Василій Михайловичъ!

— Какое?

— На счетъ ружья-съ, промолвилъ почти шепотомъ, самымъ снисходительнымъ голосомъ Ярославъ Ильичъ, съ одной милліонной долей упрека, нѣжно зазвенѣвшаго въ его дружескомъ тенорѣ. — Но, прибавилъ онъ поспѣшно: — я все знаю, онъ мнѣ все разсказалъ, и вы благородно сдѣлали, отпустивъ ему его невольную вину передъ вами. Клянусь, я видѣлъ слезы на глазахъ его!

Ярославъ Ильичъ снова покраснѣлъ; глаза его засіяли, и онъ съ чувствомъ повернулся на стулѣ.

— Я, то есть, мы, сударь, ваше благородіе, то есть я, примѣромъ сказать, да и хозяйка моя ужь и какъ за васъ Бога молимъ, началъ Муринъ, обращаясь къ Ордынову, покамѣстъ Ярославъ Ильичъ подавлялъ обычное волненіе свое, и пристально смотря на него: — да сами знаете, сударь, она баба хворая, глупая; меня самого еле ноги носятъ...

— Да я готовъ, сказалъ въ нетерпѣніи Ордыновъ: — полноте, пожалуйста; я хоть сейчасъ!..

— Нѣтъ, то есть, сударь, многимъ вашей милости довольны (Муринъ пренизко поклонился) Я, сударь, вамъ не про то; я вотъ хотѣлъ слово вымолвить, — вѣдь она, сударь, мнѣ-то почти изъ родни, то есть изъ дальней, примѣромъ, какъ говорится,

седьмая вода, то есть ужь не побрезгайте словомъ нашимъ, сударь, люди мы темные — да съ измалѣтства такая! Головенка больная, задорная, въ лѣсу росла, мужичкой росла все межь бурлаковъ, да заводчиковъ; а тутъ ихъ домъ сгори; мать, сударь, *ейная* погори; отецъ свою душу опали — подика-съ, она и невѣсть что разскажетъ вамъ... Я только такъ не мѣшаюсь, а ее хи-хир-рург-гическій совѣтъ на Москвѣ смотрѣлъ... то есть, сударь, совсѣмъ повредилась, вотъ что̀! Я только у ней и остался, со мной и живетъ. Живемъ, Бога молимъ, на всевышнюю силу надѣемся; ужь я ей и не поперечу совсѣмъ...

Ордыновъ измѣнился въ лицѣ. Ярославъ Ильичъ смотрѣлъ то на того, то на другаго.

— Да я не про то, сударь... нѣтъ! поправился Муринъ, важно покачавъ головою: — она, примѣромъ сказать, такой вѣтеръ, вихорь такой, голова такая любовная, буйная, все милаго дружка, — если извинительно будетъ сказать, — да зазнобушку въ сердце ей подавай; на томъ и помѣшана. Я ужь ее сказками улещаю, то есть какъ улещаю. А я вѣдь, сударь, видѣлъ какъ она — ужь простите, сударь, мое глупое слово, продолжалъ Муринъ, кланяясь и утирая рукавомъ бороду: — примѣрно, спознавалась-то съ вами; вы, то есть, примѣромъ сказать, ваше сіятельство, относительно любви къ ней польнуть пожелали...

Ярославъ Ильичъ вспыхнулъ и съ упрекомъ взглянулъ на Мурина. Ордыновъ едва усидѣлъ на стулѣ.

— Нѣтъ... то есть я, сударь, не про то... я, сударь, спроста, мужикъ, я изъ вашей воли... конечно, мы люди темные, мы, сударь, ваши слуги, примолвилъ онъ, низко кланяясь: — а ужь какъ съ женой про вашу милость Бога будемъ молить!.. Что намъ? Были-бы сыты, здоровы, роптать не *роптаемъ*; — да мнѣ-то, сударь, что-жь дѣлать, въ петлю лѣзть, что-ли? Сами знаете, сударь, дѣло житейское, насъ пожалѣйте; а это ужь что-жь, сударь, будетъ, какъ еще съ полюбовникомъ!.. Грубое-то, сударь, вы слово простите... мужикъ, сударь, а вы, баринъ... вы, сударь, ваше сіятельство, человѣкъ молодой, гордый, горячій, а она, сударь, сами знаете, дитя малое, неразумное — долго-ль съ ней до грѣха! Баба она ядреная, румяная, милая, а меня, старика, все немочь беретъ. Ну, что̀? Бѣсъ уже, знать, вашу милость попуталъ! Я ужь ее сказками все улещаю, право, улещаю. А ужь какъ про вашу милость съ женой стали-бы Бога молить! То есть вотъ какъ молить! Да и что вамъ, ваше сіятельство, хоть она-бы и милая, а все-жь мужичка она, баба

немытая, поневница глупая, мнѣ мужику чета! Не вамъ, примѣрно, сударь, батюшка-баринъ, по мужичкамъ якшаться! А ужь какъ съ ней стали-бъ про вашу милость Бога молить, вò какъ молить!..

Тутъ Муринъ поклонился низко-низко и долго не разгибалъ спины, безпрерывно утирая рукавомъ бороду. Ярославъ Ильинъ не зналъ гдѣ стоялъ.

— Да-съ, этотъ добрый человѣкъ, замѣтилъ онъ весь замѣшавшись: — говорилъ мнѣ о какихъ-то существовавшихъ между вами безпорядкахъ-съ; я не осмѣливаюсь вѣрить, Василій Михайловичъ... Я слышалъ, вы все еще больны-съ, быстро перебилъ онъ со слезящимися отъ волненія глазами, въ неистощимомъ замѣшательствѣ смотря на Ордынова.

— Да-съ... Сколько я долженъ вамъ? быстро спросилъ Ордыновъ у Мурина.

— Что вы, батюшка-баринъ? Полноте! Мы вѣдь не христопродавцы какіе нибудь. Что вы, сударь, насъ обижаете! Постыдились-бы, сударь; чѣмъ мы съ супружницей васъ обиждали? Помилуйте-съ!

— Но, однако-жь, это странно, другъ мой; вѣдь они-же у васъ нанимали; чувствуете-ли вы, что отказомъ своимъ вы ихъ обижаете? вступился Ярославъ Ильичъ, долгомъ почитая показать Мурину всю странность и щекотливость его поступка.

— Да помилуйте-жь, батюшка! Что вы, сударь, баринъ? Помилуйте-съ! Ужь и чѣмъ мы не угодили про вашу честь? Ужь и такъ старались-старались, животы надорвали, помилуйте-съ! Полноте, сударь; полноте, свѣтъ-баринъ, Христосъ васъ помилуетъ! Что мы, невѣрные, что-ли, какіе? Пусть-бы жилъ, кушалъ-бы у насъ наше яство мужицкое на здоровье, пусть-бы лежалъ — ничего-бъ не сказали, и... слова не молвили-бъ; да нечистый попуталъ, хворый я человѣкъ, да и хозяйка моя хворая — чтò будешь дѣлать! Услужить-то-бы некому было, а рады-бы, душою-бы рады были. А ужь какъ мы съ хозяйкой будемъ про вашу милость Бога молить, то есть вò какъ молить!

Муринъ поклонился въ поясъ. Слеза выдавилась изъ восторженныхъ глазъ Ярослава Ильича. Съ энтузіазмомъ посмотрѣлъ онъ на Ордынова.

— Скажите, какая благородная черта-съ! Какое святое гостепріимство почило-съ на русскомъ народѣ-съ!

Ордыновъ дико взглянулъ на Ярослава Ильича. Онъ почти ужаснулся... и осматривалъ его съ головы до ногъ.

— А и право, сударь, гостепріимство, именно, чтимъ, то есть вотъ какъ чтимъ, сударь! подхватилъ Муринъ, заслоняя всѣмъ рукавомъ свою бороду: — право, вотъ теперь дума идетъ: погостили-бъ вы у насъ, сударь, ей Богу-бъ, погостили, продолжалъ онъ, подступая къ Ордынову: — да и я, сударь, ничего; денекъ-другой, ничего, право-бъ ничего не сказалъ. Да грѣхъ больно попуталъ, хозяйка-то ишь моя нездорова! Ахъ, кабы не хозяйка! Вотъ былъ-бы, примѣрно, одинъ я: ужь и какъ я вашу милость уважилъ, ужь и какъ-бы ходилъ, т. е. вò какъ ходилъ! Кого-жь намъ, коли и не вашу милость уважить? Ужь я-бы васъ вылечилъ, право-бы вылечилъ. я средствіе знаю... Право-бы погостили, сударь, ей Богу, вотъ великое слово, у насъ погостили-бы!..

— Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ-ли какого средства? замѣтилъ Ярославъ Ильичъ... да и не докончилъ.

Ордыновъ сдѣлалъ напраслину, съ дикимъ изумленіемъ оглядѣвъ не задолго до того съ ногъ до головы Ярослава Ильича. Это былъ, конечно, честнѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ, но онъ теперь понялъ все, и, признаться, положеніе его было весьма затруднительно! Ему хотѣлось, что называется, лопнуть со смѣха! Будь онъ одинъ на одинъ, вмѣстѣ съ Ордыновымъ,—два такіе друга!—конечно, Ярославъ Ильичъ не вытерпѣлъ-бы и неумѣренно предался порыву веселости. Во всякомъ случаѣ, онъ сдѣлалъ-бы это благородно, съ чувствомъ пожалъ-бы послѣ смѣха руку Ордынова, искренно и справедливо увѣрилъ-бы его, что чувствуетъ удвоенное уваженіе къ нему и что извиняетъ во всякомъ случаѣ... да, наконецъ, и глядѣть не будетъ на молодость. Но теперь, при извѣстной своей деликатности, онъ былъ въ самомъ затруднительномъ положеніи и почти не зналъ куда скрыть себя...

— Средствія, то есть снадобья, подхватилъ Муринъ, у котораго все лицо шевельнулось отъ неловкаго восклицанія Ярослава Ильича.—Я, то есть, сударь, по глупости моей мужицкой, вотъ что̀ сказалъ-бы, продолжалъ онъ, ступивъ еще шагъ впередъ:—книжекъ вы, сударь, больно зачитались; скажу, умны больно стали; оно, то есть, какъ по русски говорится у насъ, по мужицкому, умъ за разумъ зашелъ...

— Довольно! строго прервалъ Ярославъ Ильичъ...

— Я иду, сказалъ Ордыновъ: — благодарю васъ, Ярославъ Ильичъ; буду, буду у васъ непремѣнно, говорилъ онъ на удвоенныя вѣжливости Ярослава Ильича, который былъ не въ силахъ долѣе его удерживать.—Прощайте, прощайте...

— Прощайте, ваше благородіе; прощайте, сударь; не забудьте насъ, навѣстите насъ грѣшныхъ.

Ордыновъ не слыхалъ ничего болѣе. Онъ вышелъ какъ полоумный.

Онъ не могъ вынести болѣе; онъ былъ какъ убитый; сознаніе его цѣпенѣло. Онъ глухо чувствовалъ, что его душитъ болѣзнь, но холодное отчаяніе воцарилось въ душѣ его, и только слышалъ онъ, что какая-то глухая боль ломитъ, томитъ, сосетъ ему грудь. Ему хотѣлось умереть въ эту минуту. Ноги подкосились, и онъ присѣлъ у забора, не обращая болѣе вниманія ни на проходившихъ людей, ни на толпу, начинавшую сбираться возлѣ него, ни на оклики и разспросы любопытныхъ, его окружившихъ. Но вдругъ изъ множества голосовъ раздался надъ нимъ голосъ Мурина. Ордыновъ поднялъ голову. Старикъ дѣйствительно стоялъ передъ нимъ; блѣдное лицо его было важно и задумчиво. Это ужъ былъ совсѣмъ другой человѣкъ, чѣмъ тотъ, который такъ грубо глумился надъ нимъ у Ярослава Ильича. Ордыновъ привсталъ, Муринъ взялъ его за руку и вывелъ изъ толпы...

— Тебѣ еще нужно свой скарбъ захватить, сказалъ онъ, искоса взглянувъ на Ордынова.—Не горюй, баринъ! вскрикнулъ Муринъ.—Ты молодъ, чего горевать!..

Ордыновъ не отвѣчалъ.

— Обижаешься, баринъ? Знать больно зло теперь взяло... да нечему; всякъ свое добро бережетъ!

— Я не знаю васъ, сказалъ Ордыновъ:—я не хочу знать вашихъ тайнъ. Но она! она!.. проговорилъ онъ, и слезы градомъ, въ три ручья, потекли изъ глазъ его. Вѣтеръ срывалъ ихъ одну за другой съ его щекъ... Ордыновъ утиралъ ихъ рукой. Жестъ его, взглядъ, непроизвольныя движенія дрожавшихъ посинѣлыхъ губъ—все предсказывало въ немъ помѣшательство.

— Я ужъ тебѣ толковалъ, сказалъ Муринъ, стиснувъ брови;—она полоумная! Отчего и какъ помѣшалась... зачѣмъ тебѣ знать? Только мнѣ она и такая—родная! Возлюбилъ я ее больше жизни моей и никому не отдамъ. Понимаешь теперь!

Огонь на мгновеніе сверкнулъ въ глазахъ Ордынова.

— Но зачѣмъ-же я... зачѣмъ я теперь, словно жизнь потерялъ? Зачѣмъ-же болитъ *мое* сердце? Зачѣмъ я спозналъ Катерину?

— Зачѣмъ? Муринъ усмѣхнулся и задумался. Зачѣмъ, я и самъ не знаю зачѣмъ, вымолвилъ онъ, наконецъ.—Женскій но-

ровъ не морская пучина, распознать его распознаешь, да хитеръ онъ, стоекъ, живучъ! На, дескать, вынь да положь! Знать и впрямь, баринъ, она съ вами хотѣла уйдти отъ меня, продолжалъ онъ въ раздумьи. — Побрезгала старымъ, изжила съ нимъ все, на сколько можно изжить! Приглянулись вы, знать, ей больно сначала! Аль ужь такъ, вы-ли, другой-ли... Я вѣдь ей не перечу ни въ чемъ; птичья молока пожелаетъ и молока птичья достану; птицу такую самъ сдѣлаю, коли нѣтъ такой птицы! Тщеславна она! За волюшкой гонится, а и сама не знаетъ, о чемъ сердце блажитъ. Анъ и вышло, что лучше по старому! Эхъ, баринъ! Молодъ ты больно! Сердце твое еще горячо, словно у дѣвки, что рукавомъ свои слезы утираетъ, покинутая! Спознай, баринъ: слабому человѣку одному не сдержаться! Только дай ему все, онъ самъ-же придетъ, все назадъ отдастъ; дай ему полцарства земнаго въ обладаніе, попробуй— ты думаешь что̀? Онъ тебѣ тутъ-же въ башмакъ тотчасъ спрячется, такъ умалится. Дай ему волюшку, слабому человѣку— самъ ее свяжетъ, назадъ принесетъ. Глупому сердцу и воля не въ прокъ! Не прожить съ такимъ норовомъ! Я тебѣ это все такъ говорю—молоденекъ ты больно! Ты что̀ мнѣ? Ты былъ да пошелъ—ты иль другой, все равно. Я и сначала зналъ, что будетъ одно. А перечить нельзя! Слова молвить нельзя поперегъ, коли хошь свое счастье сберечь. Оно вѣдь, знаешь, баринъ, продолжалъ философствовать Муринъ:—только все такъ говорится: и чего не бываетъ? За ножъ возьмется въ сердцахъ, не то безоружный, съ голыми руками на тебя какъ баранъ полѣзетъ, да зубами глотку врагу перерветъ. А пусть-те дадутъ этотъ ножъ-отъ въ руки, да врагъ твой самъ предъ тобою широкую грудь распахнетъ; небось и отступишься!

Они вошли во дворъ. Татаринъ еще издали завидѣлъ Мурина, снялъ передъ нимъ шапку и лукаво, пристально смотрѣлъ на Ордынова.

— Что̀ мать? Дома? закричалъ ему Муринъ.

— Дома.

— Скажи, чтобъ ему скарбъ его перетащить помогли! Да и ты, пошелъ, двигайся!

Они взошли на лѣстницу. Старуха, служившая у Мурина и оказавшаяся дѣйствительно матерью дворника, возилась съ пожитками бывшаго жильца и ворчливо вязала ихъ въ одинъ большой узелъ.

— Подожди; я-те еще изъ твоего принесу, тамъ осталась...

Муринъ вошелъ къ себѣ. Черезъ минуту онъ воротился и подалъ Ордынову богатую подушку, всю вышитую шелками и гарусомъ — ту самую, которую положила ему Катерина, когда онъ сдѣлался боленъ.

— Это она тебѣ шлетъ, сказалъ Муринъ. — А теперь ступай по добру, по здорову, да смотри-жь, не шатайся, прибавилъ онъ въ полголоса, отеческимъ тономъ:—не то худо будетъ.

Видно было, что ему не хотѣлось обижать жильца. Но когда онъ бросилъ на него послѣдній взглядъ, то невольно видно было, какъ приливъ неистощимой злобы закипѣлъ на лицѣ его. Почти съ отвращеніемъ затворилъ онъ дверь за Ордыновымъ.

Черезъ два часа Ордыновъ переѣхалъ къ нѣмцу Шпису. Тинхенъ ахнула, взглянувъ на него. Она тотчасъ спросила его о здоровьѣ и, узнавъ въ чемъ дѣло, немедленно расположилась лечить. Старикъ нѣмецъ самодовольно показалъ жильцу своему, что онъ только что хотѣлъ идти къ воротамъ и снова налѣпить ярлычекъ, затѣмъ, что сегодня аккуратно въ копѣйку вышелъ задатокъ его, высчитывая изъ него каждый день найма. При чемъ старикъ не преминулъ дальновидно похвалить нѣмецкую аккуратность и честность. Въ тотъ-же день Ордыновъ занемогъ и только черезъ три мѣсяца могъ встать съ постели.

Мало по малу онъ выздоровѣлъ и сталъ выходить. Жизнь у нѣмца была однообразна, покойна. Нѣмецъ былъ безъ особаго норова; хорошенькая Тинхенъ, не трогая нравственности, была всѣмъ, чѣмъ угодно — но какъ будто жизнь навѣки потеряла свой цвѣтъ для Ордынова! Онъ сталъ задумчивъ, раздражителенъ; впечатлительность его приняла направленіе болѣзненное, и онъ непримѣтно впадалъ въ злую, очерствѣлую ипохондрію. Книги не раскрывались иногда по цѣлымъ недѣлямъ. Будущее было для него заперто, деньги его выходили, и онъ опустилъ руки заранѣе; онъ даже не думалъ о будущемъ. Иногда прежняя горячка къ наукѣ, прежній жаръ, прежніе образы, имъ самимъ созданные, ярко возставали предъ нимъ изъ прошедшаго, но они только давили, душили его энергію. Мысль не переходила въ дѣло. Созданіе остановилось. Казалось, всѣ эти образы нарочно выростали гигантами въ его представленіяхъ, чтобы смѣяться надъ безсиліемъ его, ихъ-же творца. Ему невольно приходило въ грустную минуту сравненіе самаго себя съ тѣмъ хвастливымъ ученикомъ колдуна, который, укравъ слово

учителя, приказалъ метлѣ носить воду и захлебнулся въ ней, забывъ какъ сказать «перестань». Можетъ быть, въ немъ осуществилась-бы цѣлая, оригинальная, самобытная идея. Можетъ быть, ему суждено было быть художникомъ въ наукѣ. По крайней мѣрѣ, прежде, онъ самъ вѣрилъ въ это. Искренняя вѣра есть уже залогъ будущаго. Но теперь онъ самъ смѣялся въ иныя минуты надъ своимъ слѣпымъ убѣжденіемъ и — не подвигался впередъ.

За полгода передъ тѣмъ, онъ выжилъ, создалъ и набросалъ на бумагу стройный эскизъ созданія, на которомъ (по молодости своей) въ нетворческія минуты строилъ самыя вещественныя надежды. Сочиненіе относилось къ исторіи церкви, и самыя теплыя, горячія убѣжденія легли подъ перомъ его. Теперь онъ перечелъ этотъ планъ, передѣлалъ, думалъ о немъ, читалъ, рылся и, наконецъ, отвергъ идею свою, не построивъ ничего на развалинахъ. Но что-то похожее на мистицизмъ, на предопредѣленіе и таинственность начало проникать въ его душу. Несчастный чувствовалъ страданія свои и просилъ исцѣленія у Бога. Работница нѣмца изъ русскихъ, старуха богомольная, съ наслажденіемъ разсказывала, какъ молится ея смиренный жилецъ и какимъ образомъ по цѣлымъ часамъ лежитъ онъ словно бездыханный на церковномъ помостѣ...

Онъ никому не говорилъ ни слова о случившемся съ нимъ. Но порой, особенно въ сумерки, въ тотъ часъ, когда гулъ колоколовъ напоминалъ ему то мгновеніе, когда впервые задрожала, заныла вся грудь его дотолѣ невѣдомымъ чувствомъ, когда онъ сталъ возлѣ нея на колѣняхъ въ Божіемъ храмѣ, забывъ обо всемъ, и только слышалъ, какъ стучало ея робкое сердце, когда слезами восторга и радости омылъ онъ новую, свѣтлую надежду, мелькнувшую ему въ его одинокой жизни—тогда буря вставала изъ уязвленной навѣки души его. Тогда содрогался его духъ, и мученіе любви жгучимъ огнемъ снова пылало въ груди его. Тогда сердце его грустно и страстно болѣло и, казалось, любовь его возрастала вмѣстѣ съ печалью. Часто по цѣлымъ часамъ, забывъ себя и всю обыденную жизнь свою, забывъ все на свѣтѣ, просиживалъ онъ на одномъ мѣстѣ, одинокій, унылый, безнадежно качалъ головой и, роняя безмолвныя слезы, шепталъ про себя: «Катерина! Голубица моя ненаглядная! Сестрица моя одинокая!..»

Какая-то безобразная мысль стала все болѣе и болѣе мучить его. Все сильнѣе и сильнѣе преслѣдовала она его и съ каж-

дымъ днемъ воплощалась передъ нимъ въ вѣроятность, въ дѣйствительность. Ему казалось, — и онъ, наконецъ, самъ повѣрилъ во все, — ему казалось, что невредимъ былъ разсудокъ Катерины, но что Муринъ былъ по своему правъ, назвавъ ее слабымъ сердцемъ. Ему казалось, что какая-то тайна связывала съ старикомъ, но что Катерина, не сознавъ преступленія, какъ голубица чистая перешла въ его власть. Кто они? Онъ не зналъ того. Но ему безпрерывно снилась глубокая, безвыходная тираннія надъ бѣднымъ, беззащитнымъ созданіемъ; и сердце смущалось и трепетало безсильнымъ негодованіемъ въ груди его. Ему казалось, что передъ испуганными очами вдругъ прозрѣвшей души, коварно выставляли ея-же паденіе, коварно мучили бѣдное, *слабое* сердце, толковали передъ ней вкривь и вкось правду, съ умысломъ поддерживали слѣпоту, гдѣ было нужно, хитро льстили неопытнымъ наклонностямъ порывистаго, смятеннаго, сердца ея и мало по малу рѣзали крылья у вольной, свободной души, неспособной, наконецъ, ни къ возстанію, ни къ свободному порыву въ настоящую жизнь...

Мало по малу, Ордыновъ одичалъ еще болѣе прежняго, въ чемъ, нужно отдать справедливость, его нѣмцы нисколько ему не мѣшали. Онъ часто любилъ бродить по улицамъ, долго, безъ цѣли. Онъ выбиралъ преимущественно сумеречный часъ, а мѣсто прогулки — мѣста глухія, отдаленныя, рѣдко посѣщаемыя народомъ. Въ одинъ ненастный, нездоровый, весенній вечеръ, въ одномъ изъ такихъ закоулковъ встрѣтилъ онъ Ярослава Ильича.

Ярославъ Ильичъ примѣтно похудѣлъ, пріятные глаза его потускнѣли и самъ онъ какъ будто весь разочаровался. Онъ бѣжалъ впопыхахъ за какимъ-то нетерпящимъ отлагательства дѣломъ, промокъ, загрязнился, и дождевая капля, какимъ-то почти фантастическимъ образомъ, уже цѣлый вечеръ не сходила съ весьма приличнаго, но теперь посинѣвшаго носа его. Къ тому-же, онъ отростилъ бакенбарды. Эти бакенбарды, да и то, что Ярославъ Ильичъ взглянулъ такъ, какъ будто избѣгалъ встрѣчи съ стариннымъ знакомымъ своимъ, почти поразили Ордынова... Чудное дѣло! даже какъ-то уязвило, разобидѣло его сердце, ненуждавшееся доселѣ ни въ чьемъ состраданіи. Ему, наконецъ, пріятнѣе былъ прежній человѣкъ, простой, добродушный, наивный—рѣшимся сказать, наконецъ, откровенно—немножечко глупый, но безъ претензій разочароваться и поумнѣть. А непріятно, когда *глупый* человѣкъ, котораго мы прежде любили, можетъ быть

именно за глупость его, *вдругъ поумнѣетъ*, рѣшительно непріятно. Впрочемъ, недовѣрчивость, съ которою онъ смотрѣлъ на Ордынова, тотчасъ-же сгладилась. При всемъ разочарованіи своемъ, онъ вовсе не оставилъ своего прежняго норова, съ которымъ человѣкъ, какъ извѣстно, и въ могилу идетъ, и съ наслажденіемъ полѣзъ, такъ какъ былъ, въ дружескую душу Ордынова. Прежде всего онъ замѣтилъ, что у него много дѣла, потомъ что они давно не видались; но вдругъ разговоръ опять принялъ какое-то странное направленіе. Ярославъ Ильичъ заговорилъ о лживости людей вообще, о непрочности благъ міра сего, о суетѣ суетъ, мимоходомъ, даже болѣе чѣмъ съ равнодушіемъ, не преминулъ отозваться о Пушкинѣ, съ нѣкоторымъ цинизмомъ о хорошихъ знакомствахъ и, въ заключеніе, даже намекнулъ на лживость и коварство тѣхъ, которые называются въ свѣтѣ друзьями, тогда какъ истинной дружбы на свѣтѣ и сродясь не бывало. Однимъ словомъ, Ярославъ Ильичъ поумнѣлъ. Ордыновъ не противорѣчилъ ни въ чемъ, но несказанно, мучительно грустно стало ему: какъ будто онъ схоронилъ своего лучшаго друга!

— Ахъ! Представьте—я было совсѣмъ позабылъ разсказать, молвилъ вдругъ Ярославъ Ильичъ, какъ будто припомнивъ что-то весьма интересное:—у насъ новость! Я вамъ скажу по секрету. Помните домъ, гдѣ вы жили?

Ордыновъ вздрогнулъ и поблѣднѣлъ.

— Такъ вообразите-же, недавно открыли въ этомъ домѣ цѣлую шайку воровъ, то есть, сударь вы мой, ватагу, притонъ-съ; контрабандисты, мошенники всякіе, кто ихъ знаетъ! Иныхъ переловили, за другими еще только гоняются; отданы строжайшія приказанія. И можете себѣ представить: помните хозяина дома, богомольный, почтенный, благородный съ виду...

— Ну!

— Судите послѣ этого о всемъ человѣчествѣ! Это и былъ начальникъ всей шайки ихъ, коноводъ! Не нелѣпо-ли это-съ?

Ярославъ Ильичъ говорилъ съ чувствомъ и осудилъ за одного все человѣчество, потому что Ярославъ Ильичъ и не можетъ иначе сдѣлать; это въ его характерѣ.

— А тѣ? А Муринъ? проговорилъ Ордыновъ шепотомъ.

— Ахъ, Муринъ, Муринъ! Нѣтъ, это почтенный старикъ, благородный.—Но, позвольте, вы проливаете новый свѣтъ...

— А что? Онъ тоже былъ въ шайкѣ?

Сердце Ордынова готово было пробить грудь отъ нетерпѣнія...

— Впрочемъ, какъ-же вы говорите... прибавилъ Ярославъ Ильичъ, пристально вперивъ оловянныя очи въ Ордынова — признакъ, что онъ соображалъ: — Муринъ не могъ быть между ними. Ровно за три недѣли онъ уѣхалъ съ женой къ себѣ, въ свое мѣсто... Я отъ дворника узналъ... Этотъ татарченокъ, помните?

ПОЛЗУНКОВЪ.

Въ первый разъ напечатанъ въ „Иллюстрированномъ Альманахѣ“ изд. И. Панаевымъ и Н. Некрасовымъ, СПБ. 1848 г.

Я началъ всматриваться въ этого человѣка. Даже въ наружности его было что-то такое особенное, что̀ невольно заставляло вдругъ, какъ-бы вы разсѣяны ни были, пристально приковаться къ нему взглядомъ и тотчасъ-же разразиться самымъ неумолкаемымъ смѣхомъ. Такъ и случилось со мною. Нужно замѣтить, что глазки этого маленькаго господина были такъ подвижны, или, наконецъ, что онъ самъ, весь, до того поддавался магнетизму всякаго взгляда, на него устремленнаго, что почти инстинктомъ угадывалъ, что его наблюдаютъ, тотчасъ-же оборачивался къ своему наблюдателю и съ безпокойствомъ анализировалъ взглядъ его. Отъ вѣчной подвижности, поворотливости онъ рѣшительно походилъ на жируэтку. Странное дѣло! Онъ какъ будто боялся насмѣшки, тогда какъ почти добывалъ тѣмъ хлѣбъ, что былъ всесвѣтнымъ шутомъ и съ покорностію подставлялъ свою голову подъ всѣ щелчки, въ нравственномъ смыслѣ и даже въ физическомъ, смотря по тому, въ какой находился компаніи. Добровольные шуты даже не жалки. Но я тотчасъ замѣтилъ, что это странное созданіе, этотъ смѣшной человѣчекъ вовсе не былъ шутомъ изъ профессіи. Въ немъ оставалось еще кое-что благороднаго. Его безпокойство, его вѣчная болѣзненная боязнь за себя уже свидѣтельствовали въ пользу его. Мнѣ казалось, что все его желаніе услужить происходило скорѣе отъ добраго сердца, чѣмъ отъ матеріальныхъ выгодъ. Онъ съ удовольствіемъ позволялъ засмѣяться надъ собой во все горло и неприличнѣйшимъ образомъ, въ глаза, но въ тоже время—и я даю клятву въ томъ—его сердце ныло и обливалось кровью отъ мысли, что его слушатели такъ неблагородно-жестокосерды, что способны смѣяться не факту, а надъ нимъ, надъ всѣмъ существомъ его, надъ сердцемъ, головой, надъ наружностью, надъ всею его плотью и кровью. Я увѣренъ, что онъ чувствовалъ въ эту минуту всю глупость своего положенія; но протестъ тотчасъ-же умиралъ въ груди его, хотя непремѣнно каждый разъ зарождался великодушнѣйшимъ образомъ. Я увѣренъ, что все

это происходило не иначе, какъ отъ добраго сердца, а вовсе не отъ матеріальной невыгоды быть прогнаннымъ въ толчки и не занять у кого нибудь денегъ: этотъ господинъ вѣчно занималъ деньги, то есть просилъ въ этой формѣ милостыню, когда, погримасничавъ и достаточно насмѣшивъ на свой счетъ, чувствовалъ, что имѣетъ нѣкоторымъ образомъ право занять. Но, Боже мой! Какой это былъ заемъ! И съ какимъ видомъ онъ дѣлалъ этотъ заемъ! Я предположить не могъ, чтобы на такомъ маленькомъ пространствѣ, какъ сморщенное, угловатое лицо этого человѣчка, могло умѣститься въ одно и тоже время столько разнородныхъ гримасъ, столько странныхъ, разнохарактерныхъ ощущеній, столько самыхъ убійственныхъ впечатлѣній. Чего-чего тутъ не было: — и стыдъ-то, и ложная наглость, и досада съ внезапной краской въ лицѣ, и гнѣвъ, и робость за неудачу, и просьба о прощеніи, что смѣлъ утруждать, и сознаніе собственнаго достоинства, и полнѣйшее сознаніе собственнаго ничтожества, — все это какъ молніи проходили по лицу его. Цѣлыхъ шесть лѣтъ пробивался онъ такимъ образомъ на Божіемъ свѣтѣ и до сихъ поръ не составилъ себѣ фигуры въ интересную минуту займа! Само собою разумѣется, что очерствѣть и заподличаться въ конецъ онъ не могъ никогда. Сердце его было слишкомъ подвижно, горячо! Я даже скажу болѣе: по моему мнѣнію, это былъ честнѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ въ свѣтѣ, но съ маленькою слабостью: сдѣлать подлость по первому приказанію, добродушно и безкорыстно, лишь-бы угодить ближнему. Однимъ словомъ, это былъ, что называется, человѣкъ - тряпка вполнѣ. Всего смѣшнѣе было то, что онъ былъ одѣтъ почти такъ-же какъ всѣ, не хуже, не лучше, чисто, даже съ нѣкоторою изысканностію и съ поползновеніемъ на солидность и собственное достоинство. Это равенство наружное и неравенство внутреннее, его безпокойство за себя и въ тоже время безпрерывное самоумаленіе, — все это составляло разительнѣйшій контрастъ и достойно было смѣха и жалости. Если-бъ онъ былъ увѣренъ сердцемъ своимъ (что̀, не смотря на опытъ, поминутно случалось съ нимъ), что всѣ его слушатели были добрѣйшіе въ мірѣ люди, которые смѣются только факту смѣшному, а не надъ его обреченною личностію, то онъ съ удовольствіемъ снялъ-бы фракъ свой, надѣлъ его какъ нибудь на изнанку и пошелъ-бы въ этомъ нарядѣ, другимъ въ угоду, а себѣ въ наслажденіе, по улицамъ, лишь-бы разсмѣшить своихъ покровителей и доставить имъ всѣмъ удовольствіе. Но до равенства онъ не могъ достигнуть никогда

и ничѣмъ. Еще черта: чудакъ былъ самолюбивъ и порывами, если только не предстояло опасности, даже великодушенъ. Нужно было видѣть и слышать, какъ онъ умѣлъ отдѣлать, иногда не щадя себя, слѣдовательно съ рискомъ, почти съ геройствомъ, кого нибудь изъ своихъ *покровителей*, уже донельзя его разбѣсившаго. Но это было минутами... Однимъ словомъ, онъ былъ мученикъ въ полномъ смыслѣ слова, но самый безполезнѣйшій, и слѣдовательно самый комическій мученикъ.

Между гостями поднялся общій споръ. Вдругъ я увидѣлъ, что чудакъ мой вскакиваетъ на стулъ и кричитъ, что есть мочи, желая, чтобъ ему одному дали исключительно слово.

— Слушайте, шепнулъ мнѣ хозяинъ. — Онъ разсказываетъ иногда прелюбопытныя вещи... Интересуетъ онъ васъ?

Я кивнулъ головою и втѣснился въ толпу.

Дѣйствительно, видъ порядочно одѣтаго господина, вскочившаго на стулъ и кричавшаго всѣмъ голосомъ, возбудилъ общее вниманіе. Многіе, кто не знали чудака, переглядывались съ недоумѣніемъ, другіе хохотали во все горло.

— Я знаю Ѳедосѣя Николаича! Я лучше всѣхъ долженъ знать Ѳедосѣя Николаича! кричалъ чудакъ съ своего возвышенія. — Господа, позвольте разсказать. Я хорошо разскажу про Ѳедосѣя Николаича! Я знаю одну исторію—чудо!..

— Разскажите, Осипъ Михайлычъ, разскажите.

— Разсказывай!!!

— Слушайте-же...

— Слушайте, слушайте!!!

— Начинаю; но, господа, это исторія особенная...

— Хорошо, хорошо!

— Это исторія комическая.

— Очень хорошо, превосходно, прекрасно,—къ дѣлу!

— Это эпизодъ изъ собственной жизни вашего нижайшаго...

— Ну, зачѣмъ-же вы трудились объявлять, что она комическая!

— И даже немного трагическая!

— А???!

— Словомъ, та исторія, которая вамъ всѣмъ доставляетъ счастіе слушать меня теперь, господа, — та исторія, вслѣдствіе которой я попалъ въ такую *интересную* для меня компанію.

— Безъ каламбуровъ!

— Та исторія...

— Словомъ, та исторія, — ужь доканчивайте поскорѣе апо-

логъ,—та исторія, которая чего нибудь стоитъ, примолвилъ сиплымъ голосомъ одинъ бѣлокурый молодой господинъ съ усами, запустивъ руку въ карманъ своего сюртука и какъ будто нечаянно вытащивъ оттуда кошелекъ вмѣсто платка.

— Та исторія, мои сударики, послѣ которой я-бы желалъ видѣть многихъ изъ васъ на моемъ мѣстѣ. И, наконецъ, та исторія, вслѣдствіе которой я не женился!

— Женился!.. Жена!.. Ползунковъ хотѣлъ жениться!!

— Признаюсь, я-бы желалъ теперь видѣть m-me Ползункову!

— Позвольте поинтересоваться, какъ звали прошедшую m-me Ползункову, пищалъ одинъ юноша, пробираясь къ разскащику.

— Итакъ, первая глава, господа: То было ровно шесть лѣтъ тому, весной, 31-го марта,—замѣтьте число, господа,—наканунѣ...

— Перваго апрѣля! закричалъ юноша въ завиткахъ.

— Вы необыкновенно угадливы-съ. Былъ вечеръ. Надъ уѣзднымъ городомъ N. сгущались сумерки, хотѣла выплыть луна... ну, и все тамъ, какъ слѣдуетъ. Вотъ-съ, въ самыя позднія сумерки, въ тихомолочку, и я выплылъ изъ своей квартиренки,—простившись съ моей замкнутой покойницей бабушкой. Извините, господа, что я употребляю такое модное выраженіе, слышанное мною въ послѣдній разъ у Николая Николаича. Но бабушка моя была вполнѣ *замкнутая*: она была слѣпа, нѣма, глуха, глупа,—все что̀ угодно!.. Признаюсь, я былъ въ трепетѣ, я собирался на великое дѣло; сердчишко во мнѣ билось какъ у котенка, когда его хватаетъ чья нибудь костлявая лапа за шиворотъ.

— Позвольте, m-r Ползунковъ.

— Чего требуете?

— Разсказывайте проще; пожалуйста, не слишкомъ старайтесь!

— Слушаюсь, проговорилъ немного смутившійся Осипъ Михайлычъ.—Я вошелъ въ домикъ Ѳедосѣя Николаича (благопріобрѣтенный-съ). Ѳедосѣй Николаичъ, какъ извѣстно, не то, чтобы сослуживецъ, но цѣлый начальникъ. Обо мнѣ доложили и тотчасъ-же ввели въ кабинетъ. Какъ теперь вижу: совсѣмъ, совсѣмъ почти темная комната, а свѣчей не подаютъ. Смотрю: входитъ Ѳедосѣй Николаичъ. Тамъ мы и остаемся съ нимъ въ темнотѣ...

— Что-жь-бы такое произошло между вами? спросилъ одинъ офицеръ.

— А какъ вы полагаете-съ? спросилъ Ползунковъ, немедленно обращаясь, съ судорожно шевельнувшимся лицомъ, къ юношѣ въ завиткахъ.

«Итакъ, господа, тутъ произошло одно странное обстоятельство. То есть страннаго тутъ не было ничего, а было, что̀ называется, дѣло житейское,—я просто за просто вынулъ изъ кармана свертокъ бумажекъ, только государственными»...

— Ассигнаціями?

— Ассигнаціями-съ, и мы помѣнялись.

— Бьюсь объ закладъ, что тутъ пахло взятками, проговорилъ одинъ солидно одѣтый и выстриженный молодой господинъ.

— Взятками-съ! подхватилъ Ползунковъ. – Эхъ!

Пусть я буду либераломъ,
Какихъ много видѣлъ я!

Если вы тоже, какъ вамъ попадется служить въ губерніи, не погрѣете рукъ... на родномъ очагѣ... Зане, сказалъ одинъ литераторъ:

И дымъ отечества намъ сладокъ, и пріятенъ!

Мать, мать, господа, родная, родина-то наша, мы птенцы, такъ мы ее и сосёмъ!..

Поднялся общій смѣхъ.

— А только, повѣрите-ли, господа, я никогда не бралъ взятокъ, сказалъ Ползунковъ, недовѣрчиво оглядывая все собраніе.

Гомерическій, неумолкаемый смѣхъ всѣхъ залпомъ своимъ покрылъ слова Ползункова.

— Право такъ, господа...

Но тутъ онъ остановился, продолжая оглядывать всѣхъ съ какимъ-то страннымъ выраженіемъ лица. Можетъ быть,—кто знаетъ,—можетъ быть, въ эту минуту ему вспало на умъ, что онъ по честнѣе многихъ изъ всей этой честной компаніи... Только серіозное выраженіе лица его не исчезало до самаго окончанія всеобщей веселости.

«— Итакъ, началъ Ползунковъ,—когда всѣ поумолкли:—хотя я никогда не бралъ взятокъ, но въ этотъ разъ грѣшенъ: положилъ въ карманъ взятку... съ взяточника... То есть были коекакія бумажки въ рукахъ моихъ, которыя, если-бъ я захотѣлъ послать кой-кому, такъ худо-бы пришлось Ѳедосѣю Николаичу».

— Такъ, стало быть, онъ ихъ выкупилъ?

— Выкупилъ-съ.

— Много далъ?

— Далъ столько, за сколько иной въ наше время продалъ-бы совѣсть свою, всю, со всѣми варьяціями-съ... если-бы только что нибудь дали-съ. Только меня варомъ обдало, когда я поло-

жилъ въ карманъ денежки. Право, я не знаю, какъ это со мной всегда дѣлается, господа,—новотъ, ни живъ, ни мертвъ, губами шевелю, ноги трясутся; ну, виноватъ, виноватъ, совсѣмъ виноватъ, въ пухъ засовѣстился, готовъ прощенья просить у Ѳедосѣя Николаича...

— Ну, что̀-жь онъ, простилъ?

«— Да я не просилъ-съ... я только такъ говорю, что такъ оно было тогда; у меня, то есть, сердце горячее. Вижу, смотритъ мнѣ прямо въ глаза:

«— Бога, говоритъ, вы не боитесь, Осипъ Михайлычъ».

«Ну, что̀ дѣлать? Я этакъ развелъ изъ приличія руки, голову на сторону.—«Чѣмъ-же, я говорю, Бога не боюсь, Ѳедосѣй Николаичъ?..» Только ужь такъ говорю, изъ приличія... самъ сквозь землю провалиться готовъ.

«— Бывъ такъ долго другомъ семейства нашего, бывъ, могу сказать, сыномъ,—и кто знаетъ, что̀ небо предполагало, Осипъ Михайлычъ! И вдругъ что̀-же, доносъ, готовить доносъ, и вотъ теперь!.. Что̀ послѣ этого думать о людяхъ, Осипъ Михайлычъ?»

«Да вѣдь какъ, господа, какъ рацею читалъ! Нѣтъ, говоритъ, вы мнѣ скажите, что̀ послѣ этого думать о людяхъ, Осипъ Михайлычъ?—Что̀, думаю, думать! Знаете, и въ горлѣ заскребло, и голосенко дрожитъ, ну, ужь предчувствую свой скверный норовъ и схватился за шляпу...

«— Куда-жь вы, Осипъ Михайлычъ? Неужели вы наканунѣ такого дня, неужели вы и теперь злопамятствуете; чѣмъ я противъ васъ согрѣшилъ?..»

«— Ѳедосѣй Николаичъ, говорю, Ѳедосѣй Николаичъ!»

«Ну, то есть растаялъ, господа, какъ мокрый сахаръ-медовичъ растаялъ. Куда! И пакетъ, что̀ въ карманѣ лежитъ съ государственными, и тотъ словно тоже кричитъ: «неблагодарный ты, разбойникъ, тать окаянный,—словно пять пудовъ въ немъ, такъ тянетъ... (А если-бъ и взаправду въ немъ пять пудовъ было!..).

«— Вижу, говоритъ Ѳедосѣй Николаичъ:—вижу ваше раскаяніе... вы знаете, завтра»...

— Маріи Египетскія-съ»...

«— Ну, не плачь, говоритъ Ѳедосѣй Николаичъ:—полно: согрѣшилъ и покаялся! Пойдемъ! Можетъ быть, удастся мнѣ возвратить, говоритъ, васъ опять на путь истинный... Можетъ быть, скромные пенаты мои (именно, помню, пенаты, такъ и выразился, разбойникъ) согрѣютъ, говоритъ, опять ваше очерств... не скажу очерствѣлое,—заблудшее сердце»...

«Взялъ онъ меня, господа, за руку и повелъ къ домочадцамъ.

Мнѣ спину морозомъ прохватываетъ; дрожу! Думаю, съ какими глазами предстану я...—А нужно вамъ знать, господа... какъ-бы сказать, здѣсь выходило одно щекотливое дѣльцо!»

— Ужь не госпожа-ли Ползункова?

«— Марья Ѳедосѣевна-съ,—только не суждено, знать, ей было быть такой госпожей, какой вы ее называете, не дождалась такой чести. Оно, видите, Ѳедосѣй-то Николаичъ былъ и правъ, говоря, что въ домѣ-то я почти сыномъ считался. Оно и было такъ назадъ тому полгода, когда еще былъ живъ одинъ юнкеръ въ отставкѣ, Михайло Максимычъ Двигайловъ по прозвищу. Только онъ волею Божіею помре, а завѣщаніе-то совершить все въ долгій ящикъ откладывалъ; оно и вышло такъ, что ни въ какомъ ящикѣ его не отыскали потомъ»...

— Ухъ!!!

«— Ну, ничего, нечего дѣлать, господа, простите, обмолвился,—каламбурчикъ-то плохъ, да это-бы еще ничего, что онъ плохъ,—штука-то была еще плоше, когда я остался, такъ сказать, съ нулемъ въ перспективѣ, потому что юнкеръ-то въ отставкѣ, хоть меня въ домъ къ нему и не пускали (на большую ногу жилъ, затѣмъ, что были руки длинны!)—а тоже, можетъ быть, не ошибкой, роднымъ сыномъ считалъ».

— Ага!!

«— Да-съ, оно вотъ какъ-съ! Ну, и стали мнѣ носы показывать у Ѳедосѣя Николаича. Я замѣчалъ-замѣчалъ, крѣпился-крѣпился, а тутъ, вдругъ, на бѣду мою (а можетъ, и къ счастью!), какъ снѣгъ на голову ремонтеръ наскакалъ на нашъ городишко. Дѣло-то оно его, правда, подвижное, легкое, кавалерійское,—только такъ плотно утвердился у Ѳедосѣя Николаича,—ну, словно мортира засѣлъ! Я обиходцемъ, да стороночкой, по подлому норову, такъ и такъ, говорю, Ѳедосѣй Николаичъ, за что̀-жь обижать! Я въ нѣкоторомъ родѣ ужь сынъ... Отеческаго-то, отеческаго когда я дождусь... Началъ онъ мнѣ, сударикъ ты мой, отвѣчать! Ну, то есть, начнетъ говорить, поэму наговоритъ цѣлую, въ двѣнадцати пѣсняхъ въ стихахъ, только слушаешь, облизываешься, да руки разводишь отъ сладости, а толку нѣтъ ни на грошъ, то есть какого толку, не разберешь; не поймешь, стоишь дуракъ-дуракомъ, затуманитъ, словно вьючъ вьется, вывертывается; ну, талантъ, просто талантъ, даръ такой, что вчужѣ страхъ пробираетъ! Я кидаться пошелъ во всѣ стороны: туды да сюды! Ужь и романсы таскаю, и конфектъ привожу, и каламбуры высиживаю, охи да вздохи, болитъ, говорю,

мое сердце, отъ амура болитъ, да въ слезы да тайное объясненіе! Вѣдь глупъ человѣкъ! Вѣдь не провѣрилъ у дьячка, что мнѣ тридцать лѣтъ... куды! Хитрить выдумалъ! Нѣтъ-же! Не пошло мое дѣло, смѣшки да насмѣшки кругомъ, — ну, и зло меня взяло, за горло совсѣмъ захватило, — я улизнулъ, да въ домъ ни ногой, думалъ-думалъ — да хвать доносъ! Ну, поподличалъ, друга выдать хотѣлъ, сознаюсь, матеріальцу-то было много, и славный такой матеріалъ, капитальное дѣло! Тысячу пятьсотъ серебромъ принесло, когда я его вмѣстѣ съ доносомъ на государственныя вымѣнялъ!»

— А! Такъ вотъ она взятка-то!

« — Да, сударь, вотъ была взяточка-то-съ, поплатился мнѣ взяточникъ! (И вѣдь не грѣшно, ну, право-же нѣтъ!) Ну, вотъ-съ теперь продолжать начну: притащилъ онъ меня, если запомнить изволите, въ чайную, ни жива, ни мертва; встрѣчаютъ меня: всѣ какъ будто обиженные, то есть не то что обиженные, — разогорченные такъ, что ужь просто... Ну, убиты, убиты совсѣмъ, а между тѣмъ и важность такая приличная на лицахъ сіяетъ, солидность во взорахъ, этакъ что-то отеческое, родственное такое... блудный сынъ воротился къ нимъ, — вотъ куда пошло! За чай усадили, а чего у меня у самого словно самоваръ въ грудь засѣлъ, кипитъ во мнѣ, а ноги леденѣютъ: умалился, струсилъ! Марья Ѳоминишна, супруга его, совѣтница надворная (а теперь коллежская), мнѣ *ты* съ перваго слова начала говорить: что̀ ты, батенька, такъ похудѣлъ, говоритъ. — Да такъ, прихварываю, говорю, Марья Ѳоминишна... голосенко-то дрожитъ у меня! А она мнѣ ни съ того, ни съ сего, знать выжидала свое ввернуть, ехидна такая: — что, видно совѣсть, говоритъ, твоей душѣ не по мѣркѣ пришлась, Осипъ Михайлычъ, отецъ родной! Хлѣбъ-соль-то наша, говоритъ, родственная возопіяла къ тебѣ! Отлились, знать, тебѣ мои слезки кровавыя! Ей Богу, такъ и сказала, пошла противъ совѣсти! Чего! То-ли за ней, бой-баба! Только такъ сидѣла да чай разливала. А поди-ка, я думаю, на рынкѣ, моя голубушка, всѣхъ бабъ перекричала-бы. Вотъ какая была она, наша совѣтница! А тутъ, на бѣду мою, Марья Ѳедосѣевна, дочка, выходитъ, со всѣми своими невинностями, да блѣдненька немножко, глазки раскраснѣлись, будто отъ слезъ, — я какъ дуракъ и погибъ тутъ на мѣстѣ. А вышло потомъ, что по ремонтерѣ она слезки роняла: тотъ утекъ во свояси, улепетнулъ по добру, по здорову, потому что, знаете, знать (оно пришлось теперь къ слову сказать), пришло ему

время уѣхать, срокъ вышелъ, оно не то чтобы и казенный былъ срокъ-то! а такъ... ужь послѣ родители дрожайшіе спосхватились, узнали всю подготную, да что̀ дѣлать, въ тихомолку зашили бѣду, — своего дому прибыло!.. Ну, нечего дѣлать, какъ взглянулъ я на нее, пропалъ, просто пропалъ, накосился на шляпу, хотѣлъ схватить да улепетнуть поскорѣе; не тутъ-то было: утащили шляпу мою.., Я ужь, признаться, и безъ шляпы хотѣлъ — ну, думаю, — нѣтъ-же, дверь на крючекъ насадили, смѣшки дружескіе начались, подмигиванья да заигрыванья, сконфузился я, что-то совралъ, объ амурѣ понесъ; она, моя голубушка, за клавикорды сѣла, да гусара, который на саблю опирался, пропѣла на обиженный тонъ, — смерть моя! — Ну, говоритъ Ѳедосѣй Николаичъ: — все забыто, приди, приди... въ объятія! — Я какъ былъ, такъ тутъ-же и припалъ къ нему лицомъ на жилетку. Благодѣтель мой, отецъ ты мой родной, говорю! Да какъ зальюсь своими горючими! Господи Богъ мой, какое тутъ поднялось! Онъ плачетъ, баба его плачетъ, Машенька плачетъ... тутъ еще бѣлобрысенькая одна была и та плачетъ... куда — со всѣхъ угловъ ребятишки повыползли (благословилъ его домкомъ Господь!) и тѣ ревутъ... сколько слезъ, то есть умиленіе, радость такая, блуднаго обрѣли, словно на родину солдатъ воротился! — Тутъ угощеніе подали, фанты пошли: «Охъ, болитъ!» Что̀ болитъ? «Сердце». По комъ? Она краснѣетъ, голубушка! Мы со старикомъ пуншику выпили, — ну уходили, услаcтили меня совершенно...

«Воротился я къ бабушкѣ. У самаго голова кругомъ ходитъ; всю дорогу шелъ да посмѣивался, дома два часа битыхъ по каморкѣ ходилъ, старуху разбудилъ, ей все счастье повѣдалъ. — «Да денегъ-то далъ-ли, разбойникъ?» — Далъ, бабушка, далъ, далъ, родная моя, далъ, привалило къ намъ, отворяй ворота! — «Ну, теперь хоть женись, такъ въ ту-жь пору, женись, говоритъ мнѣ старуха: — знать молитвы мои услышаны!» Софрона разбудилъ. Софронъ, говорю, снимай сапоги. Софронъ потащилъ съ меня сапоги. — «Ну, Софроша! Поздравь ты теперь меня, поцалуй! Женюсь, просто, братецъ, женюсь, напейся пьянъ завтра, гуляй душа, говорю: баринъ твой женится! — Смѣшки да игрушки на сердцѣ!.. Ужь засыпать было началъ; нѣтъ, подняло меня опять на ноги, сижу да думаю; вдругъ и мелькни у меня въ головѣ: завтра-де 1-е апрѣля, день-то такой свѣтлый, игривый, какъ-бы такъ? — Да и выдумалъ! Что̀-жь, сударики, съ постели всталъ, свѣчу зажегъ, въ чемъ былъ за столъ пись-

менный сѣлъ, т. е. ужь расходился совсѣмъ, заигрался, — знаете господа, когда человѣкъ разыграется! Всей головой, отцы мои, въ грязь полѣзъ! То есть вотъ какой норовъ: они у тебя вотъ что̀ возьмутъ, а ты имъ вотъ и это отдашь: дескать, на-те и это возьмите! Они тебя по ланитѣ, а ты имъ на радостяхъ всю спину подставишь. Они тебя потомъ калачемъ какъ собаку манить начнутъ, а ты тутъ всѣмъ сердцемъ и всей душой облапишь ихъ глупыми лапами — и ну лобызаться! Вѣдь вотъ хоть-бы теперь, господа! Вы смѣетесь да шепчетесь, я вѣдь вижу! Послѣ, какъ разскажу вамъ всю мою подноготную, меня-же начнете на смѣхъ подымать, меня-же начнете гонять, а я-то вамъ говорю-говорю-говорю! Ну, кто мнѣ велѣлъ! Ну, кто меня гонитъ! Кто у меня за плечами стоитъ да шепчетъ: говори, говори да разсказывай! А вѣдь говорю-же, разсказываю, вамъ въ душу лѣзу, словно вы мнѣ, примѣромъ, всѣ братья родные, друзья закадышные... э-эхъ!..»

Хохотъ, начинавшій мало по малу подыматься со всѣхъ сторонъ, покрылъ, наконецъ, совершенно голосъ разскащика, дѣйствительно пришедшаго въ какой-то восторгъ; онъ остановился, нѣсколько минутъ перебѣгая глазами по собранію, и потомъ вдругъ, словно увлеченный какимъ-то вихремъ, махнулъ рукой, захохоталъ самъ, какъ будто, дѣйствительно, находя смѣшнымъ свое положеніе, и снова пустился разсказывать:

«— Едва заснулъ я въ ту ночь, господа; всю ночь строчилъ на бумагѣ; видите-ли, штуку я выдумалъ! Эхъ, господа! припомнить только, такъ совѣстно станетъ! И добро-бы ужь ночью: ну, съ пьяныхъ глазъ, заблудился, напуталъ вздору, навралъ,— нѣтъ-же! Утромъ проснулся ни свѣтъ, ни заря, всего-то и спалъ часикъ — другой, и за тоже! Одѣлся, умылся, завился, припомадился, фракъ новый напялилъ и прямо на праздникъ къ Ѳедосѣю Николаичу, а бумагу въ шляпѣ держу. Встрѣчаетъ меня самъ, съ отверзтыми, и опять зоветъ на жилетку родительскую! Я и пріосанился, въ головѣ еще вчерашнее бродитъ! На шагъ отступилъ. — Нѣтъ, говорю, Ѳедосѣй Николаевичъ, а вотъ, коль угодно, сію бумажку прочтите, — да и подаю ее при рапортѣ; а въ рапортѣ-то знаете что̀ было? А было: По какимъ-то, да по такимъ-то, такого-то Осипа Михайлыча, уволить въ отставку, да подъ просьбой-то весь чинъ подмахнулъ! Вотъ вѣдь что̀ выдумалъ, Господи! И умнѣе-то ничего придумать не могъ! Дескать, сегодня первое апрѣля, такъ я вотъ и сдѣлаю видъ, ради шуточки, что обида моя не прошла, что одумался за ночь, оду-

мался да нахохлился, да пуще прежняго обидѣлся, да, дескать, вотъ-же вамъ, родные мои благодѣтели, и ни васъ, ни дочки вашей знать не хочу; денежки-то вчера положилъ въ карманъ, обезпеченъ, такъ вотъ, дескать, вамъ рапортъ объ отставкѣ. Не хочу служить подъ такимъ начальствомъ, какъ Ѳедосѣй Николаевичъ! Въ другую службу хочу, а тамъ, смотри, и доносъ подамъ. Этакимъ подлецомъ представился, напугать ихъ выдумалъ! И выдумалъ чѣмъ напугать! А? Хорошо, господа? То есть вотъ заласкалось къ нимъ сердце со вчерашняго дня, такъ дай я за это шуточку семейную отпущу, подтруню надъ родительскимъ сердечкомъ Ѳедосѣя Николаича...

«Только взялъ онъ бумагу мою, развернулъ и вижу, шевельнулась у него вся физіономія.—Что̀-жь, Осипъ Михайлычъ? А я, какъ дуракъ:—Первое апрѣля! Съ праздникомъ васъ, Ѳедосѣй Николаичъ! То есть совсѣмъ какъ мальчишка, который за бабушкино кресло спрятался въ тихомолку, да потомъ уфъ! ей на ухо, во все горло,—попугать вздумалъ! Да... да просто даже совѣстно разсказывать, господа! Да нѣтъ-же! Я не буду разсказывать!»

— Да нѣтъ, что̀-же дальше?

— Да нѣтъ, да нѣтъ, разскажите! Нѣтъ ужь разсказывайте, поднялось со всѣхъ сторонъ.

«— Поднялись, судари мои, толки да пересуды, охи да ахи! И проказникъ-то я, и забавникъ-то я, и перепугалъ-то я ихъ, ну, такое сладчайшее, что самому стыдно стало, такъ что стоишь да со страхомъ и думаешь; какъ такого грѣшника такое мѣсто святое на себѣ держать можетъ! «Ну, родной ты мой, запищала совѣтница:—напугалъ меня такъ, что о сю пору ноги трясутся, еле на мѣстѣ держатъ! Выбѣжала я какъ полоумная къ Машѣ: Машенька, говорю что̀ съ нами будетъ! Смотри, какимъ *твой-то* оказывается! Да сама согрѣшила, родимый, ужь ты прости меня старуху, опростоволосилась! Ну, думаю: какъ пошелъ онъ отъ насъ вчера, пришелъ домой поздно, началъ думать, да, можетъ, показалось ему, что нарочно мы вчера ходили за нимъ, завлечь хотѣли, такъ и обмерла я! — Полно, Машенька, полно мигать мнѣ, Осипъ Михайлычъ намъ не чужой, я-же твоя мать, дурнаго ничего не скажу! Слава Богу, не двадцать лѣтъ на свѣтѣ живу: цѣлыхъ сорокъ пять!..»

«Ну, что̀, господа! Чуть я ей въ ноги не чибурахнулся тутъ! Опять прослезились, опять лобызанія пошли! Шуточки начались! Ѳедосѣй Николаичъ тоже для 1-го апрѣля штучку

изволили выдумать! Говоритъ, дескать, жаръ-птица прилетѣла, съ бриллiантовымъ клювомъ, а въ клювѣ-то письмо принесла! Тоже надуть хотѣлъ, — смѣхъ-то пощелъ какой! Умиленіе-то было какое!—Тьфу!—Даже срамно разсказывать!

«Ну, что̀, мои милостивцы, теперь и вся недолга! Пожили мы день, другой, третій, недѣлю живемъ; я ужь совсѣмъ женихъ! Чего! Кольца заказаны, день назначили, только оглашать не хотятъ до времени, ревизора ждутъ. Я-то жду не дождусь ревизора, счастье мое остановилось за нимъ. Спустить-бы его скорѣй съ плечъ долой, думаю. А Ѳедосѣй-то Николаичъ подъ шумокъ и на радостяхъ всѣ дѣла свалилъ на меня: счеты, рапорты писать, книги свѣрять, итоги подводить, — смотрю; безпорядокъ ужаснѣйшій, все въ запустѣніи, вездѣ крючки да ковыки! Ну, думаю, потружусь для тестюшки! А тотъ все прихварываетъ, болѣзнь приключилась, день ото дня ему, видишь, хуже. А чего я самъ какъ спичка, ночей не сплю, повалиться боюсь! Однако, кончилъ таки дѣло на славу! Выручилъ къ сроку! Вдругъ шлютъ за мной гонца. Поскорѣй, говорятъ, худо Ѳедосѣю Николаичу! Бѣгу, сломя-голову, — что такое? Смотрю, сидитъ мой Ѳедосѣй Николаичъ обвязанный, уксусу къ головѣ примочилъ, морщится, кряхтитъ, охаетъ: охъ да охъ! Родной ты мой, милый ты мой, говоритъ умру, говоритъ, на кого-то я васъ оставлю, птенцы мои! Жена съ дѣтьми приплелась, Машенька въ слезы,— ну, я и самъ зарюмилъ!—Ну, нѣту-же, говоритъ, Богъ будетъ милостивъ, не взыщетъ-же Онъ съ васъ за всѣ мои прегрѣшенія! Тутъ онъ ихъ всѣхъ отпустилъ, приказалъ за ними дверь запереть, остались мы съ нимъ вдвоемъ, съ глазу на глазъ.—«Просьба есть до тебя!»—«Какая-съ?»—«Такъ и такъ, братецъ, и на смертномъ одрѣ нѣтъ покоя, зануждался совсѣмъ!»—«Какъ такъ?»—Меня тутъ и краска прошибла, языкъ отнялся.—«Да такъ, братецъ, изъ своихъ пришлось въ казну приплатиться; я, братецъ, для пользы общей ничего не жалѣю! Жизни своей не жалѣю! Ты не думай чего! Грустно мнѣ, что меня передъ тобой клеветники очернили... Заблуждался ты, горе съ тѣхъ поръ мою голову убѣлило! Ревизоръ на носу, а у Матвѣева въ семи тысячахъ недочетъ, а отвѣчаю я... кто-жь больше! Съ меня, братецъ, взыщутъ: чего смотрѣлъ! А что̀ съ Матвѣева взять! Ужь и такъ довольно съ него; что̀ горемыку подъ обухъ подводить!»—Святители, думаю, вотъ праведникъ! Вотъ душа! А онъ: «да, говоритъ, дочернихъ брать не хочу изъ того, что̀ ей пошло на приданое; это священная сумма!

Есть свои, есть, правда, да въ люди отданы, гдѣ ихъ сейчасъ соберешь!» — Я тутъ какъ былъ, такъ и брякъ передъ нимъ на колѣни. — «Благодѣтель ты мой, кричу, оскорбилъ я тебя, разобидѣлъ, клеветники на тебя бумаги писали, не убей въ конецъ, возьми назадъ свои денежки!» — смотритъ онъ на меня, потекли у него изъ глазъ слезы. — «Этого я и ждалъ отъ тебя, мой сынъ, встань; тогда простилъ ради дочернихъ слезъ! Теперь и мое сердце прощаетъ тебя. Ты залечилъ, говоритъ, мои язвы! Благословляю тебя во вѣки вѣковъ!» — Ну, какъ благословилъ-то онъ меня, господа, я во всѣ лопатки домой, досталъ сумму: вотъ, батюшка, все, только пятьдесятъ цѣлковыхъ извелъ!» — «Ну, ничего, говоритъ, а теперь всякое лыко въ строку; время спѣшное, напиши-ка рапортъ, заднимъ числомъ, что зануждался, да впередъ просишь жалованья 50 руб. Я такъ и покажу по начальству, что тебѣ впередъ выдано... Ну, что-жь, господа! Какъ вы думаете! Вѣдь я и рапортъ написалъ!»

— Ну, что̀-же, — ну, чѣмъ-же, — ну, какъ это кончилось?

«— Только что написалъ я рапортъ, сударики вы мои, вотъ чѣмъ кончилось. На завтра-же, на другой-же день, ранехонько по утру пакетъ за казенной печатью. Смотрю — и что̀-жь обрѣтаю! Отставка! Дескать, сдать дѣла, свести счеты, а самому идти на всѣ стороны!»

«— Какъ такъ?

«— Да ужь и я тутъ благимъ матомъ крикнулъ, какъ такъ, сударики! Чего, въ ушахъ зазвенѣло! Я думалъ спроста, анъ нѣтъ, ревизоръ въ городъ въѣхалъ. Дрогнуло сердце мое! Ну, думаю, не спроста! Да такъ, какъ былъ къ Ѳедосѣю Николаичу; «что?» говорю. — «А что-жь?» говоритъ. — «Да вотъ-же отставка!» — «Какая отставка?» — «А это?» — «Ну, что-жь и отставка-съ!» — «Да какъ-же, развѣ я пожелалъ?» «А какъ-же, вы подали-съ, 1-го апрѣля вы подали» (а бумагу-то я не взялъ назадъ!). «Ѳедосѣй Николаичъ, да васъ-ли слышатъ уши мои, васъ-ли видятъ очи мои!» — «Меня-съ, а что̀-съ?» — «Господи, Богъ мой!» — «Жаль мнѣ, сударь, жаль, очень жаль, что такъ рано службу оставить задумали! Молодому человѣку нужно служить, а у васъ, сударь, вѣтеръ началъ бродить въ головѣ. А на счетъ аттестата будьте покойны: я позабочусь. Вы-же такъ хорошо себя всегда аттестуете-съ!» — «Да вѣдь я-жь тогда шуточкой, Ѳедосѣй Николаичъ, я-жь не хотѣлъ, я такъ подалъ бумагу, для родительскаго вашего... вотъ». — «Какъ-съ вотъ! Какое, сударь, шуточкой! Да развѣ такими бумагами шутятъ-съ?

Да васъ за такія шуточки когда нибудь въ Сибирь упекутъ-съ. Теперь прощайте, мнѣ некогда-съ; у насъ ревизоръ-съ, обязанности службы прежде всего; вамъ бить баклуши, а намъ тутъ сидѣть за дѣлами-съ. А ужь я васъ тамъ какъ слѣдуетъ аттестую-съ.—Да еще-съ, вотъ я домъ у Матвѣева сторговалъ, переѣдемъ на дняхъ, такъ ужь надѣюсь, что не буду имѣть удовольствія васъ на новосельѣ у себя увидѣть. Счастливый путь!»— Я домой со всѣхъ ногъ: «пропали мы, бабушка!» Взвыла она, сердечная; а тутъ, смотримъ, бѣжитъ казачокъ отъ Ѳедосѣя Николаича, съ запиской и съ клѣткой, а въ клѣткѣ скворецъ сидитъ; это я ей отъ избытка чувствъ скворца подарилъ; а въ запискѣ стоитъ: *1-ое апрѣля*, а больше и нѣтъ ничего. Вотъ, господа, что̀; какъ вы думаете-съ?!»

— Ну, что-же, что-же дальше???

«— Чего дальше! Встрѣтилъ я разъ Ѳедосѣя Николаича, хотѣлъ было ему въ глаза подлеца сказать»...

— Ну!

«— Да какъ-то не выговорилось, господа!»

СЛАБОЕ СЕРДЦЕ

ПОВѢСТЬ.

Въ первый разъ напечатанъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1848 г., томъ 56-й.

Подъ одной кровлей, въ одной квартирѣ, въ одномъ четвертомъ этажѣ, жили два молодые сослуживца, Аркадій Ивановичъ Нефедевичъ и Вася Шумковъ... Авторъ, конечно, чувствуетъ необходимость объяснить читателю, почему одинъ герой названъ полнымъ, а другой уменьшительнымъ именемъ, хоть-бы, напримѣръ, для того только, чтобъ не сочли такой способъ выраженія неприличнымъ и отчасти фамильярнымъ. Но для этого было-бы необходимо предварительно объяснить и описать и чинъ, и лѣта, и званіе, и должность, и, наконецъ, даже характеры дѣйствующихъ лицъ; а такъ какъ много такихъ писателей, которые именно такъ начинаютъ, то авторъ предлагаемой повѣсти, единственно для того, чтобъ не походить на нихъ (то есть, какъ скажутъ, можетъ быть, нѣкоторые, вслѣдствіе неограниченнаго своего самолюбія) рѣшается начать прямо съ дѣйствія. Кончивъ такое предисловіе, онъ начинаетъ.

Вечеромъ, наканунѣ новаго года, часу въ шестомъ, Шумковъ воротился домой. Аркадій Ивановичъ, который лежалъ на кровати, проснулся и въ полглаза посмотрѣлъ на своего пріятеля. Онъ увидалъ, что тотъ былъ въ своей превосходнѣйшей партикулярной парѣ и въ чистѣйшей манишкѣ. Это, разумѣется, его поразило. «Куда-бы ходить такимъ образомъ Васѣ? Да и не обѣдалъ онъ дома!» Шумковъ между тѣмъ зажегъ свѣчку, и Аркадій Ивановичъ немедленно догадался, что пріятель собирается разбудить его нечаяннымъ образомъ. Дѣйствительно, Вася два раза кашлянулъ, два раза прошелся по комнатѣ и, наконецъ, совершенно нечаянно выпустилъ изъ рукъ трубку которую-было сталъ набивать въ уголку, возлѣ печки. Аркадія Ивановича взялъ смѣхъ про себя.

— Вася, полно хитрить! сказалъ онъ.

— Аркаша, не спишь?

— Право, навѣрно не могу сказать; кажется мнѣ, что не сплю.

— Ахъ, Аркаша! Здравствуй, голубчикъ! Ну, братъ! Ну, братъ!.. Ты не знаешь, что̀ я скажу тебѣ!

— Рѣшительно не знаю; подойди ка сюда.

Вася, какъ будто ждалъ того, немедленно подошелъ, никакъ не ожидая, впрочемъ, коварства отъ Аркадія Ивановича. Тотъ какъ-то преловко схватилъ его за руки, повернулъ, подвернулъ подъ себя и началъ, какъ говорится, «душить» жертвочку, что казалось, доставляло неимовѣрное удовольствіе веселому Аркадію Ивановичу.

— Попался! закричалъ онъ: — попался!

— Аркаша, Аркаша, что ты дѣлаешь? Пусти, ради Бога, пусти, я фракъ замараю!..

— Нужды нѣтъ; зачѣмъ тебѣ фракъ? Зачѣмъ ты такой легковѣрный, что самъ въ руки даешься? Говори, куда ты ходилъ, гдѣ обѣдалъ?

— Аркаша, ради Бога, пусти!

— Гдѣ обѣдалъ?

— Да про это-то я и хочу разсказать.

— Такъ разсказывай.

— Да ты прежде пусти.

— Такъ вотъ нѣтъ-же, не пущу, пока не разскажешь!

— Аркаша, Аркаша! Да понимаешь-ли ты, что вѣдь нельзя, никакъ невозможно! кричалъ слабосильный Вася, выбиваясь изъ крѣпкихъ лапъ своего непріятеля: —вѣдь есть такія матеріи!

— Какія матеріи?..

— Да такія, что вотъ о которыхъ начнешь разсказывать въ такомъ положеніи, такъ теряешь достоинство; никакъ нельзя; выйдетъ смѣшно,—а тутъ дѣло совсѣмъ не смѣшное, а важное.

— И ну его, къ важному! Вотъ еще выдумалъ! Ты мнѣ разсказывай такъ, чтобъ я смѣяться хотѣлъ, вотъ какъ разсказывай; а важнаго я не хочу; а то какой-же ты будешь пріятель? Вотъ ты мнѣ скажи, какой-же ты будешь пріятель! А?

— Аркаша, ей Богу нельзя!

— И слышать не хочу...

— Ну, Аркаша! началъ Вася, лежа поперегъ кровати и стараясь всѣми силами придать какъ можно болѣе важности словамъ своимъ:—Аркаша! Я, пожалуй, скажу; только...

— Ну что!..

— Ну, я помолвилъ жениться!

Аркадій Ивановичъ, не говоря болѣе слова, взялъ молча Васю на руки, какъ ребенка, не смотря на то, что Вася былъ не совсѣмъ коротенькій, но довольно длинный, только худой, и преловко началъ его носить изъ угла въ уголъ по комнатѣ, показывая видъ, что его убаюкиваетъ.

— А вотъ я тебя, женихъ, спеленаю, приговаривалъ онъ. Но увидя, что Вася, лежитъ на его рукахъ, не шелохнется и не говоритъ болѣе ни слова, тотчасъ одумался и взялъ въ соображеніе, что шутки, видно, далеко зашли; онъ поставилъ его среди комнаты и самымъ искреннимъ, дружескимъ образомъ облобызалъ его въ щеку.

— Вася, не сердишься?

— Аркаша, послушай...

— Ну, для Новаго года.

— Да я-то ничего; да зачѣмъ-же ты самъ такой съумашедшій, повѣса такой? Сколько я разъ тебѣ говорилъ: Аркаша, ей Богу не остро, совсѣмъ не остро!

— Ну, да не сердишься?

— Да я ничего; на кого я сержусь когда! Да ты меня огорчилъ, понимаешь-ли ты!

— Да какъ огорчилъ? Какимъ образомъ?

— Я шелъ къ тебѣ какъ къ другу, съ полнымъ сердцемъ, излить передъ тобой свою душу, разсказать тебѣ мое счастіе...

— Да какое-же счастіе? Что-жь ты не говоришь?..

— Ну, да я женюсь-то! отвѣчалъ съ досадою Вася, потому что дѣйствительно немного былъ взбѣшенъ.

— Ты! Ты женишься! Такъ и вправду? закричалъ благимъ матомъ Аркаша.—Нѣтъ, нѣтъ... да что-жь это? И говоритъ такъ, и слезы текутъ!.. Вася, Васюкъ ты мой, сыночекъ мой, полно! Да вправду, что-ль? И Аркадій Ивановичъ бросился къ нему снова съ объятіями.

— Ну, понимаешь, изъ-за чего теперь вышло? сказалъ Вася.— Вѣдь ты добрый, ты другъ, я это знаю. Я иду къ тебѣ съ такою радостью, съ восторгомъ душевнымъ, и вдругъ всю радость сердца, весь этотъ восторгъ я долженъ былъ открыть, барахтаясь поперегъ кровати, теряя достоинство... Ты понимаешь, Аркаша, продолжалъ Вася, полусмѣясь: — вѣдь это было въ комическомъ видѣ: ну, а я нѣкоторымъ образомъ не принадлежалъ себѣ въ эту минуту. Я-же не могъ унижать этого дѣла... Вотъ еще-бъ ты спросилъ меня: какъ зовутъ? Вотъ клянусь, скорѣй убилъ-бы меня, а я-бы тебѣ не отвѣтилъ.

— Да, Вася, что-же ты молчалъ! Да ты-бы мнѣ все раньше сказалъ, я-бы и не сталъ шалить, закричалъ Аркадій Ивановичъ въ истинномъ отчаяніи.

— Ну, полно-же, полно! Я вѣдь такъ это... Вѣдь ты знаешь отчего это все,—оттого, что у меня доброе сердце. Вотъ мнѣ и

досадно, что я не могъ сказать тебѣ, какъ хотѣлъ, обрадовать, принесть удовольствіе, разсказать хорошо, прилично посвятить тебя... Право, Аркаша, я тебя такъ люблю, что не будь тебя, я-бы, мнѣ кажется, и не женился, да и не жилъ-бы на свѣтѣ совсѣмъ!

Аркадій Ивановичъ, который необыкновенно былъ чувствителенъ, и смѣялся и плакалъ, слушая Васю. Вася тоже. Оба снова бросились въ объятія и позабыли о бывшемъ.

— Какъ-же, какъ-же это? Разскажи мнѣ все, Вася! Я, братъ, извини меня, я пораженъ, совсѣмъ пораженъ; вотъ точно громомъ сразило, ей Богу! Да нѣтъ-же, братъ, нѣтъ, ты выдумалъ, ей Богу выдумалъ, ты навралъ! закричалъ Аркадій Ивановичъ, и даже съ неподдѣльнымъ сомнѣніемъ взглянулъ въ лицо Васи, но видя въ немъ блестящее подтвержденіе непремѣннаго намѣренія жениться какъ можно скорѣе, бросился въ постель, и началъ кувыркаться въ ней отъ восторга, такъ что стѣны дрожали.

— Вася, садись сюда! закричалъ онъ, усѣвшись, наконецъ, на кровати.

— Ужь я, братецъ, право, не знаю, какъ и начать, съ чего!

Оба въ радостномъ волненіи смотрѣли другъ на друга.

— Кто она, Вася?

— Артемьевы!.. произнесъ Вася разслабленнымъ отъ счастія голосомъ.

— Нѣтъ?

— Ну, да я тебѣ уши прожужжалъ объ нихъ, потомъ замолкъ, а ты ничего и не примѣтилъ. Ахъ, Аркаша, чего стоило мнѣ скрывать отъ тебя; да боялся, боялся говорить! Думалъ, что все разстроится, а я вѣдь влюбленъ, Аркаша! Боже мой, Боже мой! Видишь-ли, вотъ какая исторія, началъ онъ, безпрерывно останавливаясь отъ волненія: — у ней былъ женихъ, еще годъ назадъ, да вдругъ его командировали куда-то; я и зналъ его— такой, право, Богъ съ нимъ! Ну, вотъ, онъ и не пишетъ совсѣмъ, запалъ. Ждутъ, ждутъ; что-бы это значило?.. Вдругъ онъ, четыре мѣсяца назадъ, пріѣзжаетъ женатый и къ нимъ ни ногой! Грубо! подло! Да за нихъ заступиться некому. Плакала, плакала она, бѣдная, а я и влюбись въ нее... да я и давно, всегда былъ влюбленъ! Вотъ, сталъ утѣшать, ходилъ, ходилъ... Ну, и я, право, не знаю, какъ это все произошло, только и она меня полюбила; недѣлю назадъ я не выдержалъ, заплакалъ, зарыдалъ и сказалъ ей все,—ну, что люблю ее,—однимъ словомъ, все!.. «Я васъ сама любить готова, Василій Петровичъ, да я бѣдная

дѣвушка, не насмѣйтесь надо мной; я и любить-то никого не смѣю». Ну, братъ, понимаешь! Понимаешь?.. Мы тутъ съ ней на словѣ и помолвились; я думалъ-думалъ, думалъ-думалъ; говорю: какъ сказать маменькѣ? Она говоритъ: трудно, подождите немножко; она боится; теперь еще, пожалуй, не отдастъ меня вамъ; сама плачетъ. Я, ей не сказавшись, брякъ старухѣ сегодня. Лизанька передъ ней на колѣни, я тоже... ну, и благословила. Аркаша, Аркаша! Голубчикъ ты мой! Будемъ жить вмѣстѣ. Нѣтъ! я съ тобой ни за что не разстанусь.

— Вася, какъ я ни смотрю на тебя, а не вѣрю, ей-Богу, какъ-то не вѣрю, клянусь тебѣ. Право, мнѣ все что-то кажется... Послушай, какъ-же ты это женишься?.. Какъ-же я не зналъ, а? Право, Вася, я, уже признаюсь тебѣ, я самъ, братъ, думалъ жениться; а ужь какъ теперь ты женишься, такъ ужь все равно! Ну, будь счастливъ, будь счастливъ!..

— Братъ, теперь такъ сладко въ сердцѣ, такъ легко на душѣ... сказалъ Вася, вставая и шагая въ волненіи по комнатѣ. Не правда-ли, не правда-ли? Вѣдь ты чувствуешь тоже? Мы будемъ жить бѣдно, конечно, но счастливы будемъ; и вѣдь это не химера; наше счастье-то вѣдь не изъ книжки сказано: вѣдь это на дѣлѣ счастливы мы будемъ!..

— Вася, Вася, послушай!

— Что̀? сказалъ Вася, остановясь передъ Аркадіемъ Ивановичемъ.

— Мнѣ пришла мысль; право, я какъ-то боюсь и сказать тебѣ!.. Ты прости меня, ты разрѣши мои сомнѣнія. Чѣмъ-же ты жить будешь? Я, знаешь, я въ восторгѣ, что ты женишься, конечно, въ восторгѣ и владѣть собой не могу, но—чѣмъ ты жить будешь? А?

— Ахъ, Боже, Боже мой! Какой ты, Аркаша! сказалъ Вася, въ глубокомъ удивленіи смотря на Нефедевича.—Да что ты въ самомъ дѣлѣ? Даже старуха, и та двухъ минутъ не подумала, когда я ей представилъ все ясно. Ты спроси, чѣмъ они жили? Вѣдь 500 рублей въ годъ на троихъ: вѣдь всего-то пенсіону послѣ покойника столько. Жила она, да старуха, да еще братишка, за котораго въ школу платятъ изъ тѣхъ-же денегъ,— вѣдь вотъ какъ живутъ! Вѣдь это только мы капиталисты съ тобой! А у меня, поди-ка ты, въ иной годъ, въ хорошій, даже семьсотъ наберется.

— Послушай, Вася, ты меня извини; я, ей-Богу, я такъ вѣдь, я все только думаю, какъ-бы это не разстроить—какихъ-же семьсотъ? Только триста...

— Триста!.. А Юліанъ Мастаковичъ? Забылъ?

— Юліанъ Мастаковичъ! Да вѣдь это дѣло, братецъ, невѣрное; это не то, что̀ триста рублей вѣрнаго жалованья, гдѣ всякій рубль какъ другъ неизмѣнный. Юліанъ Мастаковичъ, конечно, ну, даже великій онъ человѣкъ, я его уважаю, понимаю его, даромъ что онъ такъ высоко стоитъ, и, ей Богу, люблю его, потому что онъ тебя любитъ, и тебѣ за работу даритъ, тогда какъ могъ-бы не платить, а командировать себѣ прямо чиновника — но вѣдь согласись самъ, Вася... Послушай еще: я вѣдь не вздоръ говорю; я согласенъ, во всемъ Петербургѣ не найдешь такого почерка, какъ твой почеркъ, я готовъ тебѣ уступить—не безъ восторга заключилъ Нефедевичъ:—но вдругъ, Боже сохрани! ты не понравишься, вдругъ ты не угодишь ему, вдругъ у него дѣла прекратятся, вдругъ онъ другаго возьметъ— ну, да, наконецъ, мало-ли что̀ можетъ случиться! Вѣдь Юліанъ-то Мастаковичъ былъ да сплылъ, Вася...

— Послушай, Аркаша, вѣдь этакъ, пожалуй, надъ нами сейчасъ потолокъ провалится...

— Ну, конечно, конечно... Я вѣдь ничего...

— Нѣтъ, послушай меня, ты выслушай — видишь что: какимъ онъ образомъ можетъ со мною разстаться... Нѣтъ, ты только выслушай, выслушай. Вѣдь я все исполняю рачительно; вѣдь онъ такой добрый, вѣдь онъ мнѣ, Аркаша, вѣдь онъ мнѣ сегодня далъ пятьдесятъ рублей серебромъ!

— Неужели, Вася? Такъ тебѣ награжденіе?

— Какое награжденіе! Изъ своего кармана. Говоритъ: ужь ты, братъ, пятый мѣсяцъ денегъ не получалъ; хочешь, возьми; спасибо, говоритъ, тебѣ, спасибо, доволенъ... ей Богу! Не даромъ-же ты мнѣ, говоритъ, работаешь—право! Такъ и сказалъ. У меня слезы полились, Аркаша. Господи Боже!

— Послушай, Вася, а ты дописалъ тѣ бумаги?..

— Нѣтъ... еще не дописалъ.

— Ва...синька! Ангелъ мой! Что ты сдѣлалъ?

— Послушай, Аркадій, ничего, еще два дня сроку, успѣю...

— Какъ-же ты это такъ не писалъ?..

— Ну, вотъ, ну, вотъ! Ты съ такимъ убитымъ видомъ смотришь, что у меня вся внутренность ворочается, сердце болитъ! Ну, что-жь? Ты меня всегда этакъ убиваешь! Такъ и закричитъ: а-а-а!!! Да ты разсуждай; ну, что-жь такое? Ну, кончу, ей Богу кончу...

— Что̀, если не кончишь? закричалъ Аркадій, вскочивъ:—

а онъ-же тебѣ сегодня далъ награжденіе! Ты-же тутъ женишься... Ай-ай-ай!..

— Ничего, ничего, закричалъ Шумковъ:—я сейчасъ-же и сажусь, сію минуту сажусь; ничего!

— Какъ это ты манкировалъ, Васютка?

— Ахъ, Аркаша! Ну, могъ-ли я усидѣть? Такой-ли я былъ? Да я въ канцеляріи-то едва сидѣлъ; вѣдь я сердца сносить не могъ... Ахъ! Ахъ! Теперь ночь просижу, и завтра ночь просижу, да послѣ завтра еще, и—докончу!..

— Много осталось?

— Не мѣшай, ради Бога, не мѣшай, замолчи...

Аркадій Ивановичъ на цыпочкахъ подошелъ къ кровати и усѣлся; потомъ вдругъ хотѣлъ было встать, но потомъ опять принужденъ былъ сѣсть, вспомнивъ, что помѣшать можетъ, хотя и сидѣть не могъ отъ волненія: видно было, что его совсѣмъ перевернуло извѣстіе и первый восторгъ еще не успѣлъ выкипѣть въ немъ. Онъ взглянулъ на Шумкова, тотъ взглянулъ на него, улыбнулся, погрозилъ ему пальцемъ и потомъ, страшно нахмуривъ брови (какъ будто въ этомъ заключалась вся сила и весь успѣхъ работы), уставился глазами въ бумаги.

Казалось, и онъ тоже еще не пересилилъ своего волненія, перемѣнялъ перья, вертѣлся на стулѣ, пристроивался, опять принимался писать, но рука его дрожала и отказывалась двигаться.

— Аркаша! Я имъ говорилъ объ тебѣ, закричалъ онъ вдругъ, какъ будто только что вспомнилъ.

— Да? закричалъ Аркадій:—а я только спросить хотѣлъ; ну!

— Ну! Ахъ, да, я тебѣ послѣ все разскажу! Вотъ, ей Богу, самъ виноватъ, а совсѣмъ изъ ума вышло, что не хотѣлъ ничего говорить, покамѣстъ не напишу четырехъ листовъ; да вспомнилъ про тебя и про нихъ. Я, братъ, и писать какъ-то не могу: все объ васъ вспоминаю... Вася улыбнулся.

Настало молчаніе.

— Фу! какое скверное перо! закричалъ Шумковъ, ударивъ въ досадѣ имъ по столу. Онъ взялся за другое.

— Вася! Послушай! Одно слово...

— Ну, поскорѣй и въ послѣдній разъ.

— Много тебѣ осталось?

— Ахъ, братъ!.. Вася такъ поморщился, какъ будто ничего въ свѣтѣ не было ужаснѣе и убійственнѣе такого вопроса. — Много, ужасно много!

— Знаешь, у меня была идея...

— Что?

— Да, нѣтъ, ужь нѣтъ, пиши.

— Ну, что? Что?

— Теперь седьмой часъ, Васюкъ!

Тутъ Нефедевичъ улыбнулся и плутовски подмигнулъ Васѣ, но, однако-жь, все-таки нѣсколько съ робостію, не зная какъ приметъ онъ это.

— Ну, что-жь? сказалъ Вася, бросивъ совсѣмъ писать, смотря ему прямо въ глаза и даже поблѣднѣвъ отъ ожиданія.

— Знаешь что̀.

— Ради Бога, что̀?

— Знаешь что̀? Ты взволнованъ, ты много не наработаешь... Постой, постой, постой—вижу, вижу—слушай! заговорилъ Нефедевичъ, вскочивъ въ восторгѣ съ постели и прерывая заговорившаго Васю, всѣми силами отстраняя возраженія: — прежде всего нужно успокоиться, нужно съ духомъ собраться; такъ-ли?

— Аркаша! Аркаша! закричалъ Вася, вскочивъ съ креселъ.— Я просижу всю ночь, ей Богу просижу!

— Ну, да, да! Ты къ утру только заснешь...

— Не засну, ни за что не засну...

— Нѣтъ, нельзя, нельзя; конечно, заснешь въ пять часовъ засни. Въ восемь я тебя бужу. Завтра праздникъ; ты садишься и строчишь цѣлый день... Потомъ ночь и—да много-ль осталось тебѣ?..

— Да вотъ, вотъ!..

Вася, дрожа отъ восторга и отъ ожиданія, показалъ тетрадку: — Вотъ!..

— Послушай, братъ, вѣдь это немного...

— Дорогой мой—еще тамъ есть, сказалъ Вася, робко-робко смотря на Нефедевича, какъ будто отъ него зависѣло разрѣшеніе, идти или нѣтъ.

— Сколько?

— Два... листочка ..

— Ну, что-жь? Ну, послушай! Вѣдь кончить успѣемъ, ей Богу успѣемъ!

— Аркаша!

— Вася! Послушай! Теперь подъ Новый годъ, всѣ по семействамъ собираются, мы съ тобой только бездомные, сирые... У! Васинька!..

Нефедевичъ обланилъ Васю и стиснулъ въ своихъ львиныхъ объятіяхъ...

— Аркадій, рѣшено!

— Васюкъ, я только объ этомъ сказать хотѣлъ. Видишь, Васюкъ, косолапый ты мой! Слушай! Слушай! Вѣдь...

Аркадій остановился съ открытымъ ртомъ, потому что не могъ говорить отъ восторга. Вася держалъ его за плечи, глядѣлъ ему во всѣ глаза и такъ двигалъ губами, какъ будто самъ хотѣлъ договорить за него.

— Ну! проговорилъ онъ, наконецъ.

— Представь имъ сегодня меня!

— Аркадій! Идемъ туда чай пить! Знаешь что? Знаешь что? Даже до Новаго года не досидимъ, раньше уйдемъ, закричалъ Вася въ истинномъ вдохновеньи.

— То есть два часа, ни больше, ни меньше!..

— И потомъ разлука до тѣхъ поръ, пока не докончу!.

— Васюкъ!..

— Аркадій!..

Въ три минуты Аркадій былъ по парадному. Вася только почистился, затѣмъ, что и не снималъ своей пары: съ такимъ рвеніемъ присѣлъ онъ за дѣло.

Они поспѣшно вышли на улицу, одинъ радостнѣе другаго. Путь лежалъ съ Петербургской стороны въ Коломну. Аркадій Ивановичъ отмѣривалъ шаги бодро и энергично, такъ что по одной походкѣ его уже можно было видѣть всю его радость о благополучіи все болѣе и болѣе счастливаго Васи. Вася сѣменилъ болѣе мелкимъ шажкомъ, но не теряя достоинства. Напротивъ, Аркадій Ивановичъ еще никогда не видалъ его въ выгодномъ для него свѣтѣ. Онъ въ эту минуту даже какъ-то болѣе уважалъ его, и извѣстный тѣлесный недостатокъ Васи, о которомъ до сихъ поръ еще не знаетъ читатель (Вася былъ немного кривобокъ), вызывавшій всегда глубоко любящее чувство состраданія въ добромъ сердцѣ Аркадія Ивановича, теперь еще болѣе способствовалъ глубокому умиленію, которое особенно питалъ къ нему другъ его въ эту минуту и котораго Вася ужь, разумѣется, всячески былъ достоинъ. Аркадію Ивановичу даже хотѣлось заплакать отъ счастія, но онъ удержался.

— Куда, куда, Вася? Здѣсь ближе пройдемъ! вскричалъ онъ, видя, что Вася норовитъ повернуть къ Вознесенскому.

— Молчи, Аркаша, молчи...

— Право, ближе, Вася.

— Аркаша! Знаешь-ли что̀? началъ Вася таинственно, замирающимъ отъ радости голосомъ:— знаешь-ли что̀? Мнѣ хочется принести подарочекъ Лизанькѣ...

— Что-жь такое?

— Здѣсь, братъ, на углу мадамъ Леру, чудесный магазинъ!

— А, ну!

— Чепчикъ, душечка, чепчикъ; сегодня я видѣлъ такой чепченочекъ миленькій; я спрашивалъ: фасонъ, говорятъ, Manon Lescaut называется—чудо! Ленты серизовыя, и если недорого... Аркашка, да хоть-бы и дорого!..

— Ты, по моему, выше всѣхъ поэтовъ, Вася! Идемъ!..

Они побѣжали, и черезъ двѣ минуты вошли въ магазинъ. Ихъ встрѣтила черноглазая француженка въ локонахъ, которая тотчасъ-же, при первомъ взглядѣ на своихъ покупателей, сдѣлалась такъ-же весела и счастлива, какъ они сами, даже счастливѣе, если можно сказать. Вася готовъ былъ расцѣловать мадамъ Леру отъ восторга...

— Аркаша! сказалъ онъ въ полголоса, бросивъ обыкновенный взглядъ на все прекрасное и великое, стоявшее на деревянныхъ столбикахъ на огромномъ столѣ магазина. — Чудеса! Что это такое? Что это? Вотъ этотъ, напримѣръ, бонбончикъ, видишь?—прошепталъ Вася, показывая одинъ миленькій крайній чепчикъ, но вовсе не тотъ, который купить хотѣлъ, потому что уже издалека наглядѣлся и впился глазами въ другой, знаменитый, настоящій, стоявшій на противоположномъ концѣ. Онъ такъ смотрѣлъ на него, что можно было подумать, будто его кто нибудь возьметъ да украдетъ, или будто самъ чепчикъ, именно для того, чтобъ не доставаться Васѣ, улетитъ съ своего мѣста на воздухъ.

— Вотъ, сказалъ Аркадій Ивановичъ, указавъ на одинъ:— вотъ, по моему, лучшій.

— Ну, Аркаша! Это даже дѣлаетъ честь тебѣ; я тебя, право, особенно уважать начинаю за вкусъ, сказалъ Вася, плутовски схитривъ въ умиленьи своего сердца предъ Аркашей: — прелесть твой чепчикъ, но поди-ка сюда!

— Гдѣ-же, братъ, лучше?

— Смотри-ка сюда!

— Этотъ, сказалъ Аркадій съ сомнѣніемъ.

Но когда Вася, не въ силахъ болѣе выдержать, сорвалъ его съ деревяшки, съ которой онъ, казалось, вдругъ слетѣлъ самовольно, какъ будто обрадовавшись такому хорошему покупщику, послѣ долгаго ожиданія, когда захрустѣли всѣ его ленточки, рюши и кружева, неожиданный крикъ восторга вырвался изъ мощной груди Аркадія Ивановича. Даже мадамъ Леру, наблюдавшая все

свое несомнѣнное достоинство и преимущество въ дѣлѣ вкуса во все время выбора и только молчавшая изъ снисхожденія, наградила Васю полною улыбкою одобренія, такъ что все въ ней, во взглядѣ, въ жестѣ и въ этой улыбкѣ разомъ проговорило — да! Вы угадали и достойны счастія, которое васъ ожидаетъ.

— Вѣдь кокетничалъ, кокетничалъ въ уединеніи! закричалъ Вася, перенеся всю любовь свою на миленькій чепчикъ: — нарочно прятался, плутишка, голубчикъ мой! И онъ поцѣловалъ его, то есть воздухъ, который его окружалъ, потому что боялся дотронуться до своей драгоцѣнности

— Такъ скрываетъ себя истинная заслуга и добродѣтель, прибавилъ Аркадій въ восторгѣ, для юмора прибравъ фразу изъ одной остроумной газеты, которую читалъ по утру. — Ну, Вася, что-же?

— Виватъ, Аркаша! Да ты и остришь сегодня, ты сдѣлаешь *фуроръ*, какъ они говорятъ, между женщинами, предрекаю тебѣ. Мадамъ Леру, мадамъ Леру!

— Что прикажете!

— Голубушка, мадамъ Леру!

Мадамъ Леру взглянула на Аркадія Ивановича и снисходительно улыбнулась.

— Вы не повѣрите, какъ я васъ обожаю въ эту минуту... Позвольте поцѣловать васъ... и Вася поцѣловалъ магазинщицу.

Рѣшительно нужно было призвать на минуту все достоинство, чтобъ не уронить себя съ подобнымъ повѣсой. Но я утверждаю, что нужно имѣть къ тому и всю врожденную, неподдѣльную любезность и грацію, съ которою мадамъ Леру приняла восторгъ Васи. Она извинила его, и какъ умно, какъ граціозно умѣла она найдтись въ этомъ случаѣ! Неужели-же можно было разсердиться на Васю?

— Мадамъ Леру, сколько цѣна?

— Это пять рублей серебромъ, — отвѣчала она, оправившись, съ новою улыбкою.

— А этотъ, мадамъ Леру, — сказалъ Аркадій Ивановичъ, указавъ на свой выборъ.

— Этотъ восемь рублей серебромъ.

— Ну, позвольте, ну, позвольте! Ну, согласитесь, мадамъ Леру, ну, который лучше, граціознѣе, милѣе, который изъ нихъ болѣе походитъ на васъ?

— Тотъ богаче, но вашъ выборъ — c'est plus coquet.

— Ну, такъ его и беремъ!

Мадамъ Леру взяла листъ тонкой-тонкой бумаги, зашпилила булавочкой и, казалось, бумага съ завернутымъ чепчикомъ сдѣлалась легче, нежели прежде, безъ чепчика. Вася взялъ все это бережно, чуть дыша, раскланялся съ мадамъ Леру, что-то еще сказалъ ей очень любезное и вышелъ изъ магазина.

— Я вивёръ, Аркаша, я рожденъ быть вивёромъ! кричалъ Вася, хохоча, заливаясь неслышнымъ, мелкимъ, нервическимъ смѣхомъ и обѣгая прохожихъ, которыхъ всѣхъ разомъ подозрѣвалъ въ непремѣнномъ покушеніи измять его драгоцѣннѣйшій чепчикъ.

— Послушай, Аркадій, послушай! началъ онъ, минуту спустя, и что-то торжественное, что-то до нельзя любящее зазвенѣло въ настроѣ его голоса: — Аркадій, я такъ счастливъ, такъ счастливъ!

— Васинька! Какъ я-то счастливъ, голубчикъ мой!

— Нѣтъ, Аркаша, нѣтъ, твоя любовь ко мнѣ безпредѣльна, я знаю; но ты не можешь ощущать и сотой доли того, что̀ я чувствую въ эту минуту. Мое сердце такъ полно, такъ полно! Аркаша! Я недостоинъ этого счастія! Я слышу, я чувствую это. За что̀ мнѣ, — говорилъ онъ голосомъ, полнымъ заглушенныхъ рыданій: — что̀ я сдѣлалъ такое, скажи мнѣ! Посмотри, сколько людей, сколько слезъ, сколько горя, сколько будничной жизни безъ праздника! А я! Меня любитъ такая дѣвушка, меня... Но ты самъ ее увидишь сейчасъ, самъ оцѣнишь это благородное сердце. Я родился изъ низкаго званія, теперь чинъ у меня и независимый доходъ — жалованье. Я родился съ тѣлеснымъ недостаткомъ, я кривобокъ немного. Смотри, она меня полюбила какъ я есть. Сегодня Юліанъ Мастаковичъ былъ такой нѣжный, такой внимательный, такой вѣжливый; онъ со мною рѣдко говоритъ; подошелъ: «Ну, что, Вася (ей Богу, такъ-таки Васей и назвалъ), кутить пойдешь на праздникахъ, а? (Самъ смѣется).

— Такъ и такъ, говорю, ваше превосходительство, дѣло есть, да тутъ-же ободрился и говорю: и повеселюсь, можетъ быть, ваше превосходительство, — ей Богу, сказалъ. Онъ мнѣ тутъ денегъ далъ, потомъ еще сказалъ мнѣ два слова. Я, братъ, заплакалъ, ей Богу, слезы прошибли, а онъ тоже, кажется, тронутъ былъ, потрепалъ меня по плечу, да говоритъ: чувствуй, Вася, чувствуй всегда такъ, какъ теперь это чувствуешь...

Вася замолкъ на мгновеніе. Аркадій Ивановичъ отвернулся и тоже отеръ кулакомъ слезинку.

— И еще, еще... продолжалъ Вася: — я никогда еще не говорилъ тебѣ этого, Аркадій... Аркадій! Ты такъ счастливишь меня

дружбой своею, безъ тебя я-бы не жилъ на свѣтѣ, — нѣтъ, нѣтъ, не говори ничего, Аркаша! Дай мнѣ пожать тебѣ руку, дай по...благо...дар...ить тебя!.. Вася опять не докончилъ.

Аркадій Ивановичъ хотѣлъ прямо броситься Васѣ на шею, но такъ какъ они переходили улицу и почти надъ ушами ихъ раздалось визгливое «Падь-падь-пади!» — то оба, испуганные и взволнованные, добѣжали бѣгомъ до тротуара. Аркадій Ивановичъ былъ даже радъ тому. Онъ извинилъ изліяніе благодарности Васи развѣ только исключительностію настоящей минуты. Самому-же ему было досадно. Онъ чувствовалъ, что онъ до сихъ поръ такъ мало сдѣлалъ для Васи! Ему даже стыдно стало за себя, когда Вася началъ благодарить его за такую малость! Но еще цѣлая жизнь была впереди, и Аркадій Ивановичъ вздохнулъ свободнѣе...

Рѣшительно ихъ совсѣмъ перестали ждать! Доказательство — что ужь сидѣли за чаемъ! А, право, иногда старъ-человѣкъ прозорливѣе молодежи, да еще какой молодежи! Вѣдь Лизанька-то пресерьезно увѣряла, что не будетъ: «не будетъ, маменька; ужь сердце чувствуетъ, что не будетъ»; а маменька все говорила, что ея сердце, напротивъ, чувствуетъ, что непремѣнно будетъ, что не усидитъ, что прибѣжитъ, что и занятій-то служебныхъ теперь нѣтъ у него, что и подъ Новый-то годъ! Лизанька и отворяя не ждала совсѣмъ — глазамъ не вѣрила, и встрѣтила ихъ запыхавшись, съ забившимся внезапно сердечкомъ, какъ у пойманной пташки, вся заалѣвъ, зарумянившись, словно вишенька, на которую она ужасно какъ походила. Боже мой, какой сюрпризъ! Какое радостное «ахъ!» вылетѣло изъ ея губокъ! «Обманщикъ! Голубчикъ ты мой!» вскричала она, обвивъ шею Васи... Но представьте все удивленіе ея, весь ея стыдъ внезапный: прямо за Васей, какъ будто желая спрятаться сзади его, стоялъ, немного потерявшись, Аркадій Ивановичъ. Нужно признаться, что онъ былъ неловокъ съ женщинами, даже очень неловокъ, даже однажды случилось, что... Но это потомъ. Однако-жь, войдите и въ его положеніе: смѣшнаго тутъ нѣтъ ничего; онъ стоитъ въ передней, въ калошахъ, въ шинели, въ ушатой шапкѣ, которую поспѣшилъ было сдернуть, весь пребезобразно обмотанный желтымъ, вязанымъ прескверным шарфомъ, еще для большаго эффекта завязаннымъ сзади. Все это нужно распутать, снять поскорѣе, представиться въ болѣе выгодномъ видѣ, потому что нѣтъ человѣка, который не желалъ-бы представиться въ болѣе выгодномъ видѣ. А тутъ Вася, досадный, несносный, хотя, впрочемъ,

конечно, тотъ-же милый, добрѣйшій, Вася, но, наконецъ, несносный, безжалостный Вася! «Вотъ, кричитъ онъ: — Лизанька, вотъ тебѣ мой Аркадій! Каковъ? Вотъ мой лучшій другъ, обними его, поцѣлуй, его, Лизанька, напередъ поцѣлуй, узнаешь потомъ лучше, сама разцѣлуешь»... Ну, что̀? Ну, что̀, я спрашиваю, было дѣлать Аркадію Ивановичу? А онъ еще размоталъ всего половину шарфа! Право, мнѣ даже, иногда совѣстно за излишнюю восторженность Васи; она, конечно, означаетъ доброе сердце, но... неловко, нехорошо!

Наконецъ, оба вошли... Старушка была несказанно рада познакомиться съ Аркадіемъ Ивановичемъ; она такъ много слышала, она...—Но она не докончила. Радостное: «ахъ!» звонко раздавшееся въ комнатѣ, остановило ее на полфразѣ. Боже мой! Лизанька стояла передъ развернутымъ неожиданно чепчикомъ, пренаивно сложивъ свои ручки и улыбаясь, улыбаясь такъ... Боже мой, да зачѣмъ это у madame Леру не было еще лучшаго чепчика!

Ахъ, Боже мой, да гдѣ-жь вы найдете чепчикъ лучше? Это ужь изъ рукъ вонъ! Гдѣ-же вы съищете лучше? Я говорю серьезно! Меня, наконецъ, даже приводитъ въ нѣкоторое негодованіе, даже огорчаетъ немного такая неблагодарность влюбленныхъ. Ну, посмотрите сами, господа, посмотрите, что̀ можетъ быть лучше этого амурчика-чепчика! Ну, взгляните... Но нѣтъ, нѣтъ, мои пени напрасны; они уже согласились всѣ со мною; это было минутное заблужденіе, туманъ, горячка чувства; я готовъ имъ простить... Да зато посмотрите... Вы ужь извините, господа, я все объ этомъ чепчикѣ: тюлевый, легонькій, широкая серизовая лента, покрытая кружевомъ, идетъ между тульею и рюшемъ и сзади двѣ ленты, широкія, длинныя; онѣ будутъ падать немного ниже затылка, на шею... Нужно только и весь чепчикъ немного надѣть на затылокъ; ну, посмотрите; ну, я васъ спрошу послѣ этого!.. Да вы, я вижу, не смотрите!.. Вамъ, кажется, все равно! Вы заглядѣлись въ другую сторону... Вы смотрите, какъ двѣ крупныя-крупныя, словно перлы, слезинки накипѣли въ одинъ мигъ въ черныхъ какъ смоль глазкахъ, задрожали на мгновеніе на длинныхъ рѣсницахъ и потомъ канули на этотъ скорѣе воздухъ чѣмъ тюль, изъ котораго состояло художественное произведеніе madame Леру... И опять мнѣ досадно: вѣдь почти не за чепчикъ были эти двѣ слезинки!.. Нѣтъ! по моему, такую вещь нужно дарить хладнокровно. Тогда только можно истинно оцѣнить ее! Я, признаюсь, господа, все за чепчикъ!

Усѣлись — Вася съ Лизанькой, а старушка съ Аркадіемъ Ивановичемъ; начали разговоръ, и Аркадій Ивановичъ вполнѣ поддержалъ себя. Я съ радостію отдаю ему справедливость. Даже трудно было ожидать отъ него. Послѣ двухъ словъ объ Васѣ, онъ превосходно успѣлъ заговорить объ Юліанѣ Мастаковичѣ, его благодѣтелѣ. Да такъ умно, такъ умно заговорилъ, что разговоръ, право, не истощился и въ часъ. Нужно было видѣть, съ какимъ умѣніемъ, съ какимъ тактомъ касался Аркадій Ивановичъ нѣкоторыхъ особенностей Юліана Мастаковича, имѣвшихъ прямое или косвенное отношеніе къ Васѣ. Зато и старушка была очарована, истинно очарована: она сама призналась въ этомъ, она нарочно отозвала Васю въ сторону и тамъ сказала ему, что другъ его превосходнѣйшій, любезнѣйшій молодой человѣкъ, и, главное, такой серьезный, солидный молодой человѣкъ. Вася чуть не захохоталъ отъ блаженства. Онъ вспомнилъ, какъ солидный Аркаша вертѣлъ его четверть часа на постели! Потомъ старушка мигнула Васѣ и сказала, чтобъ онъ вышелъ за нею тихонько и осторожнѣе въ другую комнату. Нужно сознаться, она немного дурно поступила относительно Лизаньки: она, конечно, отъ избытка сердца, измѣнила ей и вздумала показать потихоньку подарокъ, который готовила Лизанька Васѣ къ Новому году. Это былъ бумажникъ, шитый бисеромъ, золотомъ и съ превосходнѣйшимъ рисункомъ: на одной сторонѣ изображенъ былъ олень, совершенно какъ натуральный, который чрезвычайно шибко бѣжалъ, и такъ похоже, такъ хорошо! На другой сторонѣ былъ портретъ одного извѣстнаго генерала, тоже превосходно и весьма похоже отдѣланный. Я ужь не говорю о восторгѣ Васи. Между тѣмъ, и въ залѣ не прошло даромъ время. Лизанька прямо подошла къ Аркадію Ивановичу. Она взяла его за руки, она за что-то благодарила его, и Аркадій Ивановичъ догадался, наконецъ, что дѣло идетъ о томъ-же драгоцѣннѣйшемъ Васѣ. Лизанька даже была глубоко растрогана: она слышала, что Аркадій Ивановичъ былъ такой истинный другъ ея жениха, такъ любилъ его, такъ наблюдалъ за нимъ, напутствовалъ на каждомъ шагу спасительными совѣтами, что, право, она, Лизанька, не можетъ не благодарить его, не можетъ удержаться отъ благодарности, что она надѣется, наконецъ, что Аркадій Ивановичъ полюбитъ и ее хоть въ половину такъ, какъ любитъ Васю. Потомъ она стала разспрашивать, бережетъ-ли Вася свое здоровье, изъявила нѣкоторыя опасенія на счетъ особенной пылкости его характера, на счетъ несовершеннаго знанія людей и практической жизни,

сказала, что она религіозно будетъ со временемъ наблюдать за нимъ, хранить и лелѣять судьбу его, и что она надѣется, наконецъ, что Аркадій Ивановичъ не только ихъ не оставитъ, но даже жить будетъ съ ними вмѣстѣ.

— Мы будемъ втроемъ какъ одинъ человѣкъ! вскричала она въ пренаивномъ восторгѣ.

Но нужно было идти. Разумѣется, стали удерживать, но Вася объявилъ на отрѣзъ, что нельзя. Аркадій Ивановичъ засвидѣтельствовалъ тоже самое. Спросили, разумѣется, почему, и немедленно открылось, что было дѣло, ввѣренное Юліаномъ Мастаковичемъ Васѣ, спѣшное, нужное, ужасное, которое нужно представить послѣ завтра утромъ, а что оно не только не кончено, но даже запущено совершенно. Маменька ахнула, какъ услышала объ этомъ, а Лизанька просто испугалась, встревожилась и даже погнала Васю. Послѣдній поцѣлуй вовсе не проигралъ отъ этого; онъ былъ короче, поспѣшнѣй, но зато горячѣе и крѣпче. Наконецъ, разстались и оба друга пустились домой.

Немедленно оба взапуски начали повѣрять другъ другу свои впечатлѣнія, только что очутились на улицѣ. Да тому такъ и слѣдовало быть: Аркадій Ивановичъ былъ влюбленъ, на смерть влюбленъ въ Лизаньку! И кому-жь это лучше повѣрить, какъ не самому счастливчику Васѣ? Онъ такъ и сдѣлалъ! онъ не посовѣстился и тотчасъ-же признался Васѣ во всемъ. Вася ужасно смѣялся и страшно былъ радъ, даже замѣтилъ, что это вовсе не лишнее и что теперь они будутъ еще больше друзьями. «Ты угадалъ меня, Вася, сказалъ Аркадій Ивановичъ: да! Я люблю ее такъ, какъ тебя; это будетъ и мой ангелъ, также какъ твой, затѣмъ, что и на меня ваше счастіе прольется, и меня пригрѣетъ оно. Это будетъ и моя хозяйка, Вася; въ ея рукахъ будетъ счастіе мое; пусть хозяйничаетъ какъ съ тобою, такъ и со мной.. Да, дружба къ тебѣ—дружба къ ней; вы у меня нераздѣльны теперь; только у меня будутъ два такія существа, какъ ты, вмѣсто одного»... Аркадій замолчалъ отъ избытка чувствъ; а Вася былъ потрясенъ до глубины души его словами. Дѣло въ томъ, что онъ никогда не ожидалъ такихъ словъ отъ Аркадія. Аркадій Ивановичъ вообще говорить не умѣлъ, мечтать тоже совсѣмъ не любилъ; теперь-же тотчасъ пустился и въ мечтанія самыя веселыя, самыя свѣжія, самыя радужныя! «Какъ я буду хранить васъ обоихъ, лелѣять васъ», заговорилъ онъ опять:—«Во первыхъ, я, Вася, буду у тебя всѣхъ дѣтей крестить, всѣхъ до единаго, а во вторыхъ, Вася, надобно похлопотать и о будущемъ.

Нужно мебель купить, нужно квартиру нанять, такъ чтобъ и ей, и тебѣ, и мнѣ были каморки отдѣльныя. Знаешь, Вася, я завтра-же побѣгу смотрѣть ярлыки на воротахъ. Три... нѣтъ, двѣ комнаты, намъ больше не нужно. Я даже думаю, Вася, что я сегодня вздоръ говорилъ, денегъ достанетъ; чего! Я какъ взглянулъ въ ея глазки, такъ тотчасъ разсчелъ, что достанетъ. Все для нея! Ухъ, какъ будемъ работать! Теперь, Вася, можно рискнуть и заплатить рублей 25 за квартиру. Квартира, братъ, все! Хорошія комнаты... да тутъ и человѣкъ веселъ и мечтанія радужныя! А, во вторыхъ, Лизанька будетъ нашъ общій кассиръ: ни копѣйки лишней! Чтобъ этакъ я теперь въ трактиръ побѣжалъ! Да за кого ты меня принимаешь? Ни за что! А тутъ прибавка, награды будутъ, потому что мы будемъ прилежно служить, у! какъ работать, какъ волы землю пахать!.. Ну, представь себѣ—и голосъ Аркадія Ивановича ослабѣлъ отъ удовольствія:—вдругъ этакъ совсѣмъ неожиданно цѣлковыхъ тридцать или двадцать пять на голову!.. Вѣдь что ни награда, то чепчикъ, то шарфикъ, чулочки какіе нибудь! Она мнѣ непремѣнно должна связать шарфъ; смотри, какой скверный у меня: желтый, поганый, надѣлалъ сегодня онъ мнѣ бѣды! Да и ты, Вася, хорошъ; представляешь, а я въ хомутѣ стою... Да не въ томъ вовсе дѣло! А вотъ, видишь-ли: я все серебро беру на себя! Я вамъ вѣдь обязанъ сдѣлать подарочекъ,—это честь, это мое самолюбіе!.. А вѣдь наградныя мои не уйдутъ: Скороходову, что-ли, ихъ отдадутъ? Небось, не залежатся онѣ у этой цапли въ карманѣ. Я, братъ, вамъ куплю ложекъ серебряныхъ, ножей хорошихъ—не серебряныхъ ножей, а отличныхъ ножей, и жилетку, то есть жилетку-то себѣ: я вѣдь шаферомъ буду! Только ужь ты теперь держись у меня, ужь держись, ужь я надъ тобой, братъ, и сегодня, и завтра, и всю ночь буду съ палкой стоять, замучаю на работѣ: кончай! Кончай, братъ, скорѣе! И потомъ опять на вечеръ, и потомъ оба счастливы; въ лото пустимся!.. Вечера сидѣть будемъ — у, хорошо! Фу, чортъ! Какъ досадно, что не могу тебѣ помогать. Такъ-бы взялъ и все-бы, все-бы писалъ за тебя... Зачѣмъ это у насъ не одинаковый почеркъ?

— Да! отвѣтилъ Вася.—Да! Нужно спѣшить. Я думаю, теперь часовъ одиннадцать будетъ; нужно спѣшить... За работу! И проговоривъ это, Вася, который все время то улыбался, то какъ нибудь старался прервать какимъ нибудь восторженнымъ замѣчаніемъ изліяніе дружескихъ чувствъ и, однимъ словомъ, оказывалъ самое полное одушевленіе, вдругъ присмирѣлъ, за-

молчалъ и пустился чуть не бѣгомъ по улицѣ. Казалось, какая-то тяжкая идея вдругъ оледенила его пылавшую голову; казалось, все сердце его сжалось.

Аркадій Ивановичъ даже сталъ безпокоиться; на ускоренные вопросы свои онъ почти не получалъ отвѣтовъ отъ Васи, который отдѣлывался словцомъ-другимъ, иногда восклицаніемъ, часто вовсе не относившимися къ дѣлу. «Да что съ тобой, Вася?» закричалъ онъ, наконецъ, едва догоняя его: «неужели ты такъ безпокоишься?..»—Ахъ, братъ, полно болтать! отвѣтилъ Вася даже съ досадою.—«Не унывай, Вася; полно,—прервалъ Аркадій:—да я видывалъ, что ты и гораздо больше въ меньшій срокъ писывалъ... Чего тебѣ! У тебя просто талантъ! Въ крайнемъ случаѣ, можно даже ускорить перо; вѣдь не литографировать-же на прописи будутъ. Успѣешь!.. Вотъ развѣ только ты взволнованъ теперь, разсѣянъ, такъ работа тяжелѣе пойдетъ»... Вася не отвѣчалъ или пробормоталъ что-то подъ носъ, и оба въ рѣшительной тревогѣ добѣжали домой.

Вася тотчасъ-же сѣлъ за бумаги. Аркадій Ивановичъ присмирѣлъ и притихъ, въ тихомолку раздѣлся и легъ на кровать, не спуская глазъ съ Васи... Какой-то страхъ нашелъ на него... «Что съ нимъ? сказалъ онъ про себя, смотря на поблѣднѣвшее лицо Васи, на разгорѣвшіеся глаза его, на безпокойство, выказавшееся въ каждомъ движеніи;—у него и рука дрожитъ... Фу ты, право! Да не посовѣтовать-ли ему заснуть часа два; хоть-бы онъ переспалъ свое раздраженіе». Вася только что окончилъ страницу, поднялъ глаза, нечаянно взглянулъ на Аркадія и, тотчасъ-же потупившись, схватился опять за перо.

— Послушай, Вася, началъ вдругъ Аркадій Ивановичъ:—не лучше-ль было-бы тебѣ переспать немножко? Смотри, ты совсѣмъ въ лихорадкѣ...

Вася съ досадой, даже со злостью, взглянулъ на Аркадія и не отвѣчалъ.

— Послушай, Вася, что ты надъ собой дѣлаешь?.. Вася тотчасъ одумался.

— Не выпить-ли чайку, Аркаша? сказалъ онъ.

— Какъ такъ? Зачѣмъ?

— Силы придастъ. Я спать не хочу, ужь я спать не буду! Я все буду писать. А теперь и отдохнулъ-бы за чаемъ, да и мгновеніе тяжелое перешло-бы.

— Лихо, братъ Вася, чудесно! Именно такъ; я самъ хотѣлъ предложить. Но я дивлюсь, какъ мнѣ самому не пришло это въ

голову. Только знаешь-ли что? Мавра не встанетъ, ни за что не проснется...

— Да!..

— Вздоръ, ничего! закричалъ Аркадій Ивановичъ, вскочивъ босикомъ съ постели.—Я самъ самоваръ поставлю. Въ первой что-ли мнѣ?..

Аркадій Ивановичъ побѣжалъ въ кухню и пустился хлопотать съ самоваромъ; Вася покамѣстъ писалъ. Аркадій Ивановичъ одѣлся и сбѣгалъ сверхъ того въ булочную, затѣмъ, чтобъ Вася могъ вполнѣ подкрѣпить себя на ночь. Черезъ четверть часа самоваръ стоялъ на столѣ. Они начали пить, но разговоръ не клеился. Вася все былъ разсѣянъ.

— Вотъ, сказалъ онъ, наконецъ, какъ будто одумавшись:— нужно завтра пойдти поздравлять...

— Тебѣ вовсе не нужно.

— Нѣтъ, братъ, нельзя, сказалъ Вася...

— Да я за тебя у всѣхъ роспишусь... Чего тебѣ! Ты завтра работай. Сегодня-бы ты посидѣлъ часовъ до пяти, какъ я говорилъ, а тамъ и заснулъ-бы. А то на что ты завтра будешь похожъ? Я-бы тебя ровно въ восемь часовъ разбудилъ...

— Да хорошо-ли это будетъ, что ты за меня роспишешься? сказалъ Вася, полусоглашаясь.

— Да чего-же лучше? Такъ дѣлаютъ всѣ!..

— Право, боюсь...

— Да чего-же, чего?

— Оно, знаешь, у другихъ ничего, а Юліанъ Мастаковичъ — онъ, Аркаша, мой благодѣтель; ну, какъ замѣтитъ, что чужая рука...

— Замѣтитъ! Ну, какой ты, право, Васюкъ! Ну, какъ онъ можетъ замѣтить?.. Да вѣдь я, знаешь, твое имя ужасно какъ похоже подписываю и завитокъ такой-же дѣлаю, ей Богу. Полно; что ты! Кому тутъ замѣтить?..

Вася не отвѣчалъ и поспѣшно допивалъ свой стаканъ... Потомъ онъ сомнительно покачалъ головою...

— Вася, голубчикъ! Ахъ, кабы намъ удалось! Вася, да что̀ съ тобою? Ты меня просто пугаешь! Знаешь, я теперь и не лягу, Вася, не засну. Покажи мнѣ, много-ль осталось тебѣ?

Вася такъ взглянулъ на него, что у Аркадія Ивановича сердце повернулось и языкъ осѣкся.

— Вася! Что̀ съ тобой? Что ты? Чего ты такъ смотришь?

— Аркадій, я, право, пойду завтра поздравить Юліана Мастаковича.

— Ну, ступай, пожалуй! говорилъ Аркадій, смотря на него во всѣ глаза въ томительномъ ожиданіи.

— Послушай, Вася, ускори перо; я зла тебѣ не совѣтую, ей Богу-же такъ! Сколько разъ говорилъ самъ Юліанъ Мастаковичъ, что у тебя въ перѣ ему всего болѣе нравится четкость! Вѣдь это Скороплехинъ только любитъ, чтобъ было четко и красиво, какъ пропись, чтобъ потомъ какъ нибудь зажилить бумажку, да дѣтямъ домой нести переписывать; не можетъ купить, болванъ, прописей! А Юліанъ Мастаковичъ только и говоритъ, только и требуетъ: четко, четко и четко!.. Чего-же тебѣ! Право! Вася, я ужь не знаю, какъ и говорить съ тобой... Я боюсь даже... Ты меня убиваешь тоской своей.

— Ничего, ничего! говорилъ Вася и въ изнеможеніи упалъ на стулъ.—Аркадій встревожился.

— Не хочешь-ли воды? Вася! Вася!

— Полно, полно, сказалъ Вася, сжимая его руку.—Я ничего; мнѣ только стало какъ-то грустно, Аркадій. Я даже и самъ не могу сказать отчего. Послушай, говори лучше о другомъ, не напоминай мнѣ...

— Успокойся, ради Бога, успокойся, Вася. Ты докончишь, ей Богу докончишь! А хоть-бы и не докончилъ, такъ что-жь за бѣда? Точно преступленье какое!

— Аркадій, сказалъ Вася, такъ значительно смотря на своего друга, что тотъ рѣшительно испугался, ибо никогда Вася не тревожился такъ ужасно. Если-бъ я былъ одинъ, какъ прежде... Нѣтъ! Я не то говорю. Мнѣ все хочется тебѣ сказать, повѣрить, какъ другу... Впрочемъ, зачѣмъ-же безпокоить тебя?.. Видишь, Аркадій, однимъ дано многое, другіе дѣлаютъ маленькое, какъ я. Ну, если отъ тебя потребовали блогодарности, признательности—и ты-бы не могъ этого сдѣлать?..

— Вася! Я рѣшительно не понимаю тебя!

— Я никогда не былъ неблагодаренъ, продолжалъ Вася тихо, какъ будто разсуждая самъ съ собою.—Но если я не въ состояніи высказать всего, что̀ чувствую, то оно какъ будто-бы... Оно, Аркадій, выйдетъ, какъ будто я и въ самомъ дѣлѣ неблагодаренъ, а это меня убиваетъ.

— Да что-жь, да что! Неужели-же въ томъ вся благодарность, что ты перепишешь къ сроку? Подумай, Вася, что̀ ты говоришь! Развѣ въ этомъ выражается благодарность?

Вася вдругъ замолчалъ и посмотрѣлъ во всѣ глаза на Аркадія, какъ будто его неожиданный аргументъ разрушилъ всѣ

сомнѣнія. Онъ даже улыбнулся, но тотчасъ-же принялъ опять прежнее задумчивое выраженіе. Аркадій, принявъ эту улыбку за окончаніе всѣхъ страховъ, а тревогу, опять явившуюся, за рѣшимость на что нибудь лучшее, крайне обрадовался.

— Ну, братъ Аркаша, проснешься, сказалъ Вася:—взгляни на меня; неравно я засну, бѣда будетъ; а теперь я сажусь за работу... Аркаша?

— Что?

— Нѣтъ, я такъ только, я ничего... Я хотѣлъ...

Вася усѣлся и замолчалъ, Аркадій улегся. Ни тотъ, ни другой не сказали двухъ словъ о коломенскихъ. Можетъ быть, оба чувствовали, что провинились немножко, покутили некстати. Вскорѣ Аркадій Ивановичъ заснулъ, все тоскуя объ Васѣ. Къ удивленію своему, онъ проснулся ровно въ восьмомъ часу утра. Вася спалъ на стулѣ, держа въ рукѣ перо, блѣдный и утомленный; свѣчка сгорѣла. Въ кухнѣ возилась Мавра за самоваромъ.

— Вася, Вася! закричалъ Аркадій въ испугѣ.—Когда ты легъ?

Вася открылъ глаза и вскочилъ со стула.

— Ахъ! сказалъ онъ:—я такъ и заснулъ!..

Онъ тотчасъ-же бросился къ бумагамъ — ничего: все было въ порядкѣ; ни чернилами, ни саломъ отъ свѣчки не капнуло.

— Я думаю, я заснулъ часовъ въ шесть, сказалъ Вася.—Какъ ночью холодно! Выпьемъ-ка чаю, и я опять...

— Подкрѣпился-ли ты?

— Да, да, ничего, теперь ничего!..

— Съ Новымъ годомъ, братъ Вася.

— Здравствуй, братъ, здравствуй; тебя также, милый.

Они обнялись.—У Васи дрожалъ подбородокъ и повлажнѣли глаза. Аркадій Ивановичъ молчалъ: ему стало горько; оба пили чай на-скоро...

— Аркадій! Я рѣшилъ, я самъ пойду къ Юліану Мастаковичу...

— Да вѣдь онъ не замѣтитъ...

— Да меня-то, братъ, почти мучитъ совѣсть.

— Да вѣдь ты для него-же сидишь, для него-же убиваешься... Полно!

— А я, знаешь что, братъ, я зайду туда...

— Куда? спросилъ Вася.

— Къ Артемьевымъ, поздравлю съ моей и съ твоей стороны.

— Голубчикъ мой, миленькій! Ну! Я здѣсь останусь; да, я вижу, что ты хорошо придумалъ; вѣдь я-же тутъ работаю, не въ

праздности время провожу! Постой на минутку, я тотчасъ письмо напишу.

— Пиши, братъ, пиши, успѣешь; я еще умоюсь, побрѣюсь, фракъ почищу. Ну, братъ Вася, мы будемъ довольны и счастливы! Обними меня, Вася!

— Ахъ, кабы, братъ!..

— Здѣсь живетъ господинъ чиновникъ Шумковъ? раздался дѣтскій голосокъ на лѣстницѣ.

— Здѣсь, батюшка, здѣсь, проговорила Мавра, впуская гостя.

— Что тамъ? Что, что? закричалъ Вася, вспрыгнувъ со стула и бросаясь въ переднюю.—Петинька, ты?..

— Здравствуйте, съ Новымъ годомъ васъ честь имѣю поздравить, Василій Петровичъ, сказалъ хорошенькій черноволосый мальчикъ лѣтъ десяти, въ кудряшкахъ: — сестрица вамъ кланяется, и маменька тоже, а сестрица велѣла васъ поцѣловать отъ себя...

Вася вскинулъ на воздухъ посланника и влѣпилъ въ его губки, которыя ужасно походили на лизанькины, медовый, длинный, восторженный поцѣлуй.

— Цѣлуй, Аркадій! говорилъ онъ, передавъ ему Петю, и Петя, не касаясь земли, тотчасъ-же перешелъ въ мощныя и жадныя въ полномъ смыслѣ слова объятія Аркадія Ивановича.

— Голубчикъ ты мой, хочешь чайку?

— Покорно благодарю-съ. Ужь мы пили! Сегодня поднялись рано. Наши къ обѣднѣ ушли. Сестрица два часа меня завивала, напомадила, умыла, панталончики мнѣ зашила, потому что я ихъ разодралъ вчера съ Сашкой, на улицѣ: мы въ снѣжки стали играть...

— Ну-ну-ну-ну!

— Ну, все меня наряжала къ вамъ идти; потомъ напомадила, а потомъ зацѣловала совсѣмъ, говоритъ: «сходи къ Васѣ, поздравь, да спроси, довольны-ли они, покойно-ли почивали и еще... и еще что-то спросить,—да! и еще, кончено-ль дѣло, объ которомъ вы вчера... Тамъ какъ-то... Да вотъ, у меня записано, сказалъ мальчикъ, читая по бумажкѣ, которую вынулъ изъ кармана.—да! безпокоились.

— Будетъ кончено! Будетъ! Такъ ей и скажи, что будетъ, непремѣнно кончу, честное слово!

— Да еще... Ахъ! Я и забылъ; сестрица записочку и подарокъ прислала, а я и забылъ!..

— Боже мой!.. Ахъ ты голубчикъ мой! Гдѣ... гдѣ? Вотъ-а?!

Смотри, братъ, смотри, что̀ мнѣ пишетъ. Го-лу-бушка, миленькая! Знаешь, я вчера видѣлъ у ней бумажникъ для меня; онъ не конченъ, такъ вотъ, говоритъ, посылаю вамъ локонъ волосъ моихъ, а то отъ васъ не уйдетъ. Смотри, братъ, смотри!

И потрясенный отъ восторга Вася показывалъ локонъ густѣйшихъ, чернѣйшихъ въ свѣтѣ волосъ Аркадію Ивановичу; потомъ горячо поцѣловалъ ихъ и спряталъ въ боковой карманъ, поближе къ сердцу.

— Вася! Я тебѣ медальонъ закажу для этихъ волосъ! рѣшительно сказалъ, наконецъ, Аркадій Ивановичъ.

— А у насъ жаркое телятина будетъ, а потомъ завтра мозги; маменька хочетъ бисквиты готовить... А пшенной каши не будетъ, сказалъ мальчикъ, подумавъ, какъ заключить свои розсказни.

— Фу, какой хорошенькій мальчикъ! закричалъ Аркадій Ивановичъ.—Вася, ты счастливѣйшій смертный!

Мальчикъ кончилъ чай, получилъ записочку, тысячу поцѣлуевъ и вышелъ счастливый и рѣзвый по прежнему.

— Ну, братъ, заговорилъ обрадованный Аркадій Ивановичъ:— видишь, какъ хорошо, видишь! Все уладилось къ лучшему, не горюй, не робѣй! Впередъ! Кончай, Вася, кончай! Въ два часа я домой; заѣду къ нимъ, потомъ къ Юліану Мастаковичу.

— Ну, прощай, братъ, прощай... Ахъ, кабы!.. Ну, хорошо, ступай, хорошо, сказалъ Вася:—я, братъ, рѣшительно не пойду къ Юліану Мастаковичу.

— Прощай!

— Стой, братецъ, стой; скажи имъ... Ну, все, что̀ найдешь; ее поцѣлуй... Да разскажи, братецъ, все потомъ, разскажи...

— Ну ужь, ну ужь—извѣстно, знаемъ что̀! Это счастье перевернуло тебя! Это неожиданность; ты самъ не свой со вчерашняго дня. Ты еще не отдохнулъ отъ вчерашнихъ своихъ впечатлѣній. Ну, кончено! Оправься, голубчикъ Вася! Прощай, прощай!

Наконецъ, друзья разстались. Все утро Аркадій Ивановичъ былъ разсѣянъ и думалъ только о Васѣ. Онъ зналъ слабый, раздражительный характеръ его. Да, это счастье перевернуло его, я не ошибся! говорилъ онъ самъ про себя: — Боже мой! Онъ и на меня нагналъ тоску. И изъ чего этотъ человѣкъ способенъ поднять трагедію! Экая горячка какая! Ахъ, его нужно спасти! Нужно спасти! проговорилъ Аркадій, самъ не замѣчая того, что въ своемъ сердцѣ уже возвелъ до бѣды, повидимому, маленькія домашнія непріятности, въ сущности ничтожныя. Только въ один-

надцать часовъ попалъ онъ въ швейцарскую Юліана Мастаковича, чтобъ примкнуть свое скромное имя къ длинному столбцу почтительныхъ лицъ, росписавшихся въ швейцарской на листѣ закапанной и кругомъ исчерченной бумаги. Но каково было его удивленіе, когда передъ нимъ мелькнула собственная подпись Васи Шумкова! Это его поразило.—Что̀ съ нимъ дѣлается? подумалъ онъ. Аркадій Ивановичъ, взыгравшій еще недавно надеждой, вышелъ разстроенный. Дѣйствительно, приготовлялась бѣда; но гдѣ? Но какая?

Въ Коломну онъ пріѣхалъ съ мрачными мыслями, былъ разсѣянъ сначала, но, поговоривъ съ Лизанькой, вышелъ со слезами на глазахъ, потому что рѣшительно испугался за Васю. Домой онъ пустился бѣгомъ и на Невѣ носомъ къ носу столкнулся съ Шумковымъ. Тотъ тоже бѣжалъ.

— Куда ты? закричалъ Аркадій Ивановичъ.

Вася остановился какъ пойманный въ преступленіи.

— Я, братъ, такъ; я прогуляться хотѣлъ.

— Не утерпѣлъ, въ Коломну шелъ? Ахъ, Вася, Вася! Ну, зачѣмъ ты ходилъ къ Юліану Мастаковичу?

Вася не отвѣчалъ, но потомъ махнулъ рукой и сказалъ:

— Аркадій! Я не знаю, что̀ со мной дѣлается! Я...

— Полно, Вася, полно! Вѣдь я знаю, что это такое. Успокойся! Ты взволнованъ и потрясенъ со вчерашняго дня! Подумай: ну, какъ не снесть этого! Всѣ-то тебя любятъ, всѣ-то около тебя ходятъ, работа твоя подвигается, ты ее кончишь, непремѣнно кончишь, я знаю: ты вообразилъ что нибудь, у тебя страхи какіе-то...

— Нѣтъ, ничего, ничего...

— Помнишь, Вася, помнишь, вѣдь это было съ тобою; помнишь, когда ты чинъ получилъ, ты отъ счастья и отъ благодарности удвоилъ ревность и недѣлю только портилъ работу. Съ тобой и теперь тоже самое...

— Да, да, Аркадій; но теперь другое, теперь совсѣмъ не то...

— Да какъ не то: помилуй! И дѣло-то, можетъ быть, вовсе не спѣшное, а ты себя убиваешь...

— Ничего, ничего, я только такъ. Ну, пойдемъ!

— Что-жь ты домой, а не къ нимъ?

— Нѣтъ, братъ, съ какимъ я лицомъ явлюсь?.. Я раздумалъ. Я только одинъ безъ тебя не высидѣлъ; а вотъ ты теперь со мной, такъ я и сяду писать. Пойдемъ!

Они пошли и нѣкоторое время молчали. Вася спѣшилъ.

— Что-жь ты меня не разспрашиваешь объ нихъ? сказалъ Аркадій Ивановичъ.

— Ахъ, да! Ну, Аркашенька, что-жь?

— Вася, ты на себя не похожъ!

— Ну, ничего, ничего. Разскажи-же мнѣ все, Аркаша! сказалъ Вася умоляющимъ голосомъ, какъ будто избѣгая дальнѣйшихъ объясненій. Аркадій Ивановичъ вздохнулъ. Онъ рѣшительно терялся, смотря на Васю.

Разсказъ о коломенскихъ оживилъ его. Онъ даже разговорился. Они пообѣдали. Старушка наложила бисквитами полный карманъ Аркадія Ивановича, и пріятели, кушая ихъ, развеселились. Послѣ обѣда Вася обѣщалъ заснуть, чтобъ просидѣть всю ночь. Онъ дѣйствительно легъ. Утромъ кто-то, передъ кѣмъ нельзя было отказаться, позвалъ Аркадія Ивановича на чай. Друзья разстались. Аркадій положилъ придти какъ можно раньше, если можно, даже въ восемь часовъ. Три часа разлуки прошли для него какъ три года. Наконецъ, онъ вырвался къ Васѣ. Войдя въ комнату, онъ увидѣлъ, что все темно. Васи не было дома. Онъ спросилъ Мавру. Мавра сказала, что все писалъ и не спалъ ничего, потомъ ходилъ по комнатѣ, а потомъ, часъ тому назадъ, убѣжалъ, сказавъ, что черезъ полчаса будетъ; «а когда, молъ, Аркадій Ивановичъ придутъ, такъ скажи, молъ, старуха», заключила Мавра, «что гулять я пошелъ, и три, не то, молъ, четыре раза наказывалъ».

— У Артемьевыхъ онъ! подумалъ Аркадій Ивановичъ и покачалъ головой.

Черезъ минуту онъ вскочилъ, оживленный надеждой.—Онъ просто кончилъ, подумалъ онъ: вотъ и все; не утерпѣлъ, да и убѣжалъ туда. Впрочемъ, нѣтъ! Онъ меня-бы дождался... Взглянука я, что̀ тамъ у него!

Онъ зажегъ свѣчку и бросился къ письменному столу Васи: работа шла, и, казалось, до конца было не такъ далеко. Аркадій Ивановичъ хотѣлъ было изслѣдовать дальше, но вдругъ вошелъ Вася...

— А! Ты здѣсь? закричалъ онъ, вздрогнувъ отъ испуга...

Аркадій Ивановичъ молчалъ. Онъ боялся спросить Васю. Тотъ потупилъ глаза и тоже молча началъ разбирать бумаги. Наконецъ, глаза ихъ встрѣтились. Взглядъ Васи былъ такой просящій, умоляющій, убитый, что Аркадій вздрогнулъ, когда встрѣтилъ его. Сердце его задрожало и переполнилось...

— Вася, братъ мой, что̀ съ тобой? Что ты? закричалъ онъ,

бросаясь къ нему и сжимая его въ объятіяхъ: — объяснись со мной; я не понимаю тебя и тоски твоей; что̀ съ тобой, мученикъ ты мой? Что? Скажи мнѣ все безъ утайки. Не можетъ, быть, чтобъ это одно...

Вася крѣпко прижался къ нему и не могъ ничего говорить. Духъ его захватило.

— Полно, Вася, полно! Ну, не кончить тебѣ, что-жь такое? Я не понимаю тебя; открой мнѣ мученія свои. Видишь-ли, я для тебя... Ахъ, Боже мой, Боже мой! говорилъ онъ, шагая по комнатѣ и хватаясь за все, что̀ ни попадалось ему подъ руки, какъ будто немедленно ища лѣкарства для Васи.—Я самъ завтра, вмѣсто тебя, пойду къ Юліану Мастаковичу, буду просить, умолять его, чтобъ далъ еще день отсрочки. Я объясню ему все, все, если только это такъ тебя мучаетъ...

— Боже тебя сохрани! вскричалъ Вася и побѣлѣлъ какъ стѣна. Онъ едва устоялъ на мѣстѣ.

— Вася, Вася!...

Вася очнулся. Губы его дрожали; онъ хотѣлъ что-то выговорить, и только молча, судорожно пожималъ руку Аркадія... Рука его была холодна. Аркадій стоялъ передъ нимъ полный тоскливаго и мучительнаго ожиданія. Вася опять поднялъ на него глаза.

— Вася! Богъ съ тобой, Вася! Ты истерзалъ мое сердце, другъ мой, милый ты мой.

Слезы градомъ хлынули изъ глазъ Васи; онъ бросился на грудь Аркадія.

— Я обманулъ тебя, Аркадій! говорилъ онъ:—я обманулъ тебя; прости меня, прости! Я обманулъ твою дружбу...

— Что, что, Вася? Что-жь такое? спросилъ Аркадій, рѣшительно въ ужасѣ.

— Вотъ!..

И Вася съ отчаяннымъ жестомъ выбросилъ на столъ изъ ящика шесть толстѣйшихъ тетрадей, подобныхъ той, которую онъ переписывалъ.

— Что̀ это?

— Вотъ что̀ мнѣ нужно приготовить къ послѣ-завтрешнему дню. Я и четвертой доли не сдѣлалъ!

— Не спрашивай, не спрашивай... какъ это сдѣлалось! продолжалъ Вася, самъ тотчасъ заговоривъ о томъ, что̀ такъ его мучило.—Аркадій, другъ мой! Я не знаю самъ, что было со мной! Я какъ будто изъ какого сна выхожу. Я цѣлыя три недѣли по-

терялъ даромъ. Я все... я... ходилъ къ ней... У меня сердце болѣло, я мучился... неизвѣстностью... я и не могъ писать. Я и не думалъ объ этомъ. Только теперь, когда счастье настаетъ для меня, я очнулся.

— Вася! началъ Аркадій Ивановичъ рѣшительно:—Вася! Я спасу тебя. Я понимаю все это. Это дѣло не шутка. Я спасу тебя! Слушай, слушай меня: я завтра-же иду къ Юліану Мастаковичу... Не качай головой, нѣтъ, слушай! Я разскажу ему все какъ было; позволь ужь мнѣ сдѣлать такъ... Я объясню ему!.. Я на все пойду! Я разскажу ему, какъ ты убитъ, какъ ты мучаешься.

— Знаешь-ли, что ты ужь теперь убиваешь меня? проговорилъ Вася, весь похолодѣвъ отъ испуга.

Аркадій Ивановичъ поблѣднѣлъ было, но одумался и тотчасъ-же разсмѣялся.

— Только-то? Только-то? сказалъ онъ. Помилуй, Вася, помилуй! Не стыдно-ли? Ну, послушай! Я вижу, что огорчаю тебя. Видишь, я понимаю тебя; я знаю, что въ тебѣ происходитъ. Вѣдь ужь мы пять лѣтъ вмѣстѣ живемъ, слава Богу! Ты добрый, нѣжный такой, но слабый, непростительно слабый. Вѣдь ужь и Лизавета Михайловна это замѣтила. Ты, кромѣ того и мечтатель, а вѣдь это тоже нехорошо: свихнуться, братъ, можно! Послушай, вѣдь я знаю, чего тебѣ хочется! Тебѣ хочется, напримѣръ, чтобы Юліанъ Мастаковичъ былъ внѣ себя и еще, пожалуй, задалъ-бы балъ отъ радости, что ты женишься... Ну, постой, постой! Ты морщишься. Видишь, ужь отъ одного моего слова ты обидѣлся за Юліана Мастаковича! Я оставлю его. Я вѣдь и самъ его уважаю не меньше твоего! Но ужь ты меня не оспоришь и не откажешь мнѣ думать, что ты-бы желалъ, чтобъ не было даже и несчастныхъ на землѣ, когда ты женишься... Да, братъ, ты ужь согласись, что тебѣ-бы хотѣлось, чтобъ у меня, напримѣръ, твоего лучшаго друга, стало вдругъ тысячъ сто капитала; чтобъ всѣ враги, какіе ни есть на свѣтѣ, вдругъ-бы, ни съ того, ни съ сего, помирились, чтобъ всѣ они обнялись среди улицы отъ радости, и потомъ сюда къ тебѣ на квартиру, пожалуй, въ гости пришли. Другъ мой! Милый мой! Я не смѣюсь, это такъ; ты ужь давно мнѣ все почти такое-же въ разныхъ видахъ представлялъ. Потому, что ты счастливъ, ты хочешь, чтобъ всѣ, рѣшительно всѣ сдѣлались разомъ счастливыми. Тебѣ больно, тяжело одному быть счастливымъ! Потому ты хочешь сейчасъ всѣми силами быть достойнымъ этого счастья и, пожа-

луй, для очистки совѣсти сдѣлать подвигъ какой нибудь! Ну, я и понимаю, какъ ты готовъ себя мучить за то, что тамъ, гдѣ-бы нужно было показать свое радѣніе, умѣнье... ну, пожалуй, благодарность, какъ ты говоришь, ты вдругъ манкировалъ! Тебѣ ужасно горько при мысли, что Юліанъ Мастаковичъ поморщится и даже разсердится, когда увидитъ, что ты не оправдалъ надеждъ, которыя онъ возложилъ на тебя. Тебѣ больно думать, что ты услышишь упреки отъ того, кого считаешь своимъ благодѣтелемъ—и въ какую минуту! Когда у тебя радостью переполнено сердце и когда ты не знаешь, на кого излить свою благодарность... Вѣдь такъ, не правда-ли? Вѣдь такъ?

Аркадій Ивановичъ, у котораго дрожалъ голосъ оканчивая, замолчалъ и перевелъ духъ.

Вася смотрѣлъ съ любовью на своего друга. Улыбка скользила по губамъ его.

Даже какъ будто ожиданіе надежды оживило лицо его.

— Ну, такъ слушай-же, началъ снова Аркадій, еще болѣе вдохновленный надеждою: — такъ и не нужно, чтобъ Юліанъ Мастаковичъ измѣнилъ къ тебѣ свою благосклонность. Такъ-ли, голубчикъ мой? Въ этомъ вопросъ? А коль въ этомъ, такъ я-же,— сказалъ Аркадій, вскочивъ съ мѣста: — я-же пожертвую собой для тебя. Я завтра ѣду къ Юліану Мастаковичу... И не противорѣчь мнѣ! Ты, Вася, свой проступокъ до преступленья возводишь. А онъ, Юліанъ Мастаковичъ, великодушенъ и милосердъ, да къ тому-же не таковъ, какъ ты! Онъ, братъ Вася, насъ съ тобой выслушаетъ и изъ бѣды вывезетъ. Ну! Спокоенъ-ли ты?

Вася со слезами на глазахъ сжалъ руку Аркадія.

— Полно, Аркадій, полно, сказалъ онъ: — дѣло рѣшеное. Ну, я не кончилъ, ну и хорошо; не кончилъ, такъ не кончилъ. И тебѣ ходить не нужно: я самъ все разскажу, самъ пойду. Я теперь успокоился, я совершенно спокоенъ; только ты не ходи... Да послушай.

— Вася, дорогой ты мой! вскричалъ въ радости Аркадій Ивановичъ: — я по твоимъ словамъ говорилъ; я радъ, что ты одумался и оправился. Но что̀-бы съ тобой ни было, что̀-бы ни случилось, я при тебѣ, это помни! Я вижу, тебя терзаетъ то, чтобъ я не говорилъ ничего Юліану Мастаковичу — и не скажу, ничего не скажу, ты самъ скажешь. Видишь-ли: ты завтра пойдешь... Или нѣтъ, ты не пойдешь, ты здѣсь будешь писать, понимаешь? А я тамъ узнаю, какое это дѣло, очень-ли спѣшное или нѣтъ, нужно-ли его къ сроку или нѣтъ, и если

просрочишь, такъ что̀ можетъ выйдти изъ этого? Потомъ я къ тебѣ прибѣгу... Видишь, видишь! Ужь есть надежда; ну, представь, что дѣло не спѣшное — вѣдь выиграть можно. Юліанъ Мастаковичъ можетъ не напомнить, и тогда все спасено.

Вася сомнительно покачалъ головою. Но благодарный взоръ его не сходилъ съ лица друга.

— Ну, полно, полно! Я такъ слабъ, такъ усталъ, говорилъ онъ, задыхаясь; — мнѣ и самому объ этомъ думать не хочется. Ну, поговоримъ о другомъ! Я, видишь-ли, и писать, пожалуй, не буду теперь, а только такъ, двѣ странички только окончу, чтобъ дойдти хоть до какой нибудь точки. Послушай... Я давно хотѣлъ спросить тебя: какъ это ты такъ хорошо меня знаешь?

Слезы капали изъ глазъ Васи на руки Аркадія.

— Если-бъ ты зналъ, Вася, до какой степени я люблю тебя, такъ ты-бы не спросилъ этого—да!

— Да, да, Аркадій, я не знаю этого, потому... потому что я не знаю, за что ты меня такъ полюбилъ! Да, Аркадій, знаешь-ли, что даже твоя любовь меня убивала? Знаешь-ли, что сколько разъ я, особенно ложась спать и думая объ тебѣ (потому что и всегда думаю объ тебѣ, когда засыпаю), я обливался слезами и сердце мое дрожало оттого... оттого.. Ну, оттого, что ты такъ любилъ меня, а я ничѣмъ не могъ облегчить своего сердца, ничѣмъ тебя возблагодарить не могъ...

— Видишь, Вася, видишь, какой ты!.. Смотри, какъ ты разстроенъ теперь, говорилъ Аркадій, у котораго душа изныла въ эту минуту и который вспомнилъ про вчерашнюю сцену на улицѣ.

— Полно; ты хочешь, чтобъ я успокоился, а я никогда еще не былъ такъ спокоенъ и счастливъ! Знаешь-ли... Послушай, мнѣ-бы хотѣлось тебѣ все разсказать, да я все боюсь тебя огорчить... Ты все огорчаешься и кричишь на меня; а я пугаюсь... Смотри, какъ я дрожу теперь, я не знаю отчего... Видишь-ли, вотъ что мнѣ сказать хочется. Мнѣ кажется, не зналъ себя прежде,—да! Да и другихъ тоже вчера только узналъ. Я, братъ, не чувствовалъ, не цѣнилъ вполнѣ. Сердце... во мнѣ было черство... Слушай, какъ это случилось, что никому-то, никому я не сдѣлалъ добра на свѣтѣ, потому что сдѣлать не могъ—даже и видомъ-то я непріятенъ... А всякой-то мнѣ дѣлалъ добро! Вотъ ты первый: развѣ я не вижу. Я только молчалъ, только молчалъ!

— Вася, полно!

— Что-жь, Аркаша! Что-жь!.. Я вѣдь ничего... прервалъ

Вася, едва выговаривая слова отъ слезъ. — Я тебѣ говорилъ вчера про Юліана Мастаковича. И вѣдь самъ ты знаешь, онъ строгій, суровый такой, даже ты нѣсколько разъ на замѣчанье къ нему попадалъ, а со мной онъ вчера шутить вздумалъ, ласкать, и доброе сердце свое, которое передъ всѣми благоразумно скрываетъ, открылъ мнѣ...

— Ну что-жь, Вася? Это только показываетъ, что ты достоинъ своего счастія.

— Ахъ, Аркаша! Какъ мнѣ хотѣлось кончить это все дѣло!.. Нѣтъ я сгублю свое счастье! У меня есть предчувствіе! Да нѣтъ, не черезъ это, перебилъ Вася, затѣмъ, что Аркадій покосился на сто-пудовое, спѣшное дѣло, лежавшее на столѣ:—это ничего, это бумага писанная... вздоръ! Это дѣло рѣшеное... Я... Аркаша, былъ сегодня тамъ, у нихъ... Я вѣдь не входилъ. Мнѣ тяжело было, горько! Я только простоялъ у дверей. Она играла на фортепьяно, я слушалъ. Видишь, Аркадій, сказалъ онъ, понижая голосъ:—я не посмѣлъ войдти...

— Послушай, Вася, что съ тобой? Ты такъ на меня смотришь?

— Что? Ничего? Мнѣ немного дурно; ноги дрожатъ; это оттого, что я ночью сидѣлъ. Да! У меня въ глазахъ зеленѣетъ. У меня здѣсь, здѣсь...

Онъ показалъ на сердце. Съ нимъ сдѣлался обморокъ.

Когда онъ пришелъ въ себя, Аркадій хотѣлъ принять насильственныя мѣры. Онъ хотѣлъ уложить его насильно въ постель. Вася не согласился ни за что. Онъ плакалъ, ломалъ себѣ руки, хотѣлъ писать, хотѣлъ непремѣнно докончить свои двѣ страницы. Чтобъ не разгорячить его, Аркадій допустилъ его до бумагъ.

— Видишь, сказалъ Вася усаживаясь на мѣсто:—видишь, и у меня идея пришла, есть надежда.

Онъ улыбнулся Аркадію, и блѣдное лицо его дѣйствительно какъ будто оживилось лучомъ надежды.

— Вотъ что: я понесу ему послѣ завтра не все. Про остальное солгу, скажу, что сгорѣло, что подмокло, что потерялъ... что, наконецъ ну, не кончилъ; я лгать не могу. Я самъ объясню—знаешь что? Я объясню ему все: я скажу: такъ и такъ, не могъ... Я разскажу ему про любовь мою; онъ-же самъ недавно женился, онъ пойметъ меня! Я сдѣлаю это все, разумѣется, почтительно, тихо; онъ увидитъ слезы мои, онъ тронется ими...

— Да, разумѣется, поди, поди къ нему, объяснись... Да тутъ и слезъ не нужно! Изъ чего? Право, Вася, ты и меня совсѣмъ запугалъ.

— Да, я пойду, пойду. А теперь дай мнѣ писать, дай мнѣ писать, Аркаша. Я никого не трону, дай мнѣ писать!

Аркадій бросился на постель. Онъ не довѣрялъ Васѣ, рѣшительно не довѣрялъ. Вася былъ способенъ на все. Но просить прощенія, въ чемъ, какъ! Дѣло было не въ томъ. Дѣло было въ томъ, что Вася не исполнилъ обязанностей, что Вася чувствуетъ себя виноватымъ *самъ передъ собою*; чувствуетъ себя неблагодарнымъ къ судьбѣ, что Вася подавленъ, потрясенъ счастіемъ и считаетъ себя его недостойнымъ, что, наконецъ, онъ отыскалъ себѣ только предлогъ повихнуть на эту сторону, а что со вчерашняго дня еще не опомнился отъ своей неожиданности; вотъ что такое! подумалъ Аркадій Ивановичъ. Нужно спасти его. Нужно помирить его съ самимъ собою. Онъ самъ себя отпѣваетъ. — Онъ думалъ-думалъ, да и рѣшилъ немедленно идти къ Юліану Мастаковичу, завтра-же идти, разсказать ему все.

Вася сидѣлъ и писалъ. Измученный Аркадій Ивановичъ прилегъ, чтобъ пораздумать о дѣлѣ опять, и проснулся передъ разсвѣтомъ.

— Ай, чортъ! Опять! закричалъ онъ, посмотрѣвъ на Васю; тотъ сидѣлъ и писалъ.

Аркадій бросился къ нему, обхватилъ его и насильно уложилъ въ постель. Вася улыбался: глаза его смыкались отъ слабости. Онъ едва могъ говорить.

— Я и самъ хотѣлъ лечь, сказалъ онъ.—Знаешь, Аркадій, у меня есть идея; я кончу. Я *ускорилъ* перо! Дальше сидѣть я былъ неспособенъ; разбуди меня въ восемь часовъ.

Онъ не договорилъ и заснулъ какъ убитый.

— Мавра! шепотомъ сказалъ Аркадій Ивановичъ Маврѣ, вносившей чай: — онъ просилъ разбудить его черезъ часъ. Ни подъ какимъ видомъ! Пусть спитъ хоть десять часовъ, понимаешь?

— Понимаю, баринъ-батюшка.

— Обѣдъ не готовь, съ дровами не возись, не шуми, бѣда тебѣ! Коли спроситъ меня, скажи, что я въ должность ушелъ, понимаешь?

— Понимаю-ста, батюшка-баринъ; пусть почиваетъ въ волю, что мнѣ! Я рада барскому сну, и барское добро берегу. А намедни, что чашку разбила и попрекать изволили, такъ это не я, это кошка-машка разбила, а я не догляди за ней; брысь, говорю, проклятая!

— Тсс, молчи, молчи!

Аркадій Ивановичъ выпроводилъ Мавру въ кухню, потребовалъ ключь и заперъ ее тамъ на замокъ. Потомъ пошелъ на службу. Дорогою онъ раздумывалъ, какъ-бы ему предстать къ Юліану Мастаковичу, и ловко-ли, и не дерзко-ли будетъ? Въ должность пришелъ онъ съ робостью, и робко освѣдомился, тутъ-ли его превосходительство; отвѣтили, что нѣтъ, да и не будетъ. Аркадій Ивановичъ мигомъ хотѣлъ идти къ нему на квартиру, но весьма кстати сообразилъ, что если Юліанъ Мастаковичъ не пріѣхалъ, такъ, стало быть, занятъ и дома. Онъ остался. Часы казались ему нескончаемыми. Подъ рукою онъ вывѣдывалъ о дѣлѣ, порученномъ Шумкову. Но никто не зналъ ничего. Знали только что, Юліанъ Мастаковичъ изволилъ занимать его особыми порученіями,—какими, не зналъ никто. Наконецъ, пробило три часа, и Аркадій Ивановичъ бросился домой. Въ прихожей остановилъ его одинъ писарь и сказалъ, что Василій Петровичъ Шумковъ приходилъ этакъ будетъ въ первомъ часу и спрашивалъ, прибавилъ писарь: тутъ-ли вы и не былъ-ли тутъ Юліанъ Мастаковичъ. Услышавъ это, Аркадій Ивановичъ нанялъ извощика и доѣхалъ домой внѣ себя отъ испуга.

Шумковъ былъ дома. Онъ ходилъ по комнатѣ чрезвычайно взволнованный. Взглянувъ на Аркадія Ивановича, онъ какъ будто тотчасъ оправился, одумался и поспѣшилъ скрыть свое волненіе. Онъ молча сѣлъ за бумаги. Казалось, онъ избѣгалъ вопросовъ своего друга, тяготился ими, самъ задумалъ кое-что про себя и уже рѣшился не открывать своего рѣшенія, затѣмъ, что и на дружбу болѣе нельзя положиться. Это поразило Аркадія, и сердце его изныло отъ тяжкой, пронзительной боли. Онъ сѣлъ на кровать и развернулъ какую-то книжонку, единственную, бывшую въ его обладаніи, а самъ не спускалъ глазъ съ бѣднаго Васи. Но Вася упорно молчалъ, писалъ и не подымалъ головы. Такъ прошло нѣсколько часовъ, и мученія Аркадія возросли до послѣдней степени. Наконецъ, часу въ одиннадцатомъ, Вася поднялъ голову, и тупымъ, неподвижнымъ взглядомъ посмотрѣлъ на Аркадія. Аркадій ждалъ. Прошло двѣ—три минуты; Вася молчалъ.—«Вася!» крикнулъ Аркадій. Вася не далъ отвѣта.—«Вася!» повторилъ онъ, вскочивъ съ кровати: «Вася, что съ тобой? Что ты?» закричалъ онъ, подбѣгая къ нему. Вася поднялъ голову и опять посмотрѣлъ на него тѣмъ-же тупымъ, неподвижнымъ взглядомъ. «На него столбнякъ нашелъ!» подумалъ Аркадій весь дрожа отъ испуга. Онъ схватилъ графинъ съ водой, приподнялъ Васю, налилъ ему воды на голову, намочилъ виски,

теръ руки въ своихъ рукахъ—и Вася очнулся.—«Вася, Вася!» кричалъ Аркадій, заливаясь слезами, не удерживаясь болѣе:—«Вася, не губи себя, вспомни! Вспомни!..» Онъ не договорилъ и горячо сжималъ его въ своихъ объятіяхъ. Какое-то тягостное ощущеніе прошло по всему лицу Васи; онъ теръ себѣ лобъ и схватился за голову, словно боясь, что она разлетится.

— Не знаю, что это со мною! проговорилъ онъ, наконецъ:—я, кажется, надорвался. Ну, хорошо, хорошо! Полно, Аркадій, не печалься; полно! повторялъ онъ, смотря на него грустнымъ, изнеможеннымъ взглядомъ:—чего безпокоиться? Полно!

— Ты-же, ты-же меня утѣшаешь, закричалъ Аркадій, у котораго разрывалось сердце.—Вася, сказалъ онъ, наконецъ:—прилягъ, засни немножко, что? Не мучь себя понапрасну! Лучше потомъ опять сядешь работать!

— Да, да! повторялъ Вася: изволь! Я лягу: хорошо; да! Видишь-ли, я хотѣлъ кончить, а теперь раздумалъ, да...

И Аркадій утащилъ его на постель.

— Слушай, Вася, сказалъ онъ твердо:—нужно окончательно рѣшить это дѣло! Скажи мнѣ, что̀ ты задумалъ?

— Ахъ! сказалъ Вася, махнувъ ослабѣвшей рукой и повернувъ на другую сторону голову.

— Полно, Вася, полно! Рѣшись! Я не хочу быть убійцей твоимъ: я не могу больше молчать. Ты не заснешь, коль не рѣшишься, я знаю.

— Какъ хочешь, какъ хочешь, загадочно повторилъ Вася.

«Сдается»! подумалъ Аркадій Ивановичъ.

— Послѣдуй мнѣ, Вася, сказалъ онъ:—вспомни, что я говорилъ, и я спасу тебя завтра; завтра я рѣшу твою участь! Что я говорю, участь! Ты такъ напугалъ меня, Вася, что я самъ толкую твоими словами. Какая участь! Просто вздоръ, пустяки! Тебѣ не хочется потерять расположеніе, любовь, если хочешь, Юліана Мастаковича,да! И не потеряешь, увидишь... Я...

Аркадій Ивановичъ еще долго-бы говорилъ, но Вася прервалъ его. Онъ приподнялся на постели, молча обвилъ обѣими руками шею Аркадія Ивановича и поцѣловалъ его.

— Довольно! сказалъ онъ слабымъ голосомъ:—довольно! Полно объ этомъ!

И онъ снова повернулъ къ стѣнѣ свою голову.

— Боже мой! думалъ Аркадій:—Боже мой! Что съ нимъ? Онъ совсѣмъ потерялся; на что онъ рѣшился такое? Онъ погубитъ себя.

Аркадій смотрѣлъ на него въ отчаяніи.

«Если-бъ онъ заболѣлъ, думалъ Аркадій:—можетъ быть, лучше-бы было. Съ болѣзнью прошла-бы забота, а тамъ можно-бы отличнымъ образомъ уладить все дѣло. Но что я вру? Ахъ, Создатель мой!...»

Между тѣмъ Вася какъ будто задремалъ. Аркадій Ивановичъ обрадовался. Добрый знакъ! думалъ онъ. Онъ рѣшился сидѣть надъ нимъ всю ночь. Но самъ Вася былъ неспокоенъ. Онъ поминутно вздрагивалъ, метался на постели и на мгновеніе открывалъ глаза. Наконецъ, утомленіе взяло верхъ; казалось, онъ заснулъ какъ убитый. Было около двухъ часовъ утра, Аркадій Ивановичъ задремалъ на стулѣ, облокотясь локтемъ на столъ.

Сонъ его былъ тревоженъ и страненъ. Ему все казалось, что онъ не спитъ и что Вася по прежнему лежитъ на постели. Но, странное дѣло! Ему казалось, что Вася притворяется, что онъ даже обманываетъ его и вотъ-вотъ встаетъ потихоньку, наблюдая его въ пол-глаза, и крадется за письменный столъ. Жгучая боль захватывала сердце Аркадія; ему было и досадно, и грустно, и тяжело видѣть Васю, который не довѣряетъ ему, таится отъ него и кроется. Онъ хотѣлъ обхватить его, закричать, унесть на кровать... Тогда Вася вскрикивалъ у него на рукахъ, и онъ уносилъ на постель одинъ бездыханный трупъ. Холодный потъ проступалъ на лбу Аркадія, сердце его страшно билось. Онъ открылъ глаза и проснулся. Вася сидѣлъ передъ нимъ за столомъ и писалъ.

Не довѣряя чувствамъ своимъ, Аркадій взглянулъ на постель: тамъ не было Васи. Аркадій вскочилъ въ испугѣ, еще подъ вліяніемъ своихъ сновидѣній. Вася не шелохнулся. Онъ все писалъ. Вдругъ Аркадій съ ужасомъ замѣтилъ, что Вася водитъ по бумагѣ сухимъ перомъ, перевертываетъ совсѣмъ бѣлыя страницы и спѣшитъ, спѣшитъ наполнить бумагу, какъ будто онъ дѣлаетъ отличнѣйшимъ и успѣшнѣйшимъ образомъ дѣло! «Нѣтъ, это не столбнякъ!» подумалъ Аркадій Ивановичъ и затрясся всѣмъ тѣломъ. «Вася, Вася! Откликнись-же мнѣ!» закричалъ онъ, схвативъ его за плечо. Но Вася молчалъ и по прежнему продолжалъ строчить сухимъ перомъ по бумагѣ.

— Наконецъ, я *ускорилъ* перо, проговорилъ онъ, не подымая головы на Аркадія.

Аркадій схватилъ его за руку и вырвалъ перо.

Стонъ вырвался изъ груди Васи. Онъ опустилъ руку и поднялъ глаза на Аркадія, потомъ съ томительно-тоскливымъ чув-

ствомъ провелъ рукою по лбу, какъ будто желая снять съ себя какой-то тяжелый, свинцовый грузъ, налегшій на все существо его, и тихо, какъ будто въ раздумьи, опустилъ на грудь голову.

— Вася, Вася! вскричалъ Аркадій Ивановичъ въ отчаяніи:— Вася!

Черезъ минуту, Вася посмотрѣлъ на него. Слезы стояли въ его большихъ голубыхъ глазахъ и блѣдное, кроткое лицо его выразило безконечную муку... Онъ что-то шепталъ.

— Что, что? закричалъ Аркадій, наклоняясь къ нему.

— За что-же, за что меня? шепталъ Вася:—за что? Что̀ я сдѣлалъ?

— Вася! Что ты? Чего ты боишься, Вася? Чего? закричалъ Аркадій, ломая руки въ отчаяніи.

— За что-жь меня въ солдаты-то отдавать? сказалъ Вася, посмотрѣвъ прямо въ глаза своего друга:—за что? Что̀ я сдѣлалъ?

Волосы стали дыбомъ на головѣ Аркадія; онъ не хотѣлъ вѣрить. Онъ стоялъ надъ нимъ какъ убитый.

Черезъ минуту, онъ опомнился: это такъ, это минутное! говорилъ онъ про себя, весь блѣдный, съ дрожащими, посинѣлыми губами, и бросился одѣваться. Онъ хотѣлъ бѣжать прямо за докторомъ. Вдругъ Вася кликнулъ его; Аркадій бросился на него и обнялъ его, какъ мать, у которой отнимаютъ родное дитя...

— Аркадій, Аркадій, не говори никому! Слышишь; моя бѣда! Пусть я одинъ и несу...

— Что ты? Что ты? Опомнись, Вася, опомнись!

Вася вздохнулъ, и тихія слезы заструились по щекамъ его.

— За что-же ее убивать? Чѣмъ-же она, чѣмъ-же она виновата!.. проворчалъ онъ мучительнымъ, раздирающимъ душу голосомъ:—мой грѣхъ, мой грѣхъ!..

Онъ замолчалъ на минуту.

— Прощай, моя люба! Прощай, моя люба! шепталъ онъ, качая бѣдной своей головою. Аркадій вздрогнулъ, очнулся и хотѣлъ броситься за докторомъ. — Идемъ! Пора! закричалъ Вася, увлекшись послѣднимъ движеніемъ Аркадія. — Идемъ, братъ, идемъ; я готовъ! Ты меня проводи!—Онъ замолчалъ и взглянулъ на Аркадія убитымъ, недовѣрчивымъ взглядомъ.

— Вася, не ходи за мной, ради Бога! Подожди меня здѣсь. Я сейчасъ, сейчасъ ворочусь къ тебѣ,говорилъ Аркадій Ивановичъ, самъ теряя голову и схвативъ фуражку, чтобы бѣжать за докторомъ. Вася усѣлся тотчасъ; онъ былъ тихъ и послушенъ, только въ глазахъ его сіяла какая-то отчаянная рѣшимость. Аркадій во-

ротился, схватилъ со стола разогнутый перочинный ножичекъ, послѣдній разъ взглянулъ на бѣднягу и выбѣжалъ изъ квартиры.

Былъ восьмой часъ. Свѣтъ уже давно разогналъ сумерки въ комнатѣ.

Онъ не нашелъ никого. Онъ бѣгалъ уже цѣлый часъ. Всѣ доктора, адрессы которыхъ узнавалъ онъ у дворниковъ, навѣдываясь, не живетъ-ли хоть какой нибудь докторъ въ домѣ, уже уѣхали, кто по службѣ, кто по своимъ дѣламъ. Былъ одинъ, который принималъ паціентовъ. Онъ долго и подробно разспрашивалъ слугу, доложившаго, что пришелъ Нефедевичъ: отъ кого, кто и какъ, по какой надобности и какъ даже будетъ примѣтами ранній посѣтитель?—и заключилъ тѣмъ, что нельзя, дѣла много и ѣхать не можетъ, а что такого рода больныхъ нужно въ больницу везти.

Тогда убитый, потрясенный Аркадій, никакъ не ожидавшій подобной развязки, бросилъ все, всѣхъ докторовъ на свѣтѣ, и пустился домой, въ послѣдней степени испуга за Васю. Онъ вбѣжалъ въ квартиру. Мавра, какъ ни въ чемъ не бывало, мела полъ, ломала лучинки и готовилась печь топить. Онъ въ комнату,—Васи и слѣдъ простылъ: онъ ушелъ со двора.

— Куда? Гдѣ? Куда побѣжитъ несчастный? подумалъ Аркадій, леденѣя отъ ужаса. Онъ началъ допрашивать Мавру. Та ничего не знала, не вѣдала, да и не слыхала, какъ вышелъ, прости его Господи! Нефедевичъ бросился къ коломенскимъ.

Ему Богъ знаетъ отчего пришло на мысль, что онъ тамъ.

Былъ уже десятый часъ, какъ онъ пріѣхалъ туда. Тамъ его не ждали, ничего не знали, не вѣдали. Онъ стоялъ передъ ними испуганный, растроганный, и спрашивалъ, гдѣ Вася? У старухи подломились ноги; она рухнулась на диванъ. Лизанька, вся дрожа отъ испуга, начала разспрашивать о случившемся. Что̀ было говорить? Аркадій Ивановичъ отдѣлался на-скоро, выдумалъ какую-то басню, которой, разумѣется, не повѣрили, и убѣжалъ, оставивъ всѣхъ потрясенными, измученными. Онъ бросился въ свое вѣдомство, чтобъ, по крайней мѣрѣ, не опоздать и дать знать туда, чтобъ поскорѣе приняли мѣры. Дорогою ему вздумалось, что Вася у Юліана Мастаковича. Это было вѣрнѣе всего: Аркадій прежде всего, прежде коломенскихъ подумалъ объ этомъ. Проѣзжая мимо дома его превосходительства, онъ хотѣлъ остановиться, но тотчасъ-же велѣлъ продолжать путь далѣе. Онъ рѣшился попытаться узнать: нѣтъ-ли чего въ вѣдомствѣ, и потомъ, какъ ужь тамъ не найдетъ, явиться къ его превосходительству, по крайней мѣрѣ,

въ качествѣ рапортующаго объ Васѣ. Кому нибудь нужно-же было рапортовать.

Еще въ пріемной окружили его товарищи помоложе, все большею частію ему равные чиномъ, и въ одинъ голосъ стали разспрашивать, что̀ сдѣлалось съ Васей? Всѣ они въ тоже время говорили, что Вася съ ума сошелъ, и помѣшался на томъ, что его въ солдаты хотятъ отдать за неисправное исполненіе дѣла. Аркадій Ивановичъ отвѣчалъ на всѣ стороны, или, лучше сказать, не отвѣчая положительно никому, стремился во внутренніе покои. На дорогѣ узналъ онъ, что Вася въ кабинетѣ Юліана Мастаковича, что туда всѣ пошли, и что Эсперъ Ивановичъ тоже туда пошелъ. Онъ было пріостановился. Кто-то изъ старшихъ спросилъ его, куда онъ и что̀ ему надо? Не отличивъ лица, онъ проговорилъ что-то объ Васѣ и пошелъ прямо въ кабинетъ.—Оттуда уже слышался голосъ Юліана Мастаковича.—Куда вы? спросилъ его кто-то у самыхъ дверей. Аркадій Ивановичъ почти потерялся; онъ уже хотѣлъ было воротиться, но изъ-за пріотворенной двери увидѣлъ своего бѣднаго Васю. Онъ отворилъ и протѣснился кое-какъ въ комнату. Тамъ царствовала суматоха и недоумѣніе, затѣмъ, что Юліанъ Мастаковичъ былъ, повидимому, въ сильномъ огорченіи. Около него стояли всѣ, кто поважнѣе, толковали и не рѣшили ровно ничего. Поодаль стоялъ Вася. Все замерло въ груди Аркадія, когда онъ взглянулъ на него. Вася стоялъ блѣдный, съ поднятой головой, вытянувшись въ нитку, какъ рекрутъ передъ новымъ начальствомъ, сплотивъ ноги и опустивъ руки по швамъ. Онъ глядѣлъ прямо въ глаза Юліану Мастаковичу. Тотчасъ замѣтили Нефедевича, и кто-то, знавшій, что они сожители, доложилъ о томъ его превосходительству. Аркадія подвели. Онъ хотѣлъ что-то отвѣтить на предложенные вопросы, взглянулъ на Юліана Мастаковича и, видя, что на лицѣ его изобразилась истинная жалость, затрясся и зарыдалъ какъ ребенокъ. Онъ даже сдѣлалъ болѣе: бросился, схватилъ руку начальника и поднесъ къ глазамъ своимъ, омывая ее слезами, такъ что даже самъ Юліанъ Мастаковичъ принужденъ былъ отнять ее на-скоро, махнуть ею по воздуху и сказать: «ну, полно, братъ, полно; вижу, что у тебя доброе сердце». Аркадій рыдалъ и бросалъ на всѣхъ умоляющіе взгляды. Ему казалось, что всѣ братья его бѣдному Васѣ, что всѣ они тоже терзаются и плачутъ объ немъ. «Какъ-же это, какъ же это съ нимъ сдѣлалось?» говорилъ Юліанъ Мастаковичъ: «отчего-же онъ съ ума сошелъ?»

— Отъ бла-благо-дарности! могъ только выговорить Аркадій Ивановичъ.

Всѣ выслушали отвѣтъ его въ недоумѣніи, и всѣмъ показалось страннымъ и невѣроятнымъ: какъ-же это такъ можетъ изъ благодарности сойдти съ ума человѣкъ? Аркадій объяснился, какъ умѣлъ.

— Боже, какъ жаль! проговорилъ, наконецъ, Юліанъ Мастаковичъ: и дѣло-то, порученное ему, было неважное и вовсе неспѣшное. Такъ-таки, ни изъ-за чего, погибъ человѣкъ! Что-жь, отвезти его!.. Тутъ Юліанъ Мастаковичъ обратился снова къ Аркадію Ивановичу и снова началъ его разспрашивать: «онъ проситъ», сказалъ онъ, указавъ на Васю, «чтобъ не говорили объ этомъ какой-то дѣвушкѣ; что она невѣста что-ли его?»

Аркадій сталъ объяснять. Между тѣмъ Вася какъ будто думалъ о чемъ-то, какъ будто съ величайшимъ напряженіемъ припоминалъ одну важную, нужную вещь, которая вотъ именно теперь-бы и пригодилась. Порой онъ страдальчески поводилъ глазами, какъ будто надѣялся, что кто нибудь напомнитъ ему про то, что̀ забылъ онъ. Онъ устремился глазами на Аркадія. Наконецъ, вдругъ, какъ будто надежда блеснула въ глазахъ его, онъ двинулся съ мѣста съ лѣвой ноги, ступилъ три шага какъ только могъ ловче и даже пристукнулъ правымъ сапогомъ, какъ дѣлаютъ солдаты, подойдя къ подозвавшему ихъ офицеру. Всѣ ожидали, что будетъ.

— Я съ тѣлеснымъ недостаткомъ, ваше превосходительство, слабосиленъ и малъ, не гожусь на службу, сказалъ онъ отрывисто.

Тутъ всѣ, кто ни были въ комнатѣ, всѣ почувствовали, какъ будто кто нибудь сжалъ имъ сердце, и даже, какъ ни твердъ былъ характеромъ Юліанъ Мастаковичъ, но слеза потекла изъ глазъ его. «Уведите его», сказалъ онъ, махнувъ рукою.

— Лобъ! сказалъ Вася въ полголоса, повернулся налѣво кругомъ и вышелъ изъ комнаты. За нимъ бросились всѣ, кого интересовала его участь. Аркадій тѣснился за прочими. Васю усадили въ пріемной въ ожиданіи предписанія и кареты, чтобъ отвезти его въ больницу. Онъ сидѣлъ молча и былъ, казалось, въ чрезвычайной заботѣ. Кого узнавалъ, тому кивалъ головою, какъ будто прощаясь съ нимъ. Онъ поминутно оглядывался на дверь и готовился, когда скажутъ: «пора». Кругомъ его столпился тѣсный кружокъ; всѣ покачивали головами, всѣ сѣтовали. Многихъ поразила его исторія, которая уже вдругъ сдѣлалась

извѣстною; одни разсуждали, другіе жалѣли и хвалили Васю, говорили, что былъ такой скромный, тихій молодой человѣкъ, что обѣщалъ такъ много; разсказывали, какъ онъ старался учиться, былъ любознателенъ, стремился образовать себя. «Собственными силами вышелъ изъ низкаго состоянія!» замѣтилъ кто-то. Съ умиленіемъ говорили о привязанности къ нему его превосходительства. Нѣкоторые пустились объяснять, почему именно пришло въ голову Васѣ, и онъ на томъ помѣшался, что его отдадутъ въ солдаты за то, что не кончилъ работы. Говорили, что бѣднякъ недавно изъ податнаго званія, и только по ходатайству Юліана Мастаковича, умѣвшаго отличить въ немъ талантъ, послушаніе и рѣдкую кротость, получилъ первый чинъ. Однимъ словомъ, очень много было разныхъ толковъ и мнѣній. Въ особенности, изъ потрясенныхъ, замѣтенъ былъ одинъ, очень маленькій ростомъ, сослуживецъ Васи Шумкова. И не то, чтобы такъ былъ совсѣмъ молодой человѣкъ, а примѣрно лѣтъ уже тридцати. Онъ былъ блѣденъ какъ полотно, дрожалъ всѣмъ тѣломъ и какъ-то странно улыбался,—можетъ быть, потому что всякое скандалезное дѣльцо или ужасная сцена и пугаетъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ-то нѣсколько радуетъ посторонняго зрителя. Онъ поминутно обѣгалъ весь кружокъ, обступившій Шумкова, и такъ какъ былъ малъ, то становился на цыпочки, хваталъ за пуговицу встрѣчнаго и поперечнаго, т. е. изъ тѣхъ, кого имѣлъ право хватать, и все говорилъ, что онъ знаетъ, отчего это все, что это не то, чтобы простое, а довольно важное дѣло, что такъ оставить нельзя; потомъ опять становился на цыпочки, нашептывалъ на ухо слушателю, опять кивалъ раза два головою и снова перебѣгалъ далѣе. Наконецъ, кончилось все: явился сторожъ, фельдшеръ изъ больницы, подошли къ Васѣ и сказали ему, что пора ѣхать. Онъ вскочилъ, засуетился и пошелъ съ ними, оглядываясь кругомъ. Онъ искалъ кого-то глазами! «Вася, Вася!» закричалъ, рыдая, Аркадій Ивановичъ. Вася остановился, и Аркадій таки протѣснился къ нему. Они бросились въ послѣдній разъ другъ другу въ объятія и тяжело сжали другъ друга... Грустно было ихъ видѣть. Какое химерическое несчастіе вырывало слезы изъ глазъ ихъ! Объ чемъ они плакали? Гдѣ эта бѣда? Зачѣмъ они не понимали другъ друга?

— На, на, возьми! Сбереги это, говорилъ Шумковъ, всовывая какую-то бумажку въ руку Аркадія.—Они у меня унесутъ. Принеси мнѣ потомъ; принеси; сбереги... Вася не договорилъ, его кликнули. Онъ поспѣшно сбѣжалъ съ лѣстницы, кивая всѣмъ

головою, прощаясь со всѣми. Отчаяніе было на лицѣ его. Наконецъ, усадили его въ карету и повезли. Аркадій поспѣшно развернулъ бумажку: это былъ локонъ черныхъ волосъ Лизы, съ которыми не разставался Шумковъ. Горячія слезы брызнули изъ глазъ Аркадія. «Ахъ, бѣдная Лиза!»

По окончаніи служебнаго времени, онъ пошелъ къ коломенскимъ. Нечего говорить, что тамъ было! Даже Петя, малютка Петя, не совсѣмъ понявшій, что сдѣлалось съ добрымъ Васей, зашелъ въ уголъ, закрылся рученками и зарыдалъ во сколько стало его дѣтскаго сердца. Были уже полныя сумерки, когда Аркадій возвращался домой. Подойдя къ Невѣ, онъ остановился на минуту и бросилъ пронзительный взглядъ вдоль рѣки въ дымную, морозно-мутную даль, вдругъ заалѣвшую послѣднимъ пурпуромъ кровавой зари, догоравшей въ мгляномъ небосклонѣ. Ночь ложилась надъ городомъ, и вся необъятная, вспухшая отъ замерзшаго снѣга поляна Невы, съ послѣднимъ отблескомъ солнца, осыпалась безконечными миріадами искръ иглистаго инея. Становился морозъ въ двадцать градусовъ. Мерзлый паръ валилъ съ загнанныхъ насмерть лошадей, съ бѣгущихъ людей. Сжатый воздухъ дрожалъ отъ малѣйшаго звука и, словно великаны, со всѣхъ кровель обѣихъ набережныхъ подымались и неслись вверхъ по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь въ дорогѣ, такъ что, казалось, новыя зданія вставали надъ старыми, новый городъ складывался въ воздухѣ... Казалось, наконецъ, что весь этотъ міръ, со всѣми жильцами его, сильными и слабыми, со всѣми жилищами ихъ, пріютами нищихъ, или раззолоченными палатами — отрадой сильныхъ міра сего, въ этотъ сумеречный часъ походитъ на фантастическую, волшебную грезу, на сонъ, который въ свою очередь тотчасъ исчезнетъ и искурится паромъ къ темно-синему небу. Какая-то странная дума посѣтила осиротѣлаго товарища бѣднаго Васи. Онъ вздрогнулъ, и сердце его какъ будто облилось въ это мгновеніе горячимъ ключемъ крови, вдругъ вскипѣвшей отъ прилива какого-то могучаго, но доселѣ незнакомаго ему ощущенія. Онъ какъ будто только теперь понялъ всю эту тревогу и узналъ, отчего сошелъ съ ума его бѣдный, не вынесшій своего счастія Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, онъ поблѣднѣлъ и какъ будто прозрѣлъ во что-то новое въ эту минуту...

Онъ сдѣлался скученъ и угрюмъ и потерялъ всю свою веселость. Прежняя квартира стала ему ненавистна—онъ взялъ другую. Къ коломенскимъ идти онъ не хотѣлъ, да и не могъ.

Черезъ два года, онъ встрѣтилъ Лизаньку въ церкви. Она была уже замужемъ; за нею шла мамка съ груднымъ ребенкомъ. Они поздоровались и долгое время избѣгали разговора о старомъ. Лиза сказала, что она, слава Богу, счастлива, что она не бѣдна, что мужъ ея добрый человѣкъ, котораго она любитъ... Но вдругъ, среди рѣчи, глаза ея наполнились слезами, голосъ упалъ, она отвернулась и склонилась на церковной помостъ, чтобъ скрыть отъ людей свое горе...

ЧУЖАЯ ЖЕНА

и

МУЖЪ ПОДЪ КРОВАТЬЮ

ПРОИСШЕСТВІЕ НЕОБЫКНОВЕННОЕ.

Разсказъ „Чужая Жена“ былъ помѣщенъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1848 г., т. 56, а разсказъ „Ревнивый Мужъ“ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ того-же года, т. 61. Затѣмъ для Полнаго Собранія Сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго, изд. Ѳ. Стелловскаго, 1865 г., оба эти разсказа были соединены авторомъ вмѣстѣ подъ названіемъ: „Чужая жена и мужъ подъ кроватью“.

I.

— Сдѣлайте одолженіе, милостивый государь, позвольте васъ спросить...

Прохожій вздрогнулъ и нѣсколько въ испугѣ взглянулъ на господина въ енотахъ, приступившаго къ нему такъ, безъ обиняковъ, въ восьмомъ часу вечера, среди улицы. А ужь извѣстно, что если одинъ петербургскій господинъ вдругъ заговоритъ на улицѣ о чемъ нибудь съ другимъ, совершенно незнакомымъ ему господиномъ, то другой господинъ непремѣнно испугается.

Итакъ прохожій вздрогнулъ и нѣсколько испугался.

— Извините, что я васъ потревожилъ, говорилъ господинъ въ енотахъ:—но я... я, право, не знаю... вы, вѣроятно, извините меня; вы видите, я въ нѣкоторомъ разстройствѣ духа...

Тутъ только замѣтилъ молодой человѣкъ въ бекешѣ, что господинъ въ енотахъ былъ точно въ разстройствѣ. Его сморщенное лицо было довольно блѣдненько, голосъ его дрожалъ, мысли очевидно сбивались, слова не лѣзли съ языка, и видно было, что ему ужаснаго труда стоило согласить покорнѣйшую просьбу, можетъ быть, къ своему низшему въ отношеніи степени или сословія лицу, съ нуждою непремѣнно обратиться къ кому нибудь съ просьбой. Да и, наконецъ, просьба эта во всякомъ случаѣ была неприличная, несолидная, странная со стороны человѣка, имѣвшаго такую солидную шубу, такой почтенный, превосходнаго темнозеленаго цвѣта фракъ, и такія многознаменательныя украшенія, упещрявшія этотъ фракъ. Видно было, что все это смущало самого господина въ енотахъ, такъ что, наконецъ, разстроенный духомъ, господинъ не выдержалъ, рѣшился подавить свое волненіе и прилично замять непріятную сцену, которую самъ-же вызвалъ.

— Извините меня, я не въ себѣ; но вы, правда, меня не знаете... Извините, что обезпокоилъ васъ; я раздумалъ.

Тутъ онъ приподнялъ изъ учтивости шляпу и побѣжалъ далѣе.

— Но позвольте, сдѣлайте милость.

Маленькій человѣкъ, однако, скрылся во мракѣ, оставивъ въ остолбенѣломъ состояніи господина въ бекешѣ.

«Что за чудакъ!» подумалъ господинъ въ бекешѣ. Потомъ, какъ слѣдуетъ, подивившись и вышедъ, наконецъ, изъ остолбенѣлаго состоянія, онъ вспомнилъ про свое и началъ прохаживаться взадъ и впередъ, пристально глядя на ворота одного безконечно-этажнаго дома. Начиналъ падать туманъ, и молодой человѣкъ нѣсколько обрадовался, ибо прогулка его при туманѣ была незамѣтнѣе, хотя, впрочемъ, только какой нибудь безнадежно весь день простоявшій извощикъ могъ замѣтить ее.

— Извините!

Прохожій опять вздрогнулъ: опять тотъ-же господинъ въ енотахъ стоялъ передъ нимъ.

— Извините, что я опять... заговорилъ онъ:—но вы, вы—вѣрно благородный человѣкъ! Не обращайте на меня вниманія, какъ на лицо, взятое въ общественномъ смыслѣ; я, впрочемъ, сбиваюсь; но вникните, по человѣчески... передъ вами, сударь, человѣкъ, нуждающійся въ покорнѣйшей просьбѣ...

— Если могу... что вамъ угодно?

— Вы, можетъ, подумали, что ужь я у васъ денегъ прошу! сказалъ таинственный господинъ, кривя ротъ, истерически смѣясь и блѣднѣя.

— Помилуйте-съ...

— Нѣтъ, я вижу, что я вамъ въ тягость! Извините, я не могу переносить себя; считайте, что вы видите меня въ разстроенномъ состояніи духа, почти въ съумасшествіи и не заключите чего нибудь...

— Но къ дѣлу, къ дѣлу! отвѣчалъ молодой человѣкъ, ободрительно и нетерпѣливо кивнувъ головой.

— А! Теперь вотъ какъ! Вы, такой молодой человѣкъ, мнѣ напоминаете о дѣлѣ, какъ будто я какой нерадивый мальчишка! Я рѣшительно выжилъ изъ ума!.. Какъ я вамъ кажусь теперь въ моемъ униженіи, скажите откровенно?

Молодой человѣкъ сконфузился и смолчалъ.

— Позвольте васъ спросить откровенно: не видали-ль вы одной дамы? Въ этомъ вся просьба моя! рѣшительно проговорилъ, наконецъ, господинъ въ енотовой шубѣ.

— Дамы?

— Да-съ, одной дамы.

— Я видѣлъ... но ихъ, признаюсь, такъ прошло много...

— Такъ точно-съ, отвѣчалъ таинственный человѣкъ съ горькой улыбкой.—Я сбиваюсь, я не то хотѣлъ спросить, извините меня; я хотѣлъ сказать, не видали-ль вы одной госпожи въ лисьемъ салопѣ, въ темномъ бархатномъ капорѣ съ черной вуалью?

— Нѣтъ, такой не видалъ... нѣтъ, кажется, не замѣтилъ.

— А! въ такомъ случаѣ, извините-съ!

Молодой человѣкъ хотѣлъ что-то спросить, но господинъ въ енотахъ опять исчезъ, опять оставивъ въ остолбенѣломъ состояніи своего терпѣливаго слушателя. «А чортъ-бы его взялъ!» подумалъ молодой человѣкъ въ бекешѣ, очевидно, разстроенный.

Онъ съ досадою закрылся бобромъ и опять сталъ прохаживаться, соблюдая предосторожности, мимо воротъ безконечно-этажнаго дома. Онъ злился.

— Что-жь она не выходитъ? думалъ онъ:—скоро восемь часовъ!

На башнѣ пробило восемь часовъ.

— Ахъ! Чортъ васъ возьми, наконецъ!

— Извините-съ!..

— Извините меня, что я васъ такъ... Но вы такъ подкатились мнѣ подъ ноги, что испугали совсѣмъ, проговорилъ прохожій, морщась и извиняясь.

— Я опять къ вамъ-съ. Конечно, я вамъ долженъ казаться безпокойнымъ и страннымъ-съ.

— Сдѣлайте одолженіе, безъ пустяковъ, объяснитесь скорѣе; я еще не знаю, въ чемъ ваше желанье?..

— Вы торопитесь? Видите-ли-съ. Я вамъ все разскажу откровенно, безъ лишнихъ словъ. Что-жь дѣлать! Обстоятельства связываютъ иногда людей совершенно разнородныхъ характеровъ... Но я вижу, вы нетерпѣливы, молодой человѣкъ... Такъ вотъ-съ.. впрочемъ, я не знаю, какъ и говорить: я ищу даму-съ (я ужь рѣшился все говорить). Я именно долженъ знать, куда пошла эта дама? Кто она—я думаю, вамъ не нужно знать ея имени, молодойчеловѣкъ.

— Ну-съ, ну-съ, дальше.

— Дальше! Но вашъ тонъ со мной! Извините, можетъ быть, я васъ оскорбилъ, назвавъ васъ молодымъ человѣкомъ, но я не имѣлъ ничего... однимъ словомъ, если вамъ угодно оказать мнѣ величайшую услугу, такъ вотъ-съ, одна дама-съ, то есть я хочу сказать, порядочная женщина, изъ превосходнаго семейства, моихъ

знакомыхъ... мнѣ поручено... я, видите-ли, самъ не имѣю семейства...

— Ну-съ.

— Вникните въ мое положеніе, молодой человѣкъ (ахъ, опять! извините-съ; я все называю васъ молодымъ человѣкомъ). Каждая минута дорога... Представьте себѣ, эта дама... но не можете-ли вы мнѣ сказать, кто живетъ въ этомъ домѣ?

— Да... тутъ много живутъ.

— Да, то есть вы совершенно справедливы, отвѣчалъ господинъ въ енотахъ, слегка засмѣявшись для спасенія приличій:— чувствую, я немного сбиваюсь... но къ чему такой тонъ вашихъ словъ? Вы видите, что я чистосердечно сознаюсь въ томъ, что сбиваюсь, и если вы надменный человѣкъ, то ужь вы достаточно видѣли мое униженіе... Я говорю, одна дама, благороднаго поведенія, то есть легкаго содержанія,—извините, я такъ сбиваюсь, точно про литературу какую говорю; вотъ—выдумали, что Поль-де-Кокъ легкаго содержанія, а вся бѣда отъ Поль-де-Кока-то-съ... вотъ!..

Молодой человѣкъ съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на господина въ енотахъ, который, казалось, окончательно сбился, замолчалъ, глядѣлъ на него безсмысленно улыбаясь, и дрожащею рукою, безъ всякой видимой причины, хваталъ его за лацканъ бекеши.

— Вы спрашиваете, кто здѣсь живетъ? спросилъ молодой человѣкъ, нѣсколько отступая назадъ.

— Да, многіе живутъ, вы сказали.

— Здѣсь... я знаю, что здѣсь Софья Остафьевна тоже живетъ, проговорилъ молодой человѣкъ шепотомъ и даже съ какимъ-то соболѣзнованіемъ.

— Ну, вотъ видите, видите! Вы что нибудь знаете, молодой человѣкъ?

— Увѣряю васъ, нѣтъ, ничего не знаю... Я судилъ по разстроенному вашему виду.

— Я тотчасъ узналъ отъ кухарки, что она сюда ходитъ; но вы не на то напали, то есть не къ Софьѣ Остафьевнѣ... она съ ней незнакома...

— Нѣтъ? Ну, извините-съ...

— Видно, что вамъ это все неинтересно, молодой человѣкъ, проговорилъ странный господинъ съ горькой ироніей.

— Послушайте, сказалъ молодой человѣкъ, заминаясь: — я въ сущности не знаю причины вашего состоянія, но вамъ вѣрно измѣнили, вы скажите прямо?

Молодой человѣкъ одобрительно улыбнулся.

— Мы, по крайней мѣрѣ, поймемъ другъ друга, прибавилъ онъ, и все тѣло его великодушно обнаружило желаніе сдѣлать легкій полу-поклонъ.

— Вы убили меня! но — откровенно признаюсь вамъ — именно такъ... но съ кѣмъ не случается!.. До глубины тронутъ вашимъ участіемъ. Согласитесь, между молодыми людьми... Я хоть не молодъ, но, знаете, привычка, холостая жизнь, между холостежью, извѣстно...

— Ну, ужъ извѣстно, извѣстно! Но чѣмъ-же я могу вамъ помочь?

— А вотъ-съ; согласитесь, что посѣщать Софью Остафьевну... Впрочемъ, я еще не знаю навѣрно, куда пошла эта дама; я знаю только, что она въ этомъ домѣ; но, видя васъ прогуливающимся,—а я самъ прогуливался по той сторонѣ—думаю... я вотъ, видите-ли, жду эту даму... я знаю, что она тутъ — мнѣ-бы хотѣлось встрѣтить ее и объяснить, какъ неприлично и гнусно... однимъ словомъ, вы меня понимаете...

— Гм! Ну!

— Я и не для себя это дѣлаю; вы не подумайте—это чужая жена! Мужъ тамъ стоитъ, на Вознесенскомъ мосту; онъ хочетъ поймать, но онъ не рѣшается, — онъ еще не вѣритъ, какъ и всякій мужъ... (тутъ господинъ въ енотахъ хотѣлъ улыбнуться), я—другъ его; согласитесь сами, я человѣкъ, пользующійся нѣкоторымъ уваженіемъ — я не могу быть тѣмъ, за кого вы меня принимаете.

— Конечно-съ; ну-съ, ну-съ!..

— Такъ вотъ; я все ее ловлю, мнѣ поручено-съ (несчастный мужъ!); но я знаю, это хитрая молодая дама (вѣчно Польде-Кокъ подъ подушкой); я увѣренъ, что она прошмыгнетъ какъ нибудь незамѣтно... Мнѣ, признаюсь, кухарка сказала, что она ходитъ сюда; я какъ съумасшедшій бросился, только что извѣстіе получилъ; я хочу поймать; я давно подозрѣвалъ, и потому хотѣлъ просить васъ, вы здѣсь ходите... вы — вы — я не знаю...

— Ну, да, наконецъ, что̀-жь вамъ угодно?

— Да-съ... Не имѣю чести знать васъ; не смѣю любопытствовать, кто и какъ... Во всякомъ случаѣ, позвольте познакомиться; пріятный случай!..

Дрожащій господинъ жарко потрясъ руку молодаго человѣка.

— Это-бы я долженъ былъ сдѣлать въ самомъ началѣ, прибавилъ онъ:—но я забылъ все приличіе!

Говоря, господинъ въ енотахъ не могъ постоять на мѣстѣ, съ безпокойствомъ оглядывался по сторонамъ, сѣменилъ ногами, и поминутно, какъ погибающій, хватался рукою за молодаго человѣка,

— Видите-ли-съ, продолжалъ онъ, — я хотѣлъ обратиться къ вамъ по-дружески... извините за вольность... хотѣлъ испросить у васъ, чтобъ вы ходили—по той сторонѣ и со стороны переулка, гдѣ черный выходъ, этакъ, *покоемъ*, описывая букву П, то есть. Я тоже, съ своей стороны, буду ходить-съ главнаго подъѣзда, такъ что мы не пропустимъ; а я все боялся одинъ пропустить; я не хочу пропустить. Вы, какъ увидите ее, то остановите и закричите мнѣ... Но я съумасшедшій! Только теперь вижу всю глупость и неприличіе моего предложенія!

— Нѣтъ, что-жь! Помилуйте!..

— Не извиняйте меня; я въ разстройствѣ духа, я теряюсь, какъ никогда не терялся! Точно меня подъ судъ отдали! Я даже признаюсь вамъ—я буду благороденъ и откровененъ съ вами, молодой человѣкъ; я даже васъ принималъ за любовника!

— То есть, по просту, вы хотите знать, что̀ я здѣсь дѣлаю?

— Благородный человѣкъ, милостивый государь, я далекъ отъ мысли, что вы *онъ*; я не замараю васъ этою мыслію, но... но даете-ли вы мнѣ честное слово, что вы не любовникъ?..

— Ну, хорошо, извольте честное слово, что любовникъ, но не вашей жены; иначе-бы я не былъ на улицѣ, а былъ бы теперь вмѣстѣ съ нею!

— Жены? Кто вамъ сказалъ жены, молодой человѣкъ? Я холостой, я, то есть, самъ любовникъ...

— Вы говорили, есть мужъ... на Вознесенскомъ мосту...

— Конечно, конечно, я заговариваюсь; но есть другія узы! И согласитесь, молодой человѣкъ, нѣкоторая легкость характеровъ, то есть...

— Ну, ну! Хорошо, хорошо!..

— То есть, я вовсе не мужъ...

— Очень вѣрно-съ. Но откровенно говорю вамъ, что, разувѣряя васъ теперь, хочу самъ себя успокоить, и оттого собственно съ вами и откровененъ; вы меня разстроили и мѣшаете мнѣ. Обѣщаю вамъ, что кликну васъ. Но прошу васъ покорнѣйше дать мнѣ мѣсто и удалиться. Я самъ тоже жду.

— Извольте, извольте-съ, я удаляюсь, я уважаю страстное нетерпѣніе вашего сердца. Я понимаю это, молодой человѣкъ. О, какъ васъ я теперь понимаю!

— Хорошо, хорошо...

— До свиданія!.. Впрочемъ, извините, молодой человѣкъ, я опять къ вамъ... Я не знаю, какъ сказать... Дайте мнѣ еще разъ честное и благородное слово, что вы не любовникъ!

— Ахъ, Господи, Богъ мой!

— Еще вопросъ, послѣдній: вы знаете фамилію мужа вашей... то есть той, которая составляетъ вашъ предметъ?

— Разумѣется, знаю; не ваша фамилія и кончено дѣло!

— А почему-жь вы знаете мою фамилію?

— Да послушайте, ступайте; вы теряете время: она уйдетъ тысячу разъ... Ну, что-же вы? Ну, ваша въ лисьемъ салопѣ и въ капорѣ, а моя въ клѣтчатомъ плащѣ и въ голубой бархатной шляпкѣ... Ну, что-жь вамъ еще? Чего-жь больше?

— Въ голубой бархатной шляпкѣ! У ней есть и клѣтчатый плащъ и голубая шляпка, закричалъ неотвязчивый человѣкъ, мигомъ возвратившись съ дороги.

— Ахъ, чортъ возьми! Ну, да вѣдь это можетъ случиться... Да, впрочемъ, что-жь я? Моя-же туда не ходитъ!

— А гдѣ она—ваша?

— Вамъ это хочется знать; что-жь вамъ?

— Признаюсь, я все про то...

— Фу, Богъ мой! Да вы безъ стыда безъ всякаго. Ну, у моей здѣсь знакомые, въ третьемъ этажѣ, на улицу. Ну, что-жь вамъ, по именамъ людей называть, что-ли?

— Богъ мой! И у меня есть знакомые въ третьемъ этажѣ, и окна на улицу... Генералъ...

— Генералъ?!

— Генералъ. Я вамъ, пожалуй, скажу, какой генералъ: ну, генералъ Половицынъ.

— Вотъ тебѣ на! Нѣтъ, это не тѣ! (Ахъ, чортъ возьми! чортъ возьми!)

— Не тѣ?

— Не тѣ.

Оба молчали и въ недоумѣніи смотрѣли другъ на друга.

— Ну, что-жь вы такъ смотрите на меня? вскрикнулъ молодой человѣкъ, съ досадою отряхивая съ себя столбнякъ и раздумье.—Господинъ заметался.

— Я, я, признаюсь...

— Нѣтъ, ужь позвольте, позвольте, теперь будемте говорить умнѣе. Общее дѣло. Объясните мнѣ... Кто у васъ тамъ?..

— То есть, знакомые?

— Да, знакомые...

— Вотъ видите, видите! Я по глазамъ вашимъ вижу, что я угадалъ!

— Чортъ возьми! Да нѣтъ-же, нѣтъ, чортъ возьми! Слѣпы вы, что-ли? Вѣдь я передъ вами стою, вѣдь я не съ ней нахожусь. Ну! ну-же! Да, впрочемъ, мнѣ все равно; хоть говорите, хоть нѣтъ!

Молодой человѣкъ въ бѣшенствѣ повернулся два раза на каблукѣ и махнулъ рукой.

— Да я ничего, помилуйте, какъ благородный человѣкъ, я вамъ все разскажу: сначала жена сюда ходила одна; она имъ родня; я и не подозрѣвалъ; вчера встрѣчаю его превосходительство: говоритъ, что ужь три недѣли, какъ переѣхалъ отсюда на другую квартиру, а же... то есть не жена, а чужая жена (на Вознесенскомъ мосту), эта дама говорила, что еще третьяго дня была у нихъ, то есть на этой квартирѣ... А кухарка-то мнѣ разсказала, что квартиру его превосходительства снялъ молодой человѣкъ Бобыницынъ...

— Ахъ, чортъ возьми, чортъ возьми!..

— Милостивый государь, я въ страхѣ, я въ ужасѣ!

— Э, чортъ возьми! Да мнѣ-то какое дѣло до того, что вы въ страхѣ и въ ужасѣ? Ахъ! Вонъ-вонъ мелькнуло, вонъ...

— Гдѣ? гдѣ? Вы только крикните: Иванъ Андреичъ, а я побѣгу...

— Хорошо, хорошо. Ахъ, чортъ возьми, чортъ возьми! Иванъ Андреичъ!!

— Здѣсь, закричалъ воротившійся Иванъ Андреичъ, совсѣмъ задыхаясь.—Ну, что? Что? Гдѣ?

— Нѣтъ, я только такъ... я хотѣлъ знать, какъ зовутъ эту даму?

— Глаф...

— Глафира?

— Нѣтъ, не совсѣмъ Глафира... извините, я вамъ не могу сказать ея имя. Говоря это, почтенный человѣкъ былъ блѣденъ какъ платокъ.

— Да, конечно, не Глафира, я самъ знаю, что не Глафира, и та не Глафира; а, впрочемъ, съ кѣмъ-же она?

— Гдѣ?

— Тамъ! Ахъ, чортъ возьми, чортъ возьми! (Молодой человѣкъ не могъ устоять на мѣстѣ отъ бѣшенства).

— А, видите! Почему-же вы знали, что ее зовутъ Глафирой?

— Ну, чортъ возьми, наконецъ! Еще съ вами возня! Да вѣдь вы говорите вашу не Глафирой зовутъ!..

— Милостивый государь, какой тонъ!

— А, чортъ, не до тону! Что она, жена, что-ли ваша?

— Нѣтъ, то есть, я не женатъ... Но не сталъ-бы я сулить почтенному человѣку въ несчастіи, человѣку—не скажу достойному всякаго уваженія, но, по крайней мѣрѣ, воспитанному человѣку, чорта на каждомъ шагу. Вы все говорите: чортъ возьми! чортъ возьми!

— Ну да, чортъ возьми! Вотъ-же вамъ, понимаете?

— Вы ослѣплены гнѣвомъ, и я молчу. Боже мой, кто это?

— Гдѣ?

Раздался шумъ и хохотъ; двѣ смазливыя дѣвушки вышли съ крыльца; оба бросились къ нимъ.

— Ахъ какіе! Что вы?

— Куда вы суетесь?

— Не тѣ!

— Что, не на тѣхъ напали! Извощикъ

— Куда васъ, мамзель?

— Къ Покрову; садись, Аннушка, я довезу.

— Ну, а я съ той стороны; пошелъ! Смотри-же, шибче вези...

Извощикъ уѣхалъ.

— Это откуда?

— Боже мой, Боже! Но не пойдти-ли туда!

— Куда?

— Да къ Бобыницыну.

— Нѣтъ-съ, нельзя...

— Отчего?

— Я-бы, конечно, пошелъ; но тогда она скажетъ другое; она... обернется; я ее знаю! Она скажетъ, что нарочно пришла, чтобъ меня поймать съ кѣмъ нибудь, да бѣду на меня-же и свалитъ!

— И знать, что, можетъ быть, тамъ она! Да вы—я не знаю, почему-же—ну, да вы подите къ генералу-то...

— Да вѣдь онъ переѣхалъ!

— Все равно, понимаете? Она-же вѣдь пошла; ну, и вы тоже — поняли? Сдѣлайте такъ, что какъ будто не знаете, что генералъ переѣхалъ, приходите какъ будто къ нему за женой, ну и такъ далѣе.

— А потомъ?

— Ну, а потомъ накрывайте кого слѣдуетъ у Бобыницына; фу, ты, чортъ, какой безтолк...

— Ну, а вамъ-то что до того, что я накрываю? Видите, видите!..

— Что, что, батенька, Что? Опять за тоже, что прежде? Ахъ, ты, Господи, Господи! Срамитесь вы, смѣшной человѣкъ, безтолковый вы человѣкъ!

— Ну, да зачѣмъ-же вы такъ интересуетесь? Вы хотите узнать...

— Что̀ узнать? Что? Ну, да чортъ возьми, не до васъ теперь! Я и одинъ пойду, ступайте, подите прочь; стерегите, бѣгайте тамъ, ну!

— Милостивый государь, вы почти забываетесь! закричалъ господинъ въ енотахъ въ отчаяніи.

— Ну, что-жь? Ну, что-жь, что я забываюсь? проговорилъ молодой человѣкъ, стиснувъ зубы и въ бѣшенствѣ приступая къ господину въ енотахъ:—ну, что-жь? Передъ кѣмъ забываюсь?! загремѣлъ онъ, сжимая кулаки.

— Но, милостивый государь, позвольте...

— Ну, кто вы, передъ кѣмъ забываюсь; какъ ваша фамилія?

— Я не знаю, какъ это, молодой человѣкъ; зачѣмъ-же фамилію?.. Я не могу объявить... Я лучше съ вами пойду. Пойдемте, я не отстану, я на все готовъ... Но повѣрьте, я заслуживаю болѣе вѣжливыхъ выраженій! Не нужно нигдѣ терять присутствія духа, и если вы чѣмъ разстроены—я догадываюсь чѣмъ,—то, по крайней мѣрѣ, забываться не нужно... Вы еще очень, очень молодой человѣкъ!..

— Да что мнѣ, что вы старый? Эка невидаль! Ступайте прочь; чего вы тутъ бѣгаете?..

— Почему-жь я старый? Какой-же я старый? Конечно по званію, но я не бѣгаю...

— Это и видно. Да убирайтесь-же прочь...

— Нѣтъ, ужь я съ вами; вы мнѣ не можете запретить; я тоже замѣшанъ; я съ вами...

— Ну, такъ тиши-же, тише, молчать!..

Оба они взошли на крыльцо и поднялись на лѣстницу въ третій этажъ; было темнехонько.

— Стойте! Есть у васъ спички?

— Спички? Какія спички?

— Вы курите сигары?

— А, да! Есть, есть; здѣсь онѣ, здѣсь; вотъ, постойте... Господинъ въ енотахъ засуетился.

— Фу, какой безтолков... чортъ! Кажется, эта дверь...

— Эта-эта-эта-эта-эта...

— Эта-эта-эта... что вы орете? Тише!..

— Милостивый государь я скрѣпя сердце... вы дерзкій человѣкъ, вотъ что!..

Вспыхнулъ огонь.

— Ну, такъ и есть, вотъ мѣдная дощечка! Вотъ Бобыницынъ; видите: Бобыницынъ?..

— Вижу, вижу!

— Ти...ше! Что, потухла?

— Потухла.

— Нужно постучаться?

— Да, нужно! отозвался господинъ въ енотахъ.

— Стучитесь!

— Нѣтъ, зачѣмъ-же я? Вы начните, вы постучите...

— Трусъ!

— Сами вы трусъ!

— Уб-бир-райтесь-же!

— Я почти раскаяваюсь, что повѣрилъ вамъ тайну; вы...

— Я? Ну, что-жь я?

— Вы воспользовались разстройствомъ моимъ, вы видѣли, то я въ разстроенномъ духѣ...

— А наплевать! Мнѣ смѣшно—вотъ и кончено!

— Зачѣмъ-же вы здѣсь?

— А вы-то зачѣмъ?..

— Прекрасная нравственность! замѣтилъ съ негодованіемъ господинъ въ енотахъ.

— Ну, что вы про нравственность? Вы-то чего?

— А вотъ и безнравственно!

— Что?!!.

— Да, по вашему, каждый обиженный мужъ есть колпакъ!

— Да вы развѣ мужъ? Вѣдь мужъ-то на Вознесенскомъ мосту? Что-жь вамъ-то? Чего вы пристали?

— А вотъ мнѣ кажется, что вы-то и есть любовникъ!..

— Послушайте, если вы будете такъ продолжать, то я долженъ буду признаться, что вы-то и есть колпакъ! То есть знаете кто?

— То есть вы хотите сказать, что я мужъ! сказалъ господинъ въ енотахъ, какъ будто кипяткомъ обваренный, отступая назадъ.

— Тсс! молчать! Слышите...

— Это она.

— Нѣтъ!

— Фу! какъ темно!

Все затихло; въ квартирѣ Бобыницына послышался шумъ.

— За что намъ ссориться, милостивый государь? прошепталъ господинъ въ енотахъ.

— Да вы-же, чортъ возьми, сами обидѣлись!

— Но вы меня вывели изъ послѣднихъ границъ.

— Молчите!

— Согласитесь, что вы еще очень молодой человѣкъ...

— Мо-л-чите-же!

— Конечно, я согласенъ съ вашей идеей, что мужъ въ такомъ положеніи—колпакъ.

— Да замолчите-ли вы? О!..

— Но къ чему-же такое озлобленное преслѣдованіе несчастнаго мужа?..

— Это она!

Но шумъ въ это время умолкъ.

— Она?

— Она! Она! Она! Да вы-то, вы-то изъ чего хлопочете? Вѣдь не ваша бѣда!

— Милостивый государь, милостивый государь! бормоталъ господинъ въ енотахъ, блѣднѣя и всхлипывая:—я, конечно, въ разстройствѣ... вы достаточно видѣли мое униженіе; но теперь ночь, конечно, но завтра... впрочемъ, мы, вѣрно, не встрѣтимся завтра, хотя я и не боюсь встрѣтиться съ вами,—и, это, впрочемъ, не я, это мой пріятель, который на Вознесенскомъ мосту; право, онъ! Это его жена, это чужая жена! Несчастный человѣкъ! Увѣряю васъ. Я съ нимъ знакомъ хорошо; позвольте, я вамъ все разскажу. Я съ нимъ другъ, какъ вы можете видѣть, ибо не сталъ-бы я такъ теперь изъ-за него сокрушаться,—сами видите; я-же нѣсколько разъ ему говорилъ: зачѣмъ ты женишься, милый другъ? Званіе есть у тебя, достатокъ есть у тебя, почтенный ты человѣкъ, что-жь мѣнять это все на прихоть кокетства! Согласитесь! Нѣтъ, женюсь, говоритъ: семейное счастіе... Вотъ и семейное счастіе! Сначала самъ мужей обманывалъ, а теперь и пьетъ чашу... вы извините меня, но это объясненіе было вынуждено необходимостію!.. Онъ несчастный человѣкъ, и пьетъ чашу—вотъ!.. Тутъ господинъ въ енотахъ такъ всхлипнулъ, какъ будто зарыдалъ не на шутку.

— А чортъ-бы взялъ ихъ всѣхъ! Мало-ли дураковъ! Да вы кто такой?

Молодой человѣкъ скрежеталъ зубами отъ бѣшенства.

— Ну, ужь послѣ этого, согласитесь сами... я былъ съ вами благороденъ и откровененъ... этакой тонъ!

— Нѣтъ, позвольте, вы меня извините... какъ ваша фамилія?

— Нѣтъ, зачѣмъ-же фамилія?

— А!!

— Мнѣ нельзя сказать фамилію...

— Шабрина знаете? быстро сказалъ молодой человѣкъ.

— Шабринъ!!!

— Да, Шабринъ! А!!! (Тутъ господинъ въ бекешѣ нѣсколько поддразнилъ господина въ энотахъ).—Поняли дѣло?

— Нѣтъ-съ, какой-же Шабринъ! отвѣчалъ оторопѣвшій господинъ въ енотахъ:—совсѣмъ не Шабринъ; онъ почтенный человѣкъ! Извиняю вашу невѣжливость мученіями ревности.

— Мошенникъ онъ, продажная душа, взяточникъ, плутъ, казну обворовалъ! Его скоро подъ судъ отдадутъ!

— Извините, говорилъ господинъ въ енотахъ, блѣднѣя: — вы его не знаете; совершенно, какъ я вижу, онъ вамъ не извѣстенъ.

— Да, въ лицо-то не знаю, а изъ другихъ очень близкихъ ему источниковъ знаю.

— Милостивый государь, изъ какихъ источниковъ? Я въ разстройствѣ, вы видите...

— Дуракъ! Ревнивецъ! За женой не усмотритъ! Вотъ онъ какой, коль пріятно вамъ знать!

— Извините, вы въ ожесточенномъ заблужденіи, молодой человѣкъ...

— Ахъ!

— Ахъ!

Въ квартирѣ Бобыницына послышался шумъ. Стали отворять дверь. Послышались голоса.

— Ахъ, это не она, не она! Я узнаю ея голосъ; я теперь узналъ все, это не она! сказалъ господинъ въ енотахъ, поблѣднѣвъ какъ платокъ.

— Молчать!

Молодой человѣкъ прислонился къ стѣнѣ.

— Милостивый государь, я бѣгу: это не она, я очень радъ.

— Ну, ну! Ступайте, ступайте!

— А чего-жь вы стоите?

— А вы-то чего?

Дверь отворилась, и господинъ въ енотахъ, не выдержавъ, стремглавъ покатился съ лѣстницы.

Мимо молодаго человѣка прошли мужчина и женщина, и сердце его замерло... Послышался знакомый женскій голосъ, и потомъ сиплый мужской, но совсѣмъ не знакомый.

— Ничего, я прикажу сани подать, говорилъ сиплый голосъ.

— Ахъ! ну, ну, согласна; ну, прикажите...

— Они тамъ, сейчасъ.

Дама осталась одна.

— Глафира! Гдѣ твои клятвы? вскричалъ молодой человѣкъ въ бекешѣ, хватая за руку даму.

— Ай, кто это? Это вы, Твороговъ? Боже мой! Что вы дѣлаете?

— Съ кѣмъ вы здѣсь были?

— Но это мой мужъ, уйдите, уйдите, онъ сейчасъ выйдетъ оттуда... отъ Половицыныхъ; уйдите, ради Бога, уйдите.

— Половицыны три недѣли какъ переѣхали! Я все знаю!

— Ай! Дама бросилась на крыльцо. Молодой человѣкъ догналъ ее.

— Кто вамъ сказалъ? спросила дама.

— Мужъ вашъ, сударыня, Иванъ Андреичъ; онъ здѣсь, онъ передъ вами, сударыня...

Иванъ Андреичъ дѣйствительно стоялъ у крыльца.

— Ай, это вы? закричалъ господинъ въ енотовой шубѣ.

— А! c'est vous? закричала Глафира Петровна, съ неподдѣльною радостью бросаясь къ нему:—Боже! Что со мной было? Я была у Половицыныхъ; можешь себѣ представить... ты знаешь, что они теперь у Измайловскаго моста; я говорила тебѣ, помнишь? Я взяла сани оттудова. Лошади взбѣсились, понесли, разбили сани, и я упала отсюда во ста шагахъ; кучера взяли; я была внѣ себя. Къ счастію, m-r Твороговъ...

— Какъ?

M-r Твороговъ походилъ болѣе на окаменѣлость, чѣмъ на m-r Творогова.

— M-r Твороговъ увидалъ меня здѣсь и взялся проводить; но теперь вы здѣсь, и я могу вамъ только изъявить мою жаркую благодарность, Иванъ Ильичъ...

Дама подала руку остолбенѣлому Ивану Ильичу и почти ущипнула, а не сжала ее.

— M-r Твороговъ! мой знакомый; на балѣ у Скорлуповыхъ

имѣли удовольствіе видѣться; я, кажется, говорила тебѣ? Неужели ты не помнишь, Коко?

— Ахъ, конечно, конечно! Ахъ, помню! заговорилъ господинъ въ енотовой шубѣ, котораго называли Коко.—Очень пріятно, очень пріятно.

И онъ жарко пожалъ руку господину Творогову.

— Это съ кѣмъ? Что-же это значитъ? Я жду... раздался сиплый голосъ.

Передъ группой стоялъ господинъ безконечнаго роста; онъ вынулъ лорнетъ и внимательно посмотрѣлъ на господина въ енотовой шубѣ.

— Ахъ, m-r Бобыницынъ! защебетала дама:—откудова? Вотъ встрѣча! Представьте, меня тотчасъ разбили лошади... но вотъ мой мужъ! Jean! M-r Бобыницынъ, на балѣ у Карповыхъ...

— Ахъ, очень, очень, очень пріятно!.. Но я сейчасъ возьму карету, мой другъ.

— Возьми, Jean, возьми: я вся въ испугѣ; я дрожу; со мной даже дурно... Сегодня въ маскарадѣ, шепнула она Творогову... Прощайте, прощайте, господинъ Бобыницынъ! Мы вѣрно встрѣтимся завтра на балѣ у Карповыхъ...

— Нѣтъ, извините, я завтра не буду; я ужь завтра того, коль теперь не такъ... Господинъ Бобыницынъ проворчалъ что-то еще сквозь зубы, шаркнулъ сапожищемъ, сѣлъ въ свои сани и уѣхалъ.

Подъѣхала карета; дама сѣла въ нее. Господинъ въ енотовой шубѣ остановился; казалось, онъ не въ силахъ былъ сдѣлать движенія и безсмысленно смотрѣлъ на господина въ бекешѣ. Господинъ въ бекешѣ улыбался довольно неостроумно.

— Я не знаю...

— Извините, очень радъ быть знакомымъ, отвѣчалъ молодой человѣкъ, кланяясь съ любопытствомъ и немного сробѣвъ...

— Очень, очень радъ...

— У васъ, кажется, свалилась калоша...

— У меня? Ахъ, да! Благодарю, благодарю; хочу все завести резинныя...

— Въ резинныхъ нога какъ будто потѣетъ-съ, сказалъ молодой человѣкъ, повидимому, съ безграничнымъ участіемъ.

— Jean! Да скоро-ли ты?

— Именно потѣетъ. Сейчасъ, сейчасъ, душенька, вотъ разговоръ интересный! Именно, какъ вы изволили замѣтить, потѣетъ нога... Впрочемъ, извините, я...

— Помилуйте-съ.

— Очень, очень, очень радъ познакомиться...

Господинъ въ енотахъ сѣлъ въ карету; карета тронулась; молодой человѣкъ все еще стоялъ на мѣстѣ, въ изумленіи провожая ее глазами.

II.

На другой-же вечеръ шло какое-то представленіе въ итальянской оперѣ. Иванъ Андреевичъ ворвался въ залу какъ бомба. Еще никогда не замѣчали въ немъ такого furore, такой страсти къ музыкѣ. По крайней мѣрѣ, положительно знали, что Иванъ Андреевичъ чрезвычайно любилъ всхрапнуть часокъ—другой въ итальянской оперѣ; даже отзывался нѣсколько разъ, что оно и пріятно, и сладко; «да и примадонна-то тебѣ», говаривалъ онъ друзьямъ: «мяукаетъ, словно бѣленькая кошечка, колыбельную пѣсенку». Но онъ это уже давно что-то говаривалъ, еще въ прошлый сезонъ; а теперь, увы! Иванъ Андреевичъ и дома не спитъ по ночамъ. Однако-жь, онъ всетаки ворвался, какъ бомба, въ залу, набитую биткомъ. Даже капельдинеръ взглянулъ на него какъ-то подозрительно и тутъ-же накосился глазомъ на его боковой карманъ, въ полной надеждѣ увидѣть ручку припрятаннаго на всякій случай кинжала. Нужно замѣтить, что въ то время процвѣтали двѣ партіи, и каждая стояла за свою примадонну. Одни назывались ****зисты*, другіе ****нисты*. Обѣ партіи до того любили музыку, что капельдинеры, наконецъ, рѣшительно стали опасаться какого нибудь очень рѣшительнаго проявленія любви ко всему прекрасному и высокому, совмѣщающемуся въ двухъ примадоннахъ. Вотъ почему, смотря на такой юношескій порывъ въ залу театра даже сѣдовласаго старца, хотя, впрочемъ, не совсѣмъ сѣдовласаго, а такъ, около пятидесяти лѣтъ, плѣшивенькаго, и вообще человѣка съ виду солиднаго свойства, капельдинеръ невольно вспомнилъ высокія слова Гамлета, датскаго принца:

Когда ужъ старость падаетъ такъ страшно,
Что-жъ юность?.. и т. д.

и, какъ было сказано выше, накосился на боковой карманъ фрака, въ надеждѣ увидѣть кинжалъ. Но тамъ былъ только одинъ бумажникъ и болѣе ничего.

Влетѣвъ въ театръ, Иванъ Андреевичъ мигомъ облетѣлъ

взглядомъ всѣ ложи втораго яруса и—о, ужасъ! Сердце его замерло: она была здѣсь! Она сидѣла въ ложѣ! Тутъ былъ и генералъ Половицынъ съ супругою и свояченицею; тутъ былъ и адъютантъ генерала,—чрезвычайно ловкій молодой человѣкъ; тутъ былъ еще одинъ статскій... Иванъ Андреевичъ напрягъ все вниманіе, всю остроту зрѣнія, но—о, ужасъ! Статскій человѣкъ предательски спрятался за адъютанта и остался во мракѣ неизвѣстности.

Она была здѣсь, а между тѣмъ сказала, что будетъ вовсе не здѣсь!

Вотъ эта-то двойственность, проявлявшаяся съ нѣкотораго времени на каждомъ шагу Глафиры Петровны, и убивала Ивана Андреевича. Вотъ этотъ-то статскій юноша и повергъ его, наконецъ, въ совершенное отчаяніе. Онъ опустился въ кресла совсѣмъ пораженный. Отчего-бы, кажется? Случай очень простой...

Нужно замѣтить, что кресла Ивана Андреевича приходились именно возлѣ бенуара, и въ добавокъ предательская ложа втораго яруса приходилась прямо надъ его креслами, такъ что онъ, къ величайшей своей непріятности, рѣшительно не могъ замѣтить, что дѣлалось надъ его головою. Зато онъ злился и горячился какъ самоваръ. Весь первый актъ прошелъ для него незамѣтно, то есть, онъ не слыхалъ ни одной ноты. Говорятъ, что музыка тѣмъ и хороша, что можно настроить музыкальныя впечатлѣнія подъ ладъ всякаго ощущенія. Радующійся человѣкъ найдетъ въ звукахъ радость, печальный — печаль; въ ушахъ Ивана Андреевича завывала цѣлая буря. Къ довершенію досады, сзади, спереди, съ боку кричали такіе страшные голоса, что у Ивана Андреевича разрывалось сердце. Наконецъ, актъ кончился. Но въ ту минуту, какъ падалъ занавѣсъ, съ нашимъ героемъ случилось такое приключеніе, которое никакое перо не опишетъ.

Случается, что иногда съ верхнихъ ярусовъ ложъ слетаетъ афишка. Когда пьеса скучна и зрители зѣваютъ, для нихъ это цѣлое приключеніе. Особенно съ участіемъ смотрятъ они на полетъ этой чрезвычайно мягкой бумаги съ самаго верхняго яруса и находятъ пріятность слѣдить за ея путешествіемъ зигзагами до самыхъ креселъ, гдѣ она непремѣнно уляжется на чью нибудь, вовсе неприготовленную къ этому случаю голову. Дѣйствительно, очень любопытно смотрѣть, какъ эта голова сконфузится (потому что она непремѣнно сконфузится). Мнѣ всегда тоже бываетъ страшно за дамскіе бинокли, которые лежатъ за-

частую на бордюрахъ ложъ; мнѣ все такъ и кажется, что они вотъ тотчасъ слетятъ на чью нибудь неприготовленную къ этому случаю голову. Но я вижу, что некстати сдѣлалъ такое трагическое примѣчаніе и потому отсылаю его къ фельетонамъ тѣхъ газетъ, которыя предохраняютъ отъ обмановъ, отъ недобросовѣстности, отъ таракановъ, если они у васъ въ домѣ, рекомендуя извѣстнаго г-на Принчипе, страшнаго врага и противника всѣхъ таракановъ на свѣтѣ, не только русскихъ, но даже и иностранныхъ, какъ-то пруссаковъ и проч.

Но съ Иваномъ Андреевичемъ случилось приключеніе, до сихъ поръ еще нигдѣ неописанное. Къ нему слетѣла на голову—какъ уже сказано, довольно плѣшивую—не афишка. Признаюсь, я, даже совѣщусь сказать, что̀ къ нему слетѣло на голову, потому что, дѣйствительно, какъ-то совѣстно объявить, что на почтенную и обнаженную, то есть отчасти лишенную волосъ голову ревниваго, раздраженнаго Ивана Андреевича слетѣлъ такой безнравственный предметъ, какъ напримѣръ, любовная раздушенная записочка. По крайней мѣрѣ, бѣдный Иванъ Андреевичъ, совершенно неприготовленный къ этому непредвидѣнному и безобразному случаю, вздрогнулъ такъ, какъ будто поймалъ на своей головѣ мышь или другаго какого нибудь дикаго звѣря.

Что записка была любовнаго содержанія, въ этомъ ошибаться было нельзя. Она была писана на раздушенной бумажкѣ, совершенно такъ, какъ пишутся записки въ романахъ, и сложена въ предательски малую форму, такъ что ее можно было скрыть подъ дамской перчаткой. Упала-же она, вѣроятно, по случаю, во время самой передачи; какъ нибудь спрашивали, напримѣръ, афишку, и ужь записочка проворно была ввернута въ эту афишку, уже передавалась въ извѣстныя руки, но одинъ мигъ, можетъ быть, нечаянный толчокъ адъютанта, чрезвычайно ловко извинившагося въ своей неловкости, и записочка выскользнула изъ маленькой дрожавшей отъ смущенія ручки, а статскій юноша, уже протягивавшій свою нетерпѣливую руку, вдругъ получаетъ, вмѣсто записки, одну афишку, съ которой рѣшительно не знаетъ что дѣлать. Непріятный, странный случай! совершенная правда, но, согласитесь сами, Ивану Андреевичу было еще непріятнѣе.

— Predestiné, прошепталъ онъ, обливаясь холоднымъ потомъ и сжимая записочку въ рукахъ: predestiné! Пуля найдетъ виноватаго! промелькнуло въ его головѣ: нѣтъ, не то! Чѣмъ-же я виноватъ? А вотъ, тамъ есть другая пословица: на бѣднаго Макара и т. д.

Но мало-ли что̀ начнетъ перезванивать въ головѣ, оглушенной такимъ внезапнымъ происшествіемъ! Иванъ Андреевичъ сидѣлъ на стулѣ окостенѣвъ, какъ говорится, ни живъ, ни мертвъ. Онъ увѣренъ былъ, что его приключеніе замѣчено со всѣхъ сторонъ, не смотря на то, что во всей залѣ, въ это самое время. началась суматоха и вызовъ пѣвицы. Онъ сидѣлъ такъ сконфузившись, такъ покраснѣвъ и не смѣя поднять глазъ какъ будто съ нимъ случилась какая нибудь неожиданная непріятность, какой нибудь диссонансъ въ прекрасномъ, многолюдномъ обществѣ. Наконецъ, онъ рѣшился поднять глаза.

— Пріятно пѣли-съ! замѣтилъ онъ одному франту, сидѣвшему по лѣвую его сторону.

Франтъ, который былъ въ послѣдней степени энтузіазма и хлопалъ руками, но преимущественно выѣзжалъ на ногахъ, бѣгло и разсѣянно взглянулъ на Ивана Андреевича и, тотчасъже сдѣлавъ руками щитокъ надъ своимъ ртомъ, чтобъ было слышнѣе, крикнулъ имя пѣвицы. Иванъ Андреевичъ, который еще никогда не слыхалъ подобной глотки, былъ въ восторгѣ. «Ничего не замѣтилъ!» подумалъ онъ и обратился назадъ. Но толстый господинъ, сидѣвшій сзади его, теперь, въ свою очередь сталъ къ нему задомъ и лорнировалъ ложи. «Тоже хорошо!» подумалъ Иванъ Андреевичъ. Впереди, разумѣется, ничего не видали. Онъ робко и съ радостной надеждой покосился на бенуаръ, возлѣ котораго были его кресла, и вздрогнулъ отъ самаго непріятнаго чувства. Тамъ сидѣла прекрасная дама, которая, закрывъ ротъ платкомъ и упавъ на спинку креселъ, хохотала какъ изступленная.

— Охъ, ужь эти мнѣ женщины! прошепталъ Иванъ Андреевичъ и пустился по ногамъ зрителей къ выходу.

Теперь я предлагаю рѣшить самимъ читателямъ, я прошу ихъ самихъ разсудить меня съ Иваномъ Андреевичемъ. Неужели правъ былъ онъ въ эту минуту? Большой театръ, какъ извѣстно, заключаетъ въ себѣ четыре яруса ложъ и пятый ярусъ — галлерею. Почему-же непремѣнно предположить, что записка упала именно изъ одной ложи, именно изъ этой самой, а не другой какой нибудь, — напримѣръ, хоть изъ пятаго яруса, гдѣ тоже бываютъ дамы? Но страсть исключительна, а ревность — самая исключительная страсть въ мірѣ.

Иванъ Андреевичъ бросился въ фойе, сталъ у лампы, сломалъ печать и прочелъ:

«Сегодня, сейчасъ послѣ спектакля, въ Г — вой, на углу

скаго переулка, въ домѣ К, въ третьемъ этажѣ, направо отъ лѣстницы. Входъ съ подъѣзда. Будь тамъ, sans faute; ради Бога».

Руки Иванъ Андреевичъ не узналъ, но сомнѣнія нѣтъ: назначалось свиданіе. «Поймать, изловить и пресѣчь зло въ самомъ началѣ», была первая идея Ивана Андреевича. Ему было пришло въ голову изобличить теперь-же, тутъ-же на мѣстѣ; но какъ это сдѣлать? Иванъ Андреевичъ взбѣжалъ даже во второй ярусъ, но благоразумно воротился. Рѣшительно онъ не зналъ: куда бѣжать. Отъ нечего дѣлать, онъ забѣжалъ съ другой стороны и посмотрѣлъ чрезъ открытую дверь чужой ложи на противоположную сторону. Такъ, такъ! Во всѣхъ пяти ярусахъ по вертикальному направленію сидѣли молодыя дамы и молодые люди. Записка могла упасть изъ всѣхъ пяти ярусовъ разомъ, потому что Иванъ Андреевичъ подозрѣвалъ рѣшительно всѣ ярусы въ заговорѣ противъ него. Но его ничто не исправило, никакія видимости. Весь второй актъ онъ бѣгалъ по всѣмъ корридорамъ и нигдѣ не находилъ спокойствія духа. Онъ было сунулся въ кассу театра, въ надеждѣ узнать отъ кассира имена особъ, взявшихъ ложи во всѣхъ четырехъ ярусахъ, но касса уже была заперта. Наконецъ, раздались неистовыя восклицанія и апплодисменты. Представленіе кончилось. Начинались вызовы и особенно гремѣли съ самаго верха два голоса,—предводители обѣихъ партій. Но не до нихъ было дѣло Ивану Андреевичу. У него уже мелькнула мысль дальнѣйшаго его поведенія. Онъ надѣлъ бекешь и пустился въ Г — вую, чтобъ тамъ застать, накрыть, изобличить и вообще поступить немного энергичнѣе, чѣмъ вчерашній день. Онъ скоро нашелъ домъ и уже ступилъ на подъѣздъ, какъ вдругъ, словно подъ руками, у него прошмыгнула фигура франта въ пальто, обогнала его и пустилась по лѣстницѣ въ третій этажъ. Ивану Андреевичу показалось, что это тотъ самый франтъ, хотя онъ не могъ различить и тогда лицо этого франта. Сердце въ немъ замерло. Франтъ обогналъ его уже двумя лѣстницами. Наконецъ, онъ услышалъ, какъ отворилась дверь въ третьемъ этажѣ, и отворилась безъ звонка какъ будто ждали пришедшаго. Молодой человѣкъ промелькнулъ въ квартиру. Иванъ Андреевичъ достигъ третьяго этажа, когда не успѣли еще затворить эту дверь. Онъ хотѣлъ было постоять передъ дверью, благоразумно пообдумать свой шагъ, поробѣть немного и потомъ уже рѣшиться на что нибудь очень рѣшительное: но въ эту самую минуту загремѣла карета у подъѣзда,

съ шумомъ отворились двери, и чьи-то тяжелые шаги начали съ кряхтомъ и кашлемъ свое восшествіе въ верхній этажъ. Иванъ Андреевичъ не устоялъ, отворилъ дверь и очутился въ квартирѣ со всею торжественностью оскорбленнаго мужа. На встрѣчу къ нему бросилась горничная, вся въ волненіи, потомъ явился человѣкъ; но остановить Ивана Андреевича не было никакой возможности. Какъ бомба влетѣлъ онъ въ покои, и, пройдя двѣ темныя комнаты, вдругъ очутился въ спальнѣ передъ молодой, прекрасной дамой, которая вся трепетала отъ страха и смотрѣла на него съ рѣшительнымъ ужасомъ, какъ будто не понимая, что̀ вокругъ нея дѣлается. Въ эту минуту послышались тяжелые шаги въ сосѣдней комнатѣ, которые прямо шли въ спальню: это были тѣ самые шаги, которые всходили на лѣстницу.

— Боже! Это мой мужъ! вскрикнула дама, всплеснувъ руками и поблѣднѣвъ бѣлѣе своего пеньюара.

Иванъ Андреевичъ почувствовалъ, что онъ не туда попалъ, что сдѣлалъ глупую, дѣтскую выходку, что не обдумалъ хорошо своего шага, что не поробѣлъ достаточно на лѣстницѣ. Но дѣлать было нечего. Уже отворилась дверь, уже тяжелый мужъ, если только судить по его тяжелымъ шагамъ, входилъ въ комнату... Не знаю, за кого принялъ себя Иванъ Андреевичъ въ эту минуту! Не знаю, что̀ ему помѣшало прямо стать на встрѣчу мужа, объявить, что попался въ просакъ, сознаться, что безсознательно поступилъ неприличнѣйшимъ образомъ, попросить извиненія и скрыться, — конечно, не съ большою честью, конечно, не со славою, но, по крайней мѣрѣ, уйдти благороднымъ, откровеннымъ образомъ. Но нѣтъ, Иванъ Андреевичъ опять поступилъ какъ мальчикъ, какъ будто-бы считалъ себя Донъ-Жуаномъ или Ловеласомъ! Онъ сначала прикрылся занавѣсками у кровати, а потомъ, когда почувствовалъ себя въ полномъ упадкѣ духа, припалъ на землю и безсмысленно полѣзъ подъ кровать. Испугъ подѣйствовалъ на него сильнѣе благоразумія, и Иванъ Андреевичъ, самъ оскорбленный мужъ, или, по крайней мѣрѣ, считавшій себя такимъ, не вынесъ встрѣчи съ другимъ мужемъ— можетъ быть, боясь оскорбить его своимъ присутствіемъ. Такъ или не такъ, но онъ очутился подъ кроватью, рѣшительно не понимая, какъ это сдѣлалось. Но, что̀ всего удивительнѣе, дама не оказала никакой оппозиціи. Она не закричала, видя, какъ чрезвычайно странный, пожилой господинъ ищетъ убѣжища въ ея спальнѣ. Рѣшительно она была такъ испугана, что, по всей вѣроятности, у нея отнялся языкъ.

Мужъ вошелъ, охая и кряхтя, поздоровался съ женой на распѣвъ, самымъ старческимъ образомъ и свалился на кресла такъ, какъ будто только что принесъ бремя дровъ. Раздался глухой и продолжительный кашель, Иванъ Андреевичъ превратившійся изъ разъяреннаго тигра въ ягненка, оробѣвъ и присмирѣвъ какъ мышенокъ передъ котомъ, едва смѣлъ дышать отъ испуга, хотя и могъ-бы знать, по собственному опыту, что не всѣ оскорбленные мужья кусаются. Но это не пришло ему въ голову или отъ недостатка соображенія, или отъ другаго какого нибудь припадка. Осторожно, тихонько, ощупью, началъ онъ оправляться подъ кроватью, чтобъ какъ нибудь улечься удобнѣе. Каково-же было его изумленіе, когда онъ ощупалъ рукою предметъ, который, къ его величайшему изумленію, пошевелился, и въ свою очередь схватилъ его за руку! Подъ кроватью былъ другой человѣкъ...

— Кто это? — шепнулъ Иванъ Андреевичъ.

— Ну, такъ я вамъ и сказалъ сейчасъ, кто я такой! прошепталъ странный незнакомецъ.—Лежите и молчите, коли попались въ просакъ!

— Однако-же...

— Молчать!

И посторонній человѣкъ (потому что подъ кроватью довольно было и одного), посторонній человѣкъ стиснулъ въ своемъ кулакѣ руку Ивана Андреевича такъ, что тотъ едва не вскрикнулъ отъ боли.

— Милостивый государь...

— Тсс!

— Такъ не жмите-же меня, или закричу.

— Ну-ка, закричите! Попробуйте!

Иванъ Андреевичъ покраснѣлъ отъ стыда. Незнакомецъ былъ суровъ и сердитъ. Можетъ быть, это былъ человѣкъ, испытавшій не разъ гоненія судьбы и не разъ находившійся въ стѣсненномъ положеніи; но Иванъ Андреевичъ былъ новичекъ и задыхался отъ тѣсноты. Кровь била ему въ голову. Однако-жь, неч го было дѣлать; нужно было лежать ничкомъ. Иванъ Андреевичъ покорился и замолчалъ.

— Я, душенька, былъ, началъ мужъ:—я, душенька, былъ у Павла Иваныча. Сѣли мы играть въ преферансъ, да такъ, кхи-кхи-кхи! (онъ закашлялся) такъ... кхи! Такъ спина... кхи! Ну ее!.. Кхи-кхи-кхи!

И старичокъ погрузился въ свой кашель.

— Спина... проговорилъ онъ, наконецъ, со слезами на глазахъ:—спина разболѣлась... геморрой проклятый! Ни стать, ни сѣсть... ни сѣсть! Акхи-кхи-кхи!..

И казалось, что вновь начавшемуся кашлю суждено было прожить гораздо долѣе, чѣмъ старичку, обладателю этого кашля. Старичокъ что-то ворчалъ языкомъ въ промежуткахъ, но рѣшительно ничего нельзя было разобрать.

— Милостивый государь, ради Бога, подвиньтесь! прошепталъ несчастный Иванъ Андреевичъ.

— Куда прикажете? Мѣста нѣтъ.

— Однако-же, согласитесь сами, мнѣ невозможно такимъ образомъ. Я еще въ первый разъ нахожусь въ такомъ скверномъ положеніи.

— А я въ такомъ непріятномъ сосѣдствѣ.

— Однако-же, молодой человѣкъ...

— Молчать!

— Молчать? Однако, вы поступаете чрезвычайно неучтиво, молодой человѣкъ... Если не ошибаюсь, вы еще очень молодой; я постарше васъ.

— Молчать!

— Милостивый государь! Вы забываетесь; вы не знаете, съ кѣмъ говорите!

— Съ господиномъ, который лежитъ подъ кроватью...

— Но меня привлекъ сюда сюрпризъ... ошибка, а васъ, если не ошибаюсь, безнравственность.

— Вотъ въ этомъ-то вы и ошибаетесь.

— Милостивый государь! Я постарше васъ, я вамъ говорю...

— Милостивый государь! Знаете, что мы здѣсь на одной доскѣ. Прошу васъ, не хватайте меня за лицо!

— Милостивый государь! Я ничего не разберу. Извините меня, но нѣтъ мѣста.

— Зачѣмъ-же вы такой толстый?

— Боже! Я никогда не былъ въ такомъ унизительномъ положеніи!

— Да, ниже лежать нельзя.

— Милостивый государь, милостивый государь! Я не знаю, кто вы такой, я не понимаю, какъ это случилось; но я здѣсь по ошибкѣ; я не то, что̀ вы думаете...

— Я-бы ровно ничего не думалъ объ васъ, если-бъ вы не толкались. Да молчите-же!

— Милостивый государь! Если вы не подвинитесь, со мной

будетъ ударъ. Вы будете отвѣчать за смерть мою. Увѣряю васъ... Я почтенный человѣкъ, я отецъ семейства. Не могу-же я быть въ такомъ положеніи!..

— Сами-же вы сунулись въ такое положеніе. Ну, подвигайтесь-же! Вотъ вамъ мѣсто; больше нельзя!

— Благородный молодой человѣкъ! Милостивый государь! Я вижу, что я въ васъ ошибался, сказалъ Иванъ Андреевичъ въ восторгѣ благодарности за уступленное мѣсто и расправляя затекшіе члены:—я понимаю стѣсненное положеніе ваше, но что-же дѣлать? Вижу, что вы дурно обо мнѣ думаете. Позвольте мнѣ поднять въ вашемъ мнѣніи мою репутацію, позвольте мнѣ сказать, кто я такой, я пришелъ сюда противъ себя, увѣряю васъ; я не затѣмъ, зачѣмъ вы думаете... Я въ ужаснѣйшемъ страхѣ.

— Да замолчите-ли вы? Понимаете-ли, что если услышатъ насъ, будетъ худо? Тсс... Онъ говоритъ. Дѣйствительно, кашель старика, повидимому, начиналъ проходить.

— Такъ вотъ, душенька, хрипѣлъ онъ на самый плачевный напѣвъ:—такъ вотъ, душенька, кхи-кхи! Ахъ! Несчастье! Ѳедосѣй-то Ивановичъ и говоритъ: вы-бы, говоритъ, тысячелиственникъ пить попробовали; слышишь, душенька?

— Слышу, мой другъ.

— Ну, такъ и говоритъ: вы-бы, говоритъ, попробовали тысячелиственникъ пить. Я и говорю: я піявки припускалъ. А онъ мнѣ: нѣтъ, Александръ Демьяновичъ, тысячелиственникъ лучше: онъ открываетъ, я вамъ скажу... Кхи! кхи! Охъ, Боже мой! Какъ-же ты думаешь, душенька? Кхи-кхи! Ахъ! Создатель мой! Кхи-кхи!.. Такъ лучше тысячелиственникъ, что-ли?.. Кхи-кхи-кхи! Ахъ! Кхи! и т. д.

— Я думаю, что попробовать этого средства не худо, отвѣчала супруга.

— Да, не худо! У васъ, говоритъ, пожалуй, чахотка, кхи-кхи! А я говорю: подагра, да раздраженіе въ желудкѣ; кхи-кхи! А онъ мнѣ: можетъ быть, и чахотка. Какъ ты, кхи-кхи! Какъ ты думаешь, душенька: чахотка?

— Ахъ, Боже мой, что это вы говорите такое?

— Да, чахотка! А ты-бы, душенька, раздѣвалась теперь, да спать ложилась, кхи-кхи! А у меня, кхи! сегодня насморкъ.

— Уфъ! сдѣлалъ Иванъ Андреевичъ: ради Бога, подвиньтесь!

— Рѣшительно я вамъ удивляюсь, что съ вами дѣлается, ну, не можете вы спокойно лежать...

— Вы ожесточены противъ меня, молодой человѣкъ; хотите меня уязвить. Я это вижу. Вы, вѣроятно, любовникъ этой дамы?

— Молчать!

— Не буду молчать! Не дамъ вамъ командовать! А, вы вѣрно любовникъ? Если насъ откроютъ, я ни въ чемъ не виноватъ, я ничего не знаю.

— Если вы не замолчите, сказалъ молодой человѣкъ, скрежеща зубами:—я скажу, что вы завлекли меня; я скажу, что вы мой дядя, который промоталъ свое состояніе. Тогда, по крайней мѣрѣ, не подумаютъ, что я любовникъ этой дамы.

— Милостивый государь! Вы издѣваетесь надо мной. Вы истощаете терпѣніе мое.

— Тсс! или я васъ заставлю молчать! Вы несчастье мое! Ну, скажите, на что вы здѣсь? Безъ васъ я-бы пролежалъ какъ нибудь до утра, а тамъ-бы и вышелъ.

— Но я здѣсь не могу-же лежать до утра; я человѣкъ благоразумный; у меня, конечно, связи... Какъ вы думаете, неужели онъ будетъ здѣсь ночевать?

— Кто?

— Да этотъ старикъ...

— Разумѣется, будетъ. Не всѣ-жь такіе мужья, какъ вы. Ночуютъ и дома.

— Милостивый государь, милостивый государь! закричалъ Иванъ Андреевичъ, похолодѣвъ отъ испуга: — будьте увѣрены, что и я тоже дома, а теперь въ первый разъ; но, Боже мой, я вижу, что вы меня знаете. Кто вы такой, молодой человѣкъ? Скажите мнѣ тотчасъ-же, умоляю васъ, изъ безкорыстной дружбы, кто вы таковъ?

— Послушайте! Я употреблю насиліе...

— Но позвольте, позвольте вамъ разсказать, милостивый государь, позвольте вамъ объяснить все это скверное дѣло...

— Никакихъ объясненій не слушаю, ничего знать не хочу. Молчите, или...

— Но я не могу-же...

Подъ кроватью послѣдовала легкая борьба, и Иванъ Андреевичъ умолкъ.

— Душенька, что-то здѣсь какъ будто коты шепчутся?

— Какіе коты? Чего вы не выдумаете?

Очевидно, что супруга не знала, о чемъ разговаривать съ своимъ мужемъ. Она была такъ поражена, что еще не могла опомниться. Теперь-же она вздрогнула и подняла ушки.

— Какіе коты?

— Коты, душенька. Я намедни прихожу, сидитъ васька у меня въ кабинетѣ, шю-шю-шю, и шепчетъ. Я ему: что ты, васенька? а онъ опять: шю-шю-шю! И такъ какъ будто все шепчетъ. Я и думаю: ахъ, отцы мои! Ужь не о смерти-ли онъ мнѣ нашептываетъ?

— Какія глупости вы говорите сегодня! Стыдитесь, пожалуйста.

— Ну, ничего; не сердись, душенька; я вижу, тебѣ непріятно, что я умру, не сердись; я только такъ говорю. А ты-бы душенька, стала раздѣваться и спать легла, а я-бы здѣсь посидѣлъ, пока ты ложиться будешь.

— Ради Бога, полноте; послѣ...

— Ну, не сердись, не сердись! Только, право, здѣсь какъ будто мыши.

— Ну вотъ, то коты, то мыши! Право, я не знаю, что съ вами дѣлается.

— Ну, я ничего, я ни... кхи! Я ничего, кхи-кхи-кхи-кхи! Ахъ, Боже ты мой! Кхи!

— Слышите, вы такъ возитесь, что и онъ услыхалъ, прошепталъ молодой человѣкъ.

— Но если-бъ вы знали, что со мной дѣлается. У меня носомъ кровь идетъ.

— Пусть идетъ, молчите; подождите, когда онъ уйдетъ.

— Молодой человѣкъ, но вникните въ мое положеніе; вѣдь я не знаю, съ кѣмъ я лежу.

— Да легче вамъ отъ этого будетъ, что-ли? Вѣдь я не интересуюсь знать вашу фамилію. Ну, какъ ваша фамилія?

— Нѣтъ, зачѣмъ-же фамилію... Я только интересуюсь объяснить, какимъ безсмысленнымъ образомъ...

— Тсс... онъ опять говоритъ.

— Право, душенька, шепчутся.

— Да нѣтъ-же, это у тебя вата въ ушахъ дурно лежитъ.

— Ахъ, по поводу ваты. Знаешь-ли, тутъ, на верху... кхи-кхи! На верху, кхи-кхи-кхи! и т. д.

— На верху! прошепталъ молодой человѣкъ.—Ахъ, чортъ! А я думалъ, что это послѣдній этажъ; да развѣ это второй?

— Молодой человѣкъ, прошепталъ встрепенувшись Иванъ Андреевичъ: — что вы говорите? Ради Бога, почему это васъ интересуетъ? И я думалъ, что это послѣдній этажъ. Ради Бога, развѣ здѣсь еще этажъ?..

— Право, кто-то ворочается, сказалъ старикъ, переставшій, наконецъ, кашлять...

— Тсс! Слышите! прошепталъ молодой человѣкъ, сдавивъ обѣ руки Ивана Андреевича.

— Милостивый государь, вы держите мои руки въ насиліи. Пустите меня.

— Тсс...

Послѣдовала легкая борьба, и потомъ опять наступило молчаніе.

— Такъ вотъ я и встрѣчаю хорошенькую... началъ старикъ.

— Какъ, хорошенькую? перебила жена.

— Да вѣдь вотъ... говорилъ прежде я, что встрѣтилъ хорошенькую даму на лѣстницѣ, или я пропустилъ? У меня вѣдь память слаба. Это звѣробой... кхи!

— Что?

— Звѣробой пить надо: говорятъ, лучше будетъ... кхи-кхи-кхи! Лучше будетъ!

— Это вы его перебили, проговорилъ молодой человѣкъ, опять заскрежетавъ зубами.

— Ты говорилъ, что встрѣтилъ сегодня хорошенькую какую-то? спросила жена.

— А?

— Хорошенькую встрѣтилъ?

— Кто такой?

— Да ты?

— Я-то? Когда? Да, бишь!..

— Наконецъ-то! Экая мумія! Ну, прошепталъ молодой человѣкъ, мысленно погоняя забывчиваго старичка.

— Милостивый государь! Я трепещу отъ ужаса. Боже мой! что я слышу? Это какъ вчера; рѣшительно, какъ вчера!..

— Тсс...

— Да, да, да! Вспомнилъ: преплутовочка! Глазенки такіе... въ голубой шляпкѣ...

— Въ голубой шляпкѣ! Ай, ай!

— Это она! У ней есть голубая шляпка. Боже мой! закричалъ Иванъ Андреевичъ...

— Она? Кто она? прошепталъ молодой человѣкъ, стиснувъ руки Ивана Андреевича.

— Тсс! сдѣлалъ въ свою очередь Иванъ Андреевичъ:—онъ говоритъ.

— Ахъ, Боже мой! Боже мой!

— Ну, да, впрочемъ, у кого-жь нѣтъ голубой шляпки... ну!

— И такая плутовка! продолжалъ старикъ. — Она тутъ къ какимъ-то знакомымъ приходитъ. Все глазки дѣлаетъ. А къ тѣмъ знакомымъ тоже ходятъ знакомые...

— Фу, какъ это скучно, перебила дама: — помилуй, чѣмъ ты интересуешься?

— Ну, хорошо, ну, ну! Не сердись! возразилъ старичокъ на распѣвъ: — ну, я не буду говорить, коль ты не желаешь. Ты что-то не въ духѣ сегодня...

— Да вы какъ-же сюда попали? заговорилъ молодой человѣкъ...

— А, видите, видите! Вотъ вы теперь интересуетесь, а прежде не хотѣли и слушать!

— Ну, да вѣдь мнѣ все равно! Не говорите, пожалуйста! Ахъ, чортъ возьми, какая исторія!

— Молодой человѣкъ, не сердитесь; я не знаю, что̀ говорю; это я такъ; я только хотѣлъ сказать, что тутъ вѣрно что нибудь не даромъ, что вы принимаете участіе... Но кто вы, молодой человѣкъ? Я вижу, вы незнакомецъ; но кто-же вы, наконецъ? Боже! я не знаю, что̀ говорю!

— Э! подите, пожалуйста! прервалъ молодой человѣкъ, какъ будто что-то обдумывая.

— Но я вамъ все разскажу, все. Вы, можетъ быть, думаете, что я не разскажу, что я золъ на васъ, нѣтъ! Вотъ рука моя! Я только въ упадкѣ духа, больше ничего. Но, ради Бога, скажите мнѣ все сначала: какъ вы здѣсь сами? По какому случаю? Что-же касается до меня, то я не сержусь, ей Богу не сержусь, вотъ вамъ рука моя. Здѣсь только пыльно; я немного запачкалъ ее; но это ничего для высокаго чувства.

— Э, подите съ вашей рукой! Тутъ поворотиться негдѣ, а онъ съ рукой лѣзетъ!

— Но, милостивый государь! Вы со мной обходитесь, какъ будто, съ позволенія сказать, со старой подошвой, проговорилъ Иванъ Андреевичъ въ припадкѣ самаго кроткаго отчаянія, голосомъ, въ которомъ было слышно моленье. — Обходитесь со мной учтивѣе, хоть немножко учтивѣе, и я вамъ все разскажу! Мы-бы полюбили другъ друга; я даже готовъ пригласить васъ къ себѣ на обѣдъ. А этакъ намъ вмѣстѣ лежать нельзя, откровенно скажу. Вы заблуждаетесь, молодой человѣкъ! Вы не знаете...

— Когда-же это онъ ее встрѣтилъ? бормоталъ молодой че-

ловѣкъ, очевидно въ крайнемъ волненіи. Она, можетъ быть, теперь меня ждетъ... Я рѣшительно выйду отсюда!

— Она? Кто она? Боже мой! Про кого вы говорите молодой человѣкъ? Вы думаете, что тамъ наверху... Боже мой! Боже мой! За что я такъ наказанъ?

Иванъ Андреевичъ попробовалъ повернуться на спину, въ знакъ отчаянья.

— А вамъ на что знать, кто она? А, чортъ! Была не была, я вылѣзаю!..

— Милостивый государь! Что вы? А я-то, я-то какъ буду? прошепталъ Иванъ Андреевичъ, въ припадкѣ отчаянія уцѣпившись за фалды фрака своего сосѣда.

— А мнѣ-то что? Ну, и оставайтесь одни. А не хотите, такъ я, пожалуй, скажу, что вы мой дядя, который промоталъ свое состояніе, чтобъ не подумалъ старикъ, что я любовникъ жены его.

— Но, молодой человѣкъ, это невозможно; это ненатурально, коли дядя. Никто но повѣритъ вамъ. Этому вотъ такой маленькій ребенокъ не повѣритъ, шепталъ въ отчаяніи Иванъ Андреевичъ.

— Ну, такъ не болтайте-же, а лежите себѣ смирно пластомъ! Пожалуй, ночуйте здѣсь, а завтра какъ нибудь вылѣзете; васъ никто не замѣтитъ; ужь коли одинъ вылѣзъ, такъ вѣрно не подумаютъ, что еще остался другой. Еще-бы сидѣла цѣлая дюжина. Впрочемъ, вы и одинъ стоите дюжины. Подвигайтесь, или я выйду!

— Вы язвите меня, молодой человѣкъ... А что, если я закашляюсь? Нужно все предвидѣть!

— Тсс!..

— Что это? Какъ будто на верху я опять слышу возню, проговорилъ старичокъ, который тѣмъ временемъ, кажется, успѣлъ задремать.

— На верху?

— Слышите, молодой человѣкъ, на верху?

— Ну, слышу!

— Боже мой! Молодой человѣкъ, я выйду.

— А я такъ не выйду! Мнѣ все равно! Ужь если разстроилось, такъ все равно! А знаете-ли, что я подозрѣваю? Я подозрѣваю, что вы-то и есть какой нибудь обманутый мужъ—вотъ что!..

— Боже, какой цинизмъ!.. Неужели вы это подозрѣваете? Но почему-же именно мужъ... я не женатъ.

— Какъ не женатъ? Дудки!

— Я, можетъ быть, самъ любовникъ!

— Хорошъ любовникъ!

— Милостивый государь, милостивый государь! Ну, хорошо, я все вамъ разскажу. Вонмите моему отчаянью. Это не я, я не женатъ. Я тоже холостой, какъ и вы. Это другъ мой, товарищъ дѣтства... а я любовникъ... Говоритъ мнѣ: «я несчастный человѣкъ, я, говоритъ, пью чашу, я подозрѣваю жену свою».—Но, говорю я ему благоразумно:—за что-же ты ее подозрѣваешь?.. Но вы не слушаете меня. Слушайте, слушайте! — Ревность смѣшна, говорю, ревность порокъ!.. «Нѣтъ», говоритъ: «я несчастный человѣкъ! Я того... чашу, то есть, я подозрѣваю. — Ты, говорю, мой другъ, ты товарищъ моего нѣжнаго дѣтства. Мы вмѣстѣ срывали цвѣты удовольствія, тонули на пуховикахъ наслажденія.—Боже, я не знаю, что̀ говорю. Вы все смѣетесь, молодой человѣкъ. Вы сдѣлаете меня съумасшедшимъ.

— Да вы и теперь съумасшедшій!..

— Такъ, такъ, я и предчувствовалъ, что вы это скажете... когда говорилъ про съумасшедшаго. Смѣйтесь, смѣйтесь, молодой человѣкъ! Также и я процвѣталъ въ свое время, также и я соблазнялъ. Ахъ! У меня сдѣлается воспаленіе въ мозгу!

— Что это, душенька, какъ будто у насъ кто-то чихаетъ? пропѣлъ старичокъ!—это ты, душка, чихнула?

— О, Боже мой! проговорила супруга.

— Тсс! раздалось подъ кроватью.

— Это на верху, вѣрно, стучатъ, замѣтила жена, испугавшись, потому что подъ кроватью, дѣйствительно, становилось шумно.

— Да, на верху! проговорилъ мужъ.—На верху! Говорилъ я тебѣ, что я франтика—кхи-кхи! Франтика съ усиками—кхи-кхи! Охъ, Богъ мой — спина!.. франтика сейчасъ встрѣтилъ съ усиками!

— Съ усиками! Боже мой, это вѣрно вы, прошепталъ Иванъ Андреевичъ.

— Создатель мой, какой человѣкъ! Да вѣдь я здѣсь, здѣсь вмѣстѣ съ вами лежу! Какъ-же-бы онъ меня встрѣтилъ? Да не хватайте меня за лицо!

— Боже, со мной сейчасъ будетъ обморокъ.

Въ это время на верху, дѣйствительно, послышался шумъ

— Что-бы тамъ было? прошепталъ молодой человѣкъ.

— Милостивый государь! Я въ страхѣ, я въ ужасѣ. Помогите мнѣ.

— Тсс!

— Дѣйствительно, душка, шумъ; цѣлый гвалтъ подымаютъ. Да еще надъ твоей спальней. Не послать-ли спросить.

— Ну, вотъ! Чего ты не выдумаешь!

— Ну, я не буду; право, ты такая сегодня сердитая!..

— О, Боже мой! Вы-бы шли спать.

— Лиза! Ты меня вовсе не любишь.

— Ахъ, люблю! Ради Бога, я такъ устала.

— Ну, ну! Я уйду.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Не уходите, закричала жена: — или нѣтъ, идите, идите!

— Да что это ты, въ самомъ дѣлѣ! То уходите, то не уходите! Кхи-кхи! А и вправду спать... кхи-кхи! У Панафидиныхъ дѣвочки... Кхи-кхи! Дѣвочки... кхи! Куклу я у дѣвочки видѣлъ нюренбергскую, кхи-кхи...

— Ну, вотъ куклы теперь!

— Кхи-кхи! Хорошая кукла, кхи-кхи!

— Онъ прощается, проговорилъ молодой человѣкъ; — онъ идетъ, и мы тотчасъ уходимъ. Слышите? Радуйтесь-же!

— О, дай-то Богъ! Дай-то Богъ!

— Это вамъ урокъ...

— Молодой человѣкъ! За что-же урокъ? Я это чувствую.. Но вы еще молоды; вы не можете давать мнѣ урока.

— А всетаки дамъ... Слушайте.

— Боже! Я хочу чихнуть!..

— Тсс! Если вы только осмѣлитесь.

— Но что-же мнѣ дѣлать? Здѣсь такъ пахнетъ мышами; не могу-же я; достаньте мнѣ изъ моего кармана платокъ, ради Бога; я не могу шевельнуться... О, Боже, Боже! За что я такъ наказанъ?

— Вотъ вамъ платокъ! За что вы наказаны, я вамъ сейчасъ скажу. Вы ревнивы. Основываясь Богъ знаетъ на чемъ, вы бѣгаете какъ угорѣлый, врываетесь въ чужое жилище, производите безпорядки...

— Молодой человѣкъ! Я не производилъ безпорядковъ.

— Молчать!

— Молодой человѣкъ, вы не можете читать мнѣ про нравственность. я нравственнѣе васъ.

— Молчать!

— О, Боже мой! Боже мой!

— Производите безпорядки, пугаете молодую даму, робкую

женщину, которая не знаетъ куда дѣваться отъ страха и, можетъ быть, будетъ больна; безпокоите почтеннаго старца, удрученнаго геморроемъ, которому прежде всего нуженъ покой,—а все отчего? Оттого, что вамъ вообразился какой-то вздоръ, съ которымъ вы бѣгаете по всѣмъ закоулкамъ! Понимаете-ли, понимаете-ли, въ какомъ вы скверномъ теперь положеніи? Чувствуете-ли вы это?

— Милостивый государь, хорошо! Я чувствую, но вы не имѣете права...

— Молчать! Какое тутъ право? Понимаете-ли вы, что это можетъ кончиться трагически? Понимаете ли, что старикъ, который любитъ жену, можетъ съ ума сойдти, когда увидитъ, какъ вы будете вылѣзать изъ подъ кровати? Но нѣтъ, вы неспособны сдѣлать трагедіи! Когда вы вылѣзете, я думаю, всякъ, кто посмотритъ на васъ, захохочетъ. Я-бы желалъ васъ видѣть при свѣчкахъ; должно быть, вы очень смѣшны.

— А вы-то? Вы тоже смѣшны въ такомъ случаѣ! Я тоже хочу посмотрѣть на васъ.

— Гдѣ вамъ!

— На васъ, вѣрно, клеймо безнравственности, молодой человѣкъ!

— А! Вы про нравственность! А почемъ вы знаете, зачѣмъ я здѣсь? Я здѣсь ошибкой; я ошибся этажемъ.

И чортъ знаетъ, почему меня впустили! Вѣрно она въ самомъ дѣлѣ ждала кого нибудь (не васъ, разумѣется). Я спрятался подъ кровать, когда услышалъ вашу глупую походку, когда увидѣлъ, что испугалась дама. Къ тому же было темно. Да и что я вамъ за оправданіе? Вы, сударь, смѣшной, ревнивый старикъ. Вѣдь я отчего не выхожу? Вы, можетъ быть, думаете, что я боюсь выйдти? Нѣтъ, сударь, я-бы ужь давно вышелъ, да только изъ состраданія къ вамъ здѣсь сижу. Ну, на кого вы безъ меня здѣсь останетесь? Вѣдь вы будете какъ пень стоять передъ ними, вѣдь вы не найдетесь...

— Нѣтъ, отчего-же: какъ пень? Отчего-же какъ этотъ предметъ? Развѣ вы не могли съ кѣмъ другимъ сравнить, молодой человѣкъ? Отчего-же не найдусь? Нѣтъ, я найдусь.

— О, Боже мой, какъ лаетъ эта собаченка!

— Тсс! Ахъ, и въ самомъ дѣлѣ... Это оттого, что вы все болтаете. Видите, вы разбудили собаченку. Теперь намъ бѣда.

Дѣйствительно собачка хозяйки, которая все время спала на подушкѣ въ углу, вдругъ проснулась, обнюхала чужихъ и съ лаемъ бросилась подъ кровать.

— О, Боже мой! Какая глупая собаченка! прошепталъ Иванъ Андреевичъ; — она насъ всѣхъ выдастъ. Она все выведетъ на чистую воду. Вотъ еще наказаніе!

— Ну, да: вы такъ трусите, что это можетъ случиться.

— Ами, Ами, сюда! закричала хозяйка:—ісі, ісі.

Но собачка не слушалась и лѣзла прямо на Ивана Андреевича.

— Что это, душечка, Амишка все лаетъ?—проговорилъ старичокъ. — Тамъ вѣрно мыши, или котъ-васька сидитъ. То-то я слышу, что все чихаетъ, все чихаетъ... А вѣдь у васьки-то сегодня насморкъ.

— Лежите смирно!—прошепталъ молодой человѣкъ:—не ворочайтесь! Она, можетъ быть, такъ и отстанетъ.

— Милостивый государь, милостивый государь! Пустите мои руки! Зачѣмъ вы ихъ держите?

— Тсс!—Молчать!

— Но, помилуйте, молодой человѣкъ; она меня за носъ кусаетъ! Вы хотите, чтобъ я лишился носа.

Послѣдовала борьба, и Иванъ Андреевичъ высвободилъ свои руки. Собачка заливалась отъ лая; вдругъ она перестала лаять и завизжала.

— Ай! закричала дама.

— Извергъ! Что вы дѣлаете? — прошепталъ молодой человѣкъ:—вы губите насъ обоихъ! Зачѣмъ вы схватили ее? Боже мой, онъ ее душитъ! Не душите! Пустите ее! Извергъ! Но вы не знаете послѣ этого сердца женщины! Она насъ выдастъ обоихъ, если вы задушите собачку.

Но Иванъ Андреевичъ уже ничего не слыхалъ. Ему удалось поймать собачку, и въ припадкѣ самосохраненія онъ сдавилъ ей горло. Собаченка взвизгнула и испустила духъ.

— Мы пропали!—прошепталъ молодой человѣкъ.

— Амишка! Амишка!—закричала дама:—Боже мой, что̀ они дѣлаютъ съ моимъ Амишкой? Амишка! Амишка! Ісі! О, изверги! Варвары! Боже, мнѣ дурно!

— Что такое? Что такое?—закричалъ старичокъ, вскочивъ съ креселъ:—что съ тобой, душа моя? Амишка, здѣсь! Амишка, Амишка, Амишка!—кричалъ старичокъ, щелкая пальцами, причмокивая и вызывая Амишку изъ-подъ кровати.—Амишка! Ісі! Ісі! Не можетъ быть, чтобы васька тамъ съѣлъ его. Нужно высѣчь ваську, мой другъ; его, плута, уже цѣлый мѣсяцъ не сѣкли. Какъ ты думаешь? Я посовѣтуюсь завтра съ Прасковьей За-

харьевной. Но, Боже мой, другъ мой, что съ тобой? Ты поблѣднѣла, охъ! Охъ! Люди! Люди!

И старичокъ забѣгалъ по комнатѣ.

— Злодѣи! Изверги!—кричала дама, покатившись на кушетку.

— Кто? Кто? Кто такой? кричалъ старикъ.

— Тамъ есть люди, чужіе!.. Тамъ подъ кроватью! О, Боже мой! Амишка! Амишка! Что они съ тобой сдѣлали?

— Ахъ, Боже мой, Господи! Какіе люди! Амишка... Нѣтъ, люди, люди, сюда! Кто тамъ? Кто тамъ? — закричалъ старикъ, схвативъ свѣчку и нагнувшись подъ кровать:—кто такой? Люди, люди!..

Иванъ Андреевичъ лежалъ ни живъ, ни мертвъ, подлѣ бездыханнаго трупа Амишки. Но молодой человѣкъ ловилъ каждое движеніе старика. Вдругъ старикъ зашелъ съ другой стороны, къ стѣнѣ, и нагнулся. Въ одинъ мигъ молодой человѣкъ вылѣзъ изъ-подъ кровати и пустился бѣжать, покамѣстъ мужъ искалъ своихъ гостей по ту сторону брачнаго ложа.

— Боже! —прошептала дама, вглядѣвшись въ молодаго человѣка·—кто же вы такой? А я думала...

— Тотъ извергъ остался,—прошепталъ молодой человѣкъ.— Онъ виновникъ Амишкиной смерти!

— Ай!—вскрикнула дама.

Но молодой человѣкъ уже исчезъ изъ комнаты.

— Ай! Здѣсь кто-то есть. Здѣсь чей-то сапогъ!—закричалъ мужъ, поймавъ за ногу Ивана Андреевича.

— Убійца! убійца!—кричала дама:—о, Ами! Ами!

— Вылѣзайте, вылѣзайте! -кричалъ старикъ, топая по ковру обѣими ногами.— вылѣзайте; кто вы таковы? Говорите, кто вы таковы? Боже! Какой странный человѣкъ!

— Да это разбойники!..

— Ради Бога, ради Бога!—кричалъ Иванъ Андреевичъ, вылѣзая:—ради Бога, ваше превосходительство, не зовите людей! Ваше превосходительство, не зовите людей. Это совершенно лишнее. Вы меня меня не можете вытолкать!.. Я не такой человѣкъ! Я самъ по себѣ... Ваше превосходительство, это случилось по ошибкѣ! Я вамъ сейчасъ объясню, ваше превосходительство,—продолжалъ Иванъ Андреевичъ, рыдая и всхлипывая.— Это все жена, то есть, не моя жена, а чужая жена, — я не женатъ, я такъ... Это мой другъ и товарищъ дѣтства...

— Какой товарищъ дѣтства!—кричалъ старикъ, топая ногами:—вы воръ, пришли обокрасть... а не товарищъ дѣтства...

— Нѣтъ, не воръ, ваше превосходительство; я дѣйствительно товарищъ дѣтства... я только нечаянно ошибся, попалъ съ другаго подъѣзда.

— Да, я вижу, сударь, вижу, изъ какого подъѣзда вы вылѣзли.

— Ваше превосходительство! Я не такой человѣкъ. Вы ошибаетесь. Я говорю, что вы въ жестокомъ заблужденіи, ваше превосходительство. Взгляните на меня, посмотрите, вы увидите по нѣкоторымъ знакамъ и признакамъ, что я не могу быть воромъ. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! кричалъ Иванъ Андреевичъ, складывая руки и обращаясь къ молодой дамѣ: — вы, дама, поймите меня... Это я умертвилъ Амишку... Но я не виноватъ... я ей Богу не виноватъ... Это все жена виновата. Я несчастный человѣкъ, я пью чашу!

— Да помилуйте, какое-же мнѣ дѣло, что вы выпили чашу; можетъ быть, вы и не одну чашу выпили, — судя по вашему положенію, оно и видно; но какъ-же вы зашли сюда, милостивый государь? кричалъ старикъ, весь дрожа отъ волненія, но дѣйствительно удостовѣрившись, по нѣкоторымъ знакамъ и признакамъ, что Иванъ Андреевичъ не можетъ быть воромъ. — Я васъ спрашиваю: какъ вы зашли сюда? Вы, какъ разбойникъ...

— Не разбойникъ, ваше превосходительство. Я только съ другаго подъѣзда; право, не разбойникъ! Это все оттого, что я ревнивъ. Я вамъ все разскажу, ваше превосходительство, откровенно разскажу, какъ отцу родному, потому что вы въ такихъ лѣтахъ, что я могу принять васъ за отца.

— Какъ въ такихъ лѣтахъ?

— Ваше превосходительство! Я, можетъ быть, васъ оскорбилъ? Дѣйствительно, такая молодая дама... и ваши лѣта... пріятно видѣть ваше превосходительство, дѣйствительно, пріятно видѣть такое супружество... въ цвѣтѣ лѣтъ... Но не зовите людей... ради Бога, не зовите людей... люди только будутъ смѣяться... я ихъ знаю... То есть, я не хочу этимъ сказать, что я знакомъ съ одними лакеями, — у меня тоже есть лакеи, ваше превосходительство, и все смѣются... ослы! Ваше сіятельство... Я, кажется, не ошибаюсь, я говорю съ княземъ...

— Нѣтъ, не съ княземъ, я, милостивый государь, самъ по себѣ... Пожалуйста, меня не задабривайте вашимъ сіятельствомъ. Какъ вы попали сюда, милостивый государь? Какъ вы попали?

— Ваше сіятельство, то есть, ваше превосходительство... извините, я думалъ, что вы ваше сіятельство. Я осмотрѣлся...

я обдумался,—это случается. Вы такъ похожи на князя Короткоухова, котораго я имѣлъ честь видѣть у моего знакомаго, господина Пузырева... Видите, я тоже знакомъ съ князьями, тоже видѣлъ князя у моего знакомаго: вы не можете меня принимать за того, за кого меня принимаете. Я не воръ. Ваше превосходительство, не зовите людей; ну, позовете людей, что жь изъ этого выйдетъ?

— Но какъ вы сюда попали? закричала дама: — кто вы таковы?

— Да, кто вы таковы? подхватилъ мужъ:—а я-то, душенька, думаю, что это васька у насъ подъ кроватью сидитъ и чихаетъ. А это онъ. Ахъ ты потаскунъ-потаскунъ!.. Кто вы такой? Говорите-же!

И старичокъ снова затопалъ по ковру ногами.

— Я не могу говорить, выше превосходительство. Я ожидаю, покамѣстъ вы кончите... Внимаю вашимъ остроумнымъ шуткамъ. Что-же касается до меня, то это смѣшная исторія, ваше превосходительство. Я вамъ все разскажу. Это можетъ все и безъ того объясниться, то есть, я хочу сказать: не зовите людей, ваше превосходительство! Поступите со мной благороднымъ образомъ... Это ничего, что я посидѣлъ подъ кроватью... я не потерялъ этимъ своей важности. Это исторія самая комическая, ваше превосходительство! вскричалъ Иванъ Андреевичъ, съ умоляющимъ видомъ обращаясь къ супругѣ,—особенно вы, ваше превосходительство, будете смѣяться! Вы видите на сценѣ ревниваго мужа. Вы видите, я унижаюсь, я самъ добровольно унижаюсь. Конечно, я умертвилъ Амишку, но... Боже мой, я не знаю, что̀ говорю!

— Но какъ-же, какъ вы зашли сюда?

— Пользуясь темнотою ночи, ваше превосходительство, пользуясь этою темнотою... Виноватъ! Простите меня, ваше превосходительство! Униженно прошу извиненія! Я только оскорбленный мужъ, больше ничего! Не подумайте, ваше превосходительство, чтобъ я былъ любовникъ! Я не любовникъ! Ваша супруга очень добродѣтельна, если осмѣлюсь такъ выразиться. Она чиста и невинна!

— Что̀? Что̀? Что̀ вы осмѣливаетесь говорить? закричалъ старикъ, снова затопавъ ногами. — Съ ума вы сошли, что̀ ли? Какъ вы смѣете говорить про жену мою?

— Этотъ злодѣй, убійца, который умертвилъ Амишку! кричала супруга, заливаясь слезами.—И онъ еще смѣетъ!

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство! Я только заврался, кричалъ оторопѣвшій Иванъ Андреевичъ:—я заврался, и больше ничего! Считайте, что я не въ своемъ умѣ... Ради Бога, считайте, что я не въ своемъ умѣ... Честью клянусь вамъ, что вы мнѣ сдѣлаете чрезвычайное одолженіе. Я-бы подалъ вамъ руку, но я не смѣю подать ее... Я былъ не одинъ, я дядя... то есть я хочу сказать, что меня нельзя принять за любовника... Боже! Я опять завираюсь... Не обижайтесь, ваше превосходительство, кричалъ Иванъ Андреевичъ супругѣ.—Вы дама, вы понимаете, что такое любовь,—это тонкое чувство... Но что̀ я? Опять завираюсь! То есть я хочу сказать, что я старикъ, то есть пожилой человѣкъ, а не старикъ,—что я не могу быть вашимъ любовникомъ, что любовникъ есть Ричардсонъ, то есть Ловеласъ... я заврался; но вы видите, ваше превосходительство, что я ученый человѣкъ и знаю литературу. Вы смѣетесь, ваше превосходительство! Радъ, радъ, что *провокировалъ* смѣхъ вашъ, ваше превосходительство. О, какъ я радъ, что провокировалъ смѣхъ вашъ!

— Боже мой! Какой смѣшной человѣкъ! кричала дама, надрываясь отъ хохота.

— Да, смѣшной, и какой запачканный, заговорилъ старикъ въ радости, что засмѣялась жена. — Душечка, онъ не можетъ быть воромъ. Но какъ онъ зашелъ сюда?

— Дѣйствительно странно! Дѣйствительно странно, ваше превосходительство, на романъ похоже! Какъ? Въ глухую полночь, въ столичномъ городѣ, человѣкъ подъ кроватью? Смѣшно, странно! Ринальдо Ринальдини, нѣкоторымъ образомъ. Но это ничего, это все ничего, ваше превосходительство. Я вамъ все разскажу... А вамъ, ваше превосходительство, я новую болонку достану... удивительная болонка! Этакая шерсть длинная, ножки коротенькія, двухъ шаговъ пройдти не умѣетъ: побѣжитъ, запутается въ собственной шерсти и упадетъ. Сахаромъ только однимъ кормить. Я вамъ принесу, ваше превосходительство, я вамъ непремѣнно ее принесу.

— Ха-ха-ха-ха-ха! Дама металась изъ стороны въ сторону на диванѣ, отъ смѣха. — Боже мой, со мной сдѣлается истерика! Охъ, какой смѣшной!

— Да, да! Ха-ха-ха! Кхи-кхи-кхи! Смѣшной, запачканный такой, кхи-кхи-кхи!

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство, я теперь совершенно счастливъ! Я-бы предложилъ вамъ мою руку,

но я не смѣю, ваше превосходительство, я чувствую, что я заблуждался, но теперь открываю глаза. Я вѣрю, моя жена чиста и невинна! Я напрасно подозрѣвалъ ее.

— Жена, его жена! кричала дама, со слезами на глазахъ отъ хохота.

— Онъ женатъ! Не-уже-ли? Вотъ-бы я никакъ не подумалъ! подхватилъ старикъ.

— Ваше превосходительство, жена—и она всему виновата, то есть это я виноватъ: я подозрѣвалъ ее; я зналъ, что здѣсь устроено свиданіе — здѣсь наверху; я перехватилъ записку, ошибся этажемъ и пролежалъ подъ кроватью...

— Хе-хе-хе-хе!

— Ха-ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха-ха! захохоталъ, наконецъ, Иванъ Андреевичъ.— О, какъ я счастливъ! О, какъ умилительно видѣть, что мы всѣ такъ согласны и счастливы! И жена моя совершенно невинна! Я въ томъ почти увѣренъ. Вѣдь непремѣнно такъ, ваше превосходительство?

— Ха-ха-ха! Кхи-кхи! Знаешь, душечка, это кто? заговорилъ, наконецъ, старикъ, освобождаясь отъ смѣха.

— Кто? Ха-ха-ха! Кто?

— Это та хорошенькая, что глазки дѣлаетъ, съ франтикомъ которая. Это она! Я бьюсь объ закладъ, что это жена его!

— Нѣтъ, ваше превосходительство, я увѣренъ, что это не та; я совершенно увѣренъ.

— Но, Боже мой! Вы теряете время, закричала дама, переставъ хохотать.—Бѣгите, ступайте на верхъ. Можетъ быть, вы ихъ застанете...

— Въ самомъ дѣлѣ, ваше превосходительство, я полечу. Но я никого не застану, ваше превосходительство; это не она, я увѣренъ заранѣ. Она теперь дома! А это я! Я только ревнивъ и болѣе ничего... Какъ вы думаете, неужели я ихъ застану тамъ, ваше превосходительство?

— Ха-ха-ха!

— Хи-хи-хи! Кхи-кхи!

— Ступайте, ступайте! А когда пойдете назадъ, такъ придите разсказать, кричала дама:—или нѣтъ: лучше завтра утромъ, да приведите и ее: я хочу познакомиться.

— Прощайте, ваше превосходительство, прощайте! Непремѣнно приведу; очень радъ познакомиться. Я счастливъ и радъ, что все такъ неожиданно кончилось и развязалось къ лучшему.

— И болонку! Не забудьте-же: болонку прежде всего принесите!

— Принесу, ваше превосходительство, непремѣнно принесу, подхватилъ Иванъ Андреевичъ, снова вбѣжавъ въ комнату, потому что уже было раскланялся и вышелъ.—Непремѣнно принесу. Такая хорошенькая! Точно ее кандитеръ изъ конфектовъ сдѣлалъ. И такая: пойдетъ—въ собственной шерсти запутается и упадетъ. Такая, право! Я еще женѣ говорю: «что это, душечка, она все падаетъ?»—Да, миленькая такая! говоритъ. Изъ сахару, ваше превосходительство, ей Богу, изъ сахару сдѣлана! Прощайте, ваше превосходительство, очень, очень радъ познакомиться, очень радъ познакомиться!

Иванъ Андреевичъ откланялся и вышелъ.

— Эй, вы! Милостивый государь! Постойте; воротитесь опять! закричалъ старичокъ вслѣдъ уходившему Ивану Андреевичу.

Иванъ Андреевичъ въ третій разъ вернулся.

— Я, вотъ, васьки-кота все не отыщу. Не встрѣчались-ли вы съ нимъ, когда подъ кроватью сидѣли?

— Нѣтъ, не встрѣчался, ваше превосходительство, впрочемъ, очень радъ познакомиться. И почту за большую честь...

— У него теперь насморкъ, и все чихаетъ, все чихаетъ! Его надо высѣчь!

— Да, ваше превосходительство, конечно; исправительныя наказанія необходимы съ домашними животными.

— Что̀?

— Я говорю, что исправительныя наказанія, ваше превосходительство, необходимы для водворенія покорности въ домашнихъ животныхъ.

— А!.. Ну, съ Богомъ, съ Богомъ, я только объ этомъ.

Вышедъ на улицу, Иванъ Андреевичъ стоялъ долгое время въ такомъ положеніи, какъ будто ожидалъ, что съ нимъ тотчасъ-же будетъ ударъ. Онъ снялъ шляпу, отеръ холодный потъ со лба, зажмурился, подумалъ о чемъ-то и пустился домой.

Каково-же было его изумленіе, когда дома онъ узналъ, что Глафира Петровна уже давно пріѣхала изъ театра, уже давно какъ у ней разболѣлись зубы, какъ посылала за докторомъ, какъ посылала за піявками, и какъ она теперь лежитъ въ постели и дожидается Ивана Андреевича.

Иванъ Андреевичъ ударилъ себя сначала по лбу, потомъ приказалъ подать себѣ умыться и почиститься, и, наконецъ, рѣшился идти въ спальню жены.

— Гдѣ это вы проводите время? Посмотрите, на кого вы похожи. На васъ лица нѣтъ! Гдѣ это вы пропадали? Помилуйте, сударь: жена умираетъ, а васъ не сыщутъ по городу. Гдѣ вы были? Ужь не опять-ли меня ловили, хотѣли разстроить свиданіе, которое я не знаю кому назначила? Стыдно, сударь, какой вы мужъ! Скоро пальцами указывать будутъ!

— Душечка! отвѣчалъ Иванъ Андреевичъ.

Но тутъ онъ почувствовалъ такое смущеніе, что принужденъ былъ полѣзть въ карманъ за платкомъ и прервать начатую рѣчь, за тѣмъ, что не доставало ни словъ, ни мысли, ни духа... Каково-же было его изумленіе, страхъ, ужасъ, когда, вмѣстѣ съ платкомъ, выпалъ изъ кармана покойникъ Амишка? Иванъ Андреевичъ и не замѣтилъ, какъ, въ порывѣ отчаянія, принужденный вылѣзть изъ-подъ кровати, сунулъ Амишку, въ припадкѣ безотчетнаго страха, въ карманъ, съ отдаленной надеждой схоронить концы, скрыть улику своего преступленія и избѣгнуть такимъ образомъ заслуженнаго наказанія.

— Что̀ это? закричала супруга:—мертвая собаченка! Боже! Откуда!.. Что̀ это вы?.. Гдѣ вы были? Говорите сейчасъ, гдѣ вы были?

— Душечка! отвѣчалъ Иванъ Андреевичъ, помертвѣвъ болѣе Амишки:—душечка...

Но здѣсь мы оставимъ нашего героя,—до другаго раза, потому, что здѣсь начинается совершенно особое и новое приключеніе. Когда нибудь мы доскажемъ, господа, всѣ эти бѣдствія и гоненія судьбы. Но согласитесь сами, что ревность—страсть непростительная, мало того: даже—несчастіе!..

ЧЕСТНЫЙ ВОРЪ

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ НЕИЗВѢСТНАГО.

Въ первый разъ напечатанъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1848 г., т. 57, подъ названіемъ „Разсказы Бывалаго Человѣка“. Затѣмъ передѣланъ авторомъ для Полнаго Собранія его сочиненій, изданіе Ѳ. Стелловскаго, 1865 г., подъ названіемъ „Честный Воръ“.

Однажды утромъ, когда я уже совсѣмъ собрался идти въ должность, вошла ко мнѣ Аграфена, моя кухарка, прачка и домоводка и, къ удивленію моему, вступила со мной въ разговоръ.

До сихъ поръ это была такая молчаливая, простая баба, что, кромѣ ежедневныхъ двухъ словъ о томъ, чего приготовить къ обѣду, не сказала лѣтъ въ шесть почти ни слова. По крайней мѣрѣ, я болѣе ничего не слыхалъ отъ нея.

— Вотъ я, сударь, къ вамъ, начала она вдругъ:—вы-бы отдали въ наемъ каморку!

— Какую каморку?

— Да вотъ, что̀ подлѣ кухни. Извѣстно какую

— Зачѣмъ?

— Зачѣмъ? Затѣмъ, что пускаютъ-же люди жильцовъ. Извѣстно зачѣмъ.

— Да кто ее найметъ?

— Кто найметъ! Жилецъ найметъ. Извѣстно кто.

— Да тамъ, мать моя, и кровати поставить нельзя; тѣсно будетъ. Кому-жь тамъ жить?

— Зачѣмъ тамъ жить! Только-бы спать гдѣ было; а онъ на окнѣ будетъ жить.

— На какомъ окнѣ?

— Извѣстно на какомъ, будто не знаете! На томъ, что въ передней. Онъ тамъ будетъ сидѣть, шить, или что нибудь дѣлать. Пожалуй, и на стулѣ сядетъ. У него есть стулъ; да и столъ есть; все есть.

— Кто-жь онъ такой?

— Да хорошій, бывалый человѣкъ. Я ему кушанье буду готовить. И за квартиру, за столъ буду всего три рубля серебромъ въ мѣсяцъ брать...

Наконецъ, я, послѣ долгихъ усилій, узналъ, что какой-то пожилой человѣкъ уговорилъ, или какъ-то склонилъ Аграфену пустить его въ кухню, въ жильцы и въ нахлѣбники. Что̀ Аграфенѣ пришло въ голову, тому должно было сдѣлаться; иначе,

я зналъ, что она мнѣ покоя не дастъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда что нибудь было не по ней, она тотчасъ-же начинала задумываться, впадала въ глубокую меланхолію, и такое состояніе продолжалось недѣли двѣ или три. Въ это время портилось кушанье, не досчитывалось бѣлье, полы не были вымыты, однимъ словомъ, происходило много непріятностей. Я давно замѣтилъ, что эта безсловесная женщина не въ состояніи была составить рѣшенія, установиться на какой нибудь собственно ей принадлежащей мысли. Но ужь если въ слабомъ мозгу ея какимъ нибудь случайнымъ образомъ складывалось что нибудь похожее на идею, на предпріятіе, то отказать ей въ исполненіи значило на нѣсколько времени морально убить ее. И потому, болѣе всего любя собственное спокойствіе, я тотчасъ-же согласился.

— Есть-ли, по крайней мѣрѣ, у него видъ какой нибудь, паспортъ или что нибудь?

— Какъ-же? Извѣстно, есть. Хорошій, бывалый человѣкъ; три рубля обѣщался давать.

На другой-же день, въ моей скромной, холостой квартирѣ появился новый жилецъ; но я не досадовалъ, даже про себя былъ радъ. Я вообще живу уединенно, совсѣмъ затворникомъ. Знакомыхъ у меня почти никого; выхожу я рѣдко. Десять лѣтъ проживъ глухаремъ, я, конечно, привыкъ къ уединенію. Но десять, пятнадцать лѣтъ, а, можетъ быть, и болѣе такого-же уединенія, съ такой-же Аграфеной, въ той-же холостой квартирѣ,— конечно, довольно безцвѣтная перспектива! И потому лишній, смирный человѣкъ, при такомъ порядкѣ вещей — благодать небесная!

Аграфена не солгала: жилецъ мой былъ изъ бывалыхъ людей. По паспорту оказалось, что онъ изъ отставныхъ солдатъ, о чемъ я узналъ и не глядя на паспортъ, съ перваго взгляда, по лицу. Это легко узнать. Астафій Ивановичъ, мой жилецъ, былъ изъ хорошихъ между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафій Ивановичъ подъ часъ умѣлъ разсказывать исторіи, случаи изъ собственной жизни. При всегдашней скукѣ моего житья-бытья, такой разскащикъ былъ просто кладъ. Разъ онъ мнѣ разсказалъ одну изъ такихъ исторій. Она произвела на меня нѣкоторое впечатлѣніе. Но вотъ по какому случаю произошелъ этотъ разсказъ.

Однажды я остался въ квартирѣ одинъ: и Астафій, и Аграфена разошлись по дѣламъ. Вдругъ я услышалъ изъ второй комнаты, что кто-то вошелъ и, показалось мнѣ, чужой; я вышелъ:

дѣйствительно, въ передней стоялъ чужой человѣкъ, малый невысокаго роста, въ одномъ сюртукѣ, не смотря на холодное осеннее время.

— Чего тебѣ?

— Чиновника Александрова; здѣсь живетъ?

— Такого нѣтъ, братецъ; прощай.

— Какъ-же дворникъ сказалъ, что здѣсь, проговорилъ посѣтитель, осторожно ретируясь къ дверямъ.

— Убирайся, убирайся, братецъ; пошелъ.

На другой день послѣ обѣда, когда Астафій Ивановичъ примѣрялъ мнѣ сюртукъ, который былъ у него въ передѣлкѣ, опять кто-то вошелъ въ переднюю. Я пріотворилъ дверь.

Вчерашній господинъ, на моихъ-же глазахъ, преспокойно снялъ съ вѣшалки мою бекешь, сунулъ ее подъ мышку и пустился вонъ изъ квартиры. Аграфена все время смотрѣла на него разинувъ ротъ отъ удивленія и больше ничего не сдѣлала для защиты бекеши. Астафій Ивановичъ пустился вслѣдъ за мошенникомъ и черезъ десять минутъ воротился, весь запыхавшись, съ пустыми руками. Сгинулъ да пропалъ человѣкъ!

— Ну, неудача, Астафій Ивановичъ. Хорошо еще, что шинель намъ осталась! А то-бы совсѣмъ посадилъ на мель, мошенникъ!

Но Астафія Ивановича все это такъ поразило, что я даже позабылъ о покражѣ, на него глядя. Онъ опомниться не могъ. Поминутно бросалъ работу, которою былъ занятъ, поминутно начиналъ съизнова разсказывать дѣло, какимъ это образомъ все случилось, какъ онъ стоялъ, какъ вотъ въ глазахъ, въ двухъ шагахъ, сняли бекешь, и какъ это все устроилось, что и поймать нельзя было. Потомъ опять садился за работу; потомъ опять бросалъ все, и я видѣлъ, какъ, наконецъ, пошелъ онъ къ дворнику разсказать и попрекнуть его, что на своемъ дворѣ такимъ дѣламъ быть попускаетъ. Потомъ воротился и Аграфену началъ бранить. Потомъ опять сѣлъ за работу и долго еще бормоталъ про себя, что вотъ, какъ это все дѣло случилось, какъ онъ тутъ стоялъ, а я тамъ, и какъ вотъ въ глазахъ, въ двухъ шагахъ, сняли бекешь и т. д. Однимъ словомъ, Астафій Ивановичъ, хотя дѣло сдѣлать умѣлъ, однако былъ большой кропотунъ и хлопотунъ.

— Одурачили насъ съ тобой, Астафій Иванычъ! сказалъ я ему вечеромъ, подавая ему стаканъ чая и желая отъ скуки опять вызвать разсказъ о пропавшей бекешѣ, который отъ ча-

стаго повторенія и отъ глубокой искренности разскащика начиналъ становится очень комическимъ.

— Одурачили, сударь! Да просто вчужѣ досадно, зло пробираетъ, хоть и не моя одежа пропала. И по моему нѣтъ гадины хуже вора на свѣтѣ. Иной хоть задаромъ беретъ, а этотъ твой трудъ, потъ, за него пролитой, время твое у тебя крадетъ... Гадость, тьфу! Говорить не хочется, зло беретъ. Какъ это, вамъ, сударь, своего добра не жалко.

— Да, оно правда, Астафій Иванычъ; ужь лучше сгори вещь, а вору уступить досадно, не хочется.

— Да ужь чего тутъ хочется! Конечно, воръ вору рознь... А былъ, сударь, со мной одинъ случай, что попалъ я и на честнаго вора.

— Какъ на честнаго? Да какой-же воръ честный, Астафій Иванычъ?

— Оно, сударь, правда! Какой-же воръ честный, и не бываетъ такого. Я только хотѣлъ сказать, что честный, кажется, былъ человѣкъ, а укралъ. Просто, жалко было его.

— А какъ это было, Астафій Иванычъ?

— Да было, сударь, тому назадъ года два. Пришлось мнѣ тогда безъ малаго годъ быть безъ мѣста, а когда еще доживалъ я на мѣстѣ, сошелся со мной одинъ пропащій совсѣмъ человѣкъ. Такъ, въ харчевнѣ сошлись. Пьянчужка такой, потаскунъ, тунеядецъ, служилъ прежде гдѣ-то, да его за пьяную жизнь ужь давно изъ службы выключили. Такой недостойный! Ходилъ онъ ужь Богъ знаетъ въ чемъ! Иной разъ такъ думаешь есть-ли рубашка у него подъ шинелью; все, что у него ни заведется, пропьетъ. Да не буянъ; характеромъ смиренъ, такой ласковый, добрый, и не проситъ, все совѣстится: ну, самъ видишь, что хочется выпить бѣднягѣ, и поднесешь. Ну, такъ-то я съ нимъ и сошелся, то есть онъ ко мнѣ привязался... Мнѣ-то все равно. И какой былъ человѣкъ! Какъ собаченка привяжется, ты туда— и онъ за тобой; а всего одинъ разъ только видѣлись, мозглякъ такой! Сначала пусти его переночевать — ну, пустилъ: вижу и паспортъ въ порядкѣ, человѣкъ ничего! Потомъ, на другой день, тоже пусти его ночевать, а тамъ и на третій пришелъ, цѣлый день на окнѣ просидѣлъ, тоже ночевать остался. Ну, думаю, навязался-жь онъ на меня: и пой и корми его, да еще ночевать пускай, — вотъ бѣдному человѣку да еще нахлѣбникъ на шею садится. А прежде онъ тоже, какъ и ко мнѣ, къ одному служащему хаживалъ, привязался къ нему, вмѣстѣ все пили; да тотъ спился и умеръ съ какого-то горя. А этого звали Еме-

лей, Емельяномъ Ильичемъ. Думаю, думаю: какъ мнѣ съ нимъ быть? Прогнать его—совѣстно, жалко: такой жалкій, пропащій человѣкъ, что и Господи! И безсловесный такой, не проситъ, сидитъ себѣ, только какъ собаченка въ глаза тебѣ смотритъ. То есть, вотъ какъ пьянство человѣка испортитъ! Думаю про себя: какъ скажу я ему: ступай-ка ты, Емельянушка, вонъ; нечего тебѣ дѣлать у меня, не къ тому попалъ; самому скоро перекусить будетъ нечѣмъ, какъ-же мнѣ держать тебя на своихъ харчахъ? Думаю, сижу, что̀ онъ сдѣлаетъ, какъ я такое скажу ему? Ну, и вижу самъ про себя, какъ-бы долго онъ глядѣлъ на меня, когда-бы услыхалъ мою рѣчь, какъ-бы долго сидѣлъ и не понималъ ни слова, какъ-бы потомъ, когда въ домекъ-бы взялъ, всталъ-бы съ окна, взялъ-бы свой узелокъ, какъ теперь вижу, клѣтчатый, красный, дырявый, въ который Богъ знаетъ что̀ завертывалъ и всюду съ собой носилъ, какъ-бы оправилъ свою шинелишку, такъ чтобъ и прилично было, и тепло, да и дырьевъ было-бы не видать,—деликатный былъ человѣкъ! Какъ-бы отворилъ потомъ дверь, да и вышелъ-бы съ слезинкой на лѣстницу. Ну, не пропадать-же совсѣмъ человѣку... жалко стало! А тутъ, потомъ думаю, мнѣ-то самому каково! Постой-же, смекаю про себя, Емельянушка, не долго тебѣ у меня пировать: вотъ скоро съѣду, тогда не найдешь. Ну-съ, сударь, съѣхали мы; тогда еще Александръ Филимоновичъ, баринъ (теперь покойникъ, царство ему небесное), говорятъ: очень остаюсь тобою доволенъ, Астафій, воротимся всѣ изъ деревни, не забудемъ тебя, опять возьмемъ. А я у нихъ въ дворецкихъ проживалъ,—добрый былъ баринъ, да умеръ въ томъ-же году. Ну какъ проводили мы ихъ, взялъ я свое добро, деньжонокъ кой-какихъ было, думаю, попокоюсь себѣ, да и съѣхалъ я къ одной старушоночкѣ, уголъ занялъ у ней. А у ней и всего-то одинъ уголъ, свободный былъ. Тоже въ нянюшкахъ гдѣ-то была, такъ теперь особо жила, пенсіонъ получала. Ну, думаю, прощай теперь, Емельянушка, родной человѣкъ, не найдешь ты меня! Что-жь, сударь, думаете? Воротился я по вечеру (къ знакомому человѣку повидаться ходилъ) и перваго вижу Емелю, сидитъ себѣ у меня на сундукѣ, и клѣтчатый узелокъ подлѣ него, сидитъ въ шинелишкѣ, меня поджидаетъ... да отъ скуки еще книжку церковную у старухи взялъ, вверхъ ногами держитъ. Нашелъ-таки! И руки у меня опустились. Ну, думаю, нечего дѣлать,—зачѣмъ сначала не гналъ? Да прямо и спрашиваю: «Принесъ-ли паспортъ, Емеля?».

«Я тутъ, сударь, сѣлъ да началъ раздумывать; что-жь онъ, скитающійся человѣкъ, много-ль помѣхи мнѣ сдѣлаетъ? И вышло, по раздумьи, что немногаго будетъ стоить помѣха. Кушать ему надо, думаю. Ну, хлѣбца, кусочекъ утромъ, да чтобъ приправа посмачнѣе была, такъ лучку купить. Да въ полдень ему тоже хлѣбца, да лучку дать; да повечерять тоже лучку съ квасомъ, да хлѣбца, если хлѣбца захочетъ. А навернутся щи какія нибудь, такъ мы ужь оба по горлышко сыты. Я-то ѣсть много не ѣмъ, а пьющій человѣкъ, извѣстно, ничего не ѣстъ: ему-бы только настоечки, да зелена винца. Доканаетъ онъ меня на питейномъ, подумалъ я, да тутъ-же, сударь, и другое въ голову пришло, и вѣдь какъ забрало меня. Да такъ, что вотъ, если-бъ Емеля ушелъ, такъ я-бы жизни не радъ былъ... Порѣшилъ-же я тогда быть ему отцомъ-благодѣтелемъ. Воздержу, думаю, его отъ злой гибели, отъучу его чарочку знать! Постой-же ты, думаю: ну, хорошо, Емеля, оставайся, да только держись теперь у меня, слушай команду!

«Вотъ и думаю себѣ: начну-ка его теперь къ работѣ какой пріучать, да не вдругъ; пусть сперва погуляетъ маленько, а я, межъ тѣмъ, приглянусь, поищу, къ чему-бы такому, Емеля, способность найдти въ тебѣ. Потому что на всякое дѣло, сударь, напередъ всего человѣческая способность нужна. И сталъ я къ нему въ тихомолку приглядываться. Вижу: отчаянный ты человѣкъ, Емельянушка! Началъ я, сударь, сперва съ добраго слова: такъ и сякъ, говорю, Емельянъ Ильичъ, ты-бы на себя посмотрѣлъ, да какъ нибудь тамъ поопрaвился.

«— Полно гулять! Смотри-ка, въ отребьи весь ходишь, шинелишка-то твоя, простительно сказать, на рѣшето годится: нехорошо! Пора-бы, кажется, честь знать. Сидитъ, слушаетъ меня, понуря голову, мой Емельянушка. Чего, сударь! Ужь до того дошелъ, что языкъ пропилъ, слова путнаго сказать не умѣетъ. Начнешь ему про огурцы, а онъ тебѣ на бобахъ откликается! Слушаетъ меня, долго слушаетъ, а потомъ и вздохнетъ.— «Чего-жь ты вздыхаешь, спрашиваю, Емельянъ Ильичъ?

«—Да такъ-съ, ничего, Астафій Иванычъ, не безпокойтесь. А вотъ сегодня двѣ бабы, Астафій Иванычъ, подрались на улицѣ, одна у другой лукошко съ клюквой невзначай разсыпала.

«— Ну, такъ что-жь?

«— А другая за то ей нарочно, ея-же лукошко съ клюквой разсыпала, да еще ногой давить начала.

«— Ну, такъ что-жь, Емельянъ Ильичъ?

«— Да ничего-съ, Астафій Иванычъ, я только такъ.

«— Ничего-съ, только такъ. Э-эхъ, думаю, Емеля-Емелюшка! Пропилъ-прогулялъ ты головушку!..

«— А то баринъ ассигнацію обронилъ на панели въ Гороховой, то бишь, въ Садовой. А мужикъ увидалъ, говоритъ, мое счастье; а тутъ другой увидалъ, говоритъ, нѣтъ, мое счастье! Я прежде твоего увидалъ...

«—Ну, Емельянъ Ильичъ.

«— И задрались мужики, Астафій Иванычъ. А городовой подошелъ, поднялъ ассигнацію и отдалъ барину, а мужиковъ обоихъ въ будку грозилъ посадить.

«— Ну, такъ что-жь? Что-же тутъ такого назидательнаго есть, Емельянушка?

«— Да я ничего-съ. Народъ смѣялся, Астафій Иванычъ.

«— Э-эхъ, Емельянушка! Что народъ! Продалъ ты за мѣдный алтынъ свою душеньку. А знаешь-ли что̀, Емельянъ Ильичъ, я скажу-то тебѣ?

«— Чего-съ, Астафій Иванычъ?

«— Возьми-ка работу какую нибудь, право, возьми. Въ сотый говорю, возьми, пожалѣй себя!

«— Что-же мнѣ взять такое, Астафій Иванычъ? Я ужь и не знаю, что я такое возьму, и меня-то никто не возьметъ, Астафій Иванычъ.

«— За то-жь тебя и изъ службы изгнали, Емеля, пьющій ты человѣкъ!

«— А то вотъ Власа-буфетчика въ контору позвали сегодня, Астафій Иванычъ.

«— Зачѣмъ-же, говорю, позвали его, Емельянушка?

«— А вотъ ужь и не знаю зачѣмъ, Астафій Иванычъ. Значитъ, ужъ оно тамъ нужно такъ было, такъ и потребовали...

«Э-эхъ, думаю, пропали мы оба съ тобой, Емельянушка! За грѣхи наши насъ Господь наказуетъ! Ну, что̀ съ такимъ человѣкомъ дѣлать прикажете, сударь!

«Только хитрый былъ парень, куды! Слушалъ онъ, слушалъ, слушалъ меня, да потомъ, знать, ему надоѣло, чуть увидитъ, что я осерчалъ, возьметъ шинелишку, да и улизнетъ — поминай какъ звали! День прошатается, придетъ подъ вечеръ пьяненькій. Кто его поилъ, откуда онъ деньги бралъ — ужь Господь его вѣдаетъ, не моя въ томъ вина виновата!..

«— Нѣтъ, говорю, Емельянъ Ильичъ, не сносить тебѣ головы! Полно пить, слышишь ты, полно! Другой разъ, коли пья-

ный воротишься, на лѣстницѣ будешь у меня ночевать. Не пущу!..

«Выслушавъ наказъ, сидитъ мой Емеля день, другой; на третій опять улизнулъ. Жду-подожду, не приходитъ! Ужь я, признаться сказать, перетрусилъ, да и жалко мнѣ стало. Что̀ я сдѣлалъ надъ нимъ! думаю. Запугалъ я его. Ну, куда онъ пошелъ теперь, горемыка? Пропадетъ пожалуй, Господи Богъ мой! Ночь пришла, нейдетъ. На утро вышелъ я въ сѣни, смотрю, а онъ въ сѣняхъ почивать изволитъ. На приступочку голову положилъ и лежитъ; окостенѣлъ отъ стужи совсѣмъ.

«— Что ты, Емеля? Господь съ тобой! Куда ты попалъ?

«— Да вы, энтого, Астафій Иванычъ, сердились намедни, огорчаться изволили, и обѣщались въ сѣняхъ меня спать положить, такъ я, энтого, и не посмѣлъ войдти, Астафій Иванычъ, да и легъ тутъ...

«И злость и жалость взяли меня!

«— Да ты-бъ, Емельянъ, хоть-бы другую какую нибудь должность взялъ, говорю.—Чего лѣстницу-то стеречь!..

«— Да какую-жь-бы другую должность, Астафій Иванычъ?

«— Да хоть-бы ты, пропащая ты душа, говорю (зло меня такое взяло!), хоть-бы ты портняжному-то искусству повыучился. Ишь у тебя шинель-то какая! Мало что въ дырьяхъ, такъ ты лѣстницу ею метешь! Взялъ-бы хоть иголку, да дырья-то свои законопатилъ, какъ честь велитъ. Э-эхъ, пьяный ты человѣкъ!

«Что-жь, сударь! И взялъ онъ иглу; вѣдь я ему на смѣхъ сказалъ, а онъ оробѣлъ, да возьми. Скинулъ шинелишку и началъ нитку въ иглу вдѣвать. Я гляжу на него; ну, дѣло извѣстное, глаза нагноились, покраснѣли; руки трепещутъ, хоть ты што! Совалъ, совалъ,—не вдѣвается нитка: ужь онъ какъ примигивался: и помуслитъ-то, и посучитъ въ рукахъ—нѣтъ! Бросилъ, и смотритъ на меня...

«— Ну, Емеля, одолжилъ ты меня! Было-бъ при людяхъ, такъ голову срѣзалъ-бы! Да вѣдь я тебѣ, простому такому человѣку, на смѣхъ, въ укору сказалъ... Ужь ступай, Богъ съ тобой, отъ грѣха! Сиди такъ, да срамнаго дѣла не дѣлай, по лѣстницамъ не ночуй, меня не срами!..

«— Да что-же мнѣ дѣлать-то, Астафій Иванычъ; я вѣдь и самъ знаю, что всегда пьяненькій и никуда не гожусь!.. Только васъ, моего бла... благо-дѣтеля, въ сердце ввожу понапрасну...

«Да тутъ какъ затрясутся у него вдругъ его синія губы,

какъ покатилась слезинка по бѣлой щекѣ, какъ задрожала эта слезинка на его бороденкѣ небритой, да какъ зальется, прыснетъ вдругъ цѣлой пригоршней слезъ мой Емельянъ... Батюшки! Словно ножемъ мнѣ полоснуло по сердцу.

«— Эхъ ты, чувствительный человѣкъ, совсѣмъ и не думалъ я! Кто-бы зналъ, кто гадалъ про то?.. Нѣтъ! думаю, Емеля, отступлюсь отъ тебя совсѣмъ; пропадай какъ ветошка!..

«Ну, сударь, что тутъ еще долго разсказывать! Да и вся-то вещь такая пустая, мизерная, словъ не стоитъ, то есть вы, сударь, примѣрно сказать, за нее двухъ сломанныхъ грошей не дадите, а я-то-бы много далъ, если-бъ у меня много было, чтобъ только всего того не случилось! Были у меня, сударь, ретузы, прахъ ихъ возьми, хорошіе, славные ретузы, синіе съ клѣтками, а заказывалъ мнѣ ихъ помѣщикъ, который сюда пріѣзжалъ, да отступился потомъ, говоритъ: узки; такъ они у меня на рукахъ и остались. Думаю: цѣнная вещь! Въ толкучемъ цѣлковыхъ пять, можетъ, дадутъ, а нѣтъ, такъ я изъ нихъ двое панталонъ петербургскимъ господамъ выгадаю, да еще хвостикъ мнѣ на жилетку останется. Оно бѣдному человѣку, нашему брату, знаете, все хорошо! А у Емельянушки на ту пору прилучись время суровое, грустное. Смотрю: день не пьетъ, другой не пьетъ, третій — хмѣльнаго въ ротъ не беретъ, осовѣлъ совсѣмъ, индо жалко, сидитъ подгорюнившись. Ну, думаю: али куплева, парень, нѣтъ у тебя, али ужь ты самъ на путь Божій вошелъ, да баста сказалъ, резону послушался. Вотъ, сударь, такъ это все и было; а на ту пору случись праздникъ большой. Я пошелъ ко всенощной; прихожу—сидитъ мой Емеля на окошечкѣ, пьяненькій, покачивается. Э-ге! думаю, такъ-то ты, парень! Да и пошелъ зачѣмъ-то въ сундукъ. Глядь! а ретузъ-то и нѣту... Я туда и сюда: сгинули! Ну, какъ перерылъ я все, вижу, что нѣтъ,—такъ меня по сердцу какъ будто скребнуло! Бросился я къ старушоночкѣ, сначала ее поклепалъ, а на Емелю, хоть и улика была, что пьянымъ сидитъ человѣкъ, и домека не было! «Нѣтъ, говоритъ моя старушонка: Господь съ тобой, кавалеръ, на что мнѣ ретузы, носить что-ли стать? У меня у самой намедни юбка на добромъ человѣкѣ изъ вашего брата пропала... Ну, то есть, не знаю, не вѣдаю», говоритъ.—Кто здѣсь былъ, говорю, кто приходилъ? «Да никто, говоритъ, кавалеръ, не приходилъ; я все здѣсь была, Емельянъ Ильичъ выходилъ, да потомъ и пришелъ; вонъ сидитъ! Его допроси».—Не бралъ-ли, Емеля, говорю, по какой нибудь надобности, ретузъ моихъ по-

выхъ, помнишь, еще на помѣщика строили? «Нѣтъ, говоритъ, Астафій Иванычъ, я, то есть, энтого, ихъ не бралъ-съ».

«Что за оказія! Опять искать началъ, искалъ-искалъ—нѣтъ! А Емеля сидитъ, да покачивается. Сидѣлъ я вотъ, сударь, такъ передъ нимъ, надъ сундукомъ, на корточкахъ, да вдругъ и накосился на него глазомъ... Эхма: думаю: да такъ вотъ у меня и зажгло сердце въ груди; даже въ краску бросило. Вдругъ и Емеля посмотрѣлъ на меня.

«— Нѣтъ, говоритъ, Астафій Иванычъ: я ретузъ-то вашихъ, энтого... вы, можетъ, думаете, что того, а я ихъ не бралъ-съ.

«— Да куда-же-бы пропасть имъ, Емельянъ Ильичъ?

«— Нѣтъ, говоритъ, Астафій Иванычъ, не видалъ совсѣмъ.

«— Что-же, Емельянъ Ильичъ, знать ужъ они, какъ тамъ ни есть, взяли да сами пропали?

«— Можетъ, что и сами пропали, Астафій Иванычъ.

«Я какъ выслушалъ его, какъ былъ — всталъ, подошелъ къ окну, засвѣтилъ свѣтильню, да и сѣлъ работу точать. Жилетку чиновнику, что подъ нами жилъ, передѣлывалъ. А у самого такъ вотъ и горитъ, такъ и ноетъ въ груди. То есть, легче-бъ, если-бъ я всѣмъ гардеробомъ печь затопилъ. Вотъ и почуялъ знать, Емеля, что меня зло схватило за сердце. Оно, сударь, коли злу человѣкъ причастенъ, такъ еще издали чуетъ бѣду, словно передъ грозой птица небесная.

«— А вотъ, Астафій Ивановичъ, началъ Емелюшка (а у самого дрожитъ голосенокъ):—сегодня Антипъ Прохорычъ, фельдшеръ, на кучеровой женѣ, что померъ намедни, женился...

«Я, то есть, такъ поглядѣлъ на него, да ужъ злостно, знать, поглядѣлъ... Понялъ Емеля. Вижу: встаетъ, подошелъ къ кровати и началъ около нея что-то пошаривать. Жду — долго возится, а самъ все приговариваетъ: «нѣтъ, какъ нѣтъ, куда-бы имъ, шельмамъ, сгинуть!» Жду, что будетъ; вижу, полѣзъ Емеля подъ кровать на корточкахъ. Я и не вытерпѣлъ.

«— Чего вы, говорю, Емельянъ Ильичъ, на корточкахъ-то ползаете?

«— А вотъ нѣтъ-ли ретузъ, Астафій Иванычъ. Посмотрѣть, не завалились-ли туда куда нибудь.

«— Да что вамъ, сударь, говорю (съ досады величать его началъ), что вамъ, сударь, за бѣднаго, простаго человѣка, какъ я, заступаться; колѣнки-то попусту ерзать!

«— Да что-жь, Астафій Иванычъ, я ничего-съ... Оно, можетъ, какъ нибудь и найдутся, какъ поискать.

«—Гм!.. говорю; послушай-ка, Емельянъ Ильичъ!

«—Что, говоритъ, Астафій Иванычъ?

«—Да не ты-ли, говорю, ихъ просто укралъ у меня, какъ воръ и мошенникъ, за мою хлѣбъ-соль услужилъ?—То есть, вотъ какъ, сударь, меня разобрало тѣмъ, что онъ на колѣнкахъ передо мной началъ по полу ерзать.

«—Нѣтъ-съ... Астафій Ивановичъ...

«А самъ какъ былъ, такъ и остался подъ кроватью ничкомъ. Долго лежалъ; потомъ выползъ. Смотрю: блѣдный совсѣмъ человѣкъ, словно простыня. Привсталъ, сѣлъ подлѣ меня на окно, этакъ минутъ съ десять сидѣлъ.

«—Нѣтъ, говоритъ, Астафій Иванычъ, да вдругъ и всталъ и подступилъ ко мнѣ, какъ теперь смотрю, страшный какъ грѣхъ:

«—Нѣтъ, говоритъ, Астафій Иванычъ, я вашихъ ретузъ, того, не изволилъ брать...

«Самъ весь дрожитъ, себя въ грудь пальцемъ трясучимъ тыкаетъ, а голосенокъ-то дрожитъ у него такъ, что я, сударь, самъ оробѣлъ и словно приросъ къ окну.

«—Ну, говорю, Емельянъ Ильичъ:—какъ хотите, простите, коли я, глупый человѣкъ, васъ попрекнулъ понапраслиной. А ретузы пусть ихъ, знать, пропадаютъ; не пропадемъ безъ ретузъ. Руки есть, слава Богу, воровать не пойдемъ... и побираться у чужаго бѣднаго человѣка не будемъ; заработаемъ хлѣба...

«Выслушалъ меня Емеля, постоялъ-постоялъ предо мной, смотрю—сѣлъ. Такъ и весь вечеръ просидѣлъ, не шелохнулся; ужь я и ко сну отошелъ, все на томъ-же мѣстѣ Емеля сидитъ. На утро только смотрю, лежитъ себѣ на голомъ полу, скрючившись въ своей шинелишкѣ; унизился больно, такъ и на кровать лечь не пришелъ. Ну, сударь, не взлюбилъ я его съ этой поры, то есть на первыхъ дняхъ возненавидѣлъ. Точно это, примѣрно сказать, сынъ родной меня обокралъ, да обиду кровную мнѣ причинилъ. Ахъ, думаю: Емеля, Емеля! А Емеля, сударь, недѣли съ двѣ безъ просыпу пьетъ. То есть, остервенился, совсѣмъ, опился. Съ утра уйдетъ, придетъ поздней ночью, и въ двѣ недѣли хоть-бы слово какое я отъ него услыхалъ. То есть вѣрно это его самого тогда горе загрызло, или извести себя какъ нибудь хотѣлъ. Наконецъ, баста, прекратилъ, знать, все пропилъ и сѣлъ опять на окно. Помню, сидѣлъ, молчалъ трое сутокъ; вдругъ, смотрю: плачетъ человѣкъ. То есть сидитъ, сударь, и плачетъ, да какъ! То есть просто колодезь, словно не слышитъ самъ, какъ слезы роняетъ. А тяжело, сударь, видѣть,

когда взрослый человѣкъ, да еще старикъ-человѣкъ, какъ Емеля, съ бѣды-грусти плакать начнетъ.

«—Что ты, Емеля? говорю.

«И всего его затрясло. Такъ и вздрогнулъ. Я, то есть, первый разъ съ того времени къ нему рѣчь обратилъ.

«—Ничего... Астафій Иванычъ.

«—Господь съ тобой, Емеля, пусть его все пропадаетъ. Чего ты такой совой сидишь?—Жалко мнѣ стало его.

«—Такъ-съ, Астафій Иванычъ, я не того-съ. Работу какую нибудь хочу взять, Астафій Иванычъ.

«—Какую-же-бы такую работу, Емельянъ Ильичъ?

«—Такъ, какую нибудь-съ. Можетъ, должность какую найду-съ, какъ и прежде; я уже ходилъ просить къ Ѳедосѣю Иванычу... Не хорошо мнѣ васъ обижать-съ, Астафій Иванычъ. Я, Астафій Иванычъ, какъ, можетъ быть, должность-то найду, такъ вамъ все отдамъ и за всѣ харчи ваши вамъ вознагражденіе представлю.

«—Полно, Емеля, полно; ну, былъ грѣхъ такой, ну—и прошелъ! Прахъ его побери! Давай жить по старому!

«—Нѣтъ-съ, Астафій Иванычъ, вы, можетъ быть, все того... а я вашихъ ретузъ не изволилъ брать...

«—Ну, какъ хочешь; Господь съ тобой, Емельянушка!

«—Нѣтъ-съ, Астафій Иванычъ. Я, видно, больше у васъ не жилецъ. Ужь вы меня извините, Астафій Иванычъ.

«—Да Господь съ тобой, говорю: кто тебя, Емельянъ Ильичъ, обижаетъ, съ двора гонитъ, я, что-ли?

«—Нѣтъ-съ, неприлично мнѣ такъ жить у васъ, Астафій Иванычъ... Я лучше ужь пойду-съ...

«То есть разобидѣлся, наладилъ одно человѣкъ. Смотрю я на него, и вправду всталъ, тащитъ на плечи шинелишку.

«—Да куда-жь ты, это, Емельянъ Ильичъ? Послушай умаразума: что ты? Куда ты пойдешь?

«—Нѣтъ, ужь вы прощайте, Астафій Иванычъ, ужь не держите меня (самъ опять хнычетъ); я ужь пойду отъ грѣха, Астафій Ивановичъ. Вы ужь не такіе стали теперь.

«— Да какой не такой? Такой! Да ты какъ дитя малое, неразумное, пропадешь одинъ, Емельянъ Ильичъ.

«—Нѣтъ, Астафій Иванычъ, вы вотъ какъ уходите, сундукъ теперь запираете, а я, Астафій Иванычъ, вижу и плачу... Нѣтъ, ужь вы лучше пустите меня, Астафій Иванычъ, и простите мнѣ все, чѣмъ я въ нашемъ сожительствѣ вамъ обиду нанесъ.

«Что-жь, сударь? И ушелъ человѣкъ. День жду, вотъ, думаю, воротится къ вечеру — нѣтъ. Другой день нѣтъ, третій— нѣтъ. Испугался я, тоска меня ворочаетъ; не пью, не ѣмъ, не сплю. Обезоружилъ меня совсѣмъ человѣкъ! Пошелъ я на четвертый день ходить, во всѣ кабачки заглядывалъ, спрашивалъ— нѣтъ, пропалъ Емельянушка! «Ужь сносилъ-ли ты свою голову побѣдную?»—думаю. «Можетъ, издохъ гдѣ у забора пьяненькій, и теперь какъ бревно гнилое лежишь». Ни живъ, ни мертвъ я домой воротился. На другой день тоже искать положилъ. И самъ себя проклинаю, зачѣмъ я тому попустилъ, чтобъ глупый человѣкъ на свою волю ушелъ отъ меня. Только смотрю: чѣмъ свѣтъ, на пятый день (праздникъ былъ) скрипитъ дверь. Вижу: входитъ Емеля! синій такой и волосы всѣ въ грязи, словно спалъ на улицѣ, исхудалъ весь, какъ лучина: снялъ шинелишку, сѣлъ ко мнѣ на сундукъ, глядитъ на меня. Обрадовался я, да пуще прежняго тоска въ моей душѣ принялась. Оно вотъ какъ, сударь, выходитъ: случись, то есть, надо мной такой грѣхъ человѣческій, такъ я, право слово говорю: скорѣй какъ собака издохъ-бы, а не пришелъ. А Емеля пришелъ. Ну, натурально, тяжело человѣка въ такомъ положеніи видѣть. Началъ я его лелѣять, ласкать, утѣшать. «Ну, говорю, Емельянушка, радъ, что ты воротился. Опоздалъ-бы маленько придти, я-бы и сегодня пошелъ по кабачкамъ тебя промышлять. Кушалъ-ли ты»?

«—Кушалъ-съ, Астафій Иванычъ.

«—Полно, кушалъ-ли? Вотъ, братецъ, щецъ вчерашнихъ маленько осталось; на говядинѣ были, не пустыя; а вотъ и лучку съ хлѣбомъ. Покушай, говорю: оно на здоровье не лишнее.

«Подалъ я ему; ну, тутъ и увидалъ, что, можетъ, три дня цѣлыхъ не ѣлъ человѣкъ—такой аппетитъ оказался. Это значитъ, его голодъ ко мнѣ пригналъ. Разголубился я, на него глядя, сердечнаго. Сѣмъ-ка, я думаю, въ штофную сбѣгаю. Принесу ему отвести душу, да и покончимъ, полно! Нѣтъ у меня больше на тебя злобы, Емельянушка! Принесъ винца. Вотъ, говорю, Емельянъ Ильичъ, выпьемъ для праздника. Хочешь выпить? Оно здорово.

«Протянулъ было онъ руку, этакъ жадно протянулъ, ужь взялъ было, да и остановился; подождалъ маленько; смотрю: взялъ, несетъ ко рту, плескаетъ у него винцо на рукавъ. Нѣтъ, донесъ ко рту, да тотчасъ и поставилъ на столъ.

«—Что-жь, Емельянушка?

«—Да нѣтъ; я того... Астафій Иванычъ.

«—Не выпьешь, что-ли?

«— Да я, Астафій Иванычъ, такъ ужь... не буду больше пить, Астафій Иванычъ.

«—Что-жь, ты совсѣмъ перестать собрался, Емелюшка, или только сегодня не будешь?

«Промолчалъ. Смотрю: черезъ минуту положилъ на руку голову. Что ты, ужь не заболѣлъ-ли, Емеля?

«—Да такъ, нездоровится, Астафій Иванычъ.

«Взялъ я его и положилъ на постель. Смотрю, и вправду худо: голова горитъ, а самаго трясетъ лихорадкой. Посидѣлъ я день надъ нимъ; къ ночи хуже. Я ему квасу съ масломъ и съ лукомъ смѣшалъ, хлѣбца подсыпалъ. Ну, говорю: тюри покушай; авось будетъ лучше! Мотаетъ головой. — «Нѣтъ, говоритъ, я ужь сегодня обѣдать не буду, Астафій Ивановичъ». Чаю ему приготовилъ, старушоночку замоталъ совсѣмъ, — нѣтъ ничего лучше. Ну, думаю, плохо! Пошелъ я на третье утро къ врачу. У меня тутъ медикъ Костоправовъ знакомый жилъ. Еще прежде, когда я у Босомягиныхъ господъ находился, познакомились; лечилъ онъ меня. Пришелъ медикъ, посмотрѣлъ; — «да нѣтъ, говоритъ, оно плохо. Нечего было, говоритъ, и посылать за мной. А, пожалуй, дать ему порошковъ». Ну, порошковъ-то я не далъ; такъ, думаю, балуется медикъ; а между тѣмъ наступилъ пятый день.

«Лежалъ онъ, сударь, передо мной, кончался. Я сидѣлъ на окнѣ, работу въ рукахъ держалъ. Старушоночка печку топила. Всѣ молчимъ. У меня, сударь, сердце по немъ, забулдыгѣ, разрывается; точно это я сына роднаго хороню. Знаю, что Емеля теперь на меня смотритъ, еще съ утра видѣлъ, что крѣпится человѣкъ, сказать что-то хочетъ, да, какъ видно, не смѣетъ. Наконецъ, взглянулъ на него; вижу: тоска такая въ глазахъ у бѣдняги, съ меня глазъ не сводитъ, а увидалъ, что я гляжу на него, тотчасъ потупился.

« — Астафій Иванычъ!

« — Что, Емелюшка?

« — А вотъ, если-бъ, примѣромъ, мою шипеленочку въ Толкучій снесть, такъ много-ль за нее дали-бы, Астафій Иванычъ?

« — Ну, говорю, невѣдомо много-ли дали-бы. Можетъ, и трехрублевый-бы дали, Емельянъ Ильичъ.

«А поди-ка, понеси, въ самомъ дѣлѣ, такъ и ничего-бы не дали, кромѣ того, что на смѣялись-бы тебѣ въ глаза, что такую злостную вещь продаешь. Такъ только ему, человѣку Божію, зная норовъ его простоватый, въ утѣху сказалъ.

« — А я-то думалъ, Астафій Иванычъ, что три рубля серебромъ за нее положили-бы; она вещь суконная, Астафій Иванычъ. Какъ-же трехрублевый, коли суконная вещь?

« — Не знаю, говорю, Емельянъ Ильичъ, коль нести хочешь, такъ, конечно, три рубля нужно будетъ съ перваго слова просить.

«Помолчалъ немного Емеля, потомъ опять окликаетъ.

« — Астафій Иванычъ!

« — Что, спрашиваю, Емельянушка?

« — Вы продайте шинененочку-то, какъ я помру, а меня въ ней не хороните. Я и такъ полежу; а она вещь цѣнная; вамъ пригодиться можетъ.

«Тутъ у меня такъ, сударь, защемило сердце, что и сказать нельзя. Вижу, что тоска предсмертная къ человѣку подступаетъ. Опять замолчали. Этакъ часъ прошло времени. Посмотрѣлъ я на него съизнова: все на меня смотритъ, а какъ встрѣтился взглядомъ со мной, опять потупился.

« — Не хотите-ли, говорю, водицы испить, Емельянъ Ильичъ?

« — Дайте, Господь съ вами, Астафій Иванычъ.

«Подалъ я ему испить. Отпилъ. — Благодарствую, говоритъ, Астафій Иванычъ.

« — Не надо-ли еще чего, Емельянушка?

« — Нѣтъ, Астафій Иванычъ, ничего не надо, а я того...

« — Что?

« — Энтого...

« — Чего такого, Емелюшка?

« — Ретузы-то... энтого... это я ихъ взялъ у васъ тогда... Астафій Иванычъ...

« — Ну, Господь, говорю, тебя проститъ, Емельянушка, горемыка ты такой-сякой, этакой! Отходи съ миромъ... А у самого, сударь, духъ захватило, и слезы изъ глазъ посыпались, отвернулся было я на минуту.

« — Астафій Иванычъ...

«Смотрю: хочетъ Емеля мнѣ что-то сказать, самъ приподнимается, силится, губами шевелитъ... Весь вдругъ покраснѣлъ, смотритъ на меня... Вдругъ вижу: опять блѣднѣетъ, блѣднѣетъ, опалъ совсѣмъ во мгновенье, голову назадъ закинулъ, дохнулъ разъ, да тутъ и Богу душу отдалъ». . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

ЕЛКА И СВАДЬБА

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ НЕИЗВѢСТНАГО.

Въ первый разъ напечатанъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1848 г. томъ 60-й.

На дняхъ я видѣлъ свадьбу... но нѣтъ! Лучше я вамъ разскажу про ёлку. Свадьба хороша; она мнѣ очень понравилась, но другое происшествіе лучше. Не знаю какимъ образомъ, смотря на эту свадьбу, я вспомнилъ про эту ёлку. Это вотъ какъ случилось. Ровно лѣтъ пять назадъ, наканунѣ Новаго года, меня пригласили на дѣтскій балъ. Лицо приглашавшее было одно извѣстное дѣловое лицо, со связями, съ знакомствомъ, съ интригами, такъ, что можно было подумать, что дѣтскій балъ этотъ былъ предлогомъ для родителей сойдтись въ кучу и потолковать объ иныхъ, интересныхъ матеріяхъ, невиннымъ, случайнымъ, нечаяннымъ образомъ. Я былъ человѣкъ посторонній; матерій у меня не было никакихъ, и потому я провелъ вечеръ довольно независимо. Тутъ былъ и еще одинъ господинъ, у котораго, кажется, не было ни роду, ни племени, но который, подобно мнѣ, попалъ на семейное счастье... Онъ прежде всѣхъ бросился мнѣ на глаза. Это былъ высокій, худощавый мужчина, весьма серьезный, весьма прилично одѣтый. Но видно было, что ему вовсе не до радостей и семейнаго счастья; когда онъ отходилъ куда нибудь въ уголъ, то сейчасъ-же переставалъ улыбаться и хмурилъ свои густыя, черныя брови. Знакомыхъ, кромѣ хозяина, на всемъ балѣ у него не было ни единой души. Видно было, что ему страхъ скучно, но что онъ выдерживалъ храбро, до конца, роль совершенно развлеченнаго и счастливаго человѣка. Я послѣ узналъ, что это одинъ господинъ изъ провинціи, у котораго было какое-то рѣшительное, головоломное дѣло въ столицѣ, который привезъ нашему хозяину рекомендательное письмо, которому хозяинъ нашъ покровительствовалъ вовсе не con amore, и котораго пригласилъ изъ учтивости на свой дѣтскій балъ. Въ карты не играли, сигары ему не предложили, въ разговоры съ нимъ никто не пускался, можетъ быть, издали узнавъ птицу по перьямъ, и потому мой господинъ принужденъ былъ, чтобъ только куда нибудь дѣвать руки, весь вечеръ гладить свои бакенбарды. Бакенбарды были дѣйствительно весьма хороши. Но онъ гладилъ ихъ

до того усердно, что, глядя на него, рѣшительно можно было подумать, что сперва произведены на свѣтъ одни бакенбарды, а потомъ ужь приставленъ къ нимъ господинъ, чтобы ихъ гладить.

Кромѣ этой фигуры, такимъ образомъ, принимавшей участіе въ семейномъ счастіи хозяина, у котораго было пятеро сытенькихъ мальчиковъ, понравился мнѣ еще одинъ господинъ. Но этотъ уже былъ совершенно другаго свойства. Это было лицо. Звали его Юліанъ Мастаковичъ. Съ перваго взгляда можно было видѣть, что онъ былъ гостемъ почетнымъ и находился въ такихъ-же отношеніяхъ къ хозяину, въ какихъ хозяинъ къ господину, гладившему свои бакенбарды. Хозяинъ и хозяйка говорили ему бездну любезностей, ухаживали, поили его, лелѣяли, подводили къ нему, для рекомендаціи, своихъ гостей, а его самого ни къ кому не подводили. Я замѣтилъ, что у хозяина заискрилась слеза на глазахъ, когда Юліанъ Мастаковичъ отнесся по вечеру, что онъ рѣдко проводитъ такимъ пріятнымъ образомъ время. Мнѣ какъ-то стало страшно въ присутствіи такого лица, и потому, полюбовавшись на дѣтей, я ушелъ въ маленькую гостиную, которая была совершенно пуста, и засѣлъ въ цвѣточную бесѣдку хозяйки, занимавшую почти половину всей комнаты.

Дѣти всѣ были до невѣроятности милы и рѣшительно не хотѣли походить на *большихъ*, не смотря на всѣ увѣщанія гувернантокъ и маменекъ. Они разобрали всю ёлку въ мигъ, до послѣдней конфетки, и успѣли уже переломать половину игрушекъ прежде чѣмъ узнали, кому какая назначена. Особенно хорошъ былъ мальчикъ, черноглазый, въ кудряшкахъ, который все хотѣлъ меня застрѣлить изъ своего деревяннаго ружья. Но всѣхъ болѣе обратила на себя вниманіе его сестра, дѣвочка лѣтъ одиннадцати, прелестная какъ амурчикъ, тихонькая, задумчивая, блѣдная, съ большими задумчивыми глазами на выкатѣ. Ее какъ-то обидѣли дѣти и потому она ушла въ ту самую гостиную, гдѣ сидѣлъ я, и занялась въ уголку — своей куклой. Гости съ уваженіемъ указывали на одного богатаго откупщика, ея родителя, и кое-кто замѣчалъ шепотомъ, что за ней уже отложено на приданое триста тысячъ рублей. Я оборотился взглянуть на любопытствующихъ о такомъ обстоятельствѣ и взглядъ мой упалъ на Юліана Мастаковича, который, закинувъ руки за спину и наклонивъ немножечко голову на бокъ, какъ-то чрезвычайно внимательно прислушивался къ празднословію этихъ господъ. Потомъ я не могъ не подивиться мудрости хозяевъ при раздачѣ дѣтскихъ подарковъ. Дѣвочка, уже имѣвшая триста тысячъ руб-

лей приданаго, получила богатѣйшую куклу. Потомъ слѣдовали подарки понижаясь, смотря по пониженію ранговъ родителей всѣхъ этихъ счастливыхъ дѣтей. Наконецъ, послѣдній ребенокъ мальчикъ лѣтъ десяти, худенькій, маленькій, весноватенькій, рыженькій, получилъ только одну книжку повѣстей, толковавшихъ о величіи природы, о слезахъ умиленія, и проч., безъ картинокъ и даже безъ виньетки. Онъ былъ сынъ гувернантки хозяйскихъ дѣтей, одной бѣдной вдовы, мальчикъ крайне забитый и запуганный. Одѣтъ онъ былъ въ курточку изъ убогой нанки. Получивъ свою книжку, онъ долгое время ходилъ около другихъ игрушекъ; ему ужасно хотѣлось поиграть съ другими дѣтьми, но онъ не смѣлъ; видно было, что онъ уже чувствовалъ и понималъ свое положеніе. Я очень люблю наблюдать за дѣтьми. Чрезвычайно любопытно въ нихъ первое, самостоятельное проявленіе въ жизни. Я замѣтилъ, что рыженькій мальчикъ до того соблазнился богатыми игрушками другихъ дѣтей, особенно театромъ, въ которомъ ему непремѣнно хотѣлось взять на себя какую-то роль, что рѣшился поподличать. Онъ улыбался и заигрывалъ съ другими дѣтьми, онъ отдалъ свое яблоко одному одутловатому мальчишкѣ, у котораго навязанъ былъ полный платокъ гостинцевъ и даже рѣшился повозить одного на себѣ, чтобъ только не отогнали его отъ театра. Но чрезъ минуту какой-то озорникъ препорядочно поколотилъ его. Ребенокъ не посмѣлъ заплакать. Тутъ явилась гувернантка, его маменька, и велѣла ему не мѣшать играть другимъ дѣтямъ. Ребенокъ вошелъ въ ту-же гостиную, гдѣ была дѣвочка. Она пустила его къ себѣ, и оба весьма усердно принялись наряжать богатую куклу.

Я сидѣлъ уже съ полчаса въ плющевой бесѣдкѣ и почти задремалъ, прислушиваясь къ маленькому говору рыженькаго мальчика и красавицы съ тремя стами тысячъ приданаго, хлопотавшихъ о куклѣ, какъ вдругъ въ комнату вошелъ Юліанъ Мастаковичъ. Онъ воспользовался скандалезною сценою ссоры дѣтей и вышелъ потихоньку изъ залы. Я замѣтилъ, что онъ съ минуту назадъ весьма горячо говорилъ съ папенькой будущей богатой невѣсты, съ которымъ только что познакомился, о преимуществѣ какой-то службы передъ другою. Теперь онъ стоялъ въ раздумьи и какъ будто что-то разсчитывалъ по пальцамъ.

— Триста... триста, шепталъ онъ. — Одиннадцать... двѣнадцать... тринадцать, и т. д. Шестнадцать, — пять лѣтъ! Положимъ по 4 на сто — 12, пять разъ = 60, да, на эти 60... ну, положимъ, всего будетъ черезъ пять лѣтъ — четыреста. Да! вотъ... Да не

по четыреста-же держитъ, мошенникъ! Можетъ, восемь, аль десять со ста беретъ. Ну, пятьсотъ, положимъ пятьсотъ тысячъ, по крайней мѣрѣ, это навѣрно; ну, излишекъ на тряпки, гм...

Онъ кончилъ раздумье, высморкался и хотѣлъ уже выйдти изъ комнаты, какъ вдругъ взглянулъ на дѣвочку и остановился. Онъ меня не видалъ за горшками съ зеленью. Мнѣ казалось, что онъ былъ крайне взволнованъ. Или разсчетъ подѣйствовалъ на него, или что нибудь другое, но онъ потиралъ себѣ руки и не могъ постоять на мѣстѣ. Это волненіе увеличилось до пес plus ultra, когда онъ остановился и бросилъ другой рѣшительный взглядъ на будущую невѣсту. Онъ было двинулся впередъ, но сначала оглядѣлся кругомъ. Потомъ, на цыпочкахъ, какъ будто чувствуя себя виноватымъ, сталъ подходить къ ребенку. Онъ подошелъ съ улыбочкой, нагнулся и поцѣловалъ, ее въ голову. Та, не ожидая нападенія, вскрикнула отъ испуга.

— А что вы тутъ дѣлаете, милое дитя? спросилъ онъ шепотомъ, оглядываясь и трепля дѣвочку по щекѣ.

— Играемъ...

— А? Съ нимъ? Юліанъ Мастаковичъ покосился на мальчика.

— А ты-бы, душенька, пошелъ въ залу, сказалъ онъ ему.

Мальчикъ молчалъ и глядѣлъ на него во всѣ глаза. Юліанъ Мастаковичъ опять осмотрѣлся кругомъ и опять нагнулся къ дѣвочкѣ.

— А что это у васъ, куколка, милое дитя? спросилъ онъ.

— Куколка, отвѣчала дѣвочка, морщась и немножко робѣя.

— Куколка... А знаете-ли вы, милое дитя, изъ чего ваша куколка сдѣлана.

— Не знаю... отвѣчала дѣвочка шепотомъ и совершенно потупивъ голову.

— А изъ тряпочекъ, душенька.—Ты-бы пошелъ, мальчикъ, въ залу, къ своимъ сверстникамъ, сказалъ Юліанъ Мастаковичъ, строго посмотрѣвъ на ребенка. Дѣвочка и мальчикъ поморщились и схватились другъ за друга. Имъ не хотѣлось разлучаться.

— А знаете-ли вы, почему подарили вамъ эту куколку?. спросилъ Юліанъ Мастаковичъ, понижая все болѣе и болѣе голосъ'

— Не знаю.

— А оттого, что вы были милое и благонравное дитя всю недѣлю.

Тутъ Юліанъ Мастаковичъ, взволнованный до-нельзя, осмотрѣлся кругомъ, и, понижая все болѣе и болѣе голосъ, спросилъ

наконецъ, неслышнымъ, почти совсѣмъ замирающимъ отъ волненія и нетерпѣнія голосомъ...

— А будете-ли вы любить меня, милая дѣвочка, когда я пріѣду въ гости къ вашимъ родителямъ.

Сказавъ это, Юліанъ Мастаковичъ хотѣлъ еще одинъ разъ поцѣловать милую дѣвочку, но рыженькій мальчикъ, видя, что она совсѣмъ хочетъ заплакать, схватилъ ее за руки и захныкалъ отъ полнѣйшаго сочувствія къ ней. Юліанъ Мастаковичъ разсердился не въ шутку.

— Пошелъ, пошелъ отсюда, пошелъ! говорилъ онъ мальчишкѣ:—пошелъ въ залу! Пошелъ туда, къ своимъ сверстникамъ!

— Нѣтъ, не нужно, не нужно! Пойдите вы прочь, сказала дѣвочка:—оставьте его, оставьте его! говорила она, почти совсѣмъ заплакавъ.

Кто-то зашумѣлъ въ дверяхъ, Юліанъ Мастаковичъ тотчасъ же приподнялъ свой величественный корпусъ и испугался. Но рыженькій мальчикъ испугался еще болѣе Юліана Мастаковича, бросилъ дѣвочку и тихонько, опираясь о стѣнку, прошелъ изъ гостиной въ столовую. Чтобы не подать подозрѣній, Юліанъ Мастаковичъ пошелъ также въ столовую. Онъ былъ красенъ, какъ ракъ и, взглянувъ въ зеркало, какъ будто сконфузился себя самого. Ему, можетъ быть, стало досадно за горячку свою и свое нетерпѣніе. Можетъ быть, его такъ поразилъ, въ началѣ, разсчетъ по пальцамъ, такъ соблазнилъ и вдохновилъ, что онъ, не смотря на всю солидность и важность, рѣшился поступить какъ мальчишка и прямо абордировать свой предметъ, не смотря на то, что предметъ могъ быть настоящимъ предметомъ, по крайней мѣрѣ, пять лѣтъ спустя. Я вышелъ за почтеннымъ господиномъ въ столовую и увидѣлъ странное зрѣлище. Юліанъ Мастаковичъ, весь покраснѣвъ отъ досады и злости, пугалъ рыжаго мальчика, который, уходя отъ него все дальше и дальше, не зналъ—куда забѣжать отъ страха.

— Пошелъ, что здѣсь дѣлаешь, пошелъ, негодникъ, пошелъ! Ты здѣсь фрукты таскаешь, а? Ты здѣсь фрукты таскаешь? Пошелъ, негодникъ, пошелъ, сопливый, пошелъ, пошелъ къ своимъ сверстникамъ!

Перепуганный мальчикъ, рѣшившись на отчаянное средство, попробовалъ было залѣзть подъ столъ. Тогда его гонитель, разгоряченный до-нельзя, вынулъ свой длинный батистовый платокъ и началъ имъ выхлестывать изъ-подъ стола ребенка, присмирѣвшаго до послѣдней степени. Нужно замѣтить, что Юліанъ Мастаковичъ былъ немножко толстенекъ. Это былъ человѣкъ

сытенькій, румяненькій, плотненькій, съ брюшкомъ, съ жирными ляшками, словомъ, что называется, крѣпнякъ, кругленькій, какъ орѣшекъ. Онъ вспотѣлъ, пыхтѣлъ и краснѣлъ ужасно. Наконецъ, онъ почти остервенился, такъ велико было въ немъ чувство негодованія и, можетъ быть (кто знаетъ?), ревности. Я захохоталъ во все горло. Юліанъ Мастаковичъ оборотился и, не смотря на все значеніе свое, сконфузился въ прахъ. Въ это время изъ противоположной двери вошелъ хозяинъ. Мальчишка вылѣзъ изъ-подъ стола и обтиралъ свои колѣни и локти. Юліанъ Мастаковичъ поспѣшилъ поднесть къ носу платокъ, который держалъ, за одинъ кончикъ, въ рукахъ.

Хозяинъ немножко съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на троихъ насъ; но, какъ человѣкъ, знающій жизнь и смотрящій на нее съ точки серьезной, тотчасъ-же воспользовался тѣмъ, что поймалъ наединѣ своего гостя.

— Вотъ-съ, тотъ мальчикъ-съ, сказалъ онъ, указавъ на рыженькаго:—о которомъ я имѣлъ честь просить...

— А? отвѣчалъ Юліанъ Мастаковичъ, еще не совсѣмъ оправившись.

— Сынъ гувернантки дѣтей моихъ, продолжалъ хозяинъ просительнымъ тономъ:—бѣдная женщина, вдова, жена одного честнаго чиновника; и потому.. Юліанъ Мастаковичъ, если возможно...

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, поспѣшно закричалъ Юліанъ Мастаковичъ:—нѣтъ, извините меня, Филиппъ Алексѣевичъ, никакъ невозможно-съ. Я справлялся; вакансіи нѣтъ, а если-бы и была, то на нее уже десять кандидатовъ, гораздо болѣе имѣющихъ право, чѣмъ онъ... Очень жаль, очень жаль...

— Жаль-съ, повторилъ хозяинъ:—мальчикъ скромненькій, тихонькій..

— Шалунъ большой, какъ я замѣчаю, отвѣчалъ Юліанъ Мастаковичъ, истерически скрививъ ротъ:—пошелъ, мальчикъ, что ты стоишь, пойди къ своимъ сверстникамъ! сказалъ онъ, обращаясь къ ребенку.

Тутъ онъ, кажется, не могъ утерпѣть и взглянулъ на меня однимъ глазомъ. Я тоже не могъ утерпѣть и захохоталъ ему прямо въ глаза. Юліанъ Мастаковичъ тотчасъ-же отворотился и довольно явственно для меня спросилъ у хозяина, кто этотъ странный молодой человѣкъ? Они зашептались и вышли изъ комнаты. Я видѣлъ потомъ, какъ Юліанъ Мастаковичъ, слушая хозяина, съ недовѣрчивостью качалъ головою.

Нахохотавшись вдоволь, я воротился въ залу. Тамъ великій мужъ, окруженный отцами и матерями семействъ, хозяйкой и хозяиномъ, что-то съ жаромъ толковалъ одной дамѣ, къ которой его только что подвели. Дама держала за руку дѣвочку, съ которою, десять минутъ назадъ, Юліанъ Мастаковичъ имѣлъ сцену въ гостиной. Теперь онъ разсыпался въ похвалахъ и восторгахъ о красотѣ, талантахъ, граціи и благовоспитанности милаго дитяти. Онъ замѣтно юлилъ передъ маменькой. Мать слушала его чуть-ли не со слезами восторга. Губы отца улыбались. Хозяинъ радовался изліянію всеобщей радости. Даже всѣ гости сочувствовали, даже игры дѣтей были оставлены, чтобъ не мѣшать разговору. Весь воздухъ былъ напоенъ благоговѣніемъ. Я слышалъ потомъ, какъ тронутая до глубины сердца маменька интересной дѣвочки, въ отборныхъ выраженіяхъ, просила Юліана Мастаковича сдѣлать ей особую честь, подарить ихъ домъ своимъ драгоцѣннымъ знакомствомъ, слышалъ. съ какимъ неподдѣльнымъ восторгомъ Юліанъ Мастаковичъ принялъ приглашеніе, и какъ потомъ гости, разойдясь всѣ, какъ приличіе требовало, въ разныя стороны, разсыпались другъ передъ другомъ въ умилительныхъ похвалахъ откупщику, откупщицѣ, дѣвочкѣ и въ особенности Юліану Мастаковичу.

— Женатъ этотъ господинъ? спросилъ я, почти въ слухъ, одного изъ знакомыхъ моихъ, стоявшаго ближе всѣхъ къ Юліану Мастаковичу.

Юліанъ Мастаковичъ бросилъ на меня испытующій и злобный взглядъ.

— Нѣтъ! отвѣчалъ мнѣ мой знакомый, огорченный до глубины сердца моею неловкостію, которую я сдѣлалъ умышленно...

Недавно я проходилъ мимо ***ской церкви; толпа и съѣздъ поразили меня. Кругомъ говорили о свадьбѣ. День былъ пасмурный, начиналась изморозь; я пробрался за толпою въ церковь и увидалъ жениха. Это былъ маленькій, кругленькій, сытенькій человѣчекъ съ брюшкомъ, весьма разукрашенный. Онъ бѣгалъ, хлопоталъ и распоряжался. Наконецъ, раздался говоръ, что привезли невѣсту. Я протѣснился сквозь толпу и увидѣлъ чудную красавицу, для которой едва настала первая весна. Но красавица была блѣдна и грустна. Она смотрѣла разсѣянно; мнѣ показалось даже, что глаза ея были красны отъ недавнихъ слезъ. Античная строгость каждой черты лица ея придавала какую-то важ-

ность и торжественность ея красотѣ. Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту грусть просвѣчивалъ еще первый дѣтскій, невинный обликъ; сказывалось что-то до нельзя наивное, неустановившееся, юное, и, казалось, безъ просьбъ, само за себя молившее о пощадѣ.

Говорили, что ей едва минуло шестнадцать лѣтъ. Взглянувъ внимательно на жениха, я вдругъ узналъ въ немъ Юліана Мастаковича, котораго не видалъ ровно пять лѣтъ. Я поглядѣлъ на нее... Боже мой! Я сталъ протѣсняться скорѣе изъ церкви. Въ толпѣ толковали, что невѣста богата, что у невѣсты пятьсотъ тысячъ приданаго... и на сколько-то тряпками.

Однако, разсчетъ былъ хорошъ! подумалъ я, протѣснившись на улицу...

184724